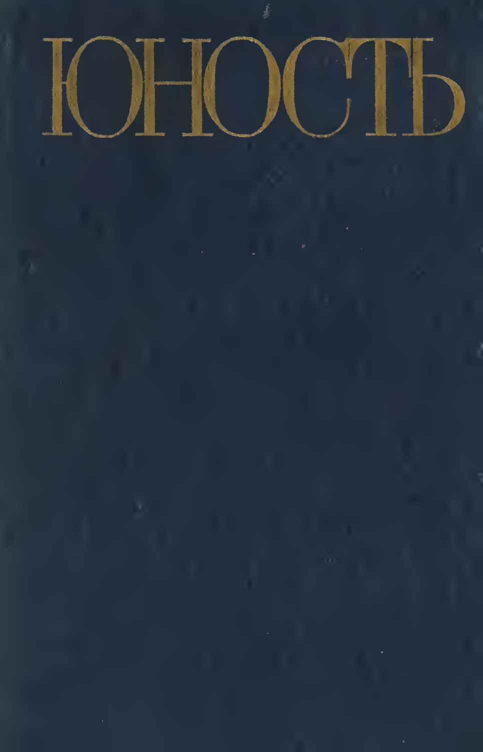

ЮНОСТЬ





ЮНОСТЬ

Избранное



1955
1985

2 том

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА».
МОСКВА. 1985

84 Р 7
Ю 55

Общая редакция
А. С. ПЬЯНОВА

Составители:
Т. В. БОБРЫНИНА,
Н. М. ЗЛОТНИКОВ,
М. Л. ОЗЕРОВА,
В. И. СЛАВКИН,
А. В. ФРОЛОВ

Художник
О. С. КОКИН

Рисунок на суперобложке
А. Е. ОСТАЕВА

Ю $\frac{4702010200—1024}{080(02)—85}$ 1024—85


Проза



ВИКТОР СТЕПАНОВ

ВЕНОК НА ВОЛНЕ

1

У пирса, где стоят боевые корабли, даже море кажется военным. Когда предвестием шторма запенятся синие гребни, море делается полосатым, словно надело тельняшку. И катится, катится — волна за волной, как шеренга за шеренгой.

В штиль море стальное, будь оно хоть Белое, хоть Черное, потому что впитывает в себя цвет кораблей. И чайки здесь совсем другие — застенчивые. Скользнут белым косяком над мачтами — и в торговый порт, где можно вдоволь порезвиться и покричать.

Я впервые на этом пирсе, но он знаком мне давно. Кант на моих погончиках точно такого же цвета, как флаги и вымпелы, трепещущие на ветру. Бело-голубой флаг с красной звездой, серпом и молотом словно вшит в зеленое полотнище — это военно-морской флаг кораблей и судов пограничных войск. Как это говорил нам мичман? «Море землю бережет!»

Здравствуй, пирс — порог морей! Еще вчера на берегу, где я прошел курс молодого матроса и освоил азы своей флотской специальности, меня напутствовали, провожая на корабль:

— Пойдешь по трапу, заприметь, на какую ногу споткнулся. На правую — командир полюбит, на левую — фитиль врубит.

Я обиделся.

— Эх ты, салага,— засмеялись моряки,— разве не знаешь, что земля стоит на китах, а флот — на афоризмах?

Мичман таил улыбку, наблюдая, как надо мной подтрунивают. Но, заметив, что мое настроение начинает штормить, обрубил:

— Ну, хватит травить. Главное, Тимошин, когда ступишь на трап, не забудь отдать честь флагу. Для моряка это первая заповедь. Ты думаешь, флаг на гафеле держится? Ничего подобного. На душах морских, вот на чем. Что дала пока тебе подготовка к службе? Форму. А вот содержание даст корабль. Твой корабль.

Обратили внимание? Моряки почти никогда не говорят «наш корабль», всегда — «мой» или «твой». И, признаться по-честному, мой корабль мне давно уже снился. В детстве он маячил белопарусным фрегатом. Но чем больше я взрослел, тем больше модернизировался в моем воображении этот корабль-мечта. Он становился то линкором, то крейсером, то атомным «Наутилусом». Чем реальней мечта, тем меньше у нее миражных парусов. Сейчас я уже точно знал, что назначен не на ракетный крейсер, а всего лишь на СКР — сторожевой корабль. Но ведь это «мой СКР», и не только большому кораблю — большое плавание.

— Вон, видишь, бортовой 0450,— сказал матрос, проводивший меня до пирса,— вот к нему и швартуйся.

Мой корабль стоял левым бортом к стенке в ряду своих близнецов-сторожевиков. И я с огорчением отметил, что на фоне собратьев он не из лучших. С низкорослой мачты устало свисали сигнальные фалы. Обшарпанный борт выглядел так, словно ко-

раблю пришлось продираться по крайней мере сквозь льды Антарктиды.

Я ступил на трап, приложил ладонь к бескозырке и вспомнил мичмана. Но не те его слова насчет флага, а другие — насчет трапа. «Пять-шесть шагов,— как-то сказал он,— пять-шесть шагов между берегом и кораблем — первая дорога, которую не забывают ни молодые моряки, ни седые адмиралы. Все, что остается за трапом, измеряется после в другом летосчислении. До службы на корабле будет считаться, как до новой эры».

— Товарищ капитан-лейтенант!

За те несколько секунд, пока я докладывал о своем прибытии, начисто забыв и потому нахально перевирая уставную формулировку, вахтенный офицер, встретивший меня на другом конце трапа, стоял неподвижно, как черная мумия. «Жидковат,— подумал я, угадывая под шинелью худенькую мальчишескую фигуру.— Отнюдь не волк, тем более не морской. Года на четыре постарше меня. А козырьком мне как раз по переносицу».

Но из-под этого козырька сверляще чернели глаза, которые наверняка успели заметить мои нарушения уставной формы одежды: перешитый «в талию» бушлат и вывернутый на всю толщину кант бескозырки. «Ну что,— спросили черные глаза,— пришел на танцы или служить? Может быть, начнем с переодевания?» «Не стоит, товарищ каплей,— ответил я тоже взглядом,— я же не ребенок. И потом разве плохо, если моряк элегантен? Посмотрите на себя, ведь у вас у самого перешита фуражка, такие козырьки требуют особого заказа...» Черные глаза под козырьком усмехнулись.

— Добро пожаловать,— сказал капитан-лейтенант. И развел руками, показывая на палубу.— Как говорится, просим извинить за неприбранную постель — только что из похода.— Капитан-лейтенант оглянулся и, увидев показавшегося из-за надстройки моряка, поманил его пальцем.— Афанасьев! Представьте матроса командиру.

Афанасьев, увалень с покатыми плечами, на которых блеснули лычки старшины II статьи, подмигнул и, ничего не сказав, неожиданно ловко юркнул

вниз по трапу, кивком пригласив меня за собой. Я хотел спуститься так же быстро, но скользнул каблуками по ступенькам, больно стукнулся головой и, будто с турника, плюхнулся на вторую палубу. Афанасьев сделал вид, что не заметил.

— Товарищ командир, новичок к нам,— доложил он, пропустив меня в дверь каюты. И, словно невзначай, спросил: — Этот, что ли, мне на смену?

Командир, сидевший за небольшим столиком, привстал и сразу занял собой полкаюты.

— Заходите, заходите, ждем. И давненько.

Он чуть сдвинул рукав с золотыми нашивками капитана III ранга и взглянул на часы.

— Десять ноль пять? А ждали к девяти ноль-ноль. Так вам, кажется, было предписано?

Чего угодно, а такой дотошности я не ожидал. Человек пришел на корабль не на день-два — и уже счет на минуты. Можно было бы приветить и поласковей.

— Вы свободны, Афанасьев,— сказал командир, а мне показал на кресло, приглашая сесть.

В каюте, напоминающей плацкартное купе, сквозь сизоватый сигаретный дым кругло брезжил иллюминатор. На столике — скатертью со свисающими углами — карта и журнал «Морской сборник» с военно-морским флагом на обложке. За шелковой ширмой угадывалась постель. На серой стене, прямо над столиком, фотография какого-то допотопного катера. «МО»,— определил я.— «Морской охотник» довоенной постройки. И зачем здесь эта старая калоша?»

— Конечно, не салон белоснежного океанского лайнера,— перехватил мой взгляд командир. И усмехнулся чему-то своему.— Но ведь мы здесь не по льготной профсоюзной путевке. Так, что ли, матрос Тимошин?

Да, конечно, это не прогулочная яхта, мысленно согласился я. Но тем более ни к чему и эта оранжерея. В углу каюты стояли два алюминиевых лагуна, в каких обычно варят борщ и макароны. И в этих нелепых вазах благоухали сейчас букеты белых астр. В каюте боевого корабля они выглядели странно и противоестественно. И зачем так много цветов? Не торговать же ими в самом деле... Сентиментален

этот «каптри» и, вероятно, любит Надсона: «Цветы — отдохновение души... очарованье памяти безбрежной!»

Наверное, из неудачников, подумал я про командира. Мечтал когда-то в юности о капитанском мостике крейсера. А вот на ж тебе — судьба забросила на СКР. Сейчас начнет, конечно, о чести, о долге, о том, что неважно, где служить, а важно, как служить. Будет воспитывать меня, а в душе спорить с самим собой. Не люблю, кто кренится то на один борт, то на другой; полный штиль, а человек кренится. Вот и этот. С одной стороны, показывает на часы, почему, мол, явились не «тик в тик», а с другой — астры в лагунах.

— Расскажите о себе,— сказал командир и начал рисовать на клочке бумаги замысловатые квадратики. Какой-то свой, одному ему ведомый ребус.

Я начал неохотно что-то мямлить о школе, о комсомоле, а сам, не отрываясь, следил за его рукой, водящей по листу карандашом. Чистая, холеная, как у нашего учителя литературы, рука. Даже нет морской традиционной татуировки. Нашивки на рукаве мне уже не казались такими ослепительными — вблизи на них была заметна прозелень. Давно не менял и, видно, долго служит в одном и том же звании. Голова у командира крупная, когда-то шевелюристая, а сейчас вот уже пробились и залысины.

— Ну, так что? — повторил вопрос командир и поднял глаза в темных от недосыпания обводинках — такие проступают, когда снимают очки. И, правда, он, как близорукий, провел по глазам ладонью, сощурился.

— Значит, год рождения — пятьдесят второй,— как бы подсказывая, продолжал за меня он.— Член ВЛКСМ. Так? Окончил среднюю школу, призван Наро-Фоминским военкоматом...— Командир помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и задумчиво произнес: — Год рождения — пятьдесят второй! Ну и бежит же время. И каким только лагом оно отщелкивает?

И, отбросив карандаш, он с любопытством взглянул на меня так, словно я только что перед ним очутился. А чему, собственно, удивляться?

Я смотрел на астры и с пятого на десятое слушал, как он рассказывал о корабле, о том, какие задачи будут на меня возложены. Афанасьев, провожавший меня к командиру, оказался прав: я назначен учеником радиометриста, к нему на замену.

В каюте я пробыл минут десять — пятнадцать, и у меня появилось такое ощущение, что разговор с командиром не получился, что главная беседа еще впереди, а эта — так, для проформы.

В дверь заглянул Афанасьев.

— А вот и ваш младший командир,— сказал капитан III ранга, давая тем самым понять, что наше рандеву закончено. И, как бы спохватившись, спросил Афанасьева: — Что у нас сегодня на обед?

— Борщ, плов и компот,— с готовностью ответил Афанасьев.

— Накормите матроса, а дальше согласно распорядку.

Время для обеда еще не подоспело, но традиция есть традиция, и мне пришлось отведать, как сказал Афанасьев, «рукоделия» кока Лагутенкова.

Пока я без аппетита ковырял вилкой в плове, Афанасьев приправлял мой обед рассказом о первостепенном значении на корабле поварской должности. Примазывается, догадался я, рад, небось, до чертиков, что скоро домой, и ублажает и расписывает, какой у них на корабле кок.

— Ты рубай, рубай, не стесняйся,— нажимал на меня Афанасьев.— С добавкой у нас не проблема. А Лагутенков — весь флот нашему кораблю завидует. Говорят, даже флагман пытался его переманить. Да будет тебе известно, что в походе Лагутенков не просто кок, но и сигнальщик. Полная взаимозаменяемость — в руке то бинокль, то камбузный нож. Николай, правда, имеет большую склонность к борщам и систематически повышает свои специальные знания в этой области. В увольнении мы, сам знаешь, кто куда. Куда поведет тебя внутренний компас. А у Лагутенкова курс всегда известен заранее — в книжные магазины. И за какими, думаешь, книгами? По домоводству. Особых разносолов, конечно, не приготовишь, но не макаронами одними сыты. Вот компот. Не компот, а натюрморт!

«Первый компот на корабле,— почему-то с грустью посмотрел я на жестяную кружку.— Первый... А сколько предстоит съесть их до демобилизации?» Один знакомый матрос, который в фитилях ходил, как корабль в ракушках, учил меня: «Ты думаешь, моряки считают службу на дни? Ничего подобного. На компоты. Съел компот — считай день долой». И еще показал он мне карманный календарик, на котором числа были перечеркнуты крестиками: «Съел компот, поставь крестик. И сразу видно, сколько впереди пустых дней».

Тогда мне эта компотная арифметика не понравилась, а сейчас, вылавливая из кружки чернослив, почему-то о ней вспомнил.

Согласно распорядку, на корабле была большая приборка. Не потому ли Афанасьев так поспешно провел меня по всем помещениям? Мы не отдышались даже в рубке радиометриста, где, казалось, сам бог велел задержаться. Это же был наш боевой пост! Мне не терпелось дотронуться до рычажков и кнопок радиолокационной станции, включить ее и заглянуть в оживший экран. Но Афанасьев теребил за рукав:

— Пошли, пошли, это все потом, само собой!

Он торопил меня и в машинном отделении и на ходовом мостике. Получалось как в известном юмористическом фильме об экскурсоводе: «Посмотрите направо, посмотрите налево. Поехали дальше».

Когда мы снова очутились на верхней палубе, Афанасьев куда-то на минутку исчез и вернулся со шваброй и ветошью.

— От сих и до сих,— показал он мой участок приборки.— Надевай робу и шпарь.

Вот тебе и заданьице! А кто он вообще-то такой — этот Афанасьев? Без году неделя старшина II статьи и уже командует так, словно я только за тем и пришел на флот, чтобы выслушивать его указания. Невелика птица — подумаешь, две лычки! Мне будто кипятком плеснуло в лицо.

— Послушай, Афанасьев,— сказал я,— ты брось эти штучки, видали мы и почище... Тоже мне командующий нашелся... «От сих до сих»...

Я хотел сказать позанозистей. Но у меня всегда так: когда злюсь, плохо формулирую мысль. Потом, когда остыну, приходит то, что надо. Но уже поздно.

Афанасьев нахмурился и сразу изменился в лице. Заметно сдерживаясь, выдавил:

— Матрос Тимошин, делайте, что вам приказано.— И, уходя, обернулся.— Если до фитиля не хотите доболтаться...

А правы были на берегу, только я, кажется, на трапе не спотыкался. Хочешь — верь приметам, хочешь — нет, но все идет враздрай. Думал, что буду сидеть в рубке, копаться в проводах и конденсаторах, а здесь та же самая швабра. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из матросов любил этот популярный приборочный инструмент, но я его ненавидел. Что может быть бессмысленней и что более унизительно — в век электроники и космоса водить этой самой шваброй по палубе точь-в-точь, как современники Колумба: вперед — назад, вперед — назад.

— Ты где квалификацию повышал? — спросил матрос, драивший рядом медяшку.

— Какую?— не понял я.

— А по части швабры!

И матрос хохотнул, довольный, что поймал меня на удочку такой мелкой наживой.

Я промолчал, будто пропустил мимо ушей,— не связываться же и с этим.

Может быть, тысячи раз — сначала я пробовал подсчитать, а потом сбился — шатуном моих рук проволокло швабру по палубе. Вот уже совсем чистое до каждой заклепки железо. Но проходит мимо боцман, косит глазом:

— Слабо, слабо, товарищ матрос. Не у тещи паркет натираете.

Когда мне уже стало казаться, что не я вожу шваброй, а она мной, приборка наконец закончилась. Согласно распорядку, через двадцать минут нам надлежало собраться в кубрике на спецзанятия.

Если каюта командира напомнила мне купе, то кубрик по аналогии можно сравнить с плацкартным вагоном. Раздвинуть немного коридор, вместо окон — кругляки иллюминаторов, поставить посре-

дине стол — вот и кубрик. В общем, жилплощадь такова, что, куда ни двинься, даже самым худющим и поджарым матросам вдвоем не разойтись, не зацепив друг друга бляхами.

В кубрик спустился капитан-лейтенант, встретивший меня у трапа. Был он в тужурке и потому выглядел еще менее внушительно. К своему удивлению, я заметил у него на груди орденскую колодочку. Воевать не воевал, а уже отличился. Впрочем, рассудил я, много сейчас наград и не за военные подвиги. Матрос, сидевший рядом, толкнул меня в бок:

— Знакомы? Нет? Помощник командира. Первый во всем дивизионе спец по правовому режиму.

Но я смотрел уже не на помощника, а на Афанасьева, который услужливо развертывал карту.

— Территориальные воды,— начал капитан-лейтенант и провел указкой по красному пунктиру на карте,— это морская полоса определенной ширины, проходящая вдоль материка и островов, которая находится под суверенной властью прибрежного государства и составляет часть его территории.

Указка еще проползла по каемке вдоль нашего берега.

— Советский Союз и большинство социалистических государств установили двенадцатимильные территориальные воды... заход иностранных военных кораблей в территориальные воды допускается лишь по разрешению государства, которому они принадлежат.

— А если не попросят разрешения? — вырвалось у меня.

— Прежде, чем задать вопрос, надо поднять руку. Это знает любой первоклассник,— не меняя прежнего тона и не взглянув на меня, сказал капитан-лейтенант.

Я сконфузился, а матросы, сидевшие впереди, сочувственно оглянулись.

— Иностранные военные корабли,— бесстрастно продолжал капитан-лейтенант,— и невоенные суда, преднамеренно зашедшие в территориальные воды прибрежного государства... считаются нарушителями государственной границы.

Капитан-лейтенант сделал паузу и оглядел матросов.

— Старшина второй статьи Афанасьев! Каковы действия пограничников в случае нарушения границы иностранным военным кораблем или судном?

Афанасьев выпрямился пружиной и заученно отчеканил:

— Командование военно-морских сил и пограничные власти вправе предложить иностранному военному кораблю или судну, нарушившему государственную границу, немедленно покинуть территориальные воды и в случае невыполнения этого требования принять необходимые меры вплоть до применения силы.

— Правильно,— одобрительно кивнул капитан-лейтенант.

Как все, оказывается, просто и буднично — права, режим погранзоны. Любой из матросов лучше, чем таблицу умножения, знает свои обязанности. Все параграфы эти мы проштудировали еще на берегу. Здесь-то, на корабле, зачем эта казуистика? Но как в том каламбуре: «Читай устав, совсем устав, и утром, ото сна восстав, читай усиленно устав». И перед глазами всплыла швабра: вперед — назад, вперед — назад.

В кубрике становилось душно, и он показался мне еще теснее. В открытый иллюминатор проглядывал серенький кружок моря. Он был неподвижным, словно прилепленным к стене. И робы на матросах выглядели под стать серому кружку моря — застиранные и мятые.

В этот день я еле дождался часа, который в распорядке обозначен как «личное время». Личное... Выходит, все остальное время общественное, так сказать, принадлежит государству. А личное — это уже, считай, частная собственность. В личное время я могу быть предоставлен сам себе.

Лично я решил написать письмо. Песня, что ли, меня настроила?

Матрос с конопатым лицом — мы еще не успели познакомиться — достал «хромку», и в кубрик, словно водопадом по трапу, хлынула мятная свежесть подмосковных вечеров. Песня, которую уже редко вспоминают даже на свадьбах, зазвучала здесь по-новому, другими нотками откровения и грусти.

И как будто прищемило что-то внутри, невидимой тонкой струной душа отозвалась на знакомый мотив. Есть же песни! Я сравнил бы их — пусть грубовато — с аккумуляторами, в которых таятся воспоминания.

Вот такая тульская «хромка» провожала меня на флот. В центре компании оказался Борис — друг детства, закадычный кореш юности. С тех пор, как в четвертом классе мы случайно оказались за одной партой, нас, как говорится, не разольешь водой. Не знаешь, где я,— найди Борьку; не знаешь, где Борька,— найди меня. Неправда, что дружба держится на равноправии. Я признавал превосходство Бориса. И не потому, что он ростом повыше и в плечах пошире. Нет. Унижения я никогда не испытывал. Он на голову выше меня в другом — во взгляде на жизнь. Все у него просто и понятно. Вот так некоторые ученики начинают решать задачки с ответа. Посмотрят в конце задачника результат и к нему подгоняют решение. У Бориса ответов всегда больше, чем вопросов. И хотя мы с ним ровесники, Борис в нашей дружбе старшинствовал при полном моем уважении.

И тогда, на прощальном вечере, верховодил Борис. Он притащил с собой «маг»: «Последний крик джаза! Внимание, последний раз в сезоне!» Борис это умеет. Он и дурачится как-то изящно. В общем, была музыка, может, и впрямь самая современная, но не было общей песни, и компания разваливалась. Тогда отец достал из старенького футляра нашу семейную реликвию — вот такую же, как у матроса, «хромку». Отец купил ее в день, когда родилась моя старшая сестренка. И нет радостнее звука, чем голос этой гармони, потому что гармонь, как известно, достают только в час веселья.

Но в тот вечер даже самые быстрые ее переборы звучали для меня прощально. Борис, наверное, это заметил. И тут оказался на высоте. «Начинаем концерт,— крикнул он,— по заявке будущего матроса, а возможно, и адмирала! «Вечер на рейде» исполняют сестры Тимошины» (это мои сестренки). А когда

молодая соседка — ее муж служит моряком где-то на Балтике — спела частушку, ею же сочиненную:

Ой ты, Паша дорогой,
Передай мому привет!
Еще раз я повторяю,
Паша, слышишь или нет? —

Борис завертелся вприсядке волчком. «Закрываю грудью амбразуру! — загорланил он.— Кто следующий?» Я понимал, что он старается из-за меня, чтобы как-то растормошить меня, улучшить мое настроение.

Я сидел рядом с матерью, которая поминутно прикладывала к мокрым глазам платок, и безуспешно старался ее подбодрить.

А Борис уже разливал по стопкам вино и провозглашал очередной тост: «За тех, кто в море!» И тянулся чокнуться со мной. Но и звон стопок звучал для меня тоже прощально. Понимал ли Борис, что грущу я не только потому, что пришел час расставания с домом, семьей? Я думал о том, что хотя мы с ним и вместе, но уже далеко друг от друга. Куда было бы легче, если бы провожали сейчас нас обоих! Вещмешки за спину — и вперед! Вперед, друзья!

Говорят: «друг детства». Правда, так формулируют взаимоотношения спустя годы, когда становятся взрослыми. И фраза эта как бы подчеркивает, что не настоящий, мол, друг, не сегодняшний, а «друг детства», ибо чаще всего друзья детства становятся бывшими.

А в детстве — просто друг. И нет ничего бескорыстнее дружбы двух голоштанных человеков. И нет никого сильнее их на всем белом свете. Еще крепче сдружила нас книжка про морскую пехоту. Мы с Борисом проглотили ее, можно сказать, в два приема: он — на уроке химии, я — на английском. Вот это дружба морская! Теперь под настроение мы чаще всего напевали песенку о том, как «дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской», о том, как «они, точно братья, сроднились, делили и хлеб и табак, и рядом их ленточки вились в огне беспрерывных атак».

И тем песенным пареньком, который упал под осколком снаряда, в моем воображении был, конечно, Борька. «Со мною возиться не надо! — он другу промолвил с тоской»,— это Борька шепчет мне спекшимися губами. «Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма...»,— чуть слышно говорит он, с тоскою глядя мне в глаза. «О смерти задумался рано, ходи веселей, Кострома!» — отвечаю я другу и, взвалив на расстеленную по снегу шинель, волоку его что есть силы к своим. Пули свистят, поземка свинцом сечет по лицу, но мы ползем, Борька и я, бойцы морской пехоты. Особенно мне нравились заключительные слова песни, благополучный конец: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки...» Одно время я так и звал Борьку: «Эй, Кострома!»

Дружба не удваивала, а удесятеряла наши силы. А незримые для других, только нами ощущаемые ленточки бескозырок вдохновляюще действовали в любом деле — то ли мы распиливали дрова, то ли учили уроки. Так и не заметили мы с Борькой, что выделились из компании сверстников. И наша независимость, особенно нетерпимая в школьной среде, стала мозолить глаза даже старшеклассникам — ни за сигаретами нас послать, ни одолжить «к слову пришлось, копеек тридцать — пятьдесят». Вскоре компания, предводительствуемая небезызвестным не только среди учителей, но и среди всех жителей Апрелевки Валькой Кавтуном, устроила испытание нашей дружбе.

Однажды после уроков нас подкараулили человек семь ребят, в сумерках их казалось еще больше.

— Здравствуй-здравствуй, — сказал, улыбаясь, Кавтун и вплотную подошел ко мне.— Большими, что ли, стали?

— Почему большими? — спросил я, недоумевая.

— Вот я и говорю: большим стал?— наступал Кавтун, словно не слыша моего вопроса. Толпа сдвинулась решительнее, и седьмым мальчишеским чувством я понял, что драка неизбежна.

— Полундра!— зашептал Борька, а я сделал шаг вперед и в сторону, уклоняясь от Кавтуна.

И в тот момент, когда я в боксерской стойке приготовился к защите, в этот секундной доли момент по моим глазам хлестнула молния — ударил не Кавтун, а парень, стоявший рядом с ним. Удар был неожиданным и потому сильным.

Дальше я соображал уже плохо. Помню только, что старался держаться к Борьке спиной — это мы с ним давно еще теоретически придумали: налетят — становись спиной друг к другу, и тыл обеспечен. Но его спины я почему-то не чувствовал — то ли нас уже разобщили, то ли Борька был сбит с ног. Я размахивал руками направо и налево, а компания Кавтуна казалась чудовищным спрутом, который так тесно обхватил, так зажал своими щупальцами, что стало трудно дышать. Когда щупальца разжались, я упал на спину: сзади кто-то подставил ножку. И первая мысль, скорее даже инстинкт: перевернуться на живот. Я закрыл голову руками.

— Хватит с него...— услышал я далекий, будто в воде пробубнивший голос Кавтуна.

Кто-то уже нехотя, так, для порядка, пнул меня в бок ботинком, и толпа удалилась.

Я поднял голову — было темно и так тихо, что даже позванивало в ушах. В этом звоне вдруг откуда-то зажурчал знакомый мотивчик, последняя строчка песни: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки!» «Борька, где Борька?»

— Борь, а Борь...— позвал я.

Никто не откликался. В ожидании непоправимой беды заколотилось сердце. Что с другом? Где он?

С быстротой киноленты память раскрутила происшедшее. Ну да, конечно! Я же слышал, как Борька шептал: «Полундра!» Потом... Потом он вдруг нырнул в темноту и пропал. Нет, не так. Он был где-то рядом, когда на меня навалился Кавтун и кто-то подставил подножку. Я упал...

Меня зазнобило, как только я представил, что случилось дальше. Да, я позорно лежал пластом, заслонив руками голову, а в это время на Борьку наверняка набросились все остальные. И вполне возможно, кто-то стукнул его чем-то покрепче. Запросто! Все они носят с собой «предмет самообороны» по принципу: «А у меня в кармане гвоздь, а у вас?»

— Борь, Боря! — снова окликнул я друга и не узнал собственного голоса.

Я обшарил вокруг кусты и канавы — Борьки нигде не было. «Трус,— сказал я себе,— трус. Человека убивали, а ты лежал, защищая никому не нужную голову». О, что бы я сейчас не сделал, лишь бы только увидеть Борьку!

Но вокруг было еще тише и пустынней, чем час назад. Лишь в траве маленьким сторожем этой тишины миролюбиво трещал кузнечик. Страх сопровождал меня на каждом шагу, и он становился тем сильнее, чем ближе я подходил к Борькиному дому. В окнах, несмотря на поздний час, ожидающе светились огни. В эти минуты я готов был на все. Я только не знал, что скажу Борькиной матери.

Я нажал на кнопку звонка и простоял довольно долго, пока за дверью не звякнул крючок. В темени проема белесо мелькнуло лицо и раздался Борькин басок:

— Пашка! Вот здорово!

Я не поверил ни ушам, ни глазам. Борька! Да, это он! Жив, цел, невредим! Я схватил его за руку и сжал так, словно мы не виделись целые каникулы, хотя расстались только часа два, от силы — три назад. Это было настоящее счастье.

— Крепко приложили они тебя?

— Ничуть! Даже ни одного синяка! — сказал Борька.— А ты-то как? Я гляжу, размахиваешь руками туда-сюда. А потом упал, и над тобой началось...

— Да подножкой свалили,— согласился я, оправдываясь.— Ты-то где был в это время?

— Так вот я и говорю,— горячо зашептал Борька, покашиваясь на дверь,— как они тебя свалили, я сразу рванул за милиционером. Прикокошат, думаю, и все тут. Но туда-сюда побегал, как назло, ни одного блюстителя. Вернулся на то место, где мы схватились, а там уже никого.

— Как же так,— перебил я,— меня-то мог увидеть, часа два там кружил, тебя искал.

— Да ведь темнота кромешная... хоть глаз коли,— сказал Борька почему-то не очень уверенно. И заерзал, оглядываясь на дверь.— Ты уж извини,

Паш,— сунул он руку.— Пока. До завтра. За столом меня ждут, гости приехали.

Я хотел попросить вынести хотя бы кружку воды — смыть с лица грязь, но раздумал. Обидно вдруг стало: вот захлопнул Борька дверь и даже не поинтересовался, а как, мол, друг, ты?

Пощупывая горячий, бугристый наплыв под глазом, я побрел домой.

Как хорошо все-таки, что в детстве после драки даже самые большие обиды проходят вместе с синяками и шишками! Еще месяц назад поступок Бориса (побежал, видите ли, за милиционером в ту минуту, когда меня, может, уже убивали!) казался кощунственным и непростительным, я готов был назвать его чуть ли не предательским. А сегодня мы опять вместе — помалкиваем, правда, но вместе. Пишем шпаргалки,— самые последние за все школьные годы, впереди выпускные экзамены. Перед лицом надвигающейся экзаменационной опасности мы, наверное, и помирились.

— Ну что, Кострома? — спрашиваю я, откладывая в сторону клочок бумажки, на котором бисерным почерком вышиты биография Льва Николаевича Толстого и образ горьковской Ниловны.— Перекурим? — И тут я вспоминаю про песню, которая совсем еще недавно была нашей любимой,— о моряках из морской пехоты, что делили пополам и хлеб и табак. После той памятной драки с кавтуновской компанией мы ни разу ее не пели. Не поется. Может, потому, что впереди экзамены.

Впереди! Пока ходишь в школу, все у тебя впереди. И вдруг с последним экзаменом позади оказываются сразу десять лет. Нейтральной полосой между этими гигантскими десятью годами, когда ты от первых складов в букваре вырос до логарифмов и чуть ли не до теории Эйнштейна, лежит всего лишь один месяц — пряный, как мята, июль. Месяц ослепительного полета — позади школа, маленький космодром детства. Месяц невесомости: ты уже не школьник, но еще никто. И единственная штурманская карта — «Справочник для поступающих в выс-

шие учебные заведения». Сколько неведомых планет, сколько звезд, до которых нелегко, почти невозможно долететь!

Наша с Борькой звезда — МГУ, факультет журналистики.

Почему именно МГУ и этот факультет? Не знаю. Ткнули пальцем в звездное небо. Спроси любого из двух миллионов ребят, ежегодно оканчивающих среднюю школу, почему выбран тот или иной вуз,— многие не дадут вразумительного ответа. А кто говорит о призвании — не верит сам себе.

Мы не думали с Борькой, что журналистика — наше призвание. Просто нам казалось, что быть журналистами — это здорово: ездить по стране, по зарубежу, много видеть и писать в газету. И еще, как ни говори, журналист — это и немного славы: твои очерки и статьи читают миллионы людей, знают тебя по фамилии. П. Тимошин, наш корреспондент. Или Б. Кириллов, наш собственный корреспондент. В общем, мы и понятия не имели о трудностях этой профессии.

И мы взяли курс к своей звезде. До нее было совсем подать рукой — сорок два километра на электричке от станции Апрелевка до Москвы и три остановки на метро: Смоленская, Арбатская, Калининская. Еще несколько десятков шагов до проспекта Маркса, и — плакат у входа на факультет: «Добро пожаловать, будущие журналисты!»

Вот по этим ступенькам поднимался когда-то Белинский, вот на этом подоконнике, говорят, любил сидеть задумчивый Лермонтов. А вот эти стены слышали Герцена и Огарева. А теперь и мы след в след, стопа в стопу за этими гениальными и великими. И никто, между прочим, не мешает нам быть такими же, как они.

Признаться, я все больше и больше робел, пока легендарным коридором мы добирались до приемной комиссии. Конечно, о призвании — что говорить! Но в МГУ мы пришли не с пустыми руками. К этому времени кое-какой газетный багаж нами все-таки был накоплен. Спасибо районной газете — на суд маститым журналистам приемной комиссии я мог представить целых три заметки: о сборе нашей шко-

лой металлолома, о массовом гулянье в дубовой роще и об экскурсии на Апрелевский завод грампластинок. У Борьки было несколько заметок о футбольных встречах местных команд и большое стихотворение, посвященное Первомаю, из которого мне очень нравились строки: «И ветер зори в пламя разжигает».

Пожилой лысоватый мужчина с гладким булыжниковым лбом мельком глянул сквозь очки на наши документы — газетные вырезки он словно не заметил — и направил к секретарю, милой девушке.

Будь что будет! Абитуриент — это звучит гордо! Надо уважать абитуриента! Мы постояли в древнекаменных воротах, которые вели в новый, неведомый мир, и, не сговариваясь, повернули вниз по проспекту, к Москве-реке. Здесь, может быть, впервые за все лето я ощутил шелест листвы над головой и холодок речного дыхания. Это был редкостный по настроению час, который никогда не забудется. Мы не знали, что через две недели придем сюда совсем другими, тот день, когда у нас приняли документы, будет вспоминаться как давным-давно прошедший праздник.

Мы срезались на сочинении. А сколько сделали ошибок, так и не узнали. Да и какое это имело значение! Таких, как мы, набралось человек тридцать — сорок, и все столпились у списка, на котором ровным столбиком красовались фамилии получивших «неуд».

— Вот и опубликовались! — грустно сострил кто-то.

Да, вот тебе П. Тимошин, Б. Кириллов.

Не знали мы тогда, что ошибки в сочинении — это еще не ошибки в жизни. И что не орфография с пунктуацией преградили нам путь в журналистику. Родственная труднейшим земным профессиям, она, вероятно, требует чего-то большего, чего у нас пока не было ни в аттестате, ни за душой.

— Что же поделать,— сказал я Борису, успокаивая себя,— через годик придется делать второй заход. Все-таки получили практику... Главное, чтоб вместе держаться. На завод поступим. Со стажем,

видел,— почет и уважение! А школьников, может, специально отсеивают...

— Через годик? — хмыкнул Борька и посмотрел на меня, как на ребенка.— Да через годик нас с тобой как миленьких забреют в армию. Вот и будем там: «Ать-два!». И получится, что завернем сюда уже через два, а то и три года.

Борис докурил частыми затяжками сигарету, прикурил от нее другую и сощурился то ли от дыма, то ли так, в раздумье.

Я пожал плечами, но не стал спорить, хотя слова Борьки меня удивили. О том, что если не поступим в университет, то осенью пришлют из военкомата повестки, я знал и без него. Здесь он мне Америку не открыл. Больше того, меня нисколечко не пугал такой оборот дела. В армию пойдем вместе. Представить только — в один полк, в одну роту, в один взвод! Вот уж когда рявкнем: «Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской!» Пусть попадем в обычную пехоту. Хотя лучше бы заявиться в родную Апрелевку моряками: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях!»

— А ты знаешь, что сегодняшняя армия — это сплошная техника? — попытался я хоть чуть пошатнуть Борькину логику.

— Знаю,— усмехнулся Борька,— даже больше, чем техника. Кругом сплошная электроника и кибернетика... В общем, ты как хочешь, а я буду что-то предпринимать.

Я не узнавал Борьку. Откуда это — «ты так», «а я так». Я вдруг сразу вспомнил ту, давно забытую драку.

Мы отчужденно попрощались. И не виделись больше месяца. Бывает же: дома̀ наши на одной улице, да и Апрелевка не Москва, а вот столько времени будто играли в прятки. Зайти же друг к другу запросто, как раньше, никто из нас не решался.

Это была старая игра: мы ждали друг друга — кто первый. На этот раз уступил Борька.

Он вошел празднично сияющий, громко поздоровался, чтоб слышали все, кто дома, а не только я, сунул руку в боковой карман пиджака и, достав темно-синюю книжицу, шлепнул ею о стол.

— Можешь поздравить! Зачетная книжка студента.

Да, это была зачетка с Борькиной фотографией и крупной надписью: Московский технологический институт пищевой промышленности. Механический факультет.

— Вот так! — сказал Борька, перехватывая мой взгляд.— Надо уметь!

— Что хорошо, то хорошо,— сказал я, не очень-то обрадованный, но с завистью: студент есть студент.— А почему в пищевой?

Борька ждал этого вопроса. Конечно, ждал. И молча посмаковав ответ, сказал:

— Все работы, Паша, хороши, люди всякие важны. Разве ты забыл рекомендации Владим Владимыча своим потомкам? — Он неторопливо положил зачетку в карман и добавил: — Чем, по-твоему, этот институт хуже МГУ? Пища — это же, как известно, энергия всего живого. И потом — бытие определяет сознание. Что же касается специальности, то и она вполне современна: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов. Чем не кибернетика?

В общем, Борька был прав. И я с грустью подумал о том, что, возможно, поторопился подать заявление в отдел кадров завода с просьбой принять учеником токаря в механический цех. Агитация отца сработала безотказно. «Не вешай носа,— говорил он мне,— не распускай нюни. Все к лучшему. На заводе научишься молоток держать, в армии — винтовку, глядишь — человек. А диплом — так это ведь только приложение к умной голове».

И правда, у нас в семье насчет службы в армии никогда не было дебатов. Это считалось само собой разумеющейся, неотъемлемой частью биографии. Первый класс, прием в пионеры, вступление в комсомол. Помнится, приехал я из райкома — только что вручили комсомольский билет,— вошел в дом, смотрю — на столе дымятся пироги. «Это по какому поводу?» — спрашиваю мать. «Как по какому? — изумилась она.— Тебя же в комсомол приняли!»

И вот тогда, на проводах в армию, сквозь материнские слезы я не мог не заметить в ее глазах ра-

дости и гордости: «Вырос сынок. Вот ведь дожила — в армию провожаю!» А отец, так тот, кажется, помолодел лет на десять. Весь вечер не выпускал из рук гармони и сам запевал все солдатские песни. А были среди них и такие, что мы сроду не слышали — видно, держал их отец про запас, до заветного случая.

Гости долго не расходились. Уже к полуночи подвигались стрелки часов, когда подошел ко мне Борис и шепнул с загадочным видом:

— Выйди на минутку, ждут тебя.

Я сбежал с крыльца, и на меня пахнуло осенним садом — терпким ароматом яблоневой листвы и дымком погасших костров. За калиткой — я и не узнал сразу — стояла Лида Зотова, одноклассница.

— Ты чего? — спросил я громко и, наверное, очень грубо.

— Вот,— сказала она,— возьми сюрприз.— И протянула конверт.— Только с условием: откроешь, когда переоденут в форму.

Я положил конверт в карман, забыв поблагодарить.

Мы стояли молча. Светло-желтым вымытым плафоном висела луна. И тени падали так резко, что Лидин профиль казался нарисованным тушью. Он так и врезался в память — на фоне темной рябиновой ветки. Чем пристальнее вглядывался я в этот профиль, тем неузнаваемее становилось для меня ее лицо. А может быть, сейчас, в темноте, я разглядел в нем то, чего ни разу не видел днем.

— А нас вот в армию не берут,— сказала Лида.

Вот и все, что она сказала.

Рабочая наша Апрелевка уже спала крепким сном. Только электрички невидимо гремели по рельсам в ночи.

Дорожка света метнулась под ноги — это Борис, распахнув дверь, вышел к нам.

— Извини, Паш!— сказал он, зевая.— Мне завтра, то есть сегодня, вставать чуть свет.— Зовут тебя посошок на дорожку выпить.

-- Ну, до свидания, пойду я,— смутилась Лида и застучала каблучками вдоль палисадника.

Последним жал мне руку Борис.

— Пиши,— повторил он,— главное, пиши чаще. Письма разряжают нервы. Это я в хорошей книжке вычитал. Письмо написать — все равно что с другом поговорить. А кто тебе друг, если не я. Да! — спохватился он.—Чуть не забыл.— И, порывшись в портфеле, вытащил пакет.— Держи! Финский почтовый набор. Хватит на целых полгода — и бумага в линеечку.

Уже укладываясь спать, я вспомнил про Лидин сюрприз и вскрыл конверт. В нем оказался другой, поменьше.

«Как не стыдно! — прочитал я.— Ведь просила же открыть, когда переоденут в форму. Так и знала, что не удержишься. Целую, Лида».

...Вечер будто вчерашний, а я уже не на Апрелевской улице, а в кубрике. Интересно, где в эту минуту Борис?

Письмо первое

«Борька, дружище, привет!

Извини за долгое молчание, но о чем было писать? О том, как перед назначением на корабль занимался строевой подготовкой? Представляешь, учились заново ходить.

«То,— говорит мичман,— чему вас мама научила, когда вам было по десять-одиннадцать месяцев, забудьте. Выше ножку! Шагом марш!» И вот мы маршировали с утра до вечера. «Разом-кнись! Сомкнись!» Правда, занятия по специальности давали кое-какую отдушину. Тут начинал вспоминать, что ты все-таки мыслящая личность и не зря долбал физику и логарифмы. Но это как солнце среди обложного дождя. В остальном же от подъема до отбоя как белка в колесе — бежишь, бежишь, а все на одном месте.

Сильно я надеялся на изменения, когда попаду на корабль. Ладно, думаю, выдюжу, зато потом «соленый ветер в грудь, счастливый путь!». Но вот я на корабле, и опять почти все то же. И тут от швабры не убежал.

Командир корабля — как все командиры, ничего особенного. Не отважный капитан, не объездил много стран. Была у меня с ним встреча. Странный какой-то. Цветы в каюте. Представляешь, в двух котлах — их здесь называют лагунами — охапки живых астр.

Ох, и удивился он, когда узнал, что я с пятьдесят второго года рождения. И что тут позорного? Да, с пятьдесят второго. Не мы с тобой виноваты, что все эпохальные события состоялись или до нашего появления на свет, или застали нас в младенческом возрасте.

Мы родились через семь лет после того, как над фашистским рейхстагом взвился красный флаг. А даты гражданской войны нам давались с таким же трудом, как войны из истории Древнего Рима. Мы учились всего лишь во втором классе, когда в космос пробился первый человек нашей планеты — Юрий Алексеевич Гагарин. «Да, ничего не поделаешь,— сказал мне командир,— эпоха шьется на вырост...»

Как это прикажешь понимать? Быть может, он примерил мой возраст к своему и увидел, какой я салажонок? Но ведь и они — не Нахимовы и не Ушаковы. И жизнь их — простая проза: в дозор — из дозора. Попахал море, поел — и спать. А служба идет.

Какая уж тут романтика! Серость! Здесь даже моря-то по-настоящему не видят. Сплошные приборки, прокручивания механизмов и политзанятия.

По-честному, Борька, завидую я тебе. Институт, науки.

Мне же остается ждать, пока пройдут эти годы. Правильно говорится: «Красиво море с берега, а корабль — на картинке». Сам лучше пиши мне почаще. Знаешь, как дорога здесь каждая весточка.

Привет всем знакомым, кого встретишь, обнимаю, твой Павел».

Я полез в рундук за конвертом и наткнулся на карманный календарик, заложенный между страниц книги. Медленно и тщательно, растягивая удо-

вольствие, я не перекрестил, а заштриховал на календарике первый свой корабельный день, благо компот был давно съеден. Незаштрихованных клеток оставалось столько, что и считать-то их было бессмысленно.

После отбоя я лежал на койке и, ворочаясь с боку на бок, ощущал под собой похрустывание пробкового матраца. Конопатый парень-гармонист уже безмятежно посапывал на соседней койке. За стальной переборкой шуршала волна, будто в дверь царапалась кошка. На меня немигающим оком тревожно смотрела синяя лампочка дежурного света.

2

Меня никто не будил — это точно. Но какая-то непонятная сила словно подтолкнула койку, я вскочил, не открывая глаз, потянулся за робой и только тут услышал частые, торопливые звуки ревуна.

— Скорее в рубку! — крикнул Афанасьев и рывком взлетел по трапу. Я кинулся за ним.

— Боевая тревога! Боевая тревога! — раздалось из динамика.— Корабль к бою и походу приготовить!

Знакомый и незнакомый голос. Жесткий, требовательный, повелевающий.

Я втиснулся в рубку и не сразу узнал Афанасьева. Он сидел в наушниках и берете, будто впаянный в кресло. Только руки — в непрерывном движении от кнопки к кнопке, от рычажка к рычажку. Мне показалось даже, что он как-то сразу осунулся — на скулах обозначились желваки, губы сжаты, а взгляд неотрывно нацелился в экран локатора: он уже светился, и по кругу нервно бегала зеленая стрелка луча.

Афанасьев снял наушники и кивнул мне, будто только что увиделись.

— Садись рядом, будешь помогать...

Злопамятный или нет? Наблюдая за проворными движениями его рук, на ощупь находящих нужный рычаг, я устыдился вчерашней вспышки. Нет, навер-

но, не за здорово живешь нацепили Афанасьеву лычки.

А из динамика раздавался все тот же отрывистый, энергичный голос, отдающий приказания.

— Кто это? — спросил я Афанасьева, показав на динамик.

— Командир, конечно...— И он взглянул на меня с недоумением.

Неужели командир? В спокойных металлических фразах, что доносились из динамика, я еще многого не понимал. Да и относились они сейчас к тем, кто на верхней палубе готовился к съемке со швартовов. Но этому голосу сейчас внимало все.

Я силился представить командира на ходовом мостике таким, каким видел в каюте, и не мог. Такой голос должен принадлежать совсем другому человеку. На его приказания незамедлительно, будто эхо, отзывался каждый отсек, каждая рубка. Мне даже представилось, что командир и корабль сейчас — одно целое. И не капитан III ранга склонился над переговорной трубой, а весь корабль, вибрируя, говорит его голосом.

— Убрать носовой!

Всю торжественность минуты, когда военный корабль отходит от пирса, доводится испытать лишь тем, кто стоит на верхней палубе. Но таких немного, ведь пассажиров на боевом корабле не возят. А в иллюминаторы ничего не увидишь: они задраены по-походному. Я даже слышал легенду о том, как один машинист, пять лет прослуживший на флоте, ни разу не видел моря. Преувеличено, конечно. Но и я в эти минуты, о которых столько мечтал и которых с таким нетерпением ждал, сидел в тесной рубке и про себя чертыхался. Как царевич Гвидон в бочке — ни охнуть, ни вздохнуть.

Единственным «окошком» для нас с Афанасьевым был экран локатора.

Когда легли на курс, в рубку заглянул капитан-лейтенант:

— Значит, теперь в четыре глаза будем видеть!

— Так точно! — польщенно ответил я за двоих

— Куда уж точней! — засмеялся капитан-лейтенант и, поглядывая на экран, продекламировал как

бы невзначай: — «Уходят в море мальчики, приходят в порт мужчины...»

— Смотрите повнимательней,— сказал он, уходя. И добавил, подумав: — Выдастся свободная минутка, покажу вам штурманскую прокладку.— И захлопнул дверь рубки.

— Мне покажет? — переспросил я Афанасьева.

В наушниках он меня не услышал. На экране локатора белесой полоской таял берег. Мы шли на линию дозора.

Что такое граница? Всякий представляет: зелено-красные полосатые столбы с Гербом Советского Союза. Они неприступно стоят и в барханах пустынь, и в непролазной чащобе леса, и среди снеговых горных отрогов.

Граница морская — это волны и небо вокруг. Двенадцать миль от берега, что равняется примерно двадцати четырем сухопутным километрам,— воды наши. Дальше нейтральные. Пограничных столбов здесь, конечно, нет. Но моряки их «видят» и на штормовых кругах и на глади штиля. Морская граница — это тонкая линия на штурманской карте.

Капитан-лейтенант сдержал свое обещание.

— Вот линия государственной границы,— сказал он, развернув карту. Циркуль зашагал своими игольными ножками по пунктиру, отмеряя мили.— А вот мы.

На автопрокладчике курса мы выглядели светящейся точкой, которая медленно ползла по карте. Вот таким образом, наверно, видят себя на орбите космонавты.

В масштабе карты мы — точка. В масштабе моря, если глянуть из ходовой рубки, увидишь сверху весь корабль и кипящий бурун за кормой, который о скорости говорит больше, чем счетчик лага.

— Ясно? — спрашивает капитан-лейтенант, отчеркивая карандашом линию.

— Ясно,— отвечаю я. «Хорошо бы,— думаю,— еще здесь, наверху постоять».

— Ну, а коли ясно, марш на боевой пост,— мягко приказывает капитан-лейтенант.

Наш с Афанасьевым боевой пост — глаза корабля.

— Как на рентгене,— говорю я, показывая на мерцающий экран локатора.

— Похоже,— соглашается Афанасьев.

Зеленый луч кружит по экрану, обнажая невидимое. Нарушителя не укроют ни ночь, ни туман. И если непрошеный гость перейдет запретную черту — тот самый тонкий пунктир на карте,— тогда «Полный вперед!» на сближение. А на мачте нашего корабля взовьется сигнал-приказ: «Застопорить ход, лечь в дрейф!»

Обо всем этом как бы пóходя, не отрывая от экрана взгляда, мне рассказывает Афанасьев.

— Бывает, что нарушители не останавливаются,— продолжает он.— Вроде бы не видят и не слышат. Тогда — в погоню. От нас далеко не уйдешь. На судно-нарушитель поднимается осмотровая команда. Выясняем причину столь неожиданного визита. Мирных отпускаем с миром, а чужака пограничник видит издалека.

Я смотрю на экран и думаю: «Вот бы попался пусть хоть самый паршивенький, но нарушитель».

В динамике щелкнуло, и вновь раздался знакомый голос:

— Свободным от вахты построиться на верхней палубе.

Я вопросительно взглянул на Афанасьева. «Это и тебя касается»,— показал он мне глазами и опять уставился на экран.

Выйдя на палубу, я увидел, что корабль резко сбавил ход. Сейчас он шел, наверно, «самым малым». Вода, разрезаемая форштевнем, не кипела, а расходилась плавным клином. На малом ходу ощутимее была и качка — корабль переваливался по отлогим буграм зыби.

Свободные от вахты матросы, а их оказалось немного, стояли шеренгой спиной к борту. Я пристроился на шкентеле, рядом с конопатым гармонистом.

— Не знаешь, зачем это? — спросил я его.

— Тише вы там! — оборвал нас кто-то с правого фланга.— Командир идет...

Наш малочисленный строй шевельнулся и замер, без команды приняв стойку «смирно».

Командир медленно шел по палубе и нес на вытянутых перед собой руках что-то белое. Цветы! Я не поверил своим глазам. Но это действительно были цветы, те самые астры, которые в лагунах стояли в командирской каюте.

Это что еще за номер! Не иначе у кого-нибудь день рождения. И вот вам, пожалте, букетик.

Но, когда командир поравнялся с нашей шеренгой, я увидел, что ошибся. На небольшой деревянной подставке лежал венок. Белый, будто из пышного морозного кружева, переплетенный алой лентой.

Венок! А это зачем? И я почувствовал, как по спине под бушлатом ознобисто пробежал холодок.

Командир передал венок матросу, стоящему правофланговым, и повернулся лицом к морю. Стало так тихо, что, казалось, остановились винты. Только было слышно, как позванивает о форштевень волна. И флаг отщелкивал на ветру над головами.

Матрос подвязал под деревянную подставку фал — теперь венок был как на маленьких качелях — и вместе с командиром подошел к борту.

— Смирно! — как-то приглушенно скомандовал командир.— В память моряков «Стремительного», отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, флаг приспустить!

Флаг дрогнул и чуть-чуть спал. Командир снял фуражку.

— Возложить венок!

Матрос стравил фал, и венок, словно на плотике, невесомо закачался на волне.

С минуту мы еще постояли в строю и вдруг, не сговариваясь, ринулись к борту.

Венок плыл рядом. Но вот его чуть подкинуло, он скользнул за корму и превратился в один большой цветок астры, который лежал как бы на живом, бугристом граните моря.

Командир стоял задумчиво, не надевая фуражку. Казалось, он совсем забыл о нашем присутствии. Прижатые друг другом к леерам, мы, не двигаясь, глядели вслед уплывающему венку до тех пор, пока за гребнем волны он в последний раз мелькнул белой звездочкой.

— По местам! — кратко сказал командир.

А еще через минуту мы услышали властное и стремительное:

— Полный вперед!

Вдоль линии дозора корабль ложился на боевой галс.

Письмо второе

«Борис, привет! Мы — в море. Я уже отстоял первую боевую вахту. Правда, дублером. Это совсем не то, что дублирующий состав футбольной команды. В любую минуту можешь оказаться в основном составе. Но вряд ли тебя заинтересует наша вахта у радиолокационной станции — день-деньской и темной ночью торчим с Афанасьевым у экрана. Тут романтики, сам понимаешь, никакой. Да обо всем и не напишешь.

Но вот, Борька, присутствовал я на ритуале, о котором, наверно, век не забуду! Это был ритуал почести погибшему кораблю.

Представь себе: идем, идем морем, и вдруг «Малый ход!» Выстраиваемся на палубе. Для чего бы? Оказывается, на этом месте когда-то погиб корабль. И вот мы, возможно, над ним. Это все точно рассчитано на штурманской карте.

Командир выносит венок из белых астр, приспускается флаг. И венок уже на волне.

Это ли не романтика, а?

Где-то на дне морском вечным сном спят матросы-герои. Может, они так и замерли на своих постах — кто у руля, кто у орудий. А над ними — густым синим небом километровая толща воды. И вот мы, которых в то грозное время даже не было на свете, идем теми же боевыми курсами.

На море не ставят обелисков, и мы спускаем венок. Матросы даже песню сочинили об этом. Она называется «Точка». Вот припев, послушай:

Ее без карт находят капитаны,
Всем морякам известна точка та.
Качается, плывет венок багряный,
Сердца людей — той точки широта
И вечное бессмертье — долгота.

Да, Борис, были люди... Кто они? Я только узнал, что название корабля — «Стремительный». Красивое, правда? Мне он представляется «Варягом» — огромный стальной корабль, гроза фашистов. И вот, наверно, так же, как «Варяг», бился с целой эскадрой до последнего патрона, до последнего снаряда.

Мелковаты мы на этом фоне, что и говорить. Идем себе в дозоре и высматриваем нарушителей. Но кто сейчас осмелится? Нос побоятся сунуть!

Ну, вот опять команда: «Очередной смене на вахту!» Придется письмо прервать, допишу потом».

3

Какое сегодня число? Я достаю записную книжку и нахожу календарик. Вот «крестик» на первом компоте. И тут я с удивлением замечаю, что остальные дни забыл отмечать — значит, просто-напросто перестал считать компоты.

Все эти дни и ночи мы бороздим море вдоль линии дозора. И сутки поделены не обычными понятиями — утро, полдень, вечер, а командами, которые воспринимаются не только слухом, но всем телом, готовым по приказанию бодрствовать или отдыхать. «Очередной смене приготовиться на вахту!» И ты уже на ногах. «Очередной смене на вахту!» И ты на своем боевом посту. «Подвахтенным от мест отойти!» И ты снова в кубрике.

Я роюсь в рундуке, ищу конверт, чтобы написать Борису. Торопиться, впрочем, некуда. Вот на месте и первое письмо, которое не успел отправить с берега, и второе — отсюда послать невозможно, ибо пока что нет почтальонов, бегущих по волнам.

Третье письмо я мысленно пишу уже не один день. Я думаю о нем и на вахте, и на камбузе, и в кубрике — везде. Нет, не о письме думаю, я стараюсь выяснить, что произошло на том месте, где мы опускали венок. Всех, у кого можно было расспросить, расспросил. И, наверное, всем уже надоел со своими вопросами.

Письмо третье (ненаписанное)

«Так вот, Борис, о «Стремительном»... О той самой широте и долготе, что красным флажком отмечена на штурманской карте... А было это так.

В конце сорок первого года приморский город, где базируются наши корабли, выглядел совсем иначе, чем сейчас. Не было такого дома, которого не коснулась бомба или снаряд. И страшная стояла жара — от непотухающих пожаров. Почти все жители эвакуировались, и город превратился в бастион. На окраинах уже завязывались бои, и все знали, что рано или поздно сюда ворвутся фашисты.

И вот однажды, после очередной бомбежки, у разрушенного дома моряк увидел плачущего мальчишку лет восьми-девяти.

— Тебя как зовут? — спросил моряк.

— Лешка...— всхлипнул мальчишка, размазывая слезы.

— А где ж твоя мамка?

Сбивчиво мальчишка рассказал, что, когда началась бомбежка, мать отвела его в бомбоубежище, а сама зачем-то вернулась в дом.

«Без матери остался пацан»,— понял моряк.

— Ну вот что, Лешка, меня зовут дядя Петя.— Он протянул широкую, в пороховых крапинках ладонь и пробасил, озорно блеснув глазами: — Хватит ныть. Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Пошли со мной,— сказал моряк,— в порт.

(Я это вижу совершенно отчетливо, как на экране. Нет, даже ярче. В контрастных цветах: в черном — дым над городом, багровом — пламя и стальном — плиты тротуара, по которому, хрустя разбитым оконным стеклом, движутся два силуэта. Один в бушлате — саженьи плечи и ленты бескозырки вразхлест. Другой — в куцем пальтеце семенит рядом, взъерошенным вихром касаясь автоматного приклада.)

— Пришли,— сказал моряк.— Давай прощаться.

— Как прощаться? — У Лешки сжалось сердце.— А разве мы не вместе?

— Нет,— ответил моряк и застегнул Лешке верхнюю пуговицу, как это делала мама, провожая на улицу погулять.— Ты поплывешь на теплоходе. Видишь,— показал моряк,— белый стоит, с красным ободком на трубе? А я поплыву вон на том сторожевике. Это наш «Стремительный». Будем вас сопровождать. Охранять, значит... Ну, чего насупился? Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет...

Он проводил Лешку до самого трапа, объяснил что-то матросу, стоящему на пирсе, и тот согласно кивнул.

— До свидания, Лешка.— Дядя Петя сжал в своей шершавой, как наждак, ладони его ручонку.— Будет время, посмотри, я тебе со «Стремительного» флажками помашу.

Матрос, с которым разговаривал дядя Петя, устроил Лешку внизу, потому что на верхней палубе находиться не разрешали: в любую минуту могли налететь «юнкерсы».

Внизу было сумрачно и душно, словно в бомбоубежище. Да и пассажиры — женщины и дети, сидевшие на узлах и чемоданах,— напоминали тех, с кем Лешка и мать прятались в подвале во время бомбежек. Ребятишки хныкали, а женщины перешептывались, испуганно прислушиваясь к грохоту береговых зениток.

Лешка не почувствовал, как теплоход отчалил от пристани и взял курс в открытое море. И он, конечно, не видел, что с правого борта на небольшом расстоянии пристроился «Стремительный». В полной боевой готовности, если налетят фашистские самолеты или атакуют торпедные катера.

(Как они проходили рейд? Ума не приложу. Ведь буквально на каждом шагу подстерегала смерть. Кто-то рассказывал, что плотность заграждения в те дни на фарватере была 80 мин на километр. Считай, одна мина на 125 метров. Почти длина теплохода.)

Хоть на минутку, а Лешке удалось высунуться из люка. Смотрит — и правда, корабль дяди Пети совсем рядом. Сам чуть побольше катера, куда меньше теплохода! А резвый, только бурун за кормой!

Лешка никак не мог разглядеть, что за матрос стоит на мостике. По фигуре вроде дядя Петя, а может, не он? Но вот матрос замахал флажками. «Он!— обрадовался Лешка.— Конечно, дядя Петя мне машет!» Ведь ты моряк, Лешка! Мальчишка совсем было высунулся из люка и хотел уже выскочить на палубу. Но тут его заметил теплоходный матрос и крикнул:

— А ну, брысь вниз!

И Лешка скатился по трапу.

Сколько они плыли, Лешка не мог знать.

— Через полчаса будем дома,— сказал матрос женщинам, которые совсем уже пригорюнились. Все сразу зашевелились, как в вагоне перед станцией прибытия. И Лешка, глядя на пассажиров, повеселел. Он представил, как на берегу встретит его дядя Петя. И — почему бы и нет? — Лешка попросится на корабль «Стремительный». Возьмут! Если дядя Петя как следует попросит командира, конечно, возьмут! Юнгой. Правда, Лешке маловато лет. Но бывают же пятнадцатилетние даже капитаны. А в девять лет запросто можно поплавать юнгой.

Лешка... юнга! Дядя Петя закажет специально для Лешки маленький черный бушлат, маленькую бескозырку с маленькими лентами в золотых якорьках. И, может быть, сделают специально для Лешки маленький, но зато настоящий автомат. Тогда — берегись, фашисты!

Лешка так живо все представил, что сам себе поверил — а как же иначе! И, успокоенный, задремал.

Очнулся он от страшного грохота. Теплоход подбросило на волне, и Лешка почувствовал, что палуба накренилась. Лампочка погасла, и кто-то истошно закричал: «Тонем!» По трапу прогремели каблуки, и в свете вспыхнувшего карманного фонарика Лешка узнал теплоходного матроса.

— Спокойно, товарищи! — сказал он.— Ничего опасного, подходим к нашему берегу.

У трапа столпилась очередь. Лешка протиснулся к ступенькам и пробкой выскочил наверх. Здесь был еще день, и глаза сами зажмурились от солнца. Лешка подбежал к борту и остановился, оглядывая

рейд. Дяди-Петиного корабля почему-то не было видно. «Наверно, к другому причалу подошел, к военному»,— решил Лешка и стал с нетерпением ждать, пока матросы прилаживали трап. Лешке показалось, что делали они это как-то не так. Лица хмурые, словно матросы и не рады, что пришли наконец-то в порт.

Через минуту на причале стало многолюдно, как на вокзале.

Лешка начал опасаться, что в такой толпе дядя Петя его не найдет. «Спрошу-ка у теплоходного матроса»,— решился он и вернулся к трапу.

— Ты куда же смотался? — недовольно проворчал матрос.— Я же за тебя головой отвечаю.

— А где дядя Петя? — спросил Лешка.— «Стремительный»-то где?

Матрос пожал плечами, помолчал, почему-то вздохнул:

— В море дядя Петя, где ж ему быть...

Так Лешка больше и не увидел того моряка, что назвался дядей Петей. Прямо с причала забрала мальчишку детдомовская машина. Теплоходный матрос подсадил Лешку в кузов, помахал на прощание бескозыркой. И этого матроса он тоже видел в последний раз.

Машина долго ехала вдоль моря, и Лешка до боли в глазах всматривался в горизонт. Где-то там, далеко-далеко, над чешуйчатым отблеском волн миражем вставал перед ним «Стремительный», гордо разрезающий волны. А на мостике дядя Петя с красными сигнальными флажками: «Ведь ты моряк, Лешка...»

Но еще неизвестно, кем бы он стал, если бы много лет спустя не произошла неожиданная встреча со «Стремительным».

Десятиклассник Лешка Гренин сидел в читалке и готовился к штурму последнего экзамена. Для «разрядки» полистал свежий журнал. И вдруг далекой зарницей полыхнул в памяти тот день сорок первого года. На журнальном снимке был запечатлен корабль, горделиво несущий свою единственную мачту с флагом. Ну, конечно, это он, «Стремительный»! Над фотографией крупный заголовок «Подвиг

не померкнет в веках» и короткая заметка. Короткая, но оглушительная, как взрыв. Точнее, это было эхо взрыва, который прогремел над морем в тот военный день. А еще точнее, того самого, что был услышан маленьким Лешкой на теплоходе.

Вот что произошло за несколько минут перед тем, как Лешка почувствовал, что палуба сильно накренилась и в трюме погасла лампочка.

(Я это так вижу, словно сам стою на палубе теплохода вместо матроса, который запретил Лешке высовываться из люка. Даже больше, я нахожусь сразу на двух кораблях: на теплоходе и на «Стремительном», рядом с командиром и сигнальщиком Петром Семыниным, то есть дядей Петей.)

Наш берег был уже виден. Далеко, на кромке горизонта, темнели метелочки деревьев и казавшиеся игрушечными портовые краны. Четыре мили, не больше, оставалось до родного причала. И вдруг сигнальщик «Стремительного» крикнул: «Слева по борту — перископ подводной лодки!» И еще через минуту: «Слева по борту — торпеда!»

С этого мгновения время измерялось только секундами. Может быть, десять, может быть, пятнадцать секунд понадобилось, чтобы принять единственно правильное решение.

Торпеда неотвратимо неслась к теплоходу. Ее видели все, кто находился на верхней палубе. О ней не подозревали сотни детей и женщин, в том числе и маленький Лешка.

Нет, время теперь отсчитывалось не секундной стрелкой. И не в сторону увеличения. Время устремилось к нулю, к той точке соприкосновения торпеды с бортом теплохода, когда раздастся смертельный взрыв. И сама эта торпеда была сейчас чудовищным секундомером. Десять, восемь, семь, шесть...

Теплоход был бессилен отвернуть, и он грузно скользил, уже обреченный, подставив торпеде беззащитный борт.

На «Стремительном» отсчитывали те же секунды. Опытный глаз командира сразу определил: торпеда пройдет метрах в двух-трех мимо форштевня «Стремительного» и ударит в теплоход. И, когда оставалось уже несколько секунд до того, как торпе-

да пересечет курс, на «Стремительном» раздалась команда:

— Самый полный вперед!

Пять... Четыре... Три... Два... Взрыв!

Сколько ему надо — этому маленькому юркому кораблю? На него хватило бы и трети торпеды...

Сбоку теплохода вспыхнуло солнце, прогремел гром, и прах повис черным дымом над сомкнувшимися волнами. «Стремительного» больше не было.

А до нашего берега оставалось всего две мили, и уже шли навстречу корабли охранения.

...«В море дядя Петя, где ж ему быть?» — вспомнил Лешка теплоходного матроса. Да, он был теперь в море навсегда.

С этим журналом, воскресившим подвиг «Стремительного», Лешка в тот же день отправился в военкомат и попросил, как только придет разнарядка, направить его в военно-морское училище.

Подожди-подожди, Борис, это еще не все. А кем же стал тот Лешка, где он сейчас? Интересно?

Так вот, тот самый Лешка — не кто иной, как наш командир, капитан III ранга Алексей Иванович Гренин. Теперь понятно, что́ за снимок висит у него над столом в каюте? Я уже не говорю об астрах и венке на волнах...»

Вот такое письмо я давным-давно написал Борису мысленно, а взяться за перо никак не могу. Несколько раз принимался — ничего не получается, нет слов. И чем больше я о случае со «Стремительным» думаю, тем меньше желания рассказать об этом Борису.

Почему? Я и сам думаю: почему?

4

Я вспоминаю тот день, когда мы с Борькой только-только свалили экзамены — и в лес. «Эге-ге-гей! Хо-хо-хо-хо! Здравствуй!» — Это эхо невидимой белкой мечется с дерева на дерево, вторя нашим голосам.

— Давай наоремся вдоволь,— предлагаю я.

— Давай,— соглашается Борька.

И мы кричим, кричим до хрипоты: после торжественной тишины экзаменационных дней это доставляет особое удовольствие.

Наверное, ничего нет в мире красивее подмосковного июньского леса. Бредешь по тропе, словно из сказки в сказку: вот завороженным хороводом стоят белые березы, сними с них чары — и они закружатся на мураве, как девушки из знаменитого ансамбля; а из-за хоровода уже выглядывают кряжистыми парнями дубы. Сколько силы затаенной — потягиваются, вывертываются ветвями-руками вверх, кто кого перемахнет; глядишь, а на поляну выбежала елка, и кругом разноцветными огоньками ромашки, колокольчики, словно какой-то великан нес огромный букет, да вот и обронил самые диковинные цветы.

А с чем сравнить настоянный на разнотравье и чуть-чуть разбавленный можжевельником да хвойником лесной воздух? И уж, конечно, ни один искусствовед-орнитолог не в силах передать даже высококачественной записью голоса птиц в природе.

Подмосковный лес — сказка, которую надо читать медленно и в уединении.

Всю эту красоту я видел, но как бы краем глаза, потому что рядом вышагивал Борис, и мы изощрялись друг перед другом, выкрикивая всякие несуразности. Но вот тропка наша круто завернула влево, и, чтобы срезать угол, мы перепрыгнули через канаву, на дне которой, подернутая ряской, зеленела вода. Траншея. Верст за сорок — пятьдесят от Москвы все леса изборождены старыми, как шрамы, траншеями и окопами.

Выбрав кочку посуше, я прыгнул в траншею — она была мне по пояс — и пригнулся, затаясь.

— Паш! Ты куда пропал? —громко спросил Борька, прошагавший уже шагов тридцать.

Я не откликался.

— Эй, ты где? — с заметным беспокойством еще громче спросил он.

Я выждал пару минут и что есть силы закричал:

— Ура-а-а! Полундра-а!

— Ладно тебе, хватит мальчишничать,— сказал

Борька, увидев меня, выглядывавшего из траншеи.— Подумаешь, окопа не видел!

— Ты поди-ка лучше сюда,— поманил я,— смотри, какой отсюда обзор.

Сколько окопу лет? Можно точно сказать, не спрашивая никого: двадцать девять. Расчет простой: подмосковные окопы могли быть вырыты только осенью сорок первого года.

Двадцать девять... За это время тонкие, гибкие саженцы становятся крепкими деревцами, и возможно, что обзор из этой траншеи был шире, чем сейчас. Но двадцать девять лет — ничто для взрослого дерева, такого, например, как дуб. Кто бывал в селе Коломенском, видел, наверно, дубы, которым уже шестьсот лет. По сравнению с ними деревья, что столпились возле траншеи,— малыши дошкольного возраста.

Значит, вот эта корявая, изможденная липа видела солдат в касках, что выжидали врага. Вернее, они на перекуре между атаками поглядывали на эту липу: мол, спасибо, маскируешь неплохо. И на березу, что опустила ветки над самой траншеей. Ну, насколько могла она подрасти за эти двадцать девять лет? Все выглядело так, почти так...

Действительно, любопытное свойство человеческой натуры: дай-ка я погляжу на мир глазами своего предшественника и побуду на том самом месте, где стоял он. Неспроста же в мемориалах или музеях чаще всего задают одни и те же вопросы:

— Скажите, и в то время это выглядело так же?

Людям история дороже в подлинниках, а не в дубликатах. И потому они с детской наивностью ищут место, где Петр I изрек: «Здесь будет город заложен». Потомки Стеньки Разина лезут на утес, чтобы глазами вольнолюбивого предка глянуть на Волгу. Таких мест по всей нашей Родине сотни, тысячи. И хотя несоразмерны по времени и совсем разные «экспонаты» — ржавая кольчуга и продырявленная солдатская каска минувшей войны,— их соединяет незримый проводок, по которому пульсирует память.

— Борь,— сказал я,— вот здесь стояли солдаты, когда на них пошли фашистские танки.

— Ну и что? — Борька с недоверчивостью посмотрел на окоп.— Не было здесь танков, немцы не дошли до Апрелевки километра два.

— Как это не было? Кто успел подсчитать километры? Здесь был бой,— не согласился я.— Очевидцы рассказывали.

— Какие очевидцы? Те, что в бомбоубежищах сидели? И потом, даже если и так. Какой смысл солдатам стоять против танков, если пули о броню все равно как об стенку горох? Против танков нужно было танками.

«Нужно было» — любимая Борькина фраза, как я заметил, очень подходящая в тех случаях, когда речь идет о том, что уже произошло. Продули, к примеру, в волейбол, Борис тут как тут: «Нужно было блоки чаще ставить». Правильно заметил. Но мог бы и раньше подсказать. Сам-то где был?

— Нужно было...— продолжал Борька развивать свою мысль, а я уже не слышал его. Я только предположил на миг, на минутку, что...

Да, именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника показался броневой лоб танка. Стальная громада с белым крестом выползла неуклюже, но уверенно покатила, скрежеща гусеницами, по сказке подмосковного леса. И против этого чудовища остались не кто-нибудь, а именно я, именно Борька.

Не может быть! Это сон или явь? Как же это случилось? Почему война не остановилась на границе, далеко-далеко от Москвы?

Я представляю мать, ее руки в земле — пропалывает грядки. Ей и в голову не может прийти, что километрах в двух от Апрелевки — танки. Никто не знает, что это война. По рельсам звонкий перестук электричек «Апрелевка — Москва». На заводе грампластинок прессовщицы загоняют в черные диски музыку. В магазине покупатели переругиваются с продавцом. В детском саду ребятня играет в «палочку-выручалочку».

А в апрелевском лесу — фашистские танки. Именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника, что курчавится метрах в ста от окопа.

— Борь! — перебиваю я его.— А что если сегодня, 28 июня 1970 года, в апрелевском лесу появились фашистские танки? И ползут сейчас на эту траншею? А вокруг уже ни души. И танками пройдено полторы тысячи километров, а перед ними осталось лишь сорок два до Москвы. Что́ бы мы с тобой сделали, а, Борь?

— Фантазер же ты!— снисходительно улыбается Борька.— Разве теперь допустят, чтобы кто-то дошел до самой столицы? Если война и будет, все решат ракеты. Нажал на клавишу — и поминай как звали. Военные на ракетных пультах, как на роялях, будут играть.

— Ну а все же,— настаиваю я,— допустим.

— Нечего и допускать,— отрезает Борис, и я вижу, что мои вопросы начинают его раздражать. Как хорошо все-таки, что этой траншее уже двадцать девять лет.

...Почему я вспомнил о нашей, казалось бы, ничем не примечательной прогулке? Ах, да, в этот самый момент я сел было за письмо, в котором хотел рассказать о подвиге «Стремительного». И опять ничего не клеилось. Думаю, получит Борька, прочтет и начнет прикидывать. «Кто увидел торпеду? Командир и сигнальщик? А остальные — нет? Значит, командир «Стремительного» принял единоличное решение, ни у кого не спросясь? Но те, другие, кто был в машинном отделении и в рубках, может, они не захотели бы погибать. Имел ли командир право давать в таком случае команду? Можно было бы по-другому...» — начнет рассуждать Борька.

Но я не хочу, чтобы было по-другому. И хотя Борис — мой товарищ, можно сказать, кореш, я не хотел бы, чтобы в такую минуту он находился на мостике «Стремительного».

5

— Тебе не повезло,— говорит мне конопатый, которого зовут Валерием. Он лежит на соседней койке, курносый нос в потолок.— И крепко не повезло,—

повторяет он.— Вот я, когда выходил в первый раз, сразу нарвался на нарушителя.

Я знаю, что в «первый раз» было всего две недели назад. Валерий пришел на корабль на один поход раньше меня. Сейчас он считается заправским акустиком. «Из гармонистов всегда получаются талантливые акустики»,— сказал как-то командир. И эту его фразу Валерий носит с тех пор, как медаль.

— Да, полнейшая, кореш, невезуха. Вот мы в прошлый раз...

Слова «в прошлый раз» я слышал и от Афанасьева, который вступительной этой фразой поведал о случае годичной давности, и от штурманского электрика, рассказавшего историю не первой свежести. Но вот что сразу бросалось в глаза: никто из рассказчиков не выпячивал себя. В любом случае в центре эпизода оказывался Алексей Иванович.

— Так вот,— говорит Валерий,— в прошлый раз твой Афанасьев обнаружил на экране цель, и мы пошли на сближение. Сначала увидели на горизонте дым, а потом уже корабль — им оказался греческий сейнер. Попал сразу в две неприятности. Первая: якобы случайно зашел в наши воды, а другая — пожар. Смотрим: из дверей и иллюминаторов бьет пламя. Греки столпились на корме, по-своему что-то кричат. И без переводчика ясно: «Караул!» Перетащили мы их к себе на борт. Командир построил нас на палубе и спрашивает: «Кто пойдет на сейнер — шаг вперед!» Шагнули, разумеется, все. Но капитан-лейтенант взял с собой только двоих. Запустили выносной пожарный насос. Те наши трое то и дело выскакивают из отсеков, бушлаты друг на друге гасят — задымились уже. Видим, троим не управиться. Тогда командир разрешил другим добровольцам. Спасли судно... После собрал нас командир в кубрике. «Вот,— говорит,— система: вы спасли сейнер, жизнями рисковали, а капитан недоволен — страховку теперь не получит. И вообще не поймешь, кто у них там за начальника». Командир сразу обратил внимание, что капитан перед одним из своих матросов в струнку вытягивается. Может, переодетый шеф разведки. Зоркий у нас командир,— заключил Валерий.

Сегодня мы чуть не столкнулись с командиром на трапе. Я попятился назад и уступил ему дорогу. Командир проскочил было мимо, но остановился и, вспомнив что-то, озабоченно сказал:

— Вот что, Тимошин, у нас тут прихворнул сигнальщик, подмените его на наблюдательной вахте.

Оказывается, кок затемпературил. Тот, который еще и сигнальщик. Недомогал в базе, но скрыл, не хотел оставаться на берегу.

«Очередной смене приготовиться на вахту!» Это и для нас с Валерием. Только он будет «смотреть» сквозь воду, слушать свой горизонт. А мне на мостик. «Подыши там и на мою долю»,— попросил Афанасьев.

И вот я наверху. И, признаться, не в восторге. Что такое наблюдатель правого борта? Древнеморской способ: сиди с биноклем и пяль глаза на воду. То ли дело экран локатора. Современность. Ни туман, ни темень не скроют нарушителя. Или вахта акустика: сидишь в наушниках в рубке, а «видишь» горизонт на много миль вокруг. Невидимые импульсы прошивают насквозь морскую толщу и, как посыльные, возвращаются на корабль. «Горизонт чист»,— словно докладывают они, если ничего не встретили на своем пути. Но если наткнулись на корабль или подводную лодку, так «запоют», что опытному акустику ясно, кто и каким курсом торопится к нам в гости. В общем, сплошная наука и техника. А тут — бинокль, жалкий потомок подзорной трубы Колумба. Бинокль старый, в царапинах. Черная краска, когда-то лаково блестевшая на его корпусе, пооблезла, захватанная многими руками. Наверное, нарочно утиль дали: чего доброго, уронит, мол, салажонок в море. Но, приложив окуляры к глазам, я увидел, что ошибся. Сначала туманно, а потом стоило лишь чуть крутнуть на резкость, и волны, казалось, брызнули в стекла. Далекий для простого глаза горизонт теперь качнулся рядом, море как бы растеклось шире.

Мой сектор обзора оказался не так уж мал, как я представлял себе сначала. Угол в девяносто градусов — от форштевня до меня и перпендикуляром к

правому борту — выглядел космически гигантским по сравнению с тем, что приводят в учебниках геометрии. Каждая сторона этого прямого угла определялась дальностью видимости моих глаз и окуляров бинокля, то есть в пять-шесть миль. На этом расстоянии мимо моего взора не имел права проскользнуть незамеченным ни один предмет: от корабля до бревна.

Пусть Афанасьев сидит и смотрит на экран локатора, с наслаждением думал я, то и дело прикладывая к глазам бинокль. Ведь если разобраться, он мне и полвахты не дал самостоятельно подежурить — торчал рядом и подстраховывал. А здесь не чей-нибудь, а мой горизонт, за который я в ответе перед командиром и всем кораблем.

Море было не больше двух баллов. Это я уже научился определять: на легком ветру как бы нехотя полоскался флаг и силился вытянуться вымпел. Зеленоватые волны бежали ровной чередой, не обгоняя и не опрокидывая друг друга. Дальше, к горизонту, они сливались в сплошную синеву, на которой изредка вспыхивали белопенные барашки. Интересно, как выглядело море, когда со «Стремительного» заметили торпеду? Конечно, ее выдал бурун — пенистый султанчик на воде, который бежал к борту таким маленьким смертоносным смерчем.

А эти барашки на волнах паслись мирно. Правда, бывает, напарываются корабли на мины, еще с той войны оставшиеся в море. Сорвалась когда-то в шторм такая тротиловая дура с минрепа и блуждает по морям, по волнам. Встреча с ней приятного не сулит. Хорошо, если впередсмотрящий вовремя заметит. Сколько их расстреляли из пулеметов и пушек, этих рогатых шаров смерти! Читал я и в книгах и в кино видел. И тут мне пришла мысль, что в общем-то было бы даже здорово, если бы и мне попался сейчас на глаза обросший водорослями шар. «Справа по борту мина!» — крикнул бы я что есть мочи. Все выскочили бы на палубу, а она, косматая, уже возле борта. И расстреливать ее поздно. И тут командир сказал бы: «Матрос Тимошин, в воду! Отвести мину на безопасное расстояние!» Нет, коман-

дир не успел бы этого сказать. Я прыгнул бы сам и оттолкнул рогатое чудовище в сторону.

Если бы да кабы... Нет мин, их выловили другие моряки, те, что служили до нас. И здесь теперь тишь, да гладь, да божья благодать.

Я приставил бинокль и медленно повел взором по воображаемой дорожке — от волны к волне, от барашка к барашку, пядь за пядью просматривая свой сектор. И вдруг мне показалось, да, сначала только показалось, как в распаде волн мелькнул какой-то непонятный предмет. То ли веха, то ли торчком плывущее бревно. Плавник? Но, судя по бороздке, пенящейся следом, предмет не просто плыл по волнам, а двигался самостоятельно.

«Справа десять перископ!» — хотел крикнуть я, но тут же одернул себя. Вот оконфузишься — засмеют. Ты каким, скажут, местом вел наблюдение, что не мог разглядеть бревно? Обернувшись, я увидел командира, который навел бинокль в том же направлении. И через секунду раздался его жесткий голос:

— Справа пятнадцать! Перископ подводной лодки! Боевая тревога!

«Зевнул,— с ужасом подумал я.— Сейчас снимет с вахты — и позор! Афанасьев рассказывал, что командир не прощает ни малейшей оплошности».

— Матрос Тимошин! — услышал я.— Усилить наблюдение!

Я приставил к глазам бинокль и от волнения долго не мог настроить резкость. Перед глазами туманно мельтешили волны.

А по трапу уже загремели каблуки. Посты докладывали о готовности:

— Первый боевой пост к бою готов!

— Второй боевой пост к бою готов!

Но почему боевая тревога? Почему «к бою»? Подводная лодка, наверно, наша, советская. Сейчас гидроакустики обменяются позывными: «Я такой-то!» «А я такая-то!» — ответит лодка по звукоподводной связи. «Привет!» — «Привет!» — «Счастливого плавания».

И в этот момент послышались ровные, будто метрономом отчеканенные фразы:

— На постах! Говорит командир. Вдоль границы наших территориальных вод следует подводная лодка противника. Боевая готовность номер один.

Боевая готовность номер один! Значит, в любую секунду можно услышать команду: «Пли!» Значит, в любое мгновение сам ожидай удара. Я заметил, как командир сжал руками поручни. Сейчас каждый маховичок, каждый рычаг управления на корабле был крепко стиснут десятками матросских рук. Десятки глаз впились в приборы, ожидая командирского слова.

Я представил, как напрягались сейчас и Афанасьев и Валерий, который должен держать подводную лодку в «контакте», даже если она опустит перископ.

Чья все-таки лодка? По перископу не узнаешь. Вот так же когда-то смотрели на перископ командир и сигнальщик «Стремительного».

Под грозным взором перископа я вдруг ощутил себя шестикратно увеличенным и потому беспомощным и беззащитным. «Самое неприятное,— вспомнились чьи-то слова,— увидеть рядом перископ. Ты видишь только эту чертову трубку, а она всего тебя от пяток до макушки. И может, в эту самую минуту тебе в бок уже выпущена торпеда».

— Дистанция? Пеленг? — поминутно запрашивал командир штурмана.

Подводная лодка шла вдоль пограничной линии, не меняя курса. Но стоило ей хоть бы на полкорпуса пересечь эту невидимую запретную черту...

«А вообще-то...— подумал я, и от этой мысли у меня шевельнулись волосы под бескозыркой.— Вообще-то ей раз плюнуть, чтобы потопить наш сторожевик. Выпустит торпеду, и напрасно старушка ждет сына домой, ни за понюх табаку пойдешь ко дну». Вот «Стремительный» — другое дело. Тот хоть заслонил теплоход.

Да, ты можешь погибнуть, заговорил, как бы вступая в спор, другой внутренний голос. Не ты первый, не ты последний. Но с антенны твоего корабля уже слетели в эфир сигналы опасности. И по всему флоту, охраняющему эти воды, объявлена готовность номер один. Десятки наблюдательных станций

ни на секунду не сводят сейчас глаз с подводной лодки, что акулой метнулась к нашей границе. Десятки ракет уже наведены в этот квадрат моря. Но первое «Пли!» произнесешь ты — дозорный моря.

Наш корабль и подводная лодка шли строго параллельными курсами. И если бы не борозды от форштевня и не бурун за перископом, можно было подумать, что мы стоим на месте.

— Цель отклоняется,— произнес штурман.

Теперь уже и я увидел, как перископ повернул вправо, в сторону нейтральных вод. И вдруг скрылся.

— Держать контакт с целью! — Это командир уже только гидроакустикам. Теперь лишь они способны следить за лодкой. Много звуков у моря, но шорох крадущейся лодки они различат сразу. И еще долго будут слушать удаляющиеся «шаги» врага.

Командир вытер взмокший лоб и сказал как-то очень буднично:

— Восвояси пошла, нахалка.

Когда я передавал вахту другому матросу, тот взял бинокль и удивленно поднял брови:

— Ишь, горячий какой! Ты его случайно не за пазухой держал?

В кубрике возле «боевого листка» — и кто только успел выпустить!— уже торчало несколько матросов. Я подошел и сразу увидел свою фамилию. «Поздравляем с отличным несением вахты матросов Тимошина и Рязайкина». Рязайкин — это гидроакустик Валерий, с которым мы одновременно начали сегодня вахту. «А за что меня-то? — удивился я.— Ведь по всем правилам мне полагался фитиль».

— А ты молодой, да ранний! — хлопнул меня по плечу незнакомый матрос с лоснящимся от пота лицом. По мазутным подтекам под глазами и на щеках я догадался, что это машинист из «бч-пять». Откуда ему-то знать про мою вахту наверху?

Наверное, я покраснел, потому что почувствовал себя так, словно стою на трибуне и меня разглядывают сотни глаз. Такое чувство неловкости я испытал однажды, когда сгоряча решился выступить на комсомольском собрании. Пока сидел в предпоследнем ряду, накипели вроде бы складные слова, а вышел — и язык проглотил.

В таком состоянии — как будто со всеми вместе, как все, и в то же время поминутно на виду у всех — я пребываю с тех пор, как ступил по трапу на корабль. А сейчас ощутил это особенно.

Незнакомый матрос нацедил из бачка кружку воды и, выпив залпом, подставил ее снова. Он стоял ко мне боком, и я видел, как ходуном ходил на шее кадык, когда матрос пил. Что-то очень знакомое почудилось мне в повороте головы, в надорванном разрезе тельняшки, в темных, закрученных на концах колечками лентах бескозырки, ниспадающих на широкую спину. Вспомнил! Картинка из книжки про морскую пехоту. Впервые за все время с тех пор, как надел морскую тельняшку, я вдруг увидел себя матросом. Человеком, состоящим с морской братией в кровном родстве.

И далекими и мелкими, как в перевернутый бинокль, показались мне споры с Борькой у старой траншеи. Интересно, что он делает сейчас? Вообще чем он занимался в ту минуту, в тот час, когда...

когда матрос из «бч-пять» задыхался в африканской жаре машинного отделения, оглохший от неистового перестука двигателей;

когда Афанасьев в каморке радиорубки до боли тер виски, чтобы не задремать на вахте, которая была бессменной почти двое суток;

когда... просто-напросто наш корабль выходил на линию дозора.

Интересно, что делал Борька в ту минуту, когда матросы услышали сигнал боевой тревоги? А ведь и они и Борька— ровесники, считай, близнецы у матери-Родины. Одновременно крикнули «уа-уа», переступили порожек детсада, школы. А потом вот перед самой казармой Борис взял и отвернул в сторону, чтобы срезать угол в жизни, в биографии. А почему же на головы его ровесников должно упасть больше снега и дождя? И почему на их долю придется больше тревожных, бессонных ночей?

Эти свои соображения я выложил перед Афанасьевым, только в другом, сокращенном виде.

— Как ты думаешь? — спросил я его.— Что выгадывают ребята, которые увильнули от службы?

— Проблемы нет,— добродушно сказал Афанасьев,— таких у нас раз-два и обчелся.

— Ну, а те, из этих «раз-два»?

Афанасьев задумался и ответил вопросом:

— Что такое локсодромия, знаешь?

По основам навигации, «азы» которой мы освоили еще на берегу, я знал, что локсодромия — это линия на земной поверхности, пересекающая все меридианы под одним и тем же углом.

— При чем тут локсодромия? — спросил я.

— А при том,— пояснил Афанасьев,— что на карте, составленной в специальной проекции, эта самая локсодромия изображается прямой линией. Вот и ребятам, которых «раз-два», кажется, что в жизни они дуют по прямой, а на самом деле истинное расстояние куда больше...

Наш корабль возвращался в базу. Здесь, в своих водах, море как-то подомашнело. Мы с Валерием стояли на верхней палубе и смотрели на горизонт. Нет, поговорка неправа: не море красиво с берега, а берег красив с моря. Особенно если долгое время лишь волны да ветер вокруг.

— Сколько писем написал? — словно невзначай, спросил Валерий.

— Два, а что?

— Понятно. Домой и девчонке. Не так?

— Так...— признался я. И ничуть не слукавил, потому что письма Борису могли теперь прочитать разве что дельфины.

— Два письма — это мало,— сказал Валерий.— После такого похода почтальон идет на почту с мешком писем и с двумя на корабль возвращается.

И вдруг с мостика крикнули:

— Слева по борту венок!

Корабль словно запнулся и пошел самым малым.

— Приспустить флаг! — прозвучала команда.

Да. Это был венок. На маленьком деревянном плотике. И тут кто-то тихо сказал:

— А венок-то не наш... Наш был из астр, а этот из гвоздик.

Командир снял фуражку, а мы — бескозырки.

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ

КУРЬЕР

Не так давно я случайно услышал одну любопытную радиопередачу. Корреспондент останавливал на улице прохожих и задавал всем один и тот же вопрос: «Если бы вам пришлось писать мемуары, о чем вы хотели бы в них рассказать?» Ответы, разумеется, были разными. Одни рассказывали целые истории, другие отделывались анекдотами. Мне больше всего запомнился ответ одного старика. Сперва он сказал: «Мне нечего писать в мемуарах. У меня ничего не было». Корреспондент удивился и не поверил: «Не может быть! Вы человек в возрасте. Наверняка многое видели и сами участвовали во многих исторических событиях. Неужели в вашем прошлом нет ничего, что живо волновало бы вас сейчас?» Старик задумался и сказал: «Знаете, много-много лет назад я был влюблен в девушку. Мне тогда было пятнадцать лет, а ей, кажется, восемнадцать. Мы жили в одном доме и часто встречались в нашем дворе. Я все время хотел заговорить с ней и познакомиться, но никак не решался... А потом она с семьей уехала, и я больше никогда не видел ее. Вот об этой девушке я и вспоминаю теперь больше всего. Об этом, пожалуй, я написал бы. И, может быть, добавил бы сюда немного ничего не значащих разговоров с несколькими давно забытыми людьми. Но разве это интересно кому-нибудь?» «Отчего же?! Очень интересно»,— сказал корреспондент, но в голосе его пряталось разочарование.

Я проснулся ночью. Лунный свет серебряным столбом пересек комнату от окна до противоположной стены, на которой висела большая африканская маска — подарок отца.

Маска была черная, гладко отполированная. Ее глаза были полузакрыты, как у людей, вспоминающих прошлое, а толстые вывороченные губы презрительно улыбались. Я почувствовал, что сегодня мне уже не заснуть. Знаете, случается такое: совершенно нормальный, здоровый человек просыпается среди ночи и до утра не может заснуть. Он не болен, у него нет нервного расстройства. Просто он абсолютно выспался и в дальнейшем сне не видит никакой необходимости. В такие часы чувствуешь себя настолько бодрым, что хочется как-то размяться физически — сделать какое-нибудь дикое сальто или вообще что-нибудь головокружительное. Под кроватью у меня валялся старый футбольный мяч. Я достал его оттуда и принялся «чеканить», то есть подкидывал мяч ногой, стараясь не уронить на пол. Было интересно, но все же чего-то не хватало. Я потихоньку, чтобы не разбудить мать, включил магнитофон. Тогда стало совсем весело. Мик Джаггер надрывал глотку, а я «чеканил» мяч.

Что за чудо этот мяч,
Норовит пуститься вскачь,
Не проси его, не плачь,
Не лежит на месте мяч.
Как поддашь одной ногой,
Так поймать ногой другой
Очень сложно. Этот мяч
Норовит пуститься вскачь.

Мои родители развелись, когда мне было четырнадцать лет. До этого у нас была, что называется, идеальная семья. Родители — педагоги (отец преподавал химию, мать — историю), работали в одной школе, я там же учился. Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. Отец называл маму «умнейшей женщиной», она говорила, что он «очень добрый человек». Он был действительно добрым, но — также мамины слова — «немного увлекающимся». Он увлекался футболом, хоккеем, коллекционирова-

нием шариковых ручек, кроссвордами, шахматами, цветоводством, рыболовством и, наконец, увлекся новой учительницей пения, которая пришла в нашу школу сразу после окончания института. Это его последнее увлечение оказалось роковым для нашей «идеальной» семьи. Полгода она еще агонизировала, а потом скончалась. Ее смерть засвидетельствовал нарсуд Дзержинского района. Я отлично запомнил тот роскошный зимний день — падающий пушистыми хлопьями снег и ослепительное солнце. Несмотря на такой подвох со стороны природы, мои родители держались великолепно. Они, конечно, сильно нервничали, но никак не выказывали этого и были настолько корректны и милы друг с другом, что судья сперва решил, будто они ошиблись адресом — расписывали в соседнем доме. Недоразумение было быстро улажено, и потом все пошло как по маслу. Когда бракоразводная процедура закончилась и мы очутились на улице, мама с вежливой улыбкой попрощалась с отцом за руку и объявила, что зайдет в магазин, а потом подождет меня у метро.

— Мне очень жаль, старина, что так получилось,— сказал отец, когда она ушла.

— Никаких проблем, папа,— сказал я.

— Надеюсь, мы будем видеться как можно чаще? — сказал он.

— Разумеется, папа,— сказал я.

Кажется, он был удовлетворен. В этот момент из-за угла появилась та самая учительница пения, благодаря которой и случился весь сыр-бор, и заспешила к отцу. Однако, заметив рядом с ним меня, она остановилась и в смущении отвернула лицо в сторону. Ей было не больше двадцати трех лет, а раскрасневшись от быстрой ходьбы и мороза, она выглядела еще моложе. Высокая, стройная, длинноногая, с мягкими белокурыми волосами и прозрачно-голубыми глазами, она мне нравилась, несмотря ни на что. Конечно, обидно было за маму, но я мог понять и отца. Зная, что сделаю ему приятное, я сказал об этом.

— Девочка она, конечно, первоклассная,— кивнул я в сторону «певички».

— Тебе, правда, нравится?— обрадовался он.— Давай познакомлю вас?! — И он, не дожидаясь моего согласия, крикнул: — Наташа, Наташа, иди сюда!

Наташа, конфузясь, подошла. Отец несмело взял ее под локоть и представил меня:

— Мой сын Иван... А это Наташа...

Я улыбнулся и пожал ей руку.

— Очень приятно. Поздравляю,— сказал я.

Наташа покраснела и смущенно заулыбалась.

— Спасибо,— пробормотала она.— Федор..— Она осеклась, закусив губу.— То есть ваш папа много рассказывал о вас. Я очень рада...

— Представляю, что он наговорил обо мне,— ухмыльнулся я.

— Все нормально, старина,— в ответ засмеялся отец.

— Берегите его: у него язва,— сказал я девушке.

— Ива-ан! — прогундосил отец.

— Что — Ива-ан?! Что здесь такого? Мама ему настойку из трав делала. Если хотите, я могу потихоньку списать рецепт.

— Спасибо,— с благодарностью произнесла Наташа.— Это было бы великолепно.

Я кивнул.

— Ладно, мне пора,— сказал я отцу. Мы пожали друг другу руки.

— Приходите к нам, Иван,— проговорила Наташа.— Приходите обязательно...

— Непременно,— ответил я и простился с ними.

Я действительно приходил к ним потом, правда, не более двух или трех раз, и принес тот рецепт, который обещал Наташе. Однако чаще бывать у них мне было нельзя. Мама, несмотря на внешнее безразличие, очень нервничала первые месяцы после развода и ревниво относилась к моим посещениям отца. Поэтому, посоветовавшись, мы с отцом даже решили вообще не встречаться некоторое время, чтобы дать ей успокоиться. Мне, конечно, было очень жалко маму, и я понимал, как ей нелегко, но в глубине души считал, что она несколько драматизирует ситуацию. К тому же я нечаянно открыл положительную для себя сторону в этой истории. Так

как она происходила на глазах всей школы, то педагоги, разумеется, приняли горячее участие в ней. В своей массе они единодушно поддерживали мать (кроме физрука, который решительно встал на сторону отца). Их сочувствие распространилось и на меня, как невинную жертву «злосчастной страсти». В результате полугодие, в котором развернулись эти события, я закончил на одни пятерки.

Однако со временем все стало забываться. Мама постепенно успокоилась, отец с «певичкой» уволились из школы, а потом он вообще уехал в длительную зарубежную командировку — в одну африканскую страну, и в моем дневнике вновь свое достойное место заняли тройки.

Когда спустя два года я окончил школу, у меня не было никаких твердых планов на будущее. Я не чувствовал в себе особой склонности к какому-либо определенному роду деятельности. Правда, то ли в силу наследственности, то ли из-за своего мечтательного характера я неплохо знал историю, особенно древнюю и средних веков. Поэтому мама настояла, чтобы я подал документы в педагогический институт на историческое отделение. Она сказала, что мальчики там в дефиците и у меня хорошие шансы поступить. Меня не очень прельщала перспектива стать учителем истории, но не хотелось ссориться с мамой. Она позвонила какому-то Эдуарду Николаевичу — он в свое время был дружен с моим отцом, а сейчас преподавал в пединституте и являлся членом приемной комиссии. Потом на экзамене я увидел его. Это был маленький лысоватый человек с лицом, которое, должно быть, помнили только его ближайшие родственники. Единственное, что мне бросилось в глаза,— это его галстук. Замечательная вещь, я вам скажу. Наверное, французский или итальянский. Где он его достал и зачем нацепил к своему черному поношенному костюму, мне непонятно. Но галстук был просто выдающийся и настолько выбил меня из колеи, что я никак не мог вспомнить, в каком году крестилась Киевская Русь.

Эдуард Николаевич позвонил маме после экзамена. Мне удалось подслушать их разговор, из которо-

го я понял, что с треском провалился. Эдуард Николаевич сказал, что я способный мальчик, но «слабо подкован по датам». Что верно то верно — по датам я был подкован слабовато. После этого мать вбежала ко мне в комнату, обняла меня и заплакала. Я стал ее успокаивать, а она грустно смотрела на меня, и слезинки дрожали на ее ресницах. Мне было ужасно жаль ее, и я чуть-чуть сам не ударился в слезы. Но все же сдержался и обещал, что на следующий год обязательно выясню, в каком году крестили Киевскую Русь.

— К тому же,— добавил я,— вспомни Дарвина, как плохо он начал и как хорошо кончил.

В ответ мама погладила меня по голове и сказала:

— Ладно, Дарвин...

В ее глазах погасли звездочки несбывшихся надежд. Она разочаровалась во мне. В школе я учился плохо, но ее поддерживала мысль, что все великие люди в детстве были двоечниками. Теперь же иллюзии развеялись, как куча осенних листьев.

Отцу я написал, что поступил в МГУ на физический факультет, и через неделю получил открытку с изображением антилопы бубалы.

Отец писал: «Поздравляю, старина! Честно говоря — не ожидал! Помнится, в школе ты не проявлял склонности к точным наукам. Тем более приятно! С нетерпением ждем великих открытий. Папа».

Я положил открытку в ящик стола, где у меня уже был целый зоопарк, и на этом дело о поступлении в институт было закрыто.

Почти два месяца я, как говорится, валял дурака: целыми днями лежал на пляже в Серебряном бору, читал приключенческие романы и до одурения слушал магнитофон. В школе у меня не было близких друзей, а те несколько приятелей, с кем я иногда проводил время, либо поступали в институты, либо уехали отдыхать. Поэтому единственным человеком, с которым я общался в то время, был Коля Базин. Его мать работала медсестрой в районной поликлинике, а отец — разнорабочим в овощном магазине.

У Коли было странное выражение лица, особенно когда он улыбался. В детстве он, раздобыв капсюль от стартовика, ударил по нему молотком. Кусочек от разорвавшегося капсюля угодил ему в правый глаз. Спасти его не удалось — глаз вытек, и Коле вставили искусственный. Вообще было почти незаметно, что один глаз у него не настоящий. Только когда Коля улыбался, этот глаз оставался странно-грустным на веселом лице.

Все почтенные мамаши считали Колю «шпаной». Но на самом деле он был неплохим парнем. Нас сроднило безделье. Мы играли в карты и иногда ходили на футбол. Коля научил меня играть в «секу» и «буру», а на стадионе мы вместе орали что было сил: «От Москвы до Гималаев король воздуха — Дасаев!»

Прошли август и сентябрь. Утомленное лето гибло в холодных порывах ветра. Осень явилась предательски, как удар в спину, в одну ночь сорвав с деревьев еще не желтые листья; размыла землю потоками дождя и покрасила город в серый цвет. Взглянув утром в окно, люди поразились такому превращению и развели руками: дескать, черт знает что сталось нынче с погодой!

Мама в тот день сказала мне:

— Я думаю, Иван, ты уже достаточно отдохнул. Думаю, тебе пора подумать о работе.

Я был готов к подобному разговору, и все же именно в этот день он меня сильно расстроил. Наверное, все дело в погоде. Хотя, если говорить правду, я никогда не испытывал острого влечения к трудовой деятельности. Во всяком случае, я пришел к выводу, что принадлежу к тому типу никчемных людей, которые должны рождаться в семьях миллионеров. Поэтому наиболее подходящим для себя занятием я считал работу грузчика в овощном магазине, куда по протекции своего папаши уже устроился Коля Базин. Меня всегда привлекала та смесь романтизма с реализмом, которые присущи грузчикам овощных магазинов. Однако, поделившись своими мыслями с мамой, я встретил резкое

непонимание и узнал, что вообще моя дружба с Колей держит ее в постоянном напряжении.

— Ты начал пить,— сказала она с драматическими интонациями в голосе.

— Что с того, если я раз в неделю выпью кружечку пивка? — возразил я.— Не забывай, что мне не пятнадцать лет.

— Да, ты, конечно, ужасно взрослый, но мне сдается, что ты со своим Базиным пьешь уже не только пиво.

— Оставь Базина в покое. Он прекрасный парень.

— Я не считаю, что он хорошая компания для тебя,— твердо сказала мать.— Что касается работы, то я уже подыскала тебе место.

— Надеюсь, не ниже замминистра торговли? — осведомился я.

— Почти. Курьер в редакции «Вопросов познания».

— С детства мечтал стать шестеркой.

— В таком случае можешь считать, что тебе повезло.

Что я сказал на это? Не помню. Скорее всего ничего принципиального. Я думаю так, потому что уже на следующий день был зачислен штатным курьером в редакцию научно-популярного журнала «Вопросы познания» и, повстречав после первого трудового дня Колю Базина, сказал ему:

— Привет работникам прилавка от работников средств массовой информации!

Редакция журнала «Вопросы познания» рсполагалась в небольшом трехэтажном доме в пяти минутах ходьбы от метро «Пролетарская». Первый этаж здания занимала контора Госстраха, второй был жилым, а на третьем и помещалась сама редакция. В моей набитой штампами голове подобные учреждения рисовались как нечто среднее между гостиницей «Интурист» и Большим театром. Поэтому уже внешний вид дома на «Пролетарской» несколько озадачил меня.

Интерьер оказался еще скромнее: в длинный, обшарпанный коридор, застланный вытертой ковровой дорожкой, выходили шесть или семь дверей, за которыми, очевидно, и решались все важнейшие вопросы познания.

Мое появление вызвало в редакции не меньший переполох, чем прибытие Марко Поло ко двору хана Хубилая. Последний, я думаю, рассматривал заезжего итальянца с меньшим любопытством, нежели меня сотрудники журнала, гурьбой высыпавшие в коридор. Из кабинета, расположенного в самом конце ковровой дорожки, вышел грузный пожилой мужчина в массивных роговых очках и, бесцеремонно растолкав всех, сказал, уставя палец в мою грудь:

— Это наш новый курьер, товарищи. По протекции Аиды Борисовны.

Я тотчас догадался, что речь идет о маминой подруге Крапивиной и что благодаря ее стараниям я получил эту, судя по всему, весьма престижную должность. Грузный мужчина огляделся, как бы ожидая возражений, но возражений не последовало, напротив, все вдруг разом загалдели:

— О! Да, да! Аида Борисовна! Очень хорошо!

Таким образом, я понял, каким большим авторитетом пользовалась Аида Борисовна в «Вопросах познания» и какое важное место среди прочих занимал в журнале вопрос о назначении нового курьера.

— Мирошников, если не ошибаюсь? — обратился ко мне грузный.

— Да,— ответил я.

— А звать как?

— Иван.

По легкому трепету, всколыхнувшему воздух, стало ясно, что мое имя произвело на присутствующих сильное впечатление.

— Вот! — громко сказал грузный.— Прошу любить и жаловать. Меня зовут Олег Петрович Чащин. Я главный редактор этой организации и атаман сих сорвиголов.— Он с улыбкой обвел рукой сотрудников, которым, видимо, очень польстило сравнение Олега Петровича, и добавил: — Ну вот, знаком-

ство состоялось. Прошу всех вернуться на свои места.

После этого работники журнала с некоторым сожалением на лицах разошлись по кабинетам, а меня поручили заботам сухопарого пожилого мужчины, заместителя главного редактора, как выяснилось. В своем кабинете Андрей Михайлович (так он представился) вручил мне анкету и чистый лист бумаги для автобиографии, а сам, усевшись за стол, извлек откуда-то снизу увесистый справочник и уткнулся в него носом.

Я присел за другой стол, у окна, и решил для начала написать автобиографию. Но дело у меня не пошло. В голове завертелась какая-то блажь, и я никак не мог сосредоточиться. Тут еще за окном заморосил мелкий, скучный дождь, и на подоконник прилетели два воробья. Они сидели, нахохлившись, спрятав клювики в намокших перьях, и по всему было видно, что настроение у них препаршивое. Я смотрел на воробьев через стекло и постепенно сообщился их грустью. Чтобы вконец не расстроиться, я отвернулся от окна.

Время шло, а дело у меня не двигалось. Я решил подойти к нему с другого конца и взялся было заполнять анкету, но ее простые и ясные вопросы, требующие, казалось бы, совсем небольшого напряжения ума, представились мне вдруг очень сложными и запутанными. Тогда я вернулся к автобиографии и неожиданно написал первую фразу:

«Я родился в провинции Лангедок в 1668 году».

Немного подумав, я написал еще:

«Мой род, хотя ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семейств королевства. Мой отец граф де Бриссак сражался в Голландии в полку г-на Лаваля и был ранен копьем при осаде Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где, благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу, был прилично воспитан и получил изрядное образование. Ныне, расставшись со своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству прошу зачислить меня в роту черных гвардейцев его величества».

Сочинив эту галиматью, я принялся за анкету и быстро заполнил ее соответственно своей красочной биографии. Перечитав потом все вместе, я не удержался и так громко рассмеялся, что привлек внимание Андрея Михайловича.

— Ты чего? — спросил он, прервав чтение.— Написал, что ли?

— Ага,— кивнул я в ответ.

— Ну-ка, дай посмотреть.

Андрей Михайлович взял мои документы и долго читал их, шевеля губами, как будто переводил с иностранного языка. Когда он отложил бумаги в сторону, выражение его физиономии ни капли не изменилось, отчего моя собственная улыбка показалась мне такой же глупой, как и вся затея с автобиографией. Андрей Михайлович ничего не сказал, за что я, помнится, был ему чрезвычайно признателен тогда. Он даже не вздохнул, не хмыкнул и вообще никак не выказал своего отношения к моим сочинениям. Достав из ящика стола чистые бланки, он передал их мне и вновь углубился в чтение справочника.

Я приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Они были не слишком сложными. Я сортировал и разносил по отделам письма и рукописи, поступавшие в редакцию, ездил с поручениями по городу, для чего мне был выдан единый проездной билет, а также выполнял некоторые личные просьбы сотрудников, как-то: бегал через дорогу в ларек за пивом и сигаретами и ходил в магазин, чтобы купить «вкусненького» к чаю.

Моими услугами пользовался весь журнал. Во всех отделах я был, что называется, нарасхват. С утра до вечера в редакции слышалось: «Иван!» «Где Иван?» «Вы не видели курьера? Если он появится, пускай немедленно зайдет к нам!» Я начал чувствовать себя незаменимым. Стал капризничать.

— Ванечка, ты не мог бы съездить на Кутузовский?

— А что там?

— Да вот, статейка тут у нас... Мы автору поправки дали. Надо бы отвезти...

— А что он, сам заехать уже не может? Балуете вы их...

— Да он, понимаешь, пожилой уже... Академик опять же...

— А статейка-то дельная?

— Статейка дельная... Только там кой-какие фактические ошибочки имеются.

— Что ж он так? Академик, а материал не проверяет,— ворчал я.— Ну, ладно, съезжу ближе к вечеру...

У меня появились пристрастия. Я, например, недолюбливал отдел «Научный вестник». Им заведовал сухонький старичок по фамилии Емельянов. То ли от старости, то ли от вредности он никак не мог запомнить моего имени и величал меня не иначе, как «быстроногий Меркурий» или «хитроумный Гермес». Мне не нравилось ни первое, ни второе.

Зато я очень симпатизировал отделу информации. Всякую свободную минуту сидел там, пил чай, болтал о том о сем. Заведовал отделом Степан Афанасьевич Макаров. Он был похож на бутылку шампанского, открытого в Новый год,— такой же шумный и веселый. Знакомясь со мной, Степан Афанасьевич сказал:

— Очень рад, старина...

Услышав слово «старина», я невольно улыбнулся.

— Чего смеешься? — спросил Степан Афанасьевич.

— Да так,— ответил я.— Вы сказали «старина»... Меня так отец называет.

— Все мы в чем-то отцы,— глубокомысленно проговорил Степан Афанасьевич.

— Это конечно,— согласился я.— Только он с нами уже давно не живет.

— Сочувствую,— сказал Степан Афанасьевич.

— Кому? — спросил я.— Ему или нам?

Степан Афанасьевич рассмеялся. Мы понравились друг другу.

Еще один сотрудник отдела — Зиночка Никитина. Она была лет на пять старше меня, миловидна и ко-

кетлива. Прежде всего она оценивающе оглядела меня с ног до головы, потом представилась:

— Зинаида Павловна.

— Иван Пантелеймонович,— представился я в ответ.

Зиночка слегка удивилась.

— Это что же? — спросила она.— Неужели твоего отца зовут Пантелеймон?

— А что здесь такого? — сказал я.

Через неделю я, как и все в редакции, звал ее просто Зиночка, а она меня — Пантелеймоныч. Вообще-то имя моего отца Федор, но Зиночка этого так никогда и не узнала.

Однажды (я проработал уже месяца полтора) Макаров сказал мне:

— Вот тебе рукопись, Иван. Отвези ее профессору Кузнецову. Адрес на конверте.

И вручил мне большой пухлый конверт. Я прочитал адрес и отправился в путь.

Профессор жил на Тверском бульваре. В метро я доехал до Арбатской площади. Здесь мне надо было пересесть на троллейбус. Мимоходом я бросил взгляд в сторону кинотеатра «Художественный». Реклама предлагала вниманию кинозрителей новый приключенческий фильм. Я взглянул на часы — половина третьего. Поразмыслив недолго и придя в конце концов к заключению, что профессор не лишится Нобелевской премии, если получит свою рукопись на два часа позже, я купил билет и зашел в кинотеатр.

Фильм был довольно паршивый, но актриса мне очень понравилась. Такая женщина!.. Потом в троллейбусе я живо представил себе обстоятельства, при которых мог бы познакомиться с ней... Скорее всего это должно было бы произойти где-нибудь на улице. Она могла переехать меня собственным автомобилем или наступить на ногу в метро. И то и другое достаточно веский повод для знакомства...

Короче говоря, я проехал нужную остановку. Пока я возвращался назад, пока бродил по Тверскому в поисках профессорского дома, прошло не менее сорока минут, и только в шесть часов вечера я позвонил в дверь квартиры Кузнецова.

Мне открыли. Я увидел перед собой высокую девушку в джинсах и бежевом свитере. У нее были темные каштановые волосы и красивые карие глаза.

— Вам кого? — спросила она.

— Вас,— ответил я.

Девушка удивилась.

— Меня?

— Да. Я учился с вами в первом классе и с тех пор люблю вас.

— В первом классе я училась в Польше,— растерянно пролепетала девушка.— Папа работал там.

— А-а...— Я был разочарован.— Значит, это не вы. Я первый класс закончил в Аргентине.

Девушка надула губы и хотела закрыть дверь.

— А вообще-то я к Семену Петровичу,— поспешно сказал я.— Привез ему рукопись из редакции.

Девушка подозрительно оглядела меня и мою папку, потом крикнула куда-то в глубину необъятной квартиры:

— Папа, папа, тут какой-то сумасшедший мальчик утверждает, что он привез тебе из редакции рукопись!

С минуту ответом ей была гробовая тишина. Потом мощный, густой бас донесся до нас, как будто из глубокого колодца.

— Зови этого проходимца ко мне. Я уже три часа его жду.

— Снимайте ботинки и идите,— сказала девушка.

— Я не проходимец! — крикнул я.

— Нахал! — взревел бас.

— Носки тоже снимать? — спросил я девушку.

— Носки можете оставить.

— Дайте тапочки...

— Нате...

Я последовал за ней и очутился в большой комнате. За массивным письменным столом, заваленным книгами, бумагами, сидел дородный, средних

лет мужчина в просторном красном халате, накинутом поверх спортивного костюма. Лицо у него было волевое и суровое. Я догадался, что это и есть сам профессор Кузнецов.

— Кто это? — сказал он, уставя на меня полный недоумения взгляд.

— Курьер,— ответил я.

— Именно что курьер. Не граф Люксембург, не герцог де Гиз, а курьер! — завопил профессор.— По вашей милости, господин курьер, я потерял три часа драгоценного времени!

— Вот ваша рукопись,— сказал я спокойно, вынимая из папки стопку скрепленных бумаг.

— Катя,— обратился профессор к девушке,— проводи молодого человека до дверей.

Я покачал головой.

— Спасибо, я не тороплюсь. Я, знаете, с удовольствием выпил бы чашку чаю и слопал бутерброд с маслом и сыром.

При этих словах профессор чуть не задохнулся от возмущения. Он побагровел и так надулся, что казалось, сейчас полетит, как шар братьев Монгольфье. Каким-то чудом ему все же удалось остаться на земле.

— Я же говорила, что он сумасшедший,— сказала Катя, пожимая плечами.

— Что здесь сумасшедшего? — удивился я.— Я же не прошу у вас сто рублей взаймы. («И на том спасибо»,— проворчал профессор.) Человек голоден и просит стакан чаю и кусок хлеба. Что здесь такого?

Мой вопрос явно поставил их в тупик.

— Да, вообще-то...— промямлила Катя и вопросительно взглянула на отца, который уже совсем собрался улететь ввысь.

— Проводи молодого человека на кухню,— сказал профессор, сдержавшись.— И дай ему стакан чаю и бутерброд.

Мы с Катей пошли на кухню. Я сел за стол, накрытый клеенкой с видами столиц мира, а Катя зажгла плиту, наполнила чайник водой и поставила на огонь. После этого она села напротив меня. Мы по-

смотрели друг другу в глаза, и я улыбнулся, но у Кати лицо оставалось суровым.

— Чего уставилась? — спросил я.

— У тебя действительно не в порядке с мозгами или прикидываешься? — сказала она.

— Да нет, мозги у меня в норме.

— А впечатление такое, что они у тебя совсем не варят...

Чайник вскипел и завизжал, как кошка, которой наступили на хвост. Катя сняла его с плиты, достала из шкафа маленький фарфоровый чайник, бросила в него две ложки чая и залила кипятком. Она вынула из холодильника масло, сыр и колбасу; поставила на стол хлеб и пачку печенья.

— Лимона нет?— поинтересовался я.

Катя вздохнула и полезла в холодильник за лимоном.

Я сделал себе большой бутерброд с маслом и сыром, а сверху еще положил изрядный кусок колбасы. Налил чай в блюдце и долго дул на него, чтобы остыл.

— Тебе в детстве не говорили, что чавкать неприлично? — сказала Катя.

— Говорили.

— А зачем чавкаешь?

— Хочется...

Катя рассмеялась.

— А ты ничего...— сказал я.

— В смысле?

— Ну знаешь, так у тебя все в порядке... и фигура... Ноги там...

— Это — в маму. У нее тоже ноги длинные.

— Интересно было бы посмотреть.

— Она попозже будет.

— Знаешь,— сказал я,— у нас в школе учительница физики была... Такая симпатичная... Знаешь, такая фигура и грудь... В общем, интересная женщина.

— Ну и что? — Катя была заинтригована. Она прикрыла дверь и подсела ко мне ближе.

— Да ничего. Один раз она нам фильм показывала... Понимаешь, такой учебный фильм про всякие физические явления. А я сидел один, на задней

парте... Она села рядом и... В общем, света не было, а она рядом... Я так разволновался и потихоньку к ней придвинулся...

— А она? — спросила Катя шепотом

— Она сидит, как будто ничего не происходит. Короче, я ее обнял потихоньку...

— А она?

Я сделал себе новый бутерброд и продолжал беспечно:

— Она ничего. Сидит — смотрит. Ну, потом, после урока, она говорит: «Мирошников,— это моя фамилия,— зайди ко мне после уроков».

— А ты?

— Ну, я и зашел... Она была в лаборантской. Знаешь, колбы там всякие и прочая дребедень... Она меня увидела, и грудь у нее вздымается, как волны на картине Айвазовского «Девятый вал». Я говорю: «Надежда Ивановна, я без ума от вас...» А она: «Мирошников, я — твоя...» И как бросится мне на шею! Ты понимаешь?

— А ты не врешь?

Я увидел, какое уважение засветилось в Катиных глазах.

— С какой стати я буду тебе врать?

— И что же потом было?

Я не предусмотрел возможности подобного вопроса и замялся.

— Да потом она в другую школу перешла,— уклончиво ответил я.— В общем, как-то все на том закончилось.

Катя мечтательно вздохнула.

— Да,— сказала она.— Я тоже была влюблена в одного учителя. Он у нас в десятом классе литературу и русский преподавал. Такой видный мужчина был... с усами...

— Ну и как ты?

— Да никак. Я один раз ему письмо написала, но он не ответил. Ты же понимаешь, я девушка; мне неудобно навязываться...

— Это конечно,— согласился я.

Мы замолчали. Мой рассказ явно произвел на Катю неизгладимое впечатление.

— Ты вообще чем занимаешься? — спросил я.

— Учусь в МГУ,— ответила Катя.— На первом курсе.
— Понятно,— сказал я.— Я тоже мог бы сейчас учиться на первом курсе.
— И что же?
Я пожал плечами.
— Да не захотелось. Вступительные я сдал на «отлично», а потом забрал документы. Решил жизненного опыта подкопить, в армии послужить. А то все лезут в эти институты, как кроты в норы...
— Ты молодец,— восхитилась Катя.— Мне тоже не хотелось поступать. Но родители, их ведь не убедишь.
— Родители есть родители.
Я встал.
— Что? Пойдешь? — сказала Катя.
— Да, пора. Я, наверное, завтра опять зайду к вам. За рукописью.
— Заходи.
В прихожей я надел ботинки и куртку.
— С папой я, пожалуй, прощаться не буду,— сказал я.
— Да, не стоит,— согласилась Катя.— Ты его немного вывел из себя.
Я вышел на улицу. Холодный осенний ветер хулиганил здесь: срывал с прохожих шляпы, бился в окна домов, завывал в подворотнях. Надвинув на голову капюшон куртки, я зашагал к метро.

— Как дела? Что нового? — спросила меня мать во время ужина.
— Наполеон Бонапарт родился в одна тысяча семьсот шестьдесят девятом году на острове Корсика,— ответил я.
Так как рот у меня был набит, то получилось нечто невразумительное: «На-он бо-рт ди-у-сь в о-у-а-ка».
Мама вполне удовлетворилась таким ответом. Только сказала:
— Когда ты отучишься говорить с набитым ртом? Как маленький, ей-богу!

После чая мы смотрели телевизор. Я плюхнулся в кресло, а мама села рядом за стол с кипой контрольных работ своих учеников. На кончик носа она водрузила очки, так что поверх них могла изредка бросать взгляд на телеэкран, и стала проверять тетрадки. Иногда она зачитывала оттуда вслух наиболее замечательные перлы. Как всегда, они исходили от некого Степакова, двоечника, сидевшего второй год в седьмом классе.

— Ох, этот Степаков,— сказала мать.— Послушай, Вань: «...Крепостное крестьянство с негодованием встретило сообщение о татаро-монгольском иге...»

Она засмеялась, но я относился к этому пресловутому Степакову со скрытой симпатией и встал на его защиту.

— А что здесь неверно, собственно?

— Ну, что ты прикидываешься! — удивилась мать.— Да ты послушай...— Она еще раз процитировала Степакова.

— Ну и что? — спросил я.— По-твоему, крестьянство должно было радоваться приходу хана Батыя?

— Да нет,— начала злиться мать.— Это же просто безграмотно! Какое «сообщение»? Что за формулировка!

— А что?! Прискакал гонец, собралось это, как его... вече, сделали сообщение о нашествии татаро-монгол, вечу это не понравилось, и оно негодовало. Такое могло быть?

— Ты все путаешь,— растерялась мать.— При чем здесь вече, гонец?..

— А при том, что такие, как ты, придираются, а люди потом страдают,— назидательно произнес я и добавил: — И ты еще удивляешься, почему у меня в аттестате пять троек. А вот я смотрю на тебя и не удивляюсь!

Для матери мой аттестат был больным местом. Она нахмурилась и поставила Степакову тройку.

Потом мы отправились спать. И, прежде чем уснуть, я представил себя гладиатором. Окровавленным, в разбитых латах, смертельно уставшим, ибо только что в отчаянной схватке одолел громаднейшего льва. Стоя в центре залитой кровью арены, я

внимаю восторженному реву толпы. Лев валяется неподалеку, Колизей неистовствует. Сам великий Цезарь дарует мне свободу. Но даже это меня мало интересует сейчас. В шестом ряду — девушка в бледно-розовой тоге, стянутой серебряным поясом у груди. Она бросает мне цветы. Букет рассыпается в воздухе, и алые лепестки медленно опускаются мне на плечи. Я узнаю гордую патрицианку. Это Катя. Каштановые волосы и карие глаза...

Первым, кого я встретил, когда на следующий день пришел в редакцию, была Зиночка. Она сидела за своим столом, положив ногу на ногу, и красила губы. Они у нее красные, но Зиночка предпочитала синий цвет. Она считала, что женщина с губами, как у мертвеца, должна вызывать у мужчин особое расположение.

— Ты что у Кузнецова вчера натворил, Пантелеймоныч? — спросила она меня.

— А что такое? — поинтересовался я.

— Да вот, позвонил ни свет ни заря и просил прислать за рукописью кого-нибудь другого.

— А ты?

— Я сказала, что больше некому. А он и говорит: «Очень жаль, что в столь уважаемом учреждении работают такие нахалы, как этот молодой человек».

— А ты?

— Я говорю: «Да он у нас погоды не делает. Он у нас — пойди-подай».— Зиночка облизнула губы и взглянула на меня, явно рассчитывая произвести впечатление.

— Замечательно,— сказал я.— Прямо как у покойника.

Зиночка сморщилась, но не обиделась. Она никогда не обижалась.

— Так что же ты там наделал, Ваня?

— Да ничего. Его дочка втюрилась в меня по уши, вот он и опасается.

— Браво, Ваня. Ты, я вижу, свое дело знаешь, Кузнецов — сильный человек.

Я усмехнулся: дескать, красиво жить не запретишь,— и уселся в кресло-развалюху, стоявшее подле Зиночкиного стола. Меня одолевала дремота. Я уже было клюнул носом, но тут появился Макаров. Вид у него был неважный. Лицо опухшее, глаза стеклянные. Он кивнул Зиночке и поздоровался со мной за руку. Потом сел за свой стол и тяжело вздохнул.

— Ты на Цветной съездил? — спросил он меня.

— Нет.

— А чего сидишь? Двигай на Цветной. Привезешь фотографии, а потом к Кузнецову за рукописью. Ее сегодня в набор сдавать.— Он опять вздохнул и ослабил узел галстука.— Что-то душно у нас. Нет? — Макаров вопросительно и печально посмотрел на Зиночку.

— Открой форточку, Иван,— сказала Зиночка.— Степану Афанасьевичу душно.

Я полез открывать форточку, но, вдруг потеряв равновесие, сорвался с подоконника и полетел на пол. Плечами я ударился о дверцу шкафа, стоявшего рядом с окном. Одна створка распахнулась, и на мою голову посыпались папки с бумагами, журналы, книги, справочники и в заключение увесистый дырокол, угодивший мне в самое темечко. Степан Афанасьевич при этом скривил лицо так, будто ему, а не мне попали дыроколом по голове. Он побледнел и как пуля вылетел из комнаты.

— Заставь дурака богу молиться — весь лоб расшибет,— сказала Зиночка.

Я ничего не ответил. Поднялся, отряхнулся и стал собирать бумаги и запихивать их обратно в шкаф.

— Клади по порядку,— сказала Зиночка.

Я сложил на правой руке фигу и молча показал ей.

Минут через десять вернулся Макаров. Он посвежел и, видимо, чувствовал себя значительно лучше.

— Уф! — сказал он.— Ну, Иван! Ну, Иван!

— Открывать форточку? — спросил я.

— Да нет, и так полегчало. Не ушибся?

— А как вы думаете? Если дыроколом по башке? Это как — приятно?

— Дырокол? Кто же его туда засунул? Я его третью неделю ищу! Давай-ка сюда.

Я подал ему дырокол. Степан Афанасьевич повертел его в руках, хмыкнул.

— Да,— решил он.— Такой штукой по голове — это не шутка. Можно до крови разбить.

— Конечно,— согласился я.— Если бы он с большой высоты падал — наверняка до крови.

— А может, и не до крови,— сказала Зиночка.

— Как не до крови?! — возмутился Степан Афанасьевич.— Таким дыроколом убить можно.

— Вот это вряд ли,— засомневался я.

— Да ты подумай! Если им со всей силы и по башке! А? — Степан Афанасьевич замахнулся рукой, изображая, как можно убить дыроколом.

— Дайте мне посмотреть,— попросила Зиночка. Ей дали. Она оценивающе взвесила дырокол, покачала головой и сказала: — Если со всей силы, то убьешь.

— Вот видишь,— проговорил удовлетворенно Степан Афанасьевич.

Тут зазвонил телефон. Макаров поднял трубку.

— Да?.. Здрасте, Олег Петрович!.. Шум? Да это у нас тут курьер новенький с окна свалился... И знаете, что любопытно, ему дырокол на голову упал... Нет, не такой, как у вас. У вас маленький, а это, знаете, такой тяжеленный дыроколище... Нет, ни единой царапины... Ага, сейчас зайду... Ладушки.— Он положил трубку, забрал дырокол и направился к двери.— Шеф вызывает. Зина, дай-ка мне заодно характеристику Ованесова. Пускай подпишет.

Зина подала ему папку с бумагами. Степан Афанасьевич быстро просмотрел их, кивнул головой и обратился ко мне:

— Вань, двигай на Цветной. Адрес у Григорьева возьми, а потом, значит, к Кузнецову.

Дверь открыла высокая полная женщина с приятным лицом. Я догадался, что это Катина мама. Увидев меня, она загадочно улыбнулась. Вероятно, мое поведение вчера послужило предметом долгого обсуждения в семье Кузнецова.

— Проходите, проходите,— сказала она гостеприимно.

— Я только за рукописью,— стал отнекиваться я.

— Вы как раз вовремя. Мы обедаем,— продолжала женщина, не слушая меня.

— Спасибо, я сыт.

— Все равно я не отпущу вас, не накормив хорошенько,— засмеялась она.

Пришлось войти. Я разделся в прихожей, после чего меня повели на кухню. Здесь собралась вся семья. За столом сидели: сам Кузнецов, Катя и еще старуха в золотом пенсне — видимо, бабка. Мое появление встретили весьма доброжелательно.

— Садись,— прогудел профессор.

Его жена поставила передо мной тарелку с супом и тоже села за стол.

— Маша,— обратился профессор к жене.— По этому случаю, я думаю, можно выпить вина.

Тут все уставились на меня, как на принца Уэльского.

— Сегодня праздник?! — прошамкала старуха.

— Сегодня, Агнесса Ивановна,— значительно заявил профессор,— вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи. Этакая смесь нигилизма с хамством.

— Сеня! — укоризненно покачала головой его жена.

— О-о! — пропела старуха и вонзилась в меня взглядом.

Я промолчал. Катя подмигнула мне и улыбнулась.

— Любопытнейший экземпляр! Любопытнейший! — продолжал профессор.— Кстати, как ваше имя?

— Иван,— ответил я.

— Это надо было узнать прежде всего,— сказала Катя.

— Очень хорошо, Иван,— проговорил профессор,— очень хорошо. Меня вы знаете, Катю тоже. Это моя мать Агнесса Ивановна, а это супруга Мария Викторовна.

Я встал и поклонился.

— Видите?! — торжествующе воскликнул профессор.— Все принимается в штыки. Из всего дела-

ется спектакль — шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не надо, мы все сами знаем!

— Да что же ты на него набросился? — рассмеялась Мария Викторовна.

— Это принципиальный вопрос, Маша,— сурово сказал профессор.— Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?

— А что вы, собственно, беспокоитесь? — поинтересовался я.

— Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы намереваетесь существовать в обществе,— спросил, в свою очередь, Кузнецов.

— Да принципы самые несложные,— ответил я.— Секрета тут никакого нет. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях, хотя бы небольшую. Желательно, чтобы все это появилось как можно скорее. Да, еще... Поменьше работать. Согласитесь, что работа не самое веселое занятие...

При этих словах профессор подскочил и зашагал по кухне, бросая на меня уничтожающие взгляды. Невозможно описать возмущение, охватившее его. Он долго не мог вымолвить ни слова. Остальных членов его семьи мое заявление тоже очень озадачило. Меня просто смех разбирал, когда я смотрел на их постные физиономии. Кажется, только на Катю вся эта сцена не произвела никакого впечатления. Наконец Кузнецов снова уселся за стол и, остановив царственным движением руки супругу, норовившую вмешаться в разговор, сказал:

— Допустим! Допустим, что материальные блага необходимы, и в этом нет ничего предосудительного. Но все же надо заслужить их, то есть приложить какие-то усилия, и усилия немалые. Никто не подарит вам за красивые глаза ни машины, ни дачи. Нужно трудиться, работать, овладевать знаниями. Нужно не покладая рук создавать материальные и духовные ценности. Нужно развивать производство и двигать вперед науку. Падать от изнеможения и найти в себе силы встать после этого. Вот тогда красивый легковой автомобиль станет хорошим и заслу-

женным вознаграждением. Если... Если, разумеется, вы хотите получить его честным путем!

Последние слова он произнес тоном, исключающим всякие сомнения на мой счет. Я выждал небольшую паузу, дав возможность профессору сорвать аплодисменты бабки, совершенно обезумевшей от восхищения, после чего спокойно сказал:

— Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины... Лучше пешком ходить, чем падать от изнеможения.

— Вот! — победоносно завопил Кузнецов.— А иначе, мой юный друг, никак, никак, никак не получится!

— Почему же? — невинно спросил я.— А если жениться? К примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней — и дело, можно сказать, в шляпе.

Катя прыснула, а ее домочадцы остолбенели. Кузнецов явно не ожидал такого оборота.

— У вас и связи имеются и денежки водятся! — Тут я подмигнул Марии Викторовне.— Не захотите же вы сделать несчастною жизнь единственной дочери. Прошли те мрачные времена, когда бесноватые феодалы выгоняли детей из дому. Найдете же вы возможность и в институт меня пристроить, и потом тепленькое местечко выхлопотать, и квартирку купите. Что вам стоит? Напишете лишнюю книжку — и готова жилплощадь.— Я сделал паузу, посмотрел прямо в глаза Агнессе Ивановне и рявкнул что было мочи: — А?! Агнесса Ивановна, а?!

Бедная старуха вздрогнула и открыла было рот, но так ничего и не сказала.

— Вон!— закричал профессор.— Вон!

— Сеня, Сеня! — бросилась к нему Мария Викторовна.— Успокойся!

— Безобразие! — наконец-то выговорила Агнесса Ивановна.

— Зачем вы так, Иван?! — сказала Мария Викторовна, пытаясь удержать мужа.

— А что вы сами к нему пристали? — вступилась за меня Катя.

— Во-он!

— Безобразие!

Тут началось подлинное безобразие. Профессор схватил меня за шиворот и стал выталкивать в прихожую. Я сопротивлялся, как мог, вцепившись в косяк дверей, но он, конечно, был здоровее, да еще эта Агнесса Ивановна все щипала меня за пальцы. Кончилось тем, что меня вышвырнули в прихожую, а оттуда я вылетел на лестничную клетку. За мной последовала моя куртка, и дверь захлопнулась. Я стал одеваться, прислушиваясь к крикам в квартире. Вдруг дверь опять открылась, но я уже сиганул по лестнице вниз, опасаясь кулачной расправы. Катин голос остановил меня.

— Вань, постой! — кричала она.

Я замер на первом этаже, готовый спасаться бегством в случае подвоха. Появилась Катя. Она была растрепана, но глаза ее сияли. В руках она держала белый пакет.

— Вот здорово! — сказала Катя.

— Ничего хорошего не вижу,— сказал я.— Еще на работу сообщит...

— Не сообщит. Вот тебе рукопись.— Она протянула мне пакет. Я взял его, проверил содержимое и кивнул.— Куда ты сейчас? — спросила Катя.

— В редакцию.

— Знаешь что, дай мне свой телефон. Я позвоню тебе вечерком — расскажу, как и что.

Я пожал плечами, как будто мне было все равно, и продиктовал номер.

— Ну, я побежала,— проговорила Катя.— Ой, что там делается! Потрясающе! — Она поднялась на несколько ступенек и обернулась ко мне.— А ты смешной,— сказала она.— Ты мне нравишься.

Мамы дома не было. На столе я нашел записку: «Ваня, я на родительском собрании. На плите — котлеты. Разогрей. Целую. Мама». Я пошел на кухню, посмотрел на котлеты, но есть не стал и вернулся в комнату. Зазвонил телефон.

— Позовите, пожалуйста, Ивана.

По голосу я узнал Катю.

— Это я. Привет.

— Привет.

— Ну, как дела?

— Все нормально.
— Чего там отец твой?
— Да ничего, в порядке. Покричал, конечно, немного, а потом успокоился. Мама сказала, что ты оригинал.
— Серьезно?
— Да, ты, как ни странно, ей очень понравился. Так что ты не волнуйся, на работу тебе отец не будет звонить.
— А чего мне волноваться? Я лицо не ответственное.
— Ага, ты скорее лицо безответственное,— засмеялась Катя.— Но все равно не хотелось, чтобы у тебя были неприятности.
— Спасибо. Ты что завтра делаешь? — спросил я.
— Утром учусь, а вечером ничего вроде.
— Может, встретимся, сходим куда-нибудь?
— Давай. Во сколько?
— На Маяковской, у памятника. Подгребай часикам к семи. Устроит?
— Устроит.

Я повесил трубку. На улице уже совсем стемнело. Далекие и близкие огни заполнили черный проем окна. «Что-то матери долго нет»,— подумал я. В голове опять заварилась какая-то каша. Вдруг стало грустно. Захотелось что-нибудь немедленно предпринять. Я достал из шкафа свой лучший костюм, сшитый по случаю выпускного вечера, и белую рубашку. Одевшись, включил магнитофон и подошел к зеркалу. Левую руку я поднес ко рту, как будто в ней был микрофон, правой поддерживал воображаемый шнур. Поймав ритм мелодии, я стал покачиваться, беззвучно раскрывая рот. Стены комнаты расползлись, пол провалился куда-то, и, выброшенный на сцену огромного концертного зала, я под рев многотысячных зрителей исполнил самую популярную песенку года. Исполнил под восторженный свист покоренного зала, чувствуя, как тысячи глаз размылись слезами безумного обожания. И я, заключенный в перекрестке софитов, торжествовал победу над этой исступленной вакханалией...

Звонок в дверь прозвучал, будто выстрел в спину. Словно застигнутый на месте преступления, я

бросился к магнитофону, выключил его, и тишина обрушилась на голову, как поток холодной воды. Взволнованный, я открыл дверь и увидел соседа Никифорова с ребенком на руках, которого, судя по всему, только разбудили; он тер глаза ручонками, довольно бессмысленно озираясь по сторонам.

— Здрасте,— сказал я.

— Посмотри на ребенка,— сурово потребовал Никифоров.

— А в чем дело? — полюбопытствовал я, внимательно осмотрев малыша.

— Ничего не замечаешь? — спросил Никифоров.

Я вторично осмотрел дитя и, не найдя никаких особенных изъянов, покачал головой.

— Да вроде все в порядке.

— Та-ак! — сказал Никифоров и, встряхнув ребенка, забормотал: — Ничего, пусик, ничего... Та-ак,— повторил он снова, обращаясь ко мне.— А головка дергается — это тоже порядок?! Да? Ребенок от твоей музыки, можно сказать, ненормальный растет! Это как, порядок?

— Да что ты ему объясняешь, бесстыднику? — закричала жена Никифорова, выбежав на лестничную площадку и вырывая из рук мужа ребенка.— Ничего, пусик,— заговорила она, раскачивая его на руках,— мы найдем на него управу! Мы его в милицию!.. Мы его!..

Малыш, видимо, растроганный всеобщим вниманием, действительно заплакал.

— Вот! — воскликнул Никифоров.— Во-от! Видишь, до чего довел ребенка! Ишь, моду взял — на полную катушку магник заряжает! Что из него теперь вырастет, когда он с ранних лет оглушенный растет?

— Должно быть, ничего хорошего,— согласился я.

— Как это? — удивился Никифоров.

— Так ведь головка дергается,— пояснил я и для наглядности сам задергал головой. Заметив это, юный Никифоров вдруг перестал плакать и с интересом воззрился на меня.

— Издевается,— убежденно сказала его мамаша.

— Самый умный,— решил ее супруг.

— Гу-гу! — закричал их сын, смеясь и хлопая в ладоши.

С трудом переставляя израненные, стертые ноги, я шел вверх. Пот тонкими струйками стекал из-под шлема на лицо, разъедал глаза и щипал опаленную солнцем, искусанную комарами, расцарапанную кожу. За спиной я слышал тяжелое дыхание своего отряда. А впереди была вершина, до которой оставалось не более ста шагов. Я остановился, и отряд в тот же миг застыл на месте. Вглядываясь в обросшие, худые лица солдат, я с трудом узнавал их. Диего, Хуан, Родриго... Они смотрят в мои глаза, надеясь найти в них избавление от всех несчастий, постигших нас в этом походе. Еще сто шагов... Я пройду их один. Сам. Обратив лицо к вершине, я отбрасываю шлем в сторону и обнажаю меч, будто иду в бой. Я поднимаюсь, чувствуя, как эта кучка больных и грязных людей, более похожих на нищих, нежели на солдат, пристально следит за каждым моим движением. Я иду к вершине. И в тот момент, когда я ступаю на нее, до меня доносится далекий, но неумолкающий шум прибоя. Я ощущаю запах морской волны, дуновение свежего бриза. Я вижу бескрайнюю голубую гладь, сверкающую под солнцем. Это океан. И, воздев меч к небу, я кричу так громко, как только могу. Кричу, чтобы слышали солдаты и индейцы, конкистадоры и миссионеры, ученые и мореплаватели, короли и королевства, все мужчины и все женщины. Кричу о том, что я, первый из всех, увидел этот Великий Неведомый Океан. И пока солдаты в безумном восторге спешат ко мне, я его единственный и полноправный владелец. Я — Васко Нуньес де Бальбоа.

Сон сковал глаза. Уступая ему, я простился с человеком, пронзающим небо серебряным клинком своего меча.

Каким же был этот миг? И был ли вообще?

Шел пятый час, и я, памятуя о свидании с Катей, хотел, по образному выражению Зиночки, «отчалить

из гавани». Степан Афанасьевич протянул мне большой конверт.

— Вот, брось пакет в почтовый ящик — и свободен,— сказал он.

— Что это?

— Фантастический рассказ. Плохой. Печатать не будем. Еще вопросы?

— Все ясно, как в морге,— сказал я.

— Слыхали выраженьице?— проговорила Зиночка.

Макаров усмехнулся.

— Действуй.

Я взглянул на адрес на конверте. Тверская-Ямская. «Это мне по дороге. Заеду, брошу в ящик. Время есть»,— решил я.

Однако почтового ящика в подъезде дома на Тверской-Ямской не оказалось. Мне пришлось пешком подняться на пятый этаж (лифт в доме не работал), и там я долго звонил в буро-коричневую дверь квартиры № 46, где проживал автор фантастического рассказа. Наконец мне открыли. Я увидел худощавого мужчину в пижаме и тапочках на босу ногу. Лицо его, смуглое, широкоскулое — нос с горбинкой, глаза голубые,— имело выражение недовольства, какое бывает у людей, чей сон бесцеремонно потревожили. Мужчина окинул меня подозрительным взглядом и спросил:

— В чем дело?

— Мне товарища Воробьева,— сказал я.

— Я Воробьев Сергей Степанович,—ответил мужчина.

— Я вам рукопись привез.— Я протянул ему конверт.

Воробьев посмотрел на него, но в руки не взял и, посторонившись, пригласил меня зайти. Сам двинулся вперед, бормоча под нос:

— Соседи-дьяволы открыть не могут. Знают ведь подлецы, что я в ночь работал...

Мы зашли в небольшую, почти пустую комнату. В центре ее стоял стол, в углу тахта с разобранной постелью, рядом с ней холодильник. Сергей Степанович предложил мне сесть, а сам вскрыл конверт, быстро пробежал глазами письмо от редакции. Неко-

торое время он в раздумье прохаживался по комнате, потом взял со стола рукопись, которую перед тем положил туда, и сунул ее мне под нос.

— А ты сам читал это? — спросил он с вызовом.

— Нет, не читал,— ответил я.

— Как? Ты не читал? — искренне удивился Воробьев.

— Не читал,— повторил я.

Сергей Степанович с досадой бросил рукопись на стол и сказал:

— Это очень хороший рассказ.

— Не знаю,— пожал я плечами.

— Ты не знаешь, а я знаю! — вскипел Сергей Степанович.— И говорю тебе, что рассказ просто замечательный.

— Ну, может быть, он и замечательный, но печатать его у нас не будут,— сказал я.

— Это потому, что у вас в редакции работают некомпетентные люди,— важно произнес Сергей Степанович и добавил: — И ты тоже некомпетентный человек. Поначалу ты произвел на меня неплохое впечатление, но теперь я вижу ясно, что ты абсолютно некомпетентен.

— Тогда я лучше пойду,— сказал я, чутьем угадав, что здесь можно застрять надолго, и рассчитывая воспользоваться удобным предлогом, чтобы поскорей улизнуть.

— Нет, подожди,— остановил меня Сергей Степанович.— Ты что же, обиделся, что ли? Ты это брось. Я пошутил. Давай-ка я лучше тебе расскажу про этот рассказ. Давай?

— Да нет, мне идти надо.

— Ну, полчасика, а? Я тебя прошу.

Его глаза сделались такими печальными, что мое чувствительное сердце дрогнуло и я вернулся за стол. Тогда Сергей Степанович начал суетиться. Достал из холодильника бутылку вина, поставил на стол рюмки и закуску.

— Хлопнем по одной? — предложил он.

— На работе не пью.

— Чуть-чуть?..

Мы хлопнули чуть-чуть, по рюмке. Сергей Степанович захрумкал огурцом, потом, откинувшись на спинку стула, сказал:

— Ты вот не знаешь, про что рассказ, а я тебе сейчас скажу.— Он сделал интригующую паузу, завел глаза к потолку, вернул их на место и продолжал:— Там, понимаешь, такая история, что на Земле наступает новый ледниковый период. Слышал, наверное, было у нас однажды такое дело?

— Слышал,— сказал я.

— Так вот... Наступает этот самый период, и такой холод начинается... Ну, просто собачий!.. Понятно?

— Понятно.

— И это, в общем, катастрофа... Потому что холодно... Просто очень холодно. И никто не знает, что делать. Конечно, предлагаются разные проекты спасения: выдать населению по цистерне водки, запустить искусственное солнце, с помощью мощных ракет перевести Землю на другую орбиту и так далее. ООН заседает круглосуточно, рассматривает все проекты и отвергает их один за другим. Вдруг неизвестно откуда появляется некий старикашка, показывает книгу, изданную пятьдесят лет назад, и говорит: так, мол, и так, вот в этой книге я полвека назад предсказал это ужасное похолодание. Все, конечно, хватаются за голову: дескать, как же мы раньше эту книжонку не читали? — и в признание старикашкиных заслуг решают выдать ему Нобелевскую премию. Старикашка, разумеется, очень доволен и уже прикидывает в голове подарки, которые он купит внукам, как вдруг встает один делегат и говорит: «Этому старикану не то что премию давать, ему башку оторвать мало за его предсказание. Это он накаркал нам ледниковый период. Он во всем виноват!» Тут общественное мнение круто изменяется, и всеобщим голосованием постановляется оторвать старикану голову... И оторвали...— Сергей Степанович задумался, почесал ладонью лоб и сказал: — Рассказ в общем-то действительно дерьмовый...

— А я что вам говорил? — обрадовался я.

Воробьев строго взглянул на меня.

— Напечатать-то его все равно могли. Не подходит им, видите ли... А я, между прочим, три дня на него ухлопал!

— Да вы зря переживаете,— стал я его успокаивать.— Если бы рассказ был хороший, тогда, конечно, обидно... А если дерьмовый — так наплевать на него!

— Да, конечно,— согласился Сергей Степанович.— Мне просто деньги очень нужны. Вот я и решил рассказ написать. Сперва я хотел какую-нибудь научную статейку набросать — это мне ближе. Но потом узнал, что за художественную прозу платят больше.— Он вздохнул, налил себе еще рюмку, но не выпил и продолжал: — Ты только не подумай, пожалуйста, что я рвач или хапуга. Здесь совсем не то. Я в такси работаю, зарабатываю достаточно — на жизнь хватает...

Он сделал паузу, а потом вдруг, резко наклонившись над столом, приблизил свое лицо ко мне, будто хотел сообщить нечто таинственное. Но в это мгновение дверь в комнату отворилась и в проеме показалась взлохмаченная голова мужчины. Сергей Степанович, отпрянув от меня, столь сурово посмотрел на голову, что любое более ранимое существо непременно смутилось бы под взглядом его прищуренных глаз. Однако голова, видимо, не отличавшаяся особой сентиментальностью, ничуть не растерялась и дружелюбно проговорила:

— Серега, одолжи трояк до субботы.

— Вон! Пошел вон! — закричал Сергей Степанович.— Я же тебя предупреждал по-хорошему!.. Убирайся! Вон!

Голова выслушала эти гневные слова с невозмутимостью индейского вождя и, когда Сергей Степанович замолчал, чтобы перевести дух, обратилась ко мне:

— Молодой человек, три рубля не одолжите?

Сергей Степанович пулей метнулся к двери с явным намерением причинить голове физический ущерб. Но ее обладатель оказался проворней и захлопнул дверь перед самым его носом.

— Видал, каков? — с негодованием произнес Сергей Степанович.

— Это кто ж такой? — поинтересовался я.

— Синицын, сосед — сказал Сергей Степанович,

возвращаясь на место.— За стенкой живет. Такой, понимаешь ли, подлец. Жокеем на ипподроме работает... То есть говорит, что жокеем, а по-моему, врет. По-моему, просто тунеядец!..

Он с досадой махнул рукой, как бы желая отделаться от неприятного воспоминания, но шорох за дверью заставил его вновь насторожиться.

— Ну, хватит!..— Стукнул ладонью по столу Сергей Степанович и стремительно выбежал из комнаты.

Я подошел к окну. Тучи сплошной серой массой висели над городом. Казалось, их можно достать рукой с крыш наиболее высоких домов. Улица внизу была малооживленной и ничем не привлекала внимания. Я взглянул на часы: шесть. Как-то незаметно я просидел здесь почти полтора часа. В семь у меня свидание с Катей. Домой я уже никак не успевал — надо улучить минуту и позвонить матери, сказать, что задержусь.

— Да, да, это очень интересный дом. Вернее, не дом, а одна квартира, окна которой прямо напротив нас.

Задумавшись, я не заметил, как вернулся Сергей Степанович и встал рядом. Его голос прозвучал слишком внезапно, и я не уловил смысла произнесенной фразы. Сергей Степанович как будто понял это и повторил:

— Я говорю, что окна напротив представляют очень интересный объект для наблюдения.

Его лицо и интонации в голосе как-то неуловимо переменились. Однако мне почудилось в них что-то знакомое, и тогда я вспомнил ту таинственность, с какой он приблизился ко мне за столом. Я внимательно посмотрел на серый пятиэтажный дом на противоположной стороне улицы. Окно, о котором говорил Сергей Степанович, принадлежало последнему этажу и действительно помещалось прямо напротив того, у которого стояли мы. Ничего примечательного ни в доме, ни в этом окне мне не показалось.

Я с удивлением взглянул на Воробьева. На лице его появилось радостно-глупое выражение, какое бывает у людей, загадывающих загадки.

— Теперь ты понимаешь, для чего мне нужны деньги?— спросил Сергей Степанович, заранее упиваясь моим ответом.

— Нет,— сделал я ему приятное.

— Вот! — Сергей Степанович многозначительно поднял палец и пригласил меня вернуться к столу.

— Не знаешь,— с удовольствием повторил он, когда мы присели, и продолжал: — Мне нужна хорошая подзорная труба.

— За окном следить, что ли? — догадался я.

Сергей Степанович утвердительно кивнул головой, и лицо его расплылось в радостной улыбке.

— Это неприлично,— сказал я.

— Здесь совсем другое дело. Здесь наука и, возможно... Я бы сказал даже, очень и очень возможно великое, историческое открытие.— Он придвинулся ко мне и понизил голос.— Слишком рано, конечно, делать какие-либо выводы. Но я убежден, что дознался до такого, что никому и не снилось. Я открываю тебе это не потому, что на меня произвели впечатление твои умственные способности. Ты не обижайся, но, судя по всему, они довольно посредственные. Однако ты молод, и я углядел в твоем характере черты, полезные для моих исследований. Мне нужен посторонний взгляд на объект, за которым я наблюдаю, потому что иногда мне уже мерещится, будто все, что я вижу каждую ночь из этого окна, просто плод моей богатой фантазии. Ты кажешься мне самым подходящим человеком для этого. Не могу же я в самом деле доверить такое важное открытие этому проходимцу Синицыну. Подумай хорошенько, прежде чем согласиться, и, если решишься, приходи ко мне в двенадцать часов ночи.

Сергей Степанович замолчал и уставился на меня своими круглыми ржаво-серыми глазами. Я долго не находился, что сказать. Так мы молча смотрели друг на друга, и вдруг меня осенила мысль.

— А как же труба? — спросил я не без провокации.— Ведь подзорной трубы у вас нет.

— Трубы нет,— не моргнув глазом, ответил Воробьев.— И наплевать, что нет. И без нее все видно.

Я вышел на улицу в том состоянии, какое в старых романах называлось «полным смятением

чувств». Я, разумеется, сразу определил Сергея Степановича как сумасшедшего, но все же не мог отделаться от беспокойства, которое он заронил во мне своей таинственной историей. Однако часы показали половину седьмого, и я поспешил к площади Маяковского, на время забыв разговор с Сергеем Степановичем.

Остановившись между колонн Зала Чайковского, я принялся высматривать среди прохожих Катю. Мне пришлось подождать минут пятнадцать, и наконец я увидел ее. На Кате был просторный блестящий плащ, скрывавший все, кроме черных сапог на высоких серебряных каблуках. Выглядела она в этом наряде очень экстравагантно. Спрятавшись за колонной, я наблюдал, как, неприступно вскинув голову, она идет по улице, словно не замечая многочисленных взглядов, бросаемых ей вслед.

— Привет,— сказал я, прекращая ее победоносное шествие.

— Привет,— произнесла Катя надменно, видимо, еще не выйдя из роли демонической женщины.

— Ты сегодня ничего,— сказал я, ухмыляясь.

— Мерси.— Катя небрежно откинула прядь волос, упавшую на лоб.

— Может, поцелуемся? — предложил я.

— С какой это стати? — фыркнула Катя.

— Ну так... Что ты, развалишься?

Катя задумалась.

— Развалиться, конечно, не развалюсь,—согласилась она.— Но целоваться с тобой не буду. У меня другие принципы.

— А у меня, по-твоему, принципов нет? Да?

— Не знаю,—сказала Катя.— Ладно, ты зачем меня на свидание пригласил? Чтобы что делать?

— Чтобы поцеловаться,— сказал я.

Катя развернулась на сто восемьдесят градусов и пошла прочь.

— Чего ты обиделась? — заканючил я, нагоняя ее.— Что, пошутить нельзя?

Катя остановилась.

— Шутки у тебя дурацкие,— сурово сказала она.

Я изобразил на лице чистосердечное раскаяние и виновато потупил голову. Катя смягчилась.

— Ладно,— проговорила она примирительно.— Какие у нас все же планы?

— Сходим куда-нибудь, в кафе или кино,— предложил я.

— Знаешь, у одной моей знакомой девочки сегодня день рождения. Если хочешь, можем к ней пойти. Согласен?

Именинница жила в большом четырнадцатиэтажном доме на Юго-Западе. Когда мы туда пришли, празднество было в самом разгаре. Это стало ясно уже в подъезде, где я услышал незабываемый голос Адриано Челентано. Хозяйка лично открыла дверь и пригласила нас войти. Она была сногсшибательно одета и страшна, как черт.

— Вы очаровательны,— сказал я, вручая ей цветы.— Поздравляю.

Она сделала легкий реверанс и представилась:

— Наташа. Очень рада.

В гостиной за низким столом, украшенным грудой бутылок с иностранными этикетками, сидели, развалясь в мягких креслах, человек восемь молодых людей и девиц. Гремела музыка. Под потолком стлался дымок импортных сигарет.

Наташины родители работали и жили, как выяснилось, в Греции. Ко дню рождения дочери они прислали открытку с видом Акрополя и стереомагнитофон фирмы «Акай». Он и наяривал теперь во всю мощь десятиваттных колонок. Девицы пустили по рукам парижские журналы мод, которых у Наташи было видимо-невидимо. С надутыми губками они листали красочные страницы. Журналы им явно не нравились. Они откровенно говорили об этом друг другу.

— Ну что это за платье,— сказала довольно смазливая блондинка, тыча пальцем в журнал.— Просто идиотство!

— Самое интересное, что в Париже так никто не одевается,— заявила сидевшая напротив нее брюнетка.

— А вы бывали в Париже? — поинтересовался я.

Девицы с изумлением уставились на меня, а брюнетка сказала с легкой улыбкой на ярких губах:

— Я все лето провела в Лондоне.

— Ну, а в Париже-то были? — настаивал я.

Брюнетка раздраженно передернула плечами.

— В Париже не была.

— Ах, Людка, бедная,— обнял ее за плечи и потащил к себе широкоплечий парень,— не была она в Париже!

— Отстань, Игорь,— рассердилась Люда.

— Не трожь! — грозно закричал другой парень.— Убью!

— Ой-ей-ей,— запричитал Игорь, делая вид, что ему страшно. Потом вдруг, живо вскочив с дивана, встал посреди комнаты, широко расставив полусогнутые ноги. Другой немедленно очутился напротив него и заорал:

— Йока!— И звезданул ногой в лицо сопернику. Впрочем, его черный блестящий сапог, не долетев сантиметров пяти до носа Игоря, благополучно вернулся на место.

— Ки-а! — крикнул в ответ Игорь, и его правая нога взметнулась в воздух, грозя ребрам партнера.

— Хватит вам, каратисты,— вяло сказала Наташа.— Сейчас всю мебель побьете.

Каратисты чинно поклонились друг другу и сели на свои места. Они пустились в рассуждения о секретах каратэ. Остальная мужская часть общества приняла живое участие в их беседе.

— Они что, все каратисты? — шепотом спросил я у Кати.

— Угу,— кивнула она.— Игорь шесть лет в самой Японии занимался. Еще когда с родителями там жил.

В Катином голосе прозвучали восхищенные нотки. Мне стало обидно и завидно. Этот Игорь явно чувствовал себя героем вечера: много говорил и громко смеялся, был развязен, легкомыслен и великодушен. Меня просто зло брало, когда я смотрел на его самодовольную физиономию. Тем временем мне пододвинули полный бокал вина, и Игорь предложил тост:

— За Наташку!

Все закричали, захлопали в ладоши и выпили за Наташку. Я тоже выпил. Залпом. До дна. И захмелел. Тепло пробежало вдоль позвоночника, проникло в кровь и разлилось по всему телу.

— Где ты учишься, Иван? — обратилась ко мне Наташа.

— Нигде, я работаю,— ответил я.

Наташино лицо от удивления вытянулось.

— Что, уже закончил? — неуверенно спросила она.

— Да нет, не закончил.— Я краем глаза взглянул на Катю и, придавив на всякий случай ее ногу под столом, громко сказал: — Я на заводе работаю, слесарем.

Мое заявление имело некоторый успех. Девицы заинтересовались моей особой, и, хотя Игорь еще продолжал удерживать мужскую аудиторию, я заметил, что и там произошло легкое движение.

— Собираешься поступать? — с участием спросила Наташа.

— Куда ж мне поступать с такой анкетой,— простодушно сказал я.

— А-а...— Наташа запнулась и беспомощно взглянула на Катю. Та с невозмутимым видом потягивала вино.

— Я же сидел,— сказал я как можно беспечнее.— Пять лет оттрубил... в зоне.

В комнате воцарилась пауза. Игорь еще пытался как-то заполнить ее демонстрацией очередного сверхубойного приема, но, уразумев, что его уже никто не слушает, затих сам собой. Я спокойно взял нетронутую бутылку виски и, легонько взвесив в руке, спросил у Наташи:

— Покрепче ничего нет?

— Что? — растерялась Наташа.

— Спирта, говорю, нет?

Наташа виновато развела руками и промямлила:

— Нет... спирта нет...

Я сокрушенно вздохнул и, налив себе полный бокал, вопросительно взглянул на ребят. Они заволновались и стали поспешно пододвигать мне свою посуду, куда я щедро, до края бухал виски. Нап-

вая Игорю, я не удержался от провокационного вопроса:

— Полную?

— Разумеется,— ответил он, занервничав, и пробасил: — Я в общем-то тоже спирт предпочитаю...

— Какой? — спросил я с подозрением.

— Что какой? — смутился Игорь.

— Спирт какой предпочитаешь?

— Спирт?..— Игорь заерзал в кресле.— Медицинский, девяностошестипроцентный...— Он запнулся и добавил отчаянно: — Неразбавленный!..

— Понятно.— Я сделал многозначительную паузу, после чего задумчиво проговорил: — Да, медицинский — еще куда ни шло. Хотя по мне ничего нет лучше обычного древесного спиртяги...

— Разве его можно пить? — робко спросила Люда.

— Это уж кому как,— усмехнулся я ее наивности.

После этого акции Игоря начали стремительно падать. Девочки смотрели на меня глазами, полными беспокойства и тайного восторга. Присутствие в компании отпетого уголовника внесло в заурядный вечер элемент мрачной романтики. В комнате, кажется, запахло дымом таежных костров, дальними дорогами, забытыми богом полустанками. За всем этим вставала другая жизнь. Она казалось большой и серьезной. Там неумолимо и упорно прокладывали дороги. Там женщины страдали от несчастной любви и мужчины ненавидели неверных женщин. Там смеялись и плакали, совершали преступления и героически жертвовали собой. Там была жизнь, пугающая и влекущая своей непридуманной правдой.

Там была неизвестность, тайна, легенда, чудо. Там в тихих утренних озерах блеснет вдруг серебряным боком рыбина и исчезнет в глубине, так что никогда и не узнаешь, видел ли наяву этот блеск или он только почудился. И в глухих чащобах леса хрустнет ветка — и зажжется желтый немигающий глаз волка. И сердце дрогнет и замрет от сладкого ужаса. И в пустыне разразится песчаная буря. И ты погибнешь, занесенный горячим, сухим песком. И в горах

сорвешься с ледника и полетишь в пропасть, отсчитывая последние доли секунды своей жизни. И перед тем как погрузиться в ночь, еще увидишь ослепляющий блеск снегов и розовые в закатном солнце вершины гор. И в штормовом океане обратишь свое лицо к затянутому облаками небу, сквозь которые сверкнет, может быть, последний в твоей жизни солнечный луч. И тело мягко и легко опустится и ляжет между сгнивших корпусов затонувших кораблей...

В одно мгновение коснувшись неизведанного, наш вечер тронулся дальше по уже проторенной дороге. Загорелись свечи в тяжелых подсвечниках, и мир сжался до размеров плеч девушки, которую обнял в медленном танце.

«Добрый вечер, синьорина, добрый вечер...» — пел Челентано, и вечер казался добрым и вечным. Все было прекрасно в нем: сиреневый блеск бокалов и капли белого вина на их хрустальных стенках, бледно-розовый свет одинокого торшера и кисть Катиной руки, устало повисшая в воздухе, раскрытый журнал, упавший на ковер, и рыжий кот, притаившийся в подушках дивана. Лица собеседников оплыли, как подогретый воск. Их черты стали теплыми и мягкими, а голоса звучали шорохом осенних листьев, в котором нельзя было уловить никакого смысла. Дым от сигарет, собравшись в белесое облако, обернулся полярным медведем. Медведь спал, обнимая толстыми лапами люстру. Его длинный розовый язык вывалился из полураскрытой пасти и повис в воздухе над нашими головами. Я поднял руку, чтобы дотронуться до него.

— Не надо,— тихо сказала Катя.

— Что? — не понял я.

— Не трогай его.— Она посмотрела на медведя.— Пускай спит.

Той ночью мне было очень плохо. Проклятое виски нанесло чувствительный урон. Домой я пришел поздно, но мама, конечно, не спала. Не сказав ни слова упрека, она помогла мне раздеться и уложила

спать. Сперва я, кажется, действительно заснул, но ненадолго. Меня мутило. Кое-как добравшись до окна, я открыл его настежь и, по пояс высунувшись наружу, стал жадно вдыхать холодный воздух. Опять пришла мама и, вернув меня в постель, присела рядом. Она приложила ладонь к моему лбу, и постепенно я забылся в дремучем полусне.

Мне приснился золотой дракон с голубыми глазами. Сосед Никифоров в черном смокинге, без головного убора и даже без головы. Трамвай, в котором я ехал по незнакомому городу. А в трамвае сидели четыре женщины в римских тогах. На коленях они держали позолоченные клетки. В клетках сидели рыжие коты. Женщины и коты с любопытством наблюдали за мной. Вагоновожатый все время выбегал из своей кабины и кричал страшным голосом: «Я же просил вас не мяукать!» — хотя никто и не мяукал. В растерянности от таких беспочвенных обвинений рыжие коты только лапами разводили, а римлянки молча выбрасывали клетки в окно. Но стоило вагоновожатому исчезнуть, как клетки снова появлялись у них на коленях. Так продолжалось до тех пор, пока не пришел профессор Кузнецов. Он сказал: «Прошу встать. Идет директор главка». Но это было уже не в трамвае, а в нашей редакции. Там ко мне подошел Макаров, снял с головы шляпу с кроликом и велел: «Двигай к Кузнецову, герцог». А я сказал: «Да вот же он!» — и показал на профессора. Но Макаров смотреть не стал и сказал мне: «Это не он, это тень от дверной ручки». Я тотчас поверил этому и взялся за профессора, как за ручку, и дверь действительно открылась, и я очутился на лестничной клетке. В руках у меня было мусорное ведро, а в нем старые ботинки и кусок шведского мыла. Почему шведского, не знаю, на нем написано не было. Я направлялся к мусоропроводу, но вдруг меня как будто что-то стукнуло в спину. Я обернулся и увидел Воробьева. Он приоткрыл дверь соседней квартиры и, улыбаясь, смотрел на меня через узкую щель. Из головы у него росла ветка сирени, а изо рта торчали огромные желтые клыки. Он подмигнул мне и захлопнул дверь. Но дверь оказалась хрустальной и с мелодичным звоном рассыпалась на ку-

ски. За нею открылся бронзовый бюст моего отца. Он спросил меня: «Как дела, старина?» Я ответил: «Все в порядке, папа».

Мы сидели с Катей на диване в ее комнате. Между нами стояла ваза, полная грецких орехов, которые я колол щипцами и делил поровну между собой и Катей. Мы уже успели сходить в кино; потом Катя пригласила меня к себе. Я сперва отказался, опасаясь встречи с ее отцом и бабкой. Но Катя все же уговорила меня.

— Отец что? Работает? — поинтересовался я между прочим.

— Угу,— кивнула Катя.— Работает. Пишет чего-то...

— Охота ему целый день за столом сидеть?! — удивился я.— Пошел бы лучше в футбол погонял.

Катя засмеялась.

— Представляю своего папу играющим в футбол,— сказала она.

Я тоже улыбнулся.

— Зрелище, конечно, не для слабонервных.

Катя шлепнула меня по голове.

— Хватит!

— Виноват.— Я протянул ей очередной орех.

— Не хочу больше.

Я пожал плечами и сам слопал орех.

— А на инструменте ты играешь? — кивнул я на рояль, стоявший рядом с диваном.

— Занималась когда-то...— сказала Катя.

— Ну сыграй что-нибудь,— попросил я.

— Не хочется...

— Сыграй, я спою...

Катя заинтересовалась этим предложением и спросила:

— Как я буду играть, если не знаю, что ты будешь петь?

— Да мне все равно, какой мотив... Играй что-нибудь блатное.

— Ладно...— Катя потянулась, встала, еще как-то вся изогнулась, как кошка после долгого сна, встрях-

нула головой и села на стул перед роялем. Я ногой подцепил другой стул и пододвинул его к себе.

— Я буду стучать на нем, за ударника,— пояснил я.

— Валяй стучи,— согласилась Катя.

— Ну, давай...

— Я даже не знаю... Давай лучше с тебя начнем...

— Нет, нет, играй, а я потом вступлю...

Катя вздохнула и ударила по клавишам.

— Ну! — сказала она, сыграв вступление.

— Это что-то не то. Мотив неподходящий.

— Ну, я не знаю, какой тебе нужен. Ты сперва спой, а я подберу.

— Как же я буду без музыки петь?

— А так я не знаю, что играть...

— Ладно, я сейчас напою тебе, а ты подыграй на фоно.— Я откашлялся, на минуту задумался, потом запел. Первый куплет пошел у меня как по маслу. Вот он:

Жил на свете козел,
Не удав, не осел,
Настоящий козел,
С седой бородой!
Ме-е!

Катя чуть не задохнулась от смеха.

— Как это ты пел?! — покатывалась она.— Ме-е-е!..

Я остался доволен произведенным эффектом и сидел, ухмыляясь во весь рот.

— Ну, давай дальше! — просила Катя.

— Подожди, еще не придумал.

Катя стала наигрывать на рояле довольно блатную мелодию.

Любил козел морковку,—

завыл я, как ошпаренный.—

Старый кретин любил
Све-е-ежайшую морковку!..

Тут и Катя запела что было сил:

Бе-е, ме-е, бе-бе!

Здесь я сам уже не мог сдержать смех, а Катю прямо-таки прорвало, и она продолжала срывающимся голосом:

И любил он морковь,
Не салат, не свеклу,
А любил он морковь,
Хау ду ю ду-ду!

— Бе-бе! Хряп-хряп! — поддержал я.— Хау ду ю ду-ду!

— Ой, не могу,— заливалась Катя.

А я спел еще:

Вот какой был дурак,
Не удав, не осел,
Этот старый чудак,
Настоящий ко-о-озел!

Последние слова «песни» нанесли нам, можно сказать, смертельный удар. Я растянулся на диване, не в силах остановить приступ истерического смеха, овладевшего мной, а Катя просто свалилась со стула.

И представьте себе, что в этот кульминационный момент дверь в комнату отворяется и на пороге возникает могучая фигура Семена Петровича, из-за плеча которого высовываются длинный нос и золотое пенсне Агнессы Ивановны. Если бы вы могли видеть их лица в эту минуту! Мы-то с Катей их видели, и мне до сих пор непонятно, как я выжил тогда. Потому что если до этого со мной была истерика, то теперь начались настоящие судороги. Я забил ногами по дивану, стал хватать ртом воздух, при этом визгливо вскрикивая:

— А-а! Ах-ха-ха! А-а!..

Тогда, нужно признать, Семен Петрович принял единственно правильное решение. Агнесса Ивановна, помнится, еще прошамкала нечто вроде: «Что же это такое?» Но Семен Петрович, не проронив ни звука, медленно попятился, подобно тигру, уступающему поле боя стае шакалов, и, вытеснив задом наседавшую на него Агнессу Ивановну, резко захлопнул дверь.

Это несколько привело нас с Катей в чувство.

— Вот попали,— сказал я, отдышавшись, отирая ладонью влажные от смеха глаза.

— Да, неудобно получилось,— согласилась Катя и, не в силах сдержаться, опять рассмеялась.

— Хотя, если разобраться, ничего предосудительного мы не делали,— проговорил я.— Что, уже посмеяться нельзя?

— Да, в общем, конечно,— произнесла, правда, не очень уверенно Катя.

За дверью послышался слабый шорох. Я настороженно замер, на мгновение воцарилась тишина, потом дверь приоткрылась, и в узкой щели блеснуло пенсне Агнессы Ивановны.

— Катя,— вкрадчиво позвала она,— мне кажется, тебе пора немного позаниматься.

Катя покраснела.

— Ой, ну ладно, ба!

Я понял, что пожелание Агнессы Ивановны более всего обращено ко мне.

— Ладно, Катерина, я потопал.— Я встал с дивана и пошел в прихожую одеваться, но в коридоре меня остановил властный голос Семена Петровича.

— Молодой человек! — сказал он, появившись из своего кабинета так быстро, что могло показаться, будто он специально поджидал меня.— Не уделите ли вы мне несколько минут вашего драгоценного времени?

Я беспокойно взглянул на Катю, потом на Агнессу Ивановну, которая с высокомерным видом прошла мимо меня на кухню, и направился в кабинет.

Семен Петрович расположился в удобном кресле около письменного стола; я остался стоять посреди комнаты. Сесть он мне не предложил, а сам я, оробев под его пристальным взглядом, не решился на подобную дерзость. Со стороны, я думаю, мы очень напоминали известную картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». Мысленно я пририсовал к физиономии Семена Петровича густые торчащие усики, и вот уже сам грозный царь Петр сидел передо мною. Сейчас он сделает легкий жест, и верный царский пес князь-кесарь Федор Ромодановский потащит меня в сумрак пыточного каземата. А там — дыба, жаровня, батоги и прочие хитроумные приспособления, которыми так успешно пользовались наши предки. От этой картины по спине пробежал холодок, а дальше я уже представлял свою забубенную голову на плахе, окруженной тол-

пой задавленного абсолютизмом народа в костюмах наподобие тех, какие я видел на концерте ансамбля Игоря Моисеева.

— Нуте-с,— произнес Семен Петрович, не дав мне насладиться зрелищем собственной казни.— Итак, молодой человек, должен вам признаться, у меня сложилось мнение... Нет, глубокое убеждение в том, что ваше общество категорически противопоказано моей дочери. Я позволю себе не излагать все те многочисленные факты... э-э... примеры вашего поведения, из которых складывалось подобное мнение... м-м... убеждение. Однако, как мужчина мужчину, я настоятельно прошу вас прекратить всякие отношения с Катей. Я прошу вас обещать мне это, и даже если Катя сама позвонит вам, дать ей понять недвусмысленно, не ссылаясь, разумеется, на меня, невозможность ваших встреч.

Закончив эту тираду, Семен Петрович откинулся в кресле и склонил голову, как бы приглашая меня ответить ему.

— Это невозможно, сударь,— брякнул я.

Честно говоря, я вовсе не хотел обидеть или шокировать его. Это дурацкое «сударь» вырвалось у меня само собой, нечаянно. Семен Петрович остолбенел. Он даже не рассердился, а просто не находил что сказать. Слово-то действительно вроде бы совсе необидное, но какое-то неуместное и никчемное.

Воцарилась длительная пауза, в продолжение которой я смотрел в потолок, и поэтому не знаю, чем занимался Семен Петрович.

— Почему же вам это невозможно?..— наконец сказал он и добавил: — Сударь.

Здесь у меня случилось какое-то замыкание. Меня понесло. Я и сам понимал, что несу околесицу, но остановиться не мог, и события стали разворачиваться стремительно.

— Видите ли,— начал я с пафосом,— мы, я и ваша дочь Катя, любим друг друга! Признаюсь, что с моей стороны было непорядочно столь долгое время скрывать от вас истину, но, поверьте, это получилось не нарочно. И вот теперь, когда все так счаст-

ливо открылось, я вручаю вам в руки нашу судьбу и прошу благословения!

И я чуть было взаправду не грохнулся перед ним на колени. Семен Петрович смотрел на меня с изумлением.

— Подожди, подожди,— пробормотал он.— Как ты сказал? Вы что же, решили пожениться?!

Но я прервал его:

— Наши отношения зашли слишком далеко. Я как человек благородный не могу поступить иначе и прошу руки вашей дочери!

— Что?! Что?! — промычал Семен Петрович.

— Екатерина Семеновна в положении! — воскликнул я и почувствовал, что сейчас упаду в обморок.

— Как?!

Семен Петрович вскочил из кресла и смотрел на меня, выпучив глаза. Я развел руками. Тут Семен Петрович неожиданно резко бросился ко мне и, усадив на кушетку, присел рядом. Я молчал, тяжело дыша. Семен Петрович тоже, не находя что сказать, вытирал платком лоб.

— Так,— наконец проговорил он.

— Да-с! — повторил я запальчиво.

— Ну, ничего, ничего,— похлопал меня Семен Петрович по спине и, заметив пятно на моем плече, аккуратно отряхнул его рукой.— Это дело такое...— сказал он.— Когда же вы успели?

Я махнул рукой.

— Ладно, ладно.— Семен Петрович вздохнул.— Как же вы жить собираетесь?

— Трудности нас не пугают,— сказал я.

— Это правильно, но все же вы еще так молоды. Катя на первом курсе, и ты вот...— Он запнулся и потом осторожно спросил: — Ты поступать-то в институт думаешь?

— Высшее образование для меня не самоцель.

— Конечно, конечно... Ты, пожалуйста, не думай, я не такой уж ретроград. Высшее образование не самое важное в жизни...— поспешно заверил он меня.— Но, надеюсь, ты не собираешься всю жизнь работать курьером?

— Я сочиняю стихи, Семен Петрович,— серьезно сказал я.

— А-а...— озадаченно протянул Семен Петрович.— Это хорошо. И что же, печатаешься?

— Пока нет,— с достоинством ответил я.

— Понятно. Ну, а стихи-то получаются?

— Могу прочитать... Вот, к примеру, из последних.— Я встал и, приняв подобающую позу, с чувством продекламировал из Пушкина:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...

Семен Петрович слушал, рассеянно кивая головой. Когда я закончил, он сказал:

— Что ж, по-моему, недурно. Что-то напоминает, правда... Или стиль такой старомодный. А в общем, очень недурно.

Я скромно потупил голову и хотел еще что-нибудь прочитать, но вовремя опомнился и промолчал. Семен Петрович выглядел вполне удовлетворенным.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал я.— А то поздно...

Семен Петрович улыбнулся.

— Конечно.— Он проводил меня до дверей кабинета.— Заходи, может быть, и родителей как-нибудь пригласишь к нам...

— Непременно,— ответил я.

Мы пожали друг другу руки, и я вышел в коридор, где меня поджидала Катя. Когда я увидел ее, мне стало стыдно. Я понял, что совершил чудовищное предательство, и хотел было рассказать ей все, но у меня язык не повернулся. Чувствуя, как лицо скривила нелепая, придуманная усмешка, я пробормотал:

— Все нормально... Поговорили... о том, о сем...

Катя истолковала мою интонацию по-своему, и ее взгляд сделался озабоченным и твердым.

— Ты не расстраивайся,— сказала она.— Я тебе позвоню вечером.

Она мне действительно позвонила. Вечером, очень поздно. Я в это время сидел перед телевизором, тупо уставившись в голубой экран.

Катя говорила негромко, но очень отчетливо.

— Как же ты мог, Иван? — спросила она.— Зачем?..

И положила трубку. Если бы она сказала еще хоть одно слово, мне, наверное, было бы легче. Может быть, это только так казалось...

— Кто это? — спросила мама.

— Так... номером ошиблись.

На следующий день, отпросившись с работы, я с утра отправился к МГУ. Я поехал в надежде увидеть Катю, хотя понятия не имел, что скажу ей при встрече.

Погода в тот день переменилась к лучшему. Так бывает, когда осень в самый разгар ненастья вдруг подарит несколько солнечных и теплых дней. В университетском парке по этому поводу было многолюдно. Шурша опавшими листьями, студенты и студентки прогуливались по аллеям; вытянув ноги, сидели на облупленных лавочках, млея под солнцем, глазели по сторонам. Их безмятежное настроение быстро передалось и мне. Я уверовал, что непременно встречу здесь Катю, и это уже нисколько не пугало меня. Однако, когда в третьем часу дня я действительно увидел ее, моя самоуверенность улетучилась в мгновение ока.

Катя шла по центральной аллее в компании двух молодых людей. Я обогнал их по параллельной дорожке и потом с беспечным видом, сунув руки в карманы, направился навстречу. Но за оживленной беседой Катя не обратила на меня ни малейшего внимания. Мне пришлось повторить трюк, но на сей раз, переменив тактику, я изображал человека, погруженного в глубокое раздумье, и, устремив взгляд под ноги, как бы не видя ничего вокруг, ринулся прямо на них, рассчитывая столкнуться с Катей нос к носу. Пройдя таким образом метров сто и ни с кем не столкнувшись, я украдкой осмотрелся и не обнаружил перед собой ни Кати, ни ее кавалеров. Обернувшись, я увидел их уже сидящими на лавочке. Я пошел обратно и, минуя лавочку, где они расположились, громко запел: «Чита-грита, чита-мар-

гарита, а-а...» На этот раз на меня обратили внимание. Один из парней сказал:

— Где-то я уже видел эту рожу... А, Валера?

— Он уже третий раз мимо нас шныряет,— сказал Валера.

Я, словно нехотя, взглянул в их сторону и встретился глазами с Катей.

— О, Катя! — воскликнул я с радостным изумлением.— Привет.

— Привет,— холодно ответила Катя.

— А я вот решил прогуляться немного,— сказал я, доброжелательно улыбнувшись.— Погода хорошая.

Катя молчала. Молодые люди, никак не прояснив своего отношения к погоде, молчали также. Их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего.

— Солнце жарит, прямо как летом,— продолжил я свою мысль.

Катя презрительно хмыкнула и, обратившись к парню, который обозвал меня «рожей», спросила:

— Что же было дальше, Илья?

— Что?

— Ну, ты рассказывал что-то интересное...

— А-а... Дальше... Мы с Митькой, значит, приходим, а они там все пьяные, валяются кто где...— начал было Илья и тут же замолк.— Нет,— сказал он,— не понимаю, чего этот тип стоит над душой?!

— Может быть, дать ему по рогам?— предложил Валера.

— Не надо,— сказала Катя.— Это мой двоюродный брат. Он только вчера из Витебска приехал. Я ему университет обещала показать.

— Брат? — Валера был озадачен.— Какой-то он у тебя странный.

— Да,— сказала Катя,— он тронутый немного. Его в детстве с третьего этажа уронили.

Илья и Валера с любопытством посмотрели на меня, а я, изображая нервное расстройство, задрыгал правой ногой. Катя поспешно подошла ко мне.

— Ладно, мальчики. Вы идите, а я покажу ему МГУ.—И Катя потащила меня по аллее.— Хватит тебе дергаться,— тихо проговорила она.— Просто шут гороховый. Вечно меня позоришь.

— Так они же смотрят,— сказал я.

Мы свернули в боковую аллею и здесь остановились.

— Зачем ты пришел? — спросила Катя.

Ее вопрос застал меня врасплох. Хотя я ожидал его с самого утра, но в какой-то момент мне показалось, будто все уладилось само собой, и теперь растерялся, не зная, что ответить. Катя смотрела на меня серьезным, внимательным взглядом.

— Я хочу извиниться перед тобой за вчерашнее,— пробормотал я.

— Хорошо,— сказала Катя.— Считай, что я простила тебя. Это все?

Я понял, что она сейчас уйдет, и торопливо сказал:

— Нет, не все. Мне надо поговорить с тобой.

Катя пожала плечами.

— Давай присядем,— предложил я.

Мы сели на лавочку. Я был весь в напряжении и, пытаясь расслабиться, закурил. Катя, словно не испытывая ни малейшего неудобства, положила ногу на ногу, скрестила руки на груди и со скукой на лице смотрела куда-то вдаль.

— О чем ты хотел поговорить? — спросила она с иронией.

— Я тебя прошу извинить меня,— тупо повторил я.— Я больше не буду.

— Фу ты, прямо детский сад какой-то,— неприятно засмеялась Катя. Она отвернулась, потом сказала: — Ты сделал мне очень плохо, Иван. Ты не представляешь, какой разговор у меня был с родителями. Это просто ужасно. Я не понимаю, зачем ты сделал это? Вообще я не понимаю, чего ты добиваешься? Почему ты так себя ведешь? Все время врешь, представляешься кем-то, придумываешь какие-то идиотские затеи... Зачем?

Я молчал.

— Что ты молчишь? — сказала Катя.

— Я представляю себя эстрадным певцом,— ответил я.

— Это очень похоже на тебя,— вздохнула Катя.

Она помолчала и затем продолжала: — Мне кажется, Иван, что тебе пора повзрослеть. Что бы мы

там ни говорили, но родители в результате правы. Пора устраивать свою жизнь. Надо действительно учиться, много работать, а не витать где-то в облаках.

Она говорила спокойно, не спеша, с убежденностью человека, абсолютно уверенного в своей правоте. Даже тембр голоса ее незаметно переменился. И я с удивлением взглянул на нее, желая убедиться, что со мной говорит семнадцатилетняя девушка, а не обремененная житейским опытом взрослая женщина.

— Мужчина должен работать, делать карьеру. И для этого надо быть сильным и целеустремленным. А ты какой-то...— Она прервалась.— С тобой иногда бывает интересно, но со временем, я думаю, это пройдет...

Ее самоуверенный тон и поучающая интонация разозлили меня. Едва сдерживаясь, чтобы не вспылить, я проговорил:

— С какой стати, интересно, ты мне нотации читаешь? Преподносишь мне свои дурацкие прописные истины, да еще с таким видом, будто сама додумалась до этого? Я что, против работы, что ли? Или против карьеры? Да я такую карьеру могу сделать! С моими-то данными!..

— Ну, сделай,— ядовито предложила Катя.

— Ну и сделаю!.. Если захочу. А может, я не хочу...

— Врешь,— сказала она.— Хочешь. Только это не так просто.

— Да ты сама-то о чем думаешь, интересно?

— Я?..— Катя помолчала.— Ну, знаешь, женщина — это совсем другое, чем мужчина. Хотя, конечно, и она должна учиться, работать и быть самостоятельной. Но все же для женщины главное — семья. Чтоб был хороший, положительный муж, дети и вообще...

— Чего вообще?

— Ну, какой ты! Ну вообще чтобы все было нормально.

— Вот ты сама и врешь,— сказал я.— Совсем не об этом ты думаешь.

— Об этом,— упорствовала Катя.

— Нет, не об этом! — Я схватил ее за плечи и крепко встряхнул.— Ну, скажи честно, ведь не об этом же,— проговорил я.

— Пусти!— Катя вывернулась из моих рук и с оскорбленным видом отодвинулась на лавочке.

— Катя,— позвал я. Она бросила на меня негодующий взгляд, но глаза ее уже стали теплыми и веселыми. Губы дрогнули и улыбнулись.

— Я о таком думаю,— сказала Катя,— что если мой папа узнает, он просто в обморок упадет.— Она огляделась по сторонам, как будто нас могли подслушивать, и заговорила, понизив голос: — Я представляю, как еду в машине. Знаешь, такая красивая спортивная машина... На мне очки от солнца и длинный шарф алого цвета... или голубого...— Катя на минуту задумалась, как бы прикидывая, какой цвет ей выбрать, и продолжала: — В машине играет магнитофон, а на сиденье рядом собачка — маленькая, беленькая, пушистая. И все молодые люди так заискивающе заглядываются на меня, а я еду и в ус себе не дую. И обязательно солнечная погода. И еще... У меня такие здоровые, ослепительные зубы, как на коробках от зубной пасты. Вот...

Катя со смущением посмотрела на меня и, отвернувшись, рассмеялась.

— Здорово,— сказал я.

— Глупо ужасно. Я понимаю. Какая-то пошлость... Но иногда так хочется!.. А ты,— спросила Катя,— ты действительно хотел бы быть эстрадным певцом?

— Да нет, это я так... Иногда я, правда, представляю себя кем-нибудь очень популярным — эстрадным или даже оперным певцом, киноартистом или спортсменом, но чаще всего придумываю какое-нибудь приключение, в котором мог бы участвовать сам, таким, какой есть. К примеру, поздно вечером я возвращаюсь домой. Троллейбусы и автобусы уже не ходят, и я спокойно иду посередине проезжей части. Вдруг сзади слышу: «Вз-з-з!» Визг тормозов... Оборачиваюсь и вижу шикарнейшую спортивную машину и в ней — такую женщину! Супер! На ней длиннющий шарф не то алого, не то голубого цвета, и на сиденье рядом магнитофон, и тут же собач-

ка — такая беленькая, пушистенькая. И это такая роскошная картина, что со всеми мужиками, которые идут мимо, просто катастрофа. Они штабелями ложатся под колеса и заискивающе ждут, пока их переедут. Но я так небрежно спрашиваю: «В чем дело, мадам? Что вы гоняете по ночам, как сумасшедшая?» А она в ответ: «Не хотите ли, чтобы я вас подбросила до дома?» А я: «Да нет, увольте. В это время суток я предпочитаю пешую прогулку. Так что, извините и адье!» Спокойно поворачиваюсь к ней спиной и не спеша ухожу прочь...

— Неужели не сел бы? — смеясь, прервала меня Катя.

— Ни за что! — с важностью ответил я.

— Врешь! — не верила Катя.

— Не врешь!

— Ладно,— сказала она.— Тогда я не остановлю свою машину, если встречу тебя поздно вечером.

— Да, если бы нас сейчас слышали родители, они наверняка бы решили, что мы конченые люди,— проговорил я.

Катя нахмурилась.

— Все же ты по-свински поступил,— сказала она.

— Я же не отрицаю...

— Мне от этого не легче...

— Ну хочешь, я поеду к твоим родителям и извинюсь перед ними? — предложил я.— В эту же субботу поеду...— Я вопросительно взглянул на нее: Катя молчала, задумавшись.

Солнце уже спустилось за горизонт, оставив воспоминанием о себе розовые пятна на пенной груде облаков. Воздух стал свежим и прохладным. Вечер, крадучись, шел по земле.

Мама вышла из кухни и, опершись плечом о стену, смотрела, как я переодеваюсь в прихожей. Руки у нее были по локоть в муке, и она держала их на весу, пальцами вверх, как хирург перед операционным столом.

— Там тебе отец письмо прислал и подарок какой-то,— сказала она.

Я вошел в комнату и увидел на столе длинный, аккуратно упакованный в бумагу предмет и конверт рядом с ним. Мама, последовав за мной, остановилась в дверях и наблюдала, как я распечатываю конверт. Она никогда не читала писем, которые присылал мне отец, демонстрируя таким образом свое полнейшее равнодушие к его судьбе. С тех пор, как они развелись, мама постоянно подчеркивала мое право иметь с отцом собственные отношения и просила уволить ее от участия в них. Поэтому, когда я начинал вслух читать его письма, ее лицо приобретало выражение скуки и безразличия. Меня это раздражало и даже злило, потому что я чувствовал неестественность в ее поведении и про себя был уверен, что она ужасно хочет слышать эти письма.

Я обнаружил в конверте не письмо, а открытку. На ней был изображен покрытый причудливыми татуировками негр. В победно поднятой руке он держал копье, а ногой наступал на тушу огромного буйвола, распростертую на земле. На обратной стороне открытки я прочел: «Здравствуй, старина! У нас здесь жара адская. Недавно побывал в саванне и видел, как охотятся настоящие масаи. Жутко интересно. Их вождь подарил мне свое копье. Замечательный мужик. Настоящий Геркулес и к тому же умница. На открытке, конечно, не он — это реклама,— но все же что-то похожее есть. Как дела? Успехи? Скоро приеду в отпуск — обязательно повидаемся. Привет маме. Пиши. Папа».

— А это, надо полагать, и есть то самое копье, которое подарил вождь? — с сарказмом произнесла мама, выслушав меня.

Это было действительно копье. Длинное, с толстым тяжелым древком, покрытым узорчатой резьбой, и узким железным наконечником. Я взял его в правую руку и поднял над головой.

Я едва расслышал ее слова. Тяжесть копья сладкой усталостью застыла в плече, острый, гладко отполированный наконечник покачивался в воздухе, тая мощь смертоносного удара. Сжимая пальцами шершавое древко, я увидел выгоревшую саванну под расплывшимся шаром солнца. Черные узкобедрые фигуры воинов утопали по пояс в желтой тра-

ве, в густом кустарнике над высохшим руслом реки притаился леопард, высоко в небе, раскинув крестом крылья, повис гриф. Все замерло. Ни малейшее движение, ни единый звук не нарушали гармонию этого видения. И только вздох, вдруг вырвавшийся из глубины трав, мелькнул тихим шелестом в раскаленном воздухе и угас.

— Да, он всегда любил такие игрушки,— донесся до меня голос мамы.— Они будили его воображение...

Гриф дрогнул и скользнул вниз. Блеснули наконечники копий в руках воинов, и яростный рык разбил утомленную тишину. Пятнистое тело вознеслось над саванной, коснувшись лапами расплавленного обода солнца, и... И в следующее мгновение я с силой метнул копье.

Узкое лезвие наполовину вошло в полированную дверцу шкафа, и копье протяжно заныло, покачивая древком в воздухе.

— Ты что? — крикнула мама, бросившись ко мне.— Ты что делаешь?

И осеклась. Я закрыл лицо руками и сел на стул. Меня била дрожь. Мама обняла меня за плечи и прижала к себе.

— Ну что ты, Ванечка? — заговорила она.— Успокойся, милый мой. Ну, что с тобой? Это я во всем виновата... Я... Прости меня...

— Нет, нет,— бормотал я в ответ.— Это я сам... Сам... Прости меня, мама...

До конца недели я не виделся с Катей. Несколько раз мы с ней разговаривали по телефону, но в беседах этих, носивших самый будничный характер, ни я, ни она ни словом не обмолвились о моем обещании объясниться с ее родителями. Между тем я помнил и постоянно думал о нем.

В субботу после обеда я, тщательно одетый, вышел из дома. По дороге я заехал в цветочный магазин и, завладев большим букетом алых гвоздик, отправился к профессору Кузнецову.

Дверь мне открыла Катя. Но за ее спиной я увидел всю семью Кузнецовых во главе с Семеном Пет-

ровичем. Одеты они были по-праздничному, на лицах сияли улыбки. Казалось, будто они только и делали весь день, что ждали меня. Я, совсем не готовый к такому торжественному приему, стушевался.

— Ну, наконец-то...— двинулся ко мне, раскрыв объятия, профессор и внезапно остановился. Лицо его вытянулось, улыбка сбежала прочь.

— Что за черт! — воскликнул он, всматриваясь в меня.— Иван?!

Его супруга и мать переглянулись. Катя, словно судья на ринге, поспешно отступила в сторону. Собравшись с духом, я выбросил вперед правую руку, в которой держал букет цветов, и выпалил:

— Уважаемые Семен Петрович, Мария Викторовна, Агнесса Ивановна и ты, Катя, я прошу вас извинить меня за тот случай, когда... когда...— Я запнулся, не находя нужных слов, и вместо продолжения энергично встряхнул цветами под носом профессора.

Семен Петрович, часто заморгав, перевел взгляд на букет, потом посмотрел на своих домочадцев, не менее его озадаченных моим появлением, и вдруг громко расхохотался. Он взял цветы, передал их супруге, затем схватил меня под локоть и буквально втащил в прихожую.

— Ну, здравствуй, герой! — сказал он.— Вот уж не ждали!.. Что ж, раз пришел, раздевайся, проходи, гостем будешь.— Он опять засмеялся и добавил: — Кто старое помянет, тому глаз вон. Катя,— обратился он к дочери,— вот и для тебя кавалер нашелся.

Мария Викторовна с улыбкой протянула мне руку.

— Проходите, Ваня,— сказала она с симпатией.— У нас сегодня гости...

— Вы, как всегда, вовремя,— прервала ее Агнесса Ивановна, но, несмотря на некоторую язвительность своего приветствия, тоже подала мне узкую сухую ладошку.

Я, окончательно потерявшись, пытался возражать, ссылаясь на отсутствие времени, но профессор был неумолим и не желал слушать никаких возражений.

Катя провела меня в гостиную. Там, вдоль одной из стен, стоял накрытый белой кружевной скатертью стол с закусками и напитками.

— У нас а-ля фуршет,— сказала Катя, когда мы присели на диван.— Хочешь чего-нибудь?

— Спасибо, я обедал недавно.

— А яблоко?

— Яблоко давай...

Катя подошла к столу, выбрала в хрустальной вазе с фруктами большое красное яблоко и принесла его мне.

— Я не ожидала, что ты придешь,— сказала она.— Ты бы мог позвонить...

— Я хотел, но потом решил, что лучше так... Сразу покончить с этим делом, и точка.

— В общем, правильно,— согласилась Катя.— Очень удачно все получилось.

В дверь позвонили. Из прихожей донеслись оживленные голоса и смех. Появились гости. Солидные, хорошо одетые люди с улыбками здоровались с хозяевами, подходили к столу, накладывали в тарелки закуску. Дамы располагались в удобных мягких креслах; мужчины, образовав группки, беседовали друг с другом. Семен Петрович суетился меж них, разливая напитки. Мария Викторовна занималась с женской частью общества. Агнесса Ивановна восседала в гордом одиночестве, время от времени величественно кивая головой, как бы одобряя и подбадривая гостей. Прозвучали тосты. Сперва общие: «За встречу!» и «За дам!». Потом частные: «За оплот науки — Семена Петровича!», «За создательницу этого прекрасного стола — Марию Викторовну!» и так далее. Мы с Катей сидели тихо, как мышки. К нам иногда обращались с вопросами. Мы отвечали на них. Как мы учимся? Хорошо. Сложная в МГУ программа? Сложная. Почему мы не кушаем? Мы кушаем.

Все шло своим чередом и не предвещало никаких осложнений. Кто-то предложил тост: «За Катю!» Гости с готовностью сдвинули бокалы, но Семен Петрович остановил их.

— Минуточку,— сказал он, подойдя к нам.— Мне хотелось бы, чтоб этот тост прозвучал так: «За Ка-

тю... и за Ивана!» — Движением руки он поднял меня с места и представил гостям: — Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери, с кем мне доводилось общаться...

Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущен и, кажется, покраснел. Гости заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно докажу справедливость слов профессора, а одна интересная дама спросила:

— Что же, это тот самый молодой человек, о котором вы недавно так смешно рассказывали?

— Он, он самый,— весело ответил Семен Петрович и продолжал, обращаясь уже ко всему обществу: — Недавно, например, он объявил мне, что сочиняет стихи, и в качестве доказательства преподнес несколько строк из Пушкина. А я, представьте, купился на этот фокус, как первоклассник.

Он хлопнул меня по плечу и захохотал. Гости тоже засмеялись, а интересная дама сказала:

— Да, молодежь нынче любопытная.

— Вот именно, именно,— подхватил Семен Петрович.— Любопытнейшая у нас молодежь. С ней надо говорить, надо общаться!

— Да уж, ты много общаешься! — засмеялась Мария Викторовна.— Только и знаешь, что работа, работа, работа.

— Каюсь, каюсь! — Семен Петрович поднял руки вверх, как будто собирался сдаваться в плен, и, озорно подмигнув мне, добавил: — Поэтому и попал впросак!

— Это действительно так,— вздохнула интересная дама.— Наступает день, когда нам становится трудно понимать своих детей. Вот скажите мне, Ваня,— повернулась она ко мне.— У меня дочь целыми днями слушает этого певца греческого... Как его? Денис Рус, что ли?..

— Демис Руссос,— поправил ее коренастый мужчина со сладким, как сироп, выражением лица.

— Да, да, Демис Руссос,— сказала интересная дама.— Так вот, я спрашиваю ее: «Настя, ну что ты одно и то же слушаешь? У тебя так много других пластинок». А она говорит: «Демис Руссос положительно влияет на женские гормоны». Представляете?

— Ха-ха-ха! — захохотал коренастый мужчина.— Сколько же лет вашей дочери?

— Пятнадцать.

— Ха-ха! Пятнадцать! Молодец!— веселился коренастый.

— Вам смешно,— обиженно продолжала дама.— Но что же это такое?! Ведь у нас роскошная библиотека, много редких и ценных книг. Читай на здоровье! Но она ничегошеньки не хочет. Придет из школы, кое-как уроки сделает, включит своего Руссоса и слушает до вечера.

— Это у них называется «балдеет»,— радостно объяснил коренастый.

— А я так думаю,— заявил подтянутый, худощавый мужчина.— И вы, Семен Петрович, и вы, Анна Васильевна,— он кивнул интересной даме,— все усложняете. По-моему, все дело в избалованности. Нынешние молодые люди живут слишком легко, без трудностей. Это банально, но факт. Меня, к примеру, отец порол до семнадцати лет. Крепко порол, и что же? Я его только уважал за это. Жили мы в маленьком провинциальном городе, семья была большая, и сюсюкать с нами родителям было некогда. И ничего, выросли, все в люди вышли и к отцу с матерью, теперь покойным, всегда относились с любовью и почтением.

И он залпом выпил рюмку коньяку, которую в продолжение всей тирады держал в руке.

— Ну, с этим можно поспорить,— вмешалась пожилая дама.— Молодежь разная бывает...

— А-а, все одно,— махнул рукой подтянутый, который успел уже хлопнуть вторую рюмку.— Конечно, есть разные группы и категории молодых людей. Но я вот наблюдаю своего сына. Он у меня спортсмен и вообще хороший парень. Сын есть сын, и плохого о нем я никогда не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки. Знаете, такие желтые банки с концентрированным молоком? У них на этикетке еще корова изображена... Я ему, значит, говорю: «Зачем ты пьешь молоко неразбавленным? Оно ведь жирное. Его разбавлять надо». А он в ответ: «Люблю такое, неразбавленное». Любит, понимаете, он...

— О-о, это старая песня,— засмеялась Мария Викторовна.— Получается, если нам было тяжело, то пусть и им будет так же? Глупо!

— Наверное, глупо,— согласился подтянутый, наливая себе третью рюмку. Он хотел еще что-то сказать, но замешкался, выбирая на столе закуску, а в это время в беседу вступила Агнесса Ивановна, до того молча сидевшая в кресле и глазевшая по сторонам, как в зоопарке.

— У нас прекрасная молодежь! — объявила она.— Да, прекрасная! Есть, конечно, некоторые типы...— добавила она, презрительно взглянув в мою сторону.— Стиляги! Но это — исключение, подтверждающее правило. А основная масса молодежи у нас превосходная и, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и, поверьте, очень хорошо знаю нашу молодежь.

Агнесса Ивановна гордо вскинула голову и обвела всех грозным взглядом, как бы предлагая с ней поспорить. Но спорить с ней никто не стал, а Семен Петрович согласно закивал и бодро сказал:

— Все верно. Это безусловно. Но проблемы, конечно же, есть. Бояться их не надо, а надо о них говорить и решать.

Гости единодушно выразили согласие с выводами Семена Петровича, и, таким образом, казалось, что тема разговора вполне исчерпана, однако подтянутый мужчина, сливая в рюмку остатки коньяка, проговорил словно сам себе, но достаточно громко:

— А молоко-то он все равно пьет из банки. Хоть кол на голове теши!

Все с беспокойством переглянулись, чувствуя, что правила игры нарушены и вечер готов выйти из-под контроля. Анна Васильевна неестественно рассмеялась и, стараясь разрядить обстановку, спросила в шутливом тоне:

— Ну что вы, Олег Николаевич, так расстраиваетесь? Далось вам это молоко!

— Да, далось, далось!— уже не сдерживаясь, воскликнул Олег Николаевич.— Здоровый, как бык! Кулаки — по пуду каждый, бицепсы — с полметра. Дзюдо занимается... Сделает дырку в банке и сосет,

сосет себе молоко. А кругом хоть потоп! Когда говоришь с ним, молчит. Ни да, ни нет — ничего! Выслушает, промолчит и новую банку протыкает!..— Олег Николаевич открыл другую бутылку коньяка.— Учится — абы как! Работать не желает! Может быть, чемпионом по этому своему дзюдо хочет стать?! Тоже не хочет! Я спрашиваю: «Зачем же тебе эти твои бицепсы, трицепсы, двуглавые мышцы? Зачем? Что ты хочешь сделать ими?» И знаете, что он сделал? Взял в руку банку и раздавил ее. В лепешку! И говорит: «Ты так не можешь». И все. Я вас спрашиваю теперь: что это такое?

Олег Николаевич обвел общество вопросительным взглядом. Семен Петрович подошел к нему и дружески взял под локоть.

— Успокойся, Олег,— проговорил он.— Я думаю, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты слишком строг к нему.

— Брось ты, Семен! — махнул рукой Олег Николаевич.— Я хочу одного — мне надо знать, что он хочет. Я хочу знать, кого я вырастил. Я на это имею право. Пусть он скажет мне: «Ты старый, выживший из ума осел. Ты прожил неправильную жизнь. Я буду жить по-другому». Пусть так скажет — я пойму. Пусть совсем уходит из дома. Но он молчит! Пользуется всем и молчит!..

— Это возрастное,— сказала пожилая дама.— Мы с мужем тоже пережили нечто подобное. Знаете, этот момент возмужания у мальчиков, я даже не имею в виду физиологические аспекты, протекает очень болезненно. Наш сын тоже был замкнутым и нелюдимым. А теперь окончил институт, поступил в аспирантуру. Стал активен, деловит, сейчас его направили на шестимесячную стажировку в Италию, откуда он пишет нам трогательные и нежные письма.

В тоне пожилой дамы прозвучало нескрываемое чувство гордости и превосходства. Олег Николаевич даже как-то сник после ее слов, а Семен Петрович, почуяв возможность переменить тему вечера, провозгласил тост: «За молодежь!». Все с удовольствием выпили по этому поводу, и Олег Николаевич тоже

выпил и слегка пошатнулся. Мария Викторовна пригласила его присесть, но он отказался. А Семен Петрович между тем объявил:

— Товарищи, я надеюсь, вы простите мой отцовский эгоизм, если я сейчас попрошу свою дочь что-нибудь спеть для нас?

— Прекрасно,— томно проговорила Анна Васильевна.

— Па-апросим,— вкрадчиво захлопал в ладоши коренастый.

— Отлично,— решил Семен Петрович и повернулся к Кате.— Катюша, давай-ка «Соловья» алябьевского... Она, знаете ли, прекрасно поет «Соловья»! — пояснил он, не замечая угрюмого взгляда, которым наградила его Катя.

В этот момент Олег Николаевич оттолкнулся плечами от стены, прислонившись к которой он стоял, нетвердой походкой пересек комнату и остановился передо мной.

— Вот вы, молодой человек, можете мне сказать, что вы хотите? О чем вы, так сказать, мечтаете? — громко спросил он.

Я, не ожидавший такого поворота, растерялся.

— Что такое? Что такое? — мигом подскочил к нам Семен Петрович. Он был явно раздосадован.— Перестань, Олег.

— Но почему, Семен? — удивился Олег Николаевич.— Я просто хотел узнать, о чем мечтает этот молодой человек. В конце концов, если он не захочет ответить, это его право.

— Это уже становится забавным,— проговорила пожилая дама.— У нас сегодня просто какой-то социологический вечер получается.

— Ты задал безусловно важный и интересный вопрос, Олег,— сказал Семен Петрович.— Однако он требует гораздо более серьезной обстановки. Поэтому я предлагаю отложить его сейчас...

— Действительно не стоит, Олег,— пробормотал коренастый мужчина.— Пусть лучше Катя поет «Соловья».

— Я хочу сказать,— вдруг громко произнесла Катя. Все замолчали и взглянули на нее. Катя поднялась с дивана, нервно теребя пальцами пояс сво-

его платья.— Я хочу сказать, о чем я мечтаю,— твердо повторила она.

— Не надо, Катюша,— попыталась остановить дочь Мария Викторовна. Но Катя не обратила никакого внимания на ее слова.

— Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам и чтобы самой всех презирать!..— сказала она.

Наступила тишина. Все опустили лица, на которых застыли натянутые улыбки.

— И еще я хочу,— продолжала Катя,— ехать в красивой спортивной машине, и чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом — магнитофон и маленькая белая собачка...— Она запнулась и добавила: — Это честно...

Все молчали, и Катя опять села на диван. На щеках у нее выступили красные пятна, но глаза были спокойные. Тишина в комнате становилась угнетающей. Об этом поведали звуки, которые обычно никто не замечает: тиканье часов, скрип паркета.

— Ну что ты, Катенька? — промямлил Семен Петрович.

— Я предполагаю, что моя дочь мечтает примерно о том же,— с состраданием в голосе проговорила Анна Васильевна.

— Все это ерунда! — убежденно сказал коренастый.— Дух противоречия. Не более. Я ничего другого не ждал.

Олег Николаевич налил себе очередного коньяку и, разумеется, выпил его. Остальные гости впали в состояние меланхолической грусти. Лица их сделались скорбными, будто они сидели у постели тяжело больного человека.

Тогда Катя вдруг встала и решительно направилась к роялю.

— Я, пожалуй, действительно сыграю,— объявила она, усаживаясь перед ним.— А то сидим, как на похоронах.

— Ты хочешь сыграть? — вяло сказал Семен Петрович и обвел взглядом всю компанию.

— Разумеется. Ты же говорил... Значит, «Соловья»? — спросила Катя и сама же ответила: — Ну, конечно, «Соловья»!

Она мягко коснулась пальцами клавишей и заиграла вступление. Я взглянул по сторонам и с изумлением обнаружил, что все слушают ее с каким-то, я бы сказал, нервическим остервенением. Тревога, ожидание чего-то, что непременно должно грянуть, взорваться, перевернуть все разом вверх дном, застыли на лицах. Наверное, в былые времена у солдат перед атакой были такие же напряженные и азартные лица.

Катя закончила вступление и запела тоненьким голосом:

Соловей мой, соловей,
Ты мой чертов Бармалей!..

Никто ничего сперва не понял, но Катя повторила:

Соловей мой, соловей,
Чтоб ты сдохнул, Бармалей!

— Что? — растерянно пробормотала Мария Викторовна.

Катя перестала играть и повернулась к нам лицом. Она оглядела всех спокойно, деловито, будто ученый, проверяющий результат эксперимента, и сказала:

— Я этого «Соловья» с пяти лет играю и пою. Как к нам гости — так тут и я со своим «Соловьем»! Меня уже тошнит от него, ей-богу... Я, если бы он мне попался, этот «Соловей», его на медленном огне изжарила бы!.. Как вы считаете, ребята?

Она опять обвела взглядом гостей. Но оторопевшие «ребята» были как после апоплексического удара. Никто из них не смог вымолвить ни слова.

— Ну, ладно,— покровительственно улыбнулась Катя.— Сейчас я вас немножко развеселю. Сейчас я вам мою любимую сбацаю...— Она лихо крутанулась на своем стульчике и заиграла мотив, который я тут же узнал. Слова были тоже знакомые.

Жил на свете козел,
Не удав, не осел,
Настоящий козел,
С седой бородой...
Ме-ме-е!..

спела Катя и еще даже присвистнула.

Я не выдержал и прыснул. На меня посмотрели. как на идиота. А Катя продолжала:

Старый кретин
Любил свэ-э-эжайшую морковку!
Ра-ра-ра!..

— Да ты что делаешь, Екатерина?! — вдруг рявкнул Семен Петрович.— Прекрати немедленно!

Тут все общество разом вышло из оцепенения. Олег Николаевич громко расхохотался, в результате чего опрокинул себе на брюки тарелку с салатом. «Черт!» — выругался он. Глаза Марии Викторовны наполнились слезами, и она закрыла лицо ладонями. Агнесса Ивановна выставила тощую руку и закричала, указывая пальцем на меня:

— Это все он виноват! Его влияние! Я предупреждала!.. Предупреждала!..

Катя же в ответ что было сил ударила по клавишам и затянула не своим голосом:

— Бе-е! Хряп-хряп! Бе-е!

Семен Петрович с прытью, неожиданной для его внушительной фигуры, подскочил к роялю, сбросил Катины руки с клавиатуры и с шумом захлопнул крышку. Катя уронила голову на грудь, тихо всхлипнула и вдруг стремительно выбежала из комнаты. Секунду я сомневался, а потом кинулся следом.

Я догнал Катю только на улице. Она вбежала на бульвар, села на скамейку и заплакала. Я набросил на ее плечи свою куртку и присел рядом. Катя никак не ответила на мой жест и продолжала всхлипывать. Так мы просидели долго.

Я слушал бормотание ветра в голых кронах деревьев, шум автомобилей, мелькавших за низкой чугунной оградой, невнятные голоса редких прохожих. Вечер выдался сырой и холодный. Он забрался мне под свитер, потом под рубашку, коснулся кожи и отпрянул, словно не верил своей удаче, потом коснулся смелей, крепко обхватил тело длинными мокрыми пальцами и дерзко полез внутрь, к самому сердцу, которое качало и качало кровь,

гнало ее по артериям и венам. Я прислушался к его равномерным ударам и, положив палец на запястье, подсчитал пульс. Получилось — семьдесят. Я прикинул, сколько это будет в час и в сутки. Потом — в год. Полученное число помножил еще на семьдесят.

Катя уже не плакала и сидела, устремив неподвижный взгляд в землю. Наконец она повернулась ко мне. Было уже совсем темно. Свет уличного фонаря обвел темными кругами ее глаза и спрятал в густой тени половину лица.

— Замерз? — спросила она.

— Да нет, ничего,— бодро ответил я.

— Прости меня. Возьми...— Она начала стаскивать с плеч мою куртку, но я остановил ее.

— Не надо, мне не холодно,— сказал я.— Знаешь, пока мы сидели здесь, я сосчитал, сколько ударов совершает человеческое сердце в течение всей жизни.

— Ну и сколько же? — равнодушно спросила Катя.

— Много. При пульсе семьдесят ударов в минуту и, если принять продолжительность жизни в семьдесят лет, получается 2 575 440 000 ударов.

— Пульс не бывает постоянным,— сказала Катя.

— Это же в среднем.

— В среднем — много.

— Порядочно,— согласился я.— 4200 ударов в час, 100 800 — в сутки... Короче, миллионов по шестьсот мы с тобой уже отстучали...

— Что же мне делать теперь? — спросила Катя.

— Не знаю,— ответил я.

— Я не могу идти домой,— сказала Катя.

— Что же ты, так и будешь жить на этой лавке?

— Да,— согласилась Катя.— Так и буду.

Я увидел профессора Кузнецова. В густой тени деревьев, словно надеясь, что его не заметят, он шел медленно и осторожно. Когда Семен Петрович остановился в двух шагах от нас, я встал. Катя осталась сидеть, сжавшись в комок, стараясь не смот-

реть на отца. Неловкость ситуации была очевидна. Семен Петрович снял с ее плеч куртку и накинул на них пальто, которое принес с собой. Куртку он вернул мне: «Спасибо». Потом присел на краешек скамейки и достал из кармана сигареты. Заметив, что я все еще стою, кивнул: «Садись, Иван». И, распечатав пачку «Явы», предложил мне сигарету. Мы закурили, но после первой же затяжки Семен Петрович отчаянно закашлялся и, скомкав сигарету, отбросив ее в сторону, проговорил извиняющимся тоном:

— Не получается. Я ведь не курил никогда... Так, побаловаться решил...

Катя сидела неподвижно, втянув голову в плечи. Семен Петрович откашлялся в кулак и деликатно провел ладонью по ее волосам.

— Ничего, Катюша,— сказал он тихо.— Ничего.— Он привлек ее к себе, и Катя уткнулась лицом ему в грудь.— Гости разошлись. Надо идти домой.

— Я не могу, папа,— глухим голосом произнесла Катя.— Не могу. Мне так плохо... Если бы ты знал...

— Я понимаю, понимаю,— сказал Семен Петрович.— Видишь, какая она — наша жизнь? Не знаешь, с какого конца ударит...— Он вздохнул и добавил: — Все равно ведь никуда не спрячешься...

— Как мне быть теперь, папа? Как быть?

— Ничего, все пройдет, Катюша... Пойдем домой... Поздно уже...

Они встали. Семен Петрович подал мне руку и сказал:

— До свидания, Иван. Мы пойдем теперь... Но ты не пропадай! Обязательно звони.

— Обязательно позвоню,— обещал я, отвечая на рукопожатие.

Семен Петрович дружески похлопал меня по плечу.

— Эх вы, молодые, зеленые! — отечески произнес он.— Ничего, перемелется — мука будет.

— Конечно, будет,— согласился я.

Семен Петрович улыбнулся и потянул Катю за рукав.

— Пойдем, Катюша.

Катя исподлобья взглянула на меня. Не знаю почему, но в тот момент я вдруг ясно понял, что мы никогда больше не увидимся с ней. Я понял также, что и она думает об этом.

— До свидания, Катя.

— До свидания, Иван.

Я смотрел им вслед. До тех пор, пока их фигуры не растворились в темной глубине бульвара. Был двенадцатый час ночи.

Сергей Степанович Воробьев нисколько не удивился моему позднему визиту. Напротив. С укором в голосе он проговорил:

— А я уже думал, что ты не придешь. Что ж ты?

— Я не мог. Занят был,— ответил я.

— Ладно... Ты как раз вовремя...— сказал Воробьев.

Последовав за ним, я вошел в знакомую комнату, и свет не скрытой абажуром лампы ослепил меня после темного коридора. Сергей Степанович мигом выключил ее и, пройдя к окну, отворил его настежь. Холодный свежий воздух, словно вода в пробоину тонущего корабля, потоком ворвался в комнату. Озадаченный происходящим, я хотел было спросить, что все это значит, но Воробьев, будто догадавшись, приложил палец к губам и поманил меня к окну. Я подошел.

— Смотри — ровно в полночь... Вон то окно — напротив,— шепотом произнес он, указывая в сторону противоположного дома.

Я взглянул на часы — до полуночи оставалось не более двух минут. Улица под нами казалась бездонным ущельем. Редкие фонари плыли над мостовой. Где-то шумели моторами автомобили. Мне стало не по себе. Я почувствовал, как бешено забилось в груди сердце, и подумал, что сегодня оно перевыполнит свою норму ударов.

Но в то же мгновение, забыв обо всем на свете, я увидел, как засветилось окно напротив.

— Вот смотри,— схватил меня за руку Сергей Степанович и, сейчас же бросив ее, припал животом к подоконнику.

Свет был неяркий, бледно-зеленый. Как в море на небольшой глубине или в аквариуме. Мне даже почудилось, что сейчас откуда-нибудь сбоку, из-за стены, выплывут золотые рыбки с черными хвостами. Но рыбки не выплыли. Вместо них появилась женщина в голубом платье с гусиным пером в правой руке. Она показалась мне хрупкой и прекрасной, как фарфоровая статуэтка. Не спеша прошла она по комнате и присела к столу у окна, так что лицо ее теперь было обращено к нам. На столе лежали листы бумаги, и, обмакнув перо в невидимую чернильницу, она записала что-то на одном из них. Потом, отставив руку с пером в сторону, женщина подняла лицо и задумалась. Ее волосы рассыпались по плечам, и, хотя увидеть ее глаза на таком расстоянии казалось невозможным, мне почудилось, что они направлены прямо на нас.

— Какая красивая! — непроизвольно вырвалось у меня.

— Инопланетянка,— лаконично и уверенно пояснил Сергей Степанович.

— Как — инопланетянка? — удивился я.

— Ну, как, как? Как бывает? Очень просто.

— Что же она здесь делает? — настаивал я.

— Ничего не делает,— проговорил Воробьев, не отрывая глаз от незнакомки, и продолжал: — Их корабль потерпел крушение. Все члены экипажа погибли. Только она спаслась. Приняв образ земной женщины, она загипнотизировала начальника паспортного стола и, получив московскую прописку, поселилась в этой квартире. Каждый вечер, ровно в полночь, пытается выйти на связь со своими, чтобы они прилетели и увезли ее отсюда к чертовой бабушке. Да, видать, что-то у них там не срабатывает.

Я, прямо скажем, сильно усомнился в версии Сергея Степановича. Но он изложил ее столь решительным тоном, что я не отважился ему возражать. Правда, я все же обронил неуверенную фразу:

— Кажется, рассказ такой был. Фантастический...

Но на это Сергей Степанович ответил:

— Жизнь неизмеримо мудрее и неожиданней любой фантастики! — И он хотел еще что-то добавить, но тут его прервал хриплый голос из соседнего окна:

— Чего ты там плетешь, Степанович?! Какая инопланетянка?! Начальника паспортного стола загипнотизировала!!! Поди загипнотизируй его! Тебя так загипнотизирует! Трехнутая она — вот кто! Ино-опланетянка!!! Смех!

Воробьев даже опешил на мгновение, а потом закричал:

— Синицын? Ты? Ты чего? Ты куда смотришь?

— Туда же, куда и ты,— рассудительно ответил Синицын.— Я уже с полгода это оконце караулю. Все жду — может, она свет позабудет выключить, когда раздеваться начнет. Баба уж больно хороша!

— Как не стыдно!— вдруг заверещал тонкий женский голосок из окна справа.— Как не стыдно такое говорить! Как вас земля только носит! У женщины несчастье: несколько лет назад погиб любимый человек — полярный летчик,— спасая пропавшую экспедицию, пожертвовал собой ради других. У нее осталось подвенечное платье, которое она надевает каждую полночь и пишет ему письма... А вы такое говорите!

— Вот те на! — воскликнул Сергей Степанович и высунулся так, что чуть не вывалился из окна.

Но в ответ откуда-то уже совсем издалека мужской голос решительно объявил, что все это чепуха, что женщина поэтесса и пишет в полночь гусиным пером для вдохновения.

— Это Белла Ахмадулина! — безапелляционно заявили откуда-то снизу.

— Здрасте, я ваша тетя! — возмутились наверху.— Ахмадулина совсем в другом районе живет. У нее семикомнатная квартира и дача в Крыму.

— А вы-то откуда знаете? — не отступался нижний.

— От верблюда,— заявил верхний, и там послышался смех, видимо, домочадцев, которым пришелся по душе удачный ответ их сожителя.

— Что, в одной клетке с ним сидели? — не растерялся его оппонент, и настала очередь нижнего этажа рукоплескать остроумию своего представителя.

Я посмотрел на Сергея Степановича. Он стоял, в задумчивости облокотившись на подоконник, прислушиваясь к голосам соседей. Мне показалось, что он обескуражен их полемикой, и, пытаясь приободрить его, я сказал:

— Вообще-то она очень похожа на инопланетянку...

— Несомненно,— спокойно произнес Воробьев.— А они дураки! Ничего не понимают.

Женщина в голубом сидела в той же позе и была, конечно, так прекрасна, что просто захватывало дух.

Потом я шел домой. Общественный транспорт уже не работал, а на такси у меня не было денег. Я шел, насвистывая от скуки какую-то дурацкую мелодию, и смотрел по сторонам. И видел темные силуэты деревьев с голыми изломанными ветвями, блестящий асфальт, в котором отражались уличные фонари, дома, громоздившиеся вокруг, как египетские пирамиды. Над всем этим было небо. Ветер, родившийся утром над Ледовитым океаном, промчался над Швецией и Норвегией, миновал Ленинград, завернул по пути в Вологду, заставив ее жителей понахлобучивать на головы шапки, и к вечеру объявился в Москве. Он прогнал с ее небосвода тучи, весь день висевшие над городом, и сам скончался от этого последнего усилия. Над Москвой засветились звезды.

Я их видел собственными глазами. Яркие белые точки, они рассыпались в черной бездне, как будто кто-то неосторожно порвал нить с бусами. Теперь их уже не собрать, не нанизать на крепкую суровую нить, не надеть на шею любимой девушке.

Так и будут они вечно висеть над моей головой. Каждая из них как одинокий глаз тайфуна в штормовом океане.

Мне стало грустно. Я вдруг представил себя стариком. Этаким согбенным седым стариканом с мутным слезящимся взглядом. Я сижу в зимнем лесу, опершись подбородком о шершавую ручку древней клюки, и снег лохматыми мокрыми хлопьями падает мне на лысину. Кругом темно и безлюдно. Я вспоминаю все, что было, и собственная жизнь кажется мне хрустом сломанной ветки. Я вспоминаю сегодняшний вечер и девушку по имени Катя, и ее отца — не помню, как звали,— и интересную даму, и мужчину, что жаловался на сына, который пьет концентрированное молоко неразбавленным. Их всех давно нет в живых: ни дамы, ни мужчины. Нет Воробьева, нет Синицына... И женщина в голубом давно перестала выходить на связь с инопланетной цивилизацией. И мамы нет... И отца...

Остались звезды. И осталась еще дурацкая мелодия, которую я насвистывал в тот далекий осенний вечер. Они все те же. И звезды и мелодия. Звезды — там, наверху, а мелодия?.. Вот она.

И старик, задрав голову и обратив иссохшее лицо к небу, засвистел что-то ужасно легкомысленное и до боли знакомое.

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...

1

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планово, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься — ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это — ого-го! — какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру — вовек не простят...

— У нас такая «Вестсайдская», что вам тут и не снилось...

«Не спастись»,— подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом гово-

рить какие-то полагающиеся слова и вместе сплетничать после спектакля и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче — ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

— Ничего, срослось, как на собаке,— сказала Элла.— Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат и прыжки и в «гени-ального!!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор, как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, взгляд старой рационалистки, это не так уж плохо... Живи в жизни... А школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова... Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса по сути».

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней — первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль — раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых она

учила в восьмом, можно будет собрать человек десять.

Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске.

— Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать,— сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила.— Ну, Татьяна Николаевна! — картинно воскликнул он.— Пригласили бы на Таганку или в «Современник»... А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию?.. Этот номер у вас не пройдет. Гарантирую...

— Не будь снобом,— сказала Таня.— У них молодой гениальный режиссер, и весь спектакль — сплошная новация. К тому же там хорошая музыка.

Сашка обещал обзвонить и обежать народ в ближайшей округе и человек десять подбить «на эксперимент».

— Но если будет дрянь,— сказал Сашка,— я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!

Спектакль оказался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то он напридумывал, но актеры!.. Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов.

Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.

— А я предупреждал,— многозначительно сказал Сашка.— Я верил и знал: будет именно так.

Вообще он держался не как ученик, а как Танин приятель. Таня подумала: пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет... И посмотрела на его дружка — Романа Лавочкина,— еще выше. Господи, куда их тянет! Но с Романом ничего подобного не будет, он мальчик книжный. Вот и сейчас он:

— Татьяна Николаевна! А как проверить — не был ли Шекспир трепачом? Я к чему... Современное искусство о любви — такая брехня! Если представить, что оно останется жить на пятьсот лет...

— Не останется,— сказал Сашка.— Не переживай.

— Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой...

— Сейчас ты смотрел любовь пополам с расизмом,— сказал Сашка.— Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека. Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть.

— А я не люблю винегретов,— ответил Роман.— Вот почему меня волнует правда о Шекспире.

— Без примесей только секс,— с вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню: «Как вам моя смелость? Мой образ мыслей? Широта воззрения?»

Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали.

— Скажите ему, Татьяна Николаевна! Скажите!

— Я согласна с Сашей,— сказала она.— Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни («Мама!» — печально вздрогнуло сердце).

— Понял? — Сашка хлопнул Романа по спине.— И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом — что совершенно естественно — будет лесоповал...

— Видел я такую любовь в гробу и белых тапочках,— ответил Роман.— Любовь сама по себе целый мир. Должна быть такой, во всяком случае.

Расходились по-доброму. Уже дома Таня подумала: интересный парень Роман. А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью.

...А потом, в бессонницу, снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом:

«...Я все думаю о любви, Таня! Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел, я из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое? Как мы не целовались в море, в брызгах... Сплошное НЕ... Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются: откровенно, бесстыдно... А мне нравится... Я бы так хотела... Я буду думать о любви до самой смерти... Ах, черт, как не хочется умирать! Что за судьба у нас с отцом — он в тридцать семь, я в сорок семь... Какой-то злодей нас безбожно обокрал... Вся надежда на тебя, Танюша. Чтоб ты жила взахлеб за нас троих...»

Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась.

Почему же так получилось, что теперь — и чем дальше, тем чаще — в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви?

Таня знала ответ: мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет взахлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно — работа.

☆☆☆

Первое сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе, но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шефы с завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций,

прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, сутолока, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на «отдать» и «получить» уже просто ни у кого не хватает сил.

И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку, без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А! — подумала Таня.— У него рецензия на «Вестсайдскую историю». Она ее прочла вчера.

В рецензии было все: «Нервная ткань формы на аспидно-черном фоне»... «Пластичное страдание» и «бьющая наотмашь символика». Были эпитеты — «незаурядный», «мыслящий», «ярко индивидуальный» и прочее. И сейчас, глядя, как Сашка читает ребятам рецензию «Гимн любви», она вдруг поняла: первое сентября она не воспринимает именно потому, что оно ей напоминает театр, день «сдачи спектакля». Там тоже ходят переполненные ответственностью инспектора от культуры и смущенные непривычностью положения шефы. Таня так обрадовалась, разобравшись наконец в своей первосентябрьской идиосинкразии, что тут же пошла во двор, туда, где громко читался «Гимн любви».

— Оказывается,— сказал Сашка,— мы, Татьяна Николаевна, эстетически не развиты. Спектакль-то — штука! А мы смеялись, как лошади...

— Классический пример выдавания желаемого за действительное,— объяснял Роман.— Рецензент не дурак. Он написал о том, что могло бы быть, если бы из этого что-то вышло...

И тут истошно, театрально зазвенел звонок. Пока шли приветствия через мегафон, Таня разглядывала своих ребят. Ей полагалось уйти туда, на школьное крыльцо, и взирать на все с полагающейся высоты, но она осталась у ограды, ближе к «новеньким», на лицах у которых от первых же речей появилось выражение умиротворенной скуки: в новой школе начинается, как в старой. Тоска...

Таня уже привыкла к тому, что все дети теперь очень большие. Но этот ее класс был прямо-таки великанский. Юбочки из модной замши — директри-

са добилась для старшеклассников «вольной одежды», пока не придумают что-нибудь посовременней,— так вот юбочки из модной замши трещали на туго обтянутых бедрах девчонок; пятки стыдливо свисали над тридцать девятым размером босоножек, колени, грудь, губы — все было откровенно и напоказ. И парни тоже ничего себе стропила. Все по метр восемьдесят — девяносто, но худы-ы-е! Ни одного мальчишечьего румянца на класс, все, как из голодного края. Таня однажды поинтересовалась у врача — отчего, мол? Та махнула рукой: «Все в порядке. Худые? Дольше будут жить. Бледные? Это пламенный привет от мерцающего телевизора. Девочки другие? Они уже сформировались. Ясно? И вообще: чего вы волнуетесь? Все равно в основе своей это поколение гипертоников, язвенников, сердечников. Других теперь не рожают. Не умеют. Потому что кто рожает? Гипертоники, язвенники, сердечники...» Их школьный врач — большая оптимистка. После разговора с ней ощущаешь радость обладания двумя (а не одной!) ногами, умением откусывать и пережевывать, испытываешь благодарность к грудной клетке, что она крепкая, костяная.

В микрофон громко откашлялся шеф.

— Давай, пролетариат, давай, произнеси слово,— сказал Сашка.

Девятый захихикал. Таня подумала: директриса потом ей скажет: «Ваши, деточка, вели себя хуже всех, потому что — как они говорят? — им хотелось выпендриваться перед вами. Зря вы с ними стояли».

Она подошла к Сашке и встала рядом. Сашка приставил к своему рту кулак и потыкал им в зубы. Делай после этого замечания. А Роман вообще сидел на камне и перечитывал рецензию. С высоты своего роста заглядывала в газету Алена — от Романа она не отходила, делала вид, будто ей тоже интересно, что там написано. Типичная здоровячка, она была чем-то похожа на актрису Нонну Мордюкову периода «Молодой гвардии» и страшно этим гордилась.

Потом, вспоминая этот первый день, Таня была убеждена: Юльки среди новеньких не было. Ведь она даже их считала, по списку все сходилось, а Юльку она не разглядела.

Митинг закончился, и все пошли по классам. Таня довела своих до двери, пожелала ни пуха ни пера, услышала от Сашки «к черту» и пошла на уроки. В девятом в этот день у нее часов не было. И слава богу, пустые, ох, пустые эти уроки первого сентября. А день выматывающий...

Дома Таня расставила цветы, с которыми вернулась из школы, хотела немедленно сесть за письменный стол, но силой увела себя в кухню. Это же типичная патология: после работы сразу за работу, тем более что завтрашний урок у нее в девятом — вводный. Она любит его, она на нем — нелепое сравнение! — как торговец-зазывала, раскрывает перед людом «товар» — литературу XIX века — ах, чего тут только нет, и все бесценно, никаких денег не хватит, но она все отдаст за малую толику, за каплю интереса. «Ничего себе малая толика,— подумала Таня, бесцельно трогая маленькие беленькие кастрюльки на полке.— Поесть, что ли?» Торговец-зазывала звенел в ней, вертел ею, как хотел, и она плюнула на беленькие кастрюльки. Таня вернулась к письменному столу, и мама укоризненно посмотрела на нее с портрета.

Но зря смеялся над ней торговец-зазывала. Таня вдруг почувствовала, что «торговых рядов» литературы она завтра строить не будет. Она расскажет им о другом. О том, что они целый год будут говорить о любви — такой у них материал.

Потом, через время, она вспомнит, как ушла от маленьких кастрюлек к столу, как, перегоняя друг друга, теснясь, подкатывали к горлу еще не высказанные, просящиеся на волю слова. Как подчинилась она внутренней силе, заставившей ее поломать апробированный, симпатичный план урока, который столько лет ее не подводил. И Таня потом скажет: «Это я во всем виновата. Я их так настроила». А пока она делала торопливые заметки, радуясь ощущению откровения: как это ей, тупице, раньше не пришло в голову, что все ее уроки о любви? Она им покажет «примеси в виде лесоповала». Ах, боже мой! Как им много надо объяснить...

Она работала до ночи, а когда легла, на краешек кровати села мама:

«...Я бы не взялась на твоем месте учить людей любви... Что ты о ней знаешь? Все книжное, книжное... Ты наркоманка. Фу!» Мама зло рассмеялась, но ушла быстро. И это было хорошо, правильно.

☆☆☆

— Ну и Танечка! — сказал Сашка, когда они с Романом возвращались домой.— Будем изучать любовь.

— Она смешная,— ответил Роман.— Ей кажется: она придумала хитрый ход. А ведь ежу ясно, что она — Иван Сусанин и заманивает нас в дебри, чтобы спасти от секса. Между прочим, это ты ее вынудил своей солдатской прямотой.

— Мы уже не дети,— басом сказал Сашка,— чтобы нас водить за нос.

— Ты все-таки балда,— беззлобно сказал Роман.— При чем тут «за нос»? Я сказал — в дебри. В чащобу духа. А секс, он где? Он на опушке.

— Ну, знаешь,— отметил Сашка,— если он на опушке, то чего я пойду в дебри? Я что — дурак?

— Не прикидывайся скотом,— сказал Роман.— Поэтому и пойдешь за Танечкой, потому что она Сусанин. Это как пить дать... И еще она девушка обаятельная, за ней приятно идти...

— Смысла не вижу...

— В чем?

— В дебрях.

— Это, солдатик, называется нравственным воспитанием,— засмеялся Роман.— Запомни.

— Как тебе новенькие? — перевел на другую тему Сашка.— По-моему, серость...

— Пусть живут,— великодушно разрешил Роман.— Мне вообще кажется, что сейчас все люди на одно лицо... Знаешь, как заметил? Перестал различать дикторш по телевидению. Все с глазками, все с носиками, все с волосиками, и — никакой разницы: кто есть кто. А потом огляделся — батюшки, все люди не просто братья, а однояйцевые близнецы.

— Есть индивидуальности,— пробурчал Сашка.

— Их все меньше,— сказал Роман.— Очень долго не было ситуации, при которой личность проявляет свой максимум. Войны там, голода, оледенения... Все живут одинаково, и все становятся похожими друг на друга...

— Ну ты даешь! — разозлился Сашка.— Все живут одинаково? Где ты это видел? Ты что — дурак? У одних машины, у других — от получки до получки, одни ничем не гнушаются, а другие всю жизнь в трамвае стоят, потому что стесняются сидеть. Одни верующие во что-то до тошноты, другие ни в бога, ни в черта...

Роман скривился.

— Нельзя же понимать все буквально... Во всеобщей одинаковости тоже градация от нуля до ста, к примеру. Все, что ты говоришь, сюда укладывается. Просто, чтобы стать личностью, надо выйти за эту градацию.

— И что сделать?

— В том-то и дело, что когда ищешь, что сделать, это тоже поиски внутри градации. Что может придумать ординарный человек?

— Ну знаешь, войны я не хочу,— сказал Сашка.

— А я хочу? Но машина даже в экспортном исполнении — тоже пошлость.

— Так полети в космос!

— Мне это неинтересно,— с вызовом сказал Роман.— Понимаешь, меня всерьез гложет...

Сашка пожал плечами. Конечно, он мог сказать, что когда у человека нормальный, непьющий отец и заботливая мать, когда у него никаких проблем с братьями и сестрами, когда рубль в кармане всегда, а иногда и трояк, то, конечно, пристало время подумать об оледенении. Но он этого не сказал, потому что получалось, будто он цитирует собственную мать, у которой было хобби: коллекционировать страшные истории. Мать Сашки работала секретарем в суде, и информация у нее была очень однообразная. Если учесть, что муж ее, отец Сашки, запивал, что сестренка Сашки имела врожденный порок сердца, а бабушка в свои шестьдесят погуливала, как молодая, то прямо можно сказать: проблема рождения индивидуальности в семье остро не

стояла. Мать так стремилась, чтоб все у них было, *как у всех*, как у людей. Вот, оказывается, в чем был гвоздь. А индивидуальность — это с жиру. Это чтоб себя показать: «Вот у нас проходило дело...»

И Сашка молчал, хотя что-то в словах Романа вызывало его протест. Может, просто умничанье?

— Смотри,— сказал он.— Новенькая.

Им наперерез прошла Юлька.

— Я ее где-то видел.— Роман проводил глазами девочку.— Или это опять путаница с лицами?

— Ты ее видел сегодня в школе,— ответил Сашка.

— Нет, не в школе,— твердо сказал Роман.— В школе я ее не заметил.

☆☆☆

В первый же день, когда они переехали в новый дом, Юлька опустила перпендикуляр с балкона шестнадцатого этажа вниз прямо на оставшийся здесь от других времен и народов куст сирени, потом провела мысленную прямую к школьному подъезду, соединила школьный подъезд с окном и получила ничего себе, симпатичный прямоугольный треугольник. Вот бы съезжать по его гипотенузе! Мгновение — и ты в школе. Но так как пока это было невозможно, приходилось осваивать тот катет, что лежал на земле. Вот почему из школы она шла наперерез Роману и Сашке, пренебрегая проложенным бетонным маршрутом. Она шла насквозь, и сбить с пути ее могла только стихийная преграда в виде стоящего прямо на катете дома, или котлована, или уже совсем глупо возникших гаражей, пахнущих ржавым железом и бензином. Она шла и думала об уроке литературы. «Будем говорить о любви...» Юлька за свои пятнадцать уже столько прочла о любви, что совсем недавно обнаружила: она с гораздо большим интересом читает фантастику. да и не какую-нибудь, а с сумасшедшинкой. Нет, Юлька не ханжа и не лицемерка, она лично знает — и не из книг, а из жизни,— что от любви можно помолодеть на десять лет и постареть на двадцать. Что в наше время для любящих столько

же преград, как и раньше. Анна Каренина, Наташа Ростова, Лиза Калитина, мадам Бовари, мадам Реналь и Юлькина мама Людмила Сергеевна вполне могут стоять в одном ряду. И то, что мама, слава богу, при том жива и здорова, заслуга не времени, а маминого характера. В ней на троих мужества, стойкости и оптимизма. Ну, посудите сами...

...Людмила Сергеевна выходила замуж за молодого — ей тридцать, ему двадцать. Бабушка Эрна, обрусевшая немка, лежала в предынфарктном состоянии. Заброшенная Юлька вела сказочную для пятилетнего ребенка жизнь — рылась в раскрытых ящиках комода, рядилась в материны побрякушки, подкрашивала брови и губы — никто ни слова, ее не видели. Шоколад валялся во всех углах, громадные запыленные плитищи, раз-два надкусанные. На тиражированные игрушки — собак, кукол, мишек — не смотрелось. Говоря научным языком, в Юлькиной жизни были инфляция и девальвация, но в целом — лучше не бывает, хотя лежащая на высоких подушках бабушка Эрна твердила ей с утра до вечера, какой она несчастный ребенок. Может, с тех пор в Юлькиных глазах навсегда застыло удивление пополам с насмешкой, рожденное от первого столкновения оценочного слова и реальной ситуации.

Период изобилия Юлькиной жизни кончился переездом на новую квартиру вместе с дядей Володей. В памяти цементно застыли красиво поднятые мамины руки и скороговоркой повторяемое: «От всех подальше... Как можно дальше... На край света...»

Бабушка Эрна именно тогда сразу превратилась в старуху Эрну. Юлька слышала, как говорили женщины на лавочке у подъезда: «Какая величественная старуха». А мама, наоборот, преобразилась в девочку в коротенькой юбочке, дырчатой блузке, и те же женщины удивленно спрашивали: «У вас такая большая дочь?» Юлька была осведомленным человеком. Она знала, что мама ее родила в двадцать пять лет, уже получив высшее образование. Но предметы Юлькиной пятилетней гордости менялись не по дням, а по часам. Теперь мама всем говорила, что да, конечно, дочь у нее большая, но она рано,

слишком рано вышла замуж и сразу родила, прямо, можно сказать, в детстве. Потом все хорошо познакомились, и уже никто ни о чем не спрашивал. Старуха Эрна скрепя сердце наносила визиты, мама молодела и молодела, дядя Володя отпустил усы и бороду для солидности, и все шло прекрасно... И идет так же до сих пор. Маме сорок один, ей не дают больше двадцати пяти, обалдеть можно от той зарядки, что она делает каждое утро. Юлька ни разу не видела ободранного лака на материных ногтях. Она всегда, как на свидании, а это, на взгляд Юльки, труднее, чем в отчаянии бухнуться на рельсы.

...Катет уперся в каменные ступени. Пришла! В общем, конечно, выигрыш во времени незначительный, плюс ободранные на пересеченной местности ноги, все вместе доказывает, что гипотенуза как дорога была бы лучше. Но... Между прочим, один из двух парней, которые встретились, ей почему-то знаком. Она его где-то видела...

Юлька поднялась на шестнадцатый этаж и еще раз обозрела окрестность. Красота! А она, дура, ревела, когда переезжали. Здесь же необыкновенно! По девственно-зеленому ковру двора гуляла абсолютно золотая колли со щенятами. Тяжелая кирпичная кладка школы — ее так хорошо видно отсюда — тоже отлично сочетается с зеленым. А в том, что жилые дома, колеблясь в вышине, все-таки тянутся вверх, а школа устойчиво, на века, распласталась внизу на земле, была даже некая символичность.

Но где же она видела того худого и длинного мальчика?..

☆☆☆

А Таня не находила себе места. Она считала, что завалила урок в девятом. Конечно, ничего не стоило завтра же вырулить на наезженную колею, но именно то, что этого так хотелось, останавливало. Нельзя поддаваться панике. Так не бывает, чтобы вчера истина виделась в одном, а завтра в другом. Мама в таких случаях говорила: «Закажи очки. У тебя что-то со зрением».

— Надо исходить из того,— сказала Таня громко, на всю квартиру,— что я единственный предметник, который касается души. Если не я, то кто же?

«Брось! Брось! Брось! — сказала мама.— Только не ты!»

— Лучшие педагоги не имели детей,— парировала Таня.— Это им помогало, а не мешало. Не было своего, узкого, личностного опыта, который может путать карты. Нужен взгляд широкий, освобожденный от родительского эгоизма.

«Дура! — сказала мама.— Зачем я тебе оставила двухкомнатную квартиру?»

☆☆☆

Ни Роман, ни Юлька так и не вспомнили, где они видели друг друга. А встреча была и, оставшись для них бесследной и незапомнившейся, в их семьях, для их родителей стала чем-то вроде взрыва в котельной, который внешних разрушений вроде бы и не принес, но внутренние конструкции слегка покорежил.

Дело было вот в чем...

Мама Юльки когда-то давно, еще в школе, дружила с папой Романа. Но мало ли кто с кем дружил в школе — раздружились. Возник красивый мужчина, летчик, и увел маму Люсю от юного школьного воздыхателя. Тривиальнейшая история, разговора не стоит, если бы... Если бы папа Романа с последовательностью и ритмом биологических часов не возникал у ног Юлькиной мамы с переходящей всякие приличия тоской во взоре. Уже Юлька родилась, уже у него самого сын был, а все равно — придет, сопит и вздыхает. И случилось вот что... Людмила Сергеевна его возненавидела.

— Я сама себе казалась противной оттого, что когда-то с ним целовалась,— делилась она с подругами.— Он первый, с кем я целовалась... И мне так горько, что своими приходами он напрочь испортил все приятные воспоминания. Теперь вспоминается противное. Что руки у него были всегда влажные, что когда мы целовались, получался свист.

Людмила Сергеевна даже маму свою видеть в эти дни не хотела, потому что та Костю — так звали отца Романа — обожала. Юлиного отца — летчика — она не восприняла, дядю Володю тоже, а Костя — это был ее идеал. Он соответствовал ее каким-то глубоко запрятанным, но живучим представлениям о пресловутой немецкой добропорядочности. Это было совсем смешно, если учесть, что родом Костя из курской деревни. Ничего себе ариец.

А потом раскинутая во все стороны Москва их разъединила. И уже много лет не возникал на пороге тоскующий и преданный Костя со своим занудливым «Ты только скажи...».

Когда Юлькина семья получила трехкомнатную квартиру в белой башне на зеленой траве, перво-наперво надо было отдать в химчистку шторы, пледы, покрывала, не вносить же в новенькую, с иголочки квартиру старую пыль. Людмила Сергеевна навертела два тюка и, взяв Юльку в помощницы, отправилась в химчистку. Только они вышли на бетонную дорожку, положив тюки на голову — так женщина выглядит красивее,— как раздался совершенно истошный вопль: «Лю-ю-ся! Люсенька!» — и некий мужчина в три прыжка преодолел разделяющий две бетонные дорожки газон. Юлька с тюком на голове продолжала идти гордо и прямо, но боковым зрением она отметила, что на другой дорожке остались стоять очень толстая тетенька, килограммов на сто, и высокий мальчик. Она не знала, что там было за ее спиной, не видела, как рвал с маминой головы тюк этот мужчина, как мама не давала ему это делать... Мама догнала Юльку через пять минут, лицо у нее было красное и злое, и она сказала: «Лучше на край света, чем жить с ним рядом».

☆☆☆

Поскольку в этой истории две стороны, то важно знать, как на эту встречу прореагировала вторая — вот та самая стокилограммовая тетенька, что осталась брошенной на дорожке.

Вера Георгиевна — мама Романа и жена Кости — ночь не спала. Все видела перед собой ошеломившую ее картину: Костик, две недели до того проле-

жавший с радикулитом, в три метровых шага перемахивает через газон, а на асфальте, сцепив зубы от презрения, стоит Людмила. Вот это презрение не давало покоя и сна. Чего уж она так? У нее, у Веры, тоже был в школе поклонник. Сейчас он заслуженный артист, снимается в кино. Когда они встречаются, то, не стесняясь, целуются, даже если его жена рядом. И ей это не противно, наоборот, приятно, как он хорошо к ней до сих пор относится. И дело не в том, что ей льстит: он, мол, артист. Он не из тех, чьи открытки продают, он всегда играет крестьян-безлошадников, у него и в жизни лицо голодное, вытянутое и унылое. Но теперь он носит дымчатые очки. В них его безлошадность не так видна. Костик по сравнению с ним — красавец. Это объективно, не потому что муж. А та, Людмила, смотрела на него так, будто через газон к ней прыгал какой-нибудь Квазимодо. «Лю-ю-ся! Люсенька!» Орал как! Голос откуда-то не из горла, а из кишок — сдавленный, чужой. Вера с тоской представила, как они замерли на бетонных дорожках — она и Людмила. У Романа глаза стали, как блюдца. Папа ведь дома, держась за стеночку, ходил.

— Ну и прыжок! — сказал он восхищенно.— Как Брумель!

А «Брумель» стоял там, на той полоске, жалкий, небритый, и Людмила так брезгливо его обошла, с этим узлом на голове, будто боялась задеть. Уходя, кивнула ей, тоже свысока, и такое обилие презрения, пренебрежения, которое обрушилось на Веру в один миг, вдруг оказалось ей не под силу. . Она, двужильная женщина, на плечах которой было все — и нездоровый муж, и хлипкий сын, и ремонт в квартире (пять лет уже прожили), и стеллажи на заказ, и все, все, все... И тут она вдруг осела, обмякла от одной этой минутной встречи. Что она, про Людмилу не знала раньше? Знала. Все ее фотографии в альбоме сохранены, со всеми надписями «любимому», «моему хорошему» и так далее. Знала, все знала, что было. Не знала, предположить не могла, что у Кости все и есть. И вот теперь они соседи? Всего один газон Костику перепрыгнуть. Разве трудно умеючи?

И Вера тоже пошла на Банный, на «квартирную барахолку», выяснить возможности обмена. Выяснила: туда надо ходить месяцами, а еще лучше годами. Может, что и выходишь...

А потом все как-то в бессонницу пересмотрелось. Школа для Ромки рядом, на работу добираться удобно, а тут еще прямо между домом их и Людмилы достраивают громадный универмаг, он разделяет их дома, как пропастью. А тут еще Костика с радикулитом положили на обследование в ЦИТО. Шло время, и ни разу больше Людмила на пути не встречалась.

Вера не подозревала, что Костя звонил Людмиле по телефону. Сложным путем выяснил он домашний номер, так как не знал, какую она сейчас носит фамилию. У Эрны спрашивать не стал, позвонил Людмиле на работу и там у кадровиков не своим голосом осведомился. Людмила ответила предельно сухо, а он сразу жалко представился: «Я из больницы». Но в другой раз трубку взял мужчина и лениво так спросил: «Слушайте, какого черта?» Костя медленно надавил на рычаг и медленно пошел, пытаясь самому себе убедительно ответить на этот предельно простой вопрос: действительно, какого? Скоро двадцать лет минет, как они прятались в подъездах. Чего только не было после: и этот сумасшедший летчик, который привозил ей коробки конфет изо всех городов Советского Союза. И их скоропалительная свадьба. И какая она была тощая и измученная, когда ждала мужа из полетов. И как она его выгнала, имея пятимесячную дочь, когда узнала о многочисленных перелетных романах. И у него, у Кости, тогда был пятимесячный сын, но он побежал к ней, потому что вдруг отчаянно на что-то понадеялся. Целую неделю он надеялся, одновременно аккуратно выполняя все отцовские и мужние обязанности: ходил в молочную кухню, искал Вере необходимый для кормления лифчик с пуговицами впереди, носил в мастерскую обувь и покупал детский манеж. Он потому так это хорошо запомнил, что жил какой-то нелепой противоестественной надеждой на то, что Людмила его примет, что он ей будет все-таки нужен. А тут еще эта проклятая Эрна с ее подбад-

ривающими пожатиями и подмигиваниями: мол, все о'кей — или как там у них по-немецки? А все было прескверно. Однажды Людмила закричала противным визгливым голосом, что он ей надоел до смерти, что она его видеть не может, запаха его слышать не хочет и так далее... А потом этот прыжок через газон, и сжатые губы Людмилы, и его голос откуда-то из желудка: «Лю-ю-ся! Люсенька!» И тут вдруг — идя, вернее, даже пятясь от телефона — он понял, что на вопрос «какого черта?» ответа нет. Потому что «люблю» никакой не ответ, если тебя не просто не любят, а терпеть не могут. Приставать в таком случае действительно нехорошо, если есть или совесть, или гордость. Косте стало стыдно, мучительно закололо, заныло во всех суставах, захотелось жалости и внимания. И сразу вспомнилась Вера, как шерстяным платком она перевязывает ему поясницу, как гладит по платку утюгом. Костя даже застонал от переполнившего его чувства раскаяния — и решил больше никогда не звонить Людмиле.

☆☆☆

Универмаг открывали с оркестром как раз в сентябре и сорвали уроки в школе.

Девятый «А» ринулся к окну, оставив без внимания призыв учительницы закрыть окно.

Юлька и Роман оказались прижатыми к подоконнику плечом к плечу.

— Слушай,— сказал Роман,— я мог тебя раньше где-то видеть? У меня такое ощущение!

— Ты в Останкине не жил?

— Даже не знаю, где это!

— Тогда тебе кажется...

В том, что ей это же казалось, она из женского кокетства решила не признаваться. Еще чего!

Музыка громко звучала, высокое начальство обходило сверкающий никелем образцовый универмаг, а в универмаге — показательный, манящий и увлекающий, на горе родителям, отдел детских игрушек.

Таня вошла в класс и в первую минуту его не узнала. Лица, что раньше смутно виднелись будто сквозь пелену покрытия, выпростались и обнаружи-

ли себя, какие есть. Надо же! Музыка заиграла! Неожиданная музыка! В неположенный час! Музыка — что как снег на голову. И они сбросили с себя зажатость, запрограммированность на историю или на что там еще и смотрели на Таню обнаженно и доверчиво.

— Радости-то сколько! — сказала она, но ирония получилась какая-то подбитая: потому что надо быть клиническим идиотом, надо быть законченным шкрабом, чтобы не уметь радоваться радости.

«Запомнить бы мне эти их лица»,— подумала Таня. И она стала их жадно оглядывать и окунулась в такой поток доверия и сияния, что подумала: сейчас разревусь. И тут встретилась с большими и беспомощными, как у постоянно носящих очки людей, глазами и сообразила: это та, новенькая. Ах, вот это кто! Девочка с фотографии! Она обратила на нее внимание на снимке. Первого сентября чей-то папа их фотографировал и через неделю гордо принес снимки. Что бросилось в глаза? Таня среди учеников, как Гулливер среди великанов. «Ну и ну»,— подумала. В ней ведь тоже не полтора метра, а честных метр пятьдесят девять плюс каблуки. И все-таки с виду роста нет. Только одна девочка такая же. Но кто это, сообразить было трудно. Папа мастером фотографии не был. Таня решила, что эта девочка чужая, из другого класса, а к ее ребятам прибилась по принципу каких-то личных связей. А сейчас, после музыки, поняла — сидит эта маленькая. Только она носит очки. Вот они-то и сбили Таню с толку. Посмотрела по списку — Юля. Подумала: так это дочка самых эффектных родителей? Людмилу Сергеевну и ее мужа Таня заметила первого сентября. Они стояли вместе со всеми возле школьного забора, а распорядитель-физкультурник делал в их районе выразительные пробежки — верный признак, что где-то недалеко имелась в наличии красивая женщина. Таня посмотрела: верно, имелась.

В Юльке ни грамма броской материной элегантности и стати. И она не потрясает акселерацией, как остальные девчонки. Обыкновенная девочка на все времена. Только вот волосы прижаты сиюмод-

ным ободком — уменьшенной копией лошадиной дуги. Зря она его надела, ободок. Волосы у нее мягкие, негустые, ободок на них лежит грузно, а тут еще тяжелые, тоже сверхмодные очки — с «облучком» посередине, даже не заметишь живую девочку за такой амуницией. Но теперь Юлька сняла очки и смотрела так, что Тане захотелось ее от чего-то защищать, маленькую. Она ей улыбнулась, а тут вылез Роман.

— Татьяна Николаевна! — начал он.— Я что-то слегка заучился. В какой части света Останкино?

— Балда! — закричали Роману.— Это не у нас! Это на Млечном Пути.

— Невероятно! — печально сказал Роман.— Уже появились пришельцы.

Таня не знала, какая игра продолжается, заметила только: Юлька надела свои очки с «облучком» и... стала другой.

— Все! — сказала Таня.— Конец музыке.

☆☆☆

На первом в году общешкольном собрании вопрос дисциплины стоял, так сказать, в профилактических целях. На тех собраниях, которые потом, после общего, должны были проходить по классам, тему определял сам классный руководитель. И Таня решила: это будет разговор о здоровье. Что бы там ни говорила их врач-оптимист, надо на здоровье обратить внимание. Последние трудные классы плюс неуправляемая акселерация, плюс вся наша жизнь с ее стрессами, гиподинамией и шумами — все это надо знать. Ее бывший друг, доктор Михаил Славин, писал работу о признаках ранней ишемии. Он ей рассказывал много жутких историй, а она все их записывала. Записывала тогда и думала: классический отход от заветов мамы. Я записываю его мысли, вместо того чтобы оставить его ночевать. А сейчас мысли пригодились. Она листала тетрадку, там его рукой были нарисованы самые примитивные («Для таких темных, как ты»,— говорил он) чертежики и диаграммы. Она перерисовывала их, ощущая тоскливую пустоту. Как раз состояние для рисования схем.

Родителей на собрание пришло мало. Несколько новых мам озирали Таню внимательно и придирчиво. Родителей Юльки не было. Из «старых» первой пришла мама Романа. В который раз Таня обратила внимание, как она тяжела для своих лет. Она больше всех взволновалась разговором о здоровье. Все ушли, а она, обмахиваясь тетрадкой, все выспрашивала.

— А у Ромасика очень большие синяки под глазами?.. А не производит он впечатление чем-то больного?..

Таня не судила ее за глупый страх, она понимала его, профессионально обязана была понимать в родителях. И все-таки Вера, как всегда, показалась ей клушей с одной-единственной функцией — вырастить дитя. Не укладывалось в голове, что она инженер, что у нее есть, должны быть какие-то профессиональные знания, что она вообще может о чем-то думать, кроме сына. Таня нарочно спросила ее о работе, та долго сосредоточивалась, морщила лоб, потом засмеялась и сказала:

— Вы сбили меня с толку. Когда я думаю о муже и сыне, я дурею. Это видно? Видно, видно... Я знаю... Так что о работе? Работаю. Служу. Все у меня хорошо в этом смысле. Почему вы спрашиваете?

Она даже слегка рассердилась на Таню за это нефункциональное любопытство. В конце концов действительно, какое кому дело до ее служебных качеств? Тем более учительнице, для которой главное, чтобы она была хорошей матерью и хоть каким инженером...

Вера срисовала у Тани из книги упражнения для ликвидации сутулости. Роман, правда, сутулым не был. Но мамы сутулых поспешно убежали — знаем! Знаем! — а эта сидела и рисовала. И лицо у нее было девчоночье, юное, одухотворенное, хоть и возникало из тяжелого двухъярусного подбородка.

☆☆☆

Октябрь был как никогда.

— Я сто лет не видела таким Ботанический! — восхищалась учительница биологии, особа экспансивно-романтическая.— Что-то особенное. Иллюзия

чего-то неземного! Хочется упасть в эту красоту и умереть! Умоляю! Поведите срочно детей!

Все захохотали, а она не могла понять, почему.

— Чего вы? Чего вы? — спрашивала она.

— Обнаружили в тебе склонность к массовому убийству. Всей школой упасть и умереть!

— Я же не в том смысле! — стала оправдываться смущенная учительница.

— В том! В том! — смеялась Таня.

— ...Ой! — закричала Юлька и сняла «облучок».— Это же в Останкине. Там действительно здорово!

— А! — сказал Роман.— Экспедиция на Млечный Путь. Татьяна Николаевна, а какие гарантии возвращения?

— Без гарантий,— ответила Таня.— Операция, полная риска. Можем умереть от красоты.

Умереть от красоты захотели почти все и отправились на другой конец Москвы на следующий же день. Ходили по саду почтительно, артистично всплескивали руками, закатывали глаза, и вдруг Сашка с диким воплем кинулся к фонарному столбу.

— Братцы,— закричал он,— железный! Как это прекрасно!

Все тут же подхватили игру, картинно встали на колени вокруг столба, а Сашка произнес торжественный спич в честь Прометея, Яблочкова, чугунолитейного производства и призвал всех собирать металлолом.

Таня сказала: «Ах, так... И не надо... Гуляйте!» И они просто гуляли, а потом, когда шли назад, Юлька и Роман отстали. Почему-то тогда Таня подумала: они подходят друг другу, как две половины одной разрезанной картинки. Но она не в первый раз так думала, видя возникающие на ее глазах юные пары, поэтому как подумала, так и забыла. А вспомнила о первом своем впечатлении уже потом, потом...

☆☆☆

— Сколько в тебе кровей? — спросила Юлька.

— Одна единая неделимая русская,— торжественно ответил Роман.

— Ты вряд ли будешь гениальным,— серьезно сказала Юлька.— У меня гораздо больше шансов. У меня тоже преимущественно русская, но слегка разбавленная.

— Водой или сиропом? — спросил Роман.

— Сам дурак,— серьезно продолжала Юлька.— Бабушка у меня из немцев...

— Фи! — не поддавался Роман.— Тоже мне кровь...

— Мой отец — метис...

— Вот это уже мне нравится! — обрадовался Роман.— Метис — это звучит гордо.

— Не в том смысле,— сказала Юлька.— Он наполовину украинец, наполовину поляк. Понял?

— Тогда он мулат,— засокрушался Роман.— Это уже не так гордо. Не быть тебе гениальной.— И заинтересованно спросил: — А негров в вашем роду не было?

— Монголы были,— приняла наконец игру Юлька.— Те, что из ига...

— Слава богу,— обрадовался Роман.— Хоть что-то... Можно я буду звать тебя просто: Монголка?

Потом удивлялись, почему он кричал в классе: «Монголка!»

— Что в ней монгольского? — спрашивали ребята.

— Душа,— отвечал загадочно Роман.— Она ведь из ига. Сама сказала.

Они назначали свидания в детском отделе универмага, у бассейна, где вместе с зелеными шарами мячей плавали зеленые крокодилы, киты, черепахи. Они садились на кафельные берега бассейна и пропадали. Люди становились природой, и совершенно не имело значения их человеческое количество. А может, чем больше — было даже лучше. Роман и Юлька только меняли место на своем «берегу» в зависимости от того, что в универмаге выбрасывали и как выстраивалась очередь. Они сидели с авоськами для хлеба, молока, как с неводами; люди же шуршали, бушевали, как деревья, как море, как ветер.

А вот крокодилы были живые и настоящие и звали их Сеня и Веня.

— ...А когда ты на меня обратил внимание?

— Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку, а ты — по-настоящему...

— Вот дурачок... Я тоже в шутку.

— Я понимаю. Но вид у тебя был как по-настоящему... И пятки у тебя такие маленькие-маленькие торчали вверх.

— Пятки? — Юлька смущенно закрывает глаза ладонью.— Как тебе не стыдно... Они, наверное, были грязные... Мы же по пыли шастали.

— Были,— отвечает Роман.— Мне даже хотелось послюнявить палец и потереть их.

— Ну, а потом?

— А потом ты с умным видом болтала глупости о своих кровях. Как я понимаю, намекала мне на скрытую в тебе гениальность. Я тогда представил — как это все в тебе происходит. Бежит в тебе алая-алая, это русская кровь, а в ней фонтанчиками бьют синяя немецкая, светло-зеленая польская, оранжевая монгольская...

— Господи! Да нет во мне монгольской! Ты это сам выдумал...

— Не перебивай старших... От этого многоцветья ты изнутри вся светишься. Ты знаешь, что ты светишься?

— Как это?

— Как салют. Правда, крокодилы?

Юлька крутит им головы: мол, неправда.

— Когда мы поженимся, мы заберем их,— говорит Роман.

— А когда это будет? — спрашивает Юлька.

— Очень скоро. Девятый, считай, мы уже окончили. Так? Значит, десятый. Это ерунда. Сразу после экзаменов.

— Но ведь нам не будет еще восемнадцати.

— Тогда мы уедем в Узбекистан, там можно раньше...

— А что мы будем делать с Сеней и Веней?

— Они будут жить в ванной, ждать наших детей...

— Ой!
— Чего ты?
— У мамы стали выпадать зубы. Она говорит, что я у нее забрала два зуба, а вот этот неизвестный товарищ уже четыре. Она страшно переживает. Зубов нет, пятна... Старая стала... Мне ее жалко...
— Тебе ничего не повредит...
— В каком смысле?
— Я представил тебя без зубов и с пятнами: очень хорошенькая старушка.

☆☆☆

Вера выступала на родительском собрании в начале третьей четверти и рассказывала, как в их НИИ сын одного сотрудника — такой приличный мальчик — попал в дурную компанию и совсем отбился от рук. Она была очень этим взволнована и призывала мам и пап к бдительности.

— Был хороший, интеллигентный ребенок,— говорила она,— играл на скрипке, родители — культурнейшие люди... Отец три языка... Дома никаких выпивок... Туризм... До седьмого класса мальчик без троек... И появляется один... Паршивая овца. И все насмарку... Мальчик перестал стричься... Потом эти битлы. Потом приводы...

Татьяна Николаевна слушала эту извечно наивную цепь рассуждений, искала слова, которыми должна будет и успокоить и объяснить, какое и где утрачивается звено между пай-мальчиком со скрипкой и «паршивой овцой», и вдруг увидела, как замолчала Вера. Именно у в и д е л а, потому что еще звучали какие-то слова, еще шевелились Верины губы, а внутри она замолкла, застыла, закаменела... Это бочком, извиняясь за опоздание, входила в класс Людмила Сергеевна. Пополневшая, похорошевшая после недавних родов, она усаживалась на краешек парты, чтобы не измять роскошную трикотажную тройку — юбку, жилет и блузку,— тихо, деликатно щелкнула сумкой, достала платок, и в класс, всегда пахнущий только классом, впорхнул запах духов непростых и чужеземных. «Что с ней? — подумала

Таня о Вере.— А с ней?» — это уже о Людмиле Сергеевне, чьи тонко выщипанные брови удивленно поползли вверх при виде Веры.

После собрания Людмила Сергеевна сопровождала Таню до учительской.

— Извините, что я опоздала,— говорила она.— Я теперь себе не принадлежу, принадлежу расписанию кормлений. А что, Роман Лавочкин учится в вашем классе?

— Да,— ответила Таня.— А что?

— Странно,— задумчиво сказала Людмила Сергеевна,— странно... Когда-то я знала его отца... И что — хороший мальчик?

— А вам Юля никогда не говорила? — удивилась Таня.— Они ведь дружат...

— Дружат? — На лице Людмилы Сергеевны застыло такое глупое выражение, что оно, несмотря на ухоженность европейскими средствами, стало просто намалеванно-бабьим.

— Они наши Ромео и Джульетта,— ляпнула Таня.

«И если в своей жизни я когда-нибудь говорила пошлости и глупости, и если я совершала когда-то безнравственные поступки, и если я бывала бестактной, так все это чепуха по сравнению с этой моей пошлой, безнравственной и бестактной фразой,— так скажет потом Таня.— Я ляпнула — как будто сыграла свадебный марш на похоронах, я сказала — будто ввела в Эрмитаж лошадь, я проболталась, как последняя сплетница со скамейки у подъезда, которая всегда в курсе, кто с кем, кто когда, кто зачем». Но тогда, сразу, она услышала только кислый такой голос Людмилы Сергеевны.

— Это некстати,— тихо сказала она.—На носу десятый... Лавочкиных нам еще не хватало.

— Роман — славный мальчик,— успокаивала ее Таня.— Совершенно порядочный, совершенно чистый...

— О господи! — возмутилась Людмила Сергеевна.— Конечно, чистый! Конечно, порядочный! Кто об этом? — И недобро добавила: — Я знаю эту семью: добропорядочность у них фамильная.

Тогда еще Таня не знала предыстории и такую недоброcть отнесла за счет характера этой выхоленной дамы.

☆☆☆

Лавочкины ужинали рано, потому что рано ложился спать Костя. Вера нервно бросала на стол свертки из холодильника, никак не соображая, что ей конкретно сейчас нужно? Когда напрочь все выбросила, поняла — делает не то: гречневая каша у нее сварена и стоит на балконе, а ей надо было зайти после собрания за молоком, но об этом она как раз и забыла. Костя лежал в комнате, читал детектив. Бегая с балкона на кухню, вскрывая тушенку (пусть каша будет с мясом, а не с молоком), Вера растерянно думала о том, что она до сих пор безумно ревнует Костю к этой женщине. Вот время прошло, а как сейчас видит она его прыжок через газон: «Лю-ю-ся!»

Когда они женились, он ей честно сказал: «Эта любовь была для меня всем». Но Вера думала: у каждого что-то было. И у нее тоже был парень в институте, собирались жениться, а как-то вернулись с каникул, посмотрели друг на друга — и привет. Стало ясно, что можно было вообще никогда не встречаться. Раньше Вера свято верила, что все любови, которые не кончаются физической близостью,— дым, химера. То есть, конечно, есть близость без любви, но это разврат, блуд, неприличие. Но если будто бы любишь, но спокойно без этого обходишься — тоже ерунда.

У них с Костей все получилось сразу, и она поняла: Костя — единственный для нее мужчина на земле. И оставалась счастлива даже после его слов: «Та любовь была для меня всем». Пройдет. Потому что там ничего не было. А потом он прыгнул через газон и этим прыжком враз порушил такую стройную, такую устойчивую концепцию. Вера тогда испугалась на всю жизнь, на всю жизнь она возненавидела Людмилу Сергеевну, на всю жизнь поселился в ней страх, что Костя может уйти, если его по-

зовут. Просто невероятно, как он от себя не зависит, и стоит только захотеть той женщине...

А теперь они могут видеться. Конечно, Костя на собрания не ходит, это уже утешение, но будет десятый класс, выпускной вечер, и эта явится в каком-нибудь необыкновенном наряде, и Костя, он такой слабый после болезни, может растеряться. «Лю-ю-ся! Люсенька!»

Пришел Роман с длинной, как невод, авоськой. В ней болтался плавленый сырок за пятнадцать копеек. Этих сырков — полхолодильника. Хобби какое-то у сына — покупать сырки.

— Ну что собрание? — спросил он весело.— Кого клеймили? Про меня что-нибудь говорили? Нет? Прекрасно! А про Юльку? У нее пара по физике, случайная, по глупости, но дурочка так страдает — во-первых, из-за пары как таковой, во-вторых, боится, что из-за этого у Людмилы Сергеевны пропадет молоко... У Юльки теперь есть брат... Юлька из-за него не высыпается...— Роман болтал, выковыривая из тушенки кусочки желе, одновременно он грыз длинный огурец и отщипывал корочки хлеба — в общем, вел себя, как всегда, когда он голоден и когда у него хорошее настроение.

— Юлька — дочь Людмилы Сергеевны? — спросила Вера. А сердце забилось. Она родила? В таком возрасте? Костя ей не нужен? Ах, как хорошо! Хорошо! А у Романа все пройдет, пройдет. Это детство.

— Ма, что с тобой? Ты чего шевелишь губами? — Роману весело, сжевал всю корку круглого черного, догрызает полуметровый огурец...

— Что, лучше Юльки в классе девочек нет? — спросила Вера.

Роман закашлялся так, что у него слезы выступили, и Вера возненавидела в этот момент Юльку так же, как Людмилу Сергеевну.

— Что с тобой, мама? — спросил сын, откашливаясь.— Какая тебя муха укусила? Юлька — самая лучшая девочка на земле.

— Я знать этого не хочу! — закричала Вера.— Десятый класс на носу. Вот о чем надо думать!

— Ты тривиальна, мама, как шлагбаум.

— Почему шлагбаум? — растерялась Вера.

— Ну, табуретка... Сама подскажи мне пример тривиального...

«Надо пойти и посмотреть в словаре, что такое «тривиальный»,— подумала Вера.— Я забыла значение этого слова. А может, не знала?..»

А Людмила Сергеевна по дороге домой успокоилась и не сочла нужным ни о чем разговаривать с Юлькой.

Потом она скажет: «Я вдруг уверовала, что у Юльки, моей дочери, должен быть иммунитет против Лавочкиных».

Людмила Сергеевна ведь тоже когда-то что-то там испытывала к Косте. Скорее всего благодарность за первую в жизни мужскую преданность, за то, что некто однажды увидал в ней не просто одноклассницу — девушку... Вот и у Юльки то же. Пройдет. А летом ее надо будет отправить в Мелитополь. Родня обеспеченная, машина, моторка, повозят, покажут... Лето вылечит...

☆☆☆

Эту историю в тот момент больше всего переживала Таня, потому что Юлька «съехала» по учебе. По математике у нее редкие тройки перемежались более частыми, похожими на вставших на хвост змей двойками.

Таня говорила с ней. Юлька крутила двумя пальцами дужку очков и обещала: «Исправлю, Татьяна Николаевна, ей-богу, исправлю».

Как-то к Тане подошла их школьный врач, властно оттянула ей веко и сказала: «Слушай, Татьяна, у тебя ни к черту гемоглобин. Приди завтра в поликлинику, я возьму у тебя кровь».

Сейчас Таня лежала дома и вспоминала все это. Гемоглобин у нее оказался на самом деле низким. «Для того, чтобы умереть, много, а чтобы жить, мало,— сказала врач.— Ешь печенку и расслабься. Пусть мир на всех скоростях катится к чертовой матери, ты нынче ездишь только на лошадях. Это уж если совсем нельзя пешком».

Как-то ночью пришла страшная мысль: ей нельзя болеть потому, что ей некому подать стакан воды. Тут же села в ногах мама и завела старую песню.

«...Даже у меня такого не было! У меня была ты...»

— У тебя, Таня, завышенные мерки к жизни,— говорил Миша Славин.— Измени угол в своем циркуле, и все сразу пристроится. Мне неуютно, когда ты хочешь, чтобы я был Чеховым. Да и ты, пардон, тоже ведь не Ольга Леонардовна? А?

— Чего ты из меня делаешь дуру? Никогда я на тебя не смотрела, как на Чехова,—отвечала Таня.

— Ты этого не замечаешь. А я иду к тебе после работы усталый, измученный, мне хочется забыться и заснуть в объятиях любимой, а мне приходится думать: все ли у меня прекрасно? Ничего у меня прекрасного нет после работы! Штаны мятые, рубашка несвежая, на душе погано, а мыслей нет вообще... Собаки съели. Ты меня пожалей, приголубь... Именно такого. Несмотря на штаны, на отсутствие мыслей, на то, что я пришел к тебе с приветом...

— Ты другим уже не бываешь. Вот что страшно... В воскресенье утром у тебя то же самое.

— Правильно, любовь моя. Такова реальность. Работа проедает насквозь. Но я без нее не могу. Как врач я раз во сто выше Чехова... Но в остальном — избавь меня от этого сравнения. Избавь меня от веры в красоту человечества. Оно больное. Констатирую как доктор. И я его лекарю. От всей души, как говорят в телевизоре.

«Наверное, это был способ от меня уйти,— думала Таня,— навязать, приторочить мне мысли, которых я никогда не имела. Не сравнивала я его с Чеховым. Не приходила в ужас от его мятых штанов. Но он привязывался, привязывался с этим циркулем, который будто бы у меня закреплен не на том угле, и я однажды поняла: он хочет, чтобы я с этим согласилась. Тогда ведь сразу станет все ясным. Ну, я и согласилась... Он ушел обиженный и освобожденный».

В холодильнике стыла закупленная впрок печенка, морковка стала сморщенной и мягкой, гемости-

мулин был не распечатан, и только Таня решила все это или съесть или выбросить, как в дверь позвонили долго и нахально. Она открыла и увидела весь свой девятый с цветами (дорогие же ранней весной!) и свертками.

— Вот еще глупость какая! — сказал Сашка.— Болеть вздумали.

— А где Роман и Юля? — спросила Таня.

— А где они? — удивились ребята.— Шли ведь вместе.

— Но это вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна,— сказал Сашка.— С ними случаются такие странности. Временами они исчезают. Вообще. В пространстве.

— Очень смешно,— ответила Алена.— Просто цирк.

— Мы принесли клюкву,— хлопнул себя по лбу Сашка.— Это то или не то?

А Роман с Юлькой так и не появились. Таня, слушая ребят, отметила: Алена столбом стоит возле окна, большая такая, свет закрыла, стоит и двигает туда-сюда два чахлых цветочных горшочка. «Разобьет»,— подумала Таня, И та разбила. Испугалась, стала собирать осколки, землю и в деле успокоилась, больше к окну не подошла.

Когда ребята ушли, Таня почувствовала, что выздоровела. Количество гемоглобина не имело никакого отношения к этому. Просто пришло ощущение: все. Надо вставать.

☆☆☆

После девятого класса мальчики продолжили занятия в военно-спортивных лагерях. Таня пришла за отпускными, а они собирались во дворе. Все в зеленых топорщащихся костюмах, все подстриженные на основании приказа, все, как один, длинношеие, ушастые. Мальчишки как-то безрадостно поострили по поводу ее отпускной экипировки: мол, давно бы так одеваться молодой женщине, а то учителя и сами не живут и другим не дают, вот вам доказательство — и они опускали перед Таней бритые выи. «Хорошо, да? Красиво, да? А сами небось в юбке-

макси». Пошутили, поболтали, так бы она и ушла, если б кто-то не крикнул:

— Ромка! А тебя пришли на войну провожать!

И тут все увидели Юльку. Вид ее вполне соответствовал реплике. Она была черная, осунувшаяся, казалось, что ей холодно, хотя на улице было не менее двадцати пяти. Роман испуганно отвел ее к забору, подальше от глаз.

Приход Юльки взбодрил отъезжающих, и они заболтали.

— Что, граждане, сыграем свадебку?

— Ой, сыграем! Вот тут прямо, во дворе, столы поставим...

— Каре...

— Что?

— Каре...

— Ты что, ворона?

— Каре... Стол — каре.

— Ребята, он чего?

— Ерунда! Предлагаю «Арагви» или «Пекин».

— A money? Кто будет платить?

— Не мы же! Родители! Сбросятся, скинутся, полезут в черную кассу, наскребут... Такая любовь, мальчики, требует расходов.

— Патентую теорию... Внимание! Патентую теорию... Большая любовь — большие расходы. Средняя — средние, маленькая — маленькие... Здорово? Родители в целях экономии женят нас на обезьянах... Рубрики в газете «С лица воду не пить...» Дискуссия — с лица или не с лица?.. Пить или не пить?..

— В «Неделе» был рассказ, кажется, Моэма, так там черным по белому доказывается — без любви очень даже лучше... Ничего хорошего все равно не ждешь, а значит, и не разочаровываешься... Отсутствие разочарований — залог успеха.

— Как бы это объяснить Роману?

— Поздно, братцы... Он спекся...

— Жалко товарища... Ушел от нас в расцвете.

Они галдели, а сами поглядывали на Романа и Юльку не без зависти, пока физкультурник звонко и молодо не крикнул: «Становись!» (Звонко и молодо — это в честь Таниной юбки-макси, реакция у

него в этих случаях автоматическая.) И тут Таня увидела, как Юлька бросилась Роману на грудь, как обхватила его за шею, как беспомощно тычется ему в зеленую робу. Таня почувствовала — сейчас заревет, и заревела бы, не увидь, что прямо на них мчится по двору Вера. Таня с Сашкой сработали одновременно, уже через секунду конвоируя Веру с двух сторон. Она удивленно посмотрела на Таню, в глазах на мгновение полыхнуло: «Что за вид!», но она тут же стала озираться, искать сына. Ах, Сашка! Умница Сашка! Он показал всем мальчишкам кулак, а сам стал кричать в сторону школы, хотя Роман и Юлька были в противоположном месте.

— Ромка! К тебе мама пришла! Ромка! Мама пришла, мама...

Вера завороженно смотрела на дверь школы, ждала: вот сейчас распахнется и выйдет Ромасик... Но дверь не распахивалась. Все с интересом ждали, как появится Роман с другой стороны и что он скажет.

— Ромка! Тебя зовут! — тихо шептала Юлька.— Точно! Тебя зовут...

— Значит, не забудь: я возвращаюсь через три недели. Во вторник, в пять вечера, как обычно...

— Ромка! Зовут...

— Да ну их... Запомни. Во вторник... В пять вечера...

— Ром! Я не могу... Просто даже не подозревала, что не смогу. Три недели... С ума сойти... Ты иди, иди... Что они кричат? Мама пришла? Чья мама?

— Наверное, моя... Юлька! Ты только меня не забывай. Слышишь, Юлька, во вторник...

Он шел от Юльки, как во сне... Он подошел к Вере и остановился возле нее, и она, увидев его, сразу поняла, откуда он пришел. Она завертелась, даже привстала на цыпочки...

— Стройте их скорей! — сказала Таня физкультурнику.

— Леди! — ответил он проникновенно.— Я из-за них тяну эту резину. Развели страсти-мордасти... Забираем в рекруты... И маман и девица... Фи! Что за воспитание! — И хорошо поставленным голосом

он крикнул: — Последний раз говорю: становись. Провожающих прошу удалиться за забор.

Таня взяла Веру под руку, и они пошли. Она вела ее и чувствовала, что за их спинами прижимается к бетонной ограде Юлька, бедная, почерневшая девочка, которую не надо сейчас видеть никому, а Вере особенно.

Вера четко печатала шаг. Она тоже знала, что Таня уводит ее от Юльки, она уводилась покорно и с достоинством, а Таня не подозревала тогда, что тяжелая Верина голова уже произвела на свет план, что Вера выждет, когда уедут мальчишки, и вернется в школу, чтобы забрать документы Романа. Если все решено — зачем тянуть? Если веришь в идею — ее надо осуществлять. Она толково, убедительно объяснила тогда все директрисе. И напугала ту вконец. Роман не доехал еще до Ярославского вокзала, Юлька не добрела еще домой, а личное дело Романа Лавочкина уже лежало в сумке, прижавшись к капусте и яичкам, а Вера четко печатала шаги, из одной школы в другую, из другой в третью... Выбирала.

Уже ночью, в поезде «Ривьера», Таня опять вспомнила Юльку и Романа и почему-то разгневалась. Потом она скажет: «Гнев был неправедный». Еще бы! Какая там праведность! Думалось: «Что за непристойность, на глазах у всех бросаться на шею! И где? На школьном дворе! Ведь я там была! И учитель физкультуры! И ребята. А им все равно? Ну, знаете... Такого еще не было. Вера как почуяла... Она молодец, она вся настроена на волну сына, она тоже все чувствует».— И Таня, вспомнив Веру, стала успокаиваться. Эта мама — на страже. Стража — хорошее, оказывается, слово. Добротное, древнее, мудрое. На него можно рассчитывать. От Веры и стражи мысли перекинулись на Людмилу Сергеевну — вот вам две мамы, два отношения к детям. Да что там говорить: именно у этой выхоленной женщины могла вырасти девочка без понятия о какой-то нравственной сдержанности, девичьей скромности...

Мысли, слабо вздрагивая на стыках, катились, катились в поезде «Ривьера», пока Таня вдруг не подумала: «Я что? Маразмирую?» Она вышла среди ночи в коридор, удивляясь, как опустилась до того,

что сама с собой сплетничает, копается в этой любви, будто коза в капусте. Что она о них знает, что? И вообще это не ее дело, не ее компетенция. Ее никто не провожал в отпуск, и едет она одна, и никто ее не ждет, и все это немаловажно, но если она позволит взыгрывать в себе личной неустроенности — грош ей цена. Нет ничего противней перенесенного в школу мира старой девы. Татьяна Николаевна безжалостно секла себя и давала клятву: как только почувствую, что брюзжу, так уйду... Куда угодно, кем угодно...

☆☆☆

Письмо в Мелитополь двоюродной сестре было обстоятельным и деловым. У нее, у Людмилы, на руках маленький. Юлька бродит по Москве, как беспризорная кошка. Ей так нужен сейчас кислород и йод. А где он в столице? А ведь впереди десятый класс. Есть и еще одна закавыка: мальчик. Ничего плохого между ними не было, но с глаз долой, из сердца вон! Так, что ли? Вот и лучше — вон... Может, сестра помнит, в школе за ней ухаживал занудливый такой парень, потом он много лет не давал ей покоя, мальчик Юли — его сын. Бывают же подобные совпадения! Людмила просит сестру любыми способами — «любыми» подчеркнуто — держать Юльку как можно дольше. А она, Людмила, с малышом будет на даче. Володя вот-вот должен получить «Жигуленка». Уже пришла открытка. Писали они им об этом или нет? Когда снимаешь дачу, без машины — хана. Электрички — это место накапливания онкологических клеток. Москва перенаселена, Москва кишмя кишит, и конца этому не видно. В чем-то они, провинциалы, гораздо их счастливее...

☆☆☆

Ромка сидел на «берегу» и ждал Юльку. Сеня и Веня плавали рядом. Очередь обтекала его слева направо — в универмаге давали цигейковые шубы. Вчера она шла наоборот — в обувном выбросили импортные войлочные сапожки. А позавчера, во вторник, очереди не было совсем. Он сидел два ча-

са, он рассказал девочкам из отдела игрушек все байки, какие знал... А Юлька не пришла. Если ее не будет и сегодня, он пойдет к ней домой.

Он звонил долго-долго, может — час, может — три, пока из соседней квартиры не вышла распатланная девица с кофемолкой. Она открыла дверь и в упор стала разглядывать Романа.

— Чего ты добиваешься? — спросила она.— Каких результатов?

— Их что, нет? — глупо сказал Роман.— Вот звоню, звоню...

— Очень охота позвать милицию,— задумчиво произнесла девица,— выяснить, что ты за тип... Дебил или жулик?..

— Дебил,— ответил Роман и стал спускаться.

— Они на даче,— кричала вслед девица.— Кислородятся.

— Где? — спросил Роман уже с площадки.

— А я знаю? Не докладывали. А Юлька на юге. В Мариуполе, кажется.

— Фамилию не знаете, у кого она? — Роман уже возвращался назад.— У родни? У знакомых?

— Понятия не имею. Зачем это мне? — Брови девицы вздыбились от удивления.

— Ладно. Спасибо! — сказал Роман.— Мариуполь точно?

— Вроде...— Девица остервенело крутила кофемолку и смотрела вслед Роману. Ничего мальчик, вполне... Любовь, любовь... Ха! Столько вокруг обожженных ею, казалось бы, сообрази и остерегись, а все равно летят на огонь, как сумасшедшие. Девочки и мальчики... Комсомолки и комсомольцы... Рабочие, студенты и колхозники... Дураки и дурочки... Пусть летят. Она больше не полетит...

Девица пила кофе, которым можно было бы напоить дюжину гипотоников, а в ушах ее продолжал звучать долгий призывный звонок в пустую соседнюю квартиру.

☆☆☆

Вера согласилась на Мариуполь сразу. После того как она отдала в школу за четыре трамвайные остановки личное дело Романа, она почти успокоилась.

Оставалось малость: сообщить Роману, что его перевели в новую школу. Все были уже подготовлены. Вера не постеснялась даже сходить к бывшему учителю математики и сказать ему: «Евгений Львович! Я буду на вас ссылаться, что вы Ромасику рекомендуете другую школу. Где уровень выше». Математик был оскорблен — при чем тут уровень? Какие к нему претензии? «Господи! Да никаких! — сказала Вера.— Мне н а д о его забрать из этой школы». Евгений Львович ничего не понял из Вериных полунамеков («Девочка? Какая девочка? У них у всех девочки!»), но согласие на версию «о высшем уровне» дал. «Она взяла меня измором,— скажет он.— У нее какая-то своя сложная логика, но я вникать не стал». Вера собиралась подключить к этому и Татьяну Николаевну. Как только та вернется. Она даже слегка гордилась хорошо организованной интригой. Думалось: через много лет она будет рассказывать Роману всю подноготную его перевода. Вот уж посмеются вместе. Очень хорошо это виделось — она рассказывает, а Роман качает головой и говорит: «Бедненькая ты моя, столько хлопот из-за пустяков».

Так это хорошо представлялось, что Вера заранее переполнялась умилением. Пусть, пусть знает, как она мудра в своей материнской зоркости, и как ловка, и как сообразительна. Все, все оценит сын потом. Вера воспаряла... Она узнает, почувствует из всех девушек ту, единственную, которая... Верьте не верьте, почувствует! И может, даже скажет сыну: «Ромасик! Не прогляди! Это она!» Вера могла представлять и дальше: внуков, например... Возможные семейные неприятности у Романа, и как она, мать, тактично и внимательно во всем разберется, и поможет, и выручит... И еще дальше: видела правнуков... Видела, как она будет умирать в большой широкой постели против широкого окна. Нет, не умирать — отходить, и все вокруг будут плакать, а в ее душе будут звенеть бубенцы. Она даже сейчас слышала эти бубенцы из будущего, серебряный перезвон, и радостно вздыхала. Все будет хорошо. Ведь ведет же она его по жизни шестнадцать лет. И слава богу! А чего только не было. И воспаление

легких три раза, и этот мальчишка, который учил его пакостям, и перелом ноги, и пожар, который Ромка устроил в детском саду. Все было. Но она во всех ситуациях была умней обстоятельств, и все кончалось хорошо. И в этой истории, она убеждена, надо вмешиваться и разрушать. Тут не может быть сомнений ни с какой стороны. Это даже хорошо, что Юлька — дочь Людмилы Сергеевны, что пришла его провожать. Они сами все определили, они сделали задачу предельно ясной, тут даже думать нечего. Вера гордилась собой.

Они сняли комнатку недалеко от моря, Вера уходила на комбинат, а Роман будто бы купался. («Не заплывай», «Не перегревайся», «Пей кефир, но смотри на число» и так далее...)

Роман ходил по городу. Он ни разу не окунулся за все время. Он перешагивал через голых на пляже, боясь раздеться и этим потеряться среди всех. Он боялся, что, несмотря на хорошее зрение, проглядит Юльку в этом царстве плеч, животов, ног, спин, одинаково загорелых, одинаково блестящих на солнце. Знать бы, какой у Юльки купальник! Знать бы вообще, какая она! И он мысленно, без волнения, без чувственности раздевал ее. В этом не было ни грамма секса, решалась научная задача: выделить, вычислить из общей массы одну-единственную — Юльку. Но ее не было. Вечером Роман валился без ног, а Вера сокрушалась, что он совсем не загорает, что он у нее огнеупорный. И она купила ему масло для загара.

В какой-то момент, в третий раз проходя по одной и той же улице, Роман понял, что Юльки здесь нет. Наверное, они разминулись. Он представил, как она сидит на «берегу» и ждет его, как таскает за носы Сеню и Веню, и понял, что надо уезжать. У мамы осталось три дня командировки, и их надо будет как-то пережить. Только тогда он пошел на море, разделся, лег головой к чьей-то перевернутой лодке и сразу сгорел на солнце, потому что огнеупорным не был, а про масло для загара забыл. В последний день, уже купив билеты, к нему пришла на берег

Вера. Она смущенно разделась, стыдясь своего белого, рыхлого тела; пряталась за лодку и была так поглощена этим своим смущением, что забыла сказать про новую школу.

☆☆☆

Юлька своим ключом открывала дверь и не могла открыть. Она потрясла дверь, давно зная, что с неживыми предметами надо поступать так же, как с живыми: трясти, шлепать, тогда они подчиняются, слушаются, и действительно, ключ сразу вошел в щель, будто вспомнил забытую дорогу, и дверь открылась. Пока Юлька втаскивала чемодан, рюкзак и сумку, на площадку вышла Зоя, соседка, с которой Людмила Сергеевна не советовала Юльке общаться. Считалось, что определенные университеты ею закончены давно, что Зоя живет по принципу за год— два, что с такими темпами к тридцати выходят в тираж. И негоже с ней девочке...

— Привет! — сказала Зоя.— К тебе тут парень приходил. Ничего из себя. Звонил до посинения, пока я его не прогнала.

— Роман?! — закричала Юлька.

— Не представился,— усмехнулась Зоя.— Не то воспитание.

— Когда он приходил? — Юлька вся дрожала от нетерпения.

— Ну, с неделю... Может, с пять дней... У тебя что с ним? Любовь? Ты, Юлька...

Но та умоляюще сложила руки:

— Зоя, не надо... Ладно? Ну, прошу тебя, не надо...

— Ничего не надо? — приставала Зоя.— Ни совета? Ни пожелания?

— Ничего,— сказала Юлька.— Ничего.

— Живи,— ответила Зоя.— Это как корь, болеет каждый. Но одно скажу — ты с ним не спи...

Юлька захлопнула дверь. Жгучий стыд покрыл лицо, шею, даже между лопатками загорелся. Господи, какая она ужасная, эта Зоя, все правы, говоря о ней гадости, все... И тут услышала стук в дверь.

Метнулась к ключу, но это Зоя, она прямо дышала в замочную скважину.

— Юлька, не сердись,— шептала она,— не сердись. Ты же знаешь, что я дура...

«Как хорошо, что я ничего не слышала! — облегченно подумала Юлька.— Я не буду на нее обижаться. Не буду. Она не виновата, что у нее все плохо. Но ведь и я не виновата, что у меня все хорошо?»

Три дня в пять часов таскала она за нос Сеню и Веню. Потом узнала у мальчишек, что Роман уехал в Мариуполь. Поплакала и собралась на дачу.

Летом они так и не встретились.

2

Только в конце августа Вера решилась сказать, что перевела Романа в другую школу. От удивления он раскрыл рот и так и замер.

— Ты что, мать? — спросил он.— Белены объелась?

— Груби, груби,— до слез обиделась Вера.— Мне это надо? Мне? — За то время, что она молчала, она тщательно отрабатывала версию, не имеющую никакого отношения к Юльке.— У них сильный математик и физик, не нашим чета. Там есть физико-математический уклон, хоть школа и считается обычной. А по сути уклон есть... Мне это сказал директор. И в твоей школе все правильно поняли. Да, говорят, если хочет в физтех, то лучше другая школа.

— Кто хочет? — спросил Роман.

— Ты,— удивилась Вера.— Разве ты передумал?

— Значит, все-таки я... Значит, надо было у м е н я спросить, что я об этом думаю.

— Ромасик! — жалобно сказала мать и сложила руки на груди.

Вера сделала это от души, без подвоха, не подозревая, что именно этот материнский жест бьет Романа наотмашь. Никогда ему не бывает так жалко мать, как в эти минуты. Сразу вспоминается почему-то, что мама — так говорят родичи, да и фотографии

тоже — до родов была очень стройная, очень гибкая. А как только где-то в ее глубине «завязался» Роман, вся ее красота стала разрушаться.

«Твоя мать, когда тебя носила, была похожа на надувную игрушку, такая была отечная»,— говорила бабушка. Стоило приехать кому-нибудь из ленинградской родни, и эта тема конца не имела. Ни у кого не хватало такта молчать об ушедшей Вериной красоте. Говорили, говорили, говорили...

Когда-то, лет в восемь, Роман после одного такого разговора очень плакал. Вера испугалась, стала расспрашивать, и он ей признался, что если бы знал, как он ей в жизни навредил, не родился бы. И тогда Вера сложила на груди руки накрест и сказала: пусть бы она стала толще в три раза, пусть бы у нее было пять тромбофлебитов и десять гипертоний, пусть бы у нее были все хворобы мира,— все равно это никакая цена за то, что у нее есть такой сын... Романа отпаивали валерьянкой, так он рыдал после этого, а этот материн жест — руки накрест — остался сигналом, после которого он просто не может, не в состоянии с нею спорить. Пусть другая школа! Пусть! Увидеть бы Юльку, и все будет в порядке, увидеть бы, увидеть бы...

— Я избороздил Мариуполь вдоль и поперек... Я тебя искал...

— Дурачок! Я ведь была в Мелитополе...

— Кошмар! Я убью твою соседку!

— Зою? Ой, не надо! Она и так несчастливая!

— Все равно убью за дачу ложных показаний...

— А я сбежала из Мелитополя. Скука смертная, целый день еда... Человек, оказывается, может съесть неимоверное количество. Просто так. От тоски. От безделья...

— А ты не поправилась... Худющая, как вороненок...

— Я скучала, Ромка. Ночью проснусь и думаю о тебе, думаю... Боялась, вдруг ты меня забудешь...

— Ненормальная! Никогда так не думай, никогда!

— Давай не расставаться, я и не буду думать...

— Знаешь, я ведь буду в другой школе...

Роману показалось, что Юлька умирает. Так она задохнулась и откинула назад голову.

— Юлька! — закричал он.

— Почему? — едва выдохнула Юлька.

— Там уклон, понимаешь, физико-математический уклон. Ты же знаешь, наш математик не тянет...

— Ромка! Дурачок! Это они нарочно нас разделили, нарочно... Как ты этого не понимаешь, глупый!

— Да нет! — сказал Роман.— Нет! Просто уклон.

— Просто мы с тобой...

— Но ведь тогда это глупо, ведь нас-то разделить нельзя... Сама подумай!

— Я подумала,— прошептала Юлька.— Я знаю, что делать!

-

Татьяна Николаевна все узнала постфактум. У нее состоялся прелестный разговор с Марией Алексеевной, их директором. Умная, современная женщина, исповедующая наипередовые взгляды на школьную форму (устарела!), ратующая за демократичность отношений между учителями и учениками (демократизм есть дитя интеллигентности), невозмутимая, когда речь шла о повторных браках учителей («Ради бога! Были бы вы счастливы! От счастливых в школе больше проку»), Мария Алексеевна сейчас была маленькой и потерянной в своем кресле.

— Пожалейте меня, деточка! — говорила она.— Я этого боюсь. Ничего другого не боюсь, все могу понять и простить, а от этого холодею...

— Чего вы боитесь, Мария Алексеевна?

— Любовей, милочка! Любовей! Я же не господь бог, я прекрасно понимаю, что это та сфера, в которой я бессильна. Случись у них роман — и плевать они на нас на всех хотели. Они делаются дикими, неуправляемыми, они знать ничего не хотят. Смотришь — и уже эпидемия, пандемия. Все дикие. Все неуправляемые. Возраст? Возраст. Но если есть какая-то возможность сохранять аскетизм — я за это. Любой ценой! Газеты вопят о половом воспитании, фильм «Ромео и Джульетта» на всех экранах... На мой взгляд — это кошмар. Все в свое время — когда созреют души... А души в школе еще зе-

леные... Поэтому не напирайте на меня... Пришла Лавочкина и попросила документы по этой причине. Я сказала: «Ради бога! Понимаю и разделяю...»

— Вы посмотрите на Юлю. На ней же лица нет.

— Мне жалко девочку. Искренне жалко... Ей кажется, что мир рухнул в ее сторону. Но скажите, много ли вы знаете случаев, когда эти школьные страсти вырастали во что-то путное? И вообще вырастали?

— Мария Алексеевна! А вдруг это тот редкий случай?

— Тогда им ничего не страшно... Так ведь?

— Им страшно все, что их разлучает. Мы с вами в их глазах чудовища.

— Я не видела и не вижу ничего страшного...

— Ну что ж... Одно могу сказать: кто-то из нас двоих слеп... Кто-то один зряч...

Таня шла домой пешком, через сквер. Осень была желтой, томной, кокетливой и не соответствовала состоянию Таниной души, в которой было сине, фиолетово, черно... Эти цвета как-то естественно сложились в небритое и уставшее лицо доктора Миши Славина.

— Я женюсь,— позвонил он ей недавно.— Скажи мне на это что-нибудь умное.

— Поздравляю,— ответила Таня.— Дай тебе бог...

— Бог! — закричал Миша.— Запомни! Он ничего никому не дает. Он только отбирает. Ты просто нашла гениальную фразу, чтобы убедить меня: у нас бы с тобой все равно ничего не вышло...

Она положила трубку. Телефон трезвонил, и его назойливость обещала какое-то спасение, какой-то выход. Можно было откликнуться. Можно было сказать: «Приезжай. Бога нет. Я есть... Ты есть... Мы есть...»

Таня не подняла трубку. И сейчас думала: «Надо было выйти замуж в семнадцать лет, за того мальчика, который катал меня на велосипеде. Он катал и тихонько целовал меня в затылок, думая, что я не чувствую, не замечаю. А я все знала. И мне хотелось умереть на велосипеде, такое это было счастье. А с Мишей все ушло в слова. В термины. В выяснение сути. Сути чего? Когда тебе за три-

дцать, кто тебя посадит на велосипед? Миша бы сказал: «Велосипед? Это который на двух тоненьких колесиках? Ну, знаешь, я устал, как грузчик... Мне бы умереть минут на двести... И потом, солнышко, сколько в тебе кэгэ?»

Таня думала: «Я расскажу это при случае Вере. Будто не о себе. О другой. Расскажу. Надо, чтобы подвернулся случай».

Потом Татьяна Николаевна скажет: чего я ждала? Какого случая?

☆☆☆

Юлька училась из рук вон плохо.

Только Таня завышала ей оценки, но она не реагировала на это. Ах, четыре, говорили ее глаза, четыре задаром — ну и что? Что это по сравнению с тем, что Романа нет в классе? Она привычно поворачивала голову в ту, в его сторону и всегда наталкивалась на улыбающееся, восторженное Сашкино лицо.

Никто не думал, не ожидал от Сашки такой прыти — занять парту Романа. И вообще это было открытие: Сашка влюблен? Он ведь о любви — только сквозь зубы, сплевывая, а тут занял чужое место и стоически переносит это страдальческое Юлькино отворачивание. Вот она повернулась, увидела Сашку — не Романа! — и смотрит прямо. Но как! Столько в ее глазах плескалось женского неприятия, что думалось: это в каждой женщине, независимо от возраста, сидит вечное: увидеть «уши Каренина».

Они встречались с Романом там же, у бассейна. Сейчас это было трудно, часто не совпадали уроки. Кому-то всегда приходилось ждать, они беспокоились, Юлька почему-то боялась, что Роман, торопясь, может попасть под машину: в их районе открыли новую скоростную автотрассу. Когда он задерживался, она чуть не падала в обморок, представляя, как два грузовика сталкиваются прямо на Романовом теле. И тогда она выбегала из универмага и бежала к дороге и часто попадала, невидящая, прямо ему в руки.

— ...Ты куда?

— Я испугалась...

— Чего?

— Так просто... Нет, правда, ничего! Честное слово. Куда мы пойдем?

— Куда хочешь... Я так по тебе соскучился...

— Слушай, попросись обратно в нашу школу. У меня одни пары.

— Юлька! Давай потерпим, а? Ведь маленько осталось, да? Видишь ли, математика у них на самом деле сильнее. Я просто чувствую каждый день, как умнею... Понимаешь, хорошая подготовка — это вуз верняк; значит, мы сможем сразу пожениться...

— Если тебя заберут в армию, я все равно поеду за тобой.

— Дурочка! Это нельзя... У них говорят: не положено.

— Я тайком. Рабочих рук везде не хватает.

— Это у тебя-то рабочие?..

— Ты не удивляйся, у меня как раз и рабочие. Буду что-нибудь там прясть или стричь... Я ведь не очень умная, Роман, честно... И я устала учиться... Я способна только на что-нибудь очень простое.

— Ты работать не будешь, будешь воспитывать детей!

— О! На это я согласна! У нас с тобой будет чистая-пречистая квартира, много детей и хорошая музыка...

— И еще много книг.

— Заочно я окончу что-нибудь филологическое, чтобы правильно воспитывать наших малышей...

— Зачем?

— Надо! Я буду рассказывать им не про курочку Рябу, а древние легенды, сказы, в детстве это легко усваивается.

— Когда ты это все придумала?

— Ничего я сама придумать не могу. Мамина приятельница так воспитывала своего сына.

— Ну и что?

— Не смейся, жуткий вырос подонок... Но ведь литература тут ни при чем?..

— Надо было курочку Рябу...

Готовя самые тяжкие испытания, жизнь способна предварительно парализовать волю тех, кто мог бы что-то предотвратить.

Вера уже после Мариуполя почувствовала себя хорошо и уверенно. Выбравшись за много-много лет в командировку, оторвавшись на две недели от вечно хворающего мужа, так складно и оперативно решив эту ситуацию с сыном, она вдруг ощутила себя мудрой, сильной, счастливой женщиной, которая может позволить себе ничего не бояться. Костя за две недели не умер, другую женщину не завел, Роман нормально пережил перевод в другую школу и рад ей, вернее, рад математике. Людмила Сергеевна на дороге не встречается. И ну ее, еще о ней думать! Вон как ее, Веру, Костя ждал из Мариуполя. «Я,— говорит,— на бюллетене обычно не бреюсь, а ради твоего приезда побрился». А про себя Вера отметила: и надушился. В общем, встретил ее хорошо пахнущий, любящий, соскучившийся муж. «Лю-юся! Люсенька!» — это уже вчерашний ее испуг. Это от нервов, от переутомления. Подумаешь, модные тряпки. Вера у спекулянтки купила бонлоновый костюм в две полосы — вишневую и белую. Живот подтянула — и вполне. В метро один привязался. «Вы,— говорит,— не просто прекрасная женщина, а богиня материнства».

На новую ступень самопознания поднялся в ту осень и Костя. Он вдруг осознал свои хворобы — радикулит, гипертонию, артрит и ларингит — не только как скопище неприятностей, мешающих жить и осложняющих отношения с начальством, а как некую единую Болезнь, которая требовала к себе уважения и почтения. Он даже успокоился, поняв, что Болезнь переросла его и полностью подчинила. Этим самым она сняла ранее существовавшие неловкости: две недели в месяц неработы, постоянные хождения к докторам: «Опять спазм, опять колет...» Все встало на места. Есть он. Но есть и Болезнь. И он полюбил свою Болезнь больше себя, больше Веры, больше сына... Даже Люся, удивительная, прекрасная, далекая Люся, размылась, потеряла и цвет и очертания. Была и нету. И была ли? Костя стал умиротворен, беззаботен и счастлив этим

своим новым состоянием. Правда, иногда, хоть и все реже, приходили старые друзья. Они произносили глупые, не имеющие конкретного смысла слова: «Ты мужчина», «Надо взбодриться», «В конце концов совесть у тебя есть? У тебя же нет ничего смертельного!» Костя иронически улыбался. Какая чепуха! И Болезнь вознаграждала его за стойкость очередным бюллетенем, очередной прекрасной возможностью лежать и думать. Мысли были неспешные и мудрые. Вот глупо же, глупо выстроили именно здесь скоростную дорогу. Надо было на сто метров левее. Он доставал блокнот и легко, небрежно высчитывал экономию. Очевидность найденной ошибки веселила сердце, но огорчала граждански настроенный ум. И он садился писать письмо куда надо, хоть по неправильной дороге уже давно мчались машины, выгрызались под ними переходы, дорога обрастала завтрашним задуманным пейзажем. Но Костя истово писал, а Вера всем рассказывала, что он даже на бюллетене не дает себе покоя. Такой уж он человек.

В ту осень Людмила Сергеевна бросила кормить грудью сына. И вздохнула облегченно. Приобрела по этому случаю французские одежки с ног до головы. Во всем новеньком, купленном для выхода на работу, чувствовала себя молодой и красивой, а то, что прибавилось несколько лишних килограммов, так даже пошло на пользу — ни одной морщинки, не кожа у нее, а роскошь! От Юльки между делом узнала, что Роман в их классе больше не учится. Вздернула вверх брови — почему? Юлька что-то пробормотала про математический уклон. «Слава богу»,—подумала Людмила Сергеевна. На всякий случай небрежно спросила: «Я слышала, ты с ним дружила?» Но Юлька так взбесилась и так хлопнула дверью, что Людмиле Сергеевне ничего не оставалось, как сделать вывод: что-то было, да сплыло...

Володя же вообще был не в курсе. Все свое свободное время он лежал под «Жигуленком». Мысль о презренном существовании уже приходила ему в голову. Утешало одно: захочу продать — оторвут с руками. Машины — пока еще товар не лежалый.

...Алена Старцева тоже перевелась в школу, где учился Роман. Объяснение было такое: в той школе ее пообещали оставить вожатой, если она не поступит в институт. Как это ни странно, но такой разговор с Аленой был на самом деле, вела его нынешняя вожатая, соседка Алены, которая заканчивала институт и получала уже на следующий год учительскую ставку. С Аленой они по-соседски дружили и таким образом поладили.

Алена уходила громко. Она кричала, какая там прекрасная школа, какие там чудесные ребята, она расхаживала по классу и пинала парты ногами.

— Фу! — говорила она.

— Алена, может, зря? — спросила ее Татьяна Николаевна.— Мы тебя тут все знаем. У тебя математика еле-еле, а там очень сильный педагог. А захотят они тебя взять вожатой, и отсюда возьмут. Что за проблема?

— Нет! — сказала она.

— Куда Роман, туда и Алена,— сказал кто-то из ребят.— Это ж всем понятно!

— Куда Роман, туда и Алена! — это уже громко повторила сама Алена. И щеки ее с вызовом поблескивали между двумя косицами.

— ...Знаешь хохму? В нашем классе теперь Алена! Это цирк! Ее явления на математике — это смешней, чем Луи де Фюнес...

— Она тебе совсем не нравится?

— Алена? Нравится. Как все большое. Останкинская башня. Слон. Панелевоз. МГУ.

— Ты ей нравишься...

— Знаешь, я заметил что-то такое...

— Ну что? Что?

— Она меня домой провожает...

— Ты серьезно?

— Идет рядом, как конвоир.

— И что?

— Я не умею разговаривать с неживой природой.

— Но она? Что она?

— Юлька! Я иду и думаю о тебе. Она мне не мешает...

— Ты придешь ко мне в воскресенье?

— К тебе? Домой?

— Я буду одна. Придешь?

— Конечно!

— Обязательно приходи. Алена ведь и некрасивая. Правда?

— А я не помню ее лицо...

☆☆☆

Людмила Сергеевна совершала первый после родов большой выезд в свет. Ехали на серебряную свадьбу Володиной старшей сестры, но идейным стержнем поездки было другое — показать себя, малыша и Володю вкупе, чтоб еще раз привести в некоторое потрясение родню, так до сих пор и не поверившую в возможность крепкого брака с такой-то разницей в годах. «Нате вам!» — мысленно говорила Людмила Сергеевна, купая в субботу сына.

Юлька всю ночь не спала. К утру, когда завозился в сырой рубашонке брат, вдруг так ясно и просто подумалось: говорят, это получается неожиданно, от безумия, сразу, а у меня это запланировано, как в пятилетке. На такой странной мысли она наконец заснула. А уже в десять, проводив своих, стала готовиться к приходу Романа. Выяснилось, что дел невпроворот. Никогда она не подозревала, сколько надо вытереть пыли, сколько протереть стекол. У них, конечно, всегда был порядок, но это был мамин порядок, а Юлька наводила свой. С ее точки зрения, ванна была недостаточно белой, входной половик недостаточно вытрушенный, плед на диване мятый, кастрюли в кухне стояли кое-как, а мусорное ведро было просто-напросто грязным. Юлька завертелась вихрем, за десять минут до прихода Романа она уже стояла под душем и изо всех сил терла жесткой мочалкой свой плоский, втянутый живот.

— ...А у вас модерновая хата.

— А у вас?

— А у нас по старинке. Столы, буфеты, кровати...

— Но у нас ведь тоже...

— По-твоему, это сооружение — стол?

— Тебе у нас не нравится?

— У вас здорово. Даже очень. Но простому человеку как-то не по себе...

— Идем в мою комнату.

— Юлька! А это что? Братцы мои!

— Ты не удивляйся... Это ром. В конце концов мы ведь все равно поженимся, так пусть свадьба у нас будет сегодня...

— Юлька! Родная! Ты серьезно?

— Очень. Я продумала все до мелочи. Посмотри, какая на мне рубашка. И духи французские — «Клима» называются.

Они были вместе до вечера. К Юлькиному правильно сервированному столу они не притронулись. Ели прямо из холодильника, стоя перед ним на коленях. Они пальцами доставали шпротины из банки и тут же забывали о них, прижавшись друг к другу.

Когда Роман ушел, у Юльки едва хватило сил, чтобы кое-что кое-куда спрятать. Порядок уже не имел для нее смысла. Пришла странная мысль: надо учить уроки. Как пришла — так и ушла, бледная, такая невыразительная, не побуждающая мыслить. Что такое уроки? Зачем уроки? Кому уроки?

Приехали родители. Володя трезвый — за рулем ведь. А мама веселая, с некоторой излишней лихостью. Это у нее всегда от вина.

— Все спрашивали, почему тебя нет,— пропела она.— Ты ела?

Юлька взяла брата и унесла его раздевать. Прижимая к себе голенького, подумала, что после Романа у нее на втором месте брат. А мама, оказывается, дальше? Стало жалко маму, Юлька посадила малыша в кроватку, пошла искать маму, чтоб както загладить эти несправедливые мысли. Мама и Володя целовались в коридоре. У Юльки закружилась голова, и она ушла в свою комнату. Если бы можно объяснить маме, как она понимала ее сейчас, ее безумную любовь к Володе, ее закинутые ему на плечи руки, как со страхом вдруг осознала, что мама постареет раньше и, может, будет из-за этого страдать и никакие утешения, никакие дети, наверное, не помогут ей.

Мама заглянула в комнату.

— Есть ты не ела, суп даже не разогревала, но уроки, надеюсь, сделала?

— Да,— легко соврала Юлька.

И мама ушла.

☆☆☆

— Ты пил? — закричала Вера, увидев Романа. И жадно потянула носом у сыновьего рта, и вынюхала ту крохотную рюмку рома, которую он все-таки выпил с Юлькой за свою счастливую судьбу. Вера боялась выпивки больше всего. Казалось бы, откуда быть страхам при таком трезвеннике, как Костя, а поди ж ты — страхи были.

— Где? — тормошила она Романа.— Скажи, где? Я тебя прощу, я тебя не буду ругать: только скажи, где и с кем?

Роман глупо улыбался. Ну действительно, нельзя же всерьез говорить о том, чего нет, когда есть вещи важные и на самом деле существующие? Мама просто паникерша и фантазерка. Совсем зарапортовалась, слышите? Зовет отца и просит снять ремень! На Романа напал смех. Сейчас его будут сечь! Папа возьмет свой плетеный тонкий ремешок и врежет ему между лопаток и ниже. Очень здорово! И он так захохотал, что даже стал заикаться. И тогда Вера решила, что он пьян в стельку, она схватила его за руку и поволокла в ванную, но тут Роман как раз и перестал.

— Мама, оставь! — сказал он тихо.— Я как стеклышко. Двадцать пять граммов рома и ничего больше.

— Рома? — закричала Вера.— Этой гадости? Где? Где? С кем?

— У Юльки, мама. У Юльки. Мы выпили за счастье.— И он положил руку матери на плечо, потому что ждал: сейчас она вздохнет освобожденно и скажет: «Ну, слава богу, с Юлькой! А я думала, с какими-нибудь охламонами».

— Ты у нее был? Ты с ней пил? — Мать заговорила шепотом и потащила его в кухню.— У нее был день рождения? Или что? Сколько вас было?

Роман сел на трехногую табуретку и сказал, потому что не понимал, почему нельзя этого говорить именно матери, именно Вере.

— Мама,— сказал он.— Я считаю, что смешно и глупо скрывать все от тебя. Мы с Юлей любим друг друга... Сегодня мы дали друг другу все возможные доказательства... Я, мама, пьяный не от рома, а от счастья. Зря ты меня в ванную... И про ремень зря... Я хочу, чтоб вы знали это с папой, потому что сразу после школы мы поженимся. Это твердое решение... Скорее всего, я, мама, однолюб...

Роман говорил спокойно, и чем дольше говорил, тем лучше у него было на душе, потому что была правда, ясность. И эта его душевная ясность не допускала мысли, что он может быть не понят, тем более кем — мамой. А Веру сотрясал озноб. «Все возможные доказательства» — что это? Лучше бы напился, как скотина, где угодно и с кем угодно. Чепуха это по сравнению с тем, что он, дурак, лопочет! Женитьба? Однолюб? Она ненавидела в эту минуту сына за то, что он серьезный и искренний, за все эти его идиотские моральные качества, которые заставляют его признаваться во всем. Конечно, кругом виновата эта Юлька. Просто сучка — и все! И хоть Вере сейчас на сына смотреть противно — сидит, раскачивается и порет чушь,— но спасать его надо! Спасать от этой девчонки, от этой семьи, от Людмилы Сергеевны, у которой было три мужа (в запале Вера и Костю причислила к ее мужьям), а этот ее дурачок трясет знаменем: я однолюб! Я однолюб! Ты-то, может, и однолюб, но на кого польстился! Вере стало мучительно себя жаль.

— Считай, что я ничего не слышала,— сказала она Роману.— Потому что иначе к тебе надо вызывать «скорую» и везти в Кащенко. Ты псих. «Доказательства», «женитьба», «однолюб». Весь этот бред. Таких Юль у тебя будет миллион. Понял? Ничего серьезного в семнадцать лет не бывает. И не говори,— закричала она,— мне о Ромео и Джульетте! Им не черта было делать! Не черта! А у тебя десятый класс — кстати, Ромео был грамотный или нет? — потом институт...

— Ой, мама! — застонал Роман.— Остановись! — Он встал.— Все равно я рад, что тебе сказал. Теперь все ясно.

Костя высчитал угол поворота домов по отношению к дороге и нашел, что он нерационален. Именно такой угол дает возможность создания сквозных ветров в квартале. Он писал ядовитое письмо в «Литературку», когда услышал шум. Последнее время — он заметил — Вера стала громко говорить. Он еще не делал ей замечания, но, пожалуй, пора, что это за крики, у него лопаются барабанные перепонки. Вера стремительно вошла, закрыла за собой дверь и ухнулась рядом на диван.

— Что делать? — спросила она.— Что делать? Нашего дурачка сына опутала дочь твоей бывшей возлюбленной. Он пришел от нее выпивши... И собирается жениться...

Косте показалось, что его силой вытаскивают из теплой душистой ванны, вытаскивают в холодное, сырое помещение на сквозняк, на цементный пол... Приходится ежиться, хлопать ладонями по бокам, притопывать ногами, чтобы прийти в себя, а все эти движения им забыты и доставляют неудобства.

— Какой моей возлюбленной? — спросил он слабым голосом, призывая на выручку верного своего друга — Болезнь.

Но Вера сегодня сама не своя. Она кричит даже на него, больного!

— Какой? А у тебя их сколько было? Сто? Двести? Тогда уточняю — Людмилы Сергеевны. Лю-юси! Люсеньки!

Что-то мучительно сладкое кольнуло в сердце и вызвало тахикардию. Вспомнилось, как старуха Эрна так обещала, так сулила ему счастье... «...Теперь, после этого вертопраха, она вас оценит, Костя!»

Старуха обманула. Ну и бог с ней. Как бы еще все сложилось с Люсей, она вся такая эмоциональная, экспансивная, с Верой ему покойней. Пусть она только говорит тише и не бухается на диван.

— Что делать? Я тебя спрашиваю. Что делать?

— А почему такая паника? — освободившись от тахикардии, спросил Костя.— Ну, влюбился, ну и что?

Вера второй раз за такое короткое время испытала жгучее чувство ненависти — теперь к мужу. Увиделось сразу все: и постоянное лежание, и бес-

смысленные подсчеты чьих-то просчетов, и то, что нет у нее мужчины в доме, а значит, снова, как всегда, придется все решать самой. А что решать и как решать, она не знает.

— Ну, влюбился, ну и что? — снова спросил Костя, чувствуя, как прежнее умиротворенное состояние охватывает его и уже не надо притопывать и поеживаться.

— А если они начали жить половой жизнью? — просвистела Вера.

И Костя захохотал. Ну можно ли придумать что-то более глупое? Роман — еще ребенок. Костя сам в этом отношении развился поздно. И потом... Где? Когда? Мальчик все время дома, ну вот сегодня уходил, но ведь на улице был день... Да и не такой он... Он робкий, жалостливый, а это, извините, несколько насилие... Он, Костя, сам в свое время этого боялся... Надо, чтобы нашлась опытная женщина, а так, девчонка, сверстница... Это невообразимая чушь!

— Не паникуй, Веруня! — сказал он ласково.— Ничего у него нет. Целуется где-нибудь украдкой в лифте.

— Ты что, не видишь современную молодежь? — зло спросила Вера.— Им же на все плевать. Они готовы отдаваться на глазах у всех!

— Молодежь во все времена одинакова! А первый признак старости, Веруня, брюзжание на ее счет. Рома! — закричал Костя громко.— Что ты делаешь, сынок?

— Решаю математику! — ответил Роман.

— Вот видишь! — усмехнулся Костя.

— От тебя помощи, как от козла молока,— сказала Вера.— Надо думать самой.

Она ушла в кухню и за привычной возней снова и снова вспоминала слова Романа. Что он имел в виду, говоря о доказательствах? Может, просто словесная клятва, тогда это ничего. Слов столько, что если их бояться — вообще жить не стоит. Уехать бы куда, уехать... Опять же десятый класс, куда тронешься? Надо было после девятого отправить его в Ленинград. У нее сестра учительница, она так прямо и предлагала: «Привози, сделаем Ромке медаль».

Но потом прикинули, какой от нее, от медали, нынче прок, в вузе все равно экзамены. А надо было увезти на годик. Себя тогда пожалела — как без него? Год бы прошел незаметно, да и дорога в Ленинград скорая, можно было бы на субботу и воскресенье ездить... И мама всегда бы выручила деньгами — у нее персональная пенсия остается полностью. Ленинград, Ленинград... В этом слове была надежда. Был выход.

Вот какое письмо получил Роман:

«Рома! Ты меня стал избегать. Я выхожу из класса, а тебя уже и след простыл. А может, это случайность... Но я хочу тебе сказать, что ты все это напрасно делаешь. Я стойкий человек и все вынесу. Твоя Юлечка не способна и на сотую часть того, на что способна я. Я готова для тебя на все, хоть сейчас. И я буду всю жизнь там, где ты. Я в институт поступлю в тот, где ты, хоть студенткой, хоть уборщицей. Так что можешь убегать, можешь не убегать — все равно. А Юлечку выдадут замуж за того, у кого есть машина. Я ее мамочку хорошо знаю. А твоя мама — простая труженица, как и моя. Всю жизнь вкалывает. А это тоже, Рома, важно, кто чей сын или дочь. Я не такая дура, как ты думаешь, разбираюсь в жизни. Поэтому давай договоримся ходить из школы вместе.

Алена.

Мне знакомая продавщица сказала, что над вами весь универмаг уже смеется, все вас там знают и показывают пальцами».

Письмо лежало сверху на Романовом столе, и Вера его прочла. Потом она накапала двадцать капель настойки пустырника, двадцать капель боярышника и запила всем этим таблетку седуксена. Десять минут назад Роман ушел в универмаг за молоком и кефиром. И ведь всегда в одно и то же время. Думалось, это от его четкости, организованности, а оказывается, «весь универмаг смеется». Но больше все-

го Веру возмутило это сравнение ее с парикмахершей, Алениной матерью. Знала она ее, считай, с первого класса, кто ее не знал, крикастую бабу. И что же они — ровня? Вообще-то, конечно, странные это мысли для нашего времени, когда все равны, но почему ее к одной приблизили вплотную — «простая труженица», а от другой отделили пропастью? От этой треклятой Лю-юси, Люсеньки. Но ведь если пропастью, то это хорошо! Ведь она порядочная женщина, а кто та? Вера кипела бы гневом, не выпей она столько всего, а сейчас ее поедом ела вялая, но какая-то прилипчивая обида, хотелось плакать со стоном, но плакаться было некому, и она, надев самые удобные туфли, пошла в универмаг. И нашла их сразу.

Они сидели, прижавшись лбами, на своем «берегу», а Сеня и Веня лежали зелеными носами у них на коленях.

— ...Мой отец постоянно дома, даже в хорошую погоду...

— Я думала о бабушке Эрне. Надо бы ей купить билеты в кино.

— На пять серий...

— На одну бы... Но она безумно хитрая. Сразу заподозрит.

— Ты только не страдай. Ладно? Ну, переживем мы этот год. В конце концов это-то место всегда наше.

— Я просто не понимаю, почему мы должны мучиться? Какой в этом смысл?

— Все влюбленные во все времена мучились. Такая у господа бога хорошая традиция! А традиция, Юля, это — о! Не переплыть, не перепрыгнуть!

— Ты все шутишь. Если бы я могла все время слышать твой голос, я бы все переносила иначе.

— Я наговорю тебе пластинку.

— Слушай! Наговори! Запиши все, все твои шутки, и я буду их слушать.

— Какие шутки, Юлька?

— Какие хочешь...

— Я лучше скажу, как я тебя люблю...

— Нет, это не надо. Это я знаю. Что-нибудь неважное. Просто твой голос... И он будет у меня все время звучать. Хоть таблицу умножения...

Вера ждала, когда они поднимутся. А они не вставали. И тут она почувствовала ту их отделенность от всех, о которой сами они не подозревали. Значит, это так серьезно? Она посмотрела на продавщиц игрушечного отдела. Безусловно, они их знают. Переглядываются между собой понимающе. Одна, снимая с полки плюшевого мишку, сказала другой: «Завидую». Может, совсем по другому поводу, но Вера решила: о них, о ком же еще? И тогда она растерялась: что же делать? Как было бы хорошо, если б вокруг действительно смеялись или показывали пальцами, как писала эта девочка, тогда можно было бы подойти и взять сына за руку, и вывести его из круга, в который он попал, и сказать: «Смотри, дурачок, над тобой смеются». Но подойти было нельзя. Они были вне ее досягаемости, как и вне досягаемости всех. «Надо звонить в Ленинград»,— подумала Вера и пошла назад, не оглядываясь, потому что все равно видела их перед собой, прижавшихся и отделенных. Что она скажет? Маме, сестре? В какую-то минуту она хотела повернуть назад, потому что представила всю бессмысленность разговора по телефону: «Мама, Роман влюбился».— «Ну и что?» — «Хочет жениться».— «Глупости. В десятом-то?» — «А сейчас сидит в универмаге с ней. Никого не видит. Я была от него за три метра».— «А кто она? Она кто?» — «Ах, вот это самое главное. Она дочь Костиной возлюбленной. Той самой, за которой, позови она его сейчас, и он уйдет. Даже выздоровеет, если она этого захочет».

Вот оно, самое главное. Почему это? Потому что Лю-ю-ся, Люсенька не могла полюбить Костю, а эта девчушка — ее дочь. Бедный Роман, бедный мой мальчик! Сидишь там такой прекрасный, а потом будешь прыгать ради нее через газон. И никому, слышишь, никому, кроме матери, нужен не будешь.

— Как что делать? — затараторила сестра уже на самом деле.— К нам немедленно! Не хватало нам женитьб в десятом. Все было — этого еще не было! Веруня! Не будь рохлей. Это такой возраст, это все естественно, но никому не вредило хирургическое вмешательство. Только благодарят потом. Десятый класс! Ты что, считаешь, что он там сейчас учится?

Другая школа — это полумера. Я тебе это сразу говорила. Сюда, сюда... У нас другой климат — и в прямом и в переносном смысле. Мы его остудим... Как? Минутку, минутку... Соображаю... Веруня! Это просто... Он у тебя человек долга? Да ведь? Надо его этим купить! Именно этим, слушай...

Все было представлено так.

У бабушки предынсультное состояние — покой, покой и покой. Мама не может уехать, потому что нездоров папа. Тетя работает во вторую смену, и бабушка остается одна в громадной квартире («Воды подать некому»). А дядя как на грех в командировке, будет не раньше, чем через три месяца — сам знаешь эти арктические командировки. А школа во дворе. Роман — помнишь? — учился в ней в четвертом, когда у Веры была болезнь Боткина. Прекрасная школа. Первая смена. Тетя там — авторитетнейший человек, как и вся их семья потомственных петербуржцев.

— Конечно, если надо,— растерянно сказал Роман.— Но так не хочется уходить из этой школы, здесь такой приличный математик.

— Есть вещи поважнее,— сказала мама.

— Безусловно,— ответил Роман.— Сколько это может быть — месяц, два?

— Откуда я знаю? — раздраженно ответила Вера.

А Костя молчал. Вере удалось криком пробиться сквозь Болезнь и объяснить ему, «как они сидели в универмаге» и «как на них смотрели». Она дала ему и письмо Алены. В этом письме его задела фраза о машине. Никогда у него не было этой машиномании, а у Людмилиного первого мужа, летчика, тоже, кажется, была машина. Так, может, действительно ларчик просто открывался? Удовлетворенно подумалось: так вот что вы, женщины, цените превыше интеллигентности и преданности, вот вы какая, Людмила Сергеевна. Вам нужны ко-ле-са! Пусть едет Роман, пусть! Не хватало мальчику его разочарований. Сколько лет, сколько дней и ночей думал он о ней. Даже сейчас, когда уже у сына «ситуация», он временами волнуется по-прежнему.

Форсайтизм какой-то! Но именно найденное слово приподняло бедную событиями жизнь Кости на какую-то высоту. Он казался себе средоточием непонятных чувств, пылких страстей.

Очень хорошее слово — форсайтизм.

☆☆☆

Стало уже холодно, и шли дожди, а Роман и Юлька уехали за город. Им негде было побыть одним, и они бродили в лесу.

— ...Ты что мне наговорил на пластинке?

— Как просила. Таблицу умножения.

— Ты мне будешь писать?

— Каждый день...

— Каждый день не надо... Хотя бы через один... А что, твоей бабушке совсем-совсем плохо?

— Предынсультное состояние... Это как предынфарктное.

— А что хуже?

— А я знаю? Оба лучше.

— Ромка! Давай умрем вместе.

— Согласен. Через сто лет...

— А я согласна и через пятьдесят.

— Мало, старушка, мало... У меня очень много несделанного.

— Я тебе помогу. Тем более что у меня сделано все. Я просто не знаю, что мне целыми днями теперь делать... А! Знаю! Буду слушать твою пластинку.

— Юлька! Ты все-таки потихонечку учись...

— Зачем, Рома, зачем? Я не вижу в этом никакого смысла.

— Ради меня...

— Я ради тебя живу, а ты говоришь — учись...

— Юлька!

— Рома! Не уезжай! Бабушкам все равно полагается умирать...

— Юлька!

— Ромка! Они все против нас! Все!

— Да нет же... Это стечение обстоятельств.

Алена ворвалась в класс как сумасшедшая и швырнула в Юльку портфель.

— Это от тебя его, как от чумы, выслали. Это все ты!

Юлька смотрела, как выкатываются из Алениной сумки-портфеля ручка, карандаши, банка сгущенки и батон в полиэтиленовом пакете. Потом Алена наконец увидела всех. Она оседлала первую парту и произнесла речь.

— Эта штучка,— тычок в Юлькину сторону,— не дает человеку учиться. Отсюда,— тычок в сторону класса,— его спасли. Так она и там ему не давала покоя. Это, по-твоему, любовь? — Юлька ошалело смотрела на нее.— Любовь — это когда берегут. Но с такой убережешь! — И тут Алена зарыдала просто по-бабьи...

И к ней все кинулись. А к Юльке не кинулся никто, никто не остановил ее, когда она пошла к двери.

И тогда выступил Сашка. Он говорил как убивал.

— Ты противна всем этими своими слезами. Посмотри на себя. Чего добилась? Просто она взяла и ушла. Потому что рядом с тобой ей делать нечего. Она не завопит дурным голосом тебе в ответ. Она не такая. Она из тех, кто уходит. Ты из тех, кто орет. Улавливаешь разницу?

Таня потом скажет: у меня появилась одна возможность убедиться, что в этом возрасте симпатии отдаются не самым умным и не самым сильным, а тем, кто в данный момент эмоционально убедительней. Какая-то повальная тяга к обнаженному чувству, даже если под ним спектакль, розыгрыш. Идет быстрый клев на искренность. Любую. Любого качества. Любой густоты и наполненности. Поэтому-то класс так мгновенно перекинулся на сторону Сашки.

— ...А что там было на самом деле, братцы?

— Тебе-то что? Было — не твое, не было — не твое...

— Просто любопытно, что происходит с современниками?

— Старшие бьют младших. Закон детсада.

— Все-таки? Все-таки? Все-таки?

— А я кретин. Думал, все чисто, как в операционной. Математический уклон, бабушкин инсульт. А это все туфта? Смысл?

— Нельзя любить до положенного срока!

— Они идиоты. Такие вещи надо прятать. Предков надо обманывать, заливать им сироп.

— Предки тоже пошли ушлые. Придешь домой — тебя и обнюхают и общупают.

— Так я и дам! Пусть попробуют! Я свободный человек в свободной стране.

— Вот и попробуй приведи свою подругу и оставь ночевать.

— Зачем ночевать? У нас тесно. Но если мне что надо...

— Надо уметь себя защищать. А Роман всегда был гуманистом.

— Это что — уже ругательство?

— А ты только сейчас на свет народился? Знаешь, какой есть у людей принцип: кто не кусает, тот не живет. Вот такие челюсти вставляют, чтоб кусать, на электронной технике, захват метровый, ам — и нету гуманиста.

— Вот Алена. Типичный представитель нашего времени, пришла и съела Юльку. Просто так, за здорово живешь. Вкусно, Алена?

— Бросьте,— вмешалась Татьяна Николаевна.— Наговорились! У вас не челюсти — языки на электронике, не устают.

— А что вы как педагог думаете по этому поводу?

— Я не думаю. Я не знаю. Я первый раз слышу, что Роман уехал. Откуда я могу это знать?

— Ха! А по Юльке не видно?

Сказать Тане было нечего...

Так случилось, что она знала ленинградских родственников Романа. В позапрошлом году зимой она делала туда вояж с бывшим другом Мишей Славиным. Планировалось изысканное аристократическое турне — с гостиницей, Эрмитажем, БДТ и прочая, прочая, но все мечты нокаутом победила действительность. В гостинице мест не было, а если бы и были, им бы их все равно не дали: в паспорте не было необходимых штампов. Пришлось что-то искать.

И нашли. Танин друг — раскладушку в коридоре, которую любезно выставила администраторша «Москвы». (С каким злорадством она на Таню смотрела! Просто откусила электронной челюстью кусок причитающегося лично Тане счастья и не подавилась.) А Тане тогда пришлось воспользоваться адресом, который почти силой навязала Вера: «На всякий случай!» Она была обречена на изысканный домашний сервис и бесконечные семейные разговоры. Таню убила Верина родня. Убила их всепоглощающая уверенность в правильности своей жизни и своего предназначения. То есть ни грамма сомнения ни в чем! Даже безвременные смерти и потери в их родне воспринимались как нечто исключительно закономерное. Кто умер — тому н а д о б ы л о умереть. Кто жив — тому н а д о жить. Большая квартира была олицетворением этого удручающего оптимизма. Всюду по стенам висели портреты улыбающихся, смеющихся, хохочущих людей. Портреты красиво перемежались яркими грамотами и дипломами только первых степеней. Центром семьи была бабушка, вернее, мать. Бабушка была в курсе всего, читала все газеты и откликалась на все события письмами в редакцию: «Им надо знать мнение народа».

Таня едва выжила те четыре ленинградских вечера. «Каково там сейчас Роману! — думала она.— И что, действительно предынсультное состояние? У бабушки?!»

Таня звонила в дверь Лавочкиным и уже знала — ничего не случилось. Вера пела в полный голос, и было слышно по этому голосу, что у нее хорошее настроение. Она открыла ей и замерла: то ли от удивления приходу уже б ы в ш е й учительницы сына (с чего бы это?), то ли от предчувствия, что так просто Таня не пришла бы, значит?.. Значит, что? Что все это значит? А Таня смотрела на ее прическу, на эти похожие на торт сооружения из лакированных, или, как говорят парикмахерши, «налаченных» колбасок с затвердело загнутой прядью на лбу. Тупейный Ренессанс. Символ жизненного благополучия. Апофеоз оптимизма.

— А мы с Костей в театр собираемся,— сказала Вера.

Она все-таки впустила Таню в квартиру, предварительно закрыв дверь в маленькую комнатку, где успели мелькнуть Костины голые ноги, высоко поднятые на диванные подушки.

— Я ничего не знала,— сказала Таня сразу.— Вы отправили Романа в Ленинград? У бабушки инсульт?

Какое-то секундное время Вера смотрела на Таню, будто соображая, что же ей ответить. И тут же махнула рукой.

— Да что перед вами ломать комедию,— сказала она искренне.— Мы разыграли Ромку, чтоб только увезти отсюда. Он, наш дурачок, влюбился. Другая школа не помогла, они все равно встречались. Ну вот и пришлось придумать инсульт. А мама моя стара уже, стара... Наша маленькая ложь, может, и недалека от истины. А вам спасибо, что пришли. Вы добрая, чуткая... Забеспокоились... Вас мои в Ленинграде полюбили.

Как они могли полюбить ее, Таня приблизительно представляла, а Вера накручивала, накручивала, «лачила», «лачила» действительность, откуда столько слов взяла, а потом призвала и Костю. Таню превратили в желанную гостью, усадили в кресло, что-то говорили о том, что третий билет вполне можно взять с рук, в конце концов идут не на Таганку, не в «Современник», а на старую, старую вещь «Странная миссис Сэвидж», так что вполне может получиться... Если еще прийти пораньше...

☆☆☆

— ...Эта атавистическая манера — следовать сердцу,— говаривал бывало Танин друг.— Ну скажи, к чему это приводит, кроме неприятностей? Импульсы, рефлексы, порывы... Красная цена всему — пятак. Ну, я не отрицаю, не отрицаю влечение. Например, я к тебе влекусь... Но хорош бы я был, если бы не контролировал себя логикой, здравым смыслом.

— Что бы тогда было? — спрашивала Таня.

— Мы бы строили с тобой воздушные замки вместо кооператива...

— Но кооператив мы ведь тоже не строим.

— Потому что я не Чехов. И во мне не все прекрасно. Так ведь?

Это было не так, но Таня молчала. И сейчас все было не так у Лавочкиных, не так, как надо, по ее разумению. Ей нечего было выяснять, нечему было помогать, она все знала, ей все доверили, и она могла пойти с ними на «Странную миссис». Странная была ситуация, до конца открытая и до конца спрятанная.

— А если все-таки Роман узнает? — спросила Таня.

— Да что вы! — засмеялась Вера.— Когда узнает — скажет спасибо. Для него же? Для него! Кабы это кому-то из нас было выгодно, а так ведь только ему. Разные Юли у него еще будут. И, даст бог, получше. А то если эта в маму, так пусть вам Костя скажет, что это значит...

Костя заерзал. А Вера засмеялась молодо, радостно и, взяв его по-матерински за ухо, передразнила:

— «Лю-юся! Люсенька!» Это он как-то так кричал,— пояснила она Тане.— И через газон прыгал.

— Ну-ну,— пробурчал Костя.— Уж и прыгал.

А Вера держала его за ухо и, наклонив голову-торт, подмигивала Тане заговорщицки.

— Ромасика от этой семьи спасать надо было,— сказала она убежденно.— Там у мамы муж не первый и, наверное, не последний.

Таня отказалась от театра. Вера закрыла за нею дверь и тут же запела. Кажется, в ней начинал взыгрывать и давать плоды наследственный оптимизм.

«Юлька! Слушай мою таблицу умножения. Дважды два будет четыре, а трижды три — девять... А я тебя люблю. Пятью пять, похоже,— двадцать пять, и все равно я тебя люблю. Трижды шесть — восемнадцать, и это потрясающе, потому что в восемнадцать мы с тобой поженимся. Ты, Юлька, известная всем Монголка, но это ничего — пятью девять! Я тебя люблю и за это. Между прочим, девятью девять — восемьдесят один. Что в перевернутом виде

опять обозначает восемнадцать. Как насчет венчального наряда? Я предлагаю серенькие шорты, маечку-безрукавочку, красненькую, и босоножки рваненькие, откуда так соблазнительно торчат твои пальцы и пятки. Насчет венчального наряда это мое последнее слово — четырежды четыре я повторять не буду. В следующей строке... Учись хорошо — на четырежды пять! Не вздумай остаться на второй год, а то придется брать тебя замуж без среднего образования, а мне, академику — семью восемь,— это не престижно, как любит говорить моя бабушка. А она в этом разбирается. Так вот — на чем мы остановились? Академик тебя крепко любит. Это так же точно, как шестью шесть — тридцать шесть. Ура! Оказывается, это дважды по восемнадцать! Скоро, очень скоро ты станешь госпожой Лавочкиной. Это прекрасно, Монголка! В нашем с тобой доме фирменным напитком будет ром. Открытие! Я ведь тоже — Ром! Юлька! У нас все складывается гениально, несмотря на Ленинград. У нас все к счастью, глупенькая моя,— семью семь! Я люблю тебя — десятью десять! Я тебя целую всю, всю — от начала и до конца. Как хорошо, что ты маленькая, как жаль, что ты маленькая. Я тебя люблю... Я тебя люблю...

Твой Ромка».

Людмила Сергеевна плакала, слушая пластинку. Она даже не подозревала, что в ней скрыто столько слез, что они способны литься и литься. Бесконечно, потоком... Никогда она не любила Юльку, как сейчас. И от этого неожиданно заново вспыхнувшего чувства все остальное казалось малосущественным. И какая-то животная привязанность к сыну, и такая же слепая любовь к Володе, и вся ее подчиненная одному богу — молодости! — жизнь. Юлька выросла, и ее любят. И Людмила Сергеевна вдруг поняла— любовь ее дочери сейчас, сегодня важней, чем ее собственная. Потому что у нее, слава богу, все в порядке. Она сильная баба, во всем сильная: в любви, в деле, в материнстве, а у дочери — господи ты боже мой! Все так тоненько, хрупко, там все убить можно не прикосновением — взглядом, дыханием.

Эта маленькая дурочка слушает свою пластинку под одеялом. А через тоненькую современную стенку лежит и мается без сна непутевая их соседка Зоя. Напьется на ночь ведром кофе и слушает, слушает чужую сладкую любовь.

— Слушайте, соседка!— сказала она вчера.— Вы в курсе или нет?

— Чего? — спросила Людмила Сергеевна, как всегда, шокированная Зоиной фамильярностью.

— Ну, насчет пятью пять — Юля замуж хочет?

— Вы что?

— Как вам будет угодно! Но ночами я не сплю: слушаю, как ваша дочь по сорок раз ставит одно знаменитое звуковое письмо. Стучала ей в стенку — не слышит! Теперь даже привыкла, греюсь у чужого костра. Только не говорите, что я вам натрепалась. Просто вы ходите в неведении, и вас же потом — бух по голове новостью. Послушайте, а потом скажете свое впечатление.

Пластинка лежала под матрасом. Трижды обернутая мохеровым шарфом.

Людмила Сергеевна с интересом поставила: что там еще за новости? А теперь вот поняла, что никогда так не любила Юльку, как сейчас. Девочка ты моя, девочка! Несчастная ты моя, счастливая! Чем же тебе помочь, как?

Вечером она уже знала все. Про инсультную бабушку, про то, что Юлька во все это не верит, никакой бабушки нет, никакого инсульта тоже. Узнала Людмила Сергеевна, что письма от Романа приходят странные, будто Юлька ему не пишет. А она пишет, пишет, каждый день пишет. Но он, Ромка, глупый, он людям верит. Зачем он дал свой домашний адрес? Вот она, Юлька («Мам, ты только не сердись!»), сразу решила, что надо писать «до востребования». А он, наоборот, что так будет быстрее: «Я проснусь, а в ящике твое письмо!» Юлька сказала: «Ромка, перехватят!» — «Дурочка! Кому могут быть интересны мои письма, кроме меня?» Он такой. Он идеалист. Он думает, что у него мать хорошая, а Юлька ее ненавидит, потому что знает: Юльку тоже ненавидят. «Ты, мама, извини, но я и о тебе так думала. Я помню, ты к Роману ведь не очень...

Губы вот так делала...» И Юлька «сделала губы», какие будто бы делала Людмила Сергеевна, когда говорила о Романе. Что было — то было. Но это когда! Что она тогда знала? Роман — сын Кости. Боже, какая чепуха! Вообще все те, ранешние, мысли потеряли очертания, расплылись. Все эти страхи, что Роман будет такой, как Костя или его мать, эта шестипудовая клуша. Какое это имеет значение, если Юлька любит именно этого мальчика? Разлюбит Костиного сына обязательно? Но ведь тогда будет совсем другая история, другой разговор. И вообще, при чем тут они все со своей уже прожитой жизнью, если пришли другие? Она, Людмила Сергеевна, готова по-новому, по-родственному полюбить и Костю и Веру. Потому что родилось что-то совсем новое и к тому, что было у нее, это уже не имеет никакого отношения. Надо узнать, что там с инсультной бабушкой и куда деваются письма, если девочка их шлет каждый день. Людмила Сергеевна держала Юльку на коленях и баюкала ее, и гладила. Володя вошел, посмотрел, ничего не сказал и унес сына погулять.

— Я накопила деньги,— тихо выдохнула Юлька.— На Ленинград...

Расслабились руки у Людмилы Сергеевны, хотелось ей застонать, заплакать, и Юлька это сразу почувствовала.

— Вот видишь,— сказала она.— И ты...

— Давай немножко подождем,— прошептала Людмила Сергеевна.— Ты девушка... Ты должна быть гордой...

Юлька засмеялась.

Алена вернулась в старую школу. Снова все подивились этому нелогичному характеру. После всего, что было, после пламенной Сашкиной речи, казалось — беги этой школы, носа не кажи. Но она пришла и поставила свой портфель-сумку на Юлькину парту.

— Я с тобой сяду,— сказала она.

И Юлька ничего, дернула плечами, как согласилась.

Таня попросила Юльку проводить ее домой, вручив ей пару стопок сочинений.

— Юля,— сказала она.— Все скверно. Я понимаю. Но школу-то кончать надо.

— Я кончу,— ответила Юлька.

— Не очень это видно. У тебя почти по всем предметам между двойкой и тройкой.

— Ближе к тройке,— равнодушно сказала она.— А мне больше и не надо.

— Юля,— робко начала Таня.— Тебе это трудно сейчас представить, но ведь жизнь складывается не только из любви. Только любовь — это, если хочешь, даже бедность. Во всяком случае, потом обязательно поймешь, что бедность.

— «Жизнь — ведь это труд и труд, труд и там, и здесь, и тут...» — В глазах Юльки мелькнула насмешка.— Это вы хотите сказать?

— А что? — ответила Таня.— Смешно, но правда.

— Я тоже буду работать. Куда я денусь? Буду делать что-нибудь доступное моему уму...

— Опять впадение в бедность? А вдруг есть что-нибудь не просто доступное — интересное твоему уму?

— Возможно,— ответила Юлька.— Кто что знает?

— Так ведь об этом надо посображать заранее.

— Я соображу потом.

— Когда вернется Роман?

— Я не знаю, когда он вернется! — закричала Юлька.— Сегодня у бабушки инсульт, завтра она умрет, потом надо будет ходить на дорогую могилу, потом утешать тетю, потом еще что-нибудь... Ромка — дурак. Он отрастил себе такое чувство долга, что его уже носить трудно. Я пишу ему об этом в каждом письме. Я говорю: пошли ты свою бабушку к чертовой матери, но он не получает моих писем! Почему? Куда они деваются?

— Ну, зачем же ты так! — Таня даже испугалась.

Она представила, как перехватывают Юлькины письма, какому глубокому, разностороннему анализу подвергаются Юлькины отчаянные вскрики, и испугалась за нее.

— Юлька,— сказала она,— не пиши глупостей больше. А чувство долга — это прекрасно. Когда вы поженитесь, ты поймешь, как это надежно, как спокойно иметь мужем человека с чувством долга. Для мужчины это первейшая доблесть.

— Чепуха,— резко сказала Юлька.— Я думала над этим. Долгом человека вяжут.

— Глупости,— сказала Таня.— Но даже если принять твои слова за истину, так, наверное, хорошо, что есть нечто, побуждающее человека ухаживать за больным, кормить стариков, беречь детей.

— Только любовь вправе побуждать,— ответила Юлька и так взмахнула стопкой, что тетради разлетелись во все стороны.

Они отлавливали их вместе. Юлька ползала на коленках по тротуару и подавала их Тане пыльными, не отряхивая, с каким-то пренебрежением.

— Ну за что ты их так? — спросила Таня.

— Полное собрание сочинений лжи! — сказала Юлька презрительно.

— Как же тебе не стыдно! — возмутилась Таня.— Я когда-нибудь от тебя требовала лжи?

— Правды тоже не требовали. А напиши я вам, что не люблю школьную литературу, что бы вы мне поставили?

— Я бы сказала, что ты кривляешься!

— Конечно, кривляюсь,— вдруг сразу согласилась Юлька.— Я «Хождение по мукам» люблю и пьесы Горького... И Маяковского тоже.

— Слава богу! — сказала Таня.

— И все равно это собрание сочинений лжи,— ткнула Юлька пальцем в стопку.— Ваш долг — вдалбливать нам прописные истины, наш долг — повторять их не думая.

— Думая! — закричала Таня.

— Я-то думаю... Только ни до чего хорошего додуматься не могу.

— И это когда ты любишь! И тебя любят!.. Юлька, а ты представь, что у тебя несчастливая любовь! Каким же тебе тогда показался бы мир?

— Я бы просто не жила,— прошептала Юлька.

— А я живу,— сказала Таня.— Временами мне ужасно плохо, но не жить... Это мне не приходило в голову.

Юлька молчала.

— А ты представь: ничего у меня в жизни нет, кроме несчастливой любви. Ни мамы, ни школы, ни вас, ни долга... Но я, Юлька, всем этим повязана, и это меня держит. Кстати, очень надежно, девочка.

Юлька мотала головой.

— Это же не может быть у всех одинаково,— говорила она.

— Не может,— ответила Таня.— Конечно, не может. Но если ты будешь помнить, что, кроме Романа, есть на свете мама, брат, люди, книжки, кино, то, честное слово, и Роману и тебе будет от этого лучше. И учиться надо, чтоб, во-первых, не быть дурой, а во-вторых, чтоб не витийствовать там, где истина — назовем ее прописная — найдена до тебя.

— И все-таки как вы живете без любви? — спросила она Таню, и в глазах ее стояли недоумение и сострадание.

А что было в глазах Миши, когда они столкнулись недавно в больнице? Таня ходила проведывать учительницу младших классов, у которой приступ аппендицита случился прямо на уроке. Миша появился перед ней неожиданно, и она ему сказала:

— Ты как черт из табакерки...

Миша захохотал:

— Узнаю тебя, родная, по литературно-историческим сравнениям... Ты прелесть. Где ты видела табакерку с чертом? — И завертелся.— Ну, как жизнь? Не вышла замуж? Впрочем, я знаю: не вышла. И знаешь — радуюсь. Каков я гусь? Это оставляет мне надежду. Хотя я не жалуюсь. Моя молодая супруга милая, простая, без кандибоберов. Чехова она знает только благодаря телевизионной пропаганде. Считает его нудным. Я с ней горячо соглашаюсь. Но если бы ты, Таня, посмотрела на меня не с таким превосходством...

Она пошла от него. Ее спина была тверда и не показывала, что Таня плачет. Плачет оттого, что уходит молодость, что человек, которого она любит,

копейки не стоит — и она знает это, а ничего не может с собой поделать.

Таня выходила из больницы плача, и вслед ей говорили: «Вот еще кто-то умер... Год беспокойного солнца, мрут как мухи...»

В больнице удобно плакать над самим собой. В больнице слезы выглядят естественно...

«...И тебе нечего было сказать! — воскликнула вечером Танина мама. Давно ее не было, а тут пришла.— Ни девочке, ни ему... Нечего! Нечего! Нечего!» Таня громко, на всю мощь включила приемник. Хватит с нее этих мистических экзекуций. Не хочет она вести этот бесконечный разговор-спор с мамой, которой нет. Не хочет! Надо было разговаривать раньше... Тогда, тогда... В е е десятом классе.

— Ты помнишь мальчика, который в десятом классе возил меня на велосипеде?

«Коля Рыженький? Ты всем повторяла: «Рыженький — это фамилия, Рыженький — это фамилия...»

— А помнишь, как ты злилась? У человека должна быть высокая цель. Крутить целый день педали безнравственно... А мы были влюблены... И единственное наше пристанище было — велосипед... Какое это было счастье — ехать с ним на велосипеде... Он целовал меня в затылок... Ты знаешь... Лучше этого ничего не было в жизни...

«Ну и выходила бы за него замуж».

— А ты кричала... Что это за фамилия — Рыженький? Неужели можно стать Рыженькой?

Людмила Сергеевна решила сходить к Вере на работу. Она не хотела идти к ним домой из-за Кости. Она не была уверена, что встреча с ним не испортит задуманный разговор. Каким-то десятым чувством она понимала: Костя будет смотреть по-собачьи, будет по-джентльменски подсовывать ей подушки под локоть, будет смотреть умиленными глазами и восстановит против нее Веру. Тогда ничего из разговора не получится. И она пошла к Вере на работу.

У института, где работала Вера, стояла «Скорая»... Не пройдешь квартала — обязательно «Ско-

рую» встретишь. Это она тоже скажет Вере. Их, детей, надо беречь. Беречь им нервы. Пусть они любят, пусть... «Скажите, Вера, голубушка, кому от их любви плохо? Кому она помешала?» Людмила Сергеевна нашла Верин отдел и открыла дверь.

— Она в министерстве,— сказали ей.— Сегодня не будет. Что-нибудь передать?

«Ну, вот и все,— подумала Людмила Сергеевна.— Второй раз мне уже не решиться».

Невысказанное Вере (а какое хорошее!) по какимто причудливым законам начало в ней видоизменяться. Подумала: вот приедет ее дурочка в Ленинград. Что о них подумают? А скажут? Да все, что угодно, может быть. И оскорбления и насмешка. А Юлька растеряется, и как поведет себя мальчик — неизвестно, мало ли на что они могут толкнуть детей? Не поедет Юлька. Не поедет! Не пустит она ее!

С этой твердой мыслью вернулась домой Людмила Сергеевна, а Юлька сидела в кухне в обнимку с синей аэрофлотской сумкой.

— Ма! — крикнула она.—Хватит быть гордой. У меня через два часа самолет.

А в Ленинграде все было так. Юлькины письма, прочитанные и связанные тесьмой, лежали у тетки Романа в столе. Их добросовестно копили. Еще до того, как пришло самое первое, бабушка пригласила в дом почтальоншу Лену для конфиденциальной беседы.

— Лена,— сказала бабушка.— Ты знаешь нашу семью.

Лена знала. Перед большими праздниками она помогала им с уборкой, сейчас в прихожей висело ее пальто, которое два года тому назад отдала Лене бабушка. Хорошее драповое пальто с цигейковым воротником. Никаких денег с Лены, конечно, не взяли, хотя пальто было совсем не выношено. А за уборку платили всегда щедро. Все считали — и мытье окон с карниза, и чистку кафеля вонючим де-иксом, и промывание батарей от пыли. Тетка и бабушка тоже не сидели в такие дни, а трудились бок о бок с

Леной. После всего вместе пили чай с пирожными и вели интересные разговоры о демократизме, который основа основ и который Лена вот сейчас особенно должна чувствовать. «Лена, берите пирожное, не стесняйтесь». Но, наверное, Лена была холопской натурой, потому что, несмотря на все это, она знала свое место — место приходящей домработницы и человека, стоящего в жизни по эту сторону экрана. Бабушку Романа показывали по телевизору, а Лена смотрела. Наоборот не было. Поэтому предложение приносить письма, адресованные Роману (если таковые будут!), лично бабушке, а ни в коем случае не в ящик смутило Лену только на секунду («Нарушение же!»). И если б это сказал кто другой, Лена могла бы такое ляпнуть и так послать, что не опомнился бы, но тут... Лена подавила в себе на секунду вспыхнувший протест. Всего один раз Роман сумел ее перехватить прямо выходящей из почтового отделения, когда она еще не успела переложить письмо от Юльки в драповый карман. Всего один раз. Потому что после этого случая бабушка ее строго отчитала («Вы, Лена, не помните добра»), и теперь она прятала Юлькины письма уже на сортировке, благо буквастые конверты просто выпирали из кучи, будто просились Лене в руки.

Иногда особенно слякотная погода вызывала в Лене раздумья о превратностях жизни. Вот, мол, пишет девочка и думает, что кто-то там получает. Глупая молодежь, не научилась еще хитрить. Со временем, конечно, научится. Небольшая та наука. Роман — мальчик хороший. Его обвести вокруг пальца — пара пустяков. Хоть девицам, хоть бабушкам. Он всем верит. Конечно, его жалко: как он кидается ей, Лене, навстречу, и в пачке роется сам, Лена ему дает, потому что письмо-то в кармане. Жалко... Но, значит, надо ему пострадать, раз так считает бабушка. Очень умная у них семья, зря они ничего не делали бы. Предусмотрительные. Вот и сейчас: уложили бабушку в постель заранее, до инсульта. Лежит в белой постели, в шелковой рубашечке, телефон рядом, яблоки, конфеты, журналов до потолка. А внучек вокруг нее — то сок подает, то лимонадик, то кефир обезжиренный. Да в таких услови-

ях до ста лет можно жить. До ста пятидесяти. Такая больная жизнь лучше любого здоровья. Она бы, Лена, лично поменялась бы. Вас бы, бабушка, на слякоть с сумкой и нормальным давлением, а меня на ваше место, ближе к яблочкам, и чтоб пенсию домой приносили. «Лена, я вас прошу, мне, пожалуйста, только десятками. Я эту купюру больше всего люблю... Она удобна». Лена брала бы пенсию любыми «ку-пю-рами», и рублями, даже металлическими, и пятерками, и полсотню взяла бы, если б давали.

— Лена! Нет мне письма? — Это Роман вынырнул из подворотни, мокрый весь, несчастный, потянулась у Лены рука к карману («Вот начну отдавать, и что? и что?»), но как потянулась, так и опустилась.

— Смотри,— сказала и протянула Роману пачку без Юлькиного письма.

— Ничего не понимаю,— сказал Роман,— ничего!

Роман же в тот день возвращался не вовремя. Он расчихался на первом уроке, и его отправили домой, потому что на Ленинград шла эпидемия самого последнего наимоднейшего гриппа. И в центральном гастрономе уже торговали в повязках.

В школе Роман сказал: «Может статься, я в понедельник опоздаю. Я в Москву на воскресенье поеду». Молоденькая учительница-первогодка, которая знала всю предшествующую историю со слов тетки («Понимаете, надо было спасать. Ах, эти любови... один смех... И девочка, скажу вам честно, не та... Не той семьи...»), всполошилась. А когда Роман зачихал на первом уроке, обрадовалась. Грипп! Кто же его, сопливого, выпустит из дома? Уложат как миленького с медом и градусником, и никакой Москвы. Будучи совсем молодой и тоже влюбленной в слушателя военно-медицинской академии, учительница по-человечески, по-женски Романа понимала и была убеждена, что «если это любовь», то все равно ничего не поможет, никакие уловки. И по молодости даже желала победы любви. Но, став учительницей, она посчитала правильным отделить свои человеческие чувства (трепетные, сочувствующие и нелогичные) от тех, которые были необходимыми в работе (твердые, принципиальные, последователь-

ные). Поэтому сочувствие сочувствием, а правильнее мальчика уложить. И, отправив Романа домой, она стала звонить бабушке, чтоб рассказать о возникшем у него желании ехать в Москву и о выходе из положения, которое подсказывал грипп. От повышенной мозговой деятельности у молодой учительницы разгорелись щеки, и она все никак не могла правильно набрать номер телефона. Все время попадала почему-то в кулинарию. А потом все было занято, занято. Когда Роман поднимался по лестнице, он уже знал: у него температура. И знал, когда это началось. Не в классе. А вот только что, когда он понял, что письма от Юльки и сегодня нет. Тогда-то он и почувствовал озноб... «Надо, чтобы бабушка этого не увидела»,— решил он. Теперь, когда он твердо знал, что поедет, он даже перестал волноваться. Он поедет в Москву и пойдет к Юльке прямо с поезда, пусть это будет очень рано, пусть... Главное — сразу ее увидеть. Увидеть и убедиться, что она жива. Вчера он как последний идиот думал, что она умерла. Попала под машину. Наступила на оголенный провод, провалилась в открытый люк. А милые родные решили не сообщать ему это, чтоб уберечь, не волновать. А могла Юлька лежать и в больнице, с тем же самым гриппом. Теперь, говорят, всех кладут. Могло быть и самое простое — перелом правой руки. Юлька всегда так неловко спрыгивает с брусьев и падает прямо на правую руку. И сейчас, поднимаясь домой, он думал об одном: надо скрыть, что у него температура. Бабушке надо заморочить голову, почему он пришел раньше. Сказать, что заболел физик. Роман открыл дверь своим ключом и прислушался. Бабушка болтала по телефону. Голос у нее был бодрый — слава богу,— только была в нем какая-то удивившая его странность. Роман заглянул в спальню — она была пуста. Бабушка на ногах? Но ведь ей не велено вставать. Вон из-под свисающей простыни торчит ручка горшка. «Увы! Иначе нельзя»,— сказала ему тетя. Роман пошел на голос бабушки и тут же ее увидел. Она сидела в кухне, задрав ноги в пушистых тапочках на батарею. На подоконнике стояла бутылка чешского пива, которое бабушка сладострастно потягивала, одновременно раз-

говаривая. Вот почему голос показался необычным. Курлыкающим. И сигарета на блюдечке лежала закуренная, и кусок холодной говядины был откушен, а на соленом огурце прилипла елочка укропа. Весь этот натюрморт с бабушкой был так солнечно ярок, что естественная в подобной ситуации мысль — бабушка бессовестно нарушает больничный режим — просто не могла прийти в голову. Она исключалась главным — пышущим здоровьем. А бабушка курлыкала:

— Дуся! Во мне погибла великая актриса. Уверяю тебя. Я полдня в одном образе, полдня в другом.

— Бабушка,— сказал Роман,— ты не актриса, ты Васисуалий Лоханкин.

Он видел, как брякнулась на рычаг трубка, как стремительно взлетели с батареи опушенные кроликом тапки, как пошла на него бабушка со стаканом пива, а на стакане улыбалась лошадиная морда.

Роман вдруг испугался. Испугался слов, которые она сейчас скажет, дожевав кусок говядины. Он побежал в комнату тетки, самую дальнюю, имеющую задвижку, а бабушка побежала за ним. Тут-то и зазвонил телефон. Роман не знал, что это наконец прорвалась через все «кулинарии» и «занято» его молоденькая учительница. Что в эту секунду она, пылая вдохновением, ведает бабушке о его желании поехать в Москву, а также и о том, что его надо уложить, уложить, уложить. Роман не слышал, как бабушка отчитывает ее, что она не могла позвонить раньше, обвиняет ее в нерасторопности.

Роман бегал по теткиной комнате. Все еще виделся этот натюрморт с бабушкой. Огурец вырос до размеров большого кабачка и все тыкал, тыкал в него укропом. От розовой сердцевины у говядины рябило в глазах. Значит, она не розовая — разноцветная? А тут еще пена от пива, густая, шипящая и горячая, как из бани,— почему? Бабушка — Васисуалий Лоханкин? «Я к вам пришел навеки поселиться...» Кто пришел поселиться? Куда пришел? И почему навеки?

А бабушка уже властно стучала в дверь, и голос ее был уже без пива и мяса.

— Открой и поговорим,— ласково журчала она.— Ты поймешь, что мы были правы. Есть ситуации, когда помогает только скальпель... Это говорил кто-то из великих... Ты меня слышишь? Открой, я тебе объясню популярно, на пальцах.

Роман ухватился за край стола. Голос бабушки доставлял ему физическую муку. Так не бывает, думалось, не бывает. Не бывает. Не бывает, чтобы голос дырявил.

— Ты должен и будешь знать правду,— уже кричала бабушка.

«Она заговаривается,— думал Роман,— она хочет сказать — ложь? Потому что какая же правда, если ложь?..» Очень кружилась голова, и он ухватился за стол. «А! — подумалось.— У меня, кажется, поднимается температура».

— Порочная семья и порочная девка! — кричала бабушка.— И мы всем миром не допустим.

«Миром — это крепко сказано,— горько засмеялся Роман.— Вязать меня, вязать...»

Бабушка гениально приняла телепатему.

— Мы тебя повяжем! — трубила она.— Веревками, цепями... Но мы спасем тебя, дурака, от этой девки!

И тут только, произнесенное дважды, слово обрело смысл и плоть. Девка — это Юлька. Его малышка, его Монголка, его воробей — девка?!

— Да, да! — телепатировала бабушка.— Именно она. Ты думаешь, она тебя ждет? Миль пардон, дорогой внук! Может, она пишет тебе письма?

Роман вдруг остро ощутил· это конец.

Дальше ничего не может быть, потому что писем не было на самом деле. Что значила вся бабушкина ложь по сравнению с этой правдой? И тогда он открыл ящик стола. Там издавна лежал дядькин пистолет, именной, дареный — «реликтовый», называл его дядька. И Роман всегда смущался, потому что дядька путал слова — «реликтовый» и «реликвия». Роман дернул ящик. Вот он — холодный и блестящий. А бабушка выламывала дверь. Она кидалась на нее с такой силой, что со стены свалилась какая-то грамота, свалилась и жалобно мяукнула. Роман вынул пистолет. Примерил к ладони — как раз!

«Какой глупый выход»,— сказал он сам себе. И то, что он сознавал глупость,— удивило. «Скажут — состояние аффекта,— продолжал он этот противоестественный анализ,— а у меня все в порядке. Просто я не могу больше жить. Я не знаю, как это делают...» «Ах, какой великолепный дурак!» — сказало в нем что-то... «Тем более,— парировал Роман.— Дураков надо убивать... Она не виновата, что не пишет. Человек не может быть виноватым, если разлюбил...» Он тоже не виноват, что никогда, никогда, никогда не сможет жить без нее. Как все просто! И ему захотелось плакать оттого, что у его задачи одно-единственное решение.

А дальше было вот что. То ли Роман качнулся, то ли уж очень старым был стол, то ли пришли на помощь силы, не доказанные наукой, но случилось то, что случилось.

Скрипнул освобожденный от привычного груза пистолета ящик и просто-напросто выехал из стола. И будто наперегонки двинулись из его глубины буквастые, надорванные Юлькины конверты. Так смешно и густо они посыпались.

— Юлька! — прошептал Роман.

Он читал их прямо с пистолетом в руке, все, залпом. Он засмеялся, когда она передала ему привет от Сени и Вени. Он испугался, что «ей все, все равно, раз он не пишет». Он обрадовался, что дождь висит над городом, а значит, она не осуществит свою идею — прилететь самолетом. Он сам, сам приедет к ней. Завтра.

Он был счастлив, потому что все обрело смысл, раз были, были письма и были они прекрасны. Вот тогда он испугался того, что мог сделать.

И почувствовал головокружение, представив это. Он начал заталкивать письма в куртку и не мог понять, почему ему неудобно это делать. Потом сообразил — это пистолет, который он продолжает держать. Снова подумал: какой я идиот, если бы это сделал! И он положил его обратно, осторожно положил, как бомбу.

Теперь осталось уйти. И тогда он осознал, что ему не пройти мимо старухи (он так и подумал: ста-

руха), не вынести ее вида, ее голоса, ее запаха. Значит, ее надо обмануть. Он знал, как...

Он только не знал, что бабушка звонит в школу, зовет на помощь учителей, что там уже всполошились, что молоденькая классная руководительница второпях сломала «молнию» на сапоге и бежит к нему в высоких лодочках, бежит по холодным лужам с одним-единственным желанием помочь ему — вплоть до денег на билет в Москву. «Нельзя иметь принципы для себя и для других»,— сформулировала учительница тезис и припустилась бежать быстрее, потому что ей было стыдно, стыдно, стыдно...

А Роман рванул уже заклеенное на зиму окно и посмотрел вниз. Даже присвистнул от удовольствия, что уйдет так, минуя дверь и голос. Раз — и прямо на свободу. Он встал на подоконник и спружинил колени. Третий этаж — такой пустяк. Он, как крылья, расставил руки, а сумку перекинул на спину. Третий этаж — ерунда. А газон, который он себе наметил, все равно осенний — грязный и мокрый. Не страшно истоптать снова. И он присвистнул, прыгая, потому что был уверен. Третий этаж — пустяк.

Он ударился грудью о водопроводную трубу, которая проходила по газону. Из окна ее видно не было. Но, ударившись, он встал, потому что увидел, как по двору идет Юлька.

— Юль! — крикнул он и почувствовал кровь во рту. И закрыл рот ладонью, чтобы она не увидела и не испугалась.

Она подбежала, смеясь:

— Что ты делаешь на газоне?

— Стою,— сказал он и упал ей на руки.

А со всех сторон к ним бежали люди... Как близко они, оказывается, были...

ЮРИЙ НАГИБИН

«ВАСЯ, ЧУЕШЬ?..»

«Вася, чуешь?..» — звучит ее голос в больших, чуть оттопыренных Васиных ушах, словно она рядом и только сейчас произнесла эти простые, а не понять что означающие, волнующие и, как солдатская клятва, твердо отдающиеся в его сердце слова, которые она часто бросает ему на прощание.

Ах, как он чует, как сильно, остро, мучительно, тревожно и нежно чует Вася, но что? — этому нет названия. А прекрасный ломкий голос звучит в его ушах, хоть он успел проложить между собой и ею километров сто дороги. Если приличествует благородное слово «дорога» тому глинистому, зыбкому, топкому, гнусному месиву, кое-как скрепленному где щебнем, где бревнами, где песком и гравием, что натужно засасывается под колеса его «газика»-вездехода. Да и какие дороги по вечной мерзлоте? Была одна-единственная на Якутск, да строители быстро разбили ее самосвалами и тягачами. Тайга стоит тут на болотах — хлипкие, тонкоствольные ели, лиственницы, сосенки чахнут в ржавой мокряди, которую не выпарить и самому жаркому солнцу. Здесь всегда мокро и сыро, лишь в трескучие морозы затягиваются вечно источающие влагу поры земли, подсушивается воздух, и прекрасные дороги-зимники стягивают расползшиеся по громадному пространству человечьи становища. Но до морозов дожить надо, сейчас конец августа, и, хотя на рани все круто присолено утренником, днем можно без рубашки ходить, и дороги киснут, растекаются:

— Чую! — тихонько сказал Вася и опасливо покосился на сидящего сзади киномеханика.

Тот крепко спал, задавленный обрушившимися на него круглыми металлическими коробками с фильмом. У этого парня была замечательная способность мгновенно засыпать в машине на самых скверных дорогах, в самых неудобных позах, в тесноте и обиде и не просыпаться до прибытия на место. Ухабы, ямы, провалившиеся мосты, лужи под стать озерам, быстрые, бурливые, неглубокие реки, заливавшие не только мотор, но и нутро машины, не могли заставить его открыть глаза. Казалось, он и явился в этот мир лишь ради того, чтобы отоспаться. Видимо, еще в предбытии душа его успела так устать, что сейчас жаждала одного — покоя. Он спал и во время демонстрации фильма, просыпаясь только для смены роликов.

Вася все это знал, но знал также, что жизнь любит подшутить над людьми и вечно спящий киномеханик проснется как раз в то самое мгновение, когда ему, Васе, вздумается заговорить вслух. А ответить необходимо, иначе в ушах будет неотвязно звучать: «Вася, чуешь?..» С некоторых пор видения нередко смущали уравновешенный Васин ум, а для водителя нет ничего хуже, особенно на здешних распроклятых дорогах.

У Васи не было ни одного прокола в правах, но за последний месяц только мощные, отлично отрегулированные тормоза дважды спасали его от верного наезда. На волосок от аварии вцеплялись колеса в землю, и Вася делал вид перед самим собой и перед пассажирами, что все в порядке, таков, мол, его лихой шоферский почерк. Но Вася вовсе не был лихачом даже поначалу, когда ощущение гладкой баранки под ладонями туманит голову и просто нельзя ездить тихо. Нет, он полюбил свою профессию не за безумие скоростей, а за слитность с умным, совершенным механизмом. Баранка делала тихого, смирного парня сильным, решительным, выносливым и гордым. И машина в его руках не знала никаких мучений, у нее было дыхание ребенка и стремительность самца-оленя. А тут — видения, и только чудом не расколошматил он передок. Ну, не

совсем чудом — спасли его хорошая реакция и надежные тормоза... Все же лучше сказать вслух: «Чую!» — и погасить звуковые галлюцинации, нежели продолжать путь с двойной нагрузкой — против видений он бессилен.

Шоферу нельзя грезить, «уноситься мыслию», он должен жить дорогой и думать только о ней. Самое чудесное, когда едешь, отмечая про себя каждый ее виток, ухаб, лужу и все, что обочь,— черное горелое дерево, осыпанную ягодами черемуху, дятла, задолбившего сдуру в телеграфный столб, пьющую из лужи трясогузку. Все по-своему интересно и, включенное в ощущение дороги, не отвлекает тебя от дела, не уносит прочь, чтобы потом, враз отхлынув, оставить на краю беды: впритык к выскочившему из-за поворота самосвалу или лоб в лоб с тягачом.

Голос, бивший ему в уши, замолк. Но видения, видения!.. Вначале робко, а потом все увереннее, будто укрепляясь в своем праве, замерцало перед ним тонкое, хрупкое, слабое и упрямое, драгоценное лицо Люды и властно легло на окружающее, предлагая через себя зреть все остальное: дорогу, лес, небо, облака. Но что за беда, если мир видится сквозь прозрачный, как кисея, рисунок милого лица, когда дорога так пряма и пустынна?..

Выплыв из глаз и переносья любимого лица, обрисовался мост с вывернутыми деревянными быками и провалившейся серединой над быстрой, в круговерти воронок рекой. Затем из виска и прядки волос над ухом появился застрявший посреди реки грузовик с прицепом, не нашедший, видимо, броду, и двое мучающихся возле него мокрых парней. А на той стороне, у самой воды, на спуске, стояла колонна желтых немецких грузовиков «Магирусов» и сигналила мощно, слитно, через равные промежутки. Вася выключил мотор и спрыгнул на землю.

Он кинул беглый взгляд на киномеханика — спит, как сурок,— затем на старенькую наручную «Зарю» — в запасе полтора часа — и, оскальзываясь, стал спускаться к реке. Удивляло, что шоферы «Магирусов» предпочитают бессмысленно сигналить, вместо того чтобы помочь пострадавшим и освободить путь. Но, подойдя ближе, он уже не удивлялся

этому — из кабины каждого желтого грузовика торчал смуглый локоть, а на волосатом запястье поблескивали японские часы «Сейко». Воображение дорисовало остальное; чеканные лица с баками, косо обрезанными по челюсти, ниточка усов, белая отглаженная рубашка, расклешенные брюки и горные ботинки на толстой подошве. Эти ребята, первоклассные, кстати сказать, шоферы, работали только на «Магирусах», вышибали до шестисот в месяц, никогда никому не помогали и не искали помощи у других, держались в презрительном и гордом отчуждении своим, узким кругом.

Настырно, нагло и так не соответствующе суровой простоте окружающего рушились звуковые залпы усатых пижонов. Вася соскользнул к воде. Шофер и его подручный сразу прекратили свою бессмысленную возню и уставились на Васю с последней надеждой отчаяния. И стало ясно, что они не рассчитывали выбраться сами, не знали, как это делается, а возились у машины от ужаса перед злобными гудками «Магирусов». Поначалу они, конечно, обрадовались подошедшей колонне, весело заорали: «Выручай, братки!» — небось достаточно наслышаны были о дорожной взаимовыручке — святом законе комсомольской стройки — и потерпели серьезный урон, встретив молчаливый, презрительный отказ. На стволах их юных душ прибавилось по кольцу мудрости, по кольцу печального и необходимого опыта, но выбраться из реки это не помогло. И сейчас они смотрели на худого, долговязого парня в резиновых сапогах и выгоревшем комбинезоне, с маленькой головкой, крытой соломенным бобриком, и тяжело свисающими кистями рук,— они смотрели на него с чувством бо́льшим, чем надежда, ибо не хотелось им напрочь отказываться от взлелеянных в душе ценностей. Они не ждали от него спасения, но хоть бы нарастить еще одно кольцо на душевный ствол: не все вокруг гады. И они глядели на шофера, широко шагающего с камня на камень через реку, словно верующие на святого, идущего по воде.

Вася сразу понял, что случилось с неопытными юнцами: не поглядели на рубчатые следы шин, ухо-

дящие с глинистого берега в воду, и угодили на глубину.

— Эх вы, салажата! — укоризненно сказал Вася, оглядывая увязшие колеса грузовика. «Салажатами» называли на стройке желторотых птенцов, и непонятно было, почему морское слово прижилось в тайге, за тысячи верст от моря.

Салажата были до того угнетены, что никак не откликнулись на обидное прозвище, а может, по неопытности не постигали его уничижительного смысла. Оба лишь шмыгнули носом и утерлись тылом ладоней.

— Понимаешь, кореш,— заговорил один из них нетвердым юношеским баском,—мы уж и вагили и полтайги под колеса пошвыряли...

— Ладно,— сказал Вася,— раньше надо было глядеть. Не видишь, что ли, колеи левее идут?..

— Да я думал...— смущенно забормотал тот.

— Индюк тоже думал! — оборвал Вася и полез в кабину грузовика.

— Слегу подвесть? — спросил шофер. Чувствовалось, что и в беде ему приятно произносить такие мужественные слова, как «вагить», «слега». Городской, знать, человек, играет в бывалость.

— Иди ты со своей слегой к...! — Строгость, только строгость нужна с молодыми, но Люда запретила Васе материться, и теперь он часто недоговаривал фразу, мучаясь ее оборванностью и бессилием.

Вася сел за руль, сразу обнаружив, что люфт великоват, выжал педаль сцепления — проваливается, завел мотор — троит малость. «Салажата, что с них взять?» И стал на слабом газку потихоньку трогать машину то вперед, то назад.

— Пробовал враскачку,— сказал шофер.— Разве так ее возьмешь!

— А как? — спросил Вася, продолжая свои вялые упражнения.

— Может, подтолкнуть? — робко предложил напарник шофера.

— Отдыхай,— посоветовал Вася.— Хочешь в тайге работать, пользуйся каждым случаем для отдыха. Иначе быстро окочуришься.

— Прицеп не пойдет...— пробормотал шофер.

«Магирусы» сигналили с той же беспощадной настырностью. «Подождете, гады!» — сказал им про себя Вася, а вслух — шоферу:

— Слушай, друг, коли уж влип, так помалкивай и перенимай опыт!..

Медленно, невыносимо медленно грузовик двинулся вперед. Казалось, сейчас он станет уже окончательно, захлебнувшись собственным предсмертным усилием. Содрогнувшись, лязгнув, едва не опрокинувшись, тронулся как-то боком прицеп. Главное — не форсировать двигатель, не торопиться, держаться вот так, на волоске, иначе завязнешь еще хуже. Не подведи, родная, просил Вася свою ногу, жмущую, нет, ласкающую педаль газа. На тебя вся надежда! Человек — хозяин своего тела, но в какие-то минуты тело стремится вырваться из повиновения, возобладать над человеком, разрушить его замыслы. Тут одно спасение — деликатность. Сохранить свою власть грубостью, силой нельзя, необходимо тончайшее обращение. Прошу вас, обращался Вася к своей ноге, не спешите... Легонечко... тихонько... не надо столько газу, будьте любезны, уважаемая... после сочтемся, вы — мне, я — вам... Так, так, чудесно, душенька!.. Ах ты, радость моя!..

Грузовик полз по дну реки, погружаясь вроде бы все глубже. На стрежне он вдруг приподнялся, вырос из воды, видно, колеса поймали твердый грунт, прицеп развернулся, пошел прямо, и вскоре они стали на том берегу в облаке выпариваемой из мотора воды. И тут же «Магирусы» один за другим с воем устремились через реку, точно по переезду, и промчались мимо Васи, и хоть бы один шофер повел глазом в его сторону.

— Тараканы! — крикнул вдогон Вася, но не слишком громко.

— Кореш! — с чувством сказал шофер, став на ступеньку.

— Некогда, салажата! — Вася отстранил шофера, спрыгнул на землю и побежал к своему «газику».

Шофер и его подручный, как зачарованные, смотрели ему вслед. Он чувствовал на себе их восхищенные взгляды, когда залезал в машину, сползал по

глинистому берегу, форсировал реку и брал подъем на другой стороне. А потом перестал о них помнить, изгнав напрочь из своего сознания не каким-либо волевым усилием, а как смаргивают соринку с глаза, чтоб не мешала. Если на каждую дорожную встречу и мелкое происшествие расходовать душу, то ее ненадолго хватит. Тратиться же надо только на большое. В короткой Васиной жизни это была уже вторая великая стройка, а до того он отслужил действительную, и не где-нибудь, а на Севере, и потом еще год вкалывал на Камчатке.

Но люди, которых он выручил, не имели такого богатого жизненного опыта, поэтому они долго смотрели ему вслед, сперва просто так, затем покуривая и увязывая про себя все приключившееся с ними на реке в тугой узел. И надо полагать, на долгую память завязался им этот узелок...

Мелкие передряги миновали сладко спавшего киномеханика, не выглянул он из своего сна и при новой вынужденной остановке. Опять перед ними был разрушенный мост. Покалечило его разливом, как и предыдущий: вывернуло, частью разметало деревянные быки, смело волнорез, проломило настил. Но сходство было лишь внешнее. По этому мосту еще ездили, и потерпевший грузовик с прицепом и «Магирусы» прошли по нему, а не бродом, на глинистых берегах не было следов. Вроде бы никаких проблем? Черта с два! Каждая из машин доканывала мост, и в каком виде остался он после замыкавшего колонну «Магируса», судить трудно. То, что все эти грузовики благополучно прошли, говорило в равной мере и о надежности моста, и о том, что он вконец разбит и для езды непригоден. Эту диалектику Вася знал назубок. Конечно, в таких случаях не мешает выйти, посмотреть, а там уже решать, полагаясь все же не на точное знание — откуда бы ему взяться? — а на опыт и угадку, которую Люда, вытягивая губы трубочкой, называет смешным словом «интуиция». Но в данном случае он не может решать один, обязан разбудить киномеханика и посоветоваться с ним. О чем?.. Вася поглядел на вздувшуюся, бурлящую воду и понял, что едва ли отыщется здесь переезд. Стало быть, надо перетаскать

коробки с фильмом на ту сторону, отправить туда же киномеханика и рискнуть в одиночку.

— Митя! — крикнул он, повернувшись к спящему.— Проснись за ради бога!.. Хоть на минутку!.. Эй, парень, очнись!..— и принялся трясти того за колено.

— Приехали, что ли? — пробормотал киномеханик, не открывая глаз.

— Нет... Мост разрушен...

— Пошел ты, знаешь куда?..— пробормотал киномеханик и снова рухнул в сон.

Вася глянул на часы: запас времени истаял. Значит, вопрос стоит так: или приехать вовремя, или поворачивать назад. Он включил первую скорость.

Доски угрожающе загрохотали, едва он въехал на мост. Весь деревянный состав этого вроде бы массивного, прочного, а на деле игрушечного сооружения, вовсе не рассчитанного на строптивый характер местных речек, способных за одни сутки превратиться из тощего ручейка в стремительный поток, вконец расшатался, расхилился. Мост может рухнуть окончательно в любую минуту.

Пробоина посреди настила была кое-как забита досками. Тонкие доски разошлись, между ними зияла пустота. Выйти посмотреть? Что толку? Интуиция — так, Люда? — выручай!.. Под мостом — перекат. Там река, пенясь и клокоча, переваливается через гряду валунов. Если свалишься, то не в воду — тогда еще есть шанс выплыть,— а на камни, с такой высоты расшибет вдребезги.

Он с лязгом переключил скорость на вторую, прибавил газу, приимчивая машина рванулась вперед: 80, 90, 100... Включил третью скорость. Вот это место — тонкие доски прогибаются под колесами, трещат, вроде бы разметываются в стороны, теперь под машиной пусто, но она не падает, а пролетает над черной дырой, над беснующейся рекой, ударяется всеми четырьмя колесами о настил и катит по нему, ровно и успокоительно погромыхивающему, до другого берега.

Митя так и не проснулся. И если захочешь кому рассказать, что проехал по дыре, то не будет свиде-

теля. Впрочем, едва ли ему захочется рассказывать, кого этим удивишь? Если оглянуть всю гигантскую трассу строительства, то, наверное, сейчас такой вот прыжок-пролет производит с десяток машин, и нечего даром словами сорить.

Правильно, Васек, хвастаться тут нечем, а подумать можно. Кому надо, чтоб строили такие мосты? Конечно, поначалу, в спешке и запарке инженеры могли в чем-то ошибиться, просчитаться, не учесть местных условий, да ведь стройка идет уже не первый год, строят же мосты по-прежнему на соплях. Он как-то попробовал завести разговор с начальником СМП Якуниным, башковитым мужиком, ветераном сибирских строек. Тот объяснял все просто: мосты временные, чего с ними возиться? А строительство наше еще в пятилетку не вошло, живем подаяниями добрых дядюшек из министерств да молодежным энтузиазмом. Если станем временные мосты капитально строить, вылетим в трубу. Техника гробится, возразил Вася, люди гибнут. «Ты знаешь хоть одного погибшего?» — спросил Якунин. И странное дело, Вася таких не знал. «Ну, а техника?» — настаивал он. «Техника страдает, без спору, но все равно это выгоднее, чем строить Бруклинские мосты. И учти,— вдруг воодушевился Якунин,— Россия всегда так строила, любое свое дело вершила на краю возможного. Ты никогда не задумывался, Василий, что, может, только так и надо — русским людям необходимы перегрузки?» Честно говоря, Вася никогда об этом не задумывался и даже не очень понял ход мыслей Якунина. Ему вспомнилась итальянская картина «Дорога длиною в год», ее по телевизору показывали, когда он на Камчатке служил. Там новый мост в деревне построили. И чтобы его испытать, решили на грузовике проехать. Все боялись риска, один мордастый парень отважился, ему жена изменяла, и он за жизнь не цеплялся. Так попы молитвы читали, женщины рыдали, мужчины крестились, а неверная жена, стоя на коленях, клялась, что больше сроду мужу не изменит. Вот это забота о человеке!.. «Ну, и ехал бы себе в Италию»,— мрачно сказал Якунин. «Что я там не видел?» — обиделся Вася. «А знаешь, парень,— опять воодушевился Яку-

нин,— мне иной раз кажется, что лучшие ребята потому здесь и держатся, что им невозможные условия надобны». «Ну, если так рассуждать, так это черт знает до чего дойти можно!» — возмутился Вася. «Не дойдем,— пообещал Якунин,— черт знает до чего не дойдем. А примет нас пятилетка, многое изменится». На том и разошлись...

На станцию прибыли в самый раз, когда у клуба уже собралась взволнованная толпа, кто-то пустил слух, что машине не пробиться. Приняли их восторженно — кино не крутили уже две недели. Васю уговаривали остаться и пообедать, но он заторопился назад. Он эту картину уже видел и хорошо представлял, как восторги сменятся совсем иными чувствами. Лучше увезти с собой приятные воспоминания. К тому же у него были свои дела. Киномеханику предстояло крутить два сеанса, а потом двигать дальше с попутной. И Вася уехал...

Теперь, когда он избавился от пассажира и груза, мысли о мостах ничуть не тревожили. Насколько по-другому себя чувствуешь, если ты один и ни за кого не отвечаешь, кроме самого себя! На душе стало беспечно, легко, и Вася жал на педаль газа, пренебрегая рытвинами, ямами и разливами могучих луж, равно как и всякой дрянью, валявшейся на дороге: от негодных, измятых в площину канистр до старых, стершихся покрышек. Его трясло, швыряло из стороны в сторону, но это было даже приятно. Он начинал понимать рассуждения Якунина насчет перегрузок: что для русского здорово, то для другого смерть. Довольно быстро домчался он до моста, и здесь ему пришлось притормозить. С другой стороны, почти уже въехав на мост, стоял бензовоз, и шофер, высунувшись из кабины, нервно курил, приглядываясь к разрушенному настилу. Силен бродяга, курит в бензиновых испарениях! Вася взял малость в сторонку, он обязан был пропустить бензовоз, и стал ждать, что надумает водитель. Тот поступил простейшим образом: отбросил сигарету и двинулся напролом. Видимо, ему только и нужен был внешний толчок, чтобы решиться. Таким толчком послужило Васино появление. И снова не молились попы, не плакали женщины, не осеняли себя крестами

мужчины, и ветреная красавица не ломала, коленопреклоненная, рук, клянясь быть верной и любящей, если... Поехал шоферюга, даже не удосужившись проверить, как там, на мосту. Он резко, насколько позволяла тяжелая машина, набрал скорость, и, следя за его действиями, Вася понял — проедет. Бензовоз гремел, как тяжелый танк. Он выехал на середину, прошел по воздуху в чистой тишине и снова загрохотал досками, но уже ровнее и спокойнее, потому что с этой стороны мост держался крепко. Он проехал мимо Васи, не оглянувшись, лицо у него было оцепенелое...

Близ полудня Вася остановил машину у Хоготского дома приезжих. Гости из Москвы еще не вставали, что неудивительно — легли в пятом часу утра. А Люда сидела в гостиной — она спала там на диване — с папиросой над нетронутым завтраком и чашкой остывшего черного кофе. Васю взяла досада. Он сам приготовил ей завтрак перед отъездом: достал большое голубоватое гусиное яйцо — выменял в соседнем бараке на пачку болгарских сигарет, собрал целую тарелку закусок, оставшихся от вчерашнего застолья: два кусочка швейцарского сыра, шпротину в желтом масле, три куска докторской колбасы и граммов триста масла, запиханного между двумя половинками батона,— а она ни к чему не притронулась.

— Эх ты, салага, салага! — горестно сказал Вася.— Все дымишь и ничего не ешь!

— Не идет,— сказала Люда. Была она бледная, невеселая, лишь на скулах горели два красных пятна.

— Съешь хоть яйцо. А я тебе свежего кофе заварю.

— Яйцо не хочу. Ешь сам. Я хлеба с маслом поем.

— Правда? — обрадовался Вася и пошел на кухню, где на слабом баллонном газу грелся огромный чайник. Вася отлил из чайника воды в медный кувшинчик и поставил на другую конфорку, достал из стенного шкафчика растворимый кофе и сахар. В поселковых гостиницах всегда имелся запас чая, кофе, сахара, соли, приправ, макарон, консервированного

молока, финских сухих хлебцев и спичек. Но Люда не может сама о себе позаботиться, и Васе приходится ходить за ней, как за маленькой. И это у нее вовсе не от забалованности, Васе известна ее прежняя жизнь: сирота при живых родителях — разошлись, разъехались, создали новые семьи, а Люду подбросили старой одинокой тетке, едва терпевшей навязанную племянницу. Просто она равнодушна к материальной стороне жизни. Она не замечала, что ест, могла и вообще не есть, вот только кофе ей иногда хотелось да курила жадно. И отсутствие курева переживала мучительно, хотя курить начала недавно, здесь, на стройке. И как только за голос не боится? Совсем расклеивается она после вечеров вроде вчерашнего, когда ее заставляют петь под гитару. Ведь с пения и начались все ее неприятности. Может, лучше бы оставить ее в покое, не совать ей в руки гитару, но начальник комсомольского штаба Пенкин упорно вовлекает Люду в подобные сборища. Вначале Васе казалось, что ушлый парень хвастает Людой перед разными значительными наезжими людьми, а потом, когда он лучше узнал Пенкина, то переменил мнение. Похоже, Пенкин ради самой Люды старается, хочет показать, чего она стоит. А разве так не ясно? Да и кому показывать-то — людям, которые уедут и навсегда о ней забудут? А Люда после этих концертов сама не своя: плохо спит, утром разбитая, мрачная, кусок в горло не лезет, только отчаянно смолит одну сигарету за другой. Слишком много тягостного подымается в ней. Но Пенкин никогда ничего не делает зря, видать, есть у него какая-то цель.

Одно время Вася был прикомандирован к его штабу. И частенько говорил ему Пенкин с задорной интонацией, ничуть при этом не веселея бледным, одутловатым, будто накусанным осами лицом с темными медвежьими глазками: «Гуляем, Васек! Приехали журналисты из Москвы (писатели, художники, артисты, спортсмены или кто-то из многочисленных шефов).— Закатимся в Хогот на всю ночь. Забирай Люду, гитару и — за мной!»

Ходил в передовиках Хогот, его строители сообразили вписать поселок в тайгу, вместо того чтобы

по общепринятому способу вырубить всю растительность и на пустыре, обдуваемом злыми ветрами, ставить скучные бараки. Но, конечно, не только в Хогот ездили, да и не в нем дело. Где бы ни бывали, вечером в доме приезжих собирались за чайником или кофейником, случалось, и за бутылочкой вина (на стройке сухой закон правил) разговоры разговаривать, но кончалось неизменно одним: «Людушка, не сыграешь?» И та, ровно и прочно заалев тонким скуластым лицом, сумрачно, без улыбки, брала гитару и сосредоточенно, низко склонясь над декой, настраивала и начинала петь собственного сочинения песни и чужие, БАМу посвященные, а затем старые русские романсы. И прекращались разговоры, никому не хотелось ни мудрствовать, ни разживаться информацией, ни решать мировых проблем, ни просто болтать языком, всех захватывала музыка этой девчонки, будто разгоравшейся с каждой минутой. Ее ломкий голос в пении разламывался четко — на густой, низкий или на высокий, звонкий лад. Пенкин говорил, что так умеют только знаменитая певица из Латинской Америки и еще какой-то итальянский парень. Молчаливая, замкнутая, всегда погруженная в себя, Люда начинала жить — глазами, скулами, расцветшим улыбающимся ртом, даже алопрозрачными мочками маленьких ушей, всем гибким напряженным телом, становилась общительной, насмешливой, почти веселой и такой красивой, что Васе казалось — ее непременно умыкнет новоявленный Змей Горыныч. Ах, как она пела!.. А когда все главное было спето — и чего сама хотела и чего просили,— наступала пауза, она заводила на Васю свои ореховые, блестящие, с голубоватыми белками глаза и для него, специально для него, пела глупую, чудесную, самую лучшую в мире песню, которую никто не знал и не просил:

Ах, Коля, грудь больно,
Любила — довольно!..

Незнакомые люди дружно понимали это как замаскированное шутливой интонацией объяснение в любви и начинали звать его Колей. Он не поправлял их, спокойно отзываясь на Колю. Но случалось, под

исход вечера кто-нибудь более приметливый обнаруживал, что он Вася, а не Коля, и выражал недовольство таким самозванством. А какая ему разница, уж он-то знал, что объяснения в любви ни явного, ни тайного в этой песне нет в помине, просто Люда хочет доставить ему удовольствие. Он ни на что не посягал, Вася-Коля, не рассчитывал и не надеялся, просто готов был отдать за нее жизнь — только и всего.

Вечера эти оканчивались тем, что Пенкин говорил, явно подражая кому-то: «Велико наслаждение видеть вас, Лариса... простите, Людмила Михайловна, но еще большее — слышать, и все-таки пора спать, господа!» И Людино лицо мгновенно потухало, будто выключался в ней свет: сбегал румянец, исчезал блеск в ореховых глазах, она вяло прощалась со всеми, подавая безвольную, чуть влажную руку с раскаленными от гитарных струн кончиками пальцев, и сразу уходила на отведенную ей койку. А утром была молчалива, подавлена, бледна, лишь горели заострившиеся скулы, и Вася мучительно пытался заставить ее проглотить хоть кусок.

Он знал, как важно для здоровья хорошо и вовремя есть. Испортил он себе желудок на Камчатке, где питался одними консервами, да и то от случая к случаю. Работа такая была, а главное — беспечность: казалось, все с рук сойдет. Не сошло. Теперь от горячего, острого, кислого, а иногда и черт знает от чего изжога мучает и боль сверлит солнечное сплетение. А ведь луженый желудок был...

Вася принес кувшинчик с кофе и разлил по стаканам — круглым, а не каким-нибудь там граненым, в красивых металлических подстаканниках. Он бросил в Людин стакан два куска сахара, посмотрел на нее и бросил третий, хотел уже бросить четвертый, но был остановлен резким выкриком: стоп! Вздохнув, он кинул этот кусок в свой стакан и отправил вдогон еще шесть.

— Как ты можешь есть столько сахара? — с гримасой отвращения спросила Люда.

— Он полезен для ума,— пояснил Вася, размешивая сироп.

Люда как-то издалека посмотрела на него, но ничего не сказала. Они кончали завтракать — Вася энергично, бодро, чувствуя, как замирает проснувшаяся боль, Люда вяло, через силу, превозмогая себя в угоду Васе,— когда нежданно-негаданно появился начальник СМП Якунин. Его-то что принесло сюда в воскресный день? И потом он же отпустил вчера Васю до понедельника, значит, не собирался в Хогот.

Люда работала у Якунина уже четвертый месяц, обитала с ним в одном вагончике вместе с двумя его заместителями. Да и вообще всецело находилась в его распоряжении, кроме тех случаев, когда со стены снималась гитара и Пенкин увозил ее на очередную встречу. Якунин в этих встречах никогда не участвовал, он был принципиальным противником Людиного пения. Считал, что не нужно ей петь, видимо, у него были свои веские соображения, как у Пенкина — свои. Но вслух он на этот счет не высказывался, во всяком случае, при Пенкине, и даже нередко отпускал с ними Васю, поскольку машина комсомольского штаба не вылезала из ремонта. Вася относился к Якунину с огромным уважением, как, впрочем, и все на стройке, но еще с бо́льшим уважением он относился к Люде и считал, что она может делать все, что находит нужным. Кроме того единственного, что и поставило ее в зависимость от Якунина. Он не знал, да и знать не хотел, что произошло тогда между Людой и Якуниным, но не сомневался, она замышляла что-то плохое для себя, и такого права за ней не признавал.

— День-ночь все поем? — угрюмо произнес Якунин.— Весело живете, молодцы!.. Люда, собирайся, надо закончить документацию. Погребов приедет завтра.

— Сегодня воскресенье,— напомнил Вася.

— Спасибо! — соизволил заметить его Якунин и снова, язвительно, Люде: — Возьмешь отгул во вторник, если так переутомилась.— Пол-оборота к Васе: — Отвезешь?

— Можно...

— Я и сам знаю, что «можно»! Но ты же выходной.

— Хорош выходной! Меня уже на Четверку гоняли. Имейте в виду, товарищ Якунин, разрушены все мосты. Сегодня-завтра Четверка будет отрезана.

— Ты какой-то маньяк! — сказал Якунин.— Что ты все ко мне с мостами пристаешь?

— А к кому мне приставать? Вы начальник.

— Ладно, я позвоню,— неохотно сказал Якунин.

— Позвоните сейчас. Это не шоферское нытье. Там полная хана.

— Позвоню сейчас! Отстань. Так отвезешь?

— Конечно. А что с журналистами делать?

— Это не по моей части. Где Пенкин?

— Он мне не докладывает.

— Вопрос праздный, Пенкин вездесущ,— мрачным голосом произнесла Люда.

То были первые ее слова с момента прихода Якунина, и он обрадовался, услышав ее голос. И пояснел большим, тяжелым, неподвижным, красивым даже, но каким-то давящим лицом.

— Вездесущий Пенкин сам решит, как быть с журналистами. Они еще дрыхнут?

— Зашевелились вроде... Кашляют.

И тут возник Пенкин. Невысокий, плотный, плечистый, на легких ногах, бывший боксер-перворазрядник.

— Чай да сахар! — сказал он Люде и Васе, затем, будто только сейчас узнал Якунина: — А-а, начальство пожаловало! Не ждали, но рады.

— Люда возвращается в Заринуй,— сдержанно отозвался Якунин,— срочная работа. Если хочешь, можешь отправить своих журналистов. Места хватит, я остаюсь здесь.

Чувствовалось, что между этими двумя людьми, знающими цену друг другу, не существует взаимной симпатии. Вася догадался об этом сравнительно недавно и был крайне удивлен. Им нечего делить, интересы у них на стройке общие, работают рука об руку. Может, причина в Люде? Якунин не хотел, чтобы она пела, не хотел ничего похожего на то, что привело ее к беде, а Пенкин, приехавший сюда позже и узнавший о случившемся с чужих слов, считал, что нечего превращать Люду в затворницу,

отгораживать от людей и наступать ей на горло почти в прямом смысле слова. Вася был бы на его стороне, если б не видел, как мучительно даются Люде ее выходы в свет. Прошлое накатывало на нее тяжелой, мутной волной. И тут он готов был признать суровую правоту Якунина, да не мог — лишь с гитарой в руках оживала Люда, загоралось жизнью и радостью ее лицо. Самодеятельности у них не было, а петь для себя — это он узнал от Люды — нельзя. Можно горланить в лесу, собирая грибы или ягоды, но разве о том идет речь? А у Люды должны наливаться блеском глаза и расцветать рот, даже если за это приходится дорого платить. Нет, все-таки правда за Пенкиным, хоть он и моложе начальника лет на пятнадцать.

— Журналисты остаются,— объявил Пенкин.— Встретили ребят, знакомых по Усть-Илиму.

— Все ясно,— сказал Якунин.— Общий привет! — и вышел из комнаты.

Вася нагнал его на крыльце.

— Вы не забудете насчет мостов?

— Я ничего не забываю.

— Когда за вами?

— Завтра к одиннадцати. Отоспись хорошенько. Что-то ты выглядишь паршиво. Брюхо болит?

— Когда жру нормально, не болит.

— Значит, болит. Смотри, наживешь язву. К доктору ходил?

— Да ладно вам!..

— Ничего не «ладно»! Меня не устраивает, чтобы ты свалился. В среду пойдешь на рентген. Иначе к работе не допущу...

Якунин пересек улицу и, нашарив ключ в обычном месте под порожком, зашел в пустую по воскресному дню контору. Он дозвонился к мостостроителям, для которых выходных не существовало, и после долгого, нудного, изнурительного разговора, вернее, торговли — за красивые глаза ничего не делается — добился обещания, что мосты срочно «подлечат». На большее он и не рассчитывал. Если повезет с погодой, то недели на две — относительно спокойной — езды хватит. А дальше загадывать нечего. Надвигалась осень — слом погоды, и тут ничего

нельзя предвидеть. А вдруг да и пришлют давно обещанную дорожную технику и специалистов по мостам? Или растопится чудовищная ледяная линза, обнаруженная геологами как раз под его участком, тогда вообще не стоит беспокоиться о мостах и ни о чем прочем. Конечно, последнее маловероятно, все земляные работы ведутся с предельной осторожностью, чтобы не задеть линзу, не повредить защитной оболочки.

Покончив с мостами, Якунин ощутил странную пустоту. Зачем, собственно, он приехал сюда? Какое неотложное дело выгнало его из теплого, уютного вагончика и заставило сесть на попутную машину в Хогот? Ну, дело оказалось, Вася подбросил. Но ведь не мог же он на это рассчитывать. Конечно, дела найдутся. Как только аборигены проведают, что приехал начальник, так потянутся сюда, словно паломники за святой водой. Всем что-то нужно. Поселок образцовый, он хорошо, умно спланирован, даже наряден, с великолепным клубом, школой, столовой, все это так, а типовые жилые дома ни к черту не годятся: эти дачки хороши где-нибудь под Кисловодском, а не в зоне вечной мерзлоты, где мороз доходит до сорока градусов. Каждый домик снабжен крылечком и терраской, а санузла нет. Рукомойники висят в прихожей, и уже сейчас на рани воду прихватывает ледком, а дощатые сортиры раскиданы по всему поселку. Хорошо там будет зимой, особенно женщинам. Но это давно известно, необходимые меры приняты, и, надо полагать, все образуется. А не образуется — и так перезимуют, тяжело, мучительно, да разве впервой? Так было, есть и еще долго будет. Уютно жить в каком-нибудь Люксембурге или Великом — с мышью норку — княжестве Лихтенштейн, а не в стране, раскинувшейся «от тайги до Британских морей». Здесь слишком много пространства и ветра. Кстати, о каких «Британских морях» пели они в детстве у пионерских костров? Не Балтика же имелась в виду? Нет, это надо понимать символически, как в том стихотворении: «Британия, Британия — владычица морей». Господи, и одного поколения не минуло, а что осталось от былого могущества? Островок обочь Европы, раздираемый нацио-

нальными, экономическими и социальными противоречиями. Ладно, англичане в своих делах сами разберутся, а ему собственных забот хватает. Так зачем он все-таки приехал? Чтобы сидеть в пустой, скучной, слабо истаивающей смолой конуре и ждать, когда к нему потянутся ходоки, чьи требования он все равно не в силах удовлетворить. Обычно он делает все возможное, чтобы избежать этих томительных и бесцельных встреч. А заняться и дома есть чем, коли приспичило пожертвовать выходным днем.

Нечего играть с собой в кошки-мышки. Он приехал сюда единственно из-за этой чертовой девчонки. Взвалил себе обузу на плечи, мало ему забот, теперь расплачивается. Он ничего не умеет делать наполовину, принял груз и будет тащить до полного изнеможения. Главное, не приходит к нему такое изнеможение. Он из породы тех проклятых богом людей, у которых спина грузчика, они жить не могут, если их не навьючат до отказа. А ведь он только с виду кряж, а внутри весь трухлявый. С двадцати трех лет, как институт окончил, зарядил на бродяжью жизнь, и сказалась ему палаточная романтика, с ночевками у костра, в сырых землянках, в худых палатках, фанерных бараках. Сердце еще не подводит, жаловаться грех, но тело, застуженное и наломанное, болит с головы до пят. Каждая косточка ноет, нудит, не дает покоя. Он не в претензии, потому что не мог иначе, и, если б начал все сначала, обязательно приобрел бы свои хворости, неотделимые от бивуачной жизни. Из этого вовсе не следовало, что он, подобно многим хвастунам, считал свою жизнь правильной, безупречной и единственно для него подходящей. Нет, он любил делание, но прямое делание очень рано заменилось у него косвенным, уже вскоре после института, когда из мастеров он неуклонно «пошел вверх». Он сумел в какой-то момент остановиться и сохранить место возле делания, иначе сидеть бы ему в министерстве, в мягком кресле, при трех-четырех телефонах, но все равно от прямой ручной работы его отторгло давно. А что ни говори, самое лучшее — это делать что-то руками. Он и сыновей своих приохотил к ре-

меслу. Оба парня кончили техникумы, один стал гранильщиком, другой краснодеревцем. Правда, гранильщик в настоящее время гранит сапогами каменистую почву Алтая — отбывает действительную, а краснодеревец, отслужив на Амуре, такие интерьеры оформляет, что завидки берут. Он женился, ждет ребенка и не только не тянет денег с родителей, но все норовит матери подсунуть, как будто им своих не хватает. Какие прекрасные еще сохранились профессии: каменщик, лепщик, ювелир, столяр, плотник, гранильщик, резчик по дереву, реставратор. Профессии, освобождающие человека от самого страшного — присутственного места, дающие самостоятельность, хороший заработок, чувство самоуважения, каким обладает каждый честный ремесленник, но не может обладать канцелярский мышонок. У ремесленников есть заказчик, в остальном он сам себе голова. И начни Якунин сначала, он стал бы плотником, сейчас интересно плотничать, дерево опять в цене и почете, из него много чего строят. Но не сложилось: он начальник важного участка Великой стройки, седьмой и последней в его жизни. Когда закончится это строительство, ему останется года два до пенсии.

Можно было бы под уклон дней чуть меньше себя тратить и не мчаться на попутном грузовике за пятьдесят километров из-за вздорной девчонки. Но всяк своему нраву служит. Он ненавидит в людях раздвоенность, то, что теперь принято называть с противной умильностью «вторым талантом». Чепуха все это! Не бывает никакого второго таланта. Талант вообще редкость, достаточно если ты хороший профессионал. В старое время встречались люди разносторонне одаренные, да ведь и жизнь была куда проще, охватнее. Но давалось это либо гениям, либо дилетантам вроде тех дамочек, что писали маслом и акварелью, бренчали на фортепианах, пели романсы и сочиняли стишки или слюнявые рассказики. В наше время, дифференцированное до последней степени, такие номера не проходят. Сейчас просто физиком нельзя быть: надо внутри науки выбрать узкую специальность. И так называемая самодеятельность — вроде разных там уральских хоров или

сибирских плясовых ансамблей — самая настоящая профессиональная работа. Всякая другая самодеятельность — утешение для неудачников или ловушка для заблудившихся в трех соснах. Последнее и случилось с Людой.

Приехала с московским поездом красивая девчонка, полная романтических и наивных, чтоб не сказать просто глупых, представлений о таежной жизни, о быте и нравах великих строек — к сожалению, у многих парней и девушек такой детский настрой, когда едут они на крайне суровую, даже жестокую жизнь, тяжелейшую работу и гнусный климат. Заморочили им головы кострами, гитарами, бригантинами, алыми парусами, и они рвутся сюда из теплых городских квартир, из-под материнского крыла, как птицы из клетки. Кстати, птицы, привыкшие к неволе и выпущенные на свободу в День птиц, обречены на гибель.

С этими так не случается, никто не гибнет, но многие бегут. Сколько народа осталось от первого поезда, который провожали с особой помпой, оркестрами, напутственными речами, в ослепительных вспышках блицев? По пальцам можно пересчитать, но эти будут до победного конца. Тут нечему удивляться. Не раз обновится людской состав, пока не станет тем коллективом, который святой Петр без проверки в рай пустит. Здесь уже не будет ни бичей, ни хапуг, ни халтурщиков, лишь гибкая человеческая сталь. Но для этого нужно время, и оно есть. А те, что «были первыми»,— самые трудные люди, ибо ехали вслепую, не представляя, что их ждет, не рассчитав своих сил. Энтузиасты с тонкими шейками. Правда, и среди них оказываются крепыши, одержимые его, якунинской, жаждой делания, немедленного, прямого, активного действия. Эти и осядут в лоток, как золото при промывке, а другие всплывут пустой породой и будут выброшены.

Особенно трудно с теми, у кого «второй талант». Значит, первого нет, простого таланта добросовестно делать порученное дело. Люда приехала сюда не из теплого родительского дома — чего не было, того не было,— в остальном же она ничем не отличалась

от московских козявок, как тут принято выражаться. За плечами у нее был библиотечный техникум и года три работы в районной библиотеке. Почему не кончила вуза, хотя бы того же библиотечного, он теперь, кажется, институтом культуры называется? Может, надо было на жизнь зарабатывать? Но что мешало ей поступить на вечерний или заочный? Догадаться нетрудно: небось, в самодеятельности подвизалась. У нее же голос!.. Но, видать, чем-то не устраивала ее такая жизнь, вот и кинулась на БАМ со всех ног.

Якунин не наблюдал ее поначалу, хотя приметил сразу — красивая, не просто красивая, а какая-то горящая. Хорошо ей тут показалось, радостно, счастливо. И было бы хорошо, да подвел второй талант. О голосе ее Якунин отказывался судить. Он был лишен слуха и музыкальности, терпеть не мог визгливого женского пения, да и мужское не больно жаловал. Ну, когда хор грянет «Славное море, священный Байкал» да еще под настроение — куда ни шло, всякое другое пение или раздражало или оставляло равнодушным. Он любил то, что делается руками: резьбу, чеканку, керамику, фарфор, ювелирные изделия. К остальному искусству не испытывал тяги, а читал лишь научно-техническую литературу или классиков, чтобы уснуть. Он был уверен, что среднего человека едва хватает хорошо — ну, хотя бы просто совестливо — делать свое прямое дело и поддерживать профессиональную форму: не отставать, быть в курсе нового, и довольно с него. Остальное — или халтура, или игра, или желание пыль в глаза пустить. Ну, а Люда, девчонка тщеславная к тому же, накинулась на все здешнее, как оса на сладкий пирог. И библиотеку подбирала, и на субботники ходила, и пела где только могла, и самодеятельность затеяла. Они поставили музыкальный спектакль по Брехту, Люда была и режиссером и главной артисткой. Шум, треск, в газетах отзывы, даже в центральных, по радио раззвонили. Потом ее на Всероссийский фестиваль рабочей песни послали, вернулась с призом — хрустальной вазой. А девчонки, с которыми она сюда приехала, все это время по колена в болотной жиже вкалывали, бараки стро-

или, мучились от гнуса и жажды — не хватало питьевой воды, но о них не кричали, не писали в газетах. Встретили они свою преуспевающую подружку без цветов и оваций, на что она, кажется, рассчитывала в упоении молодой славы. И вот тогда Якунин, издали и отнюдь не пристально следивший за Людой, попробовал вмешаться в ее судьбу. И вовсе не из доброго чувства к ней, его тоже начала раздражать эстрадная слава девчонки, приехавшей сюда железную дорогу строить, а не песни играть. Он как-то остановил ее на улице. Ну, отпелась?.. Пойди-ка, поработай в строительной бригаде. Она вспыхнула, ничего не сказала и уже на другой день ловко действовала мастерком — способная все-таки, ничего не скажешь! — в бригаде штукатуров на объекте номер один — банно-прачечном комплексе. Долгожданный объект сдали досрочно, и тут совсем не к месту сработала Людина популярность. Пенкин, умница, сроду бы такого не допустил, но его еще не было на стройке, а звонарь участковой комсомольской звонницы ударил во все колокола. Оглушительный перезвон гремел и разливался лишь в Людину честь, будто никакой бригады в помине не было и выдающаяся бамовская певица, автор песен о рабочей молодежи, лауреат Всероссийского конкурса, в одиночку построила комплекс. Всем равняться на Людмилу Ратникову, красу и гордость комсомольской стройки!..

Что произошло в Людином бараке, осталось неизвестным, во всяком случае, Якунину. Но ясно одно: девчата выдали ей сполна, выплеснули всю горечь и обиду, разгрузили душу, возможно, словами не ограничилось. Он этого не ведает, хотя о скандале узнал сразу. Нашлась сердобольная душа, подняла его с кровати среди ночи. «Людка в лес побежала, как бы чего над собой не сделала!» Почему он сразу догадался, где ее перехватить? Сколько бессознательного таится даже в самом сознательном человеке! Он же не думал о ней сколь-нибудь глубоко и подробно, но сразу охватил случившееся и сделал правильные выводы. Он лучше знал местность и оказался на железной дороге почти одновременно с ней. Товарняк с двумя пассажирскими вагонами как

раз выходил из-за поворота. И все-таки она опережала его, а он, стянутый своими хворостями, как обручами, не был отменным бегуном. По счастью, Люда споткнулась у насыпи о горбыль и упала. Паровоз прочавкал поршнями, застукотали вагоны. Когда она вскочила и, хромая, устремилась к полотну, он настиг ее, в отчаянном рывке схватил за плечи и отшвырнул прочь. Потом поднял ее, взвалил на плечо, недвижную, мягкую, словно бескостную, и понес в поселок. Его ничуть не заботило, что подумают окружающие — несмотря на поздний час, жизнь в поселке продолжалась; он знал только, что должен унести ее, спрятать, запереть и не выпускать, пока не минует ее безумие. В лесу она очнулась и сказала: «Пустите!» — «Ты пойдешь со мной?» — «Да».— «И не вздумаешь бежать?» Второй раз ему уже не нагнать ее. «Нет. Пустите». Поверил и опустил на землю. Она убрала с лица волосы, пригладила их ладонями, стряхнула песок с колен и послушно пошла рядом, касаясь его острым локтем.

Он жил с двумя заместителями в прекрасном немецком вагоне, снятом с колес и поставленном на земляной фундамент. В передней части находилась контора; задняя, большая, служила жильем. В вагоне было чисто, тепло, сухо и уютно, он располагал туалетом и даже душем. Вагон прислали в качестве опытного. В прежнее время Якунин никогда бы не посягнул на него, но, постарев и расклеившись, напрочь отбросил подобную щепетильность и сразу захватил вагон. Там было место еще для одного, надо только лежак Люды отделить от мужчин занавеской. «Ты будешь жить здесь и работать у меня. Штатное место — чертежница. Но займешься моей канцелярией, там беспорядок на грани уголовщины». Она равнодушно кивнула. И в последующие дни и недели она безропотно и безразлично соглашалась со всем, что он говорил. «Ешь!» — она ела, вяло двигая нежно очерченными челюстями. «Ложись спать!» — она ложилась. «Гаси свет!» —гасила. «Подъем!» — тут же вставала. Порой ему казалось, что перестань ею управлять чужая воля, Люда опадет, рухнет, как марионетка, если отпустить веревки. Но вскоре он понял, что это не так, покорность

ее была особого толка. Прежде всего она слушалась только его, заместителей начальника СМП словно не замечала и, если кто-то из них пытался распоряжаться ею, была, как глухая. И Якунин попросил оставить ее в покое. При этом она навела образцовый порядок в его бумагах — сказался навык систематизации, воспитанный библиотечной работой. Потом выяснилось, что она бегло печатает на машинке и неплохо чертит. Она становилась необходимой.

Из вагона Люда почти не выходила, даже питалась дома, готовила себе порошковый суп на электроплитке. Но однажды он увидел на стене за ситцевой занавеской гитару. «Откуда?» — «Лерка принесла»,— уронила безразлично. Лерка — та самая сердобольная душа, что подняла тревогу. «Не расколошматили?» — «Как видите, нет.— И добавила с угрюмой усмешкой: — А хотели...» Потом он обнаружил, что она курит. Ему не нравилось, когда девушки курили, но тут он обрадовался. Значит, поставила крест на своем пении. С прокуренным горлом не запоешь. Он хотел от нее одного — цельности, лишь в этом видел ее спасение.

Все изменилось с приездом Пенкина. Как-то раз, вернувшись домой, Якунин не застал Люды, впервые с ее поселения в вагоне. Не было и гитары на стене. Он ждал ее чуть не всю ночь, но вернулась она лишь на другой день с горящими скулами и потухшими глазами. Оказывается, Пенкин возил ее в Хогот на встречу с шефами из Горьковской области. «Ты считаешь, что поступила правильно?» Она промолчала. «Я думал, со всем этим покончено, как с чересчур затянувшимся детством. Началась серьезная взрослая жизнь».— «Жизнь? — переспросила она.— Разве это жизнь?» — «Значит, никаких выводов не сделано?» — «Ах, вон что!.. По-вашему, меня поставили на колени?» — «Я этого не говорю! — смешался он.— Ты вольна поступать, как тебе вздумается. Но мне казалось, я имею право дать тебе совет».— «Ну, еще бы, вы же мой спаситель!» — интонация была недоброй, насмешливой, вызывающей, и он замолчал. Он замолчал, поняв смятенным сердцем, что безоружен перед этой девчонкой, потому что любит ее. Любит давно, с той самой минуты,

когда поднял ее на руки и понес через лес, но в защитном самоослеплении заставлял себя ни о чем не догадываться. Все это было безнадежно, хотя он знал, что не противен ей. Порой казалось, что она могла бы кинуть ему себя, как кость, из благодарности, вернее из гордости, чтобы не чувствовать себя вечно обязанной ему. Расплатиться и обрести свободу... И как это ни печально, с него хватило бы даже такого суррогата счастья. Но он не имел права на ее близость. Наверное, злые языки уже болтают на их счет, оснований для сплетен более чем достаточно. Но пока между ними ничего нет, он мог плевать на любые слухи и прямо смотреть людям в глаза. Стоит переступить черту, и он теряет себя нынешнего и не может требовать от людей того, что зачастую требовал сверх их возможностей и терпения; явив слабость, ты уже не сделаешь сильными других.

Есть иной путь — открытый. Женись на Люде, женись, настуженный, наломанный, негнущийся, как засохший ствол, женись — подумаешь, четверть века разницы в наше-то снисходительное время! — женись со своей большой головой, тяжелым, неподвижным лицом и бычьими, натекшими кровью глазами — от давления или возрастных приливов? — женись, девчонкам со стройплощадок ты до сих пор кажешься мужиком что надо, у тебя все качества современного модного антигероя: возраст, болезни, мрачность, сила и тьма-тьмущая опыта любого сорта, женись — сыновья твои стали на ноги, а жене ты не нужен. Двадцать лет совместных скитаний, сырые ночевки, самодельные аборты, зверское пренебрежение к хрупкой женской сути прикончили в ней женщину. Она принимает тебя, когда ты приезжаешь в отпуск домой, голодный, как волк зимою, но она пуста, быть с ней — все равно что с манекеном. Кто тебя осудит, да и чей суд тебе страшен? Чей? Свой, свой собственный. Можно бросить женщину, но нельзя бросить пустую оболочку женщины. Тогда ты не человек, ты хуже самого последнего подонка. Бывают безвыходные положения, хоть и трудно с этим смириться. И не пытайся играть в другую игру: вытравлять из памяти, как ты нес эту де-

вочку через сосняк. Вес ее легкого, беспомощного тела навсегда останется на твоем плече, на всей твоей плоти, на твоей душе. Ты с этим не разделаешься никогда. Твое положение безнадежно, и брось корчить из себя воспитателя. Ты можешь воспитывать коллективы или молодцов-сыновей, но не существо, перед которым мысленно ползаешь на коленях. И откуда ты знаешь, в чем ее благо?..

Большой, грузный человек с тяжелым, властным лицом сидел в пустой, пахнущей смолой и солнцем комнатенке, и выпуклые красные глаза его набухали едкими слезами, и никто в целом мире не мог помочь ему...

...Вася, Люда и Пенкин благополучно продвигались к Заринуюи в исход обеденного часа остановились возле образцовой столовой московского поезда.

Здесь их отменно покормили, и даже Люда под Васиным нажимом съела чуть не целую тарелку суточных грибных щей. Она успокоилась, погасли пятна на скулах, и впервые за последнее время Люда отказалась от предложенной сигареты.

Когда же подали кисель, она попросила Пенкина:

— Можно оставить тебе гитару? Я к девочкам загляну.

— К каким девочкам? — спросил Пенкин, которому до всего было дело.

— К своим,— сказала Люда спокойно.

— А-а!.. Понимаю. Оставь гитару, после занесу.

Люда допила кисель, поднялась, оправила юбку, пригладила волосы ладонями. Она никогда не носила с собой ни сумочки, ни расчески, не пользовалась косметикой. И тут Васю при всей его недогадливости пронзило:

— Постой!.. Ты пойдешь к... этим?..

— Что ж тут такого? У меня нет других подруг.

— Но они... но ты! — Вася задыхался от негодования.

— Я ничего у них не украла,— тихо сказала Люда.

— Молодец! — с чувством произнес Пенкин, и его бледное, одутловатое лицо слабо порозовело.— Молодец, девчонка! Так и надо! Только так!..

Ну, конечно, опять всеобщее понимание, один Вася — пень. А на кой дьявол Люде идти туда, где с ней так гнусно поступили? Пусть бы покланялись, стервы, чтобы Люда к ним снизошла. Но раз Люда решила, так тому и быть. Вдруг, двинув стулом, Вася вскочил и нагнал Люду в дверях.

— Ты им скажи... Если они того... я им барак спалю, честное комсомольское!

— Ладно! — Люда рассмеялась, что с ней не часто бывало. На крыльце обернулась: — Вася, чуешь?..

Он вскинул маленькую голову с острым подбородком: конечно, чую!.. Только вот — что?..

Вася вернулся к столу, когда Пенкин расплачивался с подавальщицей в белой крахмальной короне над сытым румяным лицом. Подавальщица отплыла, покачивая бедрами и бренча мелочью в кармане фартука.

— Вот характер! — с чувством сказал Пенкин.

Вася посмотрел вслед тучной молодайке, не понимая, как разглядел Пенкин характер в этом телесном изобилии.

— Да не о ней! — с досадой сказал Пенкин.— Сколько нужно мужества, и широты, и настоящей гордости!.. Ах, молодец!..

— А ты в этом сомневался? — холодно спросил Вася.

— При чем тут «сомневался»? Рад за нее, по-настоящему рад...

И тут их разъединили: к Пенкину озабоченно шагнул парень из комсомольского штаба, а Васю окликнул его приятель и сосед по бараку.

— Васек, нас турнули!

— Как турнули?

— Очень просто. Хозяева веркулись. Вещички наши повыбрасывали и отдыхать легли. Серьезные ребятки, однако.

Мать честная! Вот этого Вася никак не ожидал. Почему-то он был уверен, что хозяева коек, которые они с приятелем, тоже шофером, самовольно заняли, вернутся не раньше конца сентября. А за это время Якунин пристроил бы Васю куда-нибудь. Он работал с Якуниным меньше месяца и считал не-

удобным при всеобщем квартирном кризисе просить у него жилье. Тем более летом это не вопрос. Люди в постоянных разъездах, забрасываются десанты в глубь тайги, то там, то сям освобождаются койки, на худой конец можно и в машине переспать или в палатке у костерка. Да, затянул он с этим делом: осень на носу, за ней зима лютая, и тут, милый друг, без крыши над головой загнешься. Не вовремя пожаловали эти ребятки, но ничего не поделаешь, они в своем праве.

— Ты где устроился? — спросил он приятеля.

— Будешь смеяться — у девчат. Только помалкивай, комендантша узнает — шкуру сдерет. У них одну в роддом отправили, ну и пока... перебиться.

Вася вздохнул и побрел к бараку, где безмятежно прожил без малого две недели.

На крыльце валялся его вещмешок, его солдатский сидор, что прошел с ним и действительную, и тяжелую камчатскую службу, и усть-илимскую страду, валялся незавязанный — подходи любой и бери, что приглянется. Правда, приглянуться там нечему: пара старых брюк, заношенная курточка из кожзаменителя, две рубашки, трусы, несколько пар носков и вафельное полотенце. Не разжился Вася имуществом, да и к чему оно в его скитальческой жизни? Вася заглянул в мешок, но и так уже видно было, что казенное постельное белье туда не попало. Он опять вздохнул — лучше бы исчезнуть тихо — и, толкнув дверь, вошел в комнату. Сразу пахнуло чужим и скверным: сапогами, грязными портянками, немытым телом и чем еще? Перегаром, что ли? Да, и какой-то парфюмерией. У подоконника, спиной к Васе брился парень, под майкой-безрукавкой двигались острые лопатки. Вася с безотчетным удовлетворением отметил, что густую мыльную пену парень соскабливает со щек безопасной бритвой. А на постели, которую Вася еще недавно считал своей, развалился здоровенный малый в расклешенных брюках, ковбойке, драных шерстяных носках и курил, сбрасывая пепел за плечо — на подушку и стену. Жизненный опыт подсказал Васе, что он попал не к лучшим людям современности. Малый на койке — узколобый, с грубым челюстным лицом и

узкими щелками глаз — был типичным бичом, а худенький у окна — шкетом при нем.

— Здравия желаю! — вежливо сказал Вася.— Прошу прощения, что воспользовался без спроса вашей койкой, и разрешите забрать постельное белье.

Парень у окна мельком оглянулся и продолжал скоблить прыщеватую щеку, растягивая кожу пальцами. Лежавший на койке не отозвался.

— Белье,— повторял Вася,— оно казенное.

— Видал фраера? — чуть повернувшись в сторону окна, непрокашленным голосом просипел бич.— Захватил чужую койку, напустил вшей и еще разоряется.

— Ваше белье в ящике.— Вася подошел к шкафу и с натугой выдвинул нижний ящик.— Я на нем не спал.

— Заткнись! — сказал бич и погасил сигарету о ночной столик.— Чеши отсюда.

Вася стоял, чуть наклонив к плечу маленькую голову и раздумывая, как же получить казенное белье, без которого он не мог уйти. Своими острыми чертами и хохолком на макушке он походил на взъерошенного воробья, но в школе у него прозвище было другое, не «Воробей», а хуже, обиднее — «Комма», что значит по-немецки запятая. Из-за проклятой привычки склонять голову к плечу. Это придавало Васе жалостный вид, и лежащий на койке амбал презирал его всем своим косматым сердцем. Он не видел ни покато-сильных Васиных плеч, ни длинных рук с тяжелыми, большими кистями, лишь эту желтую, склоненную к плечу головенку и хохолок на макушке, да еще он чуял вывернутыми ноздрями ветерок опрятности — внешней и внутренней, и было это ему хуже отравляющего газа.

— Я уйду,— сказал Вася,— только отдай белье.

— Бери,— усмехнулся бич.

Вася подошел и с силой рванул из-под него простыню. Бич не ожидал этого и чуть не свалился с койки. Но удержался и в следующее мгновение упругим кошачьим прыжком вскочил на ноги.

— Ну, сука, я тебе сделаю! — проговорил он с каким-то наслаждением и медленно, косолапо, левой ногой вперед двинулся на Васю.

И на расстоянии от него несло луком и сивухой. На стройке сухой закон — как умудряются алкаши добывать горючее? Правда, он только сегодня приехал, мог на «большой земле» разжиться. Вася интересовался этим совершенно бескорыстно: он не пил. Он спортом увлекался. Во время своей военной службы, когда свободные часы нечем было занять, он прошел полный курс самбо у старшины — мастера спорта. Он ничуть не боялся бича, даром что тот тяжелее. Он больше опасался, как бы шкет не всадил ему сзади заточенный напильник. Вася, по правде говоря, только напильника и боялся. Нож обычно пускают в ход впрямую, тут и защититься можно, а напильником подкалывают исподтишка, против него человек беззащитен. Но шкет усердно брился, то ли из доверия к боевой мощи старшего друга, то ли по врожденному миролюбию.

— Ох, как я тебе сейчас сделаю! — мечтательно сказал бич.

— Я бью два раза,— сообщил Вася,— раз по башке, другой по крышке гроба.

Они сравнялись в остром чувстве друг к другу, чувстве, похожем на влюбленность, настолько не хотелось им, чтобы их что-нибудь разлучило сейчас. Каждый был полным отрицанием другого: два мира, два отношения к жизни, и возобладай один — другому здесь нечего делать. Но у Васи неприятие бича было шире, философичнее. Сам-то он плевать на него хотел, но ведь сюда приезжают ребята, не изучавшие самбо, не служившие в армии и на Камчатке, зеленые юнцы из Москвы, Ленинграда, Горького и других хороших городов, может, и смелые, мужественные ребятишки, но неумелые и против такого бессильные. Так разжигал себя Вася, мучаясь врожденной болезнью: неспособностью поднять руку на живое, дышащее, мыслящее существо. Правда, бича едва ли можно назвать существом мыслящим, но живым и дышащим он был несомненно, Васю мутило от его смрадного дыхания.

Бич шел, не замечая, как собралось, изготовилось длинное, сухощавое тело противника, напряглись тяжелые руки. И вдруг, хекнув, он рванулся вперед и ударил Васю ногой в пах. Но Вася предугадал под-

лый и нехитрый выпад и, согнувшись, самортизировал удар, принял ногу бича, как вратарь мяч. Вслед за тем он резко выпрямился, рванул ногу бича вверх и опрокинул его навзничь. Бич грохнулся затылком об пол и прохрипел:

— Наших бьют...

Шкет вскочил с пронзительным шпанским визгом. Пузырьки пены лопались на щеках. Вася надвинул на него обеденный стол и прижал к стене. Шкет завыл, будто от нестерпимой боли, и сполз вниз. Притворяется перед шефом, догадался Вася и потерял к нему интерес. Бич пополз прочь, скуля и хватаясь за голову. Это все тоже было известно, и, когда тот попытался вскочить, Вася перехватил его как бы на взлете — крюком в солнечное сплетение, прямым в челюсть — и для крови — по сопатке. Бич рухнул и скорчился на полу.

Вася забрал свои простыни, наволочку и вышел на улицу. Белье он запихал в сидор, затянул брезентовое горло веревкой, вскинул легкую ношу на плечо и пошел искать пристанище. Коменданта по воскресеньям можно поймать лишь утром, и Васе оставалось надеяться на собственную удачу. Как всегда в исходе августа, рано и быстро смеркалось. Когда он зашел в барак, цвел ясный день, и вот уже вытянулись тени, лиловый окаемок лег по горизонту, порозовело небо на западе, и надо было поспешить с устройством на ночлег.

...Отсморкав кровь, умывшись и надавав по шее предателю-шкету, бич почувствовал тянущую боль и тяжесть в животе, хотя за весь день ничего не ел, только выпил в поезде самогону. Видать, этот длиннорукий гад что-то нарушил в его организме. Из самолюбия бич долго сопротивлялся позывам, но в конце концов был вынужден отправиться на двор. Ломило ушибленный затылок, кровь заклеила нос, и дышать он мог только ртом, левый угол челюсти онемел, будто эфиром помазали. Бича часто били, и он бил, не придавая особого значения ни полученным, ни нанесенным побоям. Это входило в существо той жизни, какой, по мнению бича, только и стоит жить настоящему мужчине. Но сегодня все получилось паскудно: его поуродовали не численно

превосходящие противники, что было бы законно, а один на один худой, долговязый фраер. Нет, конечно, он не был фраером, это зря, парень тертый и приемы знает. С теперешними вообще надо держать ухо востро: с виду доходяга, а сам мастер спорта по какой-нибудь дзюде... Но ему-то нельзя было так попадаться. И шкет, сука, в руках же лезвие было!.. Промахнулись они с этой стройкой, не будет тут жизни. Сухой закон, анашу ни за какие деньги не достать, и еще дерутся. А работу требуют, как с идейного. Надо рвать когти, вопрос только — куда? И кто поручится, что на Зее, скажем, будет лучше? Обидно, тоскливо и горестно было бичу, хоть в голос вой! Он зашел в дощатый домик, освещенный пятнадцатисвечовой лампочкой, и, пристроившись, стал привычно шарить глазами по клинописи, испещрившей стены уборной снизу доверху. Кое-кто упражнялся в нехитрой прозе, но больше было стихов, коротких, в две строчки, и таких длинных, что дочитать лень. И вдруг что-то толкнуло бича в сердце, сбив с нормального стука. Он взял валявшийся на полу огрызок чернильного карандаша и крупными буквами написал на стене: «В глаз тому, кто злит шпану!»

Прочитал вслух и сам себе не поверил, до чего складно и звонко прозвучало. Обвел рамкой свое стихотворение, чтобы не путали с мараньем других рифмоплетов.

Он вышел из будки. Совсем смерклось, и в темном небе проступили желто поблескивающие точки. Что это?.. И вдруг вспомнил — звезды...

...Вася уныло тащился со своим мешком по главной улице поселка. Попытки устроиться хотя бы на ночь ни к чему не привели. Как нарочно, вернулись все десантники, все поисковики, все больные вышли из больниц, понаехали новенькие, свободных коек в наличии не имелось. Конечно, было одно место — в вагончике Якунина, ведь он остался в Хоготе, но Вася и подумать не мог о таком кощунственном посягательстве. И даже не из-за Якунина, тот слова бы не сказал, а и сказал бы — невелика беда. Но там, за ситцевой занавеской, спала Люда, и ее обиталище нельзя превращать в ночлежку для бездом-

ных кретинов. И то, что рядом с ней помещались два мужика, якунинские замы, положения не меняло. Им небось все равно: кашлять, зевать, храпеть, хрюкать, ворочаться, бегать в подштанниках на двор, когда рядом творится слабый сон Люды; а он убил бы в себе сердце, если б оно своим стуком мешало Люде спать. И вообще исключено!..

Но так дальше жить нельзя. Пора браться за ум. Ночи уже холодные, скоро ветры задуют, и сразу ударят морозы. У распоследнего бича, готового в любой момент рвануть со строительства, есть койка, а у него, который будет тут до конца, нет своего угла. Кочуй, как цыган, с места на место — смешно даже! Ему и впрямь стало смешно, и он громко запел на пустынной улице простуженным голосом, но с хорошим слухом:

> **Привык я греться у чужого огня,**
> **Но где же сердце, что полюбит меня...**

— Вот оно! — послышался за спиной знакомый голос.— Вот сердце, готовое тебя пылко полюбить.— И грустный весельчак Пенкин предстал перед ним.

— Почему с мешком? — поинтересовался Пенкин.

— Переезжаю,— свободно ответил Вася.

— Куда?

— Спроси о чем-нибудь попроще.

— Ну и тип! — не то удивился, не то восхитился Пенкин.— Ты же из старожилов?

— Если «старожил» от «жилья», то нет,— сострил Вася.

— Сколько ты сегодня километров намахал?

— Какая сегодня езда!.. Шестьсот пятьдесят.

— Ну, это чепуха! Особенно по таким чудесным дорогам. Хочешь еще триста сделать?

— А что?

— Южная привычка — вопросом на вопрос... Мне надо к поисковикам в Дуплово. Обещал давно, а все времени не выкроить. Сегодня пришла депеша: ребята очумели от скуки, требуют книг, журналов и живого человеческого слова. Библиотечку им Люда давно подобрала, я и решил махнуть. А машина, сам знаешь, в ремонте.

Предложение Пенкина снимало все проблемы, во всяком случае, на сегодня. Не надо искать пристанище, унижаться. Да и приятно отвезти ребятам библиотечку, подобранную Людой. Но следовало уточнить кое-какие детали.

— Бензин? — строго спросил Вася.

Пенкин вынул из кармана куртки пачку талонов.

— Когда назад? Мне к одиннадцати утра в Хогот.

— Красота! Из Дуплова до Хогота меньше двухсот. Диспозиция боя: мы заезжаем за книгами, грузимся и — в Дуплово. За три часа домчимся. Шучу, шучу, за пять часов. Ночуем. Утром проводим беседу и в восемь ноль-ноль выезжаем в Хогот. Все в ажуре, да еще с запасом.

— Заметано!

— Хороший ты парень,— душевно сказал Пенкин.— Но больно ломучий. Тебя уговорить — легче гору своротить.

— Как с харчами? — спросил Вася.

Пенкин показал на свой плоский черный чемоданчик, который он называл почему-то «Джеймс Бонд».

— Корейка, баночка куриного паштета, колбаса языковая, хлеб обдирный — устраивает? И банка джуса.

Разговаривая, они подошли к вагончику Якунина, возле которого Вася оставил машину. Штаб Пенкина располагался неподалеку. Погрузив книги, они поехали на заправочную станцию и вдруг увидели медленно бредущую к своему дому Люду. Вася свернул к тротуару и впаял машину в щербатый асфальт впритык к Люде.

— Ничего себе, проведала подружек!.. Ну, как они?

— Видишь — не съели.

— Молодец! — сказал Пенкин.— Поехали с нами.

— Куда?

— В Дуплово. Там ребятки совсем закисли. Читать разучились, разговаривать перестали, до того осточертели друг другу. Махнем?

— Если бы раньше знать! У меня работа не сделана.

— Досадно!.. Ты чего там?..— обернулся он к Васе.

Тот захлопнул крышку «Джеймса Бонда» и протянул Люде баночку паштета.

— Держи, салага! А то опять голодная ляжешь.

— Ого!.. Красиво живете.

— Колбасы хочешь? — злясь на себя за недогадливость, предложил Пенкин.— Языковая.

— Спасибо. Не люблю.

— Ну, мы поехали. Время позднее, а нам еще заправиться надо. Привет.

Люда помахала им вслед рукой. Почему она постеснялась сказать им, своим друзьям, о том неожиданном, щемяще радостном и странном, что произошло сегодня в женском общежитии? Она пришла туда уже не в первый раз, и, как обычно, ее встретили настороженно, холодновато и смущенно. Замолк оживленный разговор, сгрудившиеся у стола девчата разошлись по койкам. Зашуршали страницы журналов, извлекались из сумочек тушь для ресниц и губная помада, поплыл сигаретный дымок. Закурила и Люда, подсев к раздвижному столу, за которым и чаевничали, и харчевались, и письма писали, и всякой штопкой, починкой занимались, и готовили свои бесконечные контрольные заочницы техникумов и вузов. Люда о чем-то спрашивала, ни к кому персонально не обращаясь, ей отвечали — чаще всего мягкая, жалостливая Лерка, иногда и другие девчата. Рыжая Вера, ударившая ее по лицу в тот памятный вечер, конечно, молчала. Просто молчала, без вызова или презрения. И наступали сумерки, но электричества почему-то не зажигали, вроде бы в темноте стало проще, удобнее, даже вялый разговор завязался. Печальный синий свет вползал в комнату, растворяя в себе лица и фигуры валявшихся на койках девчат. Пора было уходить, но она все медлила, будто чего-то ждала, хотя на самом деле ничего не ждала, просто впала в какое-то оцепенение, когда нет сил изменить раз выбранную позу, рукой пошевелить. И тут красивая Ксана Гнатенко, зевнув с подвывом, сказала лениво: «Тоска зеленая!.. Хоть бы ты спела, Людка». Еще не очень понимая значение сказанного, Люда ответила машинально: «Как же

без гитары?» — «А я сбегаю!» — предложила Лерка. И тут Вера вскочила с койки и выбежала из комнаты. «В другой раз, девочки,— сказала Люда.— Гитара у Пенкина»,— и, погасив сигарету, тоже вышла. А на улице позвала тихо: «Вера, Вера!» Никто не откликнулся, хотя Люда чувствовала кожей, что та где-то неподалеку. «Верка!» — крикнула она громче, но ответа не было, и она пошла домой. Вот все, что случилось. Вроде бы ничего особенного, а у нее засочилось сердце... И может быть, хорошо, что она ничего не сказала Пенкину и Васе. Зачем? Это дело ее и девочек, и так ее личная жизнь стала слишком широко известна.

Оставить хоть что-то про себя. Довольно советов и поучений. Ну, Вася с советами, может, и не полезет, а уж Пенкин не удержится от наставлений. Хороший парень, только чересчур нацеленный, хотя в этом-то его обаяние. Он действительно знает, как надо поступать. А люди либо растеряны перед жизнью, либо берут ложный след и даже иногда правильные поступки совершают, исходя из неверных предпосылок. Вот Якунин убежден, что она под поезд броситься хотела, как Анна Каренина. А она об одном лишь думала: прочь, прочь отсюда, любой ценой прочь. Уехать она хотела, куда, зачем — не важно; она убежала в одном платье, без копейки денег, но в ту минуту это ничего не значило. Уехать, проложить между собой и этим миром, сперва сделавшим ее счастливой, а потом оплевавшим, тысячи и тысячи километров — ни о чем ином не было мыслей. Она могла попасть под колеса, нарваться на нож или что похуже, могла погибнуть, но она не Анна Каренина. Якунин все еще от смерти ее спасает, отсюда его слепая ненависть к пению, гитаре, ко всему, что, по его мнению, привело ее на край. Он хороший, Якунин, интересный, значительный, но если бы она могла избавиться от благодарности, а заодно и от уважения к нему, ей стало бы легче...

«...Она будет петь!» — думал Пенкин, отвалившись в угол на переднем сиденье, пока Вася заправлял баки и канистры. С той минуты, что они расстались, он не переставал думать о Люде. Будет петь, потому что это главное. У нее талант, настоящий

талант. Кто-то из старых писателей сетовал на легкость, с какой русские люди дают погаснуть божьей искре в своей душе. С этим пора кончать. Смысл нашего общества в том, чтобы каждый становился самим собой, осуществлял себя до конца. Тем более на БАМе. Это строительство не чета прежним, даже самым великим. Для многих и лучших тут начнется и кончится молодость. Проворонить такую вот Люду — преступление, за него надо судить, как за взрыв на заводе с человеческими жертвами. Делать то, что делают ее подруги, что делала она сама, когда Якунин послал ее замаливать грехи — прекрасный спектакль и победу на фестивале,— может каждый, а вы спойте, как она, дорогие товарищи! Да еще перед тем, как спеть, сочините песню. Может, о нас всех вспомнят только потому, что мы ее знали. Пусть ты малость перегнул, не беда — чтобы понять сложное явление, надо действовать по-артиллерийски: перелет, недолет, по цели! Да и не в этом дело. Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. А свой певец нужен БАМу — поверьте, товарищи,— ничуть не меньше, чем хороший штукатур, плотник или маляр.

Девчата законно рассвирепели — кому хочется признать право другого на особую судьбу? Все было естественно, жизненно и пусть жестоко, но справедливо. Беда в том, что у одних пощечина горит на щеке, а другим прожигает сердце. И все-таки при всей чувствительности и кажущейся хрупкости истинно художественной натуры Люда — выносливый и сильный человек. Якунин ничего не понял, бегство принял черт знает за что. Он и сейчас прячет от нее веревку, хотя Люда вся нацелена на жизнь.

Пенкин не был на стройке, когда с Людой случилась беда, и никогда бы не унизился до того, чтобы выспрашивать об этом у других, собирать сплетни. Но из комсомольского руководства людей берут на самую сложную и тонкую работу: в дипломатию, в милицию, в органы государственной безопасности. И Пенкин считал для себя обязательным доходить в каждом интересующем его деле до основы. И по мере того, как он последовательно «ковал неумолимую цепь логики», он все сильнее убеждался, что

эстафету спасения давно пора не то чтобы принять из рук Якунина, а отобрать силой. Из полезного Люде человека Якунин превратился во вредного, мешающего ее полному выздоровлению. Обо всем этом Пенкин думал уже не раз, но сегодня впервые пошел чуть дальше в своих размышлениях, откуда у немолодого, опытного и умного человека такая слепота? Он давно уже решил про себя, что Якунин с его зашоренным зрением, устремленным только вперед и неспособным к огляду, суживает цель, не постигая, что тут строится не только железная дорога, а и че-ло-век. Чуть не целое поколение будет взращено БАМом, духом БАМа, это распространяется и на тех, кто не принимает прямого участия в строительстве. Якунин поклоняется технике, «деланию», презирает «беллетристику», куда зачисляет все причастное гуманитарному началу. Но слепота к Люде не может быть объяснена только его жизненной философией, тут что-то глубоко личное. Просто-напросто он влюблен в эту девочку и хочет сохранить ее при себе...

И, придя к такому выводу, Пенкин погрустнел. Чужое сильное чувство всегда пробуждает какую-то завистливую печаль. Пусть даже чувство это не увенчано взаимностью, оно само по себе принадлежит высшей жизни. «Бедный Якунин!..» — думал Пенкин, но жалел самого себя. И тут, едко воняя бензином, в машину забрался Вася. Они тронулись, и мимо замелькали бараки и домишки поселка, кирпичные корпуса новостроек, подъемные краны на строительных площадках, пустырьки.

— Ну и несет от тебя,— заметил Пенкин.— Закурить-то можно, или мы вспыхнем алым пламенем?

— Там шланг худой... Кури! — Вася достал пачку сигарет, протянул Пенкину и щелкнул зажигалкой. Потом закурил сам и чуть приспустил боковое стекло. Машина вырвалась из поселка, в сильном свете фар легла грунтовая дорога в реющем тумане, то заволакивающем даль, то приникающем к земле. Дорога казалась гладкой, но машину сильно кидало.

— Что бы с нами Люда ехала, а, Васек?

— Ну!..— радостно откликнулся Вася.

Недаром из комсомола берут на самую тонкую работу: в дипломатию, милицию, госбезопасность; Пенкин мог чего-то не замечать, только если не фокусировал зрения, но стоило сосредоточиться, и ему открывалась скрытая суть людей и явлений. «И этот влип! — ахнул Пенкин.— Ну, Люда, ну, девчонка!»

— А еще лучше, чтобы Людочка и Васенька ехали, а Пенкин пешком топал! — подчиняясь чему-то злому в себе, сказал он.

Вася кинул на него короткий, холодный взгляд.

— Знаешь... Отдыхай...

— Правда твоя,— покладисто согласился Пенкин, он уже овладел собой.— Если будем тонуть, разбуди.— Откинулся на сиденье, смежил веки с чуть подрагивающими кончиками ненужно длинных, загнутых ресниц...

Люда закончила работу, завязала тесемки папок и погасила настольную лампу. Теперь въедливый Погребов не страшен ее начальнику. Заместители Якунина давно спали, дыша со свистом и клекотом. Якунин выбрал себе замов в своем вкусе: немолодых, спокойных, исполнительных служак, которые не хватали звезд с неба, но и не занимались ни прожектерством, ни очковтирательством. Два старых тяжеловоза — рысью не пойдут, но любой груз доставят по назначению и в срок. Они много работали, уставали, никуда не ходили и рано заваливались спать. Удобные соседи, конечно, но жизнь вблизи них переставала казаться чудом и тайной.

Люда вышла на крыльцо и присела на ступеньку. Закурила. Ставший привычным и желанным дымок показался ей горек. Она брезгливо отшвырнула сигарету. Красный огонек, описав дугу, с шипением погас в луже. Ровно, низко и протяжно гудели деревья. В затишке не ощущался ветер, но им была напряжена ночь. Ну и пусть ветер, пусть осень, зима — прежнее оживало, и хоть это лишь тень радости, что пела в ней раньше, разве думала она, что радость когда-нибудь вернется? И вот тень радости уже протянулась к ее порогу, и кого за это благодарить? О, многих! И прежде всего того, кто не ждет никакой благодарности, не нуждается ни в награде, ни в поощрении, ни в признании своих заслуг, кто

не судил и не оценивал, просто верил, наивно и свято верил, что лучше ее нет на свете. Лишь в одних глазах оставалась она всегда безупречна, и на эту удивительную, незаслуженную веру оперлась ее душа и выстояла. Она крикнула в темноту своим ломким голосом:

— Вася, чуешь?..

...Вася вздрогнул, пальцы сильнее вцепились в баранку. Уж не задремал ли он, убаюканный маятниковым движением дворника, выписывающего сегменты на покрытом изморосью лобовом стекле? Он искоса глянул на Пенкина, тот спал каким-то очумело-беззащитным сном. Вася еще опустил боковое стекло, черный ветер с воем несся навстречу машине. Он выждал и на самый гребень порыва уложил свой короткий ответ:

— Чую!..

— Чего орешь? — мгновенно проснулся бдительный Пенкин.

— Тебе приснилось. Отдыхай.

— Я сплю, а все слышу. Почему не говоришь? Тайна?

— Тебе не понять, хоть ты всего Карла Маркса прочел.

— А ты попробуй.

— Отдыхай, дорогой. Ты сам не знаешь, как ты устал...

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

НОВИЧОК

Он сидел в стороне от собравшихся и, казалось, был совершенно равнодушным ко всему, что здесь происходило. Хотя, почему «происходило»? Ничего, собственно, и не происходило.

Просто ребята ждали вертолет в тайгу и радовались солнцу, которое появляется тут столь редко в осенние дни. Хотя было еще только тринадцатое сентября, уже выпал снег, который на свету сверкал взрывами, слепил глаза. Мало того, что песок здесь белый, мелкий, на крахмал своим скрипом — визгливым и протяжным — похожий, так на этот песок упал кипенно-свежий, плотный снег, который здорово отдавал тугими, как репа, и оттого дивно пахнущими яблоками.

Ребята радовались солнцу и резались в футбол, поскольку вертолетная площадка, схваченная морозом и накрытая ровной снежной простыней, превратилась в идеальное игровое поле,— вскрикивали азартно, подрубая мяч ногой и пуская его винтом в воздух, дурачились, кувыркались, ползали по снегу. Взрослые мужики вели себя, как дети, и, надо полагать, новичок, сидящий отдельно ото всех, осуждал их. Еще, может быть, осуждал возню любимец вертолетчиков — приблудный разноглазый пес Винт с вечно озабоченной мордой, сидевший на краю площадки. Но вот он увидел, как в окне балка, служившего столовой, появилась повариха и, разложив на столе мясо, начала рубить его ножом. Винт не замедлил тут же переместиться под окно столовой

и теперь, поглядывая в стекла, страдальчески тихо скулил, клянча подачку.

— Эй, новенький! — приостановив игру, прокричали мужики.— Чего плесневеешь?

Новенький на этот призыв не обратил внимания — как сидел, погруженный в себя, так и продолжал сидеть.

— Иди, почтеннейший, сюда, мяч гонять будем! — позвал новенького мастер Канищев. Персонально позвал.

Новенький в ответ лишь отрицательно помотал головой: не до игры, мол. Судя по напряженному вытянутому лицу его, на котором равнодушие сменилось каким-то озябшим выражением, он кого-то ожидал. А может, просто хотел навсегда запомнить этот день, первый день своей работы, все его детали, приметы, черты — и солнце, яркой капельной точкой застывшее в бездонной сини, и снег, пахнущий яблоками, и мятый, избитый безжалостными ударами, кое-где уже залатанный кожаный мячик, и пса, который прекратил скулеж и теперь возбужденно мельтешил лапами под окнами столовой, притаптывая небесный крахмал.

— Новенький, как тебя зовут? — прокричали мужики, снова оторвавшись от футбола.

Канищев знал фамилию новенького — начальник отдела кадров сообщил,— но промолчал, ему было интересно, как поведет себя новичок, кем окажется, орлом или курицей.

Мастера пушечных ударов были опытными северянами, они знали, что в тайге, на буровой, которая черт знает как далеко находится отсюда, им предстоит жить вместе с этим новичком, делить пополам соль и воду, хлеб и огонь, вместе пережидать непогоду и ходить на охоту, вместе работать. Если сюда попадает нелюдь-одиночка, заносчивый чужак, он не уживается среди других, вскоре улетает на Большую землю — тут героям-одиночкам нечего делать. Надо быть вместе со всеми, иначе дело дохлое — закиснешь, пропадешь.

Новенький не изменил тактики: он промолчал.

— Как тебя зовут? — никак не хотели отступиться от своего мастера дворового футбола, бесхитрост-

ные ребята, меченные тайгой, морозами, тундрой, всякими ЧП, которые нет-нет, а и случаются на буровых: то бурильную трубу в скважине прихватит, то таежный дядюшка-медведь на площадку пожалует с расспросами, будто его действительно интересует, как там в мире насчет энергетического кризиса,— словом, всякое бывает.

Новенький шевельнул головой, вытянул шею, словно ему горло сжимал воротник, надел очки, стрельнул стеклами в сторону играющих.

— Ковалев!

— Давай, Ковалев, присоединяйся. Мячик вместе попинаем. Для здоровья польза, животу разгрузка.

В это время на дороге, ведущей к вертолетной площадке, показалась черная, лаково поблескивающая в солнечном свете «Волга». Надо заметить, что легковушки бывают тут такой же редкостью, как, например, бразильский дикобраз в ямальской тундре или тропический розовый попугай, затесавшийся в кучу здешних раззяв-ворон, любящих коротать время на телефонных проводах.

— Мужики, руки по швам! — скомандовал Канищев.— Начальство едет. Явление Христа народу.

Новенький поднялся и захрумкал подошвами меховых сапог по снегу. Навстречу «Волге» захрумкал. Кстати, таких роскошных сапог, как у новенького, ни у кого из бурильщиков не было, большая редкость эта обувка — теплые, удобные и элегантные сапоги, даже на танцах в них не стыдно показаться.

Игра потеряла живость, сделалась вялой, тряпичной, угасла буквально на глазах. Мужики попросту пинали мяч из одного угла площадки в другой, всем стало интересно, а кем же доводится новичок тому, кто приехал в «Волге»?

Из машины вышел моложавый и худой мужчина с веселыми и в ту же пору довольно жесткими глазами. Этого человека многие знали в лицо — он был одним из столпов города, часто появлялся в президиумах, заседал, азартно выступал на собраниях, случалось, и в тайгу прилетал к буровикам.

— Фью-ю,— присвистнул кто-то из игроков, услышав, как приехавший обратился к новичку: «Ну,

здорбво, сын!».— А мы-то думали, чего этот парень такой важный и неприступный? Сидит в стороне, словно нарочный из небесной канцелярии, ждет, когда наступит его черед подзатыльники раздавать.

— Потише. Все слышно ведь.

— Ничего. От этих слов ни волосы, ни лысина дыбом не встанут.

В это время растворилась задняя дверца «Волги». Сделалось тихо, как в рыбьем царстве: показалась прекрасная женская нога с точеным нежным коленом, обутая в тугой замшевый сапог, пощупала землю: не грязно ли? Потом показалась нога другая — видно, выбраться сразу из машины девушке мешала чересчур узкая юбка,— и взору буровиков явилось нечто дивное, отчего мужики сразу вытянули шеи, замерли в восхищении. Девушка была черноволосой, как может быть черноволоса, наверное, только грузинка или турчанка, с нежным улыбчивым ликом ангела, пухлыми яркими губами, гладкой смуглой кожей.

— Здравствуй, Мики,— сказала она новичку, а когда тот подошел, подставила для поцелуя щеку.

Конечно, насчет «Мики» она была неосторожна, теперь вся бригада будет так звать новичка, дразнить, поддевать по делу и без дела, но ошеломленные голкиперы не обратили на это прозвище внимания: они глазели на девушку.

А та знала, насколько она хороша, потому в их сторону даже не глядела, будто их не было вовсе, и этим еще больше горячила кровь и воображение бывалых таежников. И тут один из несостоявшихся чемпионов обронил едва различимым голосом:

— Ребята, а ведь она не Ковалева любит, вы только посмотрите внимательнее на нее. Она положение отца его любит, деньги, черную «Волгу». А сын здесь, увы, всего-навсего придаток.

— Помолчал бы ты, брат-философ.— Канищев попытался приструнить говорившего. Фамилия «философа» была Сысоев.— Слишком зло судишь!

— А ты утопист,— огрызнулся Сысоев.— Будешь доказывать, что сильнее зла есть одна только вещь — добро, да? Толстовец несчастный.

— Не так уж плохо быть последователем гения русской литературы.— Канищев вздернул подбородок.

— ...Может, пап, мне все-таки отказаться от работы и поступать в заочный институт? — переминался тем временем с ноги на ногу младший Ковалев.

— Провалишься, как и в очный.

— А ты мне не поможешь? — спросил с надеждой сын.

Отец усмехнулся весело и одновременно жестко, повел лучистыми глазами в сторону, качнул головой.

— Не помогу.

Младший Ковалев поправил очки на переносице, посмотрел куда-то вдаль, на прозрачно-дымную обрезь низенького леса — там, за болотами, начиналось таежное царство, сперва лес рос хилым, туберкулезным — жить мешали болотные яды,— дальше он поднимался все выше и выше, и километрах в двадцати отсюда деревья уже макушками за облака задевали, водились там сосны корабельные, кедры в два обхвата. Отец увидел, как отразилось во взоре младшего Ковалева что-то тоскливое, одинокое.

— Знаешь, как в древней Спарте учили плавать юнцов? — Старшему Ковалеву было понятно все, что происходило сейчас с сыном, он уже имел горький опыт становления и падений, был бит в разных битвах, знал, что надо делать, когда изменяет любимая женщина и когда уходят из дома дети, умел спасаться от людского наговора и укрываться снегом в мороз, пережидать пургу, хулу, славу, критику, он все знал и умел и хотел этому искусству обучить и сына.— Очень просто: бросали в бурную воду, и все. Если ребенок выплывал, значит, ему уже никогда не дано было утонуть, он любой поток мог одолеть, любую передрягу перемочь, выжить, выйти еще закаленнее, еще сильнее, чем был раньше. Если же тонул...— Отец замолчал на секунду, закончил решительным голосом: — Значит, так тому и следовало быть.

— А если я утону? — спросил сын.

— Не утонешь.— Отец хлопнул его по плечу, сощурил лучистые глаза.— Ты — Ковалев. А Кова-

левы не тонут.— Повернулся к девушке, молча наблюдавшей за ними.— Верно, Ирина?

Та кивнула в ответ.

— Учти, сын, женщины сильных любят. Не слабаков, а сильных. Вот я и хочу, чтобы ты сильным был. Все. Долгие проводы — лишние слезы.— Он взялся рукою за дверцу машины.— Поехали!

Когда «Волга» трусила по дороге, направляясь к городу, мастер Канищев хмуро пробасил:

— А ведь папа-то прав, парня учить придется. Иначе он погибнет. И ангелочек этот дивный его бросит.

— Ангелочек его все равно бросит, стоит только папе силу потерять.

В тайгу бригада обычно вылетает на неделю, чтобы сменить на буровой другую бригаду, реже — на две недели. Это в тех случаях, когда буровая находится далеко. Канищевская же бригада улетала на целый месяц — их буровая располагалась у черта на куличках, на краю краев земли. И все равно месяц — это не десятилетие и даже не год. Так к чему такие пышные, демонстративные проводы? Через месяц же сын вернется обратно.

— Чтобы отрока воспитать в надлежащем духе,— изрек Канищев мудро. Добавил: — Вот к чему.

В этой бригаде работали три приятеля, извечно подтрунивающие друг над другом. Один из них — Сысоев-«философ» — по образованию был художником, приехал сюда из Москвы. Второй — сам мастер Канищев — также жил когда-то в Москве и дружил с Сысоевым с детства, но потом Москву забросил и переехал жить в Сибирь, тут женился и обзавелся домом и детьми. Третий — мрачноватый, до самых глаз заросший бородой Брагин, прозванный Лесовиком,— считался правой рукой мастера Канищева. Вот эта тройка и взялась за воспитание младшего Ковалева. Особенно рьяно — Сысоев. Брагин молча помогал, Канищев же — его все звали дядюшкой Каном — просто дал «добро» на переделку новичка, сам в «акции» не участвовал.

Что главное в воспитании строптивого подопечного? Чтобы воспитываемый почувствовал: он уязвим, он такой же, как и все люди, так же состоит

из крови и плоти, подвержен наплывам плохого настроения, налетам гриппа и прочим напастям, запросто может стать предметом насмешки,— словом, все это надо было дать почувствовать Ковалеву, сбить с него юношескую спесь. А какое лекарство для этого самое лучшее? Смех, и только смех.

Поместили Ковалева жить в хижину дяди Кана — балок, где уже прописалась наша тройка: Канищев, Сысоев и бородатый «весельчак» Брагин-Лесовик. Канищев, как мастер, был старостой балка, поэтому жилище и назвали по его имени.

Сысоев по части розыгрыша и смеха вел давний счет с Канищевым. И вообще эта пара — Сысоев и Канищев — являла собою примерно то, что и герои знаменитого чеховского рассказа Толстый и Тонкий. Сысоев был маленьким, круглым, будто футбольный мячик. Когда он выходил из-за обеденного стола, то у него на пиджаке отлетали пуговицы — так паренек набивал себя. Канищев же, напротив, был высоким, жилистым, с худым лошадиным лицом, рот постоянно растянут в каннибальской улыбке — от такого только и жди подвоха.

На вахту бригада заступила сразу же, едва прилетели на буровую. Во второй половине дня.

По дороге на буровую Ковалев поддел носком своего роскошного мехового сапога хилое деревце, похожее на прутик, растущее криво и приготовившееся уже загнуться, увянуть навсегда. Ковалев только приблизил его кончину. Тем не менее Канищев назидательно поднял палец вверх:

— Много леса — не губи, мало леса — посади!

Стали поднимать из скважины инструмент, надо было сменить долото, съевшее свои зубы в борьбе с земной твердью,— работа долгая, хлопотливая, нудная. Подходит Брагин к Ковалеву, старое зубило в руке держит, из бороды горелая спичка торчит, зубами зажата.

— Слушай, зубилом умеешь пользоваться?

— Если не умею, то научусь.

— А тут и учиться нечему. Надо только выбрать кувалду потяжелее — это главное.— Брагин, испол-

ненный мрачной озабоченности, нагнулся, пошарил рукою в деревянном закутке, где хранились молотки, кувалдочки, кувалды, вытащил увесистый металлический обабок, насаженный на буковую рукоять, сказал Ковалеву: — Вот такая, пожалуй, годится... Работа простая — бьешь с размаху по металлической шляпке.— Отдал кувалду Ковалеву, поднял зубило повыше, показал: — Это и есть шляпка, вот тулово, а вот острие.— Малоразговорчивый Брагин, похоже, произносил сегодня самую длинную свою речь.— Стучишь по шляпке, а острие на металле следы оставляет. Само. Разумеешь?

— А задание какое будет?

— Надо «свечи», которые мы из скважины вытаскиваем, римскими цифрами пронумеровать. Чтобы не было путаницы. Какая труба за какой пойдет, когда инструмент снова в скважину опускать будем. Не дай бог поменять одну трубу на другую.

— Ладно,— вяло отозвался Ковалев.— Пронумерую.

— Только пальцы себе не отбей,— предупредил Брагин. Хмыкнул: — Мики.

Значит, все-таки услышал Иринино обращение.

Крутится Ковалев вокруг мокрых, перемазанных глиною труб, тюкает по ним зубилом, а бригада вся за животы держится. Ковалев — насупленный, потный, с морковно-румяным лицом — все тюкает и тюкает зубилом по трубам, уже двадцатую «свечу» двумя римскими крестами нумерует. И до тех пор это тюканье продолжалось, пока Канищев, ходивший на рацию, чтобы связаться с экспедицией, не вернулся, не положил конец ненужному занятию.

Ровно через час Сысоев попросил Ковалева принести ему доску, тот молча кивнул в ответ, сохраняя на лице выражение достоинства — властного, начальнического,— чего Ковалев сам, может быть, и не замечал, освещаемый с детства лучами влияния, славы отца.

— Быстрее, быстрее! — поторопил Сысоев.— Не спи на работе, Мики. Шевелись, парень!

Доской на буровых называют приспособление для замены долота. Когда-то кто-то дал этому инст-

рументу такое «деревянное» прозвище, оно прижилось и существует на свете уже столько, сколько существуют буровые вышки.

Ковалев негнущейся, исполненной самоуважения походкой медленно спустился с буровой площадки, прошел к дощанику, где хранился инструмент, заглянул, ничего деревянного не нашел, завернул за угол сарайчика и через минуту выбрался оттуда, неся на плече кривой горбыль с длинными лохмотьями кожуры, свисающими с торца.

Кто-то на буровой не удержался, прыснул хохотком, но Сысоев толкнул несдержанного гражданина локтем в бок, предупреждая: молчи!

Хотя чего опасаться — дизель-то работает на всю мощь, сотрясает округу своим выхлопом; кряхтит, звякает ключ, тупо сжимая челюсти вокруг буровой трубы; саму площадку трясет, как палубу корабля, угодившего в свирепый шторм. Правда, навострились ребята: если не шепот, то, во всяком случае, нормальный голос в тяжелом металлическом лязганье различают без натуги. Новичок же такой слух пока еще не выработал, это приходит со временем.

Втащил Ковалев горбыль на буровой помост, бросил к ногам Сысоева. Тот сощурил непонимающие глаза.

— Я же тебя доску просил принести, дорогой Мики, а ты что приволок?

— Досок у нас нет, есть только горбыли.

Тут уж откровенный, забивающий лязганье и тарахтенье дизеля хохот заставил испуганно вздрогнуть сосенки и кедры вокруг буровой.

Ковалев обиженно поджал губы, начальственное выражение сползло с его лица, уголки рта задрожали, опустились вниз, и всем показалось, что новичок сейчас заплачет — вон и глаза уже краснотой набухли, начали поблескивать влажно, но все-таки Ковалев совладал с обидой. Насильно улыбнулся, а потом и захохотал.

— А чего, вполне возможно, что он излечится. Ей-ей. Если дело и дальше так двинется, то больной скоро пойдет на поправку,— резюмировал смех новичка Сысоев, и все согласились с ним.

Ковалев, похоже, ощутил настойчивость бригады, для которой время почему-то остановилось, когда она начала заниматься Ковалевым, понял насмешки Сысоева, дядюшки Кана и этого мрачного Лесовика с хмельной фамилией Брагин. И еще понял младший Ковалев: никакой папа здесь не поможет, хоть головой о землю бейся. И если эти мужики захотят сделать из него мальчика для битья — запросто сделают. Тягаться физически он с ними не сумеет — вон тут какие бугаи подобрались, пятак переломить пополам или на три части разделить подкову для них плевое дело. Попробовать задавить их интеллектом? Появилось поначалу у Ковалева такое желание, и заполыхал уже в душе опасный огонь мщения, но по обрывкам фраз, по разговорам, которые он слышал, по редким репликам, обращенным к нему, он вовремя сообразил: не светит ничего ему здесь, только шишки себе набьет.

Временами ему хотелось сжаться в комок, в сухой гриб обратиться, чтобы стать неприметным, чтобы на него никто внимания не обращал — посидеть так наедине с самим собой, может быть, даже и поплакать, понимая, что очищающие слезы наверняка принесут облегчение, это он знал точно,— но желание так и оставалось желанием: никуда Ковалев не исчезал, никуда не забивался, дальние темные углы обходил стороной и потому все время был на виду.

С какой-то особой, пронзительно-светлой печалью он вспоминал Ирину, в которую влюбился еще школьником. Она была старше, училась в девятом классе, он в восьмом. Отец был против его увлечения, говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, сын слишком молод, мал, зелен еще для нее, Ирина ведь уже сформировавшаяся женщина, а женщины любят сильных, зрелых мужиков, людей, которые старше их, и совсем не обращают внимания на своих одногодков или тех, кто моложе.

Девчонки всегда бывают старше, взрослее своих сверстников-мальчишек, это закон.

Но младший Ковалев с каким-то тупым, а впрочем, вполне понятным упрямством продолжал

стоять на своем: он любит Ирину, а она любит его. И когда они закончат учебу, получат высшее образование, то поженятся. Но вот как вышло: Ирина, довольно сносно сдав все экзамены, поступила в областной педагогический институт, Ковалев же замахнулся на Москву, на всемирно известный ВГИК, о котором мечтает каждый школяр, получающий аттестат зрелости. И, естественно, срезался. «Вгикнулся», как говорят во ВГИКе. Сдал документы в Институт театрального искусства — и тоже срезался. Хорошо, что экзамены в вузах Москвы проводятся в разное время, поэтому Ковалев попытался попасть в третий вуз — и опять неудача.

Вот тут-то и наметился разлом, Ирина стала на Ковалева смотреть как-то по-иному, не так, как раньше,— что-то холодное, незнакомое, заставляющее тревожно колотиться сердце, появилось в ее взгляде. Временами она вообще воспринимала Ковалева словно совершенно чужого человека.

Отец, замечая подобное, только насмешливо хмыкал: он, много поживший, имел опыт и в таких делах, знал и поражения и победы.

— ...Слушай, Мики.— Сысоев подошел к новичку, собрал озабоченные морщины на лбу.— Тут вот какая петрушка обозначилась: масло нам отработанное нужно. Из бура. Обратом мы его называем. Прокладки у дизеля надо смочить, иначе клапаны стучат и перегрев слишком большой. Сходи в сарай, там использованные буры лежат, будь другом, а! Нацеди баночку. Во как нужно!— Он чиркнул пальцем по горлу.

Ковалев не раз видел уже, как бур вытаскивают из земной глуби и какой он затупленный, забитый глиной, грязью, каменной крошкой. Бур будто сам из земли бывает сделан — и никаким отработанным маслом в нем вроде бы не пахнет. Нет в буре никакого масла! Нет и быть не может.

Молча кивнув в знак согласия, Ковалев отошел, пробормотал что-то недовольное про себя. Сысоеву показалось, Ковалев сказал: «Сейчас сделаю»,— но, видно, стекла очков, за которыми пряталось выражение ковалевских глаз, помешали Сысоеву сориентироваться, и он, похлопав себя по животу,

уминая плоть, чтобы не отлетели пуговицы, приготовился к очередному сеансу хохота. Подтолкнул плечом дядюшку Кана.

Прошло немного времени, и на тропке, ведущей от сарая к буровому помосту, показался запыхавшийся Ковалев — он возвращался назад, дыхание радужным, веселым облачком вспухало над ним.

— Масляный обрат минут через десять принесу, жестянку под бур уже поставил. Стекает. Только очень медленно,— пояснил Ковалев, потом совсем неожиданно спросил: — А масла нормального, неотработанного у нас много?

Сысоев наморщил лоб, обдумывая вопрос. Он не видел никакой опасности в этом вопросе. Да и разве новичок, салага-юнец, зелень огородная, осмелится нападать на него, матерого таежного волка?

— Масла? — переспросил он.— Полбочки найдется. А что, картошку жарить собираешься?

— Нет, думаю, кто это так неэкономно машинное масло расходует? Через выхлопа̀ из трубы во какой струей течет! — Ковалев с особым рабочим шиком произнес «выхлопа̀», скруглил пальцы обеих рук, показывая, какого размера струя хлещет из трубы.

Глаза у Сысоева сузились, он наморщил лоб, прикидывая: что же могло случиться с дизелем и кто виноват в этой беде? Потом в горле у матерого таежного волка забряцало что-то, будто он, не жуя, глотал, извините за выражение, гвозди, взгляд ожесточился, и Сысоев, вначале медленно, а потом все убыстряя и убыстряя шаг, двинулся к навесу, под которым находился дизель, нырнул в темную мрачноватую отдушину, оставленную откинутым в сторону брезентом,— дизель тщательно укрывали, берегли от снега, дождя, ветров: пока работает дизель на буровой — работает и сама буровая. Через полминуты Сысоев выметнулся из-за полога и, приставив к навесу лестницу, полез наверх проверить, все ли там в порядке.

Бригада ждала, глядя, как Сысоев, осторожно переступая ногами, чтобы не провалиться, перебирается поверху из одного угла навеса в другой, тщательно осматривая каждую из трех выхлопных труб. Такими шагами, наверное, только грибники по лесу

ходят, опасаясь спугнуть добычу,— не то ведь гриб, как услышит громкий топочущий шаг, скуксится, съежится от страха, спрячется под пологом лежалых листьев и травы, и тогда ни за что его не найдешь.

— Ну, чего, течет? — прокричал дядюшка Кан, вытянул худую, обвитую жилами шею и вдруг, звучно стукнув себя ладонями по коленям, захохотал.

Спустившись с лестницы задом, Сысоев неуклюже спрыгнул на деревянный помост и, неожиданно поняв, в чем дело, растянул рот в слабой недоверчивой улыбке.

Затем подошел к младшему Ковалеву, похлопал его ладонью по ватным, обтянутым телогрейкой плечам, словно проверял на крепость.

— Молодец, Мики, хорошо разыграл. Так держи и дальше. Толк выйдет... бестолочь останется.— Сысоев улыбнулся уже в полную силу, показал частые некрупные зубы, наклонился к уху Ковалева.— Вот что...— Ткнул пальцем вниз.— Совет тебе: обувку эту поменяй, слишком пижонская она. К таким сапогам уважения нет. Надень лучше простые кирзачи, в них и ходить, голуба, сподручнее и... чтоб один в пижонской обувке ходил, а остальные в разбитых кирзачах... Мужики наши не понимают этого. А с розыгрышем молодец! Чисто сработал. Один ноль в твою пользу.

Новичок покивал в ответ — он, судя по всему, действительно кое-что начал наматывать на ус.

Маленький, круглый, смешливый Сысоев принадлежал к категории людей, которые никогда не остаются в долгу. Даже в самых малых малостях не остаются.

На буровой подходил к концу запас бентонита — глины, которую используют для раствора. А без раствора, как известно, бурить нельзя, ЧП может случиться.

Бентонит был доставлен в бригаду вертолетом — пришел тяжелый, вяло свистящий в воздухе лопастями «Ми-6», снизился, пробуя площадку колесами — выдержит ли земля такую тяжесть, потом примерился окончательно, сел, увязнув в насте, заглу-

шил двигатель. Вначале из трюма с лаем выскочил Винт, потом оттуда выбросили груду бумажных мешков, похожих на коконы, Винт снова прыгнул в машину, вертолет загудел мотором, поднялся и улетел дальше на север.

Для вертолетных площадок место подбирают особое, почву пробуют, что называется, на зуб: будет ли земля держать тяжелую машину, не даст ли осадку, не раскиснет ли в дожди, хороши ли к ней подходы и подъезды, словом, выбор вертолетного пятака — целое искусство. И очень часто бывает, что вертолетная площадка находится не рядом с буровой, а где-нибудь километрах в двух-трех от нее: ближе подходящего места не удалось выбрать.

Так и здесь. Вертолетная площадка располагалась далеко от буровой, и за бентонитом надо было ехать на машине. Кому поручить простую, но трудоемкую работу? Естественно, кому. Новичку.

— На чем ехать? — спросил Ковалев, довольный, что наконец-то получил ответственное задание.

— На ЛПК, на чем же еще,— хмыкнул Сысоев.— Пойди к Канищеву, скажи, что ЛПК требуется для перевозки бентонита, пусть даст. Заводи агрегат и поезжай.

— Угу,— согласно покивал головой новичок Ковалев и потопал по черной, много раз хоженной тропке в балок, где жили и он, и Канищев, и Сысоев.

Дядюшка Кан сидел за столом, длинный, жилистый, какой-то кособокий, на корчагу похожий, и, надвинув на нос модные, в черепаховой оправе очки, заполнял буровой журнал. Увидев новичка, молча повел головою на стул: садись, мол. Новичок отрицательно помотал перед собой ладонью — некогда рассиживаться, дело надо делать.

Тогда дядюшка Кан, отложив писанину в сторону, поднял голову.

— Ну?

Ковалев ни капли не сомневался в том, что справится с ЛПК — это, должно быть, простейший механизм, которым может управлять каждый рабочий, тут водительские права совсем не нужны, поэтому новичок уже нутром своим, кожей ощущал тот сла-

достный момент, когда сядет за руль этого ЛПК, заведет мотор и — р-р-р! — укатит на вертолетную площадку. Ковалев кашлянул, прочищая горло, чтобы голос был будничным, не выдавал истомы ожидания, внутренней напряженности и одновременно чтобы в нем серьезность присутствовала.

— ЛПК надо, мастер. На вертолетную площадку съездить, бентонит привезти.

Дядюшка Кан крякнул, на лице у него возникло какое-то суматошное движение, удивление сменилось обидой, потом лукавством. Крякнув во второй раз, Канищев приставил ко рту кулак, потом ухватил себя за подбородок.

— Кто тебя за ЛПК послал? Сысоев, что ль?

Немного помедлив, Ковалев кивнул.

— А что такое ЛПК, ты знаешь? — Канищев засмеялся.

— Ну... машина!

— М-машина,— передразнил новичка дядюшка Кан.— ЛПК — это, почтеннейший, лебедка для подъема керна. Пора бы, черт возьми, знать. И ни руля, ни колес она не имеет. С таким же успехом можно съездить за бентонитом верхом на жерди или на бочке из-под солярки. Все едино. Понятно? — Снова крякнул, на сей раз изобразив досаду.— Нашли время для розыгрышей! Это все-таки работа, а не вечер отдыха, где можно веселиться как кому вздумается.

Понурым, уязвленным возвращался новичок на буровую, поддевая носками сапог смерзшиеся комки снега, деревяшки. Потом остановился, поглядел на сапоги, подумал, что, пока он не станет таким, как все, не сравняется с этими мужиками-лесовиками в простоте, дружелюбии, способности реагировать на удачу, поражение, победу, потерю, насмешку, он будет в бригаде чужим. Вечным новичком, которого ждут в основном подзатыльники, а не радости. Вздохнул тоскливо, протяжно, жалея прошлое — безоблачные школьные дни, вечера, проведенные вместе с Ириной. Все это теперь позади, с этим надо раз и навсегда попрощаться. Потому что настала иная пора в жизни. Новая.

Пройдет время, и от прошлого останется одно пепелище, сколько мы о нем ни вздыхай, сколько

ни сожалей — да, собственно, жалеть и не надо, ибо и настоящее и будущее покоятся на фундаменте прошлого.

Ковалев вздохнул глубоко, пытаясь отогнать от себя тоску, отмести все, что вгоняло в сентиментальность, расслабляло, подумал, что неплохо бы — да какое там неплохо, здорово, невероятно здорово! — быть жестким, умным, ироничным человеком, способным реагировать холодно, философски-спокойно на любой удар судьбы, на любую насмешку. Надо учиться повелевать собой, без этого просто жизни дальнейшей не должно быть!

На буровую Ковалев пришел именно таким, каким ему хотелось быть: холодным, философски-спокойным, не реагирующим ни на какую подначку.

А мужики на буровой уже ежились от предвкушаемого удовольствия. Завидя новичка, начали хмурить лица, чтобы хоть как-то сдержать улыбку, не выдать ни себя, ни Сысоева, затеявшего очередной розыгрыш.

— Чего так быстро? Уже привез бентонит? Ай да Мики! — удивился Сысоев, приподнял брови, потом взглянул на часы.— Да нет, шер а ми, никак не должен ты был вернуться. По времени рано еще.— Вдруг всплеснул руками: — Это надо же! Жмот Канищев не дал тебе ЛПК, чтобы на вертолетную площадку за бентонитом съездить. Ну и жмо-от у нас товарищ Канищев!

— Не жмот он, а, извините, рачительный хозяин, государственную технику бережет,— тихим, ничего не выражающим голосом возразил Ковалев.— Да потом там поломка стряслась — правое заднее колесо спустило, надо шину залатать, а это дело, как сказал товарищ Канищев...— новичок изменил голос, подражая Канищеву: — ...можно только специалисту доверить. Потому он и просил вас,— Ковалев церемонно поклонился Сысоеву,— прийти и заняться ремонтом.

Вот так и шло обкатывание новичка Ковалева.

Через двадцать дней на вертолетной площадке приземлился новенький аэрофлотский «Ми-4», яркий, как пасхальное яйцо, крашенный в светлый, с жемчужным посверком колер, с синей полосой,

продолженной вдоль обоих бортов, совершенно не похожий на запаренные, замызганные вертолеты-трудяги, которые возили в тайгу мазут и солярку, бентонит и бурильные трубы, жратву и вахтовые бригады. На чистеньких вертолетах летает в основном начальство, гостей возят, сибирские красоты им показывают. И верно — прикатило начальство: Ковалев-старший.

Ковалев-младший, придя с ночной вахты, в это время спал в хижине дядюшки Кана.

Ковалев-старший, узнав, где располагается сын, прошел прямо в балок, долго сидел у его постели, сосредоточенный, молчаливый, с горестными морщинами, обметавшими сухой крепкий рот, с набрякшими усталостью веками. Было видно, что это уже изрядно потрепанный временем, задерганный всеми и вся человек. Он, похоже, сейчас расслабился и стал самим собой; не верилось даже, что Ковалев-старший может быть веселым, жестким, неуступчивым, волевым, насмешливым,— сидел совсем домашний, измотанный начальством, гостями, морозами, городскими неурядицами мужик. О чем он думал сейчас? Вряд ли об этом мог кто-либо знать. Кроме него самого.

В хижине дядюшки Кана пахло мокрыми портянками, плесневелой кожей исшарпанных о мокрый снег сапог, мазутом от промасленных телогреек, которые на манер седел были положены на хребтину длинной, неровно склепанной трубы, ведущей к печушке. Спал не только новичок Ковалев, спала вся хижина дядюшки Кана — и сам Канищев, и круглобокий храпун Сысоев, и мрачный таежник Брагин.

Ковалев-старший вздохнул, всплывая на поверхность. На лицо его наползла улыбка, горестная плетенка вокруг рта убралась, проступил румянец. Он тронул Ковалева-младшего за плечо.

— Сын, вставай!

Тот, среагировав на зов, нехотя шевельнулся во сне, отодвинулся к стенке, снова затих. Ковалев-старший опять подергал его за плечо.

— Вставай, сын, вставай, дорогой.

На этот раз подействовало. Ковалев-младший приподнялся, сел на постели, не открывая глаз, по-

крутил лохматой, в висюльках отросших волос головой.

— Чего случилось? — пробормотал он хриплым голосом.

— Ты что, не узнаешь меня? — тихо спросил отец.

Ковалев-младший вскинулся, сонная одурь мигом слетела с него, в глазах обозначился ясный свет радости.

Отец сейчас узнавал и не узнавал сына. Надо же, три недели не было его — всего три недели, а как сын изменился! Впрочем, ему все равно было суждено измениться. Но если бы это происходило на глазах, было бы не так заметно. А здесь — вон какой резкий переход.

Ковалев-младший растянул рот в счастливейшей улыбке. Для него сейчас перестало существовать все. Кроме отца.

— Как ты здесь живешь? — вполголоса спросил отец, оглянулся, посмотрел на сложившегося вдвое, словно ребенок во сне, Канищева, лежавшего на соседней койке, перешел на шепот: — От работы не умираешь?

— Труд сделал из обезьяны человека,— с неожиданным высокомерием произнес Ковалев-младший.— И ничего, не умерла макака, когда ее преображали...

Отец усмехнулся.

— Месяц назад ты, увы... не того мнения был. В институт не тянет?

— Тянет,— признался Ковалев-младший.

— На будущий год поступишь. Курить здесь у тебя можно?

— Кури. У нас в балке все дымят.

— Коллектив не обижает? Новичков ведь не сразу признают.

— Не сразу,— согласился Ковалев-младший.— Коллектив? — немного подумал, покачал головой.— Нет, не обижает.— Потом внимательно поглядел на отца и, несмотря на маску веселости, начальственного дружелюбия, родительской заботы, которая была прочно припечатана к лицу Ковалева-старшего, уловил в его взгляде что-то горькое, растерянное,

не характерное.— Ты чего это вокруг да около ходишь? Что-нибудь случилось? А? Скажи!

— Чего говорить? — Ковалев-старший полез в карман, немного помедлив, достал оттуда конверт.— Это тебе. Читай!

— От Ирины? — изменившимся голосом спросил Ковалев-младший.

— Нет, от Венеры Милосской,— жестко проговорил Ковалев-старший, но, почувствовав, что жесткость ни к чему, порывисто наклонился к сыну, прижал его к себе, ощутил, как у того где-то далеко бьется сердце.

Какая-то немужская слезная жалость стиснула горло, мешая дышать. Ковалеву-старшему показалось, что каждая часть его тела живет сама по себе, отдельно, и каждая часть эта поражена тупой, ноющей болью, умирают клетки, и час от часу этих мертвых клеток становится все больше и больше, они замусоривают организм, мешают клеткам живым. Ковалеву-старшему было сейчас больно за сына. Он заговорил, стараясь придать голосу бодрый оттенок, но это у него не получилось, все равно он никак не мог скрыть тоску и сочувствие в голосе.

— Понимаешь, малыш, в жизни не раз приходится выходить на длинную дистанцию, брать барьеры, и очень часто в этом беге с барьерами,— он усмехнулся печально, в себя,— мы теряем друзей. Одни оказываются слабаками и покидают нас в трудную минуту, другие делают перерасчет и находят людей, попутчиков, так сказать, более выгодных, чем мы, третьи просто перестают любить нас. Но не надо жалеть ни о первых, ни о вторых, ни о третьих. Надо просто научиться воспринимать потери. Ибо, извини за банальность, жизнь состоит не только из одних приобретений. Иначе бы она была сплошным рождественским пряником или сверкающей новогодней игрушкой.

Ковалев-старший, умный человек, понимал, что говорит избитое, тысячу раз уже произнесенное другими, мучился из-за этого и вместе с тем чувствовал, что не произносить эти банальные слова нельзя. В конце концов любая истина банальна. Она так из-

нашивается от бесконечных повторений, что ее время от времени надо чинить, как прохудившуюся одежду. А с другой стороны, Ковалев-старший говорил все это для того, чтобы заглушить собственную маету, боль, поднявшуюся в нем. Боль за сына.

Сын вскрыл конверт, бросил его на пол, прочитал записку.

Подглазья у него буквально вымерзли, сделались белыми, как снег. Белые пятна пошли и по щекам.

Когда Ковалев-младший поднял глаза, в них плескалась мука.

— Извини, сын, что привез тебе такую худую новость. Извини.

— Ты здесь пролетом, отец? Или специально приехал? — пересилив себя, сухим и спокойным, абсолютно ровным голосом спросил Ковалев-младший.

— Я транзитный. Дальше, на север, лечу. Здесь посадку из-за тебя сделал.— Ковалев-старший помолчал. Признался: — А ты изменился, сын.

— К худшему или к лучшему?

— К лучшему.

— Значит, ты был прав, что послал меня сюда, в тайгу, а не оставил в городе.

— Не знаю, не знаю.

На соседней койке зашевелился Канищев, всхрапнул, переключаясь с одного сна на другой, попытался вытянуть ноги, но койка была короткой для рослого таежника, и он уперся пятками в стенку.

— Тс-с-с,— забеспокоился Ковалев-старший,— мы его разбудим.

— Не разбудим. После ночной смены мужики всегда спят как убитые.— Тут Ковалев-младший ударил кулаком по колену, потряс лохматой головой.— Надо же, а! А я ведь любил ее, батя, верил ей...

— Не надо! Не раскисай, как огурец в рассоле. Держи себя в руках!

— Не бойся. Ручей не выплеснется из берегов,— произнес Ковалев-младший манерно. Все-таки он совсем еще пацаном был.— Не расплачусь,— выдавливал тем временем сын из себя слова,— здесь, в тайге... меня за это время кое-чему научили.

— За двадцать-то дней? — удивился отец. Посмотрел на часы.— Все, сын, мне пора лететь,— не-

ловким сострадающим голосом сказал он.— Извини, ради бога. Люди ждут.

Ковалев-младший молча кивнул, запрокинул голову назад. На шее у него запрыгал, забегал какой-то маленький, хрупкий, вызывающий жалость щенячий кадык, и Ковалева-старшего будто пламенем обожгло: ведь это же сын, его родная ветвь, плоть от плоти, кровь от крови, сы-ын, за которого он в ответе и перед людьми, и перед землей, и перед самим собой. Сыну сейчас плохо, а он его оставляет?!

Не-ет, в сторону слезы, в сторону сантименты, надо держаться. В следующий миг он уже подтрунивал над собой, потом хотел было сказать Ковалеву-младшему какие-то успокаивающие, необязательные слова типа: «Подумаешь, юношеской любви лишился, у всех первая любовь проходит, дотла сгорает. Не ты, сын, тут первый, не тебе и последним быть. Никакой трагедии в этом нет»,— но не произнес этих слов, ибо они тоже были примитивны и пошлы.

— Иди, отец, тебя ждут,— глухо проговорил Ковалев-младший.— Не бойся за меня.

Ковалев-старший, ни слова не говоря, вышел. Едва за ним захлопнулась дверь, как на своей койке-маломерке подпрыгнул дядюшка Кан. Уставился мрачно на новичка. Когда тот сделал движение, чтобы пояснить происшедшее, Канищев остановил его.

— Я все слышал. От и до.— Дядюшка Кан неожиданно вздохнул.— Не надо мне ничего объяснять. Ушла — и хрен с нею! Мы, когда увидели ее на аэродроме, сразу поняли: красавица эта, увы, уйдет. Она же по меньшей мере на пятнадцать лет старше тебя.

— Не на пятнадцать, а всего на полтора года.

— Это материальная, так сказать, разница. А есть еще разница психологическая. Эта девочка намного переросла тебя. И если бы ты на ней женился, дурачок этакий, она бы тебе через полгода начала рога наставлять. Извини, почтеннейший, за откровенность.— Увидев, что новичок сжал кулаки, Канищев предостерегающе поднял руку.— Такое уже тысячу раз было.

Ковалев-младший неверяще помотал головой.

— Женщина — самое непонятное существо на свете,— назидательно произнес дядюшка Кан.— И не крути котелком, не возражай. Я старше тебя. И, значит, опытнее. Ты думаешь, почему я уехал из Москвы? Романтика потянула? Туман и запахи тайги привлекли? Пустое все это, гитарный звон. У меня тоже была любимая девушка и тоже бросила. Увлеклась другим и, даже не выйдя еще за него замуж, умудрилась родить ребенка. Каково мне было это, а? Вот и не сумел проглотить я пилюлю, уехал.

Ковалев-младший недоверчиво посмотрел на дядюшку Кана.

— Да, да,— подтвердил тот.— Было такое, было. А с твоей разлюбезной что? Стихи о любви другому читает? Характером не сошлась?

— Ничего.— Новичок приподнял письмо, держа его двумя пальцами, потом разжал пальцы, и письмо упало на пол, легло рядом с конвертом.

— Выбрось ее из головы. Она же не тебя любила, а положение твоей семьи... Влиятельный, популярный в городе отец, черная «Волга» и все такое. А сейчас нашла другую черную «Волгу».— Дядюшка Кан встал, прошлепал босыми ногами по холодному полу к новичку, сел рядом с ним.— Может, спирта немного дать? У нас хоть и сухой закон, но для таких случаев всегда заначка имеется. Выпьешь?

— Не надо,— покачал головой новичок. Он сейчас совсем не узнавал дядюшку Кана, которого, честно говоря, боялись многие в бригаде, в том числе и он, Ковалев-младший. А выходит, и бояться было нечего — вон какой Канищев простой, «ручной», такой же, как и все, уязвимый.— Может, мне к ней слетать?

Дядюшка Кан посмотрел на него.

— Не будь слабаком! Посиди лучше здесь, среди ребят пообтирайся, поживи немного, и все пройдет. А полетишь на свидание к ней, боль твоя только обострится. Так припечь может, что криком кричать будешь. Поверь мне. Сам все испытал. И не на комнибудь, на себе.

Ковалев-младший закрыл глаза, качнулся на кровати, выпрямился, потом его снова повело в сторону. Он словно наяву увидел Ирину — красивую, с прямыми волосами, глазами сочного темного цвета, в столичных замшевых сапожках, в модном узком пальто — и чуть не застонал. Вспомнив, что рядом находится Канищев, зажал зубами стон. Конечно, то, что он стал работягой, буровиком, таежным бродягой,— это для Ирины не приметы успеха. Но почему она судит о нем только по сегодняшнему дню? Почему не хочет заглянуть в завтра? Жить, что ли, торопится? Эх, Ирина, Ирина... Он опять помотал головой, погружаясь в самого себя, в какую-то полуявь-полудурь, теряя способность видеть и слышать. Очень часто мы в минуты боли ныряем в душевный подвал, чтобы превозмочь, переждать там худое время, одолеть беду и обиду.

На следующий день дядюшка Кан собрал бригаду, оглядел каждого из сидящих, проговорил:

— Вот что. Больше ни единого розыгрыша, понятно? Парню надо помочь удержаться на ногах.

Все промолчали — согласились с дядюшкой Каном.

ВИКТОР РОЗОВ

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ»

Я звоню из Ялты Евгении Николаевне в Москву. Занято, занято, занято... Телефон, что ли, черт его побери, там испорчен, весь день одни короткие гудки. Сую пятиалтынный обратно в карман. Позвоню завтра, авось, повезет. И завтра в девять утра набираю номер. Ого, повезло, длинный гудок! Слышу «Алло!» Нажимаю кнопку.

— Евгения Николаевна, это я, здравствуйте!

И звонкий молодой голос радостно кричит:

— Виктор, дорогой, здравствуйте! Ну, как вы там, как самочувствие?

— Я вчера звонил вам, но у вас, видать, телефон был испорчен, все было занято.

— Нет, нет,— хохочет Евгения Николаевна,— это меня поздравляли, мне вчера исполнилось семьдесят пять лет.

— Ай-яй-яй, а я и не помню! Но недаром интуиция меня просто не отпускала вчера от автомата. Как здоровье?

Вопрос мой не был казенным. Уезжая из Москвы, я заходил на Окскую улицу к Евгении Николаевне и знал, что она прихворнула.

— Все отлично. Врачи сказали — могу ехать в Коктебель.

Коктебель. Я никогда там не был, но от многих слыхал, что эта маленькая точка Крыма обладает магическим свойством: раз побывавшего там какой-то тайной силой тянет обратно. Для Евгении Николаевны два святых места на земле — Пушкинские горы и Коктебель. О Михайловском, Тригорском, Святогорском монастыре задолго до того как я сам побывал там, Евгения Николаевна рассказывала с восторгом, с неизъяснимым воодушевлением. Нет, нет, она не говорила, она пела божественную арию, гимн Пушкину! Каждой тропинке, по которой ходил поэт, каждому пейзажу и даже дереву, которое он мог видеть, каждому предмету, которого мог касаться, каждой ступеньке, по которой могла ступать его нога. Когда я позднее побывал в тех краях, и я прикоснулся к дивному диву, но все же не так чисто и воодушевленно. Очень мне все показалось замузеенным, будто я ходил среди декораций оконченного, но не виденного мной спектакля. Только поля и дали, и великая могила. Мы — жена, дети и я — молча постояли у надгробия. Я потрогал чугунную ограду рукой, и святое чувство тоже посетило нас.

Для Евгении Николаевны все было живым. Ей казалось, что вот еще мгновение — и из дома или из-за того поворота выйдет сам Александр Сергеевич с неизменной тростью в руке.

И Коктебель, он тоже овеян поэтами. Кто только не бывал у Максимилиана Волошина!.. Крымский Парнас!..

— Виктор, мы с Наташей (дочерью) приедем в конце месяца. Если вы будете еще в Ялте, заезжайте к нам. Вы обязаны побывать в Коктебеле!

А через несколько дней утром, когда я снова собрался позвонить Евгении Николаевне, жена остановила:

— Не надо. Я не хотела вчера на ночь говорить тебе, ты бы не спал. Случилось большое, большое горе, Евгения Николаевна умерла. .

А теперь постараюсь по порядку. Евгения Николаевна Перкон — моя учительница русского языка и литературы в театральной школе при Московском театре Революции, куда я поступил учиться в 1934 году. Появление в классе (может, надо бы сказать —

в аудитории, но, поскольку это все же была школа, я иногда и буду придерживаться школьной терминологии) каждого преподавателя было событием особым. Как выглядит, как держится, какой голос, тон, во что одет. Молодые глаза цепкие, все видят, все с ходу оценивают безапелляционно.

Величественная и уже седая, Елизавета Федоровна Саричева — преподаватель техники речи — вошла, и сразу все поняли: тут шутки плохи. И голос красивый, но будто из металла большого удельного веса, и осанка, и нешуточный взгляд. Недаром мы потом все годы перед ее приходом в класс выставляли вестовых вдоль лестниц и коридоров, и те по цепочке передавали: «Саричева идет! Саричева идет!..» Мчались опрометью, и к ее приходу в классе стояла тишина. Боялись и любили. Замечательный педагог! Лично я, явившись с жидким, болтающимся голоском, да еще со знаменитым костромским «оканьем», ровно через полгода приобрел нормальный человеческий русский выговор и голос, которым можно было без особых усилий говорить внятно, на всю ивановскую. Правда, и занимался я самостоятельно по три-четыре часа в сутки минимум.

И совсем молодой Григорий Нерсесович Бояджиев, сам только что окончивший ГИТИС, но неведомо откуда набравший большую внутреннюю силу, умеющий тихо, но твердо держать нашу ораву в узде, в то время как сам мерными шагами прохаживался по проходу меж нашими учебными столами и ровным, но втягивающим куда-то в глубь веков голосом ведал об истоках театра, о Дионисиевых действах, о боге Аполлоне... Кстати, от него и даже, кажется, именно на первом уроке я впервые услыхал ошеломившую меня тогда мысль, что религия в своем зарождении была фактором прогрессивным в истории развития человеческой цивилизации. До этого я твердо и категорически знал, что религия — опиум для народа. И только! Ничего положительного в ней быть никогда не могло, только опиум,— и вдруг... И уже все годы лекции его мы слушали с преогромным интересом. Он не только излагал историю театра, он развивал наш ум, делал его способным и к самостоятельным движениям.

И Мария Степановна Воронько, преподаватель танца, бойкая, острая, динамичная, бившая нас своей маленькой, но хлесткой рукой по мягким частям тела довольно звонко, если кто нескладно выполнял то или иное движение. Я не люблю, когда меня бьют, но когда била Мария Степановна, единственное, чего я боялся,— громко расхохотаться.

И тихий Троцкий, вскоре сменивший фамилию на Троицкий, так как со старой фамилией жить стало трудно, даже неприлично. И... Нет, я сейчас не смогу рассказать обо всех наших учителях, это просто слишком далеко уведет меня в сторону. Это я сделаю, может быть, потом. Даже о Марии Ивановне Бабановой, руководительнице и звезде нашего курса, хоть и распирает меня рассказать, но промолчу, тем более что критик и театровед Туровская написала о Бабановой, говорят, изумительную книгу, и я жду, когда эта книга появится на свет и я смогу насладиться чтением ее.

Евгения Николаевна вошла в класс легко, порывисто, обвела нас своими карими глазами и голосом, таким же звонким, каким я слыхал его на следующий день после ее семидесятипятилетия по телефону из Ялты, назвала свое имя, отчество, фамилию и предмет, который будет преподавать. Молоденькая, худенькая брюнетка. Небольшое личико с большими глазами. Но что подействовало на всех, как особая странность, это — вся в черном. Платье черное, чулки черные, туфли тоже и к тому же черные волосы. Что это? При ее субтильности — для веса, для строгости, для устрашения? Ну просто траур. Даже неприятно. Молодые души требуют света, они жестоки, им только свет подавай. Очень хорошо у Лермонтова сказано: «...с жестокой радостью детей». Жестокая радость детей — это еще совсем не изученный психологический феномен. Они вешают кошку или отрубают лапы живому голубю, и им весело. Жестокая радость. Ах, если бы понять ее, понять и уметь воздействовать! Ведь слова, уговоры, ласки, угрозы, логика, убеждение — все перед ней бессильно, даже милиция, даже исправительно-трудовая колония. Мы боремся с этой жестокой радостью, но, увы, не знаем, с чем боремся. Это все равно что бо-

роться с крапивой, обрывая ее стебли, а, глядь, уже из земли всходят новые побеги, корней-то мы и не знаем, без конца обрываем побеги, и только...

Вся в черном. Позднее мы узнали, в чем дело. Совсем незадолго до прихода в наш класс Евгения Николаевна потеряла мужа и почти одновременно — младшую дочь. Недаром в ее голосе все же были какие-то чуть надтреснутые интонации. Нам казалось, что она старалась, а она — преодолевала. Стоически преодолевала. Это была мужественная женщина. Недаром с детства она жила в кругу интеллигентов-революционеров, суровых борцов за правое дело, тех самых, о которых мы теперь только читаем в книжках. Евгения Николаевна часто сопровождала уже пожилую Фигнер в ее прогулках в Подмосковье, где легендарная женщина жила на отдыхе. И на прогулках беседовали, беседовали... Было у кого учиться мужеству.

Литературу раньше преподавали не так, как сейчас, начиная с летописей, а прямо с Пушкина. Считалось, до Пушкина уж такая царская, никому не нужная ерунда, что нечего ею и забивать молодые вольные головы. Да и истории не было — ни в костромской школе, ни тут, в театральной. В школе было обществоведение, но ведали нам об обществе крайне бегло. Степан Разин, Пугачев, осторожно — декабристы и уж более подробно — от народовольцев до Октябрьской революции. Нам казалось, что история и начинается именно с Октябрьской революции. В те и еще более ранние годы учили нас по-новому. Все старое рушилось до основания. Сносили не только памятники царям и церкви, но и старые порядки. Всюду! В том числе и в школе. Искали новые формы. Что ни год — новые. Как только мы не остались круглыми дураками, непостижимо! Видимо, оттого, что была все же в этом новом какая-то живинка, задор, занятность.

Ну, например, решили перевернуть всю старую систему отметок. Если в царской школе высший балл был 5, а низший — 1, то у нас, наоборот, 1 — высший балл, а 5 — самый гадкий. Но это наивное новшество продержалось недолго. Решили усовершенствовать. Каждый ученик обязан был иметь кусок

миллиметровой бумаги размером 10 × 10 сантиметров. Посреди этого листа проводилась прямая линия, она обозначала пятьдесят процентов, а далее учитель тебе ставил отметки на этом листе: допустим, выше пятидесяти на два сантиметра, это значит, что ты успеваешь на семьдесят процентов, или ниже на два с половиной сантиметра, значит, учишься ты всего на двадцать пять процентов. Ох, и морочили же нам голову — да, наверно, и учителям — эти оценочные нюансы! К тому же вычерчивать кривую надо было по всем предметам. Караул! Нет, недолго занимались мы этой геометрией [1]. На смену ей, как разрядка от большой утомленности, пришли всего две оценки: уд (удовлетворительно) и неуд (неудовлетворительно), и все. Так, у меня в школьном удостоверении (конечно же, нового слова «аттестат» тогда и в помине не было) стоят одни «удочки».

И Дальтон-планом нас закаляли, и бригадным методом, и Советом Школьной Коммуны (СШК). На радость и удивление современным школьникам поясню коротко. Дальтон-план — это когда ты сам выбираешь себе, в какой класс ты хочешь сегодня идти. Хочешь — физика, хочешь — обществоведение, хочешь — химия... Хочешь — совсем не ходи, но за четверть сдай экзамены. Хорошо еще, что мы были ребята уж не совсем пустые и соображали, что с утра на свежую голову надо посещать уроки потруднее — математику или физику, а уж потом, на конец оставлять обществоведение или предмет по уклону. Уклон — это по-современному школа с определенным профилем — математическая или гуманитарная,— но не совсем. Я в Костроме учился в двух школах. В девятилетке с товароведческим уклоном, и нас учили считать на счетах, это была самая сложная счетно-решающая машина того времени, различать дебет и кредит, знать, что такое сальдо и... проходить практику в магазине, торговать. А когда (новый эксперимент!) решили все девятилетки — их в

---

[1] Уже когда я написал эти строки, перечитывая Лескова, натолкнулся на совершенно подобное: ретивый, но дурной директор петербургского лицея в двадцатых годах прошлого века пытался тоже ввести эту стобалльную систему.

городе было четыре — ликвидировать и сделать только семилетки и нас, перешедших уже в девятый класс, из всех четырех школ согнали в две, и мы порой не умещались в классах, а стояли в дверях, то в новой школе был пожарный уклон, то есть мы должны были освоить пожарное дело и проходить практику в пожарном депо. Скажу честно, если я умею считать на счетах и сейчас, то пожарное дело забыл начисто, на каланче не дежурил и пожары тушить не умею. Да уж и некогда было — школа кончалась.

Бригадный же метод обучения совсем был хорош. Класс разбивался на бригады по пять человек, на вопрос учителя из бригады отвечал один, отметка же ставилась всем. Так как чаще всего мы знали, о чем будет идти речь, то учил задание один, а всем предоставлялась вольная воля. Бригады составлялись примерно таким способом: два ученика поспособнее, три — потупее.

А Совет Школьной Коммуны — это уж была самая прелесть. Он выбирался из учащихся, и они-то заведовали всей школой. Могли изгнать любого учителя, если он ученикам приходился не по вкусу. Должен сказать, что учителя знали это, побаивались учеников крепко и вели себя хорошо.

Пусть весь этот экспериментальный кавардак не покажется современным молодым людям кошмаром. Нет, жили мы весело, дружно, водки не пили, любили нежно, увлекались спортом, читали запоем, не пропускали ни одного фильма. Мне даже кажется, что современная школа чересчур обременительна и скучна. Теперь в школе и бегать-то по коридорам нельзя. А мы, как только пулей вылетали из класса, сразу же, точно бешеные, начинали играть в любимую нашу чехарду, в большую переменку — в мае и сентябре — успевали сбегать выкупаться в Волге. Я считаю это правильным. За длинный школьный урок в подростке накапливается так много потенциальной, чисто физической энергии, что она за перерыв должна выплеснуться в кинетическую, тогда и спокойно посидеть захочется и даже немножко послушать учителя...

Когда мой сын учился в пятом классе, произошло «страшное ЧП». Группа учеников, в том числе и мой

сын, опрокинула графин с водой, а из класса французского языка, где они занимались, исчезло несколько журналов. Так как ученики упорно не признавались, кто из них украл злополучные журналы, были вызваны родители. Вот сценка допроса.

Молоденькая, но уже растолстевшая, почти шарообразная учительница обводит злыми счастливыми глазами (это уж взрослая злая радость) выстроившуюся пятерку преступников и обращается к одному:

— Витя, вот ты мне откровенно скажи: ты плохой или хороший?

Вопрос поставлен, как говорится, ребром. Я чуть не задохнулся от восторга. Интересно, как ответит мальчик. Ведь это же из тех вопросов, которые не имеют права на существование. Если Витя скажет «я хороший», значит, он подлец, если ответит «я плохой»,— гадкий лицемер. Я не имею права вмешаться и снять вопрос, я сам подсудимый. Смотрю на Витю, жду. Губенки его дрожат.

— Что же ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты хороший или ты плохой?

И Витя (о чудо, о мудрая мать-природа!) робким и тихим, как полет бабочки, голосом произносит:

— Я не знаю...

Я в восторге!

— Что значит, ты не знаешь? — вскипает учительница.— Нет, ты мне ответь: ты хороший или ты плохой?

Пауза. Томительная пауза. О господи, Витя, да минует тебя чаша сия! И Витя повторяет еще более робко, но не без твердости:

— Я не знаю.

Ура, Витя, ура!

И тогда учительница подает совершенно блестящую реплику:

— Что значит, не знаешь? Вот я про себя могу сказать...

Ну, ну, скорей скажи, порадуй! Приведи в восторг. Но, видимо, и в учительнице в этот миг срабатывает — хоть и изуродованный — природный механизм, и она осекается.

— Ну, хорошо,— продолжает она,— тогда ты мне ответь, почему ты в первом классе был один, а теперь другой?

О боже! И это не просто в школе, это в специальной с преподаванием некоторых предметов на французском языке.

Глаза Вити вылезают из орбит, и он выпаливает свое знаменитое «не знаю». Осмыслила или не осмыслила свой вопрос в это время учительница, но тут же задала другой, попроще:

— Ты самоанализом занимаешься?

Витя вздрогнул, как от щелчка, и, видимо, спутав это слово с другим, с испугом произнес:

— Нет, не занимаюсь.

— Напрасно. Вот я занимаюсь,— с какой-то даже удалой лихостью и гордостью сказала учительница.

Ах, дорогая! Если ты занимаешься этим самым самоанализом, то, может, описанная мной сценка поможет тебе в столь благословенном деле.

Графин с водой действительно был пролит, а журналы, как выяснилось, лежали в другом шкафу. Витя теперь кинооператор и даже пробует писать пьесы. Учительница, к сожалению, наверное, продолжает учить детей.

Я позволил себе сделать это отступление потому, что я же пишу об учительнице, о своей любимой учительнице Евгении Николаевне.

На первом же уроке Евгения Николаевна дала нам задание: «Пусть каждый напишет сочинение на тему «Мой самый счастливый день в школе». Мы отдали свои работы. Евгения Николаевна рассказывала нам о Пушкине и плеяде его современников, а в следующий урок разобрала и наши труды. Обращаясь ко мне, она сказала: «Вы написали очень хорошо, но я совершенно не верю, что это и был ваш самый счастливый день в школе, решительно не верю.— И, уже обращаясь ко всему курсу, Евгения Николаевна добавила: — Он написал, что самый счастливый день в школе у него был, когда школа горела».

Я действительно довольно подробно написал, как однажды мы с моим приятелем Юрой Кудряшовым еще в утренних зимних сумерках брели в школу и вдруг увидели дым. «Эх, если бы это школа горе-

ла...» — одновременно произнесли мы почти молитвенно и продолжали путь. Чем ближе мы подходили к нашей 4-й девятилетке имени Фридриха Энгельса, тем учащеннее начали биться наши сердца. Ленивый шаг ускорили, а потом перешли на бег. И, о чудо, из окон нашей школы валит дым и даже взлетают языки золотого пламени. Нет, не только мы злодеи, но и все ученики, кто подошел к школе, прыгали на снегу и глаза их горели, может быть, той самой детской жестокой радостью, о которой я уже говорил.

Евгения Николаевна, стараясь сделать самое осуждающее лицо, потрясла в воздухе моим сочинением и, обращаясь ко всем, произнесла:

— Друзья мои, ну, скажите, что это?!

И чей-то мужской басок ответил:

— А что? Нормально!

И вдруг лицо Евгении Николаевны осветилось, глаза вспыхнули огоньком, углы губ дрогнули. Она как-то по-мальчишески махнула рукой и сказала:

— А ну вас!

Подошла к моему столу и шлепнула на него тетрадку. Я глянул в конец сочинения. Там красным карандашом было написано: «Отлично». В то время было четыре отметки: плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично.

Нет, мы не сразу приняли нашу учительницу русского языка и литературы. Тон ее лекций был, как нам казалось, несколько выспренним, аффектированным. Она часто употребляла слова «юноши», «девушки», в то время когда это казалось несколько допотопным и буржуазным, потому что мы были не юноши, а парни, ребята; девушки же назывались девчатами.

Но я любил литературу уже давно и потому лепился к Евгении Николаевне. Позднее не только я, но и все мы поняли, что казавшиеся нам выспренними слова Евгении Николаевны не носили и тени театральности, а выражали существо ее отношения к жизни, обостренность восприятия мира. Она умела не только негодовать — эта нехитрая эмоция доступна большинству, она умела восхищаться и ликовать, а уж это счастье дано не каждому. Да простят мне высокопарность метафоры — она пила кубок

своей жизни с наслаждением глоток за глотком, и преподавание литературы было не трудом ее, а счастьем.

Особенно она чувствовала поэзию. Мне даже кажется, что Евгения Николаевна была поэт, так она видела мир, чувствовала его, только не умела писать стихов. Когда она по ходу урока цитировала чьи-нибудь стихи или даже прозу, она произносила слова с той внутренней силой, с тем глубоким пониманием и чувствованием, которые нам были еще недоступны. Думаю, у Евгении Николаевны не было ни одного серого дня жизни, каждый был освещен счастьем, глубоким раздумьем, битвой, горем, но только не тусклым мерцанием полубытия. После своего семидесятипятилетия, в десятидневный отрезок оставшейся ей жизни, она успела побывать на торжествах по случаю сорокалетия школы при театре Революции, переименованной в 1939 году в МГТУ — Московское городское театральное училище, где Евгения Николаевна работала до его закрытия и откуда вышло немало ныне знаменитых актеров,— просмотрела новую художественную выставку на Кузнецком и сквозь ее небольшую квартирку на Окской в эти же дни прошла вереница друзей — молодых, пожилых, старых,— спрашивая ее совета, ища участия или просто делясь впечатлениями бытия. Ученики ее всегда оставались ее учениками. Евгения Николаевна, кроме нашей театральной школы, одновременно преподавала и в заводских техникумах и в школах рабочей молодежи. Я даже подозреваю, что та среда была чем-то ближе ее сердцу. Сколько я от нее слышал взволнованных рассказов о ребятах и девушках — молодых, а иногда и не очень, которых я встречал у нее дома, приходивших к ней с теми же исповедями, что и я. И во многих случаях она принимала самое горячее и деятельное участие.

Каждый раз, принося Евгении Николаевне на память свою новую пьесу, я в дарственной надписи добавлял: «Ваш ученик». Евгения Николаевна смеялась и говорила:

— Виктор, ну какой вы теперь ученик!

— Ученик, Евгения Николаевна, ученик до гроба...

И ни один замысел я не переносил на бумагу, не посоветовавшись с Евгенией Николаевной. Я ей читал отрывки начатой работы, иногда заезжал просто поделиться сомнениями, или она приезжала к нам домой. Мало у меня в жизни было таких доверенных лиц, кроме жены, а позднее — детей. Только двое. Старший научный сотрудник Института мировой литературы Алексей Яковлевич Тарараев, с которым я познакомился в войну в казанском госпитале и сдружился тоже навсегда. Но Алексей Яковлевич умер уже более двадцати лет назад. И Евгения Николаевна. Меня могут спросить: а неужели нет у вас на этот случай друзей среди драматургов, они же все-таки, вероятно, больше понимают в деле писания пьес? Есть. И очень хорошие драматурги. Но, читая пьесу в среде своих собратьев по перу, ты знаешь неписаный закон: каждый из них слушает твое произведение как бы через призму своей собственной творческой фантазии. Они слушают мою пьесу, а в это время сочиняют свою. Мне не нужны в помощники даже самые крупные писатели, хоть Лев Толстой, мне необходим человек, глубоко и синхронно со мной чувствующий жизнь. А уж пьесу я напишу сам. Как смогу.

Однажды весной, в первый же год обучения, когда моя дружба с Евгенией Николаевной окрепла и я уже делился с ней не только своими ученическими мыслями, но и всеми событиями личной и общественной жизни, мы после занятия сидели под ласковым весенним солнышком на лавочке недалеко от памятника Гоголю (тогда тоже сидевшему) и Евгения Николаевна, видимо, все же озабоченная успехом своего преподавания у нас, спросила меня — а я к тому же был выбран старостой курса,— достаточно ли доходчиво она читает курс, ей кажется, что контакт со слушателями не очень-то прочный. Я, как мог, разуверил Евгению Николаевну и добавил:

— Мы все пришли из школы, где и не слышали имен Батюшкова, Языкова, Веневитинова, да и о Пушкине знали как-то бегло и двусмысленно. Нас учили, что Пушкин, конечно, написал «Во глубине сибирских руд» и «на обломках самовластья напишут наши имена», но все же был дворянин, бывал у царя

в гостях и даже камер-юнкер. Пушкина мы принимали только частично. Из прошлого нам ближе были Некрасов — хотя тоже дворянского рода, но ушел из дома, и отец ему не помогал,— Никитин и Кольцов.

Я рассказал Евгении Николаевне, что не так давно в Костроме прочел в газете «Правда» статью под названием «Пушкин на заводе «Динамо» о какой-то учительнице, преподававшей на этом заводе не то в техникуме, не то в ФЗУ и ведущей там литературный кружок, так ее выгнали с работы, и не только с завода «Динамо», но и отовсюду, где она работала, за то, что в заводской стенгазете в годовщину гибели Пушкина один литкружковец написал чуть ли не гимн в честь великого русского поэта. «Какой великий русский поэт, когда он камер-юнкер и дворянин! Как можно было допустить такую грубейшую политическую ошибку!» Автор статьи в «Правде» Михаил Кольцов высмеивал ретивых поборников социальной чуткости и внятно разъяснял, что Пушкин — действительно гордость русской литературы и на его творчестве воспитывались поколения людей.

— И знаете, Евгения Николаевна, после этой статьи к Пушкину действительно изменилось отношение. Вы вот преподаете его совсем по-другому. Честь и хвала той женщине, верно?

Евгения Николаевна слушала мой монолог крайне внимательно, потом молча и долго смотрела на меня. В глазах ее опять заиграли знакомые мне молодые веселые бесенята, и она с какой-то наивной интонацией произнесла:

— Виктор, это я.

Черт побери, тут же, в это же самое мгновение ока, Евгения Николаевна превратилась в сказочную героиню, какой и была для меня женщина из статьи Кольцова. Я был в дураках, но в восхищении.

Евгения Николаевна рассказала мне все гораздо подробнее, чем могла вместить газетная статья. О том, как ее изгоняли, бичевали, как она полгода была без заработка, как бегала бесконечно по учреждениям, ища защиты, и, только дойдя до Марии Ильиничны Ульяновой, нашла эту защиту и управу.

— Милый Виктор, если бы вы слышали, как Мария Ильинична отчитывала этих чинодралов и тупиц! Она собрала их всех вместе и секла как маленьких, как маленьких!..

Я уже стал бывать у Евгении Николаевны в Арсеньевском переулке, познакомился с ее мамой и, как мне показалось, пугливой и замкнутой девочкой-подростком, ее дочерью Наташей. В комнате книги, книги, книги. И непременно кошка, а то и две, а то и три. Конечно же, подобранные на улице и, конечно же, любимицы дома, которым разрешается лазить повсюду и хоть качаться на люстре.

Без нескольких месяцев сорок пять лет дружбы! А чего только не было за эти сорок пять лет! Хотя бы война. И письма с фронта, из госпиталя, из тыла, где долечивался. И письма от нее на фронт, и в госпиталь, и в тыл, и всегда письма, писанные твердой поддерживающей рукой. Жаль, что я не сохранил их. Возможности не было. По разным причинам. Как бы мне хотелось сейчас их перечесть! Нет, не сохранил не только в силу каких-то причин, но и по небрежности, по дикости, да, да, по нецивилизованности. Мы бережем какую-нибудь дурацкую вазу или тарелку, гудим пылесосом, сохраняя дурацкий ковер, но, не задумываясь, выбрасываем в мусоропровод, в печку, на помойку письма и всевозможные «ненужные» бумаги, которые должны составлять семейный архив, драгоценную вещественную память твоей жизни, потому что твоя жизнь началась в жизни твоего отца, деда и прадеда и будет продолжаться в твоих детях, внуках и правнуках. Если сейчас я случайно нахожу какую-нибудь старую записку, театральную программу, пригласительный билет, то происходит нечто подобное тому, когда кто-то вдруг дунет в остывающий костер и из него тоже вдруг вырвется яркое пламя и вмиг осветит в памяти минувшие мгновения жизни.

Письма Евгении Николаевны были не только ласково-успокаивающими, но порой и жесткими. Еще до войны расхандрюсь я от каких-нибудь жестоких передряг, начну ей плакаться, а она как выкрикнет резко: «Виктор, вы что, хотите, чтобы я подала вам

костыль?» И от такой фразы делалось стыдно, начинал приходить в себя.

Нет, Евгения Николаевна не была элегична. В ней сидел и заряд хорошего взрывчатого вещества. И энергии, энергии! Ну, совсем недавно, в семьдесят три, даже в семьдесят четыре года, она взбиралась по таким немыслимым крымским скалам, хаживала такие десятки километров, что я, ее ученик, с уже испорченной сердечно-сосудистой системой только дивился и завидовал. Ни минуты покоя! И это не суетность, не мелкое житейское любопытство, похожее на подсматривание в чужую замочную скважину или в чужое окно, а то самое: «...и влекла меня жажда безумная, жажда жизни вперед и вперед». Видеть, знать, понять, удивиться.

Зрение ее начало гаснуть уже несколько лет назад. «Не могу читать, Виктор. Нельзя же жить, не читая. Так много выходит интересного, нового». И она раздобыла какие-то специальные очки, очень похожие на театральный бинокль, и читала при их помощи. Правда, ими нельзя было пользоваться подолгу, зрение могло пропасть совсем. Но когда бы я ни пришел на Окскую, куда семья переехала из Арсеньевского давно, Евгения Николаевна была в курсе всех литературных новинок, разумеется, сто́ящих. Вкус у нее был отменный. «Не хочу быть старухой,— говаривала она в последние годы,— совсем не хочу».

И не была. Никогда! Карета «скорой помощи» увезла ее вечером 21 апреля, а в два часа, в ночь с 22-го на 23-е, ее уже не стало. Клянусь, она умерла молодой!

Я ехал на Окскую улицу и представлял себе, как войду в дом и не услышу знакомых слов: «Виктор, наконец-то!» Да, в сутолоке дел мы виделись не так уж часто, и расстояние от дома до дома — почти час езды на машине. Я представлял, как увижу Наташу, ее дочь. Нет, не только дочь — ее первого друга, соратника, союзника всей жизни. Дружба Евгении Николаевны с дочерью — это отдельная прекрасная новелла. Когда я сейчас слышу о вражде отцов и детей, я воспринимаю это как совершенно противоестественное и дикое, несовместимое. Еще в Ялте, уз-

нав о смерти Евгении Николаевны, я, после прямого лобового удара, сразу подумал о Наташе. Ведь ее разрубили пополам. Шел и боялся разрыдаться, войдя в дом.

Дверь мне открыл муж Наташи и приглушенно, будто тело Евгении Николаевны еще лежало в комнате, попросил пройти. Вот и Наташа. Натянута, напряжена, почти каменная. Такой же и я. Нет, ей во сто крат тяжелее! Идет рассказ о последних днях, часах...

— Прекрасные были похороны, Виктор. Сколько друзей!

Она не сказала «народа», потому что была толпа именно друзей. И как когда-то на уроке нам рассказывала Евгения Николаевна о том, что у подъезда на Мойке, узнав о смерти поэта, собралась толпа желающих проститься, что кто-то вышел на крыльцо и сказал: «Пусть пройдут друзья Пушкина»,— и чей-то голос крикнул: «Здесь все друзья Пушкина!» — так бы, наверно, крикнули и в этой толпе.

— Слез не было, мама этого не любила. Были не похороны, был апофеоз. Над гробом звучали не похоронные марши, а мамины любимые произведения, дорогие ее сердцу стихи. В том числе и вот это стихотворение, мама его любила.

Наташа достала небольшую записную книжку Евгении Николаевны и прочла мне стихотворение Цветаевой:

Идешь на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти,— слепоты куриной
И маков набрав букет,—
Что звали меня Мариной,
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду — ему вслед.
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

— Вы знаете, Виктор, я подумала так. В древние времена хоронили человека и вместе с ним клали самые необходимые ему предметы. Царям — драгоценности, украшения, воинам — мечи, щиты и даже коней, все, что, казалось, необходимо им будет и на том свете. Я положила маме в гроб стихи Пушкина, его портрет, снимок домика в Михайловском, томик Цветаевой и камушки из Коктебеля. Я не знаю, есть тот свет или нет, но мама без них не могла бы существовать ни на этом, ни на том свете.

ДИНА РУБИНА

ЭТОТ ЧУДНОЙ АЛТУХОВ

Когда-нибудь я обязательно опишу его.

Раскрою толстую тетрадь в клетку, чуть-чуть отступлю от края и подумаю, с чего бы начать... Да, когда-нибудь я обязательно опишу его. И, безусловно, начну с глаз.

«Глаза у него были,— напишу я,— как у выжившего из ума фанатика». И это будет началом его портрета. А потом мне надоест писать, я отвернусь к окну, за которым будет надлежащее время года — зима или осень, а еще лучше лето,— и вспомню наш последний разговор (хотя разговором его назвать нельзя, да мы, пожалуй, и вообще никогда не беседовали с ним как нормальные люди...).

...Это была пустая аудитория, та самая, с пианино у окна. Я сидела и переписывала вопросы к семинару. И вот тут заглянул мой обожаемый Алтухов.

Он был ужасный урод, самый настоящий обаятельный урод. Глаза у него были настолько широко поставлены, что находились ближе к вискам, чем к переносице. И казалось, природа предусматривала наличие третьего циклопического глаза, но потом забыла его ввинтить, и место теперь пустовало. Глаза были круглые, черные, как у встревоженного цыпленка. Ходил он ссутулившись, не спеша и слегка враскачку, отчего создавалось впечатление, что это-

му неприкаянному человеку абсолютно нечего делать и некуда деть себя...

— Здравствуй, Диночка! — сказал он и вошел.— Как дела? Давно мы с тобой не говорили...

— Да? А разве мы когда-нибудь вообще о чем-нибудь говорили? — спокойно спросила я.

— Слушай, слушай, я расскажу сейчас что-то интересное.— Он сел за пианино.

Я подошла и стала рядом. А он сидел, повернув голову к окну, и, легко аккомпанируя себе короткими аккордами, насвистывал какую-то песенку. Долго насвистывал.

— Ну? — наконец спросила я.— Внемлю. Ты, кажется, собирался что-то поведать мне.

— А? Чего? — рассеянно спросил он, перестав играть и недоуменно смотря на меня.

Я молча улыбнулась.

— А, ну да! Вот, послушай песенку...— И он, опять засвистев, отвернулся к окну, думая о чем-то своем.

Я обошла пианино и заглянула в глаза уроду Алтухову. И опять он мне напомнил сумасшедшего фанатика, который день и ночь стонал: «Погибла идея! Погибло дело!»

— Вот так тебя доконали твои дела,— сказала я.

Он кивнул, продолжая подбирать какие-то гармонии. Он всегда кивал, когда не слушал. Я думаю, это для того, чтобы ему не мешали думать...

Он был талантливый и смешной. На мой взгляд — редкое и милое сочетание. Я не могу сказать определенно, в чем выражался его талант. Он был очень музыкален, он был, как говорится среди музыкантов, «слухачом». Но не это главное. Он принадлежал к той породе людей, которые способны мгновенно воплощать в слова и жесты все удачное и прекрасное, что мелькает в их воображении, воплощать метко и образно, не тратя времени на режиссуру. У него получалось все так легко и свободно, словно он долго репетировал. Алтухов изумительно владел своим телом, интонациями своего голоса, мышцами своего лица и мог моментально воспроизвести любой увиденный где-то жест или движение, любой услышанный разговор. Он изображал так, что мы все обалдевали.

Он чертовски захватывающе рассказывал всякие небылицы из своей жизни. И мы верили. И мы хохотали. И глядели на него восторженными, влюбленными глазами.

И вдруг он уходил. Он поднимал воротник своего синего плаща, брал под мышку футляр со скрипкой и уходил по узенькому тротуару прочь от консерватории, не появляясь в ней неделями.

О существовании Юрки я узнала в тот день, когда у нас пропала лекция по «Анализу музыкальных форм». Бог знает из-за чего пропала— то ли преподаватель заболел, то ли очередное мероприятие на кафедре проводилось,— мы толком и не узнали. Алтухов как-то сразу заморочил мне голову, и мы от нечего делать пошли мотаться по магазинам.

Это было очень увлекательное путешествие. «Пойдем знакомиться с манекенами! — сказал Алтухов.— Заведем себе парочку друзей. Они прелесть, эти манекены, знаешь? Вежливые, милые, без претензий на духовное богатство». Я засмеялась.

В витрине магазина музыкальных инструментов стояла девушка-манекен со скрипкой. Шейка скрипки покоилась на ее раскрытой гипсовой ладошке, а удивленно-приветливые гипсовые глаза созерцали пульт, на котором стоял перевернутый вверх ногами «Самоучитель игры на баяне». Манекен не был приспособлен для демонстрации музыкального инструмента и был похож на девушку, играющую в «стоп-замри!». Правая рука с нечеловечески длинными пальцами указывала на левую, и девушка как бы предлагала нам взглянуть и подивиться, что это за штуковину вставили ей между шеей и кистью левой руки.

— Слушай, слушай! — вдруг воскликнул Алтухов и остановился.— Как мне грустно от этой девушки! Почему? Наверное, потому, что мы с ней похожи. А знаешь, чем? — Он засмеялся.

— Тем, что одинаково разбираетесь в скрипичном репертуаре! — съязвила я.

— Тем, что она успела сделать в жизни примерно столько же, сколько и я...— не обращая внимания на мой выпад, серьезно сказал он.— А ведь она существует гораздо меньше, а? — И задумался, поежи-

ваясь от ветра и пряча подбородок в ворсистый коричневый шарф.

Мы обошли еще несколько магазинов, и вот тут я заметила, что его тянет в отдел игрушек. А меня туда почему-то не тянуло. Я с трудом затащила его в отдел верхней одежды и заставляла держать вешалки, пока примеряла всякие пальто... Рядом со мной какая-то маленькая толстая женщина крутилась возле зеркала, пытаясь увидеть в нем свою спину, вернее, хлястик на спине. Ее светлые волосы были связаны желтой резинкой на затылке в пучочек, а зубы почему-то росли здорово вперед. Очень вперед. Признаться, я еще в жизни своей не видала женщину с такими короткими толстыми ногами и чтобы зубы у нее настолько росли вперед, что казались самым важным органом осязания.

Я аккуратно повесила пальто на вешалку, которую Алтухов держал, как робот, беспомощно оглядываясь в толпе женщин, и тихо сказала:

— Алтухович, знаешь, если бы у меня была такая внешность, я бы уже не покупала себе пальто. Я бы уже ничего не покупала.

— Ей холодно зимой, понимаешь...— ответил он.

— Но если ты когда-нибудь заметишь, что у меня стали такие ноги, убей меня, пожалуйста.

— Отстань,— сказал он и все-таки пробился в отдел игрушек. Я бы могла спросить, для кого это он старается. Может быть, для племянника или какого-нибудь соседа. Но мы с ним вообще никогда не разговаривали нормально, поэтому я только кивнула в сторону пестрых коньков-каталок и сказала:

— Может быть, лошадку купишь?

— Да ну...— отозвался он, рассеянно оглядывая прилавок.— У Юрки и без этого столько лошадей, что он вполне может сколотить конармию.

На полпути к троллейбусной остановке мы нашли на асфальте живую тепленькую летучую мышь. Алтухов держал ее на ладони, приподнимая то одно перепончатое крылышко, то другое и что-то долго объяснял мне,—наверное, объяснял, как можно летать при помощи таких штук. А я все время смотрела на него и думала, что если бы старик Алтухов закрыл минут на пять один глаз, а другой оставил от-

крытым, то он бы стал похож на слепого рапсода со звездой во лбу. То есть она сначала вроде бы сияла во лбу, а потом скатилась на висок под бровь...

Мы решили положить мышь в водосточную трубу. Наверное, ей там будет уютней, ведь, надо полагать, у летучих мышей несколько иные взгляды на уют, чем у нас. Впрочем, потом, на остановке, Алтухов вспомнил о ней и сказал: «Зря мы ее в трубу положили, там темно. Она еще подумает, что ночь наступила, вылетит и расстроится...» Он провел ладонью по лицу сверху вниз, как актер, надевающий маску расстроенной летучей мыши, и я засмеялась, потому что вместо великого комика и трагика Алтухова на меня круглыми испуганными глазами смотрела расстроенная летучая мышь... Так мы ничего Юрке в тот день и не выбрали.

А самого Юрку я увидела на ноябрьской демонстрации. Нам было велено собраться ровно в восемь возле консерватории, а я почему-то явилась на полчаса раньше, стояла и злилась на себя. И тут подходит Алтухов и за руку держит мальчишку, который время от времени от радостного ожидания очень высоко подпрыгивает.

— Это Динка,— сказал ему про меня Алтухов.— Вы дети, постойте, а я на минуту в киоск. За сигаретами.

— Хорошо твоему Алтухову! — сказала я мальчику.— Он думает, если ему целых двадцать семь лет и он где только по свету не мотался, так уж всех людей можно детьми обзывать...

— А оркестр будет? — радостно спросил парнишка и подпрыгнул. Здорово высоко он прыгал. И выговаривал букву «р». А я очень уважаю детей, которые, вопреки шаблону, выговаривают букву «р».

— Ну, это зависит от того, как тебя зовут,— ответила я.

— Юр-р-р-ка! — заорал он. Он безумно хотел, чтобы заиграл наш задрипанный студенческий оркестр. Наверное, Алтухов обещал.

— Будет, будет. Сейчас выйдут наши лабухи и начнут дуть в свои трубы. Рожи у них станут красными, а дудеть они будут страшно фальшиво, так, что даже ты услышишь. Но тебе, я понимаю, все равно...

У меня создавалось впечатление, что прыжки в высоту были главным занятием в его жизни. Он сосредоточивался, вытягивал руки по швам и подпрыгивал вверх солдатиком.

— Ты опять?! — грозно крикнул Алтухов. В зубах у него торчала сигарета, и глаза были круглые и веселые.— Я предупреждал тебя, ты ударишься головой о звезды, и тогда я ни за что не отвечаю!

— Где же звезды? — тихо и испуганно спросил Юрка, прикрыв ладошкой затылок.

— Ну, тогда собьешь с ног Динку-пианистку. А ей, как летчику, без ног — никуда. На педали-то как нажимать?

— Она на велике ездит? На гончем?!

— На легавом,— ответил этот великий воспитатель Алтухов.— На легавом с отвислыми ушами.

Он взглянул на меня своими дурацкими круглыми глазами. На этот раз взгляд был насмешливым и ласковым. И это было особенно оскорбительно. Потому что я знала: это его дар — сказать что-нибудь настолько образно и метко, чтобы слушатель сразу увидел сказанное в действии. И я знала, что сейчас в действительности я представляюсь Юрке верхом на смешном легавом велосипеде с отвислыми ушами. Уж не знаю, каким он казался Юрке, этот велосипед, но лично мне он представлялся довольно ясно...

— Слушай, знаешь что! — разозлившись и от растерянности не зная, что ему ответить, выпалила я.— Вынь наконец свои руки из карманов плаща! Это неприлично!

— А, вздор...— не вынимая рук из карманов, лениво ответил он.— Предрассудок с тех времен, когда какой-нибудь ковбой носил в кармане плаща огнестрельное оружие. Тогда было просто страшно, если навстречу шел человек, засунув руки в карманы.

Оказывается, у них сегодня была разработана целая программа действий. После демонстрации — просмотр какого-то нового цветного художественного, потом — катание на самой большой карусели в мире, той, что в парке культуры и отдыха (сколько

помню себя, карусель запускал один и тот же пьяный дядька, понятия не имеющий о времени, в результате чего одна группа детей каталась полчаса, другая — десять минут), и в заключение, как мощный аккорд «Богатырской симфонии» — сто граммов крем-брюле в кафе «Снежинка»! (Не замечали, что во всех городах имеются кафе именно с таким названием?)

— Если вы не пригласите меня с собой,— пригрозила я,— вы будете иметь дикий скандал!

И они испугались. И пригласили меня с собой.

Мы сидели под красным пластиковым тентом и копались ложечками в тонконогих розетках. Солнечные лучи, проникая сквозь тент, полыхали на Юркиной и алтуховской физиономиях алым пламенем.

— А ведь ты сегодня еще ничего не наврал,— заметила я.— Ну-ка, давай, начинай, рассказывай.

— А что? Как я тонул этим летом, рассказать? Только держитесь покрепче за ложки, а то упадете со стульев. Этим летом я отдыхал в...— и замолчал. Как будто задумался. Это он всегда нам так нервы трепал.

Я подождала немного и нетерпеливо спросила:

— Так где ты отдыхал этим летом, старый черт?

— В горах,— сказал он и посмотрел на нас своими круглыми черными глазами, расставленными настолько широко, что они были похожи на два удаленных друг от друга маяка в штормующем море.— Понимаете, дети,— тихим и красивым голосом сказал он,— представляете, дети... Снег — и белые березы!

Это в горах-то белые березы!.. А впрочем, не берусь утверждать обратное. Он так красиво рассказывает, вернее, он так красиво показывает, этот врун Алтухов!..

— Речка там — чокнутая. В ней не то что купаться — умываться было невозможно. Того и гляди, наклонишься, а голову оторвет течением и понесет, как божье яблоко,— только глазами вращай. Ну, и играли как-то мы с ребятами на берегу в волейбол. И вдруг мяч ветром снесло на воду. Я наклонился, чтобы рукой достать, оступился и — шарах! — в воду.

Он замолчал. Но живой же он был, этот Алтухов, сидел же сейчас рядом с нами!

— Метра два по инерции, ничего не понимая, плыл за мячом, а потом так скрутило, завертело, что не до мяча стало... Меня на камни несет, я за них цепляюсь, а они скользкие, холодные, острые, только руки все поранил. Тут меня опять подняло, вынырнул и ослеп — солнце вверху тяжелое, охристое, падает на голову, как кулак. «Нет! — думаю,— сволочь! — думаю.— Ах ты сволочь!» Не помню, что дальше. Кажется, швырнуло меня на камни у берега, я мертвой хваткой за что-то вцепился, выполз. Выполз — труп. Упал в какие-то кусты и сижу, как кусок студня. Сижу и все... Подбегают ребята, говорят: «А здорово ты за этим мячом плыл, мы по берегу бежали, спорили: поймает или не поймает. Ну, на кой тебе этот мяч сдался?» А я сидел в колючках, обхватив голову порезанными, окровавленными руками, плакал и смеялся...

Я смотрела на Юрку. Он спокойно слушал, он совсем не волновался, он, наверное, думал, что с его Алтуховым никогда ничего не случится.

На следующий день Алтухов явился в консерваторию позже обычного. Он был в очень линялой зеленой рубашке.

— Я ее постирал так тихонько, ласково,— объяснил он.— А она взяла и слиняла. Вот дура, а? — и смеется.

Я отозвала его в сторону.

— Признайся, злостный алиментщик Алтухов, это твой ребенок? — грозно спросила я.

— Это не мой ребенок,— ответил он.— Но это — мой сын. Я понятно объясняю?

— Ну, конечно! — сказала я.— Ты украл его, когда кочевал с пушкинскими цыганами. Разве не так? «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют...» Или Юрка — сын несчастной падшей женщины, которую ты наставил на путь истинный, а потом великодушно взял в жены с ребенком?

— Не дай бог на ней жениться,— вдруг серьезно и как-то брезгливо сказал он.— Это — ужасная женщина, а что касается Юрки, ты почти права: я собираюсь его отнять и воспитывать... А ты — клопик.—

Он легко провел указательным пальцем по моему носу от переносицы до кончика.— Она, когда-то была моей любовницей, ясно?

— Алтухов, я маленькая первокурсница,— сказала я.— Любовница — это непонятное слово.

— Добро,— коротко ответил он и забрал у меня конспект по истории.

Забрал конспект и пропал на неделю. Нет и нет его... Сначала я все выглядывала в окно на узенький тротуар — не появится ли его синий плащ, но он не появлялся. А мне ужасно был нужен конспект по истории! Впрочем, чего врать!.. Какому студенту нужен конспект в середине семестра...

Я узнала в деканате его адрес — Алтухов снимал комнату в старом городе — и после занятий поехала к нему.

В этот день лил сумасшедший скачущий дождь. Он прыгал по тротуарам, сбегал у обочин в кофейные реки и мчался дальше, барабаня кулаками по листьям деревьев.

Я стояла на остановке автобуса и наблюдала за хромой пегой собачонкой, которая обнюхивала мокрые скамейки и заискивала перед прохожими, особенно перед какой-то молодящейся старухой с цветным зонтиком. Старуха время от времени отпихивала собачонку левой ногой в черном резиновом сапоге, и с собачонки от толчков лились потоки воды.

— Кто не любит собак, тот не достоин звания человека! — сказала я старухе.— Так говорил Сент-Экзюпери.

Сент-Экзюпери этого не говорил. Это сказала я. Но моего авторитета для нее было явно недостаточно. Поэтому я метнула в старуху своей цитатой и пригвоздила ее именем Сент-Экзюпери. А я не знаю, может быть, Сент-Экзюпери и сказал что-нибудь такое... Ну почему одна и та же мысль не могла прийти в голову мне и писателю Сент-Экзюпери!

Потом я купила в магазине бублик и минут десять гонялась за этой собакой, пытаясь накормить ее. А она не брала. Она смотрела на меня тоскливыми рыжими глазами и, наверное, думала: «Слушай, ну отстань! Слушай, ну чего ты прицепилась?»

Алтуховскую калитку я долго не могла найти, потом меня завели в какой-то тупик и показали длинный одноэтажный дом. В нем жило много семей, и Алтухов снимал угловую комнату.

Он увидел меня и испугался.

— О господи! — сказал он.— У тебя крылья промокли!

Он снял с меня плащ и повесил его на вешалку в общем коридоре. Давно я таких вешалок не видала — черные оленьи рога, похожие на худые двупалые руки калеки. Они тянулись со стены вперед, будто просили подаяние...

— Умер Лёня Вайнер,— просто сказал Алтухов.

— Лёня Вайнер? — растерянно переспросила я.

— Да, от менингита... Глупо, что умер Лёня Вайнер...

Я молчала и боялась спросить его, кто такой Лёня Вайнер. Наверное, это был кто-то из его старых друзей. Он думал, этот дурацкий Алтухов, что все люди должны знать и понимать друг друга и очень горевать, когда с кем-то из них случается беда... Если бы я подошла к Алтухову и сказала, что какому-нибудь Пете Сидорову позарез нужен синий алтуховский плащ, то он, я думаю, даже не спросил бы, кто такой Петя Сидоров и на черта ему дался личный плащ Алтухова. Он бы просто спросил: «На каком транспорте к нему добираться?»

На старом алтуховском диване спал Юрка. Его большая голова на подушке была как золотистый стриженый шар, а одна тонкая рука лежала поверх одеяла.

— А тут еще Юрка, дьявол, простудился...— шепотом сказал Алтухов.— Температура три дня держалась, а сегодня вот упала... Разбудить его? А то узнает, что ты приходила, и будет обижаться. Знаешь, как часто он тебя вспоминает!

— Ты думаешь, я на полминуты зашла? — сказала я.— Я сто лет здесь сидеть буду, он еще успеет проснуться.

Я подошла к столу и придвинула к себе листок, исписанный нелепым алтуховским почерком.

«Вот так да! — подумала я.— Вот так новости!» Он пробовал сочинять акростих на мое имя. И так

странно было смотреть на эти буквы, написанные его рукой и складывающиеся в удивительно знакомое звукосочетание, которым называлась на этом свете я:

Д — давай подумаем, нужна ли нам зима?

И — и снег на крышах мертвенно-холодный,

Н — ненужный в отношениях туман...

Строчка на букву А не получалась.

— А — Алтух, поэт ты никуда не годный! — подытожила я.

— Ну, и не вмещается в ритм.

Мы сидели с ним на одном стуле, потому что больше сидеть было не на чем.

Сидели, опираясь друг о друга спинами, и шепотом разговаривали. То есть мы не разговаривали, а переругивались. Я его ругала, а он молчал или говорил в ответ какую-нибудь глупость. Вот не мог он мне как-то достойно дать отпор! Всем мог, а мне — нет, и это удивляло.

Я вспоминаю, как однажды все мы сидели в тридцать шестой аудитории и Сашка Белоконь, взгромоздившись на стол, рассказывал про свои знакомства с известными людьми. Как он с кем-то из них рубал в ресторане яичницу. Нам всем было противно и жалко его... И вот тогда уставший Алтухов, неторопливо протирая носовым платком струны на своей скрипке, сказал ему вдруг негромко и ласково:

— Эх, Белоконь...— как будто с сожалением сказал он.— Ну, какой же ты Бело-Конь? Ты просто серая лошадка.

И мы все вокруг застонали от восторга и от обожания. А Алтухов бросил протирать струны, положил скрипку в футляр и вышел из аудитории. Он всегда умел уходить так, что всем хотелось вскочить и побежать за ним следом, вернуть его. А это, я считаю, дар божий — уметь уйти так вовремя, чтобы всем захотелось тебя вернуть.

Мы сидели спиной друг к другу, я чувствовала его горячее плечо и думала, что вот он, Алтухов, старый и одинокий человек. Ему уже двадцать семь лет, а, кроме Юрки, у него в этом городе ну никогошеньки.

— Когда я ушел из института живописи...— начал он шепотом.

— Ты, должно быть, врешь, Алтухов,— перебила я,— наверное, тебя оттуда просто выгнали за то, что ты не умел рисовать.

— Рисовать? — переспросил он и улыбнулся.— Я был на скульптурном отделении. Ну, впрочем, да, и рисовать... Там есть такой предмет. Один из основных...— Он замолчал.

— Ты хотел что-то рассказать...

— А? Да нет, я просто вспомнил... Нам в институте позировала одна пожилая женщина. По профессии она была учительницей биологии. Спиной позировала... Спина у нее была худая, и под левой лопаткой какой-то шрам... Жаловалась, что живет в коммунальной квартире, что соседи пьяницы и скандалисты, и она мечтает подработать и сделать в своей комнате толще стенки. Поэтому и позирует. «Вот так я докатилась до вашего института...» — говорит. Чудаки, почти все они считали позирование чем-то зазорным... Нервная, издерганная женщина... Чуть что — плачет. А город менять не хочет. «Как выйду на Неву...» — говорит и опять в слезы... Единственная мечта в жизни — подработать и сделать толще стенки. В этом что-то есть, а?

— Ничего в этом нет,— решительно сказала я.— Больная, нервная женщина, вот и все.

Я знала, что он учился в институте живописи и скульптуры, но не видела ни одной его скульптуры, ни проволочного каркаса, ни засохшего куска глины, ни одного карандашного наброска... Как будто он начисто смел все, что связывало его с институтом. Однажды он рассказывал мне о своем товарище, вообще-то хорошем скульпторе, который покончил жизнь самоубийством, оставив коротенькую записку: «Не обнаружил в себе гениальности». Записка лежала на снимке со скульптуры Родена «Амур и Психея».

В том, что эта дурацкая история была сочинена от начала до конца, я не сомневалась. Но вероятно и то, что Алтухов вложил в нее долю своего отношения к этой проблеме.

Я смотрела на спящего Юрку, на ребенка, которого страстно любил Алтухов, и мне хотелось сделать им обоим не просто что-то хорошее, а непременно

что-то такое важное и громадное, от чего бы жизнь их сразу изменилась. Я просто ощущала такую жгучую потребность. Чтобы к ним не нужно было ехать полтора часа на старых, замызганных автобусах, которые сохранились только в старом городе, чтобы не надо было искать по тупикам их калитку, и чтобы в коридоре не висели эти страшные вопрошающие рога, и вообще, чтобы Юрка не спал больше на старом алтуховском диване...

Я слушала, как Алтухов продолжал шепотом рассказывать что-то, и мне показалось, шепот его — нечто осязаемое, нечто мягкое и теплое, как живой воробей.

— Алтухов! — опять перебила я его, и он покорно замолчал.— Алтухов, я так люблю твои бредни, что когда ты говоришь, мне хочется поцеловать звук твоего голоса... Что бы это значило?

Он поправил спавший с ноги шлепанец и сказал:

— Это значит, что ты проголодалась. Я сварил суп из курицы с двумя шейками. То есть у моей была одна, и еще одну подарила соседка Нина Дмитриевна, потому что ее девчонка шейку не любит. Сейчас я согрею...

Пока он возился на кухне, Юрка проснулся и сел на диване, по-турецки скрестив ноги. Юрка пялил на меня сонные глаза и никак не мог поверить, что я пришла.

— Как ты вырос, Юрка!..— сказала я.— Ты както подлиннел.

— Я скоро стану совсем большим! — похвастался он.— Таким большим, как Алтухов. Даже еще больше. Я скоро буду ходить руками по потолку, а ногами по полу... А еще я вчера набил себе синяк. Вот.— Он показал локоть.— Сначала он был красняк, теперь синяк. Потом будет зеленяк, а потом — желтяк.

— Это ужасно, когда человек сам себе что-нибудь набивает! — согласилась я.— Однажды я сама себе наступила на ногу и страшно злилась, потому что некому было сказать: «Хамка вы!»

— А еще... а еще...— Он повертел колючей головой, придумывая или вспоминая, какую бы еще новость мне выложить.— А еще, я теперь у Алтухова

живу, видишь? — радостно сообщил он.— И буду до-о-лго жить, если мама не спохватится.

— Ладно, молчи! — быстро перебила я. Еще не хватало, чтобы он тут выболтал мне алтуховскую тайну!

— Почему? — простодушно удивился Юрка.— Она не услышит, не бойся, она далеко! У меня мама — артистка. Только ее никогда на сцене не видно, потому что, как раз когда она выходит, много всяких людей вместе с ней танцуют или говорят. Алтухов сказал — это называется «массовка»... А правда, слово «массовка» похоже на слово «винтовка»? Я так думаю, что мама и не спохватится. Она ведь и так забывала в садик за мной заходить. Алтухов говорит — очень я ей нужен!

— Юрка! — закричала я, чтобы он, наконец, перестал рассказывать.— Если бы ты знал, Юрка, кого я сегодня на улице видела! Зеленого! С ушами и хвостом!

— Крокодила! — озабоченно крикнул он.— Но у него нет ушей!

— Чего вы разорались? — спросил Алтухов, занося кастрюлю с супом.— Как голодные птенцы.

— Вот.:.— Он разливал суп по тарелкам.— Юрке шейку... и тебе шейку.

— Это суп из Змей-Горыныча? — спросил Юрка.

— Из царского двуглавого орла,— сказал Алтухов.

Потом он отвозил меня домой. Мы ехали в такси по ночному городу и смотрели на спящие троллейбусы, носами уткнувшиеся друг в друга. Они были похожи на причесанных людей. Это из-за опущенных дуг. А кстати, почему — дуг, когда это вроде бы прямые палки? У меня с детства слово «дуга» ассоциируется с широкой трехцветной радугой... Какие-то полузабытые стишки из детской книжки: «Ах, ты, радуга-дуга!»

— Если бы ты знала, какая морковная луна всплывает над Ленинградом после белых ночей! — сказал мне Алтухов.

Он постоянно тосковал по Ленинграду, и иногда это чувствовалось так ясно, что мне становилось невыносимо жаль его.

— Знаешь, как скрипят входные двери в институте живописи,— говорил он,— когда сторож закрывает их на ночь?..

— Почему ты уехал оттуда? — как-то спросила я, глядя в его круглые печальные глаза.

— Видишь ли, весной там не хватает витаминов,— ответил он и улыбнулся.— А я не могу без них.

И я его не стала больше спрашивать об этом; с ним невозможно было разговаривать: все не как у людей.

Даже последний наш разговор не получился человеческим. Потому что мы с самого начала, с того момента, когда он заглянул в аудиторию, не поняли друг друга. Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я решила наконец влюбиться в него, урода... Поэтому, когда я обошла пианино, заглянула ему в глаза и сказала, что здорово его доконали его дела, он кивнул, отвернулся к окну и вдруг сказал:

— Мы с Юркой уезжаем...— Аудитория была пустая и гулкая.

— Ты сегодня плохо побрил левую сторону шеи,— сказала я.— Поэтому по тебе можно узнавать, где север и где юг.

— Мы уезжаем завтра, знаешь...

— У тебя бритва плохая. Или ты невнимательно брился,— сказала я. И заплакала. Беззвучно заплакала, чтобы он не слышал. А он и так не слышал, он сидел, отвернувшись к окну.

— Значит, план такой: я меняю Юрке фамилию, чтобы эта мадам не сумела найти его, отвожу парня к моей тете в Пермь, а сам еду в институт живописи. Я не могу без Питера.

Я проглотила застрявшие в горле соленые всхлипы и сказала ровным голосом:

— Это жестоко — отнимать у женщины ребенка.

— Замолчи! — закричал он.— Что ты понимаешь, клоп! Господи, ну что ты понимаешь в жизни! Что ты знаешь об этой женщине? Это истеричное, дрянное, мелочное существо! Это опустившийся человек, у которого чувство материнства сведено к нулю. Юрка издерган, ему пять лет, а он уже знает, что такое мама в подпитии! Да что там! — Он замолчал.

— А ты в институт? — спросила я.— Опять в институт? Но ведь тебе уже двадцать семь, магистр, уже почти тридцать! Ты всю жизнь собираешься провести замечательным Никем? Талантливым, обаятельным Никем?

— Ты знаешь...— сказал он.— Когда-то я наткнулся на одну старинную гравюру — «Похороны Александра Македона». И никогда не забуду: воины, понурив головы, несут тело, и с носилок свесилась его мертвая рука. Рука — пустая... Владел половиной мира, а т у д а с собой ничего не взял. Сколько буду жить, буду помнить: пустая беззащитная ладонь великого человека. Жест нищего, просящего подаяние...

Он медленно играл одним указательным пальцем хроматическую гамму от ноты си бемоль вниз. И я отчетливо представила себе длинное черное шествие с телом Александра Македонского и увидела, что у воина, несущего факел перед носилками, было лицо Алтухова. А факел освещал безжизненную руку, свесившуюся с носилок, и тяжелые круглые глаза воина, спрятавшие в себя скорбь...

И я подумала, что, наверное, за то мы и любили Алтухова, что он рисовал себе захватывающие, чарующие картины, а потом дарил их нам, насовсем, выбрасывал, как выбрасывает большой волшебник всякие мелкие чудеса на потеху обыкновенным людям.

Забавлял нас — и сам забавлялся этим от скуки. Потом покидал нас и мучился, что не делает ничего значительного, и шлялся по городам, и объявлялся снова — сумасшедший, непонятный Алтухов...

А может быть, он тем и отличался от нас, что, не обнаружив в себе гениальности, был потрясен до глубины души, это стало несчастьем всей его жизни. А мы как-то не замечали, не хотели замечать своей обыкновенности, своей будничности... Проще говоря, мы здраво смотрели на эти вещи, как и должно смотреть на них взрослым людям.

— ...Ты мне напишешь хотя бы, проклятый Алтухов?

— Не плачь,— сказал он.— Ты плачешь, как пьяный Сашка Белоконь. А я не люблю его...

— А кого ты любишь?!! — заорала я.

— Тебя,— просто ответил он.

Потом неловко залез в рукава своего плаща, взял скрипку под мышку и вышел.

Я стояла у окна, смотрела, как по узенькому тротуару прочь от консерватории удаляется сутуловатая фигура в синем плаще с поднятым воротником, и представляла, как через недельку какой-нибудь Сашка Белоконь сбегает в деканат, а потом, вернувшись, объявит: «Собратья, Алтухов пропал!»

— Не пропал, а исчез...— машинально поправлю я его и подумаю: как это мы тогда не поняли друг друга! Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я наконец-то решила влюбиться в него, урода...

ДМИТРИЙ ХОЛЕНДРО

БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА

Смешно, но друзьям моей дочери кажется, что и тогда я был уже немолодым. Ну, не белобородым, не согнутым в три погибели, но определенно в годах. А между прочим, в том декабре мне исполнился двадцать один и, значит, было немного меньше, чем им самим, студентам-пятикурсникам, сегодня.

Война экзаменовала нас четыре года, и пусть они, эти годы, были необычно долгими, а иные дни запомнились как бесконечные, даже порой чудится, что они еще длятся,— обернешься и увидишь тех, кого так и не дождались с дальних дорог, и услышишь, как живые, голоса, которые молчат беспробудно,— все равно по календарному счету война была нашим университетом, это она дала нам высшее образование. В сорок первом мы ушли на фронт с первого курса...

Друзья моей дочери иногда собираются у нее и затевают свои беседы, курят, спорят обо всем на свете, как и полагается молодежи. В последний вечер, когда я появился дома и толкнул дверь в столовую, чтобы поприветствовать компанию, один из

них, наиболее горячий, громкий и забиячливый, крикнул, подталкивая к переносице сползающие очки:

— Вот сейчас мы услышим, что надо! У нас идет жуткий спор!

— Жуткий?

— Папа! Разговор серьезный. Или соответствуй, или...

— Я понял. О чем же разговор?

— О любви.

— Ой!

— Мы для него еще дети, от него не дождешься понимания,— махнула на меня рукой дочь.

— А почему вы решили спросить меня? Мне кажется, в этом деле нет ни знатоков, ни специалистов... Каждый случай особенный, свой! Не бывает любви по стандарту, думать иначе и обидно и глупо. Вот, по-моему, и все, что можно сказать...

— Нет, не все. Сейчас мы объясним.— Леня считался умницей и был кудрявым толстяком с притаенным светом в глазах, в детстве просто улыбчивых, а сейчас уже ироничных. Он жил в нашем подъезде и на такие вот дружеские посиделки поднимался по первому телефонному звонку.— Вы не возражайте, пожалуйста,— попросил он,— и тогда я сразу подведу вас к главной точке нашего спора. Любовь не дана человеку кем-то или чем-то, например, богом или судьбой, раз и навсегда, и поэтому не существует в каком-то постоянном качестве. Было, когда из-за женщины стрелялись, убивали за одно неучтивое слово по адресу любимой. Сейчас это смешно. Из жизни изгнан театр, но ценность и роль любви одновременно упали. И падают. Кое-кто из нас говорит, виновато равноправие между женщинами и мужчинами. Некого защищать! Кое-кто утверждает, что любовь с ее заоблачных высот уронила война... Нам не хочется задевать ваших святых воспоминаний, связанных с войной, но давайте считаться с реальностью, а не с вымыслами, от которых за километры тянет фальшью. Была ли на войне высокая любовь?

— А как вы к этому относитесь, Леня?

— Здраво. О войне сказал я. Это исторический факт. И за годы, в которые родились мы, грешные, любовь еще не воспарила в небеса, на свое место. А может быть, никогда больше и не воспарит! Подниматься тяжелее, чем падать. Ну, открывайте огонь! Подставляю грудь. Пли!

Я молчал.

— Конечно,— прибавил Леня,— мы готовы услышать общие слова, но можем и сами сказать их, сколько хотите. А вот случай какой-нибудь вы можете вспомнить?

Горько сознаться, но как назло ничего не вспоминалось. Я твердо верил, нет, знал, что рядом со смертью люди любили чище и бескорыстней. Все мелочи отлетали, обнажая подлинные чувства.

Однако на память не приходило ничего! Гости дочери так и ушли, не дождавшись моего рассказа.

...Уснуть я не мог. Вспомнился капитан, который писал жене каждый день, иногда это бывало уже и за полночь. Даже если на сон выкраивалось не больше получаса в сутки, он не ложился, не черкнув домой хоть строки.

— Она волнуется,— говорил он,— а я, брат, не могу, когда она волнуется.

Сначала в части посмеивались, шутили над ним, а после — над теми, кто не писал домой. Этот капитан всех вокруг заставил писать родным и любимым чаще...

И была совсем юная женщина, на семейную жизнь которой судьба откроила от войны одну неделю. Пятнадцатого июня эта пара справила свадьбу, двадцать второго началась война, и назавтра муж в товарном вагоне ехал к границе. Через день или два молодая жена пешком пошла за ним. Шла туда, где было хуже,— навстречу беженцам, катившим свои скрипучие тачки.

Она не сомневалась, что муж спешил туда, где тяжелее всего, где пожары и дымы уже обволокли землю.

Удивительно, но безрассудная путешественница в полусожженной деревне за Днепром встретила своего мужа. Здесь стоял наш артиллерийский дивизион, отведенный для срочного переформирования, дивизион, в котором был и я, начавший войну наводчиком орудия. Командир дивизиона распорядился, чтобы женщины не было в деревне через час. Он был хорошим и храбрым командиром дивизиона, но не мог же он разрешить, чтобы женщина — да что там, девчонка! — отыскав на войне своего мужа, рядового бойца, осталась с ним. Непорядок!

— Пойдем, я провожу тебя,— сказал он,— сама понимаешь.

— Понимаю,— сказала она и пошла к комиссару полка.

— ...Почти семьсот километров пешком? — спросил комиссар.

— Я не считала. Может, и больше.

— Ты подумай! — Комиссар восхищенно уставился на нее.— Всем бы нашим женам такими быть!

— С ума сошел! — не выдержал командир полка и даже рассмеялся.— Она же ненормальная! Не обижайтесь, барышня.

А комиссар, пока стоял наш полк в этой деревне, разрешил гостье с мужем жить в хате, которую они сняли у доброй хозяйки за спасибо.

Если выдавалась свободная минута, мы пробегали по траве и шли мимо хаты, чтобы увидеть ясноглазую, хрупкую, с золотистыми, шелковыми, какими-то младенческими прядками жену нашего однополчанина, улыбнуться ей.

Он пал в бою раньше, чем она вернулась домой, но спустя свой срок у него родилась дочь, а сейчас уже есть и внуки. До сих пор многие из нашей части переписываются благодаря этой «ненормальной» и пишут ей самой...

Выглянув в окно, я увидел вместо черноты, пробуравленной иглами фонарей, рыхлую уже серость. Скоро в облаке напротив нашего высокого этажа зарделась заря...

Как я мог не рассказать о своем друге, фотокорреспонденте фронтовой газеты?! Снимая на перед-

нем крае, он в каждой пленке оставлял два-три кадра, чтобы на них потом, в Краснодаре, вновь перезаряжая кассеты, сфотографировать девушку, с которой познакомился в день освобождения города и которую — как счастливо и порой тоскливо признавался нам — любил все больше.

Он и так слыл неробким, а эта любовь делала его вовсе бесстрашным: он взбирался по самым рискованным тропам на окутанные огнем высоты Голубой линии, ходил в десанты через реки и лиманы, а когда его пытались унять, отвечал одинаково:

— Со мной не может ничего случиться! У меня на каждой пленке остается два-три кадра, которые я должен доснять в Краснодаре. Это мой талисман.

Увы, он утонул в плавнях, так и не сделав самых последних снимков и, как выяснилось, ничего не сказав о своей любви этой девушке, в домике которой на бечевках под потолком висели проявленные фотопленки с ее пугливыми улыбками по соседству с кадрами завершающего этапа Кавказской битвы — их хватило на музей.

Едва я беззвучно произнес про себя: «Кавказской»,— как дверь словно распахнулась... Я даже повернулся к ней. Она была закрыта. Показалось, сейчас стукнут в нее тихонько, стеснительно, потом громче, нетерпеливей, и, едва я приподнимусь на койке, выглянув из-под простыни, и скажу: «Входите! Открыто!»,— как дверь распахнется настежь и в комнату войдет коренастый и капельку неуклюжий от этого, с тяжеловатым лицом и крохотными глазами тридцатилетний командир танкового полка майор Егоршин.

Я только что приехал из его полка, с Терека, где провел неделю, полную огня и железного лязга,— его полк насмерть сражался с наступавшими фашистскими танками. За холмиками у горных дорог, в ямах, вырытых саперными лопатками на кавказских склонах, залегли истребители танков, вооруженные гранатами или бутылками с горючей смесью, а то и

длинными противотанковыми ружьями; на быстрые, наспех оборудованные позиции передвигались легкие и юркие «сорокапятки» — противотанковые орудия, а если их не хватало, то опускала свои долгие жерла и зенитная артиллерия, и выкатывались тяжелые гаубицы, с громом палившие по цели впрямую, а когда и этого не хватало — под Гудермесом и Моздоком, например,— на рельсах загрохотали, ожив, старые бронепоезда, массивные герои гражданской, до сих пор стоявшие на запасных путях.

Это было осенью сорок третьего, когда колонны вражеских танков с десантами на броне рванулись вдоль Терека к Каспию, на запах грозненской и бакинской нефти, и спесивые генералы Гитлера, уверенные в безошибочности своих расчетов, обещали ему 6 сентября пройти через Грозный, а 16-го через Махачкалу. Но... сентябрь заканчивался, а враг все еще топтался далеко от заветных нефтяных вышек, хотя ему и удалось в двух или трех местах форсировать Терек. Единственное, что делал он успешно, так это украшал берега бурной реки обожженными корпусами своих танков. Десятки, а потом и сотни их, с крестами на боках, хлестала снежная крупа, секли косые дожди...

Где только могли, фашистские генералы снимали танки и кидали на кавказские дороги, считая, что вот-вот прорвутся, пройдут. Еще удар, еще... Но в самые критические минуты с ними грудь в грудь сталкивались наши танкисты, в том числе и полк Михаила Егоршина. Расставаясь с ним после недели почти непрерывных ночных перебросок, я сказал, что если судьба вдруг закинет его в Грозный — мало ли чего не бывает на войне! — пусть хоть на несколько минут заходит в редакцию, куда меня перевели из артиллерийского дивизиона. Больше из гостеприимства пригласил, даже не подозревая, что это может случиться на самом деле...

Той осенью наша редакция размещалась в многоэтажной и гулкой от пустынности гостинице «Грознефть». В ее забытых коридорах было тоскливо и

временами вылизано напоказ, свыше всех санитарных норм, когда редакционные машинистки отрывались от срочных, неубывающих дел, распрямляли спины и устраивали аврал по выметанию пыли, грязи и бумажек из углов, а временами так мусорно, как будто все эти щепки от дров, которыми топили «буржуйки» в невиданно роскошных номерах, и бумажные комки и клочки с фирменной эмблемой редакции копились тут веками.

В послевоенные годы мне по роду профессии, сопряженной с ненасытным людским любопытством, довелось покружиться по земле и поночевать в самых разных гостиницах. Скромная «Грознефть» оказалась в моей жизни первой гостиницей да и не только в моей, а и для большинства молодых журналистов нашей газеты тоже, до того знавших и помнивших разве лишь шумные палаты пионерских лагерей. И номера, вместившие в себя по одной кровати, одному шкафу, круглому столику с графином и телефоном, да еще по два, а то и три стула, правда, с таким трудом, что все предметы задевали друг за друга и мешали,— без всяких скидок казались нам образцом роскоши.

— Кто там? — произнес я спросонья сквозь напряженно-громкий стук в дверь.— Входите, открыто!

И вошел Егоршин. Я не сразу узнал его. Он был в зимней шапке, «уши» с каким-то голубоватым мехом опущены и связаны под подбородком. Как будто с Северного полюса! Перехватив мой взгляд, он поспешил растолковать:

— Ехали в «додже», стекло обмерзает на ходу, пришлось его приподнять. А гнали!

Он улыбался непослушными губами. Ночи, даже кавказские, уже делались зимними, да еще если мчаться в быстрой машине навстречу морозному ветру...

Стянув шапку, Егоршин изо всех сил растирал кирпич подбородка.

— Красный, красный,— успокоил я.— Садитесь!

— Мало времени,— ответил он и остался на ногах.

Я догадался, что за эту малую долю времени что-то надобно сделать, и принялся одеваться, спрашивая, чтобы облегчить ему просьбу:

— Зачем приехали?

Он поддержкой не воспользовался, ответил в лоб и коротко:

— За новой техникой. Водителей привез, оставил в бараке у железнодорожной ветки. В пять утра подойдет эшелон. Сейчас,— он глянул на карманные часы «Русскому герою»,— второй. Вот и все мое время...

Фашисты прошлые дни пытались перегруппироваться и ударить по Военно-Грузинской дороге, ведущей к той же вожделенной нефти, но наше командование перехватило удар и отшвырнуло их от горловины Дарьяльского ущелья, по которому дорога пересекала главный хребет. Там, в этих боях не на жизнь, а на смерть, были, видно, и танкисты Егоршина.

— Были,— одним словом подтвердил он.

Ну, ясно, там и потрепали полк, после этого и прибывала и торопилась новая техника. О боях Егоршин рассказывать не будет, не в его привычках. Зачем же он пришел?

— Да садитесь вы! — крикнул я и сам сел к столу напротив неожиданного гостя, наполнив водой никелированный электрический чайник с такой же никелированной подставкой на подоконнике — комфорт высшего класса! — Я вас слушаю. Что у вас?

— Пустяк... Даже неудобно.

— Интересно! Курите — и рассказывайте.

Егоршин вытащил из пачки и размял штук пять папирос, складывая в шеренгу перед собой, и, наконец, решился.

— Жену хочу увидеть,— сказал он, подняв на меня крохотные глаза.— Извините уж, но... Вот такое дело.

— Как увидеть? За эти три часа?

— Я могу,— серьезно ответил он.

— Где?

— В кино.

Меня осенило, и я спросил:
— Она артистка?

А он медленно помотал головой, улыбаясь еще теплее и нежнее, я даже и не подозревал, что он может так улыбаться. Я смотрел на него зачарованно.

— Что вы, какая артистка! Учительница. С начала войны живет у моей матери, в деревне. Уехала в эшелоне с детишками — двое их у меня — с границы, где жили вместе. И до Вятки доехала!

— Счастье.

— А дальше-то как повезло! Не поверите! Приезжает в их деревню бригада из кино, из Москвы, доснимать картину...

— Красивая деревня?

— Там река... А деревенька, каких тысячи. Простая, как мир. Ну, вот... Женщин растянули в очередь на паром, отбирают. И мою Лизу отобрали.

— Красивая небось?

— Для меня лучше нет, а для кого как — это мне уж не важно. Совсем.

— Молодец, что снялась.

— Пишет: как подумала, что вдруг я увижу, так и согласилась.

— И детишек взяла бы под бок!

— Да я уж писал ей... Но она белье полоскала на реке, а детишки были дома, с бабушкой... Не получилось. И я с ума сошел бы! Приехал бы в кино на танке да и захватил картину себе!

— А фильм вышел?

— Давно. Я его уже три раза видел.

— Повезло.

— Так я в один день три раза видел. В госпитале, в прошлом году. Знаете, такое в фильме есть место: она поворачивается лицом... Найдем картину? Это ж ваша область!

Для человека, смотрящего на мир сквозь узкую щель в броне, сквозь прорезь, омытую одновременно и голубизной неба, и кровью, и пороховой гарью, наверно, он, этот мир, экономно делится не на бесчисленные подробности, а на несколько емких областей. Есть там и одна такая, где дружно умещаются порой вовсе не соприкасающиеся в действительно-

сти газета, книга, клуб, кино, а, может быть, еще и театр с музыкой...

— Конечно, наша! — ответил я в ждущие глаза Егоршина.

— Ну? — спросил он, задышав.

— Сейчас...

Я думал... Редакционная жизнь состояла из фронтовых поездок, где мы знакомились с людьми, чтобы написать о них, и будней в кабинетах за столами, где мы отписывались. За месяцы, проведенные в тревожном Грозном, я так и не узнал, работают ли здесь кинотеатры. Хоть один. И кого об этом спросить в половине второго ночи? Вот телефон. Самая быстрая связь. Но кому позвонить? А человек ждет Он вырвался из боя на три часа, и ему кажется, что у него в руках вечность, не меньше. Он любит и ждет...

И в моей памяти вспыхивает имя: Шайхи Ахматов, молодой чеченский поэт. Как-то я забежал в литературный отдел редакции стрельнуть папироску и увидел, что там стоит высокий и прямой, как натянутая бечева, юноша с крыльями черных волос над высоким лбом.

«Закуривай и слушай стихи»,— сказали мне.

Юноша был смертельно бледен, грудь его при дыхании приподнималась рывками, голос звенел, сливаясь в какую-то непостижимую мелодию.

«Как?» — спросил меня сам Шайхи, окончив читать. «Я не понимаю по-чеченски». «Стихи — это музыка!» — ледяным тоном сказал он. «Музыка, помоему, прекрасна. Она слышна». «Правда?» — как мальчишка, внезапно запунцовел поэт.

...Я вытянул палец, наказал Егоршину сидеть тихо и позвонил литзаву, как мы его называли, чтобы спросить, не знает ли он телефона Шайхи Ахматова, если у того вообще есть телефон. В ответ меня не очень литературно послали к черту, а вместо точки и даже восклицательного знака на том конце провода просто положили трубку.

Вторую попытку задать тот же вопрос литзав встретил более мирно:

— Эй, ты пьян или спятил?

— Я трезв, я не спятил и все объясню тебе завтра, потому что сейчас нет времени... Дело важное, поверь на слово.

— Скоро два!

— Именно поэтому и нет времени!

Телефона у Шайхи не было, но адрес его литзав дал по памяти. И мы поехали. Расторопный «додж» закрутил нас по городу, меняя проспекты на все более далекие и узкие переулки, в которых вместо домов попадались нефтяные вышки с работающими маятниками.

Мы сидели под брезентом на одной из досок, перекинутых с борта на борт. Сидели, обнявшись: так было удобней держаться.

Наконец остановились.

Шайхи все понял быстро, как и полагается поэтам, едва речь заходит о любви. И вот мы уже втроем мчались дальше, обхватив друг друга, и кругляки булыжника под колесами снова выглаживались в асфальт.

Объехав пасти двух ям, обставленных дощатыми козлами в местах недавних авиабомбежек, машина по требованию Шайхи затормозила около степенного и солидного дома, казавшегося таким большим, что в темной глубине ночи не удавалось увидеть всех его очертаний. По предположению Шайхи тут жил начальник республиканского кинопроката. Впервые в жизни именно здесь, в середине ночи, я услышал это слово: кинопрокат.

Через пять минут я уже жалел, что не пошел к всевластному начальнику вместе с Шайхи: время летело, а двери парадного подъезда оставались мертвы. Ни фигуры. Ни звука. Мы выкурили по доброй папироске, прикрываясь рукавами шинелей, потом я спрыгнул и побежал к подъезду, не зная ни этажа, ни номера квартиры. Это и не понадобилось: когда я приблизился, темные двери растворились навстречу мне и раздался звонкий голос Шайхи:

— Идем, идем!

Начальник кинопроката оказался немолодым и внушительным. С животом. В очках. Словом, персона.

— Есть картина? — спросил я с разбегу.

— Как может ее не быть, когда она нужна? — удивился начальник так, что мне стало искренне стыдно за себя.— Сейчас едем в Дом Красной Армии — самая действующая наша киноточка.— И приложил ладонь к груди.— Извините, мы задержались, потому что много звонили... Киномеханик уже едет.

— На чем?

— На ишачке.

Начальник, которого мы попытались усадить в кабину, чтобы обласкать за деловитость и душевность, наотрез отказался и забрался в кузов.

— Я со всеми!

Ему эта поездка мерещилась боевой, и мы ехали браво и весело, даже шутили, если не считать молчаливого, совсем какого-то бессловесного Егоршина, и только на зловеще пустой улице, разинувшей еще одну свежую воронку от бомбы, я услышал, что начальник, шагая к складу, повторяет какие-то странные слова, похожие на молитву.

— Что это вы?

— А что еще делать, когда хочешь радости человеку, а все зависит от случая? Я не верю в бога, но я молюсь.

— Позвольте! Вы же сказали, что картина есть!

— Она есть в списке. Но, может быть, ее отправили по аулам, дали кинопередвижке.

Судьба пощадила и его, и Егоршина, и всех нас. Картина не сразу, но обнаружилась на складе.

И застрекотал аппарат. В большом зале сидело всего-навсего человек пять, и от этого он казался еще просторней. И вот потекла река по экрану — в блеске солнца, в кувшинках, в заводях, обросших осокой, среди горок с березками, древних ив, склонившихся над водой и без устали полощущих свои ветки...

А вот и паром! Женщины стоят у березовых перил и сидят на ящиках, на бочках, на телегах... Где

же она? Какая? Как ее зовут? Лиза, он сказал... Егоршин молчит, впился острыми глазами в блеск реки, в ивы и березы, в лица... Их было много на экране, разных. И вдруг он схватил меня за руку. Я закричал:

— Стоп!

Паром остановился. Река остановилась. Лица остановились... Чуть-чуть постояли и поплыли дальше. Как объяснил киномеханик, держать их в неподвижности было рискованно: пленка могла вспыхнуть и сгореть.

«Где же она, Лиза?» — хотел спросить я, но вдруг вздрогнул от солдатской песни, долетевшей оттуда, с берега, с экрана: по берегу строем шли бойцы и пели, а женщины с парома махали им руками. И когда прошли бойцы, и уплыл паром, и стихла песня, майор Егоршин встал.

— Еще раз? — спросил я.

Но увидел, что он уже надевает шапку и показывает мне на часы.

«Надо же! — мог бы произнести Егоршин.-- Будто встретился!»

Но он не сказал даже и этого.

«И все?» — грустно подумал я. Мне, по молодости, конечно, категорически требовались от него слова восторга.

С первого кадра и до того, как встал, майор просидел без единого слова. А мне преступно-бледным казалось это молчание, которое сейчас ощущается куда надежнее слов и которого поэтому вполне хватает.

В зале вспыхнул свет. Перед белым экраном майор быстро обходил всех и так же молча жал всем руки.

Никто из нас, если признаться, не верил, что устроит майору это свидание. Я мог не застать Шайхи дома. Шайхи не знал точного адреса начальника кинопроката. Начальник кинопроката боялся не найти картину.

Но почему-то для всех нас важно было показать этот фильм, как будто мы устраивали счастье самим себе.

На улице уже тарахтела машина, водитель сидел на своем месте.

Ночь кончалась, шел пятый час...

Майор Егоршин вдруг предложил:

— Закурим?

Короткая вспышка спички, юркнувшей в логово шинельного рукава, все же позволила заметить, как помрачнело его лицо.

— Что случилось?

— Да вот думаю,— глухо отозвался он,— прислали бы нам «тридцатьчетверки»... Только бы не «Валентины». Горят, как из картона...

Хотя через Баку к нам шли легкие английские танки «Валентина», вызывающие у танкистов оправданные жалобы, мне не хотелось сегодня его огорчать.

— Придут «тридцатьчетверки»!

«Додж» укатил, круто развернувшись на улице. Я оглянулся на начальника кинопроката.

— Как вы думаете, которая из женщин была жена Егоршина?

Он рассмеялся в ответ.

— А я хотел вас спросить! Но я вам вот что скажу... Мне не важно, какая она, честное слово.

— Мне из-за нее все понравились! — на прощание крикнул киномеханик.— Все до одной!

И поехал на своем ишачке вслед за «доджем», в темень.

Ну, ладно, подумал я, отложу свой вопрос до новой встречи с Егоршиным.

Через месяц, не больше, я догнал его танкистов в Георгиевске, небольшом городке, темневшем серыми стенами деревянных домиков на свежем искристо-белом снегу. Полк остановился на краткий отдых, ожидая пополнения перед ударом в сторону Краснодара.

Узнав, где расположился штаб, я ворвался в дом, представился и выпалил:

— Командира полка!

Когда показали на дверь, я толкнул ее, не раздумывая вошел и вытянулся.

Со скамейки у стола навстречу мне поднялся молодой черноусый майор.

— Извините,— сказал я,— а Егоршин?

— Майор Егоршин погиб позавчера при освобождении этого города. Вчера похоронили при участии многих жителей...— вздохнул он.

На улицах, разыскивая полк, я видел три или четыре «Валентины», разрисованные языками густой копоти.

Позавчера... Значит, Лиза Егоршина еще ничего не знала...

Вот так все и вспомнилось.

А ведь молчал...

АДАМ ШОГЕНЦУКОВ

РОДНИК

Горный источник...

Маленькое чудо природы.

Я часто любовался прохладной его чистотой, не отрывая глаз от трепетной, слабой струйки, отважно пробившей земную твердь, и сердце мое наполнялось тихим восторгом.

Какими же надо обладать прямотой и скрытою мощью, чтобы так откровенно и добро нести влагу и жизнь тому, что способно жить и цвести!

Только слепец не заметит и пройдет мимо: родниковые воды бесшумны. Все настоящее негромко и просто.

Однажды горный ключ был засыпан обвалом.

Одни говорили, что устремил он свой бег внутрь скалы и, может быть, на поверхность больше не выйдет, другие надеялись, что настанет час, и он опять блеснет на солнце, но уже в ином месте.

Нашлись и унылые люди, которые утверждали, что источник иссяк и возродиться вновь у него теперь недостанет силы.

Не верю я в это.

Не хочу верить, хотя проявления жизни бесконечны, как бесконечна она сама. Есть вся на виду, щедрая, чистая, как родник; есть незаметная, бесполезная, текущая в стороне от дороги, а есть вовсе неведомая, обращенная вспять и вглубь, никому не подарившая радости...

Аслан не стал писать матери о своем возвращении. Свалился как снег на голову.

Войдя во двор, снял с плеч вещмешок, поставил чемодан на знакомую с детства дорожку, ведущую от калитки к дому, положил на чемодан плащ и, достав из кармана аккуратно сложенную вдвое бархатку, ловким движением прошелся ею по слегка запылившимся новым туфлям. Потом не спеша поправил воротничок, галстук, одернул пиджак, ладно облегавший его крепкую фигуру. Еще раз оглядел себя и, видимо, остался доволен: теперь можно показаться кому угодно.

На холеном, чисто выбритом лице его заиграла самодовольная улыбка — кончики тоненьких, тщательно подстриженных усиков слегка дрогнули и опустились.

Не успел он снова нагнуться, чтобы взять чемодан и плащ, как перед ним выросла, словно из-под земли, высокая смугляночка в том счастливом, неопределенном возрасте, когда девочка уже не ребенок, но еще и не взрослая девушка.

Темные, как две ягоды спелого терна, глаза, полные удивления и живого интереса, тугая коса на груди.

Она сказала, смущаясь:

— Кохси́ж! С приездом, Аслан!

— Упсоу́ж! Спасибо, милая. Откуда ты меня знаешь?

— Знаю, тха [1].

— Кто же ты будешь?

— Я дочь Хацацы.

Дочь Хацацы? Аслан с трудом сдержал возглас изумления и досады. Не может быть! Неужели Хацаца все-таки вышла замуж?! Вышла за вдовца, у которого есть ребенок?..

Пауза затянулась. Наконец, совладав с собой, он спросил, чтобы не молчать:

— Как же тебя зовут?

— Сана.

— Сана, Сана... смородинка,— сказал он в раздумье. Мотнул головой, точно стряхивая непрошеные воспоминания.— Что же ты обо мне знаешь? —

---

[1] Тха — ей-богу *(кабард.)*.

Теперь в его голосе появились искусственные, нарочитые нотки. Так взрослые иногда обращаются к малым детям, почему-то считая своим долгом занимать их разговорами.

По лицу Саны пробежала мимолетная тень, но она тут же улыбнулась и с готовностью ответила:

— Вы работаете на большой стройке. В Сибири...

— Работал,— поправил Аслан, перебивая ее.— Теперь все. Вот и приехал... Скоро в армию...

— Тети Каны нет дома.

— Где же она?

— Копать картошку уехала. С ночевкой.

— А где твоя мама?

— Мама? — Девочка замялась.

— Ну... где работает? Где вы живете?

— На ферме она. Доярка. А живем мы здесь.— Она сделала широкий жест рукой.— Ваши соседи.

— Что ж, все правильно,— невпопад сказал Аслан, снова без видимой надобности одергивая пиджак.

Сана потянулась к чемодану.

— Спасибо, я сам,— опередил ее Аслан и зашагал к дому.

Замок висел на двери.

Он сел на скамейку возле неширокого арыка, весело бегущего в земляных бережках, под старым ореховым деревом, которое Аслан знал и помнил, сколько помнил себя.

Все, все тут было ему знакомо...

Выбеленная дождями и солнцем скамья, сделанная бог весть когда из двух бревен-стоек и чинаровой плахи, давно перестала служить паровозом, на котором он столько раз отправлялся в неведомые дальние страны, а высокий, шумящий листвою тополь — уже не космический корабль, готовый к старту...

Аслан забирался когда-то на его колеблемый ветром ствол и летел в голубое небо, в бескрайние просторы Вселенной...

— Будете ждать тетю Кану? — спросила Сана, прислонившись к ореху. Рядом с неохватным дере-

вом она казалась такой нежной и тоненькой в своем белом простеньком платье, стянутом у талии узким пояском.

Он на минуту забыл о ее существовании и теперь удивленно смотрел на стройную фигурку, прильнувшую к стволу.

— А что же мне делать? — сказал он и подпер руками подбородок.

— Она ведь там заночует. Уже несколько дней, как она уехала.

— Все правильно,— повторил он, не вникая в смысл ее слов.

— Пойдемте к нам,— несмело предложила Сана, отходя от ореха.

Аслан словно не слышал. Эта девочка напомнила ему о Хацаце — неужели действительно вышла замуж?

Он встал, машинально сдвинул на затылок кепку. Плащ, который все еще держал в руках, повесил на сук. Для чего-то поправил чемодан на лавочке.

— Сана! — послышался женский голос из соседней усадьбы.— Где ты, Саночка?!

Девушка не отвечала.

— Что же ты молчишь? Тебя ведь зовут.

В глубоких глазах ее на миг промелькнуло странное выражение. Было в нем и детское упрямство и нечто более сложное, ускользнувшее от Аслана.

— А вы поедете к тете Кане в поле? — оставив без внимания его вопрос, поинтересовалась она.

— Зачем тебе знать?

Она нахмурилась. Две складочки легли на чистом лбу и тотчас же разгладились — как и не было их.

— Возьмете меня с собой?

— Куда?

— Я же сказала. К тете Кане. В поле, где копают картошку. Я бы помогала. Я сильная, вы не смотрите, что худая...— Она смешалась и умолкла.

— Я подожду мать здесь,— сказал Аслан.— Вернется же она в конце концов,— добавил он скучным голосом. Ему начал надоедать этот ничего не значащий для него разговор.

Во двор вошла соседка. Сана мгновенно перемахнула через плетень — мелькнули в воздухе загорелые ноги, и белое платье затрепыхалось среди листвы.

Вошедшая, увидев Аслана, остановилась и всплеснула руками.

— Уузйншем! Здравствуй, Жанпаго! — поднялся он ей навстречу.

Небо уже подернулось сумеречной предвечерней дымкой, и женщина долго всматривалась в его лицо, все еще не веря себе.

— Ты, случаем, не Аслан?

— Он самый, тетушка Жанпаго,— улыбнулся он.

— О ди тха! В добрый час! Да будет счастливым твое возвращение! Что же ты стоишь тут, почему не в доме?

— Матери нет.

— Ну да. Всех пожилых собрали на картошку. Не ночевать же тебе на улице. Пойдем к нам.

— Спасибо. Зачем я буду вас стеснять? Если мать не вернется, лягу на своем топчане, под навесом.

— Ночи-то нынче холодные.

— Ничего, я привычный.

— А Сану нашу не видел здесь?

— Была... кажется. Убежала.

— Хацаца на ферме задержится, просила, чтобы я Сану к себе взяла. Может, все же и ты к нам пойдешь?

— Нет, спасибо. А Хадис дома?

Тетушка Жанпаго добродушно махнула рукой.

— Разве его удержишь? Как кончил свои экзамены в университете, уехал с этим... с отрядом с каким-то.

— Студенческий отряд?

— Вот-вот. А тебе, наверное, поскучать придется, Аслан. Молодежь нашего села разлетелась кто куда. На стройки разные, на учение. Братья Хамуковы и еще трое в пограничники ушли, четверо — в летные школы.

— Жаль,— сказал Аслан, но в голосе его не чувствовалось особого огорчения.— Сколько ждал,

думал — приеду, встречусь с друзьями... Погуляем вместе. Пусть посмотрят, каков стал Аслан Шаоев.

И опять вернулась мысль о Хацаце — теперь он уже не мог от этой мысли избавиться, она засела в нем, как заноза.

Аслан даже не заметил, что остался один. Жанпаго ушла.

Очнувшись и увидев, что ее нет, он негромко буркнул себе под нос: «Все правильно». И пошел к навесу устраиваться на ночь.

В палисаднике сушилась недавно скошенная трава. Он набросал ее на топчан, сверху прикрыл циновкой. Примостил вещмешок вместо подушки. Вернулся, чтобы взять висевший на орехе плащ, и чуть не сбил с ног... Сану.

— Ты что тут стоишь?

— Вы обманываете,— тихо сказала она.— Вы говорили «нет», а сами, верно, пойдете завтра к тете Кане?

— Да не пойду я никуда. Ступай спать.

Сана постояла еще немного и неохотно повиновалась.

Утром Сана поднялась раньше всех. Тетушка Жанпаго взяла ведро и направилась доить корову. Коровник вплотную примыкал к забору соседей, и навес, под которым спал Аслан, отсюда был хорошо виден.

Жанпаго бросила взгляд в соседский палисадник и недовольно покачала головой: Сана в ночной рубашке, в башмаках на босу ногу, стояла, прислонившись к ореху рядом с навесом, не сводя глаз со спящего Аслана. Трудно сказать, что светилось в этих глазах — простое любопытство, пробуждающийся бесхитростный интерес к молодому мужчине или немое обожание сельской девчонки, к которой пришла ее первая полудетская любовь и так же внезапно исчезнет, оставив лишь незаметный, но памятный след, как от неслышного прикосновения к щеке тополиного пуха, медленно плывущего в тихом потоке утреннего горного воздуха.

Кто знает...

Тетушка Жанпаго ничего не поняла и рассердилась.

— Как не стыдно! — громким шепотом сказала она.— Какой срам! Сейчас же ступай домой!

Сану как ветром сдуло.

— Оденься, покорми кур и выпусти их во двор! — крикнула еще ей вслед Жанпаго, поставив подойник и продолжая укоризненно покачивать головой.— Собирайся в школу!

Аслана разбудил голос соседки. Он потянулся и закинул руки за голову. Топчан жалобно заскрипел.

Полежав еще с минуту, Аслан рывком приподнялся и, спрыгнув с топчана, побежал во двор в одних трусах.

Сделал несколько гимнастических упражнений, помассировал широкую грудь, пошлепал себя по бицепсам. Потом достал из вещмешка полотенце и, с шумом разбрызгивая воду, стал умываться в арыке.

После обтирания все тело приятно горело. Вчерашние невеселые мысли куда-то улетучились, будущее казалось прекрасным и светлым.

Одевшись, Аслан подошел к плетню и замер: возле сарая он увидел Сану в новом розовом платье. Точно маленькое солнце выкатилось из-за гор.

Она смотрела вдаль и покусывала ноготь. Распущенная коса на плече. Глаза печальные...

Неожиданно она сорвалась с места и, подбежав к самодельному турнику, повисла на перекладине. По-мальчишески лихо сделала несколько махов, подтянулась и застыла в упоре на руках. Высвободив одну руку, откинула со лба волосы, поправила подол подвернувшегося платья. В окружении черных блестящих волос лицо ее, освещенное утренними лучами, было похоже на луну, проглянувшую сквозь тучи.

— Ты что же это вытворяешь? — подходя к турнику, сказал Аслан.— Упадешь ведь и разобьешься...— Он подхватил ее на руки, чтобы снять с перекладины. Сана не противилась. Аслан удивился: девочка оказалась вовсе не такой легонькой, как он ожидал.

Снимая Сану, он почувствовал, что крепкое теплое тело вот-вот выскользнет из его рук. Он прижал ее к себе плотнее.

Того, что произошло в следующее мгновение, он уж совсем не ожидал: Сана порывисто изогнулась и, обвив шею Аслана, приникла щекой к его лицу. От нее пахло солнцем и еще чем-то, напоминающим запах весеннего сада...

Аслан был ошеломлен.

Сана вырвалась и исчезла.

Он долго стоял в растерянности, глядя на покачивающуюся ветку яблони, которую Сана задела, убегая, и пытался понять, что это было.

— Дурит девчонка,— обронил он вслух и потер щеку, которой только что коснулось лицо Саны.— А может, просто благодарила, что снял ее? Она же еще совсем малолетка...

Заставив себя не думать о Сане, Аслан пошел бриться.

...Тетушка Жанпаго, процедив молоко, по обыкновению отправилась в сепараторную к Бабине. Там каждое утро, подоив коров, собирались все женщины округи. Заодно можно было узнать последние сельские новости и вдоволь наговориться.

— Аслан вернулся,— сказала Жанпаго.

— Какой Аслан?

— Сын Каны?

— Ухажер Хацацы?

— Он самый. Только что-то мне не нравится, что ее приемная дочь к нему льнет. Девчонка еще — что хорошего?..

— А как же Хацаца?

— Она вчера на ферме оставалась. Дома не ночевала. Да во всем Кана виновата. Ей, старухе, скучно одной, вот она Сану и привадила к себе. Целыми днями рассказывала ей о сыне. И такой он и сякой — сильный, смелый, красивый... Даже письмо с благодарностью от начальника стройки читала ей. Аслан, мол, по три нормы выполнял, и его наградили именными часами. А в комнате — Кана там

не живет, а держит ее как лагуну[1], пока Аслан не женится,— вся стена его фотокарточками увешана. Сана понаслушалась, понасмотрелась — вот, видно, голову-то и закружило... Они, девчонки, в этом возрасте, не дай аллах, как прилипчивы.

— Дитя она еще...

— Не скажи. Пятнадцатый ей пошел. В восьмой класс ходит.

— А откуда Хацаца ее взяла?

— Точно не знаю. Не говорит она. Сама-то ушла от бездетного мужа. Болтали, хотела окрутить зоотехника нового, что из города приехал, а он пожил месяц у нее и к другой подался. А девочку, слыхать, Хацаца у старшей сестры взяла на воспитание. Та вроде тоже разошлась с мужем, за другого вышла...

— Легко у нее все: от одного ушла, к другому пришла...

— Не говори. А Саночку жаль. Одна. Ни подружек у нее нет, никого. Как приехала, так и живет у Хацацы, словно чужая ей.

Говорили долго, горячо, перебирали подробности, случаи разные. Кто-то вспомнил, как Аслан, окончив профтехучилище, работал на ферме электриком. Там все доярки и все старше его. Острые на язык девки, бойкие. Прозвали его «шаоцук» — женишок. Подшучивали да подкалывали. Парень поначалу краснел, как вишня. Готов был сбежать с фермы.

Однажды ярко-оранжевая с белыми подпалинами корова Джамида застряла задней ногой в плетеной кормушке. Аслан в тот день явился на ферму раньше всех и высвободил Джамиду. С тех пор та стала отличать его от других. Пройдет он мимо, корова мычит, провожает его взглядом.

— Втюрилась Джамида в нашего электрика,— посмеялась одна из доярок.

— Но его-то глаза на Хацаце застряли,— возразила вторая.

— Чепуха! Она же на пять лет старше его.

— Ну и что? Завлекла — и конец джигиту.

Как-то Хацаца дежурила ночью. Трудно телилась Джамида. Лишь к рассвету Хацаца взяла на

[1] Лагуна — комната молодоженов (*кабард.*).

руки влажного рыженького теленочка с белой отметиной на лбу. Обтерла, высушила, помогла ему пристроиться к вымени. Настелила новорожденному мягкой соломы, уложила, а сама пошла на речку Псычох искупаться.

Аслан вообще ходил на работу рано, чтобы сделать все, что от него требуется, до появления доярок и поменьше выслушивать насмешки и подковырки. А тут еще не спалось ему. Вот и вышел из дому на зорьке.

Солнце только всходило. Заря заливала степь и дальние горы малиновым соком. И вода в тихом Псычохе была цвета спелой малины.

Он не торопился, с наслаждением вдыхал терпкий рассветный воздух, прислушиваясь к звуку собственных шагов и думая неизвестно о чем. Бывает в юности такое состояние, когда и сам не скажешь, что у тебя в голове. Ты молод, вокруг степь, приволье, и все ладно, и все хорошо...

Продравшись сквозь кусты, плотно обступившие тропу в этом месте, Аслан поднял глаза и остановился как вкопанный.

Из реки вышла молодая женщина и, повернувшись лицом к солнцу, откинула на затылок мокрые пряди волос. Он успел разглядеть большие карие глаза под густыми ресницами и четкими дугами бровей. Сейчас он видел ее всю со спины, блестящую, точеную и розовую, как спелое яблоко. Светлые капли воды стекали с нее на песок и загорались на солнце янтарно-золотыми звездами.

Впервые перед Асланом так близко было обнаженное женское тело. Смущенный и растерянный, он хотел отвернуться или сбежать, но его ноги вдруг стали ватными, непослушными, и он не смог сдвинуться с места.

И продолжал смотреть...

Заревой свет, струившийся с ее гладкой шеи и покатых плеч, со всей ее фигуры, пронизанной солнцем, ударил его жаркой волной.

Он стоял, не сводя с нее глаз, не в силах пошевельнуться, онемевший, пораженный красотой Женщины...

Хацаца — это была она — неторопливо оделась и, не заплетая кос, а разбросав волосы по плечам, взяла туфли в руку и босиком пошла по песку.

Когда она скрылась за кустами молодых ив, обступивших излучину реки, он обессиленно присел на лежавший рядом прохладный валун.

На ферме Аслан появился, когда утренняя дойка уже закончилась. Без него женщины включили двигатель, без него справились с неполадками в доильных аппаратах.

Хацаца вскрывала траншею с силосом. Подошел Аслан, попросил вилы.

Как он работал в то утро!

Увесистые вилы с охапками силоса так и мелькали в его руках!

— Это еще не готово,— говорил он Хацаце время от времени.— Пусть пока полежит.

Она хотела спросить, откуда он знает, что верхний слой силоса обычно не готов на корм скоту. Аслан ведь никогда прежде не работал на ферме. Но почему-то промолчала. Изредка она поглядывала на него.

Когда покормили животных, Аслан тихо спросил:

— Хацаца, вы скоро домой пойдете?

— Зачем тебе?

— Вместе пошли бы...

— Хочешь, чтобы про нас сплетни разные распустили? И так кое-кто болтает лишнее.

— Пусть. Я не боюсь.

— Зато я боюсь. Мой прежний муж так и норовит облить меня грязью.

— Вы же разошлись?

— По суду развода еще нет.

Аслан помолчал. Наконец, видимо, он решился:

— Уедем со мной, Хацаца! А?!

— Что ты говоришь, милый?

— Я серьезно.

— Тебе же в армию скоро,— буднично сказала Хацаца.

— Еще не скоро. Через год. Потом отслужу и вернусь! Ты будешь меня ждать?

— Уедешь и забудешь,— все так же деловито сказала Хацаца.

— Если любовь настоящая — разлука не страшна! — пылко возразил он.

Она усмехнулась.

— А если ненастоящая?

— Я где-то читал, что не бывает любви настоящей и ненастоящей. Любовь — это любовь!

— На словах все красиво. В жизни, дорогой мой, не так.

— Я не на словах!

Хацаца пожала плечами.

— Я старше тебя. И потом — твое признание так внезапно. Больно быстрый ты. Я ведь замужем была. Начитался ты книжек разных...

— Но я...

— Молод ты еще. Отслужи свое, вернешься, тогда и посмотрим.

На следующий день Аслан собрал вещи и уехал на стройку.

...Вечером вместе с Хацацей вернулась мать. Аслан в это время стелил себе постель под навесом.

Увидев его, Кана бросилась в палисадник. Хацаца приостановилась у ореха.

Мать всхлипывала, обнимая сына, приговаривала едва слышно: «Дорогой ты мой, кровинушка ты моя, свет глаз моих...»

Он тоже был растроган, но все его существо тянулось сейчас к Хацаце, стоявшей в двух шагах от них.

Подхватить ее на руки, унести куда глаза глядят, чтобы никто больше их не видел, чтобы они оставались вдвоем на всем свете!

Ни мать, ни обычаи предков — ничто не удержало бы его теперь, лишь помани Хацаца, дай понять, что он дорог ей, что она ждала его все эти месяцы.

Но женщина не дождалась, пока Кана отпустит сына, и ушла, сказав всего несколько общепринятых слов:

— Здравствуй, Аслан. С приездом тебя.

Он пробормотал в ответ что-то невразумительное.

Весь вечер Кана не могла на него наглядеться. Расспрашивала, ловила каждое его слово.

Он отвечал односложно, иногда невпопад.

Глубокой ночью Аслан вылез из окна своей комнаты в сад. Ощупью пробрался к лазу в соседский двор, стараясь ничего не зацепить и не наделать шума.

В просторном дворе Хацацы стояла густая тишина. Он задержался под деревом, затаив дыхание. Тишину взорвало хлопанье тяжелых крыльев. Аслан не сразу сообразил, что на него чуть не свалился индюк: видимо, индюки Хацацы спали на ветках. Они было всполошились, напуганные шумом, потом все стихло.

Аслан подошел к дому. Сердце стучало, и ему казалось, что стук этот разносится по всему двору. Он поскреб ногтями в ставню, прислушался.

Легкий скрип отворяемой двери, чьи-то мягкие шаги...

Он прильнул к входной двери и... чуть не упал — Хацаца резко открыла ее. Увидев темную фигуру Аслана, снова захлопнула перед самым его носом.

— Кто это?

— Это я, Аслан. Впусти меня.

— Ты, наверно, пьян. Уходи.

— Капли во рту не держал. Впусти, Хацаца! — Он с трудом приглушил голос. Ему хотелось крикнуть на всю округу, никого не стесняясь.

— Сейчас,— прошептала она. Щелкнул замок.— Сейчас...

Луна выплыла из-за туч, озарив все холодным голубым светом.

— Мама, кто там? — услышал он сонный голос Саны.

— Никого. Спи, пожалуйста!

Дверь неслышно открылась. Аслан, ни слова не говоря, привлек Хацацу к себе и вынес во двор.

— Ты с ума сошел?!. Что ты себе позволяешь? — возмутилась Хацаца, слабо вырываясь.— Ненормальный.

Он стоял с ней на освещенной луной дорожке и осыпал поцелуями ее лицо, губы, шею. Она обмякла в его руках, он чувствовал тепло ее тела сквозь ситцевый халатик, надетый поверх ночного белья.

...Они не слышали и не видели, как к распахнутой двери подошла разбуженная Сана. Босая, в одной рубашонке, дрожащая от ночной прохлады и страха, она напряженно всматривалась в темноту, пытаясь понять, с кем обнимается ее названая мать.

Хацаца на мгновение высвободилась, но руки ее так и остались на груди Аслана.

«Что ж, я еще совсем не стара,— стучали в ее голове горячие, беспокойные мысли.— А он так силен и хорош...»

Еще тогда, на ферме, она залюбовалась его статной фигурой и тем, как он работал у силосной траншеи — азартно, весело, играючи... Но другой голос, голос благоразумия, выработанный всем ее жизненным опытом, прежними ошибками и неудачами, твердил ей совсем иное: ты женщина, которой нужны дом и семья, надежный, спокойный приют и обеспеченность, а он романтический юноша, неоперившийся птенец, и еще неизвестно, что из него выйдет — хозяин и муж или смазливый ветрогон, который станет волочиться за каждой юбкой?..

Она не раз о нем вспоминала, пока он работал на стройке. Ночью ей снились его молодые крепкие руки, обнимающие ее истосковавшееся по мужской ласке тело.

Не дождавшись его, она привела в дом другого мужчину. И это было ненадолго, ненадежно. Она снова ошиблась! Почему так бывает? Может, и не знала она совсем настоящего чувства, может, вот оно, здесь, готовое сейчас возникнуть и осветить ее жизнь, в которой было не так уж и много радости?.. Одна работа.

И сегодня она ждала Аслана. Рано уложила Сану, легла сама. Но сон не шел к ней.

— Я счастлив, Хацаца, милая,— шептал Аслан.— Я люблю тебя.

— Я... тоже.— Она сделала паузу и неуверенно добавила: — Наверно, я тоже...— И прижалась лицом к его груди.

Она знала, что вот сейчас, сию минуту, потеряет власть над собой, и тогда будь что будет, и уже ничего не изменишь...

— Хацаца,— спросил Аслан.— Почему ты и раньше и теперь пытаешься отгородиться от меня? Почему ни разу не ответила на мои письма?

Она молчала. Ей приятно было слышать его голос.

В саду защебетала какая-то птица. Горизонт окрасился слабым сиреневым светом. Приближался рассвет.

— Что ты молчишь, Хацаца?

— Не знаю... Мне хорошо с тобой, но страшно, боязно чего-то...

Аслан закрыл ей рот поцелуем. Губы ее больше не противились его ласке, мягко раскрылись, отвечая ему.

— Говори еще...— сказала она.— Говори, Аслан, я хочу тебя слушать.— Последние слова она произнесла громко, забыв про все опасения.

Сана услышала.

— Мама! Ма-ма!

В этом пронзительном, отчаянном крике было страдание.

Они нашли девочку в комнате. Уткнувшись лицом к подушку, Сана беззвучно рыдала. Худенькие лопатки ее мелко вздрагивали под рубашкой. Хацаца гладила и успокаивала ее. Аслан стоял в стороне, не зная, на что решиться.

Он постоял немного и тихо вышел.

г. Нальчик.

Перевел с кабардинского
Валентин Кузьмин

ЮРИЙ ЩЕРБАК

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Он долго разыскивал по карманам ключи от автомобиля; делал это замедленно и сонливо, начавши не с плаща, не с того кармана, куда обычно клал ключи,— будто совсем не хотел их находить, желая растянуть в бесконечность ту минуту отдыха, ту минуту ничегонедумания и ничегонеделания, что пролегла между отработанной суетой операционного дня и предстоящим напряжением улицы. Он устал от точности, его обессилила ежедневная необходимость измерять, рассчитывать и сдерживать свои движения, непрестанно сверяя их, как это делают штурманы, с подробными картами — только не земли или неба, а с живым человеческим телом, со скрытыми под его поверхностью реками, речушками и родниками жизни.

Чувствовал себя сейчас почти счастливым, делая неосторожные, необдуманные движения. Сначала забрался в левый карман брюк, хотя точно знал, что там никогда ничего не носил, затем из кармана пиджака вытащил несколько листков бумаги, оторванную пуговицу, расческу и значок. Внимательно просмотрел измятые бумажки: несколько троллейбусных талонов, на тот случай, если автомобиль испортится, но его «Жигули» пока что не портились, и потрепанные талоны доживали последние дни;

на клочке газеты торопливо записанный телефон 765249 и имя-отчество: Яков Иванович; но, как ни напрягал память, не мог вспомнить, что это за Яков Иванович и почему нужно ему звонить. Пуговицу дать жене, пусть пришьет, а значок купил сыну для коллекции; красивый такой четырехугольный значок с двойным меняющимся изображением: достаточно было немного шевельнуть значок, как Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому тотчас превращались в герб Киева — сияющий красками щит с листом и цветком каштана. Не забыть отдать Михасю. Значок куплен давно, еще в прошлую среду, на вокзале. Вспомнил, как встречал утром московский поезд, которым приехал профессор Томилин.

Наконец, очередь дошла до плаща. Просунув правую руку в карман, сразу же среди разных ключей и мелких монет безошибочно нащупал брелок с ключами от автомобиля. Брелок подарил ему тогда же, в среду, профессор Томилин; это был парижский брелок, привезенный с международного конгресса хирургов: золотой диск, сделанный в виде миниатюрной бестеневой лампы — в маленькие иллюминаторы были вставлены цветные виды Парижа.

Горбач приложил брелок к глазу, поднял голову к светящемуся октябрьскому небу и присмотрелся к собору Парижской богоматери. Не увидев там ничего нового и интересного, вздохнул и отпер дверцу автомобиля.

Он всегда ставил «Жигули» на этом месте, под кленами, как раз напротив окон ординаторской. За день опавшие листья плотно укрыли крышу, ветровое стекло и капот машины. Горбач сел на холодное сиденье, положил правую руку на рычаг передач, ощутив в его черном набалдашнике осеннюю свежесть, и съежился на какой-то миг, стараясь понять, откуда в нем появилось чувство уравновешенной радости. Да, кажется, понял. Солнечный свет пробивался в машину сквозь листву, которая облепила ветровое стекло, выстелив его полупрозрачным слоем увядания, и все окрасилось в мягкие желтоватые и зеленые тона — тихий сумрак бесед-

ки, воспоминание о чем-то гармоничном и счастливом.

Больница раскинулась на склоне Печерской горы, где в старину буйствовали виноградники, от них осталось только название: Виноградный переулок. То ли солнечных дней стало меньше, то ли воздух сделался влажнее, или еще какая причина, но виноград исчез с этой горы навсегда, отступился от Киева, ушел в дальние заповедники солнца — на Днестр, в Закарпатье, Херсонщину, Одесщину и Молдавию. «Виноград»,— подумал Горбач. Жена просила купить килограмм винограда. Болгарский, прозрачно-зеленый. Положить в бумажный пакет. В шесть нужно ехать с женой к портнихе на примерку. Она шьет платье цвета спелого винограда.

Повернул ключ зажигания, и мотор начал работать — чуть слышно, так, что ни один листок не шевельнулся. Предчувствуя еще одну маленькую радость, двинулся с места. Листья задрожали, поплыли по стеклу, открывая первые проруби слепящего света, потому что, как только Горбач прибавил газу, потоки воздуха безжалостно сбросили листву; автомобиль, в котором уже клокотала едва сдерживаемая механическая мощность, отбрасывал металлическими и стеклянными поверхностями вялые, отжившие листья. Каждый день это освобождение машины из-под слоя листьев наполняло сердце Горбача непонятной радостью. Все стало на свои места: древний корпус больницы, больные, которые сидят на лавочках перед пустым фонтаном, устланным толстым пластом рыжей листвы, санитарки в синих халатах, несущие из пищеблока большие алюминиевые бидоны, на которых масляными красками написано: 2 ХИР, 3 ХИР, 2 ТЕР, ЛОР. Возле памятника Образцову он включил третью передачу, готовясь выехать на асфальтированную дорогу, которая вела вниз, круто извиваясь, как настоящий горный путь. И сразу же впереди увидел девушку в белом плаще, узнал ее походку. Это была медсестра Таня. Она, как ему показалось, дерзко шла по дороге, размахивая сумкой, похожей на кондукторскую. В ее походке было что-то вызывающее и победное, потому что она заранее знала, что теперь он

догонит ее, что он будет вынужден проехать мимо и заметить ее, ибо другого выхода у него нет. Горбач мысленно выругался, потому что и вправду — сегодня все его хитрости, вся его нарочитая глухота к намекам Тани, что они живут рядом, все замедленные поиски ключей оказались напрасными перед ее наглостью, потому что эта вертлявая девица наконец сообразила, что нужно спускаться не пешеходной дорожкой, как все, а идти прямо по шоссе, где все время снуют «Скорые помощи» и где Горбач вынужден ее заметить, остановить автомобиль, предложить подвезти ее на Чоколовку, иначе он будет выглядеть просто хамом.

Он умышленно проехал мимо Тани и резко затормозил метров за десять перед нею. Еще надеялся, что она махнет рукой, мол, поезжайте, Иван Федорович, нам не по пути, я лучше пробегусь по свежему воздуху, у меня свидание у кафе «Хрещатый яр», или возле главного почтамта, или еще в каком-либо месте, где назначает свидания современная молодежь. Но напрасно. Таня улыбнулась удовлетворенно (он смотрел на нее в зеркальце) и побежала к машине так легко и радостно, что у него защемило сердце. Он перегнулся через свободное сиденье и открыл правую дверцу.

— Вот спасибо, Иван Федорович,— сказала Таня, быстренько и ловко устраиваясь рядом с ним, словно давно тренировала эти движения.— Вы домой едете?

— Да.

— Можно с вами?

— Конечно,— сказал он будничным тоном. Все сегодня решил делать буднично: разговаривать на будничные темы, сидеть с будничным лицом, так, словно в машину залетела букашка, на которую не стоит обращать никакого внимания.

— Ты где живешь? — спросил.

— На площади Космонавтов... Я же вам говорила...

— Да, да. Вспомнил.

— Маме район не нравится. А мне нравится. Особенно зимой.

Да, да. Вы живете вдвоем с мамой, ты мне гово-

рила это два месяца назад, когда клиника справляла в ресторане «Метро» юбилей доцента Перепелицы. Ты, новенькая, никому еще не известная девчушка, нагло уселась рядом со мной, нарушив стройную и годами выработанную традицию, освященный иерархический ритуал всех банкетов, и начала рассказывать, что отец вас бросил, ушел к какой-то женщине, и что для мамы это был тяжкий удар — она страшно постарела, как-то сразу, безнадежно, и у нее начались гипертонические кризы, и с нервами не все ладно, и теперь мама подозрительно смотрит на тех парней, которые приходят к тебе,— в каждом видит будущего изменника. Ты была тогда в коротком платьице из красной шотландки, худенькая, в этих очках с дымчатыми стеклами, отчего твои глаза, казалось, были затянуты облачками, а потом оркестр заиграл «Цыганочку» и доцент Перепелица — дородный, хромой мужчина — кинулся плясать; все хлопали в ладоши, став кругом, и тогда в середину круга выскочила ты. В тот день в тебе, видно, сидел какой-то бес: что-то неудержимое и разгульное, бешеное и страстное было в том танце — доцент Перепелица давно уже сопел у окна, вытирая платком шею и лысину, а ты все плясала, тряся плечами, как настоящая цыганка, хотя в тебе ничего от цыганки нет — гладко зачесанные рыжие волосы, стянутые позади черной ленточкой, худенькое, нервное лицо, светлые глаза — близорукие, лишенные какой-либо таинственности, когда ты снимаешь свои дымчатые очки.

...Они выехали на Бассейную, и впереди, около «Фотографии», Горбач заметил старшую медсестру их отделения Липовецкую — ее невозможно было не заметить: выше на голову всех мужчин в клинике, Липовецкая носила ярко-оранжевую спортивную куртку с капюшоном, подбитым белым мехом, что сразу выделяло ее среди пригасших красок осенней толпы.

— Возьмем? — невинно спросил Горбач.— Она живет на площади Победы... По дороге.

— Она не идет домой,— быстро ответила Таня.— Я слышала, как она говорила. Кроме того, ей нужно больше двигаться. Полезно для здоровья.

— Вон как,— усмехнулся Горбач, оставив позади Липовецкую, и взглянул в зеркальце: интересно, заметила она их с Таней? — Я думал, ты добрее...

— Ну, если вам для полного счастья не хватает Липовецкой, то, пожалуйста,— остановитесь, а я пойду пешком,— спокойно ответила Таня, насмешливо и нагло смотря ему прямо в глаза.

Горбач ничего не ответил, лишь поддал газу, проехав тот опасный участок улицы, где чугунная ограда скверика, что тянется посреди Бассейной, прерывалась, создавая проход, откуда на проезжую часть все время неожиданно выскакивали люди. Впереди, до самого крытого рынка, улица была свободна, можно было ехать быстро.

На Бессарабке пришлось стоять перед светофором, пропуская поток машин по Крещатику. Горбом выгибался перед ними бульвар Шевченко. Два ряда тополей создавали узкий и глубокий канал, по которому плыли осенние листья. Люди толпились у магазина «Каштан» и исчезали в недрах подземного перехода, и Горбач подумал, что если бы не машина и Таня, он и сам медленно двинулся бы в этой толпе, вошел бы в кафе «Киев», стал бы в длинную очередь, состоящую главным образом из мужчин, и выпил бы кружку пива, закусывая соленой соломкой; потом заглянул бы в «Каштан», бесцельно осмотрел бы обручальные кольца, серебряные женские украшения, фарфоровые статуэтки и сувениры, и, возможно, купил бы Михасю новый значок и лишь потом пошел бы на остановку семнадцатого троллейбуса. Еще не прошло и полгода, как Горбач купил машину, но не раз уже пронзали его печаль и одиночество, та странная отчужденность от толпы, от человеческих лиц, та затерянность в самом себе, что связана с быстрым, напряженным преодолением пространства, с пульсирующим ритмом движения, когда сам становишься неотъемлемой частью этого ритма и когда перестаешь замечать, что происходит вокруг тебя. На профессиональном языке это называется сужением угла зрения. Да, сужение угла зрения до нескольких вещей, которые успеваешь замечать, потому что от них зависит твоя жизнь: дистанция между автомобилями, торможе-

ние, красные огни стоп-сигналов и далекое перемигивание светофоров, снова торможение, желтые поворотные вэблески, обгоны и ускорения, непрестанное поглядывание в зеркальце и снова торможение. И лишь засветилось желтое око светофора, Горбач, словно убегая от чего-то, выжал сцепление, включил первую передачу и резко рванул с места, опередив остальные машины на несколько метров.

— Вы торопитесь? — спросила Таня.

Он словно проснулся, вновь вспомнив о существовании Тани, хотя в действительности он не забывал о ее присутствии, просто какое-то мгновение она находилась вне угла его зрения.

— Да. Полно всяких дел.

— Жаль,— вздохнула она печально.— На Днепре, наверно, сейчас красиво. Вы любите осень?

В ее словах уже не осталось и следа от издевательской самоуверенности капризной девчонки, и эта внезапная смена ее настроения еще больше смутила его. В машине воцарилось напряженное и неловкое молчание. Горбач подумал, что нужно купить и поставить в машине радиоприемник, пусть хоть он говорит, если люди молчат, если не знают, что сказать друг другу.

— Я люблю весну,— наконец ответил он.

— Жаль,— снова вздохнула она, и Горбач увидел, как задрожали ее рыжеватые ресницы.

«Она, чего доброго, начнет сейчас реветь»,— подумал он. Нет, девушка, меня не проведешь, я вижу тебя насквозь. Никаких прогулок по Днепру, никаких вздохов, никакой позолоченной романтики, никакой осени, которую, если хочешь знать, я люблю больше всего, потому что весна, по-моему, однообразна, сплошь зеленая, а люди весной поблекшие, авитаминозные, слабые; не знаю, кто как, но я никогда не влюблялся весной — только осенью... Впрочем, сейчас этот факт моей биографии, уважаемая Татьяна, не имеет никакого значения, потому что сейчас я еду на Чоколовку — железно, как говорит мой сын. Поняла? Мне еще нужно купить виноград и повезти жену к портнихе... Так вот что напоминают твои глаза сквозь дымчатые стекла — спелый виноград.

Слева, внизу, уже вырисовывался бетонный корпус гостиницы «Лыбедь». Впереди была площадь Победы — белые полосы движения, стеклянная поверхность универмага «Украина», желтые мотоциклы инспекторов ГАИ посреди площади; еще рывок — и поворот на Воздухофлотское шоссе; внезапно он ощутил, как пульсируют его пальцы, сжимающие руль, а в горле, хотя он в эту минуту молчал, появилась хрипота — был убежден, что, произнеси он сейчас слово, получилось бы оно хриплое и дребезжащее, он даже откашлялся, но ничего не сказал. Ему вдруг показалось, что здесь, в машине, в этот миг решается что-то чрезвычайно важное — жить ли ему вообще на земле или не жить. Тревога выбора охватила его, усиливаясь по мере того, как автомобиль приближался к площади Победы. Нет, сказал он самому себе, я поеду прямо и через десять минут буду дома, потому что эта девушка не интересует меня, она мне безразлична, более того — меня раздражает ее поведение, ее манера разговаривать со старшими, нагло улыбаясь, словно она знает что-то такое, чего никто, кроме нее, не знает, ее мелкие заботы обо мне и то, что она постоянно торчит у меня перед глазами. Что ты с нею поделаешь — современная молодежь, вздохнул он, и с огромным удивлением, не понимая, как могло такое случиться, поднял рычажок поворотов, его автомобиль, не выезжая на середину площади Победы, свернул направо, потом еще направо, на улицу Чкалова, проехал мимо кинотеатра «Победа» и похоронного бюро, снова свернул и стремительно помчался вверх по улице Ленина. От этого непостижимого поступка, противоречащего всем законам логики, которую так уважал Горбач, ему стало легко, словно тяжесть свалилась с его сердца, все стало легким и понятным, он перестал чувствовать себя невольником улицы, узником ее железного дисциплинирующего ритма, к нему вернулась радость свободного полета, птичьего парения, которую ощущают обладатели железных птиц, называемых «Жигулями», «Запорожцами» или «Волгами».

— Это что, новая дорога на Чоколовку? — посмотрела на него Таня, стараясь быть равнодушной.

— Да, я опробую новый маршрут. Ты никуда не торопишься?

Она отрицательно покачала головой.

Оставив «Жигули» на платной стоянке в Гидропарке, они с Таней поднялись на мост, переброшенный над днепровским протоком. Стояли на середине моста, опершись на поручни, и молча смотрели на свои длинные тени, которые упорно пыталась размыть и утащить с собой мутная вода. От быстрого нескончаемого течения реки Горбачу показалось, что он висит в воздухе, как космонавт над земным шаром, охватывая взглядом океаны, далекие скопления туч и материки. На том берегу, где стоял ресторан «Млин», под деревьями лежали листья, образуя красные и желтые острова, но трава еще упрямо зеленела, хотя в ней угасли и летнее тепло и мягкость. Таня заложила за ухо прядь рыжеватых волос и подняла воротник плаща. Ее широкие серые брюки трепетали на ветру.

— А вы знаете, Иван Федорович, что Перепелица опять ходил ночью по отделению? Мне сегодня жаловался Вася из восьмой палаты. Тот парень, которому вы делали операцию. Говорит, просыпаюсь ночью, гляжу — надо мной кто-то стоит и щупает мое лицо. Ну, привидение, да и только. Я, говорит, чуть со страха не помер. А он погладил меня по голове, пощупал пульс, накрыл одеялом и ушел. Он что — немного не в себе?

— Ты новый у нас человек, Танечка,— сказал Горбач,— и я тебя прошу: никогда не смейся над Перепелицей. И Васе скажи, пусть не паникует. У Перепелицы в прошлом году погиб единственный сын. На мотоцикле разбился, возле Феофании. Сыну было двадцать лет. Теперь Перепелица страдает жестокой бессонницей. Часто дежурит и ко всем парнишкам подходит вот так ночью... Гладит по лицу...

Молча направились дальше и спустились с дамбы на пустынный пляж. Возле раздевалки, двери которой были забиты досками, лежали большие ко-

леса, сделанные из металлического прута; было что-то общее между этим обезлюдевшим пляжем и квартирой, из которой выехали хозяева, оставив пустоту и несколько старых стульев, сваленных в углу.

— Вы любите цирк? — спросила Таня.

— Не очень.

— А я очень люблю. Когда-то мечтала стать циркачкой. Наверно, потому, что верю в чудеса. Вы видели Кио?

— Я видел и отца и сына,— сказал Горбач.— Отец любил выступать в Киеве. И однажды осенью он тут умер. А его портреты еще долго висели на рекламных щитах... Мокрые. Их не решались заклеить.

— Это что-то невероятное, правда?

— А знаешь, я разгадал секрет его фокусов.

— Да что вы? — Она искренне удивилась.

— Понимаешь, у него всегда выступают очень красивые девушки-ассистентки. И я заметил, что все время смотрю только на них. А в это время Кио работает. Слона приведет — не заметишь.

— Это типично мужская логика,— рассмеялась Таня.— А вот рядом со мной сидела тетка, здоровенная, как наша Липовецкая, так она все время возмущалась. Не может, кричит, этого быть! Как они это делают? Это невозможно!

— Этого не может быть, потому что быть не может,— задумчиво повторил он.— Типичная женская логика.

Песок, на который они ступили, был совершенно чист. Горбач шел вдоль воды. За ним оставалась ровная линия следов. За Таней же тянулась извилистая, ломаная линия: Таня шла то вправо, то влево от него, то забегала вперед и шагала навстречу ему, то оставалась позади, вытаптывая в песке странный круг, по нескольку раз ступая в собственные следы; немного погодя делала неожиданные метровые прыжки и снова семенила, как дети, которые играют в паровоз и вагоны. При этом она что-то насвистывала и терла ладонью покрасневший от холода кончик носа. Так дошли они до огромных труб, лежавших на берегу. При желании можно

было, наклонившись, войти в трубу. Схватившись руками за край трубы, он заглянул в нее. В конце длинного черного тоннеля увидел фигуру Тани, освещенную слепящим солнечным светом. Так стояли они несколько минут, глядя друг на друга. Горбач услышал тревожный, замирающий звук, словно звук вьюги или сильного ветра, словно сигнал тревоги и спасения, что накатывался из черной глубины тоннеля. Потом прозвучали всхлипы и стоны, и Горбач испуганно выглянул из трубы. Таня тоже выглянула, и стало видно, что она смеется. Бесовская девчонка, пробормотал он.

А Таня уже взобралась на трубу и пошла по ней, балансируя, навстречу Горбачу. Подал ей руку, она спрыгнула на песок, но руки не отняла.

— Поехали домой? — спросил он, делая слабую попытку пересилить самого себя, перебороть то новое, упрямое и чужое, что появилось теперь в нем. Руку отнял для того, чтобы закурить.

— Нет,— испуганно покачала она головой,— я вас прошу, Иван Федорович. Погуляем еще немного.

Он вытащил сигарету, примял ее пальцами так, что табак золотым дождиком рассыпался в воздухе. Однако не зажег, отбросил прочь. Они дошли до забытого причала, покачивающегося в этом безлюдном месте,— три ржавые цистерны, связанные тросом и накрытые досками. Дул холодный ветер, но у причала было тихо, почти тепло. Таня оперлась спиной на цистерну и подставила лицо солнцу. Стояла неподвижно, закрыв глаза, худенькая и сосредоточенная, и безошибочный мужской инстинкт подсказал ему, что она ждет его поцелуя, что ее желание чистое и что эта минута свята для нее, да и для него тоже и что какие-либо иные поступки или слова будут сейчас несуразными, вульгарными, лицемерными или оскорбительными, они могут лишь унизить Таню, причинить ей невыразимую боль. Он припомнил в эту минуту мимозу, ее удивительную способность складывать листья, сжиматься, мгновенно съеживаться от грубого прикосновения: зеленая душа этого хрупкого растения не терпела грубости.

Он поцеловал Таню — сначала в щеку, возле уха, рыжая прядь пощекотала его, потом в кончик носа, потом в губы, ему показалось, что он целует яблоко — зимнее яблоко «ранет Симиренко», принесенное с холода,— он любил эти зеленые яблоки, любил подолгу и так, чтобы никто не видел, вдыхать их аромат, который среди январских снегов и морозов будил таинственные воспоминания зрелого лета, отдавал кружением животворных соков и возбуждающими запахами молодости.

Он услышал музыку, совсем близко — это была музыка духового оркестра, которая, непонятно как, возникла здесь,— и эта музыка также рождала воспоминания, только не о земле, а о людях, которые не вернутся; подобно тому, как он представлял себя парящим над землей, когда они стояли на мосту, точно так сейчас он поднялся над временем — сместившись внезапно в прошлое, позапрошлое или будущее и сверхбудущее время. Играют бравурный военный марш «Прощанье славянки», старинный марш, родившийся еще, наверно, во времена балканских войн, неподвижная, слепящая, нестареющая картина жизни; картина или фотография, или дагерротип, или голография, или озарение памяти: светящийся октябрь — месяц, когда яркое солнце и первые заморозки заключают меж собой временное перемирие, девушка с закрытыми глазами и первый их поцелуй — первое чудо сближения, вечно молодой праздник, независимо от столетия, года и дня, когда он родился.

Что-то холодное окатило ему ноги, и он открыл глаза. Прибойная волна захлестнула по самые щиколотки. Серединой протока удалялся белый двухпалубный пароход, на котором стояли люди в черных шинелях и махали им руками. Трубы духового оркестра остро сверкали на солнце. Курсанты военно-морского училища, понял он. Таня тоже раскрыла глаза и засмеялась. И начала махать вдогонку белому пароходу.

Он снова подошел к ней, но поцеловал почему-то не в губы, а в холодные стекла очков — на обоих стеклах остался белесый туманец его поцелуев.

— Не нужно больше.— Таня осторожно сняла

его руки со своих плеч.— Идемте, Иван Федорович, вам нужно ехать.

Она начала протирать очки кончиком шарфа, и он заметил, что глаза у Тани мокрые от слез.

Они пошли назад, однако теперь их следы были совсем иными: его следы уже не тянулись так ровно и уверенно, появилась в них какая-то аритмия, а ее следы выровнялись, утратив всю свою детскую запутанность и фантастичность. Теперь их следы шли рядом, не расходясь и не перекрещиваясь.

— Знаешь,— сказал он,— когда-то, еще студентом, я хотел доказать, что у растений есть центральная нервная система. Я делал опыты на мимозе, хотел выработать у нее условный рефлекс.

— Как это делается?

— Стоит прикоснуться к мимозе, как она тотчас складывает листья. Что-то невероятное. Как живое существо. Одновременно нужно было дать какой-то условный раздражитель. У животного просто — даешь звонок или свет. А тут я так и не придумал условный раздражитель. На том и бросил эксперименты. Не хватило ни фантазии, ни упорства.

— Я никогда не видела мимозу,— сказала Таня, ломая веточку.

— А теперь я прочитал, что у растений открыта нервная система.

— Жаль.

— Почему?

— Я всегда ломаю ветки. Такая привычка. Деревьям, наверно, больно, только они молчат. Неприятно думать, что кому-то причиняешь боль.

— Погоди,— сказал он.

Она остановилась.

Он стряхнул с ее спины следы ржавчины.

— Что вы скажете дома? — спросила Таня.

— О чем?

— У вас мокрые ноги.

— Пустяки,— небрежно махнул он рукой.— Скажу, что попал в лужу.

— Едучи в автомобиле? А потом баловались с детьми в песочной яме? На брюках какие-то колючки. Таких в больнице нет.

— А что ты предлагаешь? Сказать правду?

— Правду? О том, чего не было и чего не будет?

Он ничего не ответил. Таня присела на корточки и принялась что-то чертить на песке.

— Это что, летательный аппарат? — спросил он.

— Это план вашей квартиры. Вот окно, вот балконная дверь. Возле окна стоит письменный стол. На нем лампа с зеленым абажуром. У двери шкаф. Вот тут диван или тахта, а тут должен стоять обеденный стол.

— Ошиблась. Тут стоит магнитофон.

— А это дверь в соседнюю комнату. Если в вашей комнате темно, эта дверь светится. Вы ходите по квартире в боксерском халате.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил он, пораженный ее словами.

— Я ведь уже говорила, что живу недалеко от вас... ну, часто гуляю возле вашего дома... а вы живете на втором этаже, все видно. Летом хуже, мешают деревья, а теперь лучше. Знаю всю вашу жизнь, Иван Федорович. Знаю, когда вы встаете — в семь, включаете свет, потом делаете зарядку на балконе, потом идете с сыном в школу... Мальчик такой красивый... на вас похож. Он в четвертом классе?

— Во втором.

— Да. Дети теперь быстро растут.

Таня ногой разровняла песок, стерев план квартиры, словно хотела навсегда вычеркнуть его из своей памяти.

— Недавно у вас были гости, играла музыка. Балкон открыт, слышно.

— Да, это был день рождения моей жены.

— Играли такую красивую мелодию... «Эту песенку старую, как мир...» Знаете?

— Знаю. Поет Слава Пшибыльская.

— Я гуляла неподалеку... Во дворе никого не было, и я танцевала под эту музыку.

Они вышли на асфальтированную дорожку. Таня, напевая, начала танцевать этот медленный, сентиментальный вальс-бостон. А он, словно прозрев, понял все и представил, как холодным дождливым вечером эта нежная, хрупкая девушка танцует одна под его окнами, и он теперь уже по-настоящему по-

жалел, что поехал с нею сюда и узнал ее тайну; ему стало больно, словно он в чем-то виноват перед этой девчушкой; иногда такое чувство появлялось у него в больнице, когда видел безнадежно больного человека,— бессильное чувство собственной вины за свое здоровье, за свою счастливую, спокойную жизнь перед лицом чужого несчастья.

Они сели в машину. Он включил отопление, чтобы немного нагрелась кабина, потому что Таня вся тряслась от холода, да и ему тоже сделалось зябко, будто на том пляже они оставили все тепло.

— Помните, Иван Федорович, ту ночь, когда умирал Кравец и когда вы не дали ему умереть?

— Помню.

— Тогда... я поняла... я бы хотела быть всегда рядом с вами и всегда вам помогать... Но это невозможно. Я прошу вас, Иван Федорович, никогда не подвозите меня на машине. Хорошо?

— Почему?

— Когда отец ушел к другой, я увидела, что произошло с мамой, я поклялась, что никогда в жизни не сделаю ничего такого, что может принести несчастье другому человеку...

— Глупенькая,— мягко сказал он.— Кому же ты можешь принести несчастье?

— Вашей жене. Я часто встречаю ее в молочном магазине, она всегда берет бутылку кефира и бутылку ряженки...

— Это для меня. Я люблю ряженку...

— А теперь, если я ее встречу, мне будет стыдно.

— Боже,— печально улыбнулся он,— какой ты еще ребенок. Чем же ты перед ней виновата? Если виноват, то только я. Хорошо, я буду проезжать мимо тебя и никогда не буду останавливаться. Тебе станет легче?

— Нет. Я буду плакать, но все равно не берите...— Помолчав, она тихо сказала: — Спасибо вам за сегодня, Иван Федорович. Я никогда не забуду этого дня.

Он выехал со стоянки и повернул направо. На метромосту уже засветилась яркая неоновая линия, которая высокой параболой повисла над Днепром, упершись в сумеречную неясность правобережья.

— Танюша,— сказал он.— А ты знаешь, что такое любовь?

— Знаю,— ответила Таня, не поворачивая к нему головы.— Это — праздник. Когда все равно: дождь ли, снег ли, холод, а у тебя праздник. Такой большой, что начинаешь бояться, не понимаешь — откуда...

— А то, что делает жена Кравца... это что? Разве не любовь?

— Это будни,— убежденно сказала Таня.— Но для того, чтобы были будни, нужно иметь праздник. Сначала должен быть праздник.

Горбач хорошо помнил ночь, когда умирал Кравец, то самое тяжелое в своей жизни ночное дежурство.

Кравца привезли днем в почти безнадежном состоянии. Кравец, сорокалетний тракторист из Бобрика, стоял у переезда, ожидая, пока пройдет поезд, хотя, правду говоря, поезд был еще далеко, лишь выглянул из-за поворота, и если бы на месте Кравца был кто-нибудь другой, порешительней, посмелее, то давно бы переехал колею, потому что никакого шлагбаума на переезде не было. Но Кравец — человек медлительный, неторопливый, спокойно сидел в кабине своей «Беларуси», которая вела за собой тяжелый прицеп с сеном, и курил, ожидая поезда. Бабье лето было в разгаре, радуя душу тракториста ласковым ветерком, черными вспаханными и золотыми от стерни полосами земли и той величественно-печальной голубизной неба, куда в такие дни даже самые спокойные люди хотели бы взлететь. Попыхивая папиросой, Кравец посмотрел налево, туда, где уже отделилось от леса темно-серое суставчатое тело тяжелого товарняка. Посмотрел — и побледнел, потому что метров за пятьдесят, там, где насыпь была особенно высокой, шел по колее маленький мальчик, каждую секунду наклоняясь,— наверно, искал камешки, рассматривал рельсы или еще что-то. «Беги!» — изо всех сил закричал Кравец, выскочив из кабины, но мальчик не обратил на него никакого внимания, должно быть, звук относило ветром. Тогда Кравец побежал прямо по шпалам, чтобы легче было; бежал так быстро, как, вероятно,

и в армии на физподготовке не бегал; бежал, кляня все на свете: этот неумолимый поезд, что уже резко и тревожно посвистывал, и этот день, в который довелось стоять у переезда, и сопляка, вылезшего на рельсы, и особенно его родителей, морды бы им, сволочам, побить за то, что отпустили маленького, а теперь гляди, как он погибнет на твоих глазах, ничего страшнее на свете нет. Кравец твердо знал это, потому что у самого было двое, только не мальчиков, а девочек: Люба и Надя.

Успел отбросить малыша так, что тот покатился вниз с насыпи (запомнил его испуганное замурзанное лицо и большие уши «топориками»), а сам не успел уклониться от удара и с той минуты уже ничего не помнил. Его, окровавленного, со жгутами, сделанными наскоро на отрезанных ногах, с повязками, промокшими, тоже сделанными неумело, повезли на машине не в районную больницу, а прямо в Киев, увеличив тем во много раз шансы на верную смерть; однако люди, которые его везли, этого не знали, они не знали, что такое травматический шок, каковы его последствия, они знали только одно: в Киеве врачи лучше, чем в районе, может, еще, чего доброго, и пришьют отрезанную ногу, которая лежала рядом с Кравцом, в кузове колхозного «ГАЗа».

Отделение Горбача как раз дежурило в тот день по «Скорой помощи». Горбач остался на ночное дежурство. Вечером все хирурги разошлись (с пяти часов вечера поток больных, поступающих по «Скорой помощи», переключили на другие отделения), свет в палатах пригасили, дежурные сестры ходили со шприцами, кололи на ночь пантопон и пенициллин, раздавали таблетки снотворного и прогоняли с балкона выздоравливающих... Горбач любил этот предночной час в больнице, этот сонливый, обманчивый покой и тусклый блеск линолеума в коридорах, свет настольных ламп на сестринских постах и холодную свежесть ординаторской, в которой всю ночь открыты окна. Он лег на диван в ординаторской, не снимая халата, сбросил лишь тапочки, потому что устал за целый день, набегался и решил хотя бы немного расслабиться, отдохнуть минутку, так как знал: ночь будет тяжелая, понимал, что Кравец — самый тяже-

лый больной во всем отделении — не даст поспать. Не дал даже полежать. Прибежала испуганная Таня, и Горбач побежал за нею, туда, где лежал Кравец. У того уже замирало сердце, так, будто его толчки постепенно отдалялись, уходя куда-то под воду. Потом сердце совсем остановилось. Не раздумывая, Горбач начал массаж сердца — своими жилистыми руками он с силой придавливал грудную клетку умирающего, и эти мощные толчки, что приходили извне, не давали крови навсегда остановиться в сосудах. «Делай дыхание!» — крикнул он, и Таня мгновенно поняла его, припав ртом ко рту Кравца, словно целуя его. Горбач приказал вызвать анестезиолога из реанимационного отделения. Вот так и прошла эта суматошная, долгая ночь, в которую трижды останавливалось сердце Кравца, и трижды его запускали, не давали ему замереть, вытягивая тракториста с того света. В эту ночь Таня была самым близким человеком для Горбача, она стала вторым его «я», его продолжением, как бы разветвлением и уточнением его желаний, и именно в ту ночь родилось в нем опасное ощущение, будто прожили они рядом тяжелую жизнь, а не одну лишь ночь. Воспоминание о том, как Таня готовила ему кофе, как вытирала пот с его лица, когда он массировал сердце Кравца, теперь Горбача раздражало так, будто она (или они оба!) переступили невидимую границу чисто служебных отношений.

Вот почему после той ночи он избегал встреч с Таней.

На другой день приехала жена Кравца — Вера, которая во время несчастья работала далеко в поле; точнее, она приехала ночью, но Горбач приказал не пускать ее, чтобы не мешала р а б о т а т ь, и только утром, когда Кравец еще не пришел в сознание, но его сердце, хотя и слабо, однако пульсировало без остановок, в палату впустили Веру. С того дня она так и осталась в отделении, не отходя от мужа. Круглолицая и тихая Вера помогала санитаркам убирать палаты, мыла полы, разносила еду больным, мыла посуду, за что санитарки разрешали ей спать в коридоре, на кушетке возле кладовки, где хранилось белье. Вскоре Кравца перевели в палату Горба-

ча, потому что никто лучше Горбача не делал перевязки: терпеливо, осторожно, ласково, еще и разговаривая с больным, словно с ребенком. Все знали, что у Горбача «легкая рука» — определение, которое не имеет под собой твердой научной основы, скорее мифическое, такое, что держится на вере и внутренней убежденности. Но ничего не поделаешь — точно так же, как все знали, что у доцента Перепелицы, хирурга, причем первоклассного, «тяжелая рука», с больными он обращался с грубоватостью старого резаки, покрикивая на всех свое «Терпи, казак, атаманом будешь!»,— точно так же все больные были уверены, что у Горбача рука «легкая».

Целыми днями Кравец безучастно лежал на спине — левая нога была отрезана выше колена, правая — по щиколотку, к тому же были переломы рук и ребер. Исхудавшее тело, желтое лицо, тоска в глазах. Смотря документальный фильм о войне, Горбач поймал себя на мысли, что Кравец намного больше похож на т е х, блокадных, госпитальных и окопных, чем на э т и х — колхозных, конторских, заводских... Вскоре появились зловещие румянцы, волосы прилипали ко лбу, это смерть снова ощупывала Кравца, подступив с другой стороны, беря его на измор, истощая его тело лихорадками и осложнениями. Пришел корреспондент из газеты, выспрашивал подробности подвига, но Кравец почти не отвечал, все слова этого парня, такие же, как и он, розовые, ловкие, элегантные и выхоленные, были далеки от Кравца, словно то высокое небо, куда он хотел взлететь, но не смог, стоя на злосчастном переезде. Именно тогда освободилось одно место в палате, и Вера переночевала рядом с мужем; боясь, что ночью кого-нибудь привезут на это место, она чутко дремала на застланной кровати, прикрыв подушку полотенцем, не снимая халата и не расплетая на ночь косы. Кравец почти не спал ночами, болело все, и ноги жгло огнем, который принес с собою поезд.

С той ночи Вера стала полноправным жильцом мужской восьмиместной палаты: в дни дежурства отделения по «Скорой помощи», когда приходили сестры из приемного отделения искать свободные

места, вся палата, не сговариваясь, кричала, что свободных мест нет, и этот фокус несколько раз удавался; от пребывания Веры в палате больные имели и определенную практическую пользу: Вера выполняла их мелкие поручения — покупала кефир или минеральную воду, отправляла письма, иногда выносила судно, если видела, что санитарка замешкалась. Конечно, в отделении быстро заметили непорядок, о нелегальном Верином пребывании в восьмой палате доложили. Липовецкая попыталась проявить служебное рвение, но Горбач посоветовал ей помолчать и не поднимать вокруг этого шум. Он понимал, что вытащить с того света Кравца может теперь не искусство врача, не новейшие антибиотики, а жена, ее взгляд, ее присутствие — как постоянное напоминание о жизни, о доме, о дочках.

Постепенно, неделя за неделей, жизненные силы возвращались в истерзанное тело Кравца. Горбач, просматривая последние анализы крови, видел, что начался могучий процесс обновления, словно сквозь мерзлую землю весной уже пробивались первые, еще слабые ростки зелени.

Как-то зайдя в восьмую палату, Горбач почувствовал запах табака. Заметил, что Кравец держит правую руку в щели между кроватью и стеной,— оттуда выползали синеватые нити дыма. Веры не было — побежала на рынок за курицей и яйцами,— и Кравец впервые не застонал, а заговорил, попросив у хлопцев закурить, чем безмерно удивил палату: до сих пор он ни к кому не обращался. Случилось так, что вернулась Вера — забыла деньги. Она тоже почувствовала запах табака, вытащила руку мужа со следами пепла (сигарету он все-таки успел кинуть под кровать) и начала ругаться, но бранила мужа с таким счастливым выражением лица, что ругань ее звучала, как радостная песня. А Кравец улыбнулся (что тоже произошло с ним впервые) и миролюбиво сказал: «Да закрути ты кран, а то, ейбогу, вот встану и побью». Ну, как увидели больные, что Кравец, этот феномен медицины, возвращается к жизни, сразу же начали болтать с ним о всякой всячине, а Вася, известный пустобрех, принялся подначивать Кравца: «Дядько Миколо, а расскажите, как

вы тот поезд поломали? В газетах писали, что от тепловоза ничего не осталось, как налетел на вас. Будете платить теперь штраф Министерству путей сообщения». Кравец, добродушно улыбаясь, рассказывал всем, что теперь он заживет настоящей жизнью, потому что пойдет в пасечники, это его давняя мечта — быть около пчел, слушать, как они гудят в июле, и ведь все ихние привычки знает, потому что его дядька был пасечником, научил Кравца всяким премудростям пчеловодства. И так убежденно он это рассказывал, что все в палате лежали тихо, а некоторым даже казалось, что слышат, как гудят пчелы в ульях, и только Вера не давала разгуляться мужу, цыкала на него, чтобы помолчал, потому что еще неизвестно, захочет ли Мирон Спиридонович поставить его пасечником, и вообще, Кравцу нужно отдыхать; каждое слово утомляло его, вгоняя в пот.

А сегодня, зайдя вместе с Таней делать Кравцу перевязку, Горбач увидел, что в палате полным-полно людей; сидели на краешке соседней кровати напряженно-торжественные две девочки — беленькие и круглолицые, как Вера; возле Кравца стоял с виноватым видом мальчик лет четырех. На стульях у кровати сидели мужчина и женщина. Женщина всхлипывала, вытирая глаза кончиком платка, а мужчина смущенно мял в руках кепку. Позади, на третьей койке, словно на галерке, сидели Верина мать в халате, накинутом задом наперед на плюшевую жакетку, и Вера. На тумбочке, на свободном стуле и на той кровати, где сидели девочки, лежали яблоки, сало и вяленая рыба на газете, сдобные булочки, мед в литровой банке. На тумбочке начатая бутылка вермута, пустые бутылки из-под ситро.

— Пойдем,— сказал Горбач Тане.— Перевяжем после.

...Шел второй час ночи, а Горбач все не мог уснуть.

Рядом спала уставшая жена. К портнихе они не поехали, потому что Горбач вернулся поздно, и жена принялась гладить — в субботу была большая стирка, и кипа чистого белья лежала на диване, теряя запах высохшего, выхоложенного полотна. Как

и всегда, когда жена гладила, перегорели пробки, и маленький Михась очень обрадовался и начал в темноте играть в футбол, а Горбач бродил по квартире, обжигая пальцы спичками, натыкаясь на мяч, и разыскивал запасные пробки. Как и всегда в таких случаях, Горбач произносил речь о том, что нужно, наконец, что-то делать с этим проклятым утюгом, а жена говорила, что электричество — мужское дело и на то время, когда она гладит, нужно было бы по крайней мере выключать телевизор, радиоприемник, магнитофон и десять ламп, которые неизвестно для чего горят постоянно в квартире.

Перед тем, как лечь спать, Горбач вышел на балкон («Не простудись! — крикнула жена.— Ведь ты раздетый!») и долго стоял, прислушиваясь к порывам ветра, в котором уже чувствовалось дыхание первого снега. Он коснулся высохших цветов, легко, как когда-то касался мимозы. Но холодные стебли были жестки и неподвижны. Во дворе было пустынно. Над детской площадкой качалась и поскрипывала лампа, ее слабые лучи бродили по песочной яме. Горбачу почему-то припомнилась одна его больная, угасшая тридцативосьмилетняя женщина, которая рассказывала ему, что часто заходит в «Лилею», покупает цветы и потом идет по улице, торжественно неся их, чтобы все думали, будто эти цветы ей кто-то подарил. Замерзнув, Горбач ушел с балкона.

И вот теперь он не спал, хотя шел второй час ночи, а завтра предстоял тяжелый операционный день; лежал на спине с открытыми глазами и думал: что такое любовь?

Он впервые задумался над смыслом этих слов: ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? — до сих пор он привык размышлять над вещами более конкретными и осязаемыми; вся проблема показалась ему непонятной и запутанной, как вязь формул, набросанных мелом на доске торопливой рукой математика; можно ощутить на пальцах сухое поскальзывание мела, можно стереть эти кривые цифры влажной тряпкой, но нет решительно никакой возможности проникнуть в суть их холодного и абстрактного существования. Горбач тихо рассмеялся, представив любовь в виде аналитических весов, сверкающих сталью, одетых в

стеклянный футляр, на одной чаше которых покоится ПРАЗДНИК, а на другой БУДНИ,— и колеблющуюся чуткую стрелку между ними. Но потом иронические рассуждения угасли, и что-то щемящее появилось в мыслях Горбача, грустная нота, словно кто-то неискушенный, но настойчивый разучивал «Осеннюю песню». Прислушиваясь к дыханию жены, Горбач вспомнил первый их поцелуй, неумелый, застенчивый, тоже осенний,— это произошло на том романтическом мостике, что повис над парковой аллеей и Днепром. В их время это было модное место студенческих свиданий, таинственно украшенное старой киевской легендой о гимназисте, кинувшемся вниз от неразделенной любви. Снова это странное слово: ЛЮБОВЬ.

Почему-то Горбач вспомнил лицо жены за несколько часов до рождения Михася — ее усталый, но полный умиротворенного спокойствия взгляд, ее усмешку,— разговаривая с ним, она, казалось, была далеко, пребывая в ином измерении. Он так и не смог привыкнуть к мысли о том, что в ней бьются два сердца, которые вот-вот разделятся навсегда, после чего маленькое отпочкованное сердечко начнет свой собственный бег. Это была тайна, не объяснимая никакими лекциями никаких профессоров. В тот вечер, еще не зная, что через несколько часов у него родится сын, Горбач сфотографировал жену. Никогда ни до, ни после того вечера не выходили у него такие фотографии — просветленное и прекрасное лицо жены, словно эти портреты были обработаны особым проявителем, способным высвечивать лучшее, что есть в человеке.

Горбач приподнялся и поцеловал жену в закрытые глаза.

— Что? Что? — испуганно и сонно спросила она.

— Ничего, ничего, спи.

Вздохнув, она повернулась на бок. А Горбач снова лежал на спине, чувствуя, что не заснет в эту ночь.

...Скакали в Закарпатье кони, да, это было год назад, в марте: еще снег, а вдали сине-сине светится волнистая линия гор. Их было двое, и снег, изорван-

ный в клочья и перемешанный с землей, яростно летел из-под их копыт. Молодой конь, то становясь на дыбы, то вдруг замирая и напрягая шею, вытягивал к возлюбленной свою прекрасную, как будто вырезанную из черного камня голову, бросался затем внезапно в галоп, неся свое обезумевшее тело, словно шаровую молнию. Кони, не замечая никого, безумствовали от счастья, и лишь когда совсем близко подъехала к ним «Волга», в которой сидели Горбач и профессор Томилин, влюбленные поскакали по полю в направлении гор и развеялись среди снега, проталин и мартовской мглы, как странный сон.

Горбач, и Томилин, и шофер замерли от сознания чего-то редкостного, невыразимо прекрасного, чего-то такого, что можно увидеть лишь раз в жизни, и, глядя вслед коням, профессор Томилин вдруг заплакал — от чего? От радости? Или от печали? От прощания с собственной молодостью? Или от неосуществимости своих желаний? Или от чувства своей вины перед кем-то? От волнения? Или от пронзительного счастья жизни? И слезы старого Томилина потрясли Горбача еще больше, чем то, что довелось увидеть в поле.

г. Киев.

Авторизованный перевод
с украинского
Нины Дангуловой

ЭЛЬЧИН

ТУМАН ШУШУ ОКУТАЛ

«Шуша — 1800 метров над уровнем моря, Давос — 1560, Теберда — 1330, Дилижан — 1285, Абастумани — 1250, Кисловодск — 950».

Доска перед зданием шушинского санатория.

Туман Шушу окутал,
Пришла ко мне надежда,
Ты не исчезнешь утром,
Потому что ты — надежда.

Из «Душевной тетради» местного поэта Хусаметдина Аловлу

Мелодия кеманчи [1], рожденная длинным смычком хромого Дадаша, звучала сегодня как-то особенно в прозрачном вечернем воздухе. В этой мелодии было что-то от светлого журчания родников, от мягких прикосновений цветов и трав, от очень отдаленного звона цикады. Большая голова хромого Дадаша на длинной, как у жирафа, шее раскачивалась в такт движениям его руки, а в печальных черных глазах с длинными ресницами отражалось, как в зеркале, то, о чем пела кеманча.

Мелодия кеманчи, разливавшаяся в этот августовский вечер по двору шушинского санатория, за-

[1] Кеманча — струнный музыкальный инструмент.

тронула и чувствительные струны сердца Хусаметдина Аловлу, и он впервые в своей жизни принялся сочинять стихи на русском языке, глядя при этом на голубоглазую Марусю Никифорову. Маруся смотрела куда-то мимо Хусаметдина Аловлу, а он задержал взгляд на ее плечах, покрытых белым шерстяным платком с вывязанными цветами, на ее полных, таких белых руках, которые она сложила на груди; он был поражен в самое сердце. Так и родилось это четверостишие.

С последним звуком кеманчи хромого Дадаша Хусаметдин Аловлу, попросив слова у затейника Садыха-муэллима, ведущего культурно-массовую работу среди отдыхающих, вышел на середину площадки и, не сводя глаз с Маруси Никифоровой, прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

Но Марусины глаза были устремлены все так же не на Хусаметдина Аловлу. Слушая кеманчу хромого Дадаша, она думала о том, что ее младшая сестра Василиса, впервые в жизни поехавшая на тамбовский базар продать урожай с приусадебного участка, не сможет сделать все как следует: вдруг Василису обманут, обведут вокруг пальца или еще что случится, вот из-за всех этих мыслей и были так далеки голубые глаза Маруси Никифоровой.

Конечно, Хусаметдин Аловлу, выпускник финансового училища в Агдаме, а ныне счетовод шушинского колхоза Халфали, отдыхающий этим августом в санатории и без памяти влюбившийся в чистенькую, аккуратную, беленькую, как хлопок, Марусю Никифорову, не мог угадать, о чем думает девушка, и вот, испытывая большое удовольствие от собственного творения, он еще раз прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

— У этого болвана других слов будто и нет: «Очень хорошо, очень хорошо...» — передразнила

сидевшая на балконе с вязаньем Гюлендам-нене; чтобы лучше увидеть, что происходит на танцплощадке, она приподняла рукой очки, потом, улыбнувшись Джаванширу, спросила: — А чего же ты, детка, не идешь на танцы?

Хусаметдин Аловлу убрался наконец с середины танцплощадки, аккордеон Гюльмамеда заиграл свое знаменитое танго, и люди начали танцевать, постепенно заполняя площадку; отдыхавшие в санатории девушки танцевали друг с другом, местные парни, каждый вечер приходившие в санаторий, также образовывали пары, и вот тут-то, под множеством завистливых взглядов, Хусаметдин Аловлу приблизился к Марусе и, слегка поклонившись, пригласил ее на танец. Марусины голубые глаза наконец-то обратились на Хусаметдина Аловлу, и она приняла приглашение смуглого парня с черными усиками. Он был чуть ниже ее ростом.

— Ой, не могу! — сказала Гюлендам-нене и, смеясь, покачала головой.— Комедия! — Она еще раз взглянула с балкона вниз и снова спросила у Джаваншира: — Что ж ты не идешь танцевать, э? Не дорос еще? — Гюлендам-нене любила иногда пошутить, поддеть внука; он же обычно не лез за словом в карман и отвечал ей тем же, но сегодня, в этот августовский вечер в шушинском санатории, Джаваншир почему-то разозлился на старуху.

— Хватит! — сказал он.— Хватит уже!..— Потом пошел в комнату и, как был в брюках, сел на кровать, откинулся на подушку и заложил руки за голову.

Все его такие прекрасные планы на это лето полетели ко всем чертям; была бы его воля, Джаваншир не сидел бы сейчас с бабушкой в шушинском санатории и не пил бы простоквашу, а ходил бы по Москве с Акшином и Орханом. Акшина, правда, тоже не отпустили, а Орхан поехал и теперь со своим приятелем Фазилем разгуливал себе по улице Горького.

Прошлым летом, закончив первый курс университета, Джаваншир хотел поехать куда-нибудь один, как взрослый человек; ему не разрешили, сказали — пока рано, в будущем году поедешь. В общем,

миновал год, он уже перешел на третий курс, но, когда снова завел речь об этом, отец с матерью стали опять его отговаривать, потом мать заплакала, отец разозлился — короче, его одного опять не пустили. И теперь, лежа на кровати в шушинском санатории и вспоминая все это, Джаваншир вновь пережил тот вечер, он вспомнил, что вдруг заплакал во время разговора о поездке в Москву, когда отец и мать вместе уперлись, как говорится, «сунули ноги в один башмак» и сказали «нет». Даже теперь он покраснел от стыда, снова представив себе, как он, уже такой взрослый парень, не сумев сдержаться, плакал, словно маленький, и, плача, кричал:

— До каких пор я буду для вас ребенком? Что вы все меня за руку водите?

Нечего и говорить, веселого мало... Некоторое время после того случая Джаваншир почти не разговаривал ни с отцом, ни с матерью, да и они, в свою очередь, глаза отводили, потом отец предложил: пусть Джаваншир один поедет в Шушу, в санаторий, у них на работе была путевка, а Джаваншир сначала сказал, что никуда он не поедет, что все лето будет на даче в Бузовнах, но, подумав день-другой, решил, что Шуша все же лучше, чем Бузовны, и согласился; после этого отец с матерью стали его упрашивать: мол, возьми с собой и бабушку, пусть поедет отдохнет в Шуше старая женщина, устала тут всех обслуживать, ты уже, слава аллаху, совсем взрослый, повези ее с собой в Шушу. «Возьми меня с собой, Джаваншир, родной, возьми меня в Шушу, повидаю те места, десять лет я там не была, кто знает, увижу ли еще раз Шушу, будет судьба или нет...» — говорила Гюлендам-нене, но Джаваншир хорошо понимал, что, по существу, не он везет бабушку, а бабушка везет его; бабушку специально приставляют к нему для безопасности, боятся его одного отпускать: как же, «он жизни еще не знает»; не понимают они, что он уже познал жизнь с лица и с изнанки, ведь для того, чтобы познать жизнь, не обязательно прожить сто пятьдесят лет... Привести бы домой какую-нибудь нахалку из тех, что не промах, и сказать: я не ребенок, вот моя жена, прошу любить и жаловать...

Через три дня Джаванширу исполнялось девятнадцать лет.

В то время, когда Джаваншир вот так мстил домашним в своем воображении, раздался стук в дверь, потом вошла Дурдане и, увидев лежащего на кровати Джаваншира, постояла немного в растерянности, потом, запинаясь, проговорила:

— Бабушка послала меня попросить у вас иголку с ниткой.

Дурдане тоже приехала в санаторий со своей бабушкой и теперь придумала маленькую хитрость: нашла какую-то оторвавшуюся пуговицу и, зная, что у бабушки иголок нет, забыла она их, сказала ей, что, наверно, у Гюлендам-нене есть, пойду, мол, попрошу...

Дурдане недавно исполнилось восемнадцать лет.

Джаваншир позвал Гюлендам-нене с балкона:

— Бабушка!

Хусаметдин Аловлу, не удержавшись, снова вышел на середину танцплощадки и снова прочитал свое стихотворение.

— О аллах, этот парень, кажется, совсем спятил,— сказала Гюлендам-нене.— «Очень хорошо, очень хорошо»...— Потом обернулась, увидела Дурдане и, легко поднявшись, вошла в комнату: — Проходи, пожалуйста, дочка, добрый вечер, садись...

— Нет, большое спасибо,— сказала Дурдане.— Бабушка послала меня за иголкой с ниткой.

— Да? Сейчас...— Потом, пошарив взглядом по столу и тумбочке, Гюлендам-нене вдруг спросила:— Джаваншир, детка, ты не брал нитки с иголками?

В то же мгновение лицо Джаваншира словно вспыхнуло:

— Иголки-нитки... Я иголки-нитки беру в руки?

Дурдане, тоже покраснев, сказала:

— Если нет, ничего...

Гюлендам-нене взяла свою непонятно как уцелевшую со времен Ноя сумочку.

— Сейчас... сейчас! — Она долго копалась в сумочке, наконец достала иголку с ниткой и, протянув Дурдане, улыбнулась:

— Возьми, милая, возьми... Этот наш Джаваншир ужасно злой!

Джаваншир хотел сказать бабушке: «Знай свое место, эй, женщина»,— но при Дурдане не сказал, еще и потому не сказал, что Дурдане, по-видимому, серьезно отнеслась к словам Гюлендам-нене; бросив на Джаваншира испуганный взгляд, она пробормотала:

— Извините...— И торопливо вышла из комнаты.

— А-а-а... Девочка не сказала даже, черная нитка нужна или белая...— Тут Гюлендам-нене встретилась глазами с Джаванширом: — Ну, а ты что нос повесил, мой маленький? Во дворе люди поют-пляшут, а ты сидишь тут, нахохлился...

Джаваншир смерил бабушку взглядом.

— Да что с тобой говорить, э?! — сказал он и поднялся с кровати.

Уже три дня, как они приехали в шушинский санаторий, и все эти три дня Джаваншир думал о своей неудавшейся жизни, думал о том, что никто его не понимает и вряд ли когда поймет, думал о том, что все в этом мире ему уже давно известно, в общем, грустные мысли одолевали Джаваншира, в такие минуты он часто незаметно для себя начинал придумывать другую, воображаемую жизнь: то он был завсегдатаем ресторанов и никто не знал, что этот кутила — человек, постигший мир; то он видел себя этаким демоном, одиноко и молча бродящим среди людей, а все люди, в том числе девушки и женщины, пытаются отгадать, какая тайна скрыта в его сердце, но никто никогда не сможет открыть эту тайну... Никто... Но все же иногда в видениях Джаваншира возникал образ такой же одинокой прекрасной женщины, она такая же мудрая, как Джаваншир, может быть, она даже немного старше его; Джаванширу казалось, что он видит ее высокую, стройную фигуру, тонкое лицо с мягкими, всепонимающими глазами; да, только такая женщина могла бы понять Джаваншира.

Кеманча хромого Дадаша опять заливалась, на этот раз было очевидно, что она говорит о любви, о тайне ее возникновения, о мучительной тоске и безудержной радости, и снова голова хромого Дада-

ша сопровождала движения смычка, наклоняясь то влево, то вправо, а большие черные глаза смотрели прямо перед собой, как будто видели все, о чем пела кеманча.

Люди на танцплощадке слушали кеманчу хромого Дадаша, здесь был и Хусаметдин Аловлу, и на этот раз голубые глаза Маруси Никифоровой смотрели на Хусаметдина Аловлу с симпатией и еще с каким-то другим, странным и довольно сильным чувством, которое до сих пор самой Марусе испытывать не доводилось, но которое было так совместимо с этими прекрасными горами, чистым, прозрачным воздухом Шуши, и, пока кеманча пела о любви, выражение глаз Маруси Никифоровой становилось все более определенным.

Джаваншир, хмурый, вышел из подъезда своего корпуса, он все еще сердился на бабушку. Прошелся по тутовой аллее, немного остыл и вдруг подумал, что, вот ведь странное дело, порой при бабушке — ни при отце, ни при матери, ни при других пожилых людях,— так вот при бабушке он иногда, надо сказать, очень редко, действительно чувствовал себя ребенком, он верил ее лукавым глазам: «Эй, кого ты обманываешь? Не задавайся, не строй из себя взрослого, ты еще жизни не отведал, это еще все впереди, мой маленький».

Выходя во двор, он краешком глаза заметил, что Дурдане стоит на своем балконе и вроде бы смотрит, что делается на танцплощадке; он знал, что не этим заняты ее глаза и мысли — именно для того, чтобы увидеть его, Джаваншира, она так часто выходит на балкон; но он упорно делал вид, что это ему безразлично, и попросту не замечал Дурдане, даже не здоровался; вот уж кто и в самом деле ребенок, так это, конечно, Дурдане.

Она учится в университете, на курс младше Джаваншира, и в прошлом году, когда только начались занятия, эта девушка вдруг подошла к Джаванширу в университетском коридоре.

— Вас Джаваншир зовут? — спросила она.

Джаваншир ответил:

— Да, Джаваншир,— а про себя удивился, откуда знает его эта невысокая черноволосая девушка;

потом, через несколько дней, Джаваншир наконец вспомнил, что три года назад, летом, был он в Кисловодске вместе с родителями и жили они на одной улице с этой девочкой; ну, эта девочка вроде повзрослела, но, кажется, не слишком...

Этот разговор, если его так можно назвать, и был единственным за все время их знакомства; сначала Дурдане здоровалась с Джаванширом, и Джаваншир небрежным кивком ей отвечал; потом она, наверно, обиделась, перестала здороваться, но каждый раз при встрече с Джаванширом мягкие темные глаза ее оживали и как бы ждали продолжения того единственного разговора, но Джаваншир проходил мимо.

Вчера во время завтрака Гюлендам-нене спросила у Джаваншира:

— Что это за девушка смотрит на нас?

Джаваншир поднял голову и увидел, что через столик от них сидит Дурдане рядом с пожилой женщиной; наверно, она только что приехала, подумал Джаваншир, и невольно поздоровался с Дурдане, и похоже было, что это приветствие Джаваншира сделало Дурдане счастливой, так засияли вдруг ее глаза и лицо сразу похорошело. Пожилая женщина рядом с Дурдане посмотрела сначала на девушку с некоторым удивлением, потом перевела глаза на Джаваншира и тоже поздоровалась с ним и с Гюлендам-нене.

— Кто же эта девушка, а, малыш? — спросила тогда Гюлендам-нене.

Джаваншир привычно поморщился, буркнул:

— Кто ее знает? — И склонился над тарелкой с вермишелью.

А Гюлендам-нене сказала на этот раз не шутя:

— Ну конечно, откуда тебе их знать? Дома тоже сидеть невозможно из-за этих паршивок...

В Баку действительно девушки часто звонили и просили к телефону Джаваншира, а он и, правда, не знал ни одну из них, то есть, может, и узнал бы в лицо, если бы увидел; они со смехом говорили, что хотели бы с ним познакомиться, что он симпатичный парень, но слишком уж серьезный; Джаваншир с ними долго не разговаривал, просто вешал трубку, эти

девушки, что сами к нему навязывались, не могли его интересовать. Джаваншир снова поднял глаза на Дурдане, и ему почему-то показалось, что слово «паршивка» к этой девушке не подходит, и, что было самое странное, Гюлендам-нене, как будто прочитав его мысли, произнесла:

— Об этой девушке я не говорю...

В полдень Гюлендам-нене сообщила Джаванширу, что эту девушку зовут Дурдане, она тоже с бабушкой приехала в шушинский санаторий. Отца в отпуск не пустили, мать осталась с отцом в Баку.

Аккордеон Гюльмамеда снова заиграл свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу снова пригласил на танец Марусю Никифорову, и снова стали танцевать друг с другом девушки, приехавшие в санаторий, и друг с другом — местные парни.

Скоро этот обыкновенный, а для кого и особенный вечер в шушинском санатории подойдет к концу: поднимется в санаторий из шушинского дома отдыха малый оркестр Муслима-кларнетиста в составе его самого, зурнача Анушавана да Мелика, играющего на нагаре, и начнется последний танец. Так завершится рабочий день массовика Садыха-муэллима.

Диетолог Искандер Абышов, все еще в белом халате, подошел к танцплощадке и очень серьезно взирал на Садыха-муэллима, который стоял в центре и, ввиду запаздывания кларнетиста Муслима, развлекал публику фокусами; помахав целой газетой, он затем разорвал ее на куски, собрал обрывки в горсть, достал из рукава другую газету, а обрывки первой должен был под прикрытием новой газеты незаметно спрятать в карман; этот фокус он показывал часто, и, как всегда, один-два обрывка не хотели попадать в карман, летели на землю, и Садых-муэллим переминался с ноги на ногу, пытаясь наступить на них так, чтобы никто не заметил.

Диетолог Искандер Абышов не раз видел этот фокус, но каждый раз искренне удивлялся.

— Молодец, Садых-муэллим! — сказал он и взглянул на Джаваншира, стоявшего рядом.

Искандер Абышов уже год отработал в шушинском санатории после окончания медицинского тех-

никума в Баку и за этот год снискал небывалое уважение среди местных работников; не только медицинские сестры, фельдшеры, все — от шеф-повара до официантки — обращались к Искандеру Абышову не иначе как «доктор». Среднего роста, с аккуратно зачесанными назад курчавыми волосами и двумя родинками на щеке — он всегда был в накрахмаленном белоснежном халате и белой рубашке с черным галстуком, заколотым булавкой с маленьким стеклышком. Регулярно перед завтраком, обедом и ужином Искандер Абышов устраивал проверку на кухне, пробовал все блюда и частенько бывал недоволен — морковь перепарена, гуляш недодержан,— чем приводил в трепет шеф-повара. В столовой, прохаживаясь между столиками, он смотрел на лица отдыхающих, определяя, нравится ли им еда, некоторым давал советы. «Тыква — лекарство против воспаления желчного пузыря, ешьте больше моркови, в ней много витамина А, чрезвычайно полезен чай из шиповника, это сплошной витамин С»,— говорил он. «Витамины не менее нужны человеку, чем свежий воздух» — это было его любимым высказыванием, и Гюлендам-нене называла Искандера Абышова «парень-витамин», добавляя, что этот «парень-витамин» похож на парикмахера в белом халате, но это было мнение только Гюлендам-нене.

Но вот и Муслим со своим оркестром спешит, почти вбежал во двор санатория. Музыканты достали инструменты, расположились в центре площадки, и кларнет Муслима, поднявшись до самой высокой ноты и затем опустившись до самой низкой, повел за собой мелодию, окрыляемую зурной и нагарой.

Солнце уже село, быстро стало темнеть, появлялись звезды; в хорошую погоду Шуша со всех сторон бывала окружена звездами, звездами в небе и огнями внизу — в селах Мухетер, Шише, Кешим, в далеком Степанакерте; в теплые ясные вечера как бы исчезало расстояние между небом и горами, между человеком и небом.

Джаваншир вынул из кармана сигарету, закурил, а потом вдруг обратился к стоявшему рядом с ним Искандеру Абышову:

— Пойдем с тобой куда-нибудь, выпьем вина.

— Вина? — Искандер Абышов искренне удивился.

— Ну да. А что тут такого? Выпьем немного сухого вина.

Предложение Джаваншира было весьма неожиданным, диетолог задумался и наконец сказал:

— Ладно, стакан сухого вина можно. Даже профессор Герасимов рекомендует выпивать стакан сухого вина на ночь. Профессор Герасимов говорит...

— Правильно говорит профессор Герасимов. Пошли.

— Я пойду сниму халат.

Тут только Джаваншир заметил этот халат на Искандере Абышове и сказал:

— Жду.

Наконец Садых-муэллим пожелал всем спокойной ночи, затем повторил это еще раз, уже по-русски, и люди постепенно, парами, по трое начали расходиться: сегодня киномеханик Ахверди должен был показывать индийский фильм «Бобби», кроме того, можно было, например, успеть посетить местный театр.

Хусаметдин Аловлу подошел к Марусе Никифоровой, рядом с которой стояла ее подруга Людмила, и пригласил девушек в театр. Людмила многозначительно посмотрела на Марусю, а Маруся слегка покраснела, потом улыбнулась, и приглашение Хусаметдина Аловлу было принято.

Ожидая Искандера Абышова, Джаваншир с удивлением размышлял о своем внезапном желании выпить: ведь он очень плохо воспринимал спиртное; что тут поделаешь — тошнило его; наверно, дело было в том, что эти темные кусты и деревья с электрической подсветкой, эти как будто ненастоящие звезды, этот стрекот цикад в наступившей тишине стали раздражать Джаваншира, ему показалось, что Шуша — это не та Шуша; та, прежняя, осталась далеко-далеко, там, в детстве, когда Джаваншир двенадцатилетним мальчиком собирал на месте этого санатория ежевику, играл в футбол с местными ребятами, ходил с ними за малиной чуть не до самого Исабулага, на спор залезал в темный страшный подвал сгоревшей мечети; теперь была совсем

другая Шуша, а та, что была раньше, пропала, исчезла, давным-давно исчезла и больше никогда не вернется...

Вернулся Искандер Абышов.

— Я готов.

И Джаваншир, еще не вполне очнувшийся от воспоминаний, даже не узнал его; да и в самом деле Искандер Абышов в костюме, без халата, был как будто и не Искандер Абышов, а совсем другой человек.

Когда они выходили со двора шушинского санатория, Искандер Абышов сказал:

— Ты только посмотри, как она на тебя уставилась...

— Кто?

— Вон та девушка.— Искандер Абышов кивком головы показал на балкон, где стояла Дурдане.

«Вот как,— подумал про себя Джаваншир,— оказывается, этот парень интересуется не только калориями и витаминами». И вдруг, сам не понимая, как получилось, Джаваншир снисходительно так усмехнулся: мол, кто я и кто эта девушка? Нашел, с кем меня равнять... И что удивительно — Искандер Абышов принял эту усмешку Джаваншира за чистую монету; спускаясь по дорожке, ведущей из санатория в город, он сказал:

— Конечно, у тебя, небось, тысяча таких...

— Ты не представляешь, как они мне надоели...— Что его дернуло за язык, зачем он играет в эту игру с Искандером Абышовым, да пусть даже и не с Искандером Абышовым?

Заведующий шашлычной Абульфат, одновременно повар, буфетчик и официант, весивший сто двадцать восемь килограммов, принес два шампура с шашлыком из молочного барашка, зелень, овечий сыр, армянские маринованные овощи и две бутылки вина. Искандер Абышов глянул на Джаваншира:

— Две бутылки много.

— Почему много? — спросил Джаваншир и, перевернув поставленные вверх донышком стаканы из толстого стекла, наполнил их вином.— Твое здоровье,— сказал он и одним духом опорожнил свой стакан.

Искандер Абышов даже побледнел, удивляясь такой удали: он хотел и свой стакан точно так же опрокинуть, но поперхнулся и сумел выпить только половину.

Выпитое вино немедленно подействовало на Искандера Абышова, он порозовел и так разговорился, как будто до этого всю жизнь молчал; признался, что хотел бы жениться, да нет подходящей девушки, нет и квартиры, в горсовете обещали в этом году дать, но в старом доме он не хочет, хочет в новом доме и чтобы были все удобства; как получит квартиру, так и маму сюда поселит, перевезет из Сабирабада, а потом и женится; но вот беда, ни одна девушка пока не приглянулась; в прошлом месяце он получил любовную записку без подписи, долго гадал, от кого бы это, вдруг это от библиотекарши санатория Наргиз, но если это Наргиз написала, то очень жаль, потому что какая-то она странная, эта Наргиз, вертится все время под носом у Искандера Абышова — к чему бы это? — а любить ее Искандер Абышов пока никак не может; впрочем, аллах ведает, может, и полюбит когда-нибудь; но одно знает точно, что полюбит девушку местную, шушинскую, потому что шушинские девушки славятся своим здоровьем, но нет пока еще никого на примете, и вообще Искандер Абышов просто не представляет себе, как бы он подошел к какой-нибудь девушке и познакомился с ней, то есть теоретически, он, конечно, допускает такую возможность, только вот...

Искандер Абышов все говорил и говорил без умолку, никак не мог остановиться. Сам Джаваншир не произнес ни слова, только иной раз кивал головой да легонько так усмехался, давая понять, что все эти переживания Искандера Абышова ничто по сравнению с его, Джаваншира, жизненным опытом; при этом Джаваншир прекрасно понимал, что поступает нехорошо. Но вот ведь что: если бы Искандер Абышов не увидел в глазах Джаваншира этого превосходства, которое он считал совершенно естественным, то не был бы таким откровенным, именно из-за этой всепонимающей усмешки Джаваншира и прорвало Искандера Абышова...

Между тем Абульфат, двигающийся между столиками с легкостью, неожиданной для его ста двадцати восьми килограммов, подвижный, как ртуть, Абульфат, бегающий к буфету, наливающий водку, нарезающий зелень, колдующий над мангалом,— этот Абульфат возник вдруг перед их столиком и, обращаясь к Джаванширу, спросил:

— Еще по шампуру на брата, свет моих очей?

Джаваншир посмотрел на Искандера Абышова, и тот сказал:

— Больше не могу. Все!

Джаваншир снова улыбнулся снисходительно и опять поймал себя на том, что поступает нехорошо... Взяв у Джаваншира деньги за два шампура шашлыка, две бутылки вина, зелень, сыр, маринованные овощи, Абульфат, не считая, сунул бумажки в карман и сказал:

— Дай аллах достаток! — Потом забрал со стола вторую, запечатанную бутылку вина и бегом отнес ее в буфет.

Джаваншир с Искандером Абышовым вышли в парк, и Искандер Абышов, не в силах остановиться, все говорил и говорил о своих планах на будущее, но не только о них; говорил о том, что нет у него настоящего друга, да и товарищей нет, что дни проходят тоскливо, неинтересно, один день похож на другой. А Джаваншир — то ли от выпитого вина, то ли еще от чего — настолько вошел в свою роль, что и впрямь стал ощущать свое превосходство: вот он, Джаваншир, гуляет сейчас в шушинском парке, дышит чистым шушинским воздухом, отдыхает от городской жизни и от всяких похождений, главным образом любовных...

В парке было темновато, безлюдно, в лунном свете чернели стволы деревьев, и огни горели только в верхней части парка, возле здания театра. Агдамский театр, прибывший в Шушу на гастроли, сегодня показывал премьеру любовной драмы «Когда танцуют втроем» одного из местных драматургов. В это время Хусаметдин Аловлу, Маруся Никифорова и ее подруга Людмила сидели в зале и смотрели на сцену. Хусаметдин Аловлу, правда, часто переводил взгляд со сцены на Марусю, сидевшую рядом,

но не смел даже прикоснуться плечом или нечаянно задеть локтем девушку; только время от времени он угощал Марусю и Людмилу ирисками, купленными в театральном буфете, и тихонько переводил на русский язык речи героев. Когда же актер, изображая муки несчастной любви, заметался по сцене, Маруся Никифорова не смогла удержаться от слез и достала платочек.

И как раз в этот момент Искандер Абышов сказал Джаванширу:

— Ты только посмотри! Вах!

Шагах в десяти, на пересечении аллей показалась высокая стройная женщина в темном костюме и шляпе с широкими полями. Походка ее была удивительно легкой и мягкой и в то же время очень неспешной. Женщина проплывала мимо них в лунном свете, делая, как показалось Джаванширу, великое одолжение шушинскому парку и вообще всей Шуше, она как бы бросала вызов дикой неупорядоченной красоте этих мест.

— И бывают же такие женщины, о аллах! — тихонько сказал Искандер Абышов, сказал и посмотрел на Джаваншира, странно так посмотрел, будто побуждая его, такого опытного человека, к действию.

И тогда, совершенно неожиданно для себя самого, Джаваншир ускорил шаг, приблизился к этой женщине и произнес:

— Извините...

Женщина посмотрела на Джаваншира, и только теперь он понял, что сделал, что совершил, в горле у него внезапно пересохло, и уже каким-то не своим голосом он повторил:

— Извините...

Женщина оказалась очень красива, хотя ей, наверно, было около сорока, и удивительно то, что возраст свой она и не стремилась скрыть, была только чуть подкрашена, аромат тонких духов еле уловим.

И перед этой красотой и естественностью Джаваншир показался себе самым уродливым и глупым человеком на свете.

Искандер Абышов смотрел на них глазами, полными счастливого изумления и тоски. Еще бы! Па-

рень, который всего минуту назад шел рядом, пил вместе с ним вино в шашлычной Абульфата, уже, как видно, познакомился с этой прекрасной женщиной, с этим неземным существом, совершенно недосягаемым для него, Искандера Абышова.

Женщина еще раз скользнула взглядом по лицу Джаваншира, и Джаваншир сразу почувствовал, что она видит его насквозь, понимает всю глупость его поступка. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Джаваншир все же выдавил из себя:

— Скажите, пожалуйста... Вы не знаете, где здесь театр?

Незнакомка внимательно посмотрела на Джаваншира, она будто пыталась как следует разглядеть в лунном свете лицо этого длинного молодого нахала, и Джаванширу представилось, что сейчас эта женщина надает ему пощечин обеими руками с грубостью, совсем ей не подобающей, но, как ни странно, женщина плавно повела своей красивой рукой в сторону театра и произнесла:

— Театр там...

Мягкий голос ее прозвучал очень тепло и очень приветливо, и это сразу ободрило Джаваншира. Некоторое время они молча шли рядом. Сердце Джаваншира уже билось не так сильно, однако он еще не вполне пришел в себя, к тому же усиленно искал тему для продолжения разговора, и все казалось ему банальным и глупым, он страшно злился на самого себя — зачем он затеял все это?

А сзади шел Искандер Абышов.

Вдруг женщина сказала:

— Ваш товарищ... он ждет вас...

И снова слова ее прозвучали мягко, Джаванширу даже показалось, что ласково; он удивился, как это она, ни разу не оглянувшись, заметила Искандера Абышова, и сказал первое, что пришло в голову:

— Ничего...— И тут же снова залился краской.

Так они дошли до здания театра. Джаваншир от досады на себя не мог даже смотреть на спутницу, он готов был просто убежать куда-нибудь, спрятаться в какую-нибудь нору от стыда, но сзади шел Искандер Абышов...

На досках для афиш висели написанные от руки объявления о спектаклях, и, взглянув на них, женщина сказала:

— О-о-о, у них даже «Клеопатра» в репертуаре.— При этом она слегка усмехнулась, и усмешка немного — не вполне, конечно,— походила на усмешку Джаваншира, когда он сегодня разыгрывал свою роль перед Искандером Абышовым.— Надо будет пойти...— Потом внезапно спросила у Джаваншира тоном учительницы: — А вы смотрели «Клеопатру»?

Этим вопросом она застигла Джаваншира врасплох, и, торопливо застегивая верхнюю пуговицу на рубашке, он ответил, как ученик, не выучивший урок:

— Нет, не смотрел.

Они отошли от афиши, и тут — странное дело — женщина стала вдруг разговаривать, словно сама с собой, теперь Джаваншир уже мог глядеть на нее: так красиво слетали слова с ее чуть подкрашенных губ, и слова эти как будто доносились из того, другого мира, в который Джаваншир обычно уносился в своих мечтах, лежа на кровати и глядя в потолок; и постепенно ему стало казаться, что ее слова — естественное дополнение, даже не дополнение, а как бы просто часть этой теплой августовской шушинской ночи.

А говорила она о том, что все в мире непрочно, все уходит в никуда и чувства, мысли человеческие, страсти — все, все — ничто, только искусство способно остановить бег времени, оно не увядает, оно вечно, и потому вечны чувства, мысли человеческие, страсти, запечатленные мастером.

Джаваншир понимал, что он должен сейчас поддержать разговор, сказать тоже что-нибудь в этом духе, но все слова вдруг куда-то исчезли, он ощущал мучительную тоску и не мог произнести ни слова. Тем не менее выяснилось, что женщина — бакинка, что по профессии она архитектор, а сейчас отдыхает в шушинском доме отдыха, в Шуше она не впервые, очень любит эти места, скучает без них, буквально влюблена в шушинский ханский дворец и мечеть, а какова крепостная ограда — ведь это же

само совершенство, бездна вкуса, и как удачно расположены все здания, как хорошо вписываются в окружающий ландшафт; поистине древние архитекторы лучше нас понимали, что здание должно дополнять природу, а не противоречить ей, а теперь такую вот очевидную мысль приходится отстаивать на ученых заседаниях.

Джаваншир только кивал головой, соглашаясь со всем, что говорила женщина, иногда, правда, вставлял что-нибудь вроде «конечно» или «верно». Других добавлений он сделать не смог, и все это время, пока они прогуливались по темным аллеям шушинского парка, Искандер Абышов сопровождал их сзади. И, что удивительно, ему совсем не было скучно; не то чтоб он слушал речи прекрасной незнакомки: он шел на таком расстоянии, что ничего разобрать не мог, а просто почему-то чувствовал и себя героем сегодняшнего вечера.

Джаванширу давно хотелось узнать имя незнакомки, но он никак не мог заставить себя произнести простые три слова, ему казалось, что они так не подходят к этой фантастической, немыслимой ночной прогулке. Наконец, пересилив себя, он все-таки произнес их; выяснилось, что женщину зовут Медина-ханум, тогда и Джаваншир представился, а затем Медина-ханум спросила Джаваншира:

— А вы где работаете?

Этот вопрос снова привел в замешательство начавшего было успокаиваться Джаваншира: он не предполагал все же, что выглядит таким взрослым, и, снова покраснев, ответил неопределенно:

— Я филолог. В университете...

— Преподаете?

«Что это она? Издевается?» — подумал Джаваншир.

— Нет... Я аспирант...— сказал он и посмотрел на Медину-ханум, как кролик на удава; он был уверен, что сейчас она громко расхохочется, а вслед за тем и Искандер Абышов умрет от смеха. Но, к удивлению Джаваншира, ничего этого не произошло, просто Медина-ханум длинно так произнесла:

— А-а-а... Тогда для вас все еще впереди...

Джаваншир, потупившись, переживал эту неприятную минуту и молчал.

А Искандер Абышов по-прежнему следовал за ними в некотором отдалении, по-прежнему совсем не чувствовал себя лишним, и, как видно, напрасно, потому что между Джаванширом и Мединой-ханум произошел такой короткий разговор:

— Ну что ж, я должна возвращаться...

— Позвольте, я вас провожу?

— Но ведь вас ждет товарищ?

— А он мне не товарищ...

— Тогда скажите ему, чтоб не ходил за нами,— произнесла Медина-ханум с некоторым раздражением.

Джаваншир сначала не понял, почему вдруг при этой женщине он отрицал свои приятельские отношения с Искандером Абышовым, но ведь, с одной стороны, они действительно не были товарищами – Джаваншир только сегодня вечером с ним познакомился, а с другой стороны, все же то, что он отрекся от Искандера Абышова, показалось Джаванширу предательством; впрочем, он внял словам Медины-ханум, отстал от нее и, подождав, когда с ним поравняется Искандер Абышов, произнес:

— Ты, пожалуй, иди... Мы еще погуляем...

Искандер Абышов заморгал глазами, затем будто что-то уяснил для себя и сказал:

— Хорошо! — повернулся и исчез в темноте.

Медина-ханум опять говорила о своей привязанности именно к Шуше; ей было с чем сравнивать: Теберда, Дилижан, Абастумани, Кисловодск, Сочи, Карловы Вары, Золотые пески, Ницца; но нигде, считала Медина-ханум, нет такого воздуха, как в Шуше; только в Шуше, говорила она, чувствуешь всю полноту настоящего отдыха, забываешь обо всех заботах и печалях, снова радуешься жизни. И душа очищается и становится восприимчивой к новым, не испытанным еще чувствам...

Джаваншир шел, слушая Медину-ханум, и уже не смущался, как прежде, хотя, конечно, просто уму непостижимо, что именно он, Джаваншир, не во сне, а наяву идет с такой женщиной и слушает такие признания...

Когда они дошли до ворот шушинского дома отдыха, было уже около одиннадцати. Медина-ханум, протянув Джаванширу руку, сказала:

— До свидания. Спокойной ночи.

При свете электрической лампочки, висящей над воротами шушинского дома отдыха, серые глаза Медины-ханум выражали приязнь и приветливость, кажется, они еще о чем-то говорили, и теплая тонкая рука Медины-ханум подтверждала то, о чем говорили ее глаза.

Джаваншир понимал, чувствовал — надо что-то сказать, обязательно надо сказать или сделать нечто такое, от чего исчезнет едва различимая в глубине ее глаз ирония... И вот, призвав на помощь все свое мужество, с отчаянием в голосе он спросил:

— Завтра увидимся?

Медина-ханум улыбнулась с той же приветливостью и приязнью:

— Увидимся.

Они условились, что завтра в семь часов вечера (когда хромой Дадаш во дворе санатория начнет настраивать струны своей кеманчи) они встретятся в тутовнике (это место предложила сама Медина-ханум), и после этого Медина-ханум, высвободив руку из большой ладони Джаваншира, вошла в калитку своего дома отдыха.

Джаваншир немного постоял перед воротами, думая о собственной глупости, неловкости и в то же время продолжая ощущать своей ладонью теплоту, ласковость руки Медины-ханум. Потом закурил и, пройдя по темным, вымощенным толстыми плитами улицам Шуши, стал подниматься к своему санаторию.

И тут как раз кончилась драма «Когда танцуют втроем», и Маруся Никифорова, Людмила и Хусаметдин Аловлу вышли из театра, причем Хусаметдин Аловлу сразу закурил.

Джаваншир, гуляя с Мединой-ханум, не осмелился на это...

Когда Джаваншир вошел во двор санатория, свет горел только у Гюлендам-нене, и на балконах никого не было, не считая Дурдане; накинув на плечи

шерстяной жакет, она, дрожа от холода, стояла на своем посту.

Джаваншир добрался до кровати, разделся, лег... Всю ночь он был с Мединой-ханум, всю ночь они с Мединой-ханум бродили по шушинскому парку. Находясь между сном и явью, Джаваншир видел большие серые глаза Медины-ханум, слышал ее мягкий голос, ощущал аромат ее духов, чувствовал пожатие ее руки, но все, кажется, чего-то не хватало, он испытывал какое-то беспокойство, и только уже под утро Джаваншир понял внезапно, чего же ему все-таки недоставало,— оказывается, раздающихся позади шагов Искандера Абышова.

— С чего это ты так вырядился, мой маленький? К добру ли?

Джаваншир искоса посмотрел на Гюлендам-нене.

Надвигался вечер, скоро Садых-муэллим, выйдя на середину танцплощадки во дворе санатория, улыбнется отдыхающим, а потом заговорит, зальется кеманча хромого Дадаша, затем аккордеон Гюльмамеда заиграет свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу под завистливыми взглядами местных парней пригласит Марусю Никифорову танцевать.

Этот день пролетел очень быстро.

Когда утром Гюлендам-нене с Джаванширом спустились в столовую, Искандер Абышов в своем чистейшем накрахмаленном и выутюженном халате, будто только их и ждал, он уделил им особенное внимание, поздоровался с Джаванширом с большим почтением, да и потом часто поглядывал в их сторону, а когда Гюлендам-нене, съев утренний люля-кебаб, не тронула испеченный помидор, Искандер Абышов подошел к их столику.

— Простите,— сказал он.— Если бы вы только знали, от чего вы отказываетесь!

Гюлендам-нене поглядела сначала на печеный помидор, потом на сдвинутые брови Искандера Абышова.

— А от чего? — спросила она.

Искандер Абышов сказал:

— Вы не представляете, сколько в нем витаминов!

Гюлендам-нене снова уставилась в свою тарелку, доводы Искандера Абышова как будто подействовали на старуху, и она опять взялась за вилку.

Искандер Абышов, конечно, был очень доволен.

После завтрака Дурдане по просьбе своей бабушки пришла в комнату Джаваншира за ножницами, потом она принесла ножницы обратно; спускаясь днем в столовую на обед, она столкнулась с Джаванширом лицом к лицу, поздоровалась, и Джаваншир на этот раз отдал себе отчет в том, что девушка при встречах с ним совершенно теряется и краснеет.

— Послушай, малыш, что ты так косо на меня смотришь, а? Опять придешь в двенадцатом часу ночи? — Гюлендам-нене, сидя на кровати, глядела на Джаваншира поверх очков и улыбалась, привычно подтрунивая над внуком.

Джаваншир стоял перед зеркалом и причесывал, укладывал свои длинные волосы. Он посмотрел на Гюлендам-нене в зеркало и сказал:

— Сегодня, может, и совсем не приду...

И тут произошло нечто вроде чуда: Гюлендамнене не рассмеялась, не стала издеваться над его словами, она почему-то сразу поверила, даже всхлипнула вдруг.

— Джаваншир...

— Ну что, что Джаваншир?

Дурдане стояла на балконе, и ее глаза, полные скрытой тревоги, долго провожали Джаваншира.

Он подошел к условленному месту на полчаса раньше срока.

В тутовнике были не одни только тутовые деревья, здесь возвышались и шушинские дикие яблони, и дикие черешни, и на поляне, усыпанной цветами, росли кусты шиповника, ежевики; эти места хорошо запомнились Джаванширу,— сколько раз играл он тут в детстве, и однажды удивился, что шиповник в этих местах, может быть, единственное растение, которое сначала покрывается листьями, а уж потом зацветает.

Когда-то, кажется, очень давно, Джаваншир с матерью, отцом и бабушкой каждое лето приезжали в Шушу, жили тут все лето, и, огибая тутовые деревья, Джаваншир снова вспоминал те далекие детские годы: как они, мальчишки, набивали свои майки дикими яблоками, еще неспелыми синими сливами, и все эти дикие яблоки, синие сливы они ели до оскомины, до полного онемения губ, и все никак не могли остановиться, а потом еще перемазывались с ног до головы красным соком дикой черешни.

Солнце понемногу склонялось к закату; в ожидании предстоящего вечера, предстоящей ночи Джаваншир чувствовал себя свободно, но не очень-то спокойно, хотя уже поверил в себя, ведь больше не было необходимости притворяться ни при Искандере Абышове, ни при ком другом, Джаваншир должен быть самим собой, потому что он тот самый Джаваншир, который познакомился с Мединой-ханум и сейчас ее ждет.

Он как следует подготовился для сегодняшней встречи, он больше не будет молчать, набравши в рот воды, теперь-то он уж знает, что скажет Медине-ханум, и, бродя по тутовнику, Джаваншир повторял про себя слова, которые он ей скажет. Да, прогуливаясь с Мединой-ханум под этими тутовыми и грушевыми деревьями, между стволами дикой яблони, дикой черешни, сливы, среди кустов шиповника и ежевики, Джаваншир завоюет уважение и любовь этой необыкновенной женщины; кто знает, чем все это кончится, может быть, даже и поженятся они с Мединой-ханум...

Джаваншир часто поглядывал вниз, на тянущуюся от шушинского дома отдыха тропинку.

Джаваншир сначала почувствовал появление Медины-ханум, как будто по цветам, по кустам и деревьям пробежал очень легкий, очень нежный ветерок, потом Джаваншир, посмотрев в сторону дома отдыха, увидел поднимающуюся по тропинке Медину-ханум.

Медина-ханум уже издалека неспешно помахала ему рукой, сердечно приветствуя Джаваншира, и он внезапно почувствовал себя недостойным этого расположения, ему опять показалось, что он ничто пе-

ред этой женщиной — самим воплощением приветливости и в то же время радостной вольности и свободы.

Медина-ханум сегодня была в светлом широком платье, и это со вкусом сшитое светлое и широкое платье тоже, казалось, говорило о радости, вольности и свободе; Медина-ханум шла без шляпы, длинные золотистые волосы рассыпались по ее плечам, груди, и эти золотистые волосы тоже, казалось, чуть не кричали сейчас о радости, вольности и свободе; все это вместе предназначено для Джаваншира, Джаваншир должен был, обязан был в это поверить...

В глубине души он боялся, вдруг Медина-ханум не придет на свидание с ним.

Медина-ханум пожала руку Джаваншира, и пожатие это было таким искренним и милым. А потом Джаваншир с Мединой-ханум стали прогуливаться рядышком под тутовыми деревьями среди цветов. и опять заготовленные, только что повторяемые про себя слова вылетели из головы Джаваншира, и он в который уже раз удивился, что̀ нашла в нем, глупце, верзиле, столь прекрасная, умная женщина, за что это счастье такому ничтожеству, как он? А самое странное — Джаваншир внезапно почувствовал: те далекие годы, которые прошли вот здесь, в Шуше, под тутовыми деревьями, вовсе не остались вдали, все было как будто вчера; это ощущение потрясло Джаваншира, и он некоторое время даже не слышал, о чем говорит Медина-ханум, затем, не попросив у нее разрешения, он дрожащими руками достал и закурил сигарету, потом подумал, что нужно было бы предложить сигарету и Медине-ханум и вообще сейчас надо взять Медину-ханум под руку, сказать ей что-нибудь интересное или хотя бы что-нибудь особенное.

Какая прекрасная держалась погода, какой чудесный ожидался закат, каким долгим был этот день! Медина-ханум на отдых всегда ездила одна — может быть, это эгоистично; конечно, вот такое наслаждение красотой, такое острое ощущение ее не всегда сочетаются с альтруизмом, не правда ли? Чувствовать красоту, наслаждаться ею — разве само

по себе не эгоизм? Видимо, эгоизм в природе человека, избавиться от него, совсем избавиться невозможно, а может быть, и не надо? По существу, и чувство одиночества тоже приводит к эгоизму, вот это ужасно, это плохо, вот тут нужно обязательно думать о других, чувствовать их, не замыкаться в одиночестве, в такое время надо уметь разделять радость других; конечно, одиночество порой преследует человека настолько, что от него невозможно убежать, тяжкий бич двадцатого столетия редко оставляет человека в покое.

После всех этих слов, размышлений, этих признаний Медина-ханум как ни в чем не бывало, просто и естественно взяла Джаваншира под руку и, на мгновение прижавшись к нему, спросила:

— Куда мы пойдем?

Конечно, Джаваншир не ожидал такого вопроса и застыл в недоумении; внезапно ему вспомнился Искандер Абышов, вспомнилась стипендия в кармане, и он неожиданно для себя предложил:

— Пойдемте в парк, в шашлычную...

Медина-ханум посмотрела на Джаваншира с некоторым недоумением.

— Вы проголодались?

Джаваншир почувствовал, что краснеет, и, чтобы Медина-ханум этого не заметила, нарочно поднес руку ко лбу; на мгновение перед его глазами появился стодвадцативосьмикилограммовый Абульфат, в нос Джаванширу ударил запах шашлыка, водки, и он изумился, как ему могла прийти в голову такая идиотская мысль — здесь, среди цветов, рядом с этой прекрасной женщиной...

— Нет... не проголодался...— промолвил Джаваншир.— Просто так сказал...

Медина-ханум снова взглянула на Джаваншира, потом, будто внезапно обнаружив то, что искала давно, сказала едва ли не заговорщицки, понизив голос:

— Знаете что... Давайте пойдем ко мне. Я в комнате одна, никого другого не бывает...

Джаваншир не поверил своим ушам.

— Из моего окна и закат виден,— продолжала Медина-ханум.— Вместе полюбуемся...

Слова Медины-ханум о закате прозвучали, пожалуй, не очень естественно.

Они спускались по тропинке, ведущей в дом отдыха. Они направлялись в комнату Медины-ханум, и, кроме нее и Джаваншира, в этой комнате никого не будет. Джаванширу хотелось хотя бы пять минут побыть одному, прийти в себя.

Внизу виднелись двух- и трехэтажные корпуса шушинского дома отдыха, постепенно свет загорался в окнах.

Джаваншир сказал:

— Пойду куплю коньяк...

Медина-ханум ответила:

— Не нужно... У меня есть коньяк...

Все это прозвучало так, будто они в самом деле были заговорщиками.

Медина-ханум держала Джаваншира под руку, тропинка круто шла вниз, и, чтобы не споткнуться о камень, не поскользнуться на траве, Медина-ханум прижималась к Джаванширу.

У Джаваншира совсем в горле пересохло, и он не мог понять почему — от радости ли, от робости...

Медина-ханум остановилась у алычового дерева, дальше начиналась асфальтовая дорожка.

— Вместе нам заходить неудобно,— сказала она.— Все-таки Шуша — это Шуша, не Карловы Вары.— Она улыбнулась.— Видите вон то крайнее двухэтажное здание, слева самое первое окно мое, на втором этаже... Видите?

Джаваншир ответил:

— Да, вижу...

Медина-ханум продолжала:

— Давайте сначала пойду я, а потом вы — через пять-шесть минут... Дверь я оставлю открытой...— Медина-ханум опять улыбнулась.— Хорошо? — спросила она.

Джаваншир кивнул.

Медина-ханум отпустила руку Джаваншира, повернулась и пошла вниз по асфальтовой дорожке.

Когда Медина-ханум убирала руку, ее горячие пальцы скользнули по голому запястью Джаваншира, это прикосновение было жгучим...

Но вот задул прохладный ветерок, охлаждая запястье Джаваншира. Дул прохладный ветерок, заходило ярко-красное солнце. Цикады вели свою вечернюю стрекотню, время от времени слышалось откуда-то кваканье лягушек.

Дождь пойдет?

Внезапно Джаванширу показалось, что он давно уже тоскует по дождю; ливня жаждала его душа — чтобы страшно загремел гром, засверкала молния, чтобы все вокруг содрогнулось; Джаваншир всем телом ощутил тугие струи сильного дождя.

Солнце закатилось, край неба постепенно бледнел...

В окне Медины-ханум загорелся свет.

Джаваншир, прислонившись к алычовому дереву, смотрел на освещенное окно и сейчас был на сто процентов уверен, что, когда он войдет в эту комнату, Медина-ханум встретит его уже в красивом длинном халате и, когда она сядет на диван, в просвете между полами халата будут видны ее ноги.

Самым скверным, самым страшным было то, что ноги Медины-ханум сейчас вовсе не возвещали Джаванширу о каком-то волшебном мире, о каких-то неземных наслаждениях, эти стройные, красивые ноги были несовместимы со страшной тоской по дождю, по ливню в сердце Джаваншира...

Конечно, он понимал, что так делать нельзя, что это не по-мужски, это — мальчишество, совершенное мальчишество, однако непонятная сила влекла Джаваншира прочь от этой тропинки, от алычового дерева и, самое главное, от этого света в окне.

Джаваншир, сойдя с тропинки, пошел по траве и сам не заметил, как шушинский дом отдыха остался позади, осталось позади зовущее, ждущее окно, совсем теперь незаметное, когда Джаваншир поднялся в полной темноте на террасу в нижней части Шуши.

На террасе никого не было. Звезды не светили. Горели только огоньки сел, расположенных в межгорьях,— словно далекие созвездия. Джаваншир ощутил, почувствовал близость этой дали, свет селений как будто приносил тепло.

Джаваншир сидел на скале, поворачивая голову, он следил за огоньками машин на петляющей по склонам дороге. В какой-то момент ему показалось, что он как будто не один, кто-то дышит рядом, причем какой-то знакомый ему человек.

Здесь было очень тихо, только едва слышно журчала речка Дашалты, текущая по дну ущелья. А на той стороне возвышалась отвесная скала Хезне. Она была совсем как живая, эта скала, она дышала, слышала, видела и молчала.

Если в мире существовала вот эта скала Хезне, если слышалось журчание реки Дашалты, если вот так согревали огоньки далеких сел, то почему Искандер Абышов был недоволен своей жизнью и почему он говорил об однообразии дней?

Потом вдруг ударила молния, полил дождь, а через некоторое весьма малое время этот шушинский ливень прекратился так же внезапно, как и начался.

В глубине души, в самой сокровенной глубине Джаваншир не боялся, что вдруг Медина-ханум не придет к нему на свидание; Джаваншир не хотел, чтобы Медина-ханум пришла. Он не отдавал себе в этом отчета, но это было так.

Потом постепенно наплыл туман, огоньки напротив сначала расплылись, потом совсем исчезли, исчезла и скала Хезне, и Джаванширу показалось, что наступил завтрашний день, день его рождения, и одна девушка, милая, стеснительная девушка поздравляет его, она принесла испеченный ею очень любимый Джаванширом яблочный пирог, она считает Джаваншира самым храбрым человеком на свете, гордится тем, что Джаваншир ничего не боится, ни перед чем не отступает, и это действительно так; юная девушка, милая стеснительная девушка больше ничего не говорит; страшно смущаясь, краснея, она заставляет себя поцеловать Джаваншира в щеку, и этот легкий поцелуй как бы приподнимет Джаваншира над землей, теперь он может смотреть всем прямо в глаза, потому что Джаваншир любим, потому что Джаваншир — опора, потому что Джаваншир — защита, и в окутавшем все вокруг тумане он ясно увидел глаза, лицо, волосы Дурдане...

А музыкантам во дворе шушинского санатория играть не пришлось, Шушу туман окутал, но перед тем, как Садых-муэллим пожелал отдыхающим спокойной ночи, Хусаметдин Аловлу попросил у него разрешения, вышел на середину танцплощадки и прочитал свое новое стихотворение, написанное сегодня:

Ты опять приедешь,
Очень хорошо!
Навсегда приедешь,
Очень хорошо!

И эти строки Хусаметдина Аловлу были явно по душе Марусе Никифоровой, как строки самого прекрасного в мире стихотворения.

А Искандер Абышов, стоя в белом халате в дверях библиотеки шушинского санатория, поглядывал на библиотекаршу Наргиз и думал: «Интересно, кто же отправил любовное письмо без подписи? Неужели все-таки Наргиз?»

г. Баку.

Перевел с азербайджанского
Александр Орлов

ВЛАДИМИР ЯКИМЕНКО

БАТЬКОВЩИНА

В комнате душно, одиноко тикает будильник на подоконнике, от ветра позвякивают плохо пригнанные стекла. Я лежу и почему-то вспоминаю нашу поездку на родину отца. В небольшое украинское село в степи.

Ребристая проселочная дорога, по краям дороги чахлые тополя с посеревшими от пыли листьями. И дальше, по обе стороны, исчерченная желто-зелеными прямоугольниками кукурузных и подсолнечных полей, тянется в зыбком мареве степь. Машина накалилась, как жаровня, к металлическим частям не притронешься. Я в изнеможении откинулся на спинку сиденья: последнюю ночь дома почти не спал, вернулся в два, а в пять уже надо было ехать. У Таньки завтра последний экзамен. Поступит или нет? Конкурс большой... Вдруг не поступит, вернется к себе в Новосибирск, и не встретимся, может быть, никогда. Да ну, чего об этом думать! Назад все равно не повернешь. А может, все-таки поступит?

Машину подбросило на колдобине, я больно ударился головой о дверцу, скрипнули тормоза.

— Ну что, гулена, проснулся? — весело засмеялась мама.— Надо же, гонял где-то часов до трех, светать уже начало, когда вернулся. Мне просто интересно, с кем ты гулять мог? Какая нормальная девочка до утра будет неизвестно где шататься?! У нее ведь тоже родители есть.

Я снова откинулся на сиденье, потер ушибленную голову и закрыл глаза. Разве они поймут, родители? Лучше не думать ни о чем. Полтора месяца отдыхать — ужас. Да еще вот по таким дорогам таскаться.

К селу, где живет Даша, сестра отца, подъезжали засветло. Какое-то бесконечное село, село одной улицы. Дома высокие, каменные, шифером крытые (под соломой и не найдешь), а все так и тянутся по старой привычке вдоль единственной улицы. Круто выгибаясь, улица спускается к розовато отсвечивающему, поросшему камышами озерцу. Навстречу машине легко рысит на подъем пегая лошадь, запряженная в двуколку; потный краснолицый парень в зеленой нейлоновой рубашке и пестром, сбившемся в сторону галстуке, правит, а рядом поджала бескровные губы старушка с белым узелком на коленях.

Впервые я в селе. В деревни подмосковные ездил, а вот в настоящем селе первый раз.

У палисадника крайнего дома на скамейке сидит невысокий мужичок в матерчатой фуражке — вытянул ноги в стоптанных кирзовых сапогах, по сторонам посматривает, курит. Отец начал притормаживать, мужичок повернул голову и с интересом следил за машиной. Неожиданно машина свернула на обочину и остановилась прямо у калитки. Мужичок бросил папиросу, поднялся, ладонью прикрыл глаза.

— Кого ж цэ бог послал? — проговорил он озадаченно, стараясь разглядеть наши лица.

Отец торопливо вылез из машины. Мужичок прищурился, шагнул вперед.

— Ха, так ведь цэ Толя! — узнал он отца.— Приехали! — И заспешил навстречу, смешно переваливаясь на коротких кривых ногах.— Это что, прямо с Москвы? Когда? Вчера? Ну вы скажить, мы уж надеяться перестали, думаем, забыли нас, простых колхозников,— сыпал он скороговоркой и тряс отцовскую руку.— А это хто ж? — заметил он нас.— Семья твоя? Вот это диты уже такие, а то жинка?! Та чего вы стоите? Заходьте.

Во дворе степенно бродили куры, на низком стульчике под деревом замурзанный мальчонка доедал арбуз. Увидел нас, выронил арбуз, глаза у него стали большие, он открыл рот и заплакал. На шум из-за дома вышла пожилая усталая женщина, придерживая руками подоткнутый с боков передник. Вышла и остановилась нерешительно. Но вдруг в лице у нее что-то дрогнуло, она охнула, выпустила из рук передник, крупные луковицы тяжело посыпались на землю.

— Ой, братику, мой родненький, приехал! — не удержалась, заплакала, запричитала.— Да как же это? А я-то замарашка какая, с огороду только. Ну подожди ж, дай хочь руки вытру,— всхлипывала она, отстраняясь от отца.— Ой, господи...

Неужели это та самая Даша — первая красавица на селе, чернобровая, кареглазая, косу не обхватишь,— о которой так часто рассказывал нам отец? Парни табуном за ней ходили, сваталось много. А вот жизнь тяжелая вышла. В отместку, что ли, за веселую молодость? Муж рано умер, осталась одна с тремя детьми. Победовала тогда в голодные годы. Потом снова замуж. Гриша, оказалось, «прихрамывает» на алкоголь. Год назад сын на мотоцикле разбился...

Даша оглянулась на нас, смахнула слезы.

— Я сегодня как чувствовала, борща столько наварила,— сказала, словно оправдываясь.— Сон был: будто волна огромная за мной гонится, я бегу, а она настигает. Не иначе, думаю, к гостям. Ну, проходьте же в хату, с дороги голодные, наверное.

В хате прохладно и полутемно. Над телевизором под старой почерневшей иконой горит лампадка, кровать горбится высокими подушками, накрытыми кружевным покрывалом.

Гриша, загадочно покашливая, принес из коридорчика бутылку с бумажной пробкой.

— Ну что, Толя,— повел глазами в сторону бутылки,— по маленькой за приезд?!

На дне бутылки в мутноватой жидкости заколыхались две черненькие мухи. Отец подозрительно посмотрел на Гришу.

— Самогон?

Гриша заерзал на стуле, хитрые глазки его под белесыми, чуть заметными бровями забегали.

— Да как же, Толя, магазины-то закрыты сегодня, воскресенье. А тут, значит, такое дело. Я одну ее только и берег на случай гостей, уже и не помню, сколько лет лежит.— Он помолчал, покашлял виновато и как бы между прочим добавил: — А потом, я тебе скажу, как без него обойдешься? На работу человека наймешь, мы-то с Дашей старые, а по хозяйству, сам знаешь, то одно, то другое сделать надо. Так теперь без магарыча работать не хотят. Денег им и так, скажи ты, хватает, а вот выпить... Ну, давай за приезд!

Гриша выпил, даже не крякнул, не поморщился, отломил кусок хлеба, понюхал, пожевал огурец. Темно-коричневый от загара лоб и лысая голова у него сразу покрылись капельками пота. Гриша откинулся на спинку стула.

— Да, живут сейчас люди. Раньше и не мечтали, что такое будет. В городе у сына гостил, насмотрелся... Жинка выйдет, так то ж жинка; и сама одета и дети нарядные. А мужики такие брюха понаедали. Еще молодые, здоровые, идут на лежачий хлеб. Толстеют, едят, пьют; пенсию носят прямо в хату. Живи, так нам уж некогда жить.

— А вы что, братик, завтра в Михайловку поедете? — спросила Даша. За стол она так и не садилась — кабана ж надо накормить, да Алеша, внучек, как же малое такое, неразумное одно во дворе? В колодец бы не свалился, да мало ли что. Так и бегала. И вот присела на минутку на краешек стула, платок сбился на лоб.— Ох, братик, и я б в Михайловку поехала. Вы ж возьмете меня? Хочь последний раз перед смертью взглянуть на батьковщину.— Даша всхлипнула, опустила глаза, нервно покусывая кончики платка.— Время наше подходит: голова думает, а ноги не согласуют, как подурели, начали болеть, чуть потанцую по двору, уже и полежать хочется. Недавно приступы были; печет, горит все в животе. Я терпела — печет, а все ж так хожу, сама себя обслуживаю. Потом и двигаться

невмочь стало. Врачи признали сто хвороб — говорят, у вас что есть в середке, все больное.— Даша замолчала и, вдруг выпрямившись, тряхнула головой, как будто сбросила с себя старческую немощь. Глаза ожили, умные, озорные, голос зазвенел помолодому.— А пошли они все к черту, те врачи! Запугали дурную бабу, она и расхныкалась. Нет, я хочу жить и буду жить! Радио кричит над кроватью, будит: «Поднимайтесь, трудари, добрые люди! Весна! Пора работать, жить». Ну как тут улежишь? Поднялась.

— В Михайловку, значит,— вмешался Гриша.— А чего не съездить, съездите. Зараз ее не узнать. Дома — не у каждого кулака такие были.— Он потянулся к бутылке.— А ты что, Толя? Все? По стаканчику! Нельзя? Ну ты скажи, приехал человек из самой Москвы и за встречу... Не? Та чего ж, это, конечно, такое дело, смотри...

Я незаметно вышел во двор. Теплая ночь, звезды яркие, большие. Чуть белеют в темноте хатки, гдето далеко, на другом конце села, поют. Украина... Чумацкий воз в Днепропетровском музее, который, кажется, еще пахнет солью, запорожские жупаны в застекленных витринах — такой знал я ее в детстве. По ночам мне снились казацкие сабли, пистолеты, богатые скифские клады в таинственных, поросших травой курганах. Нет, здесь совсем другое. Настойчиво зовут в степь цикады, и слышно, кажется, в шорохах ночной степи печальное пение усталых чумаков; облокотились о высокие деревянные колеса, костер горит в темноте, и поют о товарищах, оставшихся навечно там, у далекого Сиваша, о горькой своей жизни. Сама собой вспоминается казацкая церквушка в Тамани, гранитный памятник запорожскому казаку над самым морем. Дедушка в своей любимой вышитой сорочке держит меня на руках.

«Вот по этим звездам, коханый мой внучек, казаки находили путь домой, когда из Туретчины возвращались».

И вот они, звезды и эта степь, знакомые и родные с самого детства.

2

Утром позавтракали наскоро. Даша в новом, не ношенном почти платье села рядом с отцом на переднее сиденье. В объезд до Михайловского далеко, и отец погнал прямо по степи, без дороги, по еле примятой какой-то случайной машиной траве.

Степь... Суслик испуганно метнулся перед машиной и замер, вытянувшись столбиком у норки. Отец вертит по сторонам головой, улыбается:

— Смотрите, смотрите! Вот на этом холме скифская баба стояла. Мы же здесь с отцом на лошадях ездили. У Даши ночевали, а оттуда прямо в Днепропетровск. Эх, ридна моя степь! — Он прикрыл глаза.

— Толя, Толя! Ты так нас где-нибудь перевернешь,— испугалась мама.— Смотри, пожалуйста, на дорогу.

Степь. Вроде что тут красивого? Бесцветная полынь, заросли молочая да колючки. А вот притягивает и манит, как море. И неповторимый, горьковато-сладкий запах. Нельзя сказать, полынь пахнет, мята или что другое. Пахнет сама степь.

Михайловку Даша не узнала — все новое, непривычное. Старые мазанки, как сироты среди богатых родственников.

— Братику, я же тут ничего не признаю. Господи, да что это? — заволновалась она.

Отец вел машину медленно. Здесь для него не существовало времени. Казалось, через много лет он попал в знакомую комнату, давно обжитую другими людьми, заставленную новой мебелью, и старается вспомнить, как же раньше все было, что и где здесь стояло.

— Да вот же она! — закричала Даша и, не дождавшись, пока остановится машина, стала дергать никелированную ручку, пытаясь открыть дверь.— Братику, остановись! — взволнованно вскрикивала она.— Ведь то наша хата.

Отец затормозил. Даша бросилась к палисаднику и остановилась растерянно, беспомощно оглянулась по сторонам.

— А может, и не наша. Наша как будто не так стояла.

Отец подошел, долго стоял рядом, молчал, хмурил лоб.

— Нет, я помню, хата наша на углу, а дальше, слева, кладбище должно быть...— сказал наконец уверенно, махнул рукой и медленно пошел вдоль улицы, вглядываясь в какие-то только ему понятные приметы. У калитки углового, чуть вытянутого приземистого домика он резко обернулся, замахал нам рукой.

— Даша, вот она! Узнал! Даша! Стены наши так и остались.— У отца было какое-то очень мягкое, нежно-радостное выражение лица. Такие лица бывают у родителей, когда они после разлуки встречают детей.— Крыша новая, у нас соломенная была, наличники другие. А сада, смотрите, совсем нет. Одна груша — вон у порога — и та высохла. А какой сад был!

Отец торопливо завернул за угол, в проулок, где за крайним домом виднелся пологий спуск, покрытый уже выгоревшей за лето буровато-серой, почти пепельной травой.

— Вон и толока — коров туда гоняли на выпас. А левее кладбище должно быть. Только его отсюда плохо видно за деревьями. Зимой темнеет рано, возвращаешься из школы, другой дороги здесь нет, понаслушаешься еще, как мертвецы в белом из могил встают, прямо скулы от страха сводило.

Но я не слышал отца. Вот она какая, толока!

...Припухшие, с синеватыми прожилками руки бессильно лежат поверх толстого стеганого одеяла. Дедушка. Заострилось лицо, набухли лиловые мешки под глазами. Он болен. Во сне он что-то говорит, быстро, взахлеб, до кашля. Со стоном замолчит и снова. Дедушка бредит. Ранней весной он ходит босиком по толоке, мягкая зеленая трава щекотно покалывает ноги. Старая груша стоит в цвету у самого порога родной хаты. Мальчонкой еще полез сюда за медом и застрял в узком дупле. Пчелы жалят больно, рука опухла, совсем не вытащишь. Не выдержал, закричал во весь голос, заплакал. Большие

отцовские ноги больно сдавили ребра: «Меда захотел? Вот тебе мед, вот тебе...»

Но почему так пахнет степью? Чуть сладковатый запах чабреца — родной, близкий, последний в этой жизни.

...Как в забытьи бродит отец по селу, хмурится, не узнавая старых улиц, радостно улыбается, найдя чью-нибудь знакомую хатку.

— Ты смотри! — почти кричит он, останавливаясь около покосившейся халупы, давно не беленной и похожей больше на разваливающийся сарай, чем на дом, где могли жить люди.— Ведь это Гыкова хата! Друг мой Гык здесь жил. Вместе росли, в школу ходили. Значит, стоит еще...

Даша подошла к родной хате, обошла ее кругом, долго стояла молча, потом шагнула, быстро погладила стену рукой и расплакалась.

— Наша хата. Теперь и я тебя признала. Привелось все ж таки увидеть.

А на улице у нашей машины понемногу собирались люди. Из соседнего с «отцовским» дома шумно провожали приехавших с утра из Днепропетровска гостей. Пропылила серая «Волга», лихо развернулась у забора, начались поцелуи, прощальное: «Так вы ж не забывайте нас, как там свободное время выдастся, и приезжайте».

Уехали гости, а хозяева увидели на улице чью-то машину с нездешним номером и подошли узнать, к кому это приехали. Может, к знакомым кто? Подошли несколько старушек из тех, которые, как начинает спадать дневная жара, выходят посидеть на скамеечках, в тени у забора, полущить семечки, обсудить с соседками события дня.

— Вы не знаете, хто это приехал? Жили когда-то здесь? А хвамилию их не знаете? Да вот он сам идет. Вот тот? Знакомое что-то лицо.

Отец подошел к людям, поздоровался, ему ответили вразнобой, потом неловко замолчали. Отец повернулся к старушкам и неожиданно спросил глуховатым голосом:

— Вы меня не помните?

— А вы хто будете?

— Да вот здесь, на углу, жили. Карандашами нас прозывали. Не помните?

— Карандаши? — Старушки заговорили все разом.— Это не Мыколы Опанасовича, учителя, сынок? А чего ж, помним.

Люди все подходили. Даже неудобно было чувствовать на себе столько взглядов. Несколько старушек исчезли куда-то, но скоро вернулись, принаряженные, в праздничных платках. Женщина, что жила в «отцовской» хате, сбегала к себе, нарезала прямо с клумбы георгинов. Подошла к Даше, протянула букет, хотела что-то сказать и смутилась, прижалась к забору, смахнула набежавшую слезу. Отец стоял среди людей как именинник и улыбался по-детски, ласково и беззащитно. Даша плакала тихонько. А люди все говорили, торопливо, наперебой, одни с радостной улыбкой, другие со слезами вспоминали то, что прошло и никогда уже не вернется. Вдруг отец шагнул к забору соседнего дома, вглядываясь в глубину двора.

— Тут не Ганна живет? — ухватился за забор руками, вперед подался. Говорит торопливо, словно потерять что-то боится.— Я же помню, здесь она жила. Мальчишкой на свадьбе у нее гулял. Из церкви они на тройках возвращались, а на дороге костер огромный разожгли. Так они прямо через огонь: лошади храпят, ленты на дугах развеваются.

Люди замолчали.

— Так, может, позвать Ганну? — спросил кто-то.

— Нет, нет, не надо,— быстро повернулся отец.— Зачем человека от дел отрывать?

— Да чего там! Она зараз придет.

— Да нет, что вы, это я так, вспомнилось.— Отец отошел от забора.

Тут люди не выдержали, засмеялись, зашумели, подталкивая вперед упирающуюся старушку.

— Вот же она, Ганна!

Дряблое старческое лицо, запавший рот, смущенная улыбка одними губами, пальцы неловко теребят смятый носовой платок.

— А вы не узнали?

Отец отступил на шаг, попытался улыбнуться:

— Не узнал,— и полез за сигаретами.

Но пора было ехать. Стали прощаться.

— Та подождите! У меня такие яблочки хорошие, покушаете в дороге,— торопливо заговорила какая-то женщина.

— И то, пирожки сегодня пекла, гости вот только уехали,— спохватился еще кто-то,— с вишней, с яблоками. Подождите, я туточки живу.

— Да что это Мотя побежала? У нее яблоки мелкие, а у меня налив,— заволновалась другая женщина.

Прощаясь, старушки даже всплакнули.

— Ты глянь, не забывают люди. С самой Москвы приехали на батьковщину посмотреть.

Снова машина подскакивает на колдобинах, по сторонам дороги мелькают пыльные тополя. Отец молчит, Даша, вытянувшись, смотрит вперед на дорогу, прижимая к себе букет георгинов.

— А люди, братику, все те же,— вдруг говорит она негромко.— В войну от голода ходили мы на хутора вещи кой-какие на продукты менять. Осень была, холодно, дождь мелкий срывался, ну и заболела я в дороге. Молодая была, слабая. Да так, знаешь, прихватило, чувствую, идти не могу. Постучала в один дом, не выбирала, просто стоял ближе всех. Люди пустили меня, хозяйка побежала по соседям, достала где-то молока, нагрела. Ну, ты представляешь? При немцах часто картошки не было, а тут незнакомым людям молоко. И потом сколько ни приходилось по людям ночевать, так всегда последний кусок хлеба разделят. Свои ж, родные! Так, видно, оно и сейчас.

За поворотом скрылось село, притихла на сиденье Даша.

Что-то родное и знакомое с самого детства поновому открылось для меня — очень большое и важное, может быть, самое важное в жизни.


Публицистика



ВИКТОР ВЕРСТАКОВ

БЕЗ ОТМЕТКИ НА КАЛЕНДАРЕ

I. «Не обещайте деве юной...»

В Афганистан лечу не впервые. Был там сразу после декабрьских событий 1979 года, когда по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) в страну для оказания интернациональной помощи пришли советские воины. Помню, как много тогда возникло вопросов и как мало было ответов. В предновогоднюю ночь мне, еще в Москве, позвонил знакомый десантник: «Про Леню Хабарова слышал?.. Не верю, не может такого быть. Ты перепроверь на месте, лады? Ну, с наступающим. Возвращайся!»

Да, вопросов, а следом, как обычно, и слухов было много. Поэтому, наверно, особо памятна последняя перед командировкой ночь, которую провел в непривычно роскошной интуристовской гостинице одного нашего большого южного города. Военно-почтовый самолет улетал на Кабул рано утром, я записался у дежурной по этажу, напился зеленого чая, включил телевизор. По местной программе показывали фильм о декабристах, в котором звучала песня на слова, как позже узнал, Булата Окуджавы: «Крест деревянный иль чугунный назначен нам в грядущей мгле... Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Это успел записать по слуху в блокнот. Получилась первая афганская запись.

Вспоминаю давнюю ночь потому, что она рассказывает не обо мне, а о настроении любого или почти любого человека, который тогда в военной форме выезжал или улетал в Афганистан. Впереди ждала неизвестность, это в какой-то степени интриговало, но и тревожило. В «почтовике» вовсе не оказалось знакомых между собой людей, да и вообще народу было немного.

Мы сидели на откидных жестких скамейках под брезентовыми носилками, под ногами — пачки газет, обернутые жесткой коричневой бумагой. Между собою почти не говорили, а после границы уткнулись в иллюминаторы. Попался один знающий капитан, объяснил, что черточки и ломаные линии внизу за Амударьей — это дувалы, глиняные ограды вокруг полей. Потом начались горы, и стало жутко: до такой степени они были громадны, безжизненны и симметричны.

Теперь я хотя бы знаю название: мы пролетали над центральным нагорьем Афганистана, горной страной Хазараджат (во многих источниках пишут Хазареджат, разнобой в написании географических названий, имен, всяческих терминов — едва ли не «лакмусова бумажка» литературы именно об Афганистане).

И вот через много месяцев — другой полет, абсолютно не похожий на первый...

В просторном салоне реактивного Ил-76 тускло светят с потолка лампы в приплюснутых, молочного цвета плафонах. Всего минуту назад закрылись в корме грузовые створки, а многие попутчики, тесно сидящие на узких, во всю длину салона скамьях, уже задремали.

Вот откинулся на стеганую обшивку борта, прикрыл глаза плечистый, кудрявый сержант-десантник в голубом, сдвинутом к затылку берете. Поблескивает на его груди полная галерея значков: гвардейский, классности, первой ступени военно-спортивного комплекса, сине-белый парашютик с подвеской числа прыжков, знак отличника Советской Армии. Дремлет авиатор в коричневой кожанке с

косыми молниями на карманах. Рядом сидит майор-общевойсковик, читает журнал «Искатель»; у майора черные усы, в зубах — резная трубка с красноглазым чертом без черепа. Даже не дремлют, а крепко спят двое совсем юных лейтенантов, один опустил голову на упертые в колени руки, другой привалился ему на плечо.

У меня тоже хорошие соседи: вертолетчик капитан Валентин Швыдкий и связист старший лейтенант Анатолий Бачурин. Анатолий возвращается из отпуска, переполнен впечатлениями, не спит и нам не дает, рассказывает:

— ...Свадьбу сыграли — и я в Афганистан. А люди разные. Начали шептать жене: «Любил бы — не уехал». Спасибо, Смирнов, мой здешний командир, разрешил отпуск. В Москве на Казанском билетов нет, хватаю такси, отдаю половину денег, какие с собой были. Приезжаю вечером, жена и смеется и плачет. «Прости,— говорит,— ты устал, но давай сразу поедем к родственникам: пусть знают, что ты меня не бросил». Я тут сам чуть не заплакал, дал таксисту еще денег, он нас повозил по городу: к кому надо — заехали, показались...

Вертолетчик сочувственно кивал, но в очередной раз поднять голову не сумел: тоже уснул.

Даже над Кабулом, когда заходили на посадку, проснулись не все; некоторые насильно разбуженные ветераны поругивались: вполне можно было прихватить еще десяток рулежных минут. И это не спокойствие, а ставшая привычной необходимость беречь до поры силы усыпляла армейский люд в грохочущем над Хазараджатом реактивном самолете нашей военно-транспортной авиации.

2. Долина испытаний

Не первый день, не первый год стоят в горах и долинах Афганистана палаточные городки советских подразделений, выполняющих за Гиндукушем интернациональный долг. Люди в палатках меняются: офицеры уезжают к новым местам службы, поступают в военные академии, солдаты и сержан-

ты, как положено, раз в полгода увольняются в запас; не со всеми теперь здесь встретишься... А лагерные палатки стоят, как стояли, разве что выгорел и еще больше побелел брезент. Впрочем, внутри палаток уже не нары, а койки, временные печки до виртуозности упростились (простота — сестра совершенства), походные неудобства сменились посильным комфортом лагерной жизни.

А все же как хочется домой, как притягивает Родина! И приказывает заместитель командира одного из подразделений майор Вячеслав Жуков, уступая «просьбам трудящихся», наречь походный магазинчик военторга ласковым словом «Березка», а в другом гарнизоне на фанерном заднике ангара рисуется огромное панно: березы, речка, тропинка. Рассказывают, что некий ефрейтор сфотографировался под этими березами, послал карточку домой, невесте, и та в ответе похвалила Афганистан за то, что похож на родную Орловщину.

В лагерях любят петь веселые, а то и шутливые песни, но частенько на вечерних прогулках с особым чувством поют и другое:

Дорога ты для солдата,
родная, русская земля!

...В половине шестого вечера еще заглядывало из-за отрогов в долину кроваво-красное солнце, в шесть на небе осталась только луна — огромная, яркая, словно бы отлитая из серебра. Горы, грунтовая аэродромная полоса, само небо в лунном свете стали пепельно-серыми. Подул ветер, затрепетали мелкой листвой острые тополя за аэродромом. Чуть раньше с кашлем заработал движок, порозовел от электрического света брезент лагерных палаток.

С лунными сумерками лагерь ожил. Задребезжали на скамейках гитары, вышли на линейку патрульные, заторопились с ужином повара. В батальоне ожидалось событие: днем, на приеме у губернатора вийялата (провинции), устроенном в честь мусульманского праздника, Федор Борисович Гладков на смеси английского и пушту договорился с губернатором о взаимообмене фильмами. Афганцам дали видовые документальные о Самарканде и Бухаре, а в батальон привезли коробки с «Седьмой пулей» — со-

ветский же фильм, подаренный кинопрокату Афганистана. В лагере его видели лишь дважды, так что надоесть еще не успел.

Зрители вынесли из палаток и расставили чурбачки, сколоченные из ящиков табуреты, сели потеснее, чтобы не продувал рвущийся из ущелий ветер, закурили.

На улице было довольно светло, киномеханик без всякого фонарика вправил ленту, аппарат застрекотал, луч высветил сшитый из простыней экран, а заодно и уносимые ветром дымы сигарет. Курева было мало, и поэтому как-то сама собой определилась норма: сделал три затяжки — передай товарищу.

На экране сразу начали стрелять, без ненужной волокиты проявилась и любовная линия: восточная девушка полюбила красного командира, а не басмача. Одним словом, фильм увлекательный.

Исполняющий обязанности комбата капитан Николай Демидов — худощавый, немногословный, негромкий — на фильм опоздал, замполит капитан Сергей Музычин, придвинув ему сколоченную из трех досок скамеечку, спросил буднично:

— Дополнительные ставил?

Последнюю неделю лагерь пытались обстреливать с гор, особенно из пещер в километре левее взлетно-посадочной полосы. Вот и сходил Демидов в охранения, приказал наблюдать внимательнее. К финальной части прибежал запыхавшийся Маджид Абдурасулов — переводчик Гладкова, весь вечер пропадавший в соседнем афганском батальоне.

После фильма и ужина поехали с Музычиным проверять охранения. Ехать было недалеко, но долго: лагерь раскинут в котловине, вокруг двух невысоких холмов. Без малого два года назад, в такой же ночной час я приезжал в охранение, которым командовал замполит роты старший лейтенант Музычин. Теперь уже замполит батальона, капитан Музычин сам проверяет охрану лагеря.

Фары «уазика» не включаем: во-первых, лишний свет здесь ни к чему, во-вторых, неплохо работает

луна, а в-третьих, водитель знает вокруг лагеря каждую ямку. Все-таки поневоле едем медленно, объезжая валуны, мелкие окопы стрельбища, горки пустых снарядных гильз.

Музычин приказал остановить машину у очередного поста. Пошли по ходу сообщения, втиснулись в блиндажик, откуда сквозь обложенную камнями амбразуру вели наблюдение двое солдат. В сон их, по их же словам, не тянуло, а вот покурить бы не прочь...

Что может в такой ситуации замполит? Может объяснить, что завтра прилетят вертолеты, и еще, пожалуй, может отдать последние свои сигареты. Музычин так и поступил, мы выбрались из блиндажика и поехали дальше.

Пепельно, безжизненно высятся горы с оспинами пещер, чернеет рощица над близким оврагом, блестят разломами камни, сложенные на обочине взлетно-посадочной полосы, приподняла спаренные стволы зенитная установка на центральной высотке лагеря....

Через час возвращаемся в штабную палатку. На круглой печке рядом с торчащей трубой силится сбросить крышку закипающий чайник. В плетеном самодельном кресле сидит зубной врач Вера Ивановна — она вчера прилетела попутным вертолетом, успела осмотреть личный состав и сейчас жалуется своему «братику», как шутливо зовет его еще с давних пор, Сергею Музычину:

— Пятерым солдатам зубы лечить надо, а они говорят: «Отсюда не полетим, здесь лечите». Ну, как я могу здесь? Ни инструмента, ни кресла...

— Клещи прикажу выдать, а кресло забирай, на котором сидишь.

— Братик, я серьезно. Прикажи им...

Гладков — он вообще-то живет по соседству, сейчас просто зашел на огонек — безмолвно смотрит на лист фольги, по которому бегают багровые змейки — отблески огня из круглой железной печки.

Это изобретение жизнелюба Музычина: повесил фольгу напротив печной дверцы, говорит, что получился камин. Никакого, конечно, камина, а все равно интересно...

Демидов сидит на кровати, положил на колени фанерку, пишет письмо жене. Эпистолярное вдохновение посещает его не часто, и друзья поглядывают на Демидова с удивлением.

— Да я и сам удивляюсь, никогда со мной такого не бывало, пятую страницу добиваю,— заметив особое к себе внимание, говорит Николай.— Меня супруга растрогала. Послушайте, как жалуется на дочку, она в первый класс пошла: «После продленки воротничок на одной нитке болтается, куртку за рукав по земле тащит, в портфеле ни карандашей, ни ручек, тетради разорваны. Рыдаю, ругаю, стираю, глажу, ищу. Садимся за уроки, в десять часов ложимся спать, обе измученные».

Замполтех батальона — кудрявый, с мощными плечами, такой же молодой, если не сказать, юный, как Музычин и Демидов,— капитан Владимир Маковей читает газету

— Нет, я таких фотографий не понимаю: «молодой механизатор». Во-первых, он не молодой, а старый, у меня дед моложе выглядит. Во-вторых, это вообще не механизатор, а жертва озимого поля. Зря ржете, товарищи, я знаю, что говорю: сам на целине родился, в семье первоцелинников. Отец там тридцать два года отработал, вместе с дедом первый урожай убирали. Это же красивые люди!.. А вот нормально: на ЧТЗ реконструкция, так держать.

— Володя, может, ты и в Челябинске тоже рождался? — заулыбалась Вера Ивановна.

— В Челябинске я, товарищ доктор, делал первый шаг к академии: в политехническом институте учился.

— А с академией у тебя, зампотех, какие дела? — позевывая, спрашивает Музычин.

— Дела такие, что я нынче интеграл от дифференциала не отличу, но запросто натаскаюсь, лишь бы приказ был и на экзамены отпустили. А вообще-то устал я, братцы. Вот просвистит зима — сразу в очередной отпуск иду. Борисычу хорошо: через пару месяцев гоголем будет по Арбату гулять.

Гладков не отвечает на иронию, не простившись, уходит. Маковей удивленно пожимает плечами:

— Борода сегодня смурной что-то. А я только-только хотел его повеселить, рассказать, как в прошлом отпуске в Москве побывал. Путевку мне на отпуск дали, семейную. На юг не просил — хватит с меня и здесь юга, поехали к столице поближе, в санаторий «Подмосковье». А в самой Москве я ни разу по-настоящему не бывал, только проездом. Сели с женой в электричку. Красную площадь легко разыскали. Надолго запомнилась мне эта поездка. Хорошо в Москве, но столько ходил по улицам, устал...

Федор Борисович вернулся минут через пять, принес Демидову сверток — брал накануне кроссовки, когда с афганцами в волейбол играли.

— Зачем, Борисыч? Завтра бы и отдал. Нет, вижу, что надо мне утром с тобой лететь, рацию помощнее возьму — лады?

— Ты за комбата, тебе и решать,— уходя, буркнул Гладков.

Ушла и Вера Ивановна, взяв с «братика» и Демидова обещание отправить все же солдат на лечение. Легли, потушили свет. Печка в тишине загудела словно бы громче, быстрее и тревожней заплясали красные блики по фольге.

Музычин ощупью взял с кресла фонарик, осветил фотографию своего двухмесячного ребенка.

— Вернусь — дите на колени, жену под плечико. Буду наслаждаться семейной жизнью.

Видимо, это было продолжением какого-то неоконченного разговора, потому что Маковей неожиданно взорвался:

— Нет, Сергей, нам теперь чувство справедливости жить спокойно не даст! Ради чего мы здесь? Ради твоего будущего спокойствия? Я после Афганистана за всех отвечаю. Понял? За всех!

Музычин выдержал долгую паузу, ответил буднично:

— А вот со мной в отпуске был случай. Иду по родному городу, совершенно, понимаешь, спокойный. А тут на автобусной остановке двое типов к девчушке пристают, руки уже выламывают. Мужики здоровенные рядом стоят, отворачиваются, будто не видят. Ну, я подошел, коротко так с этими двумя

побеседовал. Девочку в автобус посадил, отправил. Правильно я поступил?

— Неправильно,— попытался сгладить ситуацию Демидов.— Если девушка ничего себе, надо было познакомиться, проводить до дому.

— Я тоже думаю, что неправильно,— серьезно подытожил Музычин.— Кулаками никаких проблем не решишь...

— Ты все-таки хорошо с этими типами поговорил? — задумчиво спросил Маковей.

— Умеренно.

— Это потому, что ты зарядку перед отпуском не делал, я помню. Завтра в шесть утра подниму, тренировать буду.

В шестом часу нас разбудил не Маковей, а гул вертолетных двигателей. Пока оделись, добежали до полосы, лопасти двух «ми-восьмых» уже остановились, экипажи вышли перекурить. Мне тоже разрешили лететь, торопливо записываю в блокнот фамилии первого экипажа: командир — капитан Виктор Мокрецов, летчик-штурман — лейтенант Касым Давлеталин, борттехник — старший лейтенант Петр Боровков.

Сверили по картам маршрут, поднялись по откидной лесенке в машину. Уже запустили движки, когда Гладков, спросив что-то у Демидова, прокричал в мою сторону:

— Перейди во второй, не будем скучиваться!

Экипаж ведомого вертолета записывал в полете. Едва успел это сделать: километрах в пятнадцати от лагеря, над сужением долины, вертолеты изменили курс. Пошли было вверх, но долина высокогорная, движки не тянули. Вдруг ведущий резко скользнул вниз, потерялся из виду. Через несколько секунд прервалась связь. (Командир нашего вертолета капитан Василий Степанов позже сказал, что последней фразой в захрипевшем эфире было «пытаюсь сесть», но ни летчик-штурман Владимир Чередник, ни борттехник Виктор Томилов ее не слышали.)

На третьем круге, когда летели метрах в двухстах над землей, сжалось болью сердце: пятнисто-

зеленая, краснозвездная тушка родного вертолета лежала на правом боку в глубоком, кривом и узком ущелье, сплошь усыпанном огромными валунами. Сесть рядом было невозможно.

Больше часа, пока не замигала тревожная лампочка топлива, а главное, пока не пристроилась в хвост пара свежих, вызванных с базы вертолетов, водил над ущельем свою машину капитан Степанов, затем повернул к лагерю. В салон с разбегу загрузились десантники, десять человек. Старший десятки Сергей Музычин отчаянно кричит, превозмогая рев двигателей:

— Они живы? Живы или нет?!

Вертолет снова взлетает. Да, в ущелье сесть невозможно, а над ущельем крутые холмы, но надо выбросить группу Музычина ближе, как можно ближе к упавшему вертолету. Командир ведет машину прямо на склон ближайшего холма, резко гасит скорость. Это не посадка, это удар, падение. Вертолет катится по склону вниз, все ближе к земле опускаются лопасти. Борттехник Виктор Томилов выбрасывается из двери, хватает огромный валун, успевает подтащить его под колесо. Вертолет наклоняется, разворачивается, останавливается. Лопасти вспарывают воздух в двадцати сантиметрах от грунта.

Музычин выпрыгивает первым, за ним — радист, за радистом — Маджид Абдурасулов.

На последних литрах топлива вертолет Степанова возвращается в лагерь. Здесь над палатками, на холме уже стоит раскладной стол с картой, возле стола сгорбился радист, сидят на табуретках из ящиков офицеры, ходит, часто смотрит в небо, пытаясь сдержать слезы, Вера Ивановна.

Пока Степанов высаживал десантников, Демидов из упавшего вертолета сумел пробиться по своей рации в эфир, но почти сразу связь снова прервалась: горы, проклятые горы! Несколько секунд слышен доклад Музычина: группа продвигается к ущелью, скоро начнет спуск...

Владимир Маковей мечется от рации к короткой колонне машин, выстроившихся на лагерной дороге. Нет, техника напрямик по единственной горной тропе не пройдет, вся надежда на группу Музычина. Загудел в небе еще один вертолет, вышел в эфир Демидов: группы соединились, начинают подъем из ущелья, в упавшем вертолете погиб Гладков...

...Федор Борисович, мы мечтали с тобой, как встретимся зимой в твоем Лаврушинском переулке, как поднимем стаканы за тех, кто в Афганистане. Федор Борисович, я не верю, и все мы, твои друзья, мы не верим. Смотри, как плачет в ночном лагере весельчак Сережка Музычин — он дважды терял сознание в нечеловеческом спуске в твое ущелье. Смотри, как шатается, не может снять с плеч рацию Коля Демидов, как ткнулся лицом в борт боевой машины Володя Маковей — он делал все, что мог, но не все пока может техника...

И снова вечер, снова над лагерными палатками, над затерянной в афганских горах долиной повисла тяжелая, дымчатая луна. Утром взойдет солнце, и как же хочется, чтобы оно светило над спокойной, мирной страной! Ради этого здесь служил и погиб Гладков, ради этого здесь остаются служить наши прекрасные ребята.

3. В небе и на земле

Корреспонденты охотно и много летают, но перед летчиками нередко остаются в долгу. Написал эту фразу и задумался... Авиаконструкторы утверждают, что если самолет красивый, то он полетит. Но слово не самолет. Красивая фраза часто вызывает недоверие, потому что на ее красивость истрачена какая-то часть смысла.

Итак, корреспонденты охотно летают, охотно и много пишут о летчиках, но, к сожалению, мало и редко пишут о тех экипажах, с которыми летают почти постоянно,— редко пишут об авиаторах-транс-

портниках. Чаще их воображение занимают летчики, которых они встречали на земле, с которыми сумели подробно, без тряски и гула движков потолковать о небе.

Больше всех мы, пожалуй, налетали с вертолетчиком капитаном Валентином Швыдким. Правда, сюда включаю и совместное путешествие из Союза в Афганистан на транспортном реактивном самолете, когда мы оба были пассажирами.

Второй раз встретил капитана Швыдкого дней через пять, уже в Афганистане. Надо было спешно лететь на северо-восток, а юркие, непоседливые, как обычно, «ми-восьмые» успели рано утром уйти на юг. К обеду на вертолетной площадке, покрытой громыхающими железными секциями, сутулились лишь два огромных «ми-шестых», бессильно опустивших длинные лопасти ниже кабин. Не верилось почему-то, что эти огрузневшие махины, похожие на подвыпивших запорожских казаков с замоченными и обвисшими усами, оторвутся когда-нибудь от земли. Но командир местных вертолетчиков майор Валерий Беличенко без лишних слов черкнул на страничке моего блокнота их бортовые номера, лихо расписался после слова «разрешаю» и посоветовал не медлить с посадкой.

Грузовой салон «ми-шестого» размерами и акустикой напоминает заброшенное здание. Высоко над головой сходятся стропила-шпангоуты, сквозь распахнутые грузовые створки задувает ветер. В «здании», однако, попахивало бензином: посреди салона стояли железные бочки. Дверь скрывала кабину пилотов, в которой, кроме двух летчиков, помещались еще радист, борттехник и впереди внизу, в стеклянном закутке,— штурман, тот самый Валя Швыдкий.

Командир экипажа — черноволосый, худощавый, очень спокойный майор Виктор Красиёв неторопливо оглядел приборы, надел и расправил черные шевретовые перчатки, задумался о чем-то своем, потом спросил:

— Сколько у нас топлива?.. Чего же тогда ждем?

Мне дали шлемофон и ларинги, слышу в наушниках переговоры Красиёва с ведомым вертолетом и руководителем полетов:

— «Ромашка»... запуск группе.

Очень медленно пошли лопасти, на третьем обороте начали подрагивать и приподниматься, через несколько секунд вместо лопастей замелькали только их тени.

— Контрольная!

Вертолет оторвался от земли, повисел на малой высоте, снова опустился, рванулся вперед по железным секциям. Потом кабина как бы нырнула вниз — это был взлет, уже не контрольный, а настоящий.

— В сторончку отойди,— попросил Красиёв ведомого.

— Добре. Отошел,— согласился ведомый.

Сижу на табуретке между командиром и правым летчиком — молодым насмешливым красавцем лейтенантом Игорем Степновым. («Ты, конечно, Игорек, лучший правый летчик во всех ВВС, но не забывай, что сделал тебя таким твой родной командир»,— говорил Красиёв Степнову, когда я переписывал в блокнот состав экипажа.)

Швыдкий сразу уткнулся в карту, сплошь коричневую. Высовываясь из своего стеклянного закутка, он оказывался на уровне педалей управления, рядом с ботинками летчиков, просунутыми под резиновые ремешки. Красиёв в полете отбросил солидную медлительность — то повернется к радисту, то запросит бортмеханика из грузового салона, потом, отстегнув ларинги, прокричал что-то вниз, Швыдкому. Валентин в ответ заулыбался, стукнул себя кулаком в грудь.

После посадки спросил Валентина: что кричал ему командир?

— Что он маршрут и без карты назубок знает, нечего мне, мол, время терять. «Разберись, кричит, лучше со своими бумагами». Я ведь секретарь партийной организации, бумаг действительно много скопилось.

— ...Все перевозим да перевозим, а к нам никто не заглянет, никто про нас не напишет.

Грустную эту жалобу высказал при прощании другой мой небесный знакомый — капитан Анатолий

Мозговой, командир экипажа транспортного самолета «Ан-26». С ним волею случая перелетали дважды и тоже разговаривали лишь наспех — под крылом.

Экипаж Мозгового за три последних месяца сделал не один десяток вылетов. А это много и небезопасно, ведь аэродромы Афганистана не слишком хорошие, над горами трудно лететь — велика турбулентность воздуха, в долинах трудно садиться: долины маленькие, на посадку надо заходить очень круто, а еще ветер-«афганец» задует или вертолеты напылят. Бывают и другие сложности...

Два эпизода из нашего короткого знакомства с Анатолием запомнились особо. Первый — скорее картинка, чем эпизод: зашел при взлете в кабину летчиков, удивился расположению сидений — высоко подняты над узким проходом, удивился непривычным штурвалам — черные, похожие на рога; «труба», на которую они насажены, уходит не вниз, как обычно, а вперед, словно желая кратчайшим путем выдавиться из самолета; у пилотов на головах — огромные левые наушники и плоские правые; из-за всего этого не узнал на командирском сиденье Мозгового. Оказывается, Анатолий в этом полете работал на месте правого летчика — сдавал экзамен командиру отряда на право летать пилотом-инструктором; еще запомнилось, что при взлете Анатолий потянул на себя штурвал и вытащил стальную отшлифованную трубу чуть ли не на полметра.

Второй эпизод произошел немного раньше — при загрузке самолета. Перевозили тогда ящики и нескольких бойцов — строго по списку. Анатолий самолично контролировал погрузку, сличал документы со списком, затем свернул его трубочкой, расставил руки шлагбаумом:

— Кого могу и имею право, всех посадил. Загружены под завязку. Придется, товарищи, подождать, скоро еще борт придет.

К Мозговому протиснулся пожилой прапорщик:

— Сынок, возьми, пожалуйста, моего бойца, ему скоренько в часть надо; там выправит документы и в Союз...

— Не могу, отец. Говорю, перегружены, да и в списке его нет.

— Возьми, командир. После госпиталя парень, каково ему на аэродроме высиживать.

— Ладно, пусть документ покажет — предписание или что там медицина дает...

— Зачем документ, командир? Ты посмотри на его плечо, сразу понятно... Леша, расстегни куртку.

Стоявший за прапорщиком ефрейтор смутился, неловко, одной рукой начал расстегивать хэбэ, под которым забелела повязка. Мозговой быстро шагнул к нему, обнял, повел по трапу, в салоне оглянулся:

— А ты, отец, сам чего стоишь? Бери его вещмешок и бегом на борт. Знаю вашу пехоту: напутают, встретить забудут. Всё, ни одного человека больше, ни единого! — повернулся он к остальным желающим.

При всем том авиаторы самые взыскательные к журналистам люди: не дай бог перепутать в очерке элерон с элевоном! Засмеют, полтора года будут показывать друг другу газетку или журнал: какую муру, мол, печатают, чокнулись совсем. Обиды в общем-то справедливые, но подставляться под насмешку лишний раз не хочется, почему и перехожу от небесных встреч к земным, более подробным и выверенным.

Грохочет, гудит в день учебных полетов военный аэродром. Время от времени за одним из стоящих на краю бетонки афганских истребителей вспыхивает пламя двигателей. Огонь из сопла бьет в стальной закопченный трамплин отбойника, уходит вверх, плавит воздух, в котором искривляются антенные мачты, ангары, близкие заснеженные горы. Крутятся локаторы, снуют автомобили-заправщики, поднимаются и садятся вертолеты. Торопливая, шумная, горячая, а в общем-то обыденная для военных авиаторов жизнь.

...За этим летчиком я «охотился», еще не установив ни его фамилии, ни звания, ничего о нем не зная, потому что этого летчика пока еще не было, но появиться он должен был обязательно. Сутки назад

слышал в штабе, что один из наших транспортных вертолетов совершил вынужденную посадку далеко и высоко в горах, сел почти на вершине в снежный котлован, похожий на кратер вулкана, и после приземления повалился на бок. Экипаж жив, но ситуация сложная: не взлетишь, рядом не сядешь, на сотни километров вокруг — угрюмые, труднодоступные горы. Выслали пешую спасательную группу, но пробивается она медленно: на высоте ветер и тридцатиградусный мороз. Сбрасывать экипажу грузы нельзя: снег на склонах после посадки опасно сдвинулся.

Все же послали пару вертолетов, они долго кружились над вершиной, один даже попытался сесть. Вихрь от лопастей взметнул облако снега, ослепил летчиков — с тем спасатели и улетели.

Вот почему я поспешил из штаба на этот раскинувшийся у подножия гор аэродром. Ведь именно здесь служат товарищи потерпевшего аварию экипажа. Конечно, сесть в котлован невозможно, но разве авиаторы оставят друзей в беде? Стольких афганцев в этих горах выручили, неужели не выручат своих?

Поспешил, но все же чуток опоздал. Приземлившийся десятком минут раньше вертолет пилотировал именно тот, кому удалась-таки рискованная посадка,— подполковник Владимир Павлович Апполонов. Мчавшаяся на моих глазах по взлетной полосе от командно-диспетчерского пункта санитарная машина везла спасенный экипаж вертолета. А невысокий, медленно идущий от вертолета пилот в синем линялом комбинезоне, со шлемофоном в бессильно опущенной руке как раз и был Апполонов.

Догоняю его почти у ангаров, спрашиваю, как удалось сесть в котловане.

— Не знаю. Там невозможна была посадка. Сам не верил, что сяду.— Владимир Павлович слабо улыбнулся: — Простите, сейчас не могу разговаривать, переволновался. Приходите завтра, все расскажу.

Успеваю заметить, что подполковник немолод, лицо широкое, морщинистое, с доброй, видимо, но сейчас неотчетливой, вымученной улыбкой. И все

же за усталостью проглядывает волевая энергия, эмоциональность.

Встретились на следующий день в домике-общежитии летного состава неподалеку от аэродрома. Апполонов лежал на солдатской койке в маленькой комнате, где возле окна едва помещался стол со стулом, а вся остальная площадь была занята железной, обложенной камнями печкой с трубой, раскрашенной под березу. Над кроватью висели вырезанные из бумаги снежинки и детский рисунок акварелью: румяный, в чалме Дед Мороз.

Подполковник листал детектив. Из-под матерчатой выцветшей синей летной куртки выглядывал воротник коричневого свитера, грудь и ноги были укутаны фиолетовым армейским одеялом, выглядывали только ступни в грубых шерстяных носках.

— Не поверите, но простудился впервые в жизни. Ни разу меня доктор от полетов не отстранял. А тут такое дело... Ничего, денек погреюсь и буду как новенький.

Друзья Апполонова уже сообщили мне, что температурящий Палыч все же прибегал утром на вертолетную стоянку, проверил машину и уж только после этого снова отправился хворать.

А вчера в горах он действительно сделал невозможное. Честно говоря, нарушил все инструкции, поэтому не буду расписывать технологию того полета и той посадки (хотя в блокноте она у меня на всякий случай сохранена). Всего одна деталь: двадцать шесть минут вертолет Апполонова стоял на двух точках опоры — острых камнях, и лопасти крутились в полуметре от скалы. Из-за этого полуметра машину приходилось не просто удерживать горизонтально, а даже отклонять назад. Топливо в баке тоже слилось на одну сторону, и приборы показывали «ноль». Вот такой была эта посадка.

— Если напрямик, то я не из храбрецов,— говорит Апполонов.— В горах летать страшновато. Когда в шестидесятом году переучивался с истребителя на вертолетчика, то поначалу старался не напрашиваться на сложные вылеты. Начинал с холмика, с сопки, до настоящих же гор много позже добрался!..

По-разному складываются судьбы профессиональных военных. Иные офицеры проводят всю службу в одном-двух недальних гарнизонах. Правда, таких офицеров меньшинство. Большинство же кочуют по стране, меняют гарнизоны, климатические и часовые пояса, общежития и квартиры, начальников и подчиненных, друзей и недоброжелателей. И самая кочевая судьбина, пожалуй, у вертолетчиков. Особенно у тех, кто, как Апполонов, летает на транспортных машинах. Эти люди, помимо боевой учебы в местах постоянной службы, бороздят небо в разных углах страны, помогая народному хозяйству, выручая население в дни стихийных бедствий. Перелетают они порой и границы дружественных, попросивших помощи стран: там ведь тоже бывают стихийные бедствия, ответственные стройки, сложные ситуации...

На долю Апполонова таких воздушных приключений выпало в избытке. Однажды Владимир Павлович сажал свою машину... на минное поле, больше десятка лет назад много летал в Чехословакии. О тогдашних его полетах военная газета напечатала очерк с примечательным названием: «Бортовой 31 уходит в ночь». Вырезку Апполонов бережно хранит и гордится тем очерком, почти как своими орденами, мне его тоже давал почитать.

Спрашиваю, не жалеет ли, что когда-то пересел с истребителя на вертолет: скорости в винтокрылой авиации поменьше, разлуки подольше.

— Из вертолета я отчетливее вижу мир! Лечу и любуюсь! — оживился Апполонов.— А что касается разлук... Честно скажу: не заметил, как дети выросли. Это наш общий грех, всего военного люда...

Разговор идет многослойный. Владимир Павлович порывается рассказать о сослуживцах — братьях Владимире и Георгии Хачикьянцах, майоре Геннадии Белове. Мне же хочется побольше узнать о самом Владимире Павловиче, о вчерашнем полете, в успех которого накануне мало кто верил. Ухватываюсь за то, что Белов тоже участвовал в полетах — и в первом, когда неудачно пытался сесть сам, и в успешном втором, когда Апполонов взял его в свой экипаж левым летчиком.

Любопытная деталь, кстати. Левое сиденье — место командира, почему же Апполонов его уступил? Но ведь Владимир Павлович — опытнейший летчик, он «вывозит» пилотов после перерывов в их полетах, причем нередко пилотов высокого служебного ранга, которым привычно занимать левое, командирское место. С годами Апполонов обжился на правом сиденье, теперь ему сподручнее летать справа.

Итак, в первом полете машина Белова опускалась в котлован и едва там тоже не повалилась, чудом вырвалась из облака взметенного снега. Попытка подтвердила: сесть невозможно. Интересно, что думал в те минуты, барражируя над котлованом, Апполонов?

— Думал: надо же ребят все-таки вытаскивать! Представлял себя на их месте. Они ведь тоже профессионалы, понимали ситуацию. Продукты, патроны распределили на много дней. Но еще сутки — и лететь за ними на вертолете не было бы смысла: даже если сядешь где-нибудь на склоне, продержишься несколько минут, они все равно не дойдут — сил не останется. И когда я высмотрел те самые два камушка, стал торопить Белова домой — дозаправить машины, чтобы поскорее вернуться.

В рассказе Владимира Павловича меня интересовали не столько технические тонкости, сколько психологическая мотивировка его действий. Ведь иной подвиг можно совершить в состоянии нервного возбуждения, не думая об опасности, может быть, даже не сознавая ее. Владимир Павлович отлично понимал, на что он идет, это был подвиг профессионала. Как же, наверно, трудно решиться на то. о чем знаешь, что сделать это невозможно!..

В местном штабе упомянули при мне о полковнике-летчике, с которым была связана какая-то необычная история. Но предупредили: об этом человеке и об этой истории надо писать очень осторожно. Ему по служебному рангу летать не положено, да и возраст уже не тот. Кроме того, голое изложение фактов может создать впечатление, будто техника у нас на

доисторическом уровне, а дело в другом — так уж сложилась конкретная ситуация...

Интересуюсь: что же все-таки совершил этот высокопредставительный летчик. Помявшись, мне отвечают: «Мост мешками взорвал...»

Дальше уже сработало журналистское везение. Узнав, что в ближайшее время полковника в штабе не будет, я все же не торопился уходить, заглянул к знакомым авиаторам — их многолюдный кабинет был как раз напротив полковничьего. Мы попили по местной традиции чайку, поговорили «за жизнь», а через полчаса на пороге вдруг выросла высоченная, по всему росту одинаково широкая фигура полковника.

— Ага,— сказал он.— Чай пьете, про штабные подвиги рассказываете.

Сказал по-русски, успев, наверно, узнать, что в штаб пришел советский журналист.

Должен, однако, сказать, что свое знание русского полковник поначалу использовал для словесных маневров: мало ли что с кем случается, в печати надо говорить о типичном... Неожиданно помогли хозяева кабинета, которым тоже хотелось послушать Б. Они начали меня убеждать, что историю, факт, слишком раздули. Мост и без помощи мешков упал бы — такой был слабенький мостик...

Полковник на это обиделся и, плюхнувшись в кресло, сказал:

— Ладно, записывайте. А вы, молодежь, слушайте да учитесь.

Излагаю рассказ, как он был записан в блокноте, без всяких комментариев.

«Мы проводили операцию против душманов, дело было на северо-востоке, в горах. Там над рекой стоял длинный мост. Душманы по этому мосту ходят: ни окружить их, ни от базы отрезать. Вызывает меня генерал-лейтенант, руководитель операции: «Надо мост взорвать, а после операции восстановим. Другого выхода нет».— «Есть,— отвечаю,— взорвем».

Посылаю пару вертолетов, они под обстрелом заходят, бросают по две бомбы — прицельно бомбят, рассеивание минимальное, но в полотно моста не

попали. Посылаю еще четверку — та же история. Больше вертолетов нет, да и сумерки уже. Прихожу на командный пункт, генерал-лейтенант спрашивает: «Что с мостом?» — «Завтра займусь,— говорю,— лично». Он головой качает, хмурится. Ну, не станешь же пехоте объяснять, что летчики отработали, как могли, просто дело весьма деликатное. У нашего моста единственная каменная опора посреди реки. От нее к берегам железные рельсы положены, на рельсах доски — если даже попадет бомба, то доски пробьет, и все.

Назавтра так и случилось: посылаю пару за парой, вечером доложили, что попадания есть, а толку ничуть. К генералу не пошел: без меня расскажут, что и как, стыдно лишний раз на глаза показываться.

Утром третьего дня иду к пехотинцам. «Взрывчатка есть?» — «Есть,— отвечают,— два мешка, да зачем вам?» — «А бикфордов шнур?» — «И шнур есть, но вам-то зачем?» — «Трех саперов дадите?» — «Дадим, а для...» — «Пожалуйста, говорю, лишнего не спрашивайте, я к вам еще зайду».

Генерал-лейтенант на меня уже не смотрит. «Когда мост взорвешь?» — «Сегодня,— отвечаю,— взорву. Занимаюсь лично».

Бомбить никого не посылаю, приказываю вертолетам ждать, бегу к пехоте. Там связываем два мешка веревкой, прилаживаем бикфордов шнур, грузим все это в машину, садимся с саперами, мчим к вертолетам, перегружаемся, летим. Попутно еще прикрепляем к мешкам веревку подлиннее, вяжем на ней узлы, чтобы в руках не скользила.

Четверку вертолетов пускаю вперед, и, пока они по берегам работают, подкрадываюсь вдоль русла и над мостом зависаю. Двое бойцов меня за ноги держат, я из вертолетной двери мешки выталкиваю. Вытолкнул, а веревка как заскользит! Еле удержал. Вот, пожалуйста, на пальце шрам, можете посмотреть. Но это еще полбеды: хуже, что в конце концов веревка оборвалась и мешки наши грохнулись. Упали удачно, на мост, прямо около быка, но ведь бикфордов-то мы поджечь не успели!

Летчики ситуацию поняли, кричат из кабины:

— Садимся?!

Спрашиваю лейтенанта-сапера:

— На сколько минут у тебя шнур?

— Минуты на три, может быть, на пять, не больше.

Крутнулись к берегу, сели на гальку, у самой воды. Беру лейтенанта и одного бойца — второй по ближним кустам из автомата лупит, бежим что есть духу к середине моста, перекладываем мешки поудобнее, кричу лейтенанту:

— Поджигай, так твою так!

А он по карманам себя хлопает, глаза круглые: спички у того солдата, который стреляет. Плохо мы еще воспитываем наших лейтенантов, не понравился мне лейтенант этот. Командую:

— Бегом к вертолету, пришлите сюда, который со спичками, я прикрывать буду!

Строчу из автомата по противоположному берегу, там ведь тоже кусты, аллах разберет — может, и оттуда по мне стреляют: грохоту вокруг много. Одновременно пячусь к своему вертолету: годы уже не те, трудновато туда-сюда бегать. Пронесся мимо солдатик со спичками, чиркнул, обратно бежит. У вертолета я его коленом под зад, потом сам запрыгнул, развернулся, сел в двери, ноги свесил. «Взлетайте!» — кричу, а на душе кошки скребут. В чем дело, думаю? Тут вспомнил: автомат разрядить надо, контрольный спуск сделать, чтобы патрон в патроннике не остался. А я из автомата лет двадцать не стрелял. В голове крутится: «под сорок пять градусов, под сорок пять градусов...» Поднял ствол, уже палец на спусковую скобу положил, но осенило: наверху лопасти. Стрельнул вниз, оттуда галька в лицо — вжик! «Так тебе и надо, дураку старому».

Поднялись, отлетели, кружимся в стороне. Три минуты, пять минут, десять — нет никакого взрыва. Спрашиваю бойца:

— Сынок, ты точно поджег? Пальцами чувствовал, когда загорелось?

Божится: все сделал как надо и пальцами чувствовал.

— Если,— говорю,— через две минуты не рванет, летим к мосту, но садиться не будем, обвяжем тебя,

сынок, длинной веревкой и спустим — снова подожжешь.

— Есть! — отвечает.— Сделаю, товарищ полковник.

Готов выполнить приказ, не задумывается даже. А в вертолете, ясное дело, никакой веревки уже нет — ни короткой, ни длинной. Только поговорили с бойцом — ба-бах! Обрадовались, обнимаемся, летим к мосту: стоит, проклятый, как стоял. Да что же он, заколдованный?! Снизились, сбоку зашли — отлегло от сердца: конструкции обломились, рухнули от быка в воду, просто сверху-то кажется, что линия ровной осталась.

Прилетели, пошел я на КП. Генерал-лейтенант хмурый:

— Разве тебе летать разрешается?

— Так точно,— говорю.— При назначении на должность просил разрешения у командующего. Теоретиков у нас много, а практиков маловато. В исключительных случаях летать разрешил.

— Да-а... Так ты самолично бомбу влепил?

— Не было,— отвечаю,— никакой бомбы.— Мешками работали».

Переждав наш смех, полковник шутливо закончил:

— Такие люди, как я, по пословице только в Сибири рождаются...

4. Называют себя «афганцы»

Тяжело дни напролет ходить в мокрых сапогах, урывками спать в «уазике» или вертолете, мерзнуть в окопах сторожевого охранения, поджидать попутной машины или летной погоды, зная, что где-то без тебя происходит самое важное и интересное. Но труднее всего, доехав, долетев, встретившись, снова прощаться. И никто не скажет, на сколько...

А сами встречи бывали порой очень коротки. Листаю блокноты: чья-то фамилия, судьба без фамилии, эпизод без обстоятельств, пейзаж без всякого эпизода, а вот совсем личное, к делу вроде бы

не относящееся, но не случайно же записал именно в тот день, в ту минуту — значит, относится к делу...

...Не курить мне теперь сигареты «Ту-134». Не смогу. Летели долго, сделали несколько запланированных посадок и еще одну, незапланированную, по просьбе летевшего с нами офицера-танкиста. Здесь, в этих глухих местах, недавно прошло наше танковое подразделение. В пути один из танков вышел из строя. Буксировка тяжелой многотонной машины в горах — дело практически невозможное. Командир подразделения приказал экипажу остаться, поджидать ремонтников. Четверо молоденьких ребят в застиранных танковых комбинезонах стоят в глубоком снегу, через силу улыбаются. Забрать бы их сейчас в вертолет, добросить в родной лагерь. Но нельзя, да и сами они, конечно, не согласятся — служба. Спрашиваю, есть ли еда, курево?

— Есть, есть... Спасибо... Все нормально!

— Сигарет, конечно, маловато,— признается командир экипажа, сержант.— Но по паре штук еще осталось.

Отправляясь в этот полет, положил в бушлат две последние пачки «Ту», одну отдаю ребятам, вторую решаю сберечь: бог его знает, сколько еще мотаться, где приземлимся. Торопливо записываю в блокнот фамилии ребят из экипажа: сержант Харчев Виталий, рядовые Мухаметкалиев Оралбек, Шайкамалов Тимур, Шуминов... Имя Шуминова записать не успеваю — уже вовсе раскручиваются лопасти. Ничего о тех ребятах больше не сумел узнать, остались только фамилии в блокноте и зло на себя за то, что сигарет пожалел.

...Открываю дощатую дверь, откидываю брезентовый полог. В проходной комнатке на столе — телефоны и рация, во второй и последней — четыре кровати. Стены задрапированы белой сеткой, на тумбочке в углу стоит маленький телевизор «Юность». Майор Валерий Нестеров, посмеиваясь, рассказывает, как горячился командир полка перед Олимпиадой: собрал связистов и всех разбирающихся в

электронике, произнес речь о славе советского спорта, пообещал отпуск тому, кто наладит телеприем...

Запомнились и фотографии, развешанные по стенам. Вот подполковник Артуш Татевосович Арутюнян стоит у газетного киоска, обняв за плечи двух сыновей, у младшего на голове отцовская форменная фуражка. Рядышком — целая фотогазета: Арутюнян сфотографировался с каждым из своих родственников, а их много.

Над кроватью майора Николая Андреевича Терещенко тоже строго семейные снимки. На одном из них — двое мальчишек в школьной форме, с букетами цветов. Наверняка сыновья. Николая Андреевича видел мельком, спросить не успел.

Нестеров повесил над койкой всего один снимок и одну картину — увеличенную копию этого снимка. А засняты его близнецы Кирилл и Димка, они же для наглядности перерисованы. Розовые, беспомощные, голые — лежат на животиках, прогнулись, демонстрируют новое для себя умение: держать голову.

Родились Кирилл и Димка два года назад, когда их отец уже был в Афганистане. Валерий повидал сыновей однажды в отпуске, а затем получал известия об их подвигах только в письменном виде. В последнем по времени письме жена сообщала о трагической судьбе пианино, к которому близнецы долго не могли подступиться, но затем нашли гвоздь, вставили его в замочек, стукнули молотком, подняли освобожденную крышку и начали лупить молотком по клавишам.

Для ощущения ночи нужна земля. Эта фраза пришла ко мне в ночном вертолете. На аэродром прибежал в последние секунды, когда, сверкая фарами, отъезжали от вертолетов машины, двигатели ревели, гудели и из открытых дверей вырывался включенный в салонах свет. После взлета свет выключили, глаза не сразу привыкли к темноте, и вдруг показалось, что так и надо: мир вокруг есть, был и всегда будет черным, ночи и дня попросту не существует. Лишь через три — пять минут, когда

мы были высоко над горами, глаза начали угадывать землю — она была тяжело-серой. И я ощутил ночь.

Пока в салоне горел свет, успел записать фамилию своего соседа: старший лейтенант Юрий Татаринов исполняет обязанности командира десантной роты. О, это не простая рота. Когда-нибудь о ней сложат поэмы и повести, напишут песни.

Полет чрезвычайный, непредвиденный. Далеко в горах бандиты напали на объект, охраняемый нашими и афганскими солдатами, оттуда успели передать в лагерь, что положение критическое, потом связь прервалась. Командир полка поднял по сигналу личный состав...

Юрий успел при свете назвать мне фамилию своего солдата, которого очень просил упомянуть: рядовой Цолак Синдоян. Цолак однажды в горах повредил ногу, но он остался в строю до конца марша, а потом, подлечившись в госпитале, уже с документами об увольнении по состоянию здоровья в запас всеми правдами и неправдами пробрался в родную роту, продолжает служить, да как!

Пилоты дверь в свою кабину не закрыли — там, как красные угли, светились приборы: впереди, по сторонам, даже на потолке. В салоне на левой стене тоже алела россыпь циферблатов и стрелок — приборная доска бортмеханика. В ее скудном, тревожном, зыбком свечении взгляд различал, а может, только угадывал смутные контуры фигур.

Солдаты невероятно быстро уснули. В этом не было даже намека на равнодушие к судьбам друзей. Мужская солдатская дружба честна и несентиментальна. Не переживания, не волнения, не сочувствие издалека, а только дело подтверждает солдатскую дружбу.

Татаринов зашел к летчикам, прокричал им, что хорошо бы обогнать переднюю пару и приземлиться раньше разведчиков, не обиделся на отказ, потому что просил малореальное, вернулся на сиденье, откинулся головой на бортовую обшивку, залалакал какую-то знакомую мелодию, и мне вдруг стало не по себе.

...Российский маленький городок, пыльные улицы, яблони за заборами, высокая, чуть надменная де-

вочка, которую мы, ее одноклассники, звали то Людой, то Люсей. Все мы были влюблены в нее, а на танцы и после танцев ходили с девочками попроще. Потом был ее день рождения, который справляли у нее дома. Я был среди одноклассников самым молодым, потому что год назад расстарался и сдал экзамены за восьмой класс, перескочив из седьмого сразу в девятый. Еще я занимался спортом, пил только шампанское — очень помалу. И я выпил шампанского, сел в углу на диван, и вдруг она позвала меня танцевать. Магнитофон (мы называли его между собой «бормотографом») играл мелодию, которую через много лет залалакал над ночными афганскими горами Татаринов: «Как это все случилось, в какие вечера?..»

После шел с ней по ночному пустому городу, который, сейчас я это понимаю, и есть Родина. Но в ту же самую ночь я горько плакал и переулками, чтобы никто не видел, возвращался к военному городку, домой. Плакал, потому, что когда поцеловал ее по-настоящему, в губы, она с застенчивой глупостью сказала, что целоваться ее научил мой приятель Мишка, симпатичный трепач, который после школы пошел в медицинский.

Но какое же это было все-таки счастье — останавливаться у каждой водопроводной колонки, придавливать железную рукоятку, подставлять заплаканное лицо под холодную шумную воду! Не верю, что в юности человек глупее, чем в зрелости: я уже тогда понимал, что эти слезы — один из вечных моментов моей жизни, миг ее полноты, слияния с миром...

Вертолет летит над ночью. Здесь, наверху, тоже темно, а все же ночь там, внизу. И в той ночи летящих со мной ребят ждут настоящие испытания, а меня — привычная, немного суетливая работа военного журналиста, который волею судеб чаще всего остается в таких ситуациях чем-то средним между военным и журналистом.

Татаринов все-таки уснул, а мне не спится, повторяю одно и то же: «Как это все случилось, как это все случилось?..» Очень хочется заплакать, как когда-то, но уже разучился.

Далеко внизу вспыхивают и гаснут фонарики, разреженным пунктиром вычерчивают наш путь костры. Чужие горы, чужие огни...

Отчего-то неловко сознаваться, но врать тоже не хочется: те немногие недели, которые провел среди наших солдат и офицеров в Афганистане, вспоминаются сегодня как самые счастливые в жизни. Возможно, это не слишком точное слово — счастливые. Надо бы сказать: насыщенные, памятные, волнующие. Нет, не надо. Счастливые.

Отлично понимаю, что испытания, выпадающие бойцам, несравнимы с испытаниями, выпадающими на долю журналистов. И все же есть у меня еще одно счастье — причастность, пусть косвенная, к нашим воинам-интернационалистам, к «афганцам», как они себя называют.

В январе 1980 года мы разминулись с Леонидом Хабаровым всего на час-полтора. Московские слухи о нем оказались преувеличенными.

Хабарова в Афганистане знали многие: «Рыжебородый такой капитан, он на Саланге сидит...» Саланг тоже знали многие, да и как не знать этот высокогорный перевал на важнейшей дороге Кабул — Ширхан с многокилометровыми тоннелями и галереями! Его и охранял вместе с афганскими подразделениями батальон Хабарова. Снег, холод, ветер, разреженный воздух... Однажды я встретил машину, которая везла на перевал хлеб, передал Хабарову через командира взвода обеспечения прапорщика Валерия Бауэра московские приветы. Хотелось и самому на Саланг, но были какие-то неотложные дела, а потом подвернулся самолет в далекий труднодоступный район.

Когда через полгода свиделись в Москве, правая рука Хабарова была помещена в какую-то немыслимую железную конструкцию. Беда случилась уже после Саланга, когда батальон выдвигался по ущелью и его обстреляли душманы. Первая пуля, попавшая в Хабарова, была разрывной, вторая — обычной, обе ударили в одну руку, раздробили кость.

Больше года провел в госпиталях Леонид, перенес десять сложнейших операций. Ему предлагали инвалидность — отказался, предлагали спокойную штабную работу — отказался. Сейчас Хабаров — командир части, заочно учится в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Мы встречаемся, когда он приезжает в Москву на экзамены или на сборы, любим вспоминать, как торопился посланный им с Саланга за мной бронетранспортер, пока я, такой-сякой, смывался на самолете...

В одной из центральных газет прочитал письмо-наставление школьникам к новому учебному году, подписанное «гвардии майор В. Манюта». Так это же Володя Манюта, тоже десантник, с которым встречался в первые афганские дни и разминулся через год: он уехал сдавать экзамены в военную академию, а я приехал в его батальон, в ту долину, где навечно прощался с Гладковым... О Федоре Борисовиче Гладкове, о последних часах его героической жизни я в меру возможного уже писал. Не упомянул тогда его родословную: он внук известного советского писателя Федора Гладкова, сын фронтовика, капитана I ранга в отставке Бориса Федоровича Гладкова, встретившего Великую Отечественную войну командиром торпедного катера на Черном море. У отца — восемнадцать боевых наград за мужество в борьбе с фашизмом, у сына — два ордена за мужество в выполнении интернационального долга.

Борис Федорович разыскал меня после той первой публикации, мы долго и откровенно говорили о солдатских судьбах, о великой цене, которой достигается мир в этом непростом мире, о памяти. Священна память героев прошлого, но не должны оставаться безвестными и подвиги их сыновей.

И снова встречи, снова воспоминания...

В коридорах ГУКа — Главного управления кадров Министерства обороны — столкнулся с Женей Скобелевым. Солидный, представительный, с новой звездой на погонах. Да полно, с ним ли накручивали десятки горных километров в боевой разведывательной машине, множество раз взлетали на вертолете в тревожное афганское небо, до рассвета говорили о семьях, о друзьях, о любви?

Недавно ездил в учебный центр Военной академии имени М. В. Фрунзе, где в офицерской гостинице каждый год собираются на традиционную встречу слушатели академии, служившие в Афганистане.

Был воскресный, хороший солнечный день. С первого этажа гостиницы доносился перестук бильярдных шаров, на кухне чадила пережаренная и уже отправленная в мусорное ведро картошка, мы отсиживали за столом, напоминавшим по богатству сервировки студенческий. Конечно, были рады вновь увидеть друг друга или познакомиться, если ни там, за южной границей, ни здесь, на Родине, пока еще не встречались. И, конечно, грустили, потому что не все дорогие друзья собрались за нашим столом.

В одну из таких грустных, тихих минут уединились в дальнем углу с Александром Цыгановым — ныне заместителем командира полка, слушателем-заочником академии, а в начальные афганские дни командовавшим парашютно-десантным батальоном. В Афганистане мы мельком встретились, даже куда-то вместе выезжали, но не запомнили друг друга в лицо, и теперь с некоторым удивлением восстанавливали в памяти, как пересекались на афганской земле наши дорожки, а мы-то думали, что знакомы лишь через общих друзей. Стали перечислять общих, и на одном имени я споткнулся, вздрогнул:

— Саша, а ведь он говорил, что ты...

— А я, как видишь, цел и невредим. Хотя и сам еще не всегда в это верю.

Тем временем снова загремел магнитофон, и мы с Александром вышли на улицу — договорить, проветриться. Обогнули здание гостиницы, увидели бредущую по аккуратной зеленой травке корову с теленочком.

— Мой маршрут,— с усмешкой сказал Цыганов.

— Когда проложил?

— После госпиталя...

О Цыганове хочется говорить подробно и много. Он из тех людей, кто своими руками делает и свою собственную жизнь и нашу общую историю. Человек действия. Но действие само по себе не всесильно. Еще нужна любовь — к жизни, к родной стране, к людям. Обязательно нужна любовь.

Мы, журналисты, пишем. Это наша профессия. Нам тоже иногда пишут — по следам публикаций. В моей «афганской» папке читательских откликов добрая треть рассказывает именно о любви, о любимых людях.

«Вы писали о вертолетчиках, и он тоже вертолетчик. Может, вы видели его?» Так начинается письмо от Ольги Н., молодой учительницы с Дальнего Востока. Честно говоря, я его перечитываю, когда мне и самому бывает трудно. А ведь ничего особенного: четыре листка в клеточку со строчками про любовь.

«Вначале я ждала: он скоро приедет. Потом закралось сомнение — нужна ли я ему? Для такого сомнения было много оснований. Я сейчас вам все расскажу, потому что больше мне некуда обратиться.

Мы познакомились в прошлом году. Я училась на последнем курсе педагогического института. Одиннадцатого ноября ехали с подругой в автобусе. В центре зашли два офицера-летчика. Один — в кожаной куртке, другой — в длинной шинели, высокий, совсем еще молоденький, глаза сияют. Он спросил: «Как нам доехать до Большого аэродрома?» А это как раз наш район, где мы жили. «Вместе поедем»,— сказала я и встретилась с его глазами. Ребята сели позади нас. Автобус, почти пустой, мчался в темноте.

Мы с подругой смеялись, громко разговаривали; они тоже говорили о чем-то своем, но мне уже было ясно, я затылком чувствовала, что мы уже связаны. Вышли на остановке, вместе пошли от автобуса. Познакомились. Под ногами был белый пушистый снег. Мы еще катались. Извините, я увлеклась.

В общем, мы были знакомы два вечера, ночь и утро...»

Читая письмо Ольги впервые, я на этих строчках не споткнулся и не остановился. Сейчас остановлюсь. Любовь или есть, или ее нет. Когда ее нет, о ней говорят осторожно, подробно описывают пробуждение и развитие, трясутся над тем, чтобы не показалась она кому-нибудь быстротечным романом. Когда любовь есть, о ней или вообще не говорят, или говорят откровенно.

«В первый вечер он сказал — они здесь на сборах, временно. А потом разъедутся по разным местам, его самого скорее всего направят под Б. Я обрадовалась: ведь в Б. живут мои родители, значит, мы будем рядом.

А на следующий вечер он сказал: «Ты знаешь, Шуру (его друга) отправляют в Б., а меня — Вафган». Он так это и сказал — слитно. Я не поняла, где этот «Вафган», переспросила, но еще раньше, чем он произнес, догадалась: Афганистан... Странно, ведь я Виктора почти не знала, но уже чувствовала, что он самый близкий человек. До сих пор я не задумывалась о том, что происходит в Афганистане. Слышала, знала, но не понимала. А тут я вдруг все-все поняла...»

И опять должен признаться, что при первом чтении Ольгиного письма эти строчки я не выделил, не остановился на них. Но ведь трудно поверить, что Ольга после месяцев незаинтересованности и, наверно, даже равнодушия к далеким событиям вдруг поняла в них «все-все» за несколько секунд! Нужна человеческая и гражданская зрелость, чтобы переживать события, в которых участвует твоя страна, так, словно ты участвуешь в них лично. Но до зрелости — долгий и трудный путь. Сократить его может только любовь.

«А утром он ушел. Если бы вы видели, как он изменился: повзрослел лет на пять. Он так старался быть мужественным. И не жаловался. Ничего не говорил, не обещал, не спрашивал, буду ли я его ждать. А когда я сама спросила: «Почему ты не говоришь мне, что хочешь, чтобы я тебя ждала?» — он усмехнулся. Наверное, не верил, что такое может быть, не хотел обмануться или разочароваться. А может, не хотел связывать меня обещаниями...

Так это или нет, но он улетел неожиданно, не успев забежать перед вылетом, только записку прислал с Шурой. Там были слова: «Обещают отпуск сразу, тогда буду». Вот и думай, когда это — сразу. Я ждала все это время. А теперь я уехала из города, где мы встретились, и он не знает моего адреса. Я все боюсь: он приедет, а меня там нет. Есть подруга, но она вот-вот уедет по распределению».

Дальше в письме — фамилия, воинское звание, наименование летного училища, которое окончил Виктор, новый адрес Ольги.

«Я сейчас буду работать учительницей в селе. Если бы вы знали, сколько сил прибавится, если я буду знать, что он приедет! Я готова ждать, сколько надо. Простите за такое длинное и нескладное письмо.

А если вы увидите его, передайте, что я никогда его не забывала и жду... Витя, милый мой мальчик, приезжай!»

Не знаю отчего, но, перечитывая эти последние строки, я каждый раз едва сдерживаю слезы.

И еще одно письмо — солдатское — хочу коротко процитировать. Его прислали за неделю до своего планового увольнения из армии и возвращения на Родину старшие сержанты Николай Михнов и Юра Никитин: «Обязательно приезжайте на встречу. Она будет у Михаила Кухарчика, бывшего нашего комсорга, адрес вы знаете...»

Обнимутся, вспомнят боевых друзей, потом возьмут, наверно, гитару и споют нашу, «афганскую»:

В декабре есть еще одна дата
без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата,
на кабульском чужом дворе...

ЕЛЕНА ВОРОНЦОВА

СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ

НЕПРИДУМАННАЯ ПОВЕСТЬ

I. Счастливые родители

Когда у Александра Ивановича Градусова родился сын, на строительстве завода «Рассвет», где он работал сварщиком, много смеялись — человеку уже тридцать пять, а он никак не может опомниться, угощает всех подряд и без конца повторяет:

— Прошла молодость. Включился часовой механизм, который будет отсчитывать мои годы.

Ему объясняли, что к этому быстро привыкаешь. Он верил, но привыкнуть не мог. На девятый день жизни сына взял топор, пошел в парк и на большом поваленном дереве крупными буквами вдоль всего ствола вырубил его имя с восклицательным знаком: ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАДУСОВ! Конечно, лучше бы это выглядело на скале, но дело происходило в Москве, где никаких скал нет.

С тех пор минуло шестнадцать лет. Завод «Рассвет» был давно построен. Сын уже учился в десятом классе. Но удивление от того, что на свете есть Дмитрий Александрович Градусов, у отца не проходило. Где бы ни приходилось за эти годы трудиться, он начинал с того, что на рабочем месте вешал фо-

тографию сына, а под ней крупными буквами писал: ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАДУСОВ.

Так было и здесь, в самом центре Москвы, в Дегтярном переулке, куда Александр Иванович, помотавшись по разным организациям, перешел на эксплуатацию жилого фонда. На двери подсобки, рядом со схемой пожарной эвакуации, висел портрет крупного широкоплечего парня со спортивной сумкой на плече. Тем, кто видел портрет впервые, Александр Иванович сообщал:

— Мое чадо. Не курит, не пьет, не хулиганит.

Некоторым казалось, что сын на него похож. Но они ошибались. Лицом мальчик уродился в маму, а характером вообще неизвестно в кого. Только для настоящего отца это не имеет ровно никакого значения. Дело родителей вырастить человека и привить ему любовь к труду, а остальное приложится.

Чем старше становился сын, тем больше любил поговорить о нем Александр Иванович. К концу дня в подсобке собирались товарищи. На столе расстилалась газета, выкладывались плавленые сырки в серебряных бумажках, кто-то, похлопав себя по карманам, выкидывал на край непочатую пачку «Беломора». Послушав обычную пластинку — о начальнике АХО, о пошатнувшемся здоровье, о женском поле, который сейчас думает только о себе,— Александр Иванович поднимался с места и широким взмахом руки обращал внимание собравшихся на фото:

— Мое чадо!

— Не курит, не пьет, не хулиганит и в школу регулярно ходит,— вяло добавлял кто-нибудь.

Обижаться на это не стоило. Товарищи шутили по привычке, а в целом воспринимали правильно. Хороший сын ни у кого не может вызвать дурную зависть, во всяком случае, в мужской компании.

— Оно уже материально себя обеспечивает, не то что ваши! — продолжал Александр Иванович.

В каникулы его чадо заработало триста пятьдесят рублей и купило себе пальто, костюм, ботинки.

— Его уже по телевизору показывали!

Сам он той передачи не видел, пропустил и в первый раз, и когда повторяли, засиделся на радостях в подсобке, а теперь чувствовал себя перед сыном немного виноватым. И товарищи это тоже понимали. Помнить себя в радости еще труднее, чем в горе.

— Как отец я ему благодарен,— растроганный, он уже не мог больше говорить, опускался на стул и начинал вдавливать папиросу в серебряную бумажку из-под сырка.

По словам всех, кто его знал, Александр Иванович обладал легким характером. Его жену Клавдию Васильевну тоже все считали легким человеком. Хотя ей уже шел сорок третий год, она могла неплохо спеть под гармошку и просто так, под «ля-ля» подруг. Многие из ее подруг были разведенками. Давно отбившись от семейной жизни, они очень интересовались, как ей до сих пор удается тянуть эту лямку. Может, дело в том, что муж у нее тоже веселый?

— Был когда-то,— грубовато-весело отвечала она.

А если позволяла обстановка, то вместо ответа затягивала песню: «Ромашки спрятались, поникли лютики...»

Она работала медсестрой в больнице. По ночам, когда затихали пустые, оголенные электрическим светом коридоры, медсестры, оставив кого-нибудь на посту около стола с телефоном и таблетками, уходили в подсобку. Здесь, подальше от глаз пожарника, у них хранился кипятильник. Из шкафчика вынимались чашки. Начинались разговоры. О преждевременных сединах и морщинах, о торговой сети, о мужиках, которые сейчас думают только о себе, о счастье, которого все равно ждешь, о детях... С детьми многим не везло, поэтому Клаве, особенно с тех пор, как ее сына показали по телевизору, завидовали. Впрочем, ее парня знали и раньше. Он иногда заходил к матери в отделение и всякий раз не пустой, с какими-нибудь сумками. Мальчик знал, что, где и почем можно купить, дома все делал самостоятельно, даже солил огурцы и капусту. На мать он покрикивал, но так, что видно

было — сочувствует, заботится. Легким натурам всегда везет на внимание.

— Твой Димка просто золото,— говорили Клаве.

— Самоварное,— смеялась она.

В шутку она давно прозвала сына «бабка старая». Это прозвище в отделении прижилось, и у парня хватало ума на него не обижаться.

— Вот как надо любить мать,— вздыхали медсестры.— Если бы все такими росли! Кому попадется, счастливая будет.

Клава продолжала отшучиваться:

— Берите в зятья. Я не возражаю. Я ему теперь говорю: «Тебе, Дмитрий Александрович, все дороги открыты. Закончишь десятый класс — и на север, на юг, куда хочешь, туда и иди». А мы свое отжили. Помирать пора! — она расправляла затекшие ноги в новых замшевых сапожках на «манной каше».

Ночь подходила к концу. Начинали стукать двери палат, в коридор выползали взлохмаченные женские фигуры в больничных халатах, появлялись первые родственники с апельсинами, банками с тертой морковкой, домашним супчиком. Родственников надо было прятать до обхода в подсобке, потом вручать им тазы с хлоркой и ведра — санитарок в отделении не хватало,— раздавать лекарства, делать уколы, заполнять журнал с назначениями...

Писать Клава не любила. Присев у окна, она смотрела на темное ноябрьское утро в больничном садике, думала о том, как сегодня отоспится после ночи и, может быть, даже сбегает в парикмахерскую, а завтра обязательно в «Ткани». Там обещали индийский ситец, и для занавесок надо посмотреть. Димка велел не тянуть с ремонтом. Ему уже шестнадцать лет, хочет жить по-человечески. Шестнадцать было когда-то и ей. Жила тогда в деревне, место низкое, кругом лес. Весной зальет, и сидишь, как на острове. А мечталось чего-то.

За этим «чего-то» двадцать лет назад Клава уехала в Москву, повстречала на строительстве Александра Ивановича — он был такой представительный,— выскочила замуж, помыкалась по разным местам, наконец закончила курсы и теперь сидит здесь, в больнице. А чего хорошего? Годы ушли, сын вы-

рос. Парень он, правда, заботливый, хозяйственный, но зануда, каких свет не видывал. Она улыбалась. В душе Клавдия Васильевна, конечно, считала себя счастливой матерью, но, как муж, демонстрировать это всем и каждому не хотела. Разве люди могут понять, как этот сын ей достался?

2. На чистый воздух

Сначала все складывалось хорошо. Парень у Клавы родился крупный, хорошо развитой. Роды были нетяжелые. На улице стояла отличная погода, начало июня. В больничном коридоре щебетали младенцы. Между кормежками палата развлекалась записками отцов. «Твои бигуди опять не нашел,— читала Клава,— вместо них посылаю веник, кажется, из сирени. Или, может, это черемуха? Посмотри и разберись...» Представляя, как гудят на воле их мужья, женщины легко, без раздражения смеялись, а потом так же легко начинали всхлипывать. Когда же их выпишут? Мужики празднуют, а они тут торчат!

Выписавшись из роддома, Клава решила поехать с парнем к своей матери в деревню — на парное молоко. Ехать туда было час пятнадцать минут на электричке, потом с десяток километров пройти пешком по лесу. Вовсю светило солнце, цвели ромашки и лютики. Муж нес пожитки, она — сверток с Димкой. Они распевали что-то на два голоса и впереди ждали только хорошего.

Мать встретила их приветливо, сразу выхватила у Клавы внука, внесла в дом, развернув, стала проверять, не запарили ли они мальчика по дороге. Под веселую руку это легко! В месяц и пять дней Димка ей первой улыбнулся, потом первой агукнул. Она говорила, что никому из своих детей так, как ему, не радовалась — не хватало времени. Бывало, встанет ни свет ни заря, только успеет печь растопить, а бригадир уже в окно стучит: «Иди, Соня, сено гресть». Оставит детей и топает с граблями. А теперь времени стало много, девать некуда.

Но у каждого своя закалка. То, что мать называла «делать нечего», на самом деле было: топливо

таскать из леса, воду — из колодца, готовить в печи, а плюс к тому был еще огород, корова, свинья, куры. Клаве это было тяжело и скучно. Осенью, когда знакомые дачники уехали в Москву и в деревне остались одни старухи, она стала устраивать себе выходные: по воскресеньям заворачивала Димку в одеяло и топала с ним по грязи на электричку, в Москву, к мужу. Мать ругалась:

— Ты, Клавка, в поле ветер! И Александр твой такой же. На словах готов горы своротить, а на деле все дружки да приятели. И когда только вы опомнитесь?

Клава сердито оправдывалась:

— Я и так живу тут с тобой, как Тарзан на острове!

Мать это не успокаивало. В Москве молодые ютились у родственников, а по прописке числились у нее, в деревне. Старуха предлагала им перебираться к ней совсем, идти работать в совхоз. Она не понимала, что Москва — это Москва, а Долгино — только Долгино. В Москве тысячи магазинов, а в Долгине и хлеба купить негде..

К счастью, зимой Саша опомнился, дал отставку дружкам-приятелям, оформился в хозяйственную часть одной организации и получил служебную комнату в Серебряном Бору. Там был газ, горячая вода, а из окна — тихий вид на Москву-реку.

Клава пошла работать. Димка рос самостоятельным, в четыре года уже отпускал родителей в кино и в гости. А когда гости приходили к ним, серьезно спрашивал отца:

— Чего ты, папка, с этими дядями так громко песни орешь?

— А мамка разве не орет?

— И мамка тоже. Но у нее голос лучше.

Гости смеялись. Саша сажал сына на колени, говорил, целуя его в умную голову:

— Наше чадо порядок любит. Будет офицером. Ты хочешь быть офицером?

— Нет. Я дворником буду. А песни вы все-таки потише орите. Соседи спят.

Все опять смеялись.

— Кто, чадо, не любит петь, тот мало проживет. А мы с твоей мамкой долго жить хотим. Вот и поем.

— Поете, поете, а потом ссориться начинаете. Я вас знаю, на словах готовы горы своротить, а на деле все дружки да приятели.

— А спать тебе не пора?

— Пора было вчера, а сегодня бригадир не велел. Ты, Александр, бойся не бойся, а почаще вздрагивай. Попомни мое слово, стаканчик до добра не доведет.

— Слышал? — кричала, хлопая в ладоши, Клава.

Прошло несколько лет, Клава стала работать медсестрой. Димка пошел в школу. Он все так же любил порядок, хотел быть дружинником. Буду, говорил, ходить с красной повязкой и смотреть, кому до греха недалеко. Саше это по-прежнему нравилось. Он звал чадо к себе на работу.

— Будешь у нас наводить дисциплину?

— Давай.

— А меня уволишь?

— Нет, тебя погожу. Ты, Александр, работать любишь. Этого у тебя не отнимешь.

— А наша Клава, как?

— У нее холодок. И надо и не надо, все одинаково.

— А ну, бабка старая, марш в постель! — кричала Клава.

Приезжая к матери, она жаловалась:

— Совсем запилил. Все с твоего голоса.

— Вас запилишь! — мать махала рукой.

Когда Димке исполнилось девять лет, Саше пришлось уйти с работы по собственному желанию, а это значило освобождать комнату. Куда только они не жаловались, писали даже женщине-космонавту Терешковой. Просили ее, как мать и выдающегося человека современности, но увы... Ни один даже самый выдающийся человек помочь им не мог. Все было по закону. Комната в Серебряном Бору служебная, а постоянно за ними числился дом в деревне. Саша тогда совсем растерялся.

— Может, Клава, поедем? На чистый воздух,— неуверенно говорил он.

— Нет, я Тарзаном быть не хочу! И никто меня не заставит,— шумела она.

Переехали опять к родственникам, на Таганку. Там было тесно, шумно, под окном круглосуточная молотилка — машины сплошняком. После тихого вида на Москву-реку привыкать к этому было трудно. Но особенно переживал Димка, на него жалко было смотреть. Устроится где-нибудь в уголке и молчит.

— Ты чего? Делай лучше уроки,— сердилась Клава.

— Не делаются,— он строгал какие-то щепочки.

Димка никак не мог дождаться лета.

— К бабушке соседки соберутся и вместе чай пьют. А тут соседи злые.

— Ну и поезжай к своей бабушке насовсем! — сгоряча крикнула как-то она.— А мы к тебе приезжать будем. Хочешь?

Так и решили. Поживет парень год-другой в деревне, а там и с квартирой что-нибудь образуется.

— В конце концов у меня же есть диплом! — говорил Саша. Еще до женитьбы он окончил заочно техникум, имел в запасе очень ходовую специальность «техник-сантехник».

— Ты, чадо, не сомневайся, поезжай. Приучишься там к труду. Земля хорошо приучает. А квартиру мне дадут, будь спокоен,— напутствовал он сына.

— В конце концов тебе же, Димка, все это хозяйство потом и останется. Будет как дача,— вторила ему Клава.

— Нашли о чем думать! Мне дача не нужна. Я бабушке буду помогать. Она совсем старая стала, а у нее огород. Корову, свинью для нас держит.

Седьмого июня Диме исполнилось десять лет, а восьмого, собрав его пожитки, они сели втроем на электричку и поехали. Вовсю светило солнце. В лесу щебетали птицы. Дима нес свой рюкзак, Клава с мужем сетки с продуктами. Они распевали что-то на три голоса и ждали только хорошего.

— В молодости всегда чего-то ждешь.— Клавдия Васильевна, смеясь, вытерла ладонью слезы. Под настроение она любила напомнить сыну о прошлом. Но он относился к ее излияниям сдержанно.

— Да хватит тебе тень на плетень-то наводить! Вот как завалит за пятьдесят, тогда будешь старая, а до того еще повеселишься.

В шестнадцать лет рост у него был без малого метр восемьдесят, голос низкий. Настоящий мужик.

3. Как потопаешь, так и полопаешь

Дима не считал, что он вырос сам. Но свое московское детство помнил плохо. Самые яркие воспоминания у него начинались с того момента, когда родители отвезли его к бабушке. Лето тогда было жаркое. Он играл на задворках с ребятами в лапту и двенадцать палочек, помогал отцу ремонтировать дом. Отец без работы действительно не мог. За время отпуска один, без посторонних, поправил крышу, переложил печь, вычистил заброшенный колодец. Потом отпуск у родителей закончился, Дима проводил их до леса, а дальше им надо было идти уже одним.

— Я буду к тебе приезжать. Часто. Каждую неделю,— обернувшись, крикнула ему мама.

— Приезжай. Я буду ждать. До свидания! — он весело махнул ей рукой и побежал через поле к дому бабушки.

В последних числах августа трава на задворках пожухла, дачники с детьми уехали. Кроме одиноких старух, в Долгине постоянно проживало лишь несколько семей, а из детей школьного возраста один Вася Петин. Этот Вася тоже перешел в четвертый класс, первого сентября Диме надо было идти с ним вместе в школу, которая находилась в шести километрах, за лесом, в большом поселке.

— Ты, Димка, не робей,— наставляла его бабушка.— Вдвоем не страшно.

— Да я и один могу!

— Придется еще и одному. Намыкаешься тут со мной.— Бабушка была не в духе. Весь день прождала родителей, а они не приехали.

Наступило утро. Дима собрал в портфель книжки, бабушка обдернула на нем рубашку, и они с Васей пошли, одни среди глухого елового леса...

Дни становились все короче, выпал снег. Чтобы не заблудиться, мальчики стали ходить в школу с фонарем. Потом, в самые крещенские холода, Вася заболел.

— Теперь не дрейфь. Иди и пой песни. Я, бывало, одна в лесу всегда песни пела. Иду и ору, пока не охрипну,— снаряжая в путь, бабушка обвязывала Диму своим полушалком.

С неделю все шло хорошо. В школе он говорил, что знает секрет от любого страха, по дороге домой, как всегда, заходил в магазин за хлебом. Звонко распевая на весь лес: «Хлеб всему голова-а»,— он нес его бабушке. А потом случилась беда. В лесу Диму застала метель, он заблудился и домой пришел только поздно вечером.

— Щеки болят, не могу дотронуться. А хлеб я принес, не потерял,— войдя в дом, сказал он и уронил на пол сетку.

— Ой, горюшко ты мое...

Бабушка бросилась его раздевать, принесла с улицы полный таз снега, стала оттирать ему лицо, уложила на печь и заплакала:

— Это счастье, что ты живой остался.

Она уже пробовала его искать, чуть сама не утонула в сугробах, ей ведь было семьдесят семь, а вокруг жили такие же старухи.

Целую неделю Дима не выходил на улицу. Ел вместо хлеба бабушкины пироги — в магазин-то было некому, смотрел стоявший под образами бабушкин телевизор. Потом корка от щек отошла, Вася тоже выздоровел, в школу мальчики опять ходили вместе. А пережитая беда напоминала о себе только в большие морозы. Даже сейчас, через шесть лет, если Дима долго пробудет в стужу на улице, кожа на лице становится красной и болит. Страшное дело.

Начался февраль, дни прибавились. Каждое утро, а часто и еще раз вечером вместе с бабушкой он затапливал «паровоз», так называли русскую печку. Одной топки на сутки не хватало, старые подгнив-

шие бревна плохо держали тепло. Пока бабушка доила корову, Дима ходил за водой, днем, после школы, готовил пойло для поросенка, отбивал на реке белье, потом садился за уроки, а бабушка продолжала копаться по хозяйству.

— Как потопаешь, так и полопаешь,— говорила она, растирая больную спину.

Бабушка тогда еще каждую неделю мыла полы, а если Дима забывал заправить кровать, обязательно протягивала к его уху свои корявые пальцы.

— Ой, да что ко мне сваты, что ли, придут? — уворачивался он.

— Сваты к девкам ходят. А такого неряху и в пастухи не возьмут.

— И не надо. Я к мамке в Москву уеду.

— Поехал один такой. А тебя туда звали? — вздохнув, бабушка доставала из кармана и совала ему в руку леденец.

Дима заменил ей всех: и умершего в сорок седьмом году от ран мужа, и погибшего в звании лейтенанта старшего сына Колю, и других, ныне здравствующих сыновей Сергея и Ивана, и обеих дочерей Надю и Клаву. Никто из них в ней уже не нуждался, а она и к концу восьмого десятка хотела быть нужной и неодинокой. Конечно, тогда он этого так не понимал, но по-детски чувствовал.

Весной по хорошей погоде к Диме стали чаще приезжать родители. Мама, застав его у печи с чугунами, говорила:

— Во, колхозник, дает!

Он сердился:

— Смотрела бы лучше телевизор. Привыкла в городе на всем готовом, а тут как потопаешь, так и полопаешь.

Родители помирали со смеху. Он сердился еще больше, бежал к бабушке. Она его успокаивала.

— Ты же на Ваську, когда он тебя подначивает, не обижаешься. И на них не надо.

— Да Васька это, бабушк, по глупости. Я на реке стираю, а он купается и надо мной, как дурак, смеется, чего на него обижаться?

— Вот то-то же. На каждый роток не накинешь платок. Слабый на обидчика сердится, а сильный

обидчика жалеет. Ну, иди, делай свою работу. А вечером мы на чаевник с тобою сходим.

Чаевниками она называла собрания своих подруг в доме у бабы Дуси. Обычно, заметив в окне бредущие мимо темные силуэты, Дима уже не мог усидеть на месте, кричал:

— Бабушк, надевай скорее полушалок, а то на чаевник опоздаем!

— А уроки сделал?

— Сделал. Видела же, целый час уж просидел.

— Есть у меня когда смотреть! Ты за этим сам гляди. А то, знаешь, один цыган тоже видел, как у него сапоги украли. Ладно, пошли, поялякаем,— бабушка доставала из шкафа чекушку и кулек с мятными пряниками.

4. Зарытый колодец

На чаевнике их с бабушкой уже ждали. Вокруг большого стола там сидели: баба Дуся, баба Настя, баба Нюша, баба Онечка, баба Груня... Они играли в лото или перекидывались в карты, жаловались друг другу на свое одиночество. Дети совсем не хотят их проведывать!

— Ну, а я же, бабки, вот он, тута,— кричал с «паровоза», как всегда, навеселе сын бабы Дуси дядя Саша.

— Молчал бы уж. Тебе спать надо.

Баба Дуся объясняла, что Сашка «на бюллетне», пришел к ней лечиться, и она дала ему аспирин.

Он хохотал:

— Как будто они, мать, не знают, какой мне аспирин нужен.

Старухи его стыдили. Баба Дуся поила их чаем, а потом высоким тонким голосом затягивала песню. Остальные негромко подтягивали. Они обычно начинали с протяжных: «При знакомом табуне конь гулял по воле...», «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...»

Дима слушал и ждал, когда, нагрустившись, старухи запоют частушки или свадебные песни с присказками. Женихов в них величали бездельниками, невест недошедшими умом. Он однажды спросил:

— Бабушк, почему они свадебные, а в них всех обижают?

— Это, Димка, для веселья и чтобы жених с невестой друг перед дружкой не задавались. Под такие песни и пляшут и поют, и чем они смешнее, тем лучше. Только теперь того веселья уж нет. Сейчас сидят, сигареты дудят, а у нас не так было...

Старухи начинали вспоминать, как в девках ходили на святках ряжеными, маленько хулиганили. Как-то запряглись с парнями в сани и въехали на них в дом к бабе Августинье, а в другой раз к этой же бабе Августинье протопали ночью в снегу дорожку от одинокого деда. Она была такая строгая, богомольная, и вдруг на тебе! Старики тогда в деревне говорили: «Узнаем кто — выпорем!» Но, конечно, не дознались.

— А мои родители, бывало, пошумят или посадят в праздник малых качать, а потом махнут рукой: «Да леший тебя, Сонька, возьми — иди, чуди»,— рассказывала бабушка.

— Ты всегда была бойкая. Но и я тоже. Мать кричит: «Дуська, запру!» А меня уж и след простыл,— смеялась баба Дуся.

Они спорили, какая из них была самой смелой, ловкой петь и плясать. Вспоминали, как в роще за деревней устраивались игрища, а здесь, в центре, около домов бабы Дуси и бабушки был вытоптанный до черной земли «пятачок». До войны их дома так и звались: «два веселых дома возле пятачка». А какой был в Долгине гармонист — дядя Максим! От его игры даже хромой вприсядку шел. Правда, потом он сам стал прихрамывать, был здесь сторожем — ходил вокруг деревни с колотушкой, а года четыре назад глубоким стариком умер. Во как!

— Все ушло,— вздыхала баба Дуся.

В войну мужиков поубивало, а те, кто уцелел после такой страсти, начали попивать и один за другим поумирали.

— Ты их, Дуська, страстью-то не оправдывай,— бабушка вытирала передником свои подслеповатые глаза.

— А чем?

— Не знаю. У меня на это ума не хватает.

Слушая старух, Дима видел перед собой большую, людную деревню. В ней было шесть десятков домов, по улице катилось много саней, шел дядя Максим с гармонью, молодая, наряженная цыганкой баба Дуся пела частушки:

Не ходите, девки, в лес:
Комары кусаются.
Самый маленький комар
За глаза цепляется.

Но попасть в это сказочное Долгино можно было только во сне.

На пригорке за деревней раньше стоял большой скотный двор и конюшни, а при них глубокий колодец с чистой артезианской водичкой. Теперь этот колодец залили бетоном, то место засыпалось землей и заросло травой, но внутри, говорила бабушка, колодец целый. Дима решил найти и откопать его, но когда попросил бабушку точно указать место, она только махнула рукой:

— Не выдумывай, а то сам утопнешь. Скоро всей деревни не станет, а он колодец ищет.

Выше по реке уже несколько лет собирались делать водохранилище, и Долгино должно было уйти под затопление. Старухи обсуждали это событие на чаевниках. Ругали сельсовет: почему ничего не говорит конкретно? Надо же знать, стоит ли чинить дома или это уже без смысла. Собирались писать начальству: они из своих дворов никуда не поедут, вот когда слягут, тогда пускай несут на кладбище. Потом решали, что лучше бы их скорее затопили и дали квартиры на центральной усадьбе — там хоть магазин рядом. Спорили, шумели и сами же над собой потешались, называя эти страдания смешением умов.

— Что, бабы, было, не вернуть, а что будет, не остановить,— вздыхала по этому поводу бабушка.

Чтобы старухи поменьше грустили, Дима начал приходить на чаевники ряженым, петь там разные шуточные песни. Старухи особенно любили, когда он пел с ними про бабку и Любку, которые, не зная, где взять денег на турпоход, спрашивают милого дедочка, как их заработать. «Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка, ледорубом, ты моя сизая голуб-

ка»,— старательно тянул он за деда, хотя даже толком не представлял, что такое ледоруб.

— Лом, что же,— объясняла бабушка.

Она со своими подругами считала эту песню свадебной, а милого дедочка с бабкой родителями невесты. Только теперь, став большим, Дима понял, что про ледоруб, как и про путевку в турпоход, в этой песне говорится потому, что придумана она туристами. Как туристы у костра, старухи переставали чувствовать себя на чаевниках взрослыми, и потому, наверное, ему было с ними интересно.

5. Прощай, бабушка...

На третий год жизни в Долгине Дима вытянулся и уже пробовал говорить басом. Летом ему должно было исполниться четырнадцать лет. Бабушка еще больше ссохлась и сгорбилась, но попрежнему целыми днями топталась по хозяйству. Подруги советовали ей ходить с палкой, а она не хотела.

— Вы из меня инвалидку не делайте! У меня только глаз плохо видит, а ноги еще крепкие.

Но иногда вдруг садилась на стул и растерянно бормотала:

— Чтой-то не могу раздышаться. Ноги идут, а в грудь вступает.

— Осторожнее надо. Не молоденькая ведь уже полы мыть,— сердился Дима.

— Да я, Димка, без работы хуже загнусь,— поднималась она на ноги.— Ну, вот и отпустило.

Бабушке уже шел восемьдесят первый год, но она еще собиралась справить с Димой свое восьмидесятипятилетие.

Наступила масленица. Бабушка вымыла полы, наболтала тесто для блинов. Утром в воскресенье они с Димой напекли их целое блюдо — угощать родителей. День был уже по-весеннему длинный. Отяжелев от застолья, папа пошел поболтать с бабы-Дусиным сыном, который, как всегда, был «на бюллетне». Бабушка с мамой уселись на свету возле окна и тихо, без взаимных обид, вспоминали прежние

годы, планировали что-то на будущее. Все было так мирно и хорошо, что Дима вдруг испугался. Ему показалось, что такого дня уже больше не будет.

— Иди на двор, в снежки покидай, попрощайся с зимой-то. Вон, Васька, смотрю, один слоняется,— велела ему бабушка.

— Не хочется. Я лучше с вами.

— Гуляй, пока годы молодые, а то скоро огород копать. Этот год весна будет ранняя и дружная, к апрелю весь снег съест,— поднявшись с места, бабушка легкими спорыми шагами заспешила в сени — ставить на ужин самовар.

А через неделю у нее опять начались приступы.

— Может, аверьяновки накапать? — видя, как она растерянно опускается на стул, спрашивал Дима.

— Давай. От ее хуже не будет.

Он лез в шкаф, доставал оттуда, кроме валерьянки, оставленный мамой валокордин и тюбик с валидолом. Но бабушка больше всего верила в свою «аверьяновку».

— От этих,— говорила она про другие лекарства,— у меня в голове колокольный звон идет. Ну, вот и прошло, без ваших таблеток! Когда грудь не болит, на мне еще воду возить можно.

Бабушка опять начинала ковыряться по дому:

— Знаешь, я какая сильная была? Помню, в войну мешок в восемьдесят килограмм сама с телеги в амбар носила!

И все-таки Дима чувствовал — что-то в ней изменилось.

По вечерам бабушка стала каждый день зажигать у образов лампадку.

— Зачем это тебе? — спрашивал он.

— Так, для души. Проснусь ночью, а она светит. Совсем как у нас в дому, когда я маленькою была.

Возвращаясь из школы, он заставал ее за разборкой каких-то старых кофт, платков, холщовых наволок, полотенец. Иногда видел, как, утирая передником глаза, бабушка что-то беззвучно шепчет себе под нос.

— Ты чего?

— Взгрустнулось чтой-то. Вспомнила, как мы с нашим председателем в войну картошку вилами рыли. Земля, как кол, холодина, спины отваливаются, а он поет... И взгрустнулось.

Бабушка теперь часто что-нибудь вспоминала. Она рассказывала, какими были у нее родители, как они жили, как она вышла замуж.

— Твой дедушка ведь уж вдовцом был, когда меня за него замуж отдали.

— А какой он был, хороший?

— Да как тебе сказать? Неплохой. Понимал, что я ему нужна. Он меня на двоих детей взял, а потом у нас еще свои пошли. Бывало, в поле жну, а сама думаю: пили, ели или подрались, кто знает? И бог дал, не болели. Только вот Володюшка в речке утоп. Он такой шустрый был, веселый, белоголовый, личико круглое, дутенькое. На тебя похож, когда ты маленьким был.

— А я какой был?

Бабушка начинала рассказывать, но, не договорив, опять уходила в прошлое, к Володюшке, к старшенькому Колюшке, к своим папаше с мамашей.

Раньше Дима тоже разговаривал с ней об этом. Но тогда, немного повспоминав, бабушка гнала его делать уроки, а теперь забывала. Она вообще стала жаловаться на память: то в сарае у кур дверь забудет закрыть, то гребенку куда-нибудь задевает.

— Ну, совсем я растрепой стала! Видно, и правда, пора в землю, червей кормить.

Дима вздрогнул.

— Да пошутила я, что ты! Не бойся. Мне вчера сон был. Такой интересный. Садись, скажу.

Они уселись рядком возле печки, и она начала рассказывать:

— Вроде лето на дворе. День такой ясный, горячий, а вокруг ни души, только вдали среди луга чего-то белеется. Подошла ближе, а это Коля с отцом сидят, а Володюшка возле них на травке камушками играет. Володюшка смеется, а Коля серьезный. Совсем как на карточке, которую с фронта прислал, только не в форме, а в белой рубахе. И отец тоже в белом. Они промежду собой говорят, а на меня не смотрят. «Что — не признали?» — спра-

шиваю. Молчат. «Дайте я с вами тут посижу. Соскучилась я по вас». Опять молчат. «Да вы, никак, оглохли!» И тут Коля мне отвечает: «Нет, мама, мы не глухие, но тебе с нами нельзя». — «Да почему же это, Колька, нельзя?» — «Место тебе у нас еще не приготовлено». Я уж сердиться собралась: как это — возле родных детей и нет места? И вдруг проснулась.

Бабушка медленно разглаживала на коленях передник:

— Ну, понял теперь? Места мне еще на том свете нету. Здесь, говорят, надо побыть, тебя дорастить. Вот женю тебя и тогда к ним отправлюсь, белыми камушками с Володей играть.

Она тихо улыбнулась.

— А я, бабушк, не хочу жениться.

— Ничего. Придет время, захочешь. Каждый свой путь пройти должен. И ты тоже — иди, не отлынивай. Работы никакой не бойся. Она ото всего спасает. А узнаешь любовь, женись, не тяни резину. Мне-то уж твоих детей не качать, а ты жалей их, не оставляй без призору и жену не обижай. Ты с ней, как со мной, все делай: и готовь, когда нужно, и стирай. Не смотри, что мужик. Раньше мужики себя первыми людьми считали, потому что они много работали. И не только в поле, в доме тоже — соху почини, коня накорми, да мало ли что! А теперь работы у вас в доме убавилось и должны вы бабам помогать, чтобы им тоже легче стало. Не стыдись этого. Помни, что тебе бабушка наказывала. Стыдится тот, кто не умеет. Ну, иди теперь от меня.

Бабушка встала с табуретки и, с трудом распрямив спину, подошла к окну:

— Вишь, день-то какой хороший. А ты опять со мной лясы точишь. Сбегал бы хоть к речке, вербы чуток наломал. Дуська, я видела, утром таких хороших веток принесла. А мне уж на ту сторону не дойти. Сил нету по такому распутью.

Весна, как и предсказывала бабушка, в тот год начиналась дружно, под снежным настом уже стояла вода, появились первые стаи грачей. Все вокруг шумело, галдело, набирало силу, а бабушка с каж-

дым днем слабела. Она уже почти не выходила на улицу и только тихо бродила по дому.

Каждый день Дима доставал на стол оставленную мамой колбасу, апельсины. Но бабушка так ни к чему и не притрагивалась.

— Не хотца. Я без тебя картошенки в мундирах сварила, две очистила и с сольцой съела. А больше ничего не хотца.

Она присаживалась рядом и, отрезав несколько кружков колбасы, клала ему в тарелку.

— Вишь, жизнь-то у нас какая пошла. В простой день и колбаса на столе. А в старину ее и по праздникам не видели. Раньше, Димка, сколько ни работаешь в колхозе, все задаром. А сейчас, смотри, сижу, ничего не делаю, и мне деньги приносят.

Бабушка до сих пор удивлялась, что ей постоянно идет пенсия.

— Я теперь все думаю. И что у меня за жизнь такая была? А сейчас жить можно, так здоровья нет.

Она долго смотрела куда-то в пространство за окном.

— Ничего. Еще поправишься,— неуверенно говорил он.

— Нет, видать, уж не выйдет. Годок-другой я еще протяну. А потом ты будешь один свое счастье на земле искать.

Бабушка все чаще говорила с ним о будущем. Она не спрашивала, кем он хочет стать, когда вырастет, но велела, чтобы обязательно учился.

— И еще, как другие, не пей. Держи марку,— наказывала она.— Помнишь, Дуськин Сашка сказал? Сейчас вся земля пьет, только одна сова не пьет. Днем не видит, а ночью магазин закрыт.

— Сашка мне не пример. Я этой водки даже пробовать никогда не буду.

— Не зарекайся. Когда станешь мужиком, на праздник можешь выпить стаканчик, но не боле. А то ум потеряешь и не заметишь, как нахрюкаешься. Самое главное, Димка, это всегда в своем уме оставаться.

— Я понимаю. Я все, как ты говоришь, буду делать.

Дима хотел, чтобы бабушка за него не беспокоилась, но сам все больше терялся. Он спрашивал, когда приезжала, маму:

— Ну, как она? Еще потянет?

— Должна. Организм у нее крепкий. Я советовалась у нас в больнице. Сердце, говорят, может болеть не один год. Надо только, как приступ, сразу принимать лекарство.

Верила ли она в это сама или только хотела верить?

Когда весна съела снег, бабушка уже лежала.

Утром Дима, как обычно, уходил в школу. Бабушка не велела торчать из-за нее дома.

— Погоди. Я еще не так плоха. Может, и выкарабкаюсь. Огород еще буду с тобой копать.

Теперь она пила все мамины лекарства, а лампадку не гасила даже на день. Дима уже не спрашивал, зачем это. Висевшая у них над телевизором икона называлась «Нечаянная радость», и он догадывался, что только на чудесную, нечаянную радость выздоровления бабушка еще надеется. Днем он крутился по хозяйству, топил, готовил, ходил за скотиной. А по вечерам никак не мог заснуть.

— Чего ворочаешься? Завтра еще день будет, а теперь спи. И одеяло с полу подбери. Не маленький уже с себя скидывать,— замечала со своей кровати бабушка.

Оттого, что она все слышит и, как когда-то в детстве, следит за одеялом, делалось веселее, но ненадолго. Ночи тогда стояли еще морозные, тихие, лунные, и от их тишины и света Диме было не по себе, особенно с тех пор, как на другом конце деревни, у бабы Даши, начала выть собака. Заслышав этот звериный плач, он вспоминал, что бабушка не любит собак, потому что они о смерти воют, и о ее мамаше с папашей когда-то выли, и о Володюшке, и о Коле...

Надо было что-то делать, а что, Дима не знал. Наконец он позвонил из конторы совхоза маме. Говорил, что бабушка совсем как восковая стала, и мама, видно, тоже что-то почувствовала, сказала, что сегодня же с отцом будут.

— Бабушк, вечером к нам родители приедут! — еще с порога крикнул он ей.

И только потом заметил, что в комнате как-то особенно тихо, а у бабушкиного изголовья сидит очень серьезная баба Дуся.

— Удар сейчас с ней был. Хотела встать и упала,— сказала она.

— Ты его так сразу не пугай. Маленько уж прошло,— медленно, каким-то не своим голосом заметила бабушка.— Ступай, Дуся, к себе. Мне с ним вдвоем надо. Ты через часок приходи. Вишь, как все хорошо складывается. Клава с мужем приедут. Тогда уж все вместе до конца и побудем.

Баба Дуся ушла, Дима присел у бабушкиного изголовья, и она сказала:

— Прощаться нам с тобою, Дима, надо. Место там мне уже, видать, приготовили. Пора собираться.

Она так просто об этом говорила, что внутри у него все остановилось.

— Ты хорони меня без музыки. В мои годы с земли надо уходить строго. По всем правилам. Дуся вам с матерью скажет, что надо. И не робей сейчас. Это — дело житейское. Никуда не денешься. Я вон сколько своих проводила, и ничего. Нагнись-ка ко мне.— Приподняв свою тонкую, ставшую совсем легкой руку, она провела по его лицу.— А теперь слушай. Я там тебе немного оставила на книжке. На учебу. Ты береги. Будешь летом работать, докладывай. А жадным не будь. И с людьми себя высоко не ставь. Иначе от тебя шарахаться станут. Кричать никогда не кричи. Горлом не возьмешь. Если хочешь, чтобы тебя послушали, повтори несколько раз тихо.

Бабушка говорила все медленнее.

— Всегда делай людям добро. Не обижайся, если на него не ответят. Плохих людей нет, а есть слабые. Ты сильным будь.— Она вдруг замолчала. Потом заговорила опять, но еще медленнее и деревяннее.— Знаешь, коровы? Которая послабже — родит теленка лежа, а посильнее торчком стоит. Ей трудно, а телята у таких самые лучшие...

Она опять замолчала, а когда стала говорить, уже почти нельзя было разобрать слов.

— Ты хороший мальчик... Думала я поболе тут... Еще хоть часок... Прости меня... Тебя люди не оставят...

Бабушка, подожди, не уходи! Ему хотелось ей что-то сказать, но по лицу потекли только слезы. Дима пробовал их удержать, сжимал в кулаки руки, но ничего не получалось. Бабушка видела, как горько он плачет, и от этого было еще ужаснее. Потом она прикрыла глаза и в один миг стала такой спокойной и ровненькой на кровати.

Он очнулся, когда над ним наклонилась баба Дуся:

— Отошла?

Она накрыла бабушку покрывалом, и он осознал, что там, под покрывалом, уже никого нет. Бабушка ушла. Белыми камушками с Володей играть.

Вскоре приехали родители. Мама плакала в голос и без конца повторяла про укол, который не успела сделать. Вот успела бы, хоть на полчаса пораньше, и ничего бы не случилось. Папа говорил, что Егоровна была святым человеком. Бабушкины подруги читали над телом что положено и, как живое, просили его передать там поклоны своим мужьям, погибшим и умершим детям.

На третий день, когда съехалась вся родня, гроб повезли на кладбище, отпели и похоронили.

Дима все это время трудился. Раскладывал по дому еловые ветки, крахмалил и гладил полотенца для гроба, готовил на поминки еду. Он теперь понимал, почему бабушка говорила, что работа ото всего спасает. Когда постоянно занят, думать о чем-то отвлеченном некогда. В эти дни у него была только одна мысль: бабушка так любила пироги, а дрожжей нет и нельзя их теперь сделать.

Когда земля на могиле осела, они с отцом обложили ее кафелем, поставили памятник, а на нем выбили надпись: «СОФЬЯ ЕГОРОВНА МАКЕЕВА. 1898—1979. ОТ СЫНОВЕЙ, ДОЧЕРЕЙ И ВНУКОВ».

Вот и все. Прощай, бабушка. Теперь надо привыкать жить без тебя.

6. Ночное решение

На другой день после похорон родственники и родители Димы уехали в Москву на работу. Он накормил утром скотину, сходил в школу. Вернувшись, сварил щи, пожарил картошки, вымыл натоптанные гостями полы, разложил тетради, сел делать уроки, но так и не смог решить ни одной задачи. Числа не складывались.

Дима встал, сложил в сумку книги, вынул из шкафа чекушку и кулек с бабушкиными мятными пряниками, убрал их обратно, достал снова и пошел к бабе Дусе. Там уже сидели старухи: баба Нюша, баба Настя, баба Онечка... Они сразу налили ему чаю, стали не спеша спрашивать про погреб — не заливает? Сейчас такая вода.

Только болевший после поминок дядя Саша сказал с «паровоза»:

— Плохо тебе без бабки будет. Ты теперь без нее, как... как...

Саша так и не нашел слова. На «паровозе» лишь что-то звякнуло, чмокнуло, а потом забулькало, и баба Дуся виновато объяснила, что у него там бутылка. Разве теперь отнимешь?

— А Соня бы его раскулачила,— сказала баба Нюша.— Она всегда такая твердая была. Ее, помню, даже старик свекор слушал. Ты, Димка, знаешь, какое у бабушкиной семьи прозвище было?

— Знаю, Щеткины.

— А почему?

— Она не сказывала.

— Тут барыня когда-то жила. Она-то и дала твоим прадедам это прозвище. За то, что все аккуратно делали, под метелку.— Баба Нюша подвинула к Диме чашку.— Ты пей чай-то. Теперь, наверно, в Москву поедешь. Так там иногда вспоминай, как тут с бабками жил. А то затопят нас, и ничего от Долгина не останется.

— Обязательно. Я всю жизнь вас помнить буду. Вы только расскажите что-нибудь еще.

— Ну, что ж тебе сказать? Смелая она была, находчивая очень. Знаешь, как мы с ней молоко пос-

ле войны в Москву продавать возили? Отработаем в поле, а потом ночь-полночь идем через лес на станцию. Летом еще ничего, а как мороз или половодье, дождик, темь, грязь — страшно вспомнить. А твоя бабушка была такая сообразительная. Фонаря тогда негде было купить, так она придумала свечку в бутылку без донышка вставлять. Идет впереди всех с бидонами через плечо, в руках свечку держит и поет. А когда, как сейчас, весна была, мы босые через овраги по льду шли. Ноги заходятся, но потом влезем в сапоги, и от движения они в них нагреваются. Ничего, не болели. Теперь вот ревматизм крутит.

Дима слышал об этом от бабушки. Знал, что молоко продавали от несчастья: за куском хлеба ехали, чтобы было хоть на что детей одеть, подкормить.

Но теперь ему почему-то казалось, будто он сам идет ночь-полночь вслед за бабушкой босиком по льду с бидонами и поет, поет...

Баба Нюша говорила, как в Москве на Киевском вокзале бабушка всегда сама бегала за кипятком — на всю их компанию, а потом вела по местам. Ее на Плющихе во многих домах знали и доверяли стопроцентно.

— Она мне про одного пожилого военного рассказывала,— кивал он.— Такой обходительный был. Утром откроет дверь, спросит, как самочувствие, и идет гимнастику под радиоприемник делать. А бабушка сама на кухне молоко в посуду перельет и возьмет деньги. Они в столе лежали.

— Еще бы. Военных Соня особенно отличала. Говорила, что им надо самое верхнее молоко наливать, пожирней,— сказала баба Настя.— Мы ведь, Димка, насмотрелись в войну. Вот и жалели их.

Старухи начали вспоминать то время, и Дима видел, как в сорок первом идут через Долгино промерзшие, усталые пешеходцы, так они называли пехоту, в домах гремят и вылетают от взрывов стекла и открываются двери, а в восьми километрах отсюда шуруют немцы.

— Мы с твоей бабушкой тогда ходили площадку под аэродром расчищать,— рассказывала баба Ду-

ся.— Поднимали нас военные ночью и вели. А потом у нас в домах раненые появились. Временный госпиталь. Санитары их приносили, а мы подсобляли как могли. Тут вот на этом столу и оперировали.— Она прихлопнула по скатерти темной, покрытой толстыми веревками вен рукой.

— А у нас, на нашем? — спросил Дима.

— У вас тоже. Мы с Соней тогда круглые сутки печки топили и кипяток грели. Совсем, почитай, и не спали.

— А я тогда хозяина своего встретила,— сказала баба Настя.— У меня в дому раненых не было, одни солдаты, восемь человек, стояли. Ночь, тёмно, и вдруг кто-то в дверь зашел, снимает на пороге сапоги и говорит: «Ой, как я устал». И голос знакомый. Я как закричу: «Васька, ты?» Он: «Я, Наська, я...» И смеется. Во как бывает. Встретились.

— А после войны нам всем медали дали «За трудовую доблесть». Мою только ребята потом куда-то задевали. Играли в войну, и все себе на грудь нацепляли.— Высоким, тонким, очень ясным голосом баба Дуся затянула песню: «Вы солдаты, мы ваши солдатки. Вы служите, мы вас подождем...»

Вернувшись домой, Дима долго не зажигал лампу. Просто сидел и молчал, пока не почувствовал, что об ноги ласково трется кошка.

— Ну, чего же ты, Маняха, мышей не ловишь? Вот ведь лентяйка!

Прошло еще несколько таких ночей. В выходной приехали родители. Папа стал рисовать ему перспективу дальнейшей жизни.

— Протянешь тут, чадо, до осени, а там мы устроим тебя в Москве в интернат или на крайний случай поживешь восьмой класс у родных. А потом поступишь в какое-нибудь ПТУ на слесаря или, вон как советует мать, в медучилище.

— Там за парнями гоняются, и в институт оттуда можно попробовать. Сейчас у врачей такие возможности, особенно у хирургов. Несколько лет поработал — и машина! — кивала мама.

Дима слушал, слушал...

— А скотину ты куда без меня денешь?

— Продам, куда же!

Он представил себе пустой, нежилой бабушкин двор. Вспомнил, как она переживала, когда пришлось продать в чужие руки корову.

— Не будет этого! Я тут стану жить. А в Москву никогда не поеду. Не хочу я с бездушным металлом возиться и хирургом не хочу. Я даже, если здесь всё затопят, где-нибудь рядышком останусь.

— Ну, а кем же, Дмитрий, ты тут в этих условиях станешь? — растерянно спросил папа.

— Да кем-нибудь стану. Я работы никакой не боюсь. Она ото всего спасает.

Родители молчали. Папа вертел в руках папиросу, мама куталась в накинутый для тепла на плечи бабушкин плюшевый жакет, и оба они выглядели такими неприкаянными.

— Вы не бойтесь. Я вас не брошу. Вот выйдете на пенсию и еще ко мне отдыхать приедете. Сами когда-то говорили, получите квартиру, а здесь для вас будет, как дача. Я вас клубникой буду кормить, помидорами, яичками прямо из-под курицы. Помните, как бабушка говорила: «Скотина — это копилка».

Мама всхлипнула:

— Добрый ты, Димка, весь в покойницу. А мы с отцом сами виноваты. Оставили тебя здесь.

— Ладно, Клава, чего там. Силы воли у нас мало. Но я буду стараться, честное слово,— вздохнул папа.— Летом вот домик поправлю. Обошью фанерой потолок, переклею обои, и ты, Дмитрий, живи, раз охота. Мы тебя неволить не станем.

— Плохая только у тебя в селе будет жизнь. Попомни мое слово, плохая...— Мама пошла к умывальнику отмывать слезы. Папа отправился на крыльцо покурить, а Дима убрал со стола так и не съеденный ужин и сразу, как только лег, заснул.

В тот день он почувствовал себя совсем взрослым.

7. Один в доме

Наступило лето. К старухам съехались внуки, с одним из них, третьеклассником Славкой, Дима очень подружился. Они ходили в лес за грибами и малиной, играли на задворках в лапту. С малыми не заскучаешь.

Раз в три дня приезжала мама. Она еще не привыкла, что он живет один, и беспокоилась.

— Ты скажи честно, Димка-то мой не покуривает? — подзывая к себе Славку, спрашивала она потихоньку.

— Нет, тетя Клава, не покуривает. Это наша Людка с Васькой покуривают.

Людка была старшей Славкиной сестрой, и, гуляя с ней, Вася страшно форсил. Джинсы, футболка с картинкой, небрежно защелкнутый на животе широкий солдатский ремень. А Диму ходить с Людкой не тянуло, он предпочитал общество Славки.

— Надо детство-то вспомнить, когда время есть,— говорил он маме.

Только времени на детство оставалось мало. Хозяйство не башмак, его, когда хочешь, с ноги не сбросишь. Не успел для поросенка сварить, а уж полоть надо, не успел прополоть, поросенок опять в загородке орет и землю роет. А кроме того — и это была его главная работа,— Дима оформился на лето в совхоз ухаживать за телятами. В августе, получив на ферме зарплату, он купил себе зимние ботинки, а остальное, как наказывала бабушка, добавил к ее сбережениям. Славка ликовал:

— Ну, теперь уж, Димка, мы с тобой поиграем!

Но в огороде стало все одно за одним подходить: и огурцы, и помидоры, и морковь, и свекла, и картошка. А каникулы уже кончались, погода начинала портиться. Надо было в кратчайшие сроки убирать урожай, квасить капусту, солить огурцы. Дима очень жалел, что не записал в свое время бабушкиных рецептов. Сколько, например, класть соли на бочонок огурцов, сколько лить воды, добавлять укропу? Чтобы не ошибиться, он мысленно представлял бабушку, будто она стоит рядом и командует:

— И смородинного листа чуток сорви. Не забудь. Он кислинку на язык придает...

— Чего это ты, Димка, все себе под нос бормочешь? — удивлялся Славка.

— Да так. Будешь со мной яблочное варенье варить? — Он аккуратно высыпал из ведра на ряднину пестрые грушовки.

— Давай!

Дима сажал мальчишку рядом с собой обрывать у яблок черенки, начинал объяснять ему бабушкин рецепт:

— Яблоки надо варить так. Сначала помыть, палочки отделить, зерна вычистить. Потом взять песку сахарного. Закипятить его так, чтобы получилась желтая медовица, в нее поместить кусочки яблок. Пускай они сутки постоят, наберутся вкусу. А завтра мы поварим их тридцать минут, и варенье готово. Я тебе за труды в Москву с собой банку накладу. Хочешь?

Ему было жалко, что вот уже и это лето кончается, все уезжают, и Долгино скоро опять уйдет от людских глаз. Сначала утонет в туманах, потом в снегах, а через несколько лет вообще станет дном ровного, как стальной лист, водохранилища.

Весной Дима разобрал все, что осталось в доме от бабушки. Часть вещей раздал ее подругам на память. Остальное — два самовара, ведерный и маленький, пятилитровый; никелированную с шариками кровать; стол — тот самый, на котором оперировали раненых; кисейные занавески на окнах и над иконой; выцветшую картинку, на которой были девушки с серпами,— решил беречь и содержать постарому, как в музеях. Одну бабушкину карточку он выбрал для увеличения, и на стене теперь висел большой бабушкин портрет в деревянной рамке, а под ним пучок засохших полевых цветов.

Осенью мама иногда привозила с собой из Москвы подруг, ходила с ними за грибами. Вечером они пели, а Дима угощал их своими соленьями и вареньями. Женщины удивлялись: мальчик — и капусту квасит!

— Он и корову подоить может,— говорила мама.

— Димчик, правда?

— Он даже хлеб может печь. Димк, ну, расскажи про хлеб-то!..

В конце сентября мама приехала с папой; они помогли Диме закончить с картошкой. Он был им очень благодарен за эту помощь — картошка в тот год хорошо уродила, оставлять ее под снегом было бы непростительно. Потом папа принялся обшивать

фанерой потолок. Серьезный, даже немного смурной, он стоял с запрокинутой головой на стремянке и гвоздил молотком. Но помогать ему, сердитому, было весело. А по вечерам, когда папа становился веселым, Дима, наоборот, смурнел:

— И зачем она тебе? — кивал он на стакан.

— Так я же, чадо, чуток. Самую малость. Чтобы внутри у меня не заржавело.

— Знаю я твою малость. Вот не буду тебе сейчас ужин греть!

— Ну и не грей,—соглашался папа.— Я и так, холодное поем.

Пришла первая без бабушки зима. Все замело, лезть из школы в деревню по сугробам иногда приходилось часа по два с половиной, а в доме теперь никого не было, поросенок орал голодный, куры стали плохо нестись.

— И о чем ты, Градусов, только думаешь? — спрашивали Диму на уроках учителя.

— Да я о курах,— вздыхал он.— Дверь-то в сараюшку сегодня совсем занесло, а я прочистить не успел.

В феврале он не выдержал, продал поросенка.

— Я теперь свободный человек,— говорил в школе ребятам.

— А как же твои курочки? — интересовались они.

— Курочки пока клюют. Без них мне скучно будет.— Он лихо съезжал по перилам лестницы со второго этажа на первый.

Маме эта продажа не понравилась. Год назад она была за то, чтобы сбыть все, но характер у нее был непостоянный, и теперь она шумела:

— Это просто смех — жить в деревне и держать одних кур!

А весной вдруг придумала заводить индюшек. Ей в больнице кто-то посоветовал.

— Может, мы уж сразу павлинов купим? — не удержался Дима.

Мама продолжала свое. Индюшка — птица большая. Мяса в ней много, а уход такой же, как за курицей. Бросил зерна и иди спокойно в школу.

— Ну, ты прямо такую либерду говоришь! Индюшата уже утлые, за ними глаз да глаз нужен, пока не подрастут.

Мама немного растерялась. Что индейки вырастают из индюшат, она как-то упустила из виду.

— Давай уговоримся. Я тут живу, мне и решать.

— Молодец, чадо, так ее. Не понимаешь, ну и не лезь! — хохотал папа. Он предложил заводить не индюшек, а кроликов — этот зверь неприхотлив, может питаться сухими листками. Или, например, взять и откормить бычка.

— И пару коров в придачу,— устало улыбнулся Дима.

Он продолжал радоваться каждому приезду родителей. Но ждал их уже, как и старухи своих родственников, только как дорогих гостей.

8. Трудная зима

Минуло еще одно лето. Дима стал ходить в девятый класс, уже знал, что будет делать после школы. Он собирался поступать на агронома, а если не примут, устроиться в совхоз. В каникулы он самостоятельно доил на ферме пятьдесят коров.

Родители в его дела больше не вмешивались. У них хватало своих. В октябре, когда у папы дошло до инфаркта и мама положила его в больницу, Дима каждый день ездил туда после уроков. Привозил яички прямо из-под курицы, покупал на заработанные летом деньги апельсины.

— Спасибо, чадо. Я не ожидал. Спасибо,— растроганно шептал папа.

— Да ладно тебе. Я для тебя уж и кроликов присмотрел. Как перестану сюда мотаться, куплю штук шесть.— Он перестилал отцу постель, кормил его с ложечки, мыл в палате полы, ночью с последней электричкой возвращался домой.

— Ну, ты, Дима, себя загоняешь. Совсем ведь не спишь,— переживала баба Дуся.

— В мои годы не страшно.

Он по-прежнему забегал к старухам поделиться новостями, а когда папе полегчало, стал бывать у них на чаевниках. Жаль, собирались они не часто. Зима стояла холодная, и старухи простужались.

— Здравствуй, Настасья Ивановна. Как поживаешь? Водички не надо принести! — заглядывал к бабе Насте.

— Да плохо, Дима. Опять кашель бьет. Я уж эту ночь и не спала совсем. Сижу в темноте, как сыч.

— Ничего, до весны поправишься. Огород будем вместе копать. Так я на колодец сбегаю?

— Беги. Дай бог тебе здоровья.

Отнеся бабе Насте пару ведер, он отправлялся к бабе Нюше.

— Здравствуй, Анна Ивановна. Как самочувствие? На чаевник сегодня не собираешься?

— Нет, Дима. Ноги шибко болят. Я лопатку куда-то задевала и до коровы так, ногами тропинку проламывала. Топталась в снегу, а теперь в коленях жгет, не могу ступить.

— Надо было меня позвать. Ладно. Сиди, лечись. А я покудова снег откидаю, своей лопатой.

Обойдя всех, он заглядывал к бабе Дусе.

— Никто сегодня не идет. У Насти кашель, Нюша опять ноги заморозила...

— Я же тебе говорила. Совсем плохие мы стали.— Она брала на колени своего старого одноухого кота.— Вон и Дедушка мой что-то охромел. Видать, ночью лапы приморозил. На тот свет нам, Дима, пора.

— Григорьевна, да ты же сама говорила: ныть — только погоду хмурить.

— Скучно. Хоть бы Сашка, что ли, пришел. Живем здесь в снегах, как в засаде.

— Попробуй включи телевизор. Посмотришь, чего там в мире делается. Я уроки приготовлю и зайду, ты мне расскажешь.

— Давай заходи, добрая душа.

Старуха включала телевизор, и, отправляясь к себе, Дима видел, как в ее заснеженных окошках светил голубым лунным светом экран.

В конце января, когда баба Дуся слегла с высокой температурой, он среди ночи побежал напрямик через лес в поликлинику. Дежурная спокойно протирала глаза:

— Зачем такая срочность? Ведь не к ребенку.

Ему хотелось на нее накричать, но сдержался, вспомнил бабушку: горлом не возьмешь, если хочешь, чтобы тебя послушали, повтори несколько раз тихо... Днем, когда Дима вернулся из школы, баба Дуся лежала преображенная.

— Врачиха попалась хорошая, внимательная женщина. Укол мне сразу сделала и грелку сама положила,— рассказывала она.

Старуха быстро поправлялась, ее одноухий кот тоже перестал хромать, и на тот свет они больше не собирались.

— Поживем пока. Нам еще вон Диму женить надо,— говорила она на чаевниках.— Ты, Димка, как, невесту еще не завел? Парень высокий, видный, а все с нами тут торчишь. Нельзя так.

— И обязательно, Григорьевна, это молоть?

— Вишь, стесняется...

Старухи смеялись. К концу зимы они все начали выздоравливать, собирались копать огороды, переживали насчет воды. Когда пять лет назад Дима приехал к бабушке, в Долгино еще было три терпимых колодца, а сейчас остался только один, тот, который тогда вычистил папа. Прошлым летом старухи просили сельсовет, чтобы им вычистили хоть еще один. Таскать ведра тяжело с другого конца. А председательница сказала:

— Вы, бабуси, идете в этой пятилетке под снос. И никаких колодцев вам не полагается.

Теперь председательница в Совете сменилась, но старухи туда больше с этим не ходили, считали, что скажут то же самое. Они уже созрели до того, чтобы расстаться с домами, в которых провели век, с хозяйством. Смирно ждали затопления и мечтали лишь о том, чтобы квартиры в поселке — там были пятиэтажные дома — им «подавали рядушком».

— И когда только, Дима, наше отщепенство кончится? — жаловалась ему на чаевнике баба Нюша.— Куда же нам деваться, если мы старые и все у нас

старое? Помирать, что ли? Так ведь без смерти не помрешь.

— От вздохов, Анна Ивановна, проку нету. Лучше давайте споем.

— Слышала, Нюшка, что наш председатель говорит? — Баба Дуся начинала песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой...»

«Милая моя, взял бы я тебя, но там, в стране далекой, есть у меня жена»,— подхватывал Дима.

Он стал теперь чуть не каждый день бегать после школы в кабинеты совхозных начальников — просить: то фуражного зерна, то трактор с тележкой — подвезти бабе Насте дрова, то человека с машиной — забрать у бабы Нюши выросшую телку.

Если его просьбы удовлетворяли, благодарил, если нет, тоже благодарил и начинал просить по новой.

— Светлана Арсеньевна, пропадаем! — входил он в кабинет главного агронома.

— Опять что-нибудь для твоих старух? — спрашивала она.

— Конечно. Март месяц уже, а все метет.

— Но я же, Дима, не господь бог, чтобы погодой управлять. Ты давай конкретно.

— Конкретно? Хорошо. Распорядитесь, чтобы нам дорогу прочистили.

— Сейчас не могу. Нет физической возможности. Давай послезавтра.

— А завтра никак нельзя?

— Нет.

Светлана Арсеньевна свои обещания держала. Жаль, застать ее можно было не часто. Она целыми днями моталась за рулем своего «газика» по хозяйству или тоже ходила по кабинетам с просьбами.

— Агрономия — это адский труд,— говорил старухам Дима.

Весной по просьбе сельсовета он начал следить, чтобы на пустырях вокруг деревни были выкошены бурьяны, помогал старухам косить. Для них это были лишние копешки сена, да и хотелось, чтобы деревня выглядела как следует. Когда очередь дошла до дворов, в которых еще жили мужики (их было в Долгино четверо), Дима на себе убедился, как это трудно — организовывать работы.

— Здравствуй, Валентин Сергеевич,— говорил он своему всегда веселому соседу.— Надо бы тебе бурьяны с краев двора выкосить.

— Да я уж косил.

— Когда это? В прошлом году?

— Да черт его знает,— смеялся сосед.

Неприятнее всего было общаться по поводу бурьянов с Васей. Он теперь учился в ПТУ на автослесаря, в будущем собирался чинить всяким лопухам «Жигули» и на предложения взять в руки косу вертел у виска пальцем: я, мол, в отличие от тебя, не сумасшедший. Дима сжимал кулаки.

— Сейчас как врежу!

Вася стушевывался, но косить не спешил — ждал, когда отец или мать сделают.

— Ты бы как-нибудь на моего повлиял,— просила Диму Васина мама.— Он уже и попивать с дружками начал.

— Молодой он еще у вас, глупый. Характера у него не хватает себя отстоять,— успокаивал ее он.

Старухи судили по-своему, считали, что жалеть ее нечего. Васина мама была депутатом сельского Совета от их деревни, и они обижались, что никакой помощи она им не оказывает.

— Мы теперь, Дима, тебя выберем,— заявила как-то в конце лета баба Дуся.— Напишем, когда будет голосование, на бумажках, и пусть как хотят.

— Еще только этого, Григорьевна, не хватало!

— Почему? Ты для нас всех такой желанный стал. И хлебушка из магазина носишь и по начальству бегаешь. Может, Соня потому столько и прожила, что ты с ней был.

В непогоду Дима носил им хлеб еще при бабушке. А теперь стал делать это регулярно. Каждый день, возвращаясь из школы, тащил портфель в руке и две большие авоськи через плечо.

Одноклассники над ним подшучивали. Они еще пять лет назад, когда Дима приехал к бабушке, прозвали его Митричем. Их смешило, если он, не ответив учителю урок, говорил:

— Ой, да когда же мне было учить? У нас в деревне вчера корова отелилась.

Учителя относились иначе. Учился Дима неважно, и одни из них его ругали, что не тем занимается, а другие, как, например, завуч Алевтина Петровна, сочувствовали.

— Тяжело ведь так — каждый день с авоськами.

— Ничего. Это я вместо физкультуры.

— Хорошенькая физкультура! Тебе сейчас для аттестата надо силы беречь.

Осенью, чтобы не расстраивать Алевтину Петровну, Дима купил большую спортивную сумку на плечо и попал из-за этой сумки и двух авосек на экран телевизора. Передача была не о нем, а о совхозе, но там было показано, как Дима идет для своих старух с хлебом через лес, а потом рассказывает о своей жизни...

9. С неба звездочка упала

Алевтина Петровна была очень рада, что телевидение заметило Диму Градусова. Сама она его заметила еще год назад. Ее тогда уговорили стать завучем по воспитательной работе, и, занимаясь этой работой, она близко столкнулась с Димой, которого как раз выбрали в комитет. Его фамилию ребята выкрикнули с мест, помимо подготовленного заранее списка.

На первом заседании комитета обсуждали картошку. Ребята стали митинговать. Как учесть работу, если ведра у всех разные? В одно шесть-семь килограммов входит, а в другое, может, все двенадцать. Дима послушал, послушал и сказал:

— Во какое дело нашли — ведра!

Утром он явился в поле с большим ведром.

— У меня, как на базаре, товар налицо. Входит десять килограммов. А сколько у вас, пожалуйста, проверяйте. Я для этого специально начертил внутри вот эти полоски: зеленая означает три четверти, синяя — половину, а красная — четверть моего ведра.

Минут через пятнадцать он уже расставлял классы по грядкам и сам, затянув во все горло частушку: «С неба звёздочка упала на кривую линию, моя

милка переходит на свою фамилию — на развод подала!» — пошел вкалывать.

Каждый день после смены он брал свое знаменитое ведро и отправлялся вдоль грядок.

— Видите, после девятого «б» я только восемь картофелин нашел, а после десятого «а» четверть ведра.

Было приятно и одновременно грустно смотреть, как этот мальчик старался не оставить в земле ни одной картофелины. Ходил, согнувшись в три погибели, под дождем и подбирал даже те, что чуть побольше гороха. Если бы эта мелочь действительно шла потом в дело...

За картошку школа получила тысячу девятьсот рублей. На комитете стали решать, куда пойдут эти деньги. Ребята хотели купить электрогитары для вокально-инструментального ансамбля, а на остаток съездить в Ленинград.

— Куда-куда?! — сказал Дима.— Вы мне сначала детей оденьте.

В комитете он отвечал за пионеров.

— Митрич, не возникай. На твоих детей тоже хватит.

— Вот и оденьте их сначала. Живут-то не все одинаково. Кому-то надо и насчет пионерской формы помочь, юбочку там какую, пилотку. А кроме того, смотрите — атрибутика! Барабаны худые, горнов нет, флажков тоже. А дети любят с флажками.

Так и решили: сначала приобрести все для детей.

Через две недели во втором классе заболела учительница, замены ей в тот день не было, и Алевтина Петровна послала посидеть с детьми Диму. Он посидел, потом стал забегать к ним просто так.

Когда Дима входил в класс, малыши на весь этаж ликовали. Но уже через несколько минут гвалт стихал, а из-за двери, как из приложенной к уху ракушки, доносился легкий рокот.

В такие часы он чаще всего рассуждал о своей жизни.

— Сплю я, час ночи уже. И вдруг стук в дверь. Соседка пришла. Корова, говорит, телится. А я сны вижу: парусные корабли по морю плывут, флажки хлопают, пушки палят. Но делать нечего, приходит-

ся вставать, помогать корове. Они любят, чтобы им помогали. Вот подготовишь ее к дойке, почешешь, погладишь, положишь немного в ясли, и она все свое молоко отдаст и руку потом лизнет. А наори на нее, и ничего не отдаст, упрется: фиг тебе, дурак, с маслом. А я тут недавно слышу, одна девочка говорит: «Да как же я к корове подойду? Она мне руку откусит». Как о волке каком...

Из класса доносился хохот, а за ним снова тихое, легкое рокотание.

— Дим, ну и родила она его?.. А как назвали?

— Мальчиком. Хороший был теленок. На лбу белая звезда, и на ноги сразу встал. Я уже восемь телят принял. Думаю вас на ферму повести. Пойдете?

В конце ноября, когда на улице уже изрядно подморозило и лег первый крепкий снег, Дима стал готовить пионеров к вахте памяти. Когда-то в эти слепые, холодные дни здесь, под Наро-Фоминском, было остановлено наступление гитлеровцев. А теперь ребята всех школ района по очереди стояли с автоматами у мемориала — рядом с Вечным огнем.

Дима много рассказывал, что слышал о том страшном ноябре и декабре от старух в своей деревне, но когда в школу привезли четыре новеньких автомата Калашникова, Алевтина Петровна была совершенно потрясена его поведением. В отличие от других старшеклассников, он не спрашивал и не рассуждал о достоинствах и недостатках оружия. Взяв в руки автомат, он посмотрел на военрука.

— Евгений Андреевич, а детям-то будет тяжело держать Калашникова.

— Тем, в сорок первом, тоже нелегко было.

— Да уж я думаю... А ватное-то что-нибудь на себя дадут?

— Обязательно.

— А на голову что? Неужели раскрытые?

— Да нет, в такой мороз будете стоять в шапках. У вас и ушанки, и сапоги, и портянки — все будет, как по уставу.

— Ой, портянки ни в коем случае нельзя. Дети же их заправлять не умеют. Замерзнут, ноги посби-

вают, что вы! Надо будет предупредить, чтобы все запасались носками потеплей.

— Ну, из тебя, Градусов, и старшина будет первостатейный,— смеялся Евгений Андреевич.

Общаться с Димой Алевтине Петровне становилось все интереснее.

— Счастливая, Димка, будет та девочка, которую ты замуж позовешь,— сказала как-то она.

— Ой, не шутите! Они меня не любят. Вот возьмут скоро в армию, и ни одна не вздохнет.

Удаляясь, он громко запел: «Родимый мой папашенька, жениться я хочу...»

С ребятами Дима чувствовал себя легко, а учителя на него жаловались, особенно физрук. Он требовал, чтобы на уроке все были в спортивных трусах, а Дима никак не мог их купить. Здесь в магазине не было, а поехать в Москву не хватало времени.

Алевтина Петровна пробовала вступиться за Диму, объяснить его обстоятельства, но не получалось. Владимир Андреевич был у них человеком особым. Себя он в шутку называл «физрук без рук». На уроках для настроения включал ребятам музыку. В учительской пропагандировал суточные голодовки и утренний бег, успешно выступал на соревнованиях учителей области, очень гордился, что семеро его выпускников тоже стали физруками.

— Парень он сильный, но тяжелый, как медведь. Даже подтянуться по-человечески не может. А я хочу сделать из него современного человека! Потому и требую,— говорил он Алевтине Петровне о своей войне с Градусовым.

— Но ведь можно, наверное, как-то иначе требовать?

— Да как же иначе? Трусы — это форма. Это визитная карточка, по которой можно судить об отношении ученика к предмету. Подумайте, что из него выйдет в будущем!

Дальше — больше. В начале третьей четверти на педсовете был поставлен вопрос о военно-патриотической работе. Для Владимира Андреевича это было важное событие. Он докладывал о роли спорта, предъявлял коллективу обоснованные требования,

особенно в области туризма. Летом клуб юных туристов, которым он руководил, занял первое место на областном слете. И вдруг, в самый разгар прений, в учительскую ворвалось громкое пение: «По Дону гуляет казак молодой...» Шокированный, Владимир Андреевич бросился к окну — во дворе никого, а пение продолжается. Тогда он попросил у директора разрешения выйти. В смежном с учительской кабинете химии он обнаружил Градусова с дочкой Алевтины Петровны Юлей. Они перемывали пробирки и во все горло распевали: «По Дону гуляет казак молодой. О чем дева плачет над быстрой рекой?..»

— Вы тут что? Почему вдвоем поете?

— Так, может, мы, Владимир Андреевич, с нею в любезных отношениях,— радушно объяснил Дима.

Юля уже окончила школу, летом поступала на факультет психологии МГУ, но не прошла по конкурсу и теперь работала в школе лаборанткой.

— Ну, он-то ладно, а ты как могла? — спрашивала ее потом дома Алевтина Петровна.

— Да не знаю. Скучно было. Сидим, моем, а тут за стеной, слышим, учителя заспорили. Димка говорит: «Юль, чего они кричат?» Я говорю: «Совещание». Он: «Ну и мы зашумим. Давай подпевай». И во весь голос завел. Так смешно было.

Утром в учительской обсуждали это событие. Что, Градусов нарочно дурака валяет? Парень он вроде хороший. В школе старается выполнять все поручения, у себя в деревне, говорят, помогает старухам. Но слишком он чудной.

— Я уж боюсь. Не затянули бы его эти старухи в религию,— вздыхала учительница обществоведения Зинаида Михайловна.— Я у них в классе, когда говорю про борьбу с идеализмом, на него посматриваю.

— А откуда такая боязнь? — удивилась Алевтина Петровна.

— Да непонятный он. И с этой помощью тоже. Конечно, хорошо, что он всем помогает. Но боюсь, нет ли там у них какой секты?

У Зинаиды Михайловны было доброе, озабоченное лицо...

10. Ну, красавица, здравствуй!

Двадцать лет назад, когда Алевтина Петровна Карп была еще тоненькой Алей Пистуновой и жила с родителями в Ташкенте, она не предполагала, что окажется где-то в Подмосковье учительницей в сельской школе. Она окончила политехнический институт. Во дворе просторного родительского дома под южными звездами отпраздновала свадьбу с Георгием.

После свадьбы они остались жить у ее родителей. Отдавали маме деньги и ни о чем, кроме своих дел, не думали. Аля, получив диплом, трудилась над диссертацией о фреонах. По специальности она была химиком. Георгий после окончания Тимирязевки работал в республиканском Птицепроме.

Потом родилась Юлька. Хорошенькая девочка трех с половиной килограммов. В семье в ней все души не чаяли, по вечерам ссорились, кому ребенка купать. Когда Юльке исполнился год, она уже уверенно ходила и пыталась лопотать стихи: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу». А в год и два месяца заболела. Врач нашла обычный грипп и прописала жаропонижающее. Температура у девочки быстро упала. Но, обычно такая веселая и подвижная, теперь она все время спала и никак не хотела встать на ножки. День за днем Аля сидела у ее кроватки, будила, кормила бульоном, но дочка продолжала засыпать, а на ножки так больше и не вставала. Врачи успокаивали: после высокой температуры бывает. Но потом поставили диагноз: полиомиелит.

Прошло два года. Юленьке ежедневно делали массаж и гимнастику. Но ходить она не могла. Сидела у себя в кроватке с книжками. В три года девочка уже знала все буквы и пробовала читать.

— Я сделала все, что могла,— сказала лечащий врач.— Везите ребенка в Москву, в Ховринскую больницу.

Они с Георгием повезли. А когда вернулись без дочки в Ташкент, на обоих лица не было. Лежать в

больнице Юленьке надо было месяцами. Они здесь, она там... Весь смысл жизни терялся!

Георгий подумал и взял отпуск — искать место в каком-нибудь подмосковном хозяйстве. Со своим дипломом он мог работать заведующим фермой, зоотехником. Место нашлось в девяноста шести километрах от Москвы, в деревне Мамошино. И жизнь в родном доме под южными звездами закончилась.

В совхозе им дали треть финского домика — комната и застекленные наподобие террасы сени. У них был чемодан и узел с одеялами. Они вымыли пол, постелили на него одеяла, Георгий вышел на улицу покурить, Алевтина прилегла почитать.

— Ой, милая, как тебе — мягко-то на полу? — В дверях стояла худая женская фигура.

— Ничего, терпимо. У нас багаж малой скоростью идет.

Фигура, кивнув, исчезла, а через несколько минут вернулась с матрацем и двумя подушками.

— Твой-то, смотрю, на задворках мается. Иди зови, а я сейчас Ленку с картошкой пришлю.

— Спасибо, не надо. С едой у нас все в порядке.

— Ну да, так же сытно, как и мягко было.

Тетя Люба, так звали женщину, опять исчезла, а вместо нее появилась девочка. Она принесла стеклянный баллон молока, тарелку с солеными огурцами и чугун вареной картошки.

Потом им выделили огород, тетя Люба начала учить Алевтину сажать огурцы, окучивать картошку, поливать, чтобы не шли в будылья, лук и редиску. И вообще успокаивала:

— У нас здесь, Петровна, все свое: и картофель, и молоко, и яички. Видишь, что труды незадаром прошли, и настроение подымается.

Георгий стал работать зоотехником-селекционером, Алевтина Петровна пошла в школу преподавать химию. Другого с ее дипломом здесь делать было нечего. Когда, в резиновых сапогах и толстом платке копаясь в огороде, она вспоминала, что в Ташкенте по ее проекту уже монтируется промышленная установка, щемило сердце. Но стоило подумать о Юле — и установка начинала казаться пустяком.

Когда Юлю выписывали из больницы, в Мамошине она отдыхала, питалась свежими деревенскими продуктами, а потом они опять провожали ее в Ховрино на очередную операцию. Всего их было сделано за эти годы семь. Постепенно девочка начала ходить. Неуверенно, не быстро, но самостоятельно.

Алевтина Петровна заочно окончила пединститут, научилась вовремя управляться с огородом и, когда они смогли переехать еще ближе к Ховринской больнице — сюда, в Кузнецово, уже чувствовала себя полноценной сельской жительницей. Она привыкла к деревне, к своей второй профессии, но иногда, вспоминая юность, Ташкент, где уже давным-давно была внедрена в производство ее технология, и все, что было после Ташкента, по-прежнему чувствовала непорядок в сердце. Однажды в такую минуту она не удержалась и рассказала свою жизнь Диме. Пригласила его к себе погреться перед дальней дорогой в Долгино, а просидела с ним допоздна.

— Это уж так заведено. Надеешься на одно, а жизнь-то свои повороты делает,— сказал он.— У человека все должно быть: и белый день, и темная ночь, и бугорки, и овраги, и ровное поле.

После этого он стал забегать к ним сам, без приглашения.

— А Юля дома? — спрашивал с порога.

— Дома. Пирожки вон на кухне жарит. Иди, проси. Может, угостит.

— Да уж я думаю.

Скинув с плеча авоськи, он отправлялся на кухню.

— Ну, красавица, здравствуй!

Быстро оттеснив Юлю от плиты, он начинал жарить сам.

— Не стой, в ногах правды нет,— показывал ей на табурет.

Когда с пирожками заканчивалось, Юля вздыхала:

— Чего мы так сидим? Давай теперь музыку слушать,— стукая своей палочкой о паркет, она шла в комнату ставить пластинку, ту, где было про «на-

дежды маленький оркестрик». Потом они переходили к поэтам. Диме нравился Есенин, а Юля любила Маяковского.

— Он такой сильный, добрый и несчастливый,— объяснила она.— Он вперед много видел. Знаешь, как он бюрократов бил?

— Юль, давай лучше о чем другом поговорим.

— А о чем ты хочешь?

— Да что-нибудь поближе к жизни. Ты вот сны часто видишь?

— Часто. Особенно один: белый свет, длинные, как в больнице, коридоры, и по ним ездят самолеты. Самолетов много, а людей никого. К чему бы это?

— Ну, самолеты — это, наверное, к дороге. Поедешь куда-нибудь скоро. А свет — к счастью.

— Но он же электрический, не натуральный.

— Все равно. Если белый свет снится, на душе должно быть хорошо.

— Придумываешь ты все.

Юля долго раскачивала свою палочку.

— Все сидите? — входила к ним в комнату Алевтина Петровна.— Давайте и я с вами. Под разговоры хорошо вяжется.

Она садилась на стул и начинала быстро перебирать спицами.

— Знаете, я сегодня опять Мамошино вспоминала. Хорошо там было! День, как сегодня, темный, а в печке огонь горит ярко, полешки потрескивают.

— И ветер в трубе воет. Ты уйдешь на работу, а я одна в доме сижу, боюсь,— тихо добавляла Юля.

— Зато утром, помнишь? Выглянешь на двор, а кругом снег, тишина. Я, бывало, иду на колодец, под ногами скрипит.

— Ага, колодец за полкилометра, ты придешь с ведрами без рук, без ног — и скорей к печи.

— Да ну тебя! Погрустить о прошлом не дает,— поворачивалась Алевтина Петровна к Диме.— Хоть бы ты меня поддержал.

— Пожалуйста. Давайте меняться. Я сюда в пятиэтажку, а вы в Долгино — на колодец ходить.

Юля смеялась, и Дима, глядя на нее, тоже.

— Когда, Алевтина Петровна, вспоминаешь, это всегда так. Плохое уходит, а хорошее остается,— продолжал он.— Я, когда маленький был, старушки заведут про старое, и мне кажется, тогда рай был.

— А теперь не кажется?

— Нет. Теперь я и в Долгине по привычке живу. Я и говорю часто, словно как по привычке. Меня Юля вчера спрашивала про жизнь: какой в ней смысл? Я ей говорю, а про себя добавляю: некогда мне было про это в Долгине думать, мне печку надо было топить.

Дима чем-то напоминал Алевтине Петровне тетю Любу из Мамошина. Потом оказалось, что люди здесь, в центре России, как и везде, разные. Учительницы «купляли курей» и «ходили в магазин», у родителей учеников иногда выскакивали такие слова, что, вернувшись домой, приходилось ставить для успокоения души пластинку Чайковского.

— Потерпи,— пощипывая свою бородку, говорил в таких случаях Георгий.— Вот окончит Юлька школу,— позже он стал говорить «поступит в университет»,— и мы уедем куда-нибудь подальше, в глубинку, в заповедные места. Я буду работать егерем.

Много лет назад, когда они были еще детьми и сидели за одной партой в душном ташкентском классе, он читал на уроках о Пржевальском и других знаменитых путешественниках, потом увлекся охраной природы и животными — из-за этого и пошел в зоотехнию. И вот стал мечтать о жизни среди простых людей и лесных зверей.

— Да ладно, Жора, не фантазируй. Мне и Мамошина на всю жизнь хватило,— отвечала Алевтина Петровна.

А теперь познакомилась с Димой и, глядя на него, захотела в Мамошино, болтать с тетей Любой, топить печку.

— Наверное, в той жизни все-таки что-то было, не только в моих воспоминаниях, но и объективно,— вздыхала она.— Дим, подскажи — что?

— А вы это поменьше скоблите. И поймете,— спокойно говорил он.

II. Заочный друг

Начались летние каникулы. Юля опять не поступила в университет. Не хватило одного балла. Дима перешел в десятый класс. Он по-прежнему забегал к Юле, советовал ей не унывать:

— Для психолога главное, чтобы нервы были в порядке!

А сам нервничал. В то лето он особенно переживал из-за автолавки — никак не мог добиться, чтобы она регулярно появлялась в Долгине. Шоферы из кооперации не любили туда ездить. За год только раз, еще в апреле, у них появился какой-то новенький. Он тогда страшно ругался — по дороге разбил ящик водки, а старухи говорили:

— Да зачем сюда водка-то? У нас на всю деревню четыре мужика и два парня. Нам, сынок, хлеба, сахару, крупы, мыла надо.

— На мыле, бабки, план не сделаешь.

Шофер уехал, и с тех пор, как говорили старухи, его Митька прял.

— У меня на таких никакого зла не хватает,— жаловался Юле Дима.

Осенью в совхоз приехало телевидение. Говорили, что готовится строгая передача — в ней будет и насчет пятиэтажек, которые сельскому человеку как корове седло, и насчет свинокомплекса, который не только гремит на всю страну, но и загрязняет природу. На третий день Диму — он как раз выбивал в сельсовете керосин — увидел режиссер.

— Я что, керосинщиком работаю? — по-свойски отбивалась от Димы зампред Вера Ивановна.

— Все равно,— так же по-свойски наступал он.— Если в Долгине не будет керосина, я вас всех тут разбомблю!

В этот момент в кабинете появился высокий, полный, с детским лицом человек (это был режиссер) и, конечно, заинтересовался.

В свободной комнате, которую, улыбаясь, предложила им для беседы Вера Ивановна, Дима уверенно опустился на стул.

— Какие будут ко мне вопросы?

— Ну, сначала, наверное, о школе. Ты в каком классе-то учишься?

— В десятом.— Дима стал распаковывать одну из своих сумок. Где-то там, на дне, у него лежала тетрадка с планом общественной работы, но она никак не находилась. Он выкладывал к себе на колени учебники, пакеты с крупой и с солью, кусок хозяйственного мыла, железный баллончик, на котором был нарисован таракан, целлофановую бумажку с перцовым пластырем...

И режиссер наконец засмеялся:

— А пластырь-то зачем?

— От радикулита.— Дима продолжал копаться в сумке.— Ну вот, наконец. Тут все наши мероприятия записаны! И сдача макулатуры и по пионерской атрибутике.

— И по атрибутике тоже? — Режиссер продолжал смеяться.

— А как же! Я у нас в школе уже целый год детьми занимаюсь. Вот добился, чтобы им барабаны новые купили. Они это любят — чтобы с музыкой ходить. Они у меня и частушки часто спрашивают. Сегодня на перемене тоже просили.

— И ты пел?

— Пел. И вам могу спеть.

Дима встал со стула и громко прокричал:

Лучше Гриши нет мужчины.
Очень он сознательный.
Купил Зине в магазине
Карандаш писательный.

— Интересно,— растерянно пробормотал режиссер. Он еще не привык к Диме.

— Конечно. Видите, несколько слов, а все понятно: и про Гришу, и про Зину, какой он и какая она.

— А ведь и правда понятно,— обрадовался режиссер.— Ты так хорошо это объяснил! Значит, у вас в деревне еще поют?

— Поют.

Дима рассказал режиссеру про старух и опять начал шпарить частушки.

— Ну, а перед камерой ты сможешь, как сейчас со мной, разговаривать?

— Почему не смогу? У меня секретов нет.

Так Дима попал на экран. Снимали его много, а в передаче осталось совсем мало. Какая-нибудь минута, когда идет он с сумками по лесу. («Каждый день в любую погоду Дима Градусов носит старым жительницам своей деревни из магазина хлеб, ходит по их просьбам в сельсовет, в дирекцию совхоза»,— объяснял голос за кадром.) И еще минута, когда он говорит, что после школы станет агрономом или «мамадоем» — мастером машинного доения. Сельская жизнь для него не хорошая и не плохая, а своя...

После этого его стали узнавать совсем незнакомые люди. Они спрашивали: правда ли насчет старух, не приукрасили? Советовали и дальше не задаваться.

— Простой ты у нас парень. О джинсах не мечтаешь, хороших отметок не выпрашиваешь. И телевидение помогло мне понять: ты без удобств рос, вот в чем дело,— сказала ему как-то директор.

— Да чего вы, Тамила Степановна, из меня все кого-то делаете? — обиделся он.— Я вон и «дипломат» себе летом справил. Только с ним ходить неудобно. Кроме книг, ничего не положишь, а руку занимает.

После телевидения за Диму взялись газеты. Больше всего его расстроила первая заметка.

— Надо же, Алевтина Петровна, такую глупость сочинить!

— Да какую?

— Вот! «В детстве коров он боялся, как, пожалуй, всякий городской ребенок. Первое время, уже живя в деревне, прятался, завидя стадо. Ведь родился Дима и в школу пошел в Москве»,— он протянул ей газету.

— Не бери в голову,— сказала она.

— Да как же не брать? Я ему про Долгино — чтоб людям чем-нибудь помог. А он свое долдонит: «Ты в совхозе останешься?»

Заметка была о том, что Дима «стал человеком, который любит многотрудную сельскую жизнь и не мыслит себя в другой». Оказывается, его сделала таким молочнотоварная ферма, где он после восьмого

класса «отрабатывал трудовую практику». Там-то и решился для него вопрос, кем быть. «Только животноводом в своем совхозе».

— Читаю — и сам себе противный,— вздохнул он.— А другие что подумают?

Через неделю Алевтина Петровна собралась к Диме в гости. Он давно ее звал. В доме были его родители, приехавшие на выходной. Веселый грузноватый папа каждые пять минут вставал перед нею:

— Спасибо за чадо. Человека вырастили!

Мама смеялась:

— Иди, Саша, забор чинить. Дай женщинам отдохнуть.

Он уходил, но, не дойдя до порога, возвращался:

— Я, как отец, должен сказать. Одна у меня сейчас беда. Не хочет быть офицером.

— Саш, но я же тебя нежно прошу, иди отсюдова,— хохотала мама.— Закуси, Саша, и давай шпарь забор чинить.

— Родная моя, да плюнь ты на этот забор. Я с учительницей хочу поговорить. Такого чадуку нам вырастила — весь Союз знает!

Мама сама повела папу заниматься забором.

— А это вот бабушка.— Дима подошел к портрету на стене.

— А я ведь ее, кажется, знала! — воскликнула Алевтина Петровна, присмотревшись.— Точно, нас даже знакомили. Я зашла к одной своей ученице, а твоя бабушка у ее бабушки в гостях сидела. На столе у них чайник стоял, варенье и чекушка.

— Правильно,— обрадовался он.— Это у них обязательно, в гости к подруге — с чекушкой. Ходят друг к другу с одной и той же, пока не разобьют. А еще чего вы помните?

— Про политику они что-то говорили.

— Верно. Они про политику любят. Мне баба Дуся даже из газет вырезает, где что на базах гниет. Я к ним захожу: будем политзанятие проводить? Вчера со мной на письма отвечали.

Большая, перевязанная бечевкой стопка лежала на тумбочке около телевизора. Алевтина Петровна знала, что после телепередачи Дима стал получать письма, но не думала, что их так много.

«Здравствуй, Дима! Пишет тебе незнакомая Галя,— прочитала она, открыв один из конвертов.— Я увидела тебя по телевизору и сразу поняла, что ты настоящий парень. Мне тебе очень много надо сказать! А пока сообщаю коротко. Я сейчас учусь в девятом классе. После школы думаю поступать на воспитателя детского сада. А кем хочешь стать ты? Неужели, правда, агрономом? Напиши обязательно о себе. И, пожалуйста, пришли свою фотку...»

В конверте был и не отправленный еще ответ:

«Здравствуй, Галя! Письмо твое получил 3 ноября этого года. Агрономом я правда хочу стать. А чего рассказывать тебе еще? Я до конца не понял твою мысль. Что ты хочешь мне сказать? Напиши это, пожалуйста, подробнее. Чего тебя интересует? Не обижайся, что не посылаю своего фото. Они у меня все, даже которые для паспорта, кончились...»

Несколько писем лежало отдельно. Дима сказал, что они тяжелые.

«Здравствуй, Дмитрий! С приветом к тебе Антонина. Сначала опишу о себе. Живу я далеко, на Урале. И очень мне здесь не нравится! У нас в совхозе все, начиная с директора, даже разговаривать по-человечески не умеют, а только кричат, да еще какими словами! Мама говорит им правду, какие они есть. А они нам за это квартиру маленькую дали, всего из двух комнат. А ведь у нас в семье восемь человек! Мама у меня — большая труженица. В прошлом году Катю родила, а через три месяца ее уже на работу попросили. Доить совсем, говорят, некому. Мы с братом ей помогаем. Она утром, а мы с Колей вечером, и наоборот. Но у нее все равно ноги болят и вены расширились. А другие у нас пьют, безобразничают, и им все с рук сходит. Я, Дмитрий, увидела тебя по телевизору, и мне показалось, что ты не такой, как другие. Иначе бы ты не ходил для этих старушек. Вот и подумала: может, он мне что-то посоветует, как жить дальше? Мне ведь, как и тебе, надо в этом году кончать школу. Жить, работать! А как посмотрю вокруг, и руки опускаются...»

«Здравствуй, Антонина! — отвечал он.— Я тоже не люблю пьяниц и тех, которые на работе кричат. Кричать на человека — это, я считаю, самое послед-

нее дело. Но я хочу тебе сказать. На всех не натыкаешься. Живи по-своему и держи себя в руках. У каждого ведь бед хватает. И совсем плохих людей, по-моему, мало. Их даже вообще, можно сказать, нет. Есть растерянные или обозленные. А таким надо тоже помогать, чтобы в себя пришли. Добра злом не добьешься. Так я считаю. Ты, Антонина, на меня не серчай, что я это говорю. Пиши еще, а я буду отвечать. Твой заочный друг Дмитрий...»

12. Суженый-ряженый

Опять пришла зима. Во дворе школы появилась высокая ледяная горка и розовые, как пряники, фигуры зверей: медведя, зайца, чебурашки. Дима вылепил их из снега, а раскрасил марганцовкой. После уроков, забегая к Юле, он делился своими успехами:

— Я человек упорный. Я к самому пошел: «Валентин Петрович, вас мои старухи так уважают, а им только по пятьдесят килограммов фуража выписали. Дайте по семьдесят». По сто дал, во как! Пусть меня хоть подхалимом считают, а я выпрошу. Я, товарищи дорогие, так считаю. Не теряйся, делай, что можешь.

На улице сильно мело, дорогу в Долгино то и дело заносило метровыми сугробами. Пристроившись около телефона, Дима терпеливо набирал номер за номером:

— Это сельсовет? Здравствуйте, Дима Градусов вас беспокоит. Вера Ивановна у себя? А куда? И надолго? Большое вам спасибо... Дирекция? Здравствуйте, Градусов беспокоит. Где мне можно найти Светлану Арсеньевну? Конечно, подожду... Светлана Арсеньевна? Здравствуйте, Дима Градусов... Совершенно верно, по этому самому вопросу. За водой на колодец не можем пройти. Честное слово! Я вчера из-за этих заносов даже в школу не попал. Понимаю, что не в первую очередь. Но что ж нам делать-то? А может, вы ему сами скажете?.. Нет физической возможности? Понимаю. Хорошо. Я прямо сейчас буду звонить... Это гараж? Мне Александра Ивановича. А вы не подскажете его домашний телефон?

Очень нужно! Большое спасибо. Извините, что потревожил... Это квартира Ионовых? А это кто? Марина? А почему ты не на продленке?.. Так это чепуха. Картошки навари и дыши над паром. А папа дома?.. С каким дядей Женей? Ну, выздоравливай быстрей. Минздрав СССР предупреждает: болеть вредно...

Немного помедлив, он опускал трубку.

— Дим, иди к нам чай пить,— звала его из кухни Алевтина Петровна.

— Некогда мне сегодня чаи распивать. Я знаю, трактор у них сейчас есть. А будет ли завтра, это еще вилами по воде писано.

Он продолжал переминаться с ноги на ногу, потом быстро натягивал высокие, до колен, валенки и уже от двери кричал:

— Пошлите меня к черту! Опять к самому иду...

Через час он уже был здесь:

— Поехали чистить. У нас всего можно добиться, надо только знать, как.

Приближался Новый год. Снегу было так много, что даже здесь, в поселке, машины застревали в сугробах, а люди пробирались к своим подъездам по узким, как траншеи, тропинкам. В школе обсуждали план новогоднего утренника для малышей. Дима собирался быть у них Дедом Морозом, а потом явиться к Юле суженым-ряженым.

— Я к тебе цыганкой оденусь,— обещал он.— Возьму у бабы Дуси юбку длинную, на уши повешу вместо серег прищепки, в руку — колоду карт и буду гадать, что сбудется с нами.

— Давай уж хорошее что-нибудь предсказывай. А то в дом не пустим,— предупреждала Алевтина Петровна.

— Алевтина Петровна, не сомневайтесь. Я, когда гадаю, всегда хорошее выходит. У меня рука легкая.

Получилось иначе. Юля перед самым Новым годом уехала с отцом к деду в Ташкент, он давно ее звал. И когда первого января пришел Дима, в доме сидела с вязаньем на коленях одна Алевтина Петровна.

Он совсем зазяб, утром ударило под двадцать градусов, но старался держаться, как обычно, весело.

— Ну, а где же твои прищепки? — спросила Алевтина Петровна.

— А вот!

Вытащив из кармана, он прицепил их к ушам и запел:

Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила.
Мимо окошка шел Алешка,
Я без памяти была.

Но что-то не клеилось.

— А вы тоже Новый год одна встречали? — спросил он.

— Да нет, в компании с учителями.

— А у меня мама с папой не приехали. Старушки наши тоже расклеились. Так с бабой Дусей в темноте и просидели.

— Почему в темноте?

— Столб у нас третьего дня повалило. Вот хочу от вас в Мосэнерго звонить. А то сидим с керосиновыми лампами.

Пока он звонил, Алевтина Петровна достала на стол варенье, пирог с яблоками, а рядом положила маленькую кухонную доску, на которой была нарисована красавица с задранным носом.

— А это тебе Юля подарок оставила. Помнишь, ты просил?

Юля с детства любила рисовать, особенно по дереву. Сначала она даже пошла работать на местную фабрику игрушек. Но оплата там была сдельная, заказов немного. Чтобы не отнимать у мастериц их хлеб, Юля уволилась, но иногда под настроение продолжала расписывать то матрешек, то разную кухонную утварь.

— Я ее у себя в изголовье повешу,— сказал Дима.— Она будет у меня Аксинья.

Меня милый не целует,
Говорит: курносая.
Как же я его целую,
Черта длинноносого?

Он спрятал доску за полу пиджака.

— А чего Юля-то вдруг уехала? Ведь вроде не собиралась.

— Да нет, Дима, она собиралась. Давно соскучилась по деду.

— Ну, пусть... Пишите ей от меня большой привет и что приходила тут одна цыганка, нагадала много хорошего. И ей и вашему дедушке.

Он встал из-за стола.

— А теперь пойду я. Баба Дуся уж, наверное, ждет не дождется.

Дима тихо прошел в коридор, потом, обернувшись к Алевтине Петровне, пропел:

Дайте в руки мне гармонь,
Золотые планки.
Парень девушку домой
Провожал с гулянки,—

влез в валенки и быстро исчез в морозной синеве за окном.

Алевтина Петровна понимала, что ему сегодня грустно — шел шесть километров по сугробам и не застал Юли, что брести назад к старухам ему будет еще хуже, а с другой стороны... Этому мальчику посвоему повезло, думала она. Он, как в сказочной Берендеевке, вырос среди подлинной народной речи, обычаев, культуры, из которых, как сам говорил, плохое уже ушло, а хорошее осталось. Мать его росла в Долгине, когда Софья Егоровна с утра до вечера гребла сено и таскала на себе в город бидоны с молоком, а Дима — когда получала пенсию, чувствовала себя свободной, ни от кого не зависимой, могла больше уделять ему времени, души, видела в нем свое последнее дело на земле.

Все каникулы Дима просидел с керосиновой лампой. Заносы были такими, что ни одна техпомощь не могла пробраться, а тракторов не хватало для расчистки подъездов к фермам. В тот январь даже электрички ходили в Москву нерегулярно. Когда начались занятия, он стал чуть не каждый день опаздывать в школу. Вставал в темноте, возвращался в темноту, спал по пять часов, иначе невозможно было управиться с курами, дровами, печкой, и все равно не успевал.

— Что-то ты, Градусов, разленился. К экзаменам готовиться совсем не хочешь,— сказала ему наконец директор.

Он опоздал в тот день на целых два урока.

— Тамила Степановна, так ведь снега, стихийное бедствие.

— А думаешь, я не ходила в юности по таким снегам? Тебя недавно на весь Союз показали, а ты первых трудностей испугался.

На занятиях Дима сидел понурый, а после уроков зашел к Алевтине Петровне и прямо с порога высказал:

— Все. Терпение кончилось. Отказываюсь я.

— От чего?

— От Долгина. В Москву поеду, к отцу в бригаду.

— А как же бездушный металл? — по инерции пошутила она.

— Пропало у меня, Алевтина Петровна, к сельской жизни.

Он опустился в углу кухни на табурет и надолго затих. Она растерялась. Уедет — значит, не закончит в этом году школу.

— Дим, а может, потерпишь? Немного уж осталось.

— Да километров с тысячу. А может, и больше — туда-назад по сугробам.

Он опять надолго затих.

— Дим, Юля скоро приедет. А тебя нет. Грустно ей будет.

— Да не могу я, поймите!

— И мне тоже будет грустно.

— Алевтина Петровна, пожалейте. Не накладывайте на меня такую ношу.

Он вскочил и побежал к двери.

— Я там один, как в пропасти, сижу!

Его душили слезы.

Алевтина Петровна не могла найти себе места. Каково этому мальчику было год за годом первому проламывать путь в снегу, хлюпать по грязи, под дождями с пудовыми сумками, она по-настоящему отдала себе отчет только в этот вечер. А Дима в тот вечер вернулся домой, зажег фитиль в лампе, сло-

жил в дорогу кое-что из вещей, посидел немного с прыгнувшей на колени кошкой. А потом достал из узла разрисованную Юлей доску, повесил ее назад в изголовье кровати и пошел к бабе Дусе.

— Ну, что новенького там в мире? Никто не помер? — спросила она.

— Про то, кто помер, я тебе, Григорьевна, завтра скажу. А пока держи гречку. Сегодня в магазине давали, так я взял на тебя.— Он протянул ей большой серый пакет.

13. Обручальное кольцо

Встретившись с Димой, режиссер телевидения Олег Горпенко понял, что об этом мальчике и его старухах можно снять не только один эпизод для обычной передачи, а целый фильм. Несколько дней он бредил этой идеей, кадр за кадром прокручивал в мыслях свое необыкновенное кино, потом опустился на землю и остыл. Пока идею обсудят, согласуют, вставят в план, мальчик станет мужчиной, деревню затопят, а старухи уйдут играть на том свете белыми камушками.

Жалуясь на такую жизнь, Горпенко рассказал о Диме знакомому писателю, а тот — мне, автору этих строк. Было это в декабре, как раз когда Дима собирался идти к Юле суженым-ряженым.

Я нашла его в школе, там же познакомилась с Юлей и Алевтиной Петровной. После уроков мы с Димой пошли к нему в Долгино — на чаевник к Евдокии Григорьевне Макеевой. Когда мы вошли, в сенях уже пыхтел ведерный самовар, а в горнице вокруг большого стола сидели: сама хозяйка Евдокия Григорьевна, Анастасия Ивановна, Анна Ивановна, Анисья Кузьминична, Аграфена Максимовна... Они раскладывали карточки для лото и вполголоса пели: «При знакомом табуне конь гулял по воле...»

— Хочу, чтобы они на Новый год в клубе выступили,— сказал мне Дима.— Исаак Ароныч, директор, в принципе не против. Фольклорный хор. Надо только, чтобы совхоз машину за ними прислал. На днях пойду договариваться.— Он повернулся к старухам:

— Как? Покажем им, на что Долгино способно?

Их беспокоил гармонист. Таких, каким был дед Максим, теперь нет.

— Теперь все другое. Вот и мы, как молодые, на посиделки собираемся,— сказала Евдокия Григорьевна и вышла на середину комнаты.

Ах, и топнула я, да перетопнула я,
Съела цельного барана и не лопнула я!

За перегородкой проснулась ее двухлетняя внучка Анечка. Девочку на пару дней принесли из поселка погостить, и она в непривычной обстановке испугалась. Дима тут же пошел, взял ее на руки:

— Не бойся. Ну, не бойся же. Я тебя, красавицу, никому не отдам.

Он стал обувать ей крошечные, как игрушки, валенки, оправил платьице, и девочка затихла.

— Последний годок, Димка, мы тут с тобой дурака валяем, а потом грустно будет,— сказала Евдокия Григорьевна.— Вот поедешь куда учиться или в армию служить, так ты нам хоть открытки присылай.

— Обязательно. Вы в этом не сомневайтесь. На побывки буду приезжать, гостинцы привозить.

Баюкая Анечку, он пропел:

Вы солдаты, мы ваши солдатки.
Вы служите, мы вас подождем.

На улице все мело, лепило в окошки хлопьями, настраивало на что-то сказочное или, как говорили в старину, святочное.

В Москве я стала рассказывать о Диме знакомым. Один из них, отец трех дочерей — Мавры, Вассы и Анисьи,— был счастлив, когда узнал, что Дима научился у своих старух прясть.

— Только бы не испортила твоего мальчика известность,— переживал он.— Вот напишешь, пойдут к нему письма. Захочется ему другой жизни, и станет он, как все.

Пришлось сказать, что письма уже идут, а другая жизнь начнется в любом случае. Деревню будут затоплять.

Прошел год. Дима окончил школу, стал работать на ферме «мамадо́ем», занял первое место на област-

ном конкурсе молодых дояров и доярок и второе — на республиканском. В жизни Юли тоже произошло важное событие: она поступила в университет. Перед Новым годом я приехала их поздравлять.

Дима заметно возмужал, раздался в плечах, в движениях появилась рассчитанная медлительность человека, занятого тяжелым физическим трудом. Я спросила, что ему помогло победить на конкурсах.

— На областном, наверное, обида,— сказал он.

Этот конкурс проходил здесь, в Кузнецове. В самый разгар соревнования, перед решающей дойкой, к ферме подкатила наро-фоминская машина. Из нее вышла женщина. Она пошла прямо к Диме и велела ехать с ней в Наро-Фоминск — выступать там насчет Продовольственной программы.

— Насчет чего? — удивился Дима.— Сейчас моя очередь доить.

Он хотел бежать назад к коровам, но женщина схватила его за халат.

— Выступление для тебя, Градусов, сейчас важнее, чем конкурс.

— Но почему? Я же не лектор какой-нибудь.

— Ты только месяц как работаешь. Первого места тебе все равно не занять.

— Да откуда вы это знаете? — Дима задрожал и рванулся прочь. Халат так и остался у женщины.

Он занял первое место, а вечером в Долгине пил папин валидол. Думал, что лекарство поможет быстрее прогнать обиду, бабушка ведь наказывала на людей не обижаться. Да и там, где сердце, что-то действительно покалывало.

С тех пор ему не дают работать. Каждый раз отказываться от выступлений трудно, и собраний, совещаний, слетов, где Дима читал по чужим бумажкам, уже было столько, что нет никакой возможности запомнить, как они точно назывались и кто их устраивал. Две недели назад его послали в Молдавию перенимать опыт, а через три дня отозвали — опять выступать.

— Надоело. Буду с этим кончать! — говорил он.

Работать Дима старается. Сначала он доил семьдесят коров, а в октябре взял еще тридцать. Заработки у него хорошие. За прошлый месяц выписали

без малого три сотни, а сейчас, наверное, будет еще больше. Но деньги за так на ферме не платят. Первая дойка у них в шесть утра, вторая в полдень, третья в шесть вечера. Три раза в день Дима раздает корма, подмывает каждую из ста своих коров, протирает вымя полотенцем (они особенно любят шершавые, вафельные), смазывает вазелином соски, делает массаж, сто раз ставит и снимает доильный аппарат. А после смены надо еще убраться,— скотников у них не хватает,— помыть аппараты. Потом шагать пять километров в Долгино.

Сейчас его поставили в пару с дояркой Тамарой Шведовой. Она лауреат международного конкурса — ездила в Болгарию, хороший, независтливый и неугрюмый человек, а это на работе очень важно. Когда Диме присвоили квалификацию мастера машинного доения, некоторые доярки стали обижаться. Почему они по десять лет доят, а квалификации не имеют и получают меньше?

— Так вы же аппарат разобрать не умеете, а он без слесаря может обойтись,— объясняла им Тамара.

— А почему ему корма по весу отпускают, а нам на глазок?

— Он требует, воюет, а вам все равно. Следите, чтобы коровы зеленку не затаптывали, и молока будет больше.

Тамара помогала Диме, они подружились. Над ними стали подшучивать: что-то, мол, между ними есть или будет. Однажды это позволил себе даже сам директор совхоза.

— Валентин Петрович,— твердо сказал ему Дима.— Что там вам наговорили, я не знаю. Но чтобы этого больше не было!

Когда директор уехал, доярки начали смеяться.

— Она же в возрасте,— объяснил им Дима.— Ей двадцать пять уже.

Осенью он вызвал Шведову на соревнование. Конечно, с его стороны это было нахальство, но он собирается победить.

Я спросила Диму, какие у него еще планы.

— Вот перейду с января на двухсменку, чуток отосплюсь и буду ездить в Москву на курсы,— ска-

зал он. Речь шла о подготовительных курсах при ветеринарной академии. Он изменил свое решение: будет не агрономом, а ветеринаром.

Отсыпается Дима в расположенном невдалеке от фермы общежитии. Еще осенью ему дали там кровать, но тогда он пользовался ею в основном днем, между дойками, а сейчас часто остается и на ночь. Зима в этом году теплая, но все-таки зима. Можно бы вообще не ходить в Долгино, но не хочется запускать дом, да и старух надо проведывать.

— Полегче станет, когда деревню ликвидируют и нам всем квартиры дадут. Но это уж, наверное, только после армии будет,— вздыхал он.

В армию ему через год.

Юля, слушая наш разговор, наряжала елку.

— Дим, а куда тебя берут? — спросила она.— В какие войска — еще не известно?

— Сказали, в автобат. Пушку буду возить. Но кто его знает? Мой двоюродный брат тоже должен был возить пушку, а попал в подсобное хозяйство и два года доил там коров. Только он это не любил. Юль, почему так? Кто любит, тому не дано, а кому дано, тот не любит?

— Может, чтобы люди больше стремились к тому, что они любят? — Юля повесила на ветку большую стеклянную сосульку и опустилась на диван — полюбоваться елкой.

За этот год она тоже изменилась. В светлых глазах появилась усталость. Университет не дается даром. Юля смогла поступить только на вечернее отделение, а это значит — никакого общежития. Вся надежда на старенький «Запорожец» отца, который после работы четыре раза в неделю возит ее в Москву. Электричка, к сожалению, не для Юли.

Полюбовавшись елкой, мы заговорили о прежнем.

— Меня еще бабушка учила. Кто многого хочет, у того мало получается. А кто мало хочет, у того больше выходит. Мечта должна быть большая, а глаза незавидущие. Вот у нас одна доярка есть. Ей всегда чего-нибудь не хватает. Нудится целую смену; и аппараты у нее падают, дойка не идет. А мы со Шведовой, пока доим, все песни пропоем.

— А может, у вас на ферме народ хороший подобрался? Вот ты и поешь,— сказала я.

— Да ну, народ везде одинаковый, не хороший и не плохой. Бабушка говорила: он, как река большая. Когда ветер, она плещется, когда мороз — под лед уходит, а в хорошую погоду — благодать, не отвести глаз.

— А от чего погода-то зависит? — спросила Юля.

— От начальства. Ну и от атмосферы тоже.— Дима засмеялся, но быстро стал серьезным.— Взять хоть ту же соль-лизунец. Почему я ее должен по знакомству доставать и потом тащить в мешке на собственном горбу? А с комбикормами что делается?!.— Он, вздохнув, подошел к елке и зажег гирлянду лампочек.— Ладно, переживем...

Устроившись под елкой, Дима начал рассказывать нам про своих коров. Звездочка безалаберная, никак не стоит на месте. Каждый раз перед дойкой Дима подходит к ней и говорит: «Звездочка, доченька, красавица ты моя ненаглядная, встань на место!» И тогда она встает. Это как волшебное слово. А Ревизия у него привередная, любит, чтобы полотенце, когда вымя протираешь, было хорошо расправлено, без зигзагов, а вода чтобы была горячей.

Кстати, внимание к воде дало Диме лишний балл на всероссийском конкурсе в Омске. Там перед дойкой по халатности, а может, и специально воду не подогрели. Другие бросились скорее подмывать коров, а Дима обмакнул в ведро руку и, оттолкнув его ногой, громко объявил: «Я такою водою мыть не буду»! Он победил всех, кроме Васи Мирошниченко, который работал на той самой ферме, где проходил конкурс. Другие накануне дойки поехали на экскурсию в город, а Дима пошел к местным дояркам, стал расспрашивать о повадках коров. Это ему и помогло. С коровами не только технология, но и психология нужна, как и с людьми.

— Зоопсихология,— сказала Юля.— Я ее тоже буду изучать.

— Правда? — заинтересовался он.— А книг у тебя об этом нет? Я коров двадцать никак не могу раскусить. Одна Соломка — пробовал и лаской и сердито. Ничего не доходит. Стоит, доится, как ма-

шина, а в результате пять литров в день и хоть что хочешь.

Дима любит давать коровам имена. Недавно на ферму пришла партия телочек, и он целую ночь не спал — думал. Одну назвал Мода. Она вся ряженая: рыжая, белая, черная и на груди пятна круглые, как пятачки. Другую — Медаль, в честь побед на конкурсах. А еще одну — подошел как-то главный зоотехник:

— Всех твоих коров знаю. А эту как зовут?

— Интрига,— пошутил Дима.

Так и стали звать Интригой.

— Это глупость — считать нашу профессию женской. Она большой физической силы требует. Хотя коровы, у нас пока к женщинам тянутся больше. Я думаю, у них привычка сказывается.

Дима достал из кармана гладкое медное кольцо.

— Вот купил недавно в магазине обручальное, за восемьдесят копеек. Оно мне почти от каждой коровы прибавку дает. Примерно до ста граммов. Я проверял.

— Это тебе кто-нибудь посоветовал или ты сам придумал? — спросила я.

— Сам. Смеялись как-то на ферме, чего коровам в мужике не хватает. И меня вдруг как ударило: колец — вот чего. Кольцо, особенно обручальное, гладкое, широкое, катится, когда подмываешь, по вымени, и корова к этому привыкает, старается молока побольше отдать. А вот духов они не любят и губной помады тоже.

— Ты и это на себе пробовал? — улыбнулась Юля.

— Помаду нет. А от одеколона у меня убавка получилась.

Мы засмеялись.

— Юль, давай потом вместе на ферме работать. Ты будешь заниматься психологией животных, а я их лечить,— предложил Дима.

— Ладно, поживем — увидим.— Юля подошла к горевшей в сумерках комнаты елке.

На этот раз встречать Новый год в Ташкент уехала ее мама.

Когда повесть была напечатана, из редакции мне стали присылась письма читателей. Некоторые из писем были адресованы Диме. В один прекрасный летний день я сложила их в пакет и, чтобы передать по назначению, поехала по старому маршруту. Письма, конечно, были только предлогом — мне давно хотелось еще раз увидеть Диму, побыть с Алевтиной Петровной, поговорить с Юлей.

Среди писем для Димы в моем пакете было и вот такое:

«От Сахановой Евгении Авксентьевны, Калининская область, поселок Редкино. Здравствуй, уважаемый, хороший человек Дима Градусов! Большой привет Юле, Алевтине Петровне, старухам, тебе и всем-всем, кто дорог тебе и близок. Всегда удивлялась, когда пишут человеку, прочитав о нем в газете или журнале, а тебе, Дима, не написать не могу, извини. Сейчас глухая ночь, за окнами дождь шумит, я только что отложила журнал «Юность», где о тебе. Ты молодец! Настоящий парень. Человек, как у Горького, с большой буквы. Знаю, тебе можно это сказать, не зазнаешься, ума хватит. Алевтина Петровна говорит, что с тобой какая-нибудь девочка счастье найдет. Это несомненно. Счастливы люди, знающие тебя даже вот так, как узнала я. Хорошо, что ты есть такой вот. Такими, как ты, Дима, земля держится и жизнь движется. От души желаю больших сил тебе, здоровья, счастья. А чтоб знал, кого восхитил, задел, как говорится, за живое, то я — директор школы рабочей молодежи с 24-летним стажем педагогической работы. Спасибо, Дима, всего наилучшего тебе и твоим старухам: бабе Дуне, бабе Насте, бабе Нюше, бабе Груне...»

В квартире Алевтины Петровны, на нижнем этаже современного дома возле школы, все было так, как и полтора года назад, когда Дима забегал сюда после уроков погреться и отдохнуть перед дорогой

в Долгино. Лишь окна были по-летнему распахнуты, и на столе в большом блюде лежали первые, только что с дерева, яблоки. Своего сада у них, к сожалению, нет, но друзья вот угощают.

— И Кузя у нас пропал,— сказала Юля.

Этого Кузю, небольшого, с куцым хвостиком псадворняжку, я не сумела поместить в повесть — както не влез, не нашлось для него места, хотя в реальной жизни моих героев он место занимал, и теперь они тосковали. Да и мне уже с порога стало не хватать его деликатных просьб о внимании. Кузю, рассказывала Алевтина Петровна, погубили мальчишки, самые обыкновенные, двенадцатилетние. Он привык самостоятельно бегать по поселку, а недавно побежал и не вернулся. Его нашли на пустыре с пробитой головой.

— Дима у нас в школе был не такой, как все, а мне надо уметь воспитывать всех,— вздохнула она.— Кстати, Димка собак не любит, они же, как говорила ему бабушка, о смерти воют, но тут он, когда узнал, чуть не заплакал.

Мы отправились на кухню, там как-то уютнее, Алевтина Петровна поставила чайник и вдруг засмеялась:

— А чего это я у вас в повести все вяжу да вяжу?

— Действительно,— подхватила Юля.— Мама у вас такая рукодельница получилась.

Я ничего не понимала. У меня до сих пор в памяти, как Алевтина Петровна сидит и спокойно вяжет, а Юля с Димой слушают пленки и разговаривают о смысле жизни. Он еще тогда сказал, что ему на отвлеченные темы думать некогда, надо печку топить.

— Ага, сказал,— кивнула Юля.— Но только вязала-то при этом не мама, а сам Димка. Он меня учил бабушкиному способу петли спускать. Мама у нас вязать не любит, ей терпения не хватает.

— Ладно, у вас это ничего получилось, читать можно,— простила меня Алевтина Петровна.

Мы заговорили о Диме. Он должен был уже прийти, но, видимо, задержался на ферме. Дима теперь абитуриент, доит только по воскресеньям, рассказывала Алевтина Петровна, в остальные дни пропадает в Москве, на подготовительных курсах при зооинженерном факультете Тимирязевской академии. Через пару недель он будет сдавать туда экзамены.

— Но он ведь собирался быть ветеринаром,— заметила я.

— Правильно, собирался,— сказала Юля.— От ветеринарии его наш папа отговорил.

Георгий Владимирович всю зиму твердил, что быть зооинженером гораздо интереснее, чем коровьим лекарем, подробно рассказывал о потрясающих возможностях племенной работы, о конструировании новых необыкновенных свойств у животных и, наконец, добился своего. Алевтина Петровна таким поворотом довольна. Совхозу сейчас нужны именно зооинженеры, а Дима от совхоза зависит: если поступит, то будет получать стипендию в семьдесят рублей.

— Ругается: от известности, говорит, проходу не стало, скоро в милицию заберут,— улыбнулась Алевтина Петровна.

Оказывается, недавно ему пришел штраф за безбилетный проезд в электричке. Кто-то воспользовался его именем, пришлось Диме побегать.

Со мной произошла похожая история. Ветеран труда Лидия Густавовна Фишер прислала в редакцию письмо: «Повесть я читала своим домашним вслух. Мы не переставали восхищаться Димой Градусовым, его характером — цельным, честным, добрым. Но, оказывается, повесть понравилась не только нам. Посылаю вам вырезку из воронежской газеты «Молодой коммунар». Статья называется «Мед-

ное колечко и зоопсихология». Подчеркнутое мной целиком списано из вашего журнала...»

Списан был разговор Димы с Юлей, когда она поступила на факультет психологии МГУ. Но в статье говорили не они, а корреспондент с молодым воронежским дояром. Точь-в-точь, как Дима, этот дояр рассказывал корреспонденту о психологии своих коров, надевал перед дойкой обручальное колечко, рассуждал словами его бабушки о народе: «Он как река большая. Когда ветер, она плещется, когда мороз — под лед уходит, а в хорошую погоду — благодать, не отвести глаз».

— За бабушку Дима, когда узнает, особенно обидится,— вздохнула, прочитав все это, Алевтина Петровна.

Но она ошиблась. Дима не обиделся. Позже, когда я дала ему статью, он долго не мог ничего понять, а когда понял, расхохотался.

— Ну и лентяй! Списал, как в школе на сочинении. А вы его хоть потом спросили, о чем он думал?

— Спросила,— кивнула я.— Он мне по телефону объяснил, что думал о том, как привлечь молодых читателей газеты к сельской жизни.

— Такие привлекут,— грустно сказал Дима.

Но пока его еще не было, и мы продолжали рассуждать о том, хорошо это или плохо — стать известным.

— Я, когда была маленькая, лежу, бывало, загипсованная, в больнице и мечтаю: вот бы кто-нибудь обо мне сказку написал,— вспоминала Юля.— И видите — сбылось. В университете девчонки даже не поверили: неужели такой Дима может существовать на самом деле и я его знаю? А я важно киваю: да, существует, да, знакома... Себя я у вас как-то не очень узнала, а вот Димка похож.

— Вам бы наших учителей послушать.— Алевтина Петровна стала разливать чай.

После того как в поселок пришел журнал с повестью о Диме, педагогический коллектив дружно осу-

дил Алевтину Петровну за то, что она, во-первых, не дала автору отразить роль классного руководителя и других педагогов в воспитании Градусова, во-вторых, печатно обвинила учителей в неумении правильно говорить по-русски и, в-третьих, что хочет уехать из «этой глуши» в какие-то заповедные места.

Растерянная Алевтина Петровна сначала пыталась объясниться. И про автора — автор сам решал, что ему отражать, и про русский язык — учителя «купляли курей» не сейчас, а пятнадцать лет назад, и не здесь, а в деревне Мамошино, где она тогда жила, и про заповедные места — имелся в виду не курорт, а лесничество, то есть гораздо большая глушь, чем их подмосковный поселок. Все было напрасно, учительская продолжала гудеть до самых каникул.

— Они меня просто не слышали.— Махнув рукой на осуждающий взгляд Юли, Алевтина Петровна потянулась за сигаретой, но тут раздался звонок, и на пороге появился Дима. Сигареты, к радости Юли, были мгновенно спрятаны. При учениках, даже бывших, Алевтина Петровна не курит.

— Чепуха. Я же к вам ходил, как к себе домой, а не к другим педагогам,— одной фразой решил вопрос о своем воспитании Дима.

Выглядел он не так, как прошлой зимой. Похудевший, мешком опустился на стул и сказал:

— Бабу Настю завтра хоронить будут.

После дойки он успел сбегать в Долгино проститься и от быстрого, туда и назад, бега никак не мог отдышаться.

Старуха умерла в одночасье. Соседки пришли, а она лежит возле открытого шкафа (видно, валерьянки хотела накапать), и колени поджаты. А была она до самого конца бодрая, всем интересовалась, успела даже в журнале про себя прочитать. Она немного разбирала по-печатному, а более грамотная баба Нюша ей показала, на какой странице. «Представляешь, мужа моего вспомянули,— неделю назад сказала ба-

ба Настя Диме и достала из-за иконы книжку журнала.— Вошел он ночью в дом и сапоги снимает: «Ох, как я устал!» А я голос узнала: «Васька, ты?!» «Я, Наська, я»,— и засмеялся. Об этом и написали.

— Она велела вам поклон передать,— сказал мне Дима.

Баба Нюша тоже довольна, хорошо, говорит, что написали, как они в те годы работали. Всего, мол, о той работе никто уже не узнает, но и за то, что хоть так вспоминают, спасибо. А бабу Дуню обидело, что ее сына Александра расписали лежащим на печи да еще с бутылкой, но грешит она не на него и не на меня, а на Диму: он теперь человек знаменитый, мог попросить, чтобы не писали, чего не следует, а раз не попросил, значит, зазнался. Того же мнения и баба Груня, иначе, дескать, он не дал бы выставить на весь свет ее внучку, покуривающей с парнями сигареты.

— Постой-постой,— удивилась я.— Но ведь имя той девочке я для повести специально другое придумала. Все придумала: и имя и то, что она учится в техникуме. Старалась, чтобы ее родители не узнали.

— Теперь не докажешь. Одну не узнали, а на другую подумали,— спокойно сказал Дима.

— Ты о родителях расскажи. Чего они-то говорят? — напомнила ему Алевтина Петровна.

— Смеются — чего. Мать говорит, что отца хорошо протянули, а отец...— Подражая отцу, Дима обвел нас солидным взглядом и хрипловатым голосом произнес: — Родная моя, если там кого и протянули, так это тебя!

Родители уже не держатся, как прежде, за столицу, годы стали не те. Приезжая теперь в деревню на выходные, мама с удовольствием копается в огороде, отец начал делать новый сарай. Он сейчас работает не в Москве, а тут, поблизости, сантехником в пионерлагере.

— Я ему сказал: «Доработаешь этот год в лагере и дуй к нам на ферму скотником». Работа нетяжелая, все механизировано, по транспортерам, и деньги будет хорошие получать. Я его еще бригадиром сделаю,— мечтательно вздохнул Дима.— Если, конечно, стаканчик не помешает...

В сумерках мы вместе с Димой поехали в Москву. Ему надо было успеть в общежитие до закрытия входных дверей. Мы долго ехали молча, в темноте хорошо молчится. Мне уже начинало казаться, что под усыпляющий шорох шин на хорошей летней дороге мой Дима начинает видеть сны, как вдруг он заговорил. Оказывается, он думал о бабушке.

— Читаю, а сам слышу ее голос, честное слово. Кажется, будто она стоит рядом и тихо все говорит... Не поверите — разревелся!

Когда впереди показалось и стало быстро приближаться зарево Москвы, он сказал, что в последнее время несколько раз задумывался, как бы повернулась его судьба, если бы маленьким остался в этом городе. В его словах было какое-то новое для меня чувство, не совсем понятная мысль.

— Мне теперь так нравится учиться! — попробовал он объяснить.— Просто тянет к этому, и все. Вчера, когда нас с биологии на уборку территории сняли, у меня даже руки-ноги задрожали, представляете?

— И ты думаешь, что если бы прожил все эти годы в Москве, то был бы образованнее? Тебе жалко потерянного времени?— догадалась я.

— Не знаю... Да не в том дело! Я без нашей деревни жить уже не могу, но и побыть студентом мне тоже очень хочется. Студент Тимирязевской академии! — торжественно произнес он и рассмеялся.— Вот куплю себе новое пальто, сапожки — и не узнаете. Конечно, на стипендию не разгуляешься, но я подрабатывать буду, на базах по ночам грузить.

Я высадила его около метро на проспекте Вернадского, и он, размахивая руками, вприпрыжку побежал к светлым дверям станции.

Через три недели Дима сдал на четверки вступительные экзамены, и когда мы встретились с ним снова, действительно уже выглядел студентом.

За несколько дней до нового, 1984 года мы опять сидели у Алевтины Петровны на кухне, ели пирожки и делились новостями. Я привезла еще один пакет писем, рассказала, что по радио собираются транслировать сделанную из повести постановку. Я в ее подготовке не участвовала, была в отъезде, но мне сказали, что артисты играют хорошо и режиссер доволен. Там много частушек, песен, в общем, есть что передавать.

— А они хоть знают, что мы реальные? — насторожившись, спросила Юля.

И попала в точку. Больше всего меня беспокоило, что́ услышат из репродуктора, а потом предъявят нашему студенту старухи. Репродукторы у них в домах не выключаются с тридцатых годов. А мне сказали, что сначала в постановке хотели «оживить» Димину бабушку. Передача готовилась к Новому году, и кому-то показалось, что в этот день не годится, если бабушка умирает: звучит недостаточно бодро.

— Оживить? Ну, это уж вообще...— Дима поперхнулся пирожком.

Я пыталась его успокоить. Выход нашелся. Постановку решили передавать после праздника. Но он продолжал переживать.

— Я теперь эту передачу, как экзамен, буду ждать.

— Боишься экзаменов-то? — Алевтина Петровна стала убирать со стола лишнюю посуду.

— Конечно, боюсь. Особенно математики.

По химии, предмету Алевтины Петровны, Дима уже получил «автомат». По зоологии, анатомии сельхозживотных и введению в специальность тоже под-

готовился неплохо. На лекциях по этим предметам у них в аудитории муха пролетит — слышно.

— Ну, а на физике и математике так: первый ряд пишет, второй слушает, третий разговаривает, четвертый записки сочиняет, пятый спит беспробудным сном.

— Ты-то в каком ряду? — поинтересовалась Юля.

— Я? В первом. Строчу, строчу, а вечером сяду и понять не могу: чего писал? По сто раз у нас не повторяют, это не школа. На другой день пришел, и уже все новое. Как говорится, не успел — приехали, сушите весла.

Дима не думал, что учиться так трудно. Раньше он, отработав целый день, легко вставал в четыре часа и шел на утреннюю дойку, а теперь даже в восемь не слышит будильника.

— А мы будильник в пустую кастрюлю ставили. Резонанс получался удивительный,— заметил Георгий Владимирович.

Двадцать лет назад, учась на том же факультете, он тоже жил в этом общежитии.

— Нам, Георгий Владимирович, кастрюля не поможет. У нас есть один парень с трубой. Он встает раньше всех, выходит в коридор и на весь этаж горнит подъем. Та-та-та-та,— протрубил Дима.

Общежитие у них тесное, но веселое, и группа, конечно, лучшая на курсе. Другие — коневоды, рыбаки, курощупы (так они называют птицеводов) — тоже живут неплохо. Рыбаки раз в месяц устраивают общий обед и едят одну рыбу. Коневоды отмечают «день подковы». Но до скотоводов им все-таки далеко.

— Мы и дни рождения каждому отмечаем, и викторины наподобие «Что? Где? Когда?» устраиваем. Вот скажите, например, нужно ли скрещивать корову с медведем? Оказывается, нужно. Так мы выведем очень удобную породу. Летом этот гибрид будет молоко давать, а зимой лапу сосать.— Он громко

расхохотался и продолжал хвастаться дальше: — У нас в группе и поют лучше всех. Особенно, когда мы работаем. В виварии я как-то завел наши деревенские: «При знакомом табуне...», «Ой, мороз, мороз...». Некоторые подпевали.

У них в группе почти все из села. Москвичка одна только Альбинка. Она, наверное, в министерстве будет работать. Остальные пойдут на фермы.

— У нас грузинка есть, Этери. Дома, чтобы получить направление, она работала на конезаводе. Но ее мечта — молочное животноводство. Такая хозяйственная. Ехала в Москву — чемодан зоотехнических книг с собою привезла.

— Значит, грузинка? — продолжала шутить Алевтина Петровна.

— Ну, да. У нас в группе отовсюду есть, даже из Якутии. Якутка у нас красавица. Глазищи черные, огромные и одета интересно — во все национальное. Платье расшито бисером, оленьи унты, шапка с длинными ушками и рукавички лохматые.

— Влюбился? — улыбнулась Юля.

— Чего? Не выдумывай. Я у нас в группе со всеми девчатами в хороших отношениях.

Осенью Диму сделали старостой, и хорошие отношения ему очень нужны. В его ведении многое — от журнала посещаемости до субботников и генеральных уборок.

— А какой из этих вопросов тебе дается труднее всего? — спросила я.

— Работать заставлять,— не задумываясь, ответил Дима.

Раз в неделю группа ходит на практику в виварий, где содержатся коровы, овцы, свиньи, куры, даже пушной зверь. Всех животных надо не только изучать, но и ухаживать за ними: доить, убирать навоз, красить кормушки. Когда доходит до этого, начинается занудство.

— Двое работают, а третий не выспался. У четвертого ведро с краской из рук валится. Пятая шпагат на тюках сена отказывается резать. Ей маникюра жалко. А я даже у нас на ферме таких удобных тюков не видал.

Кое-чего он добился. На субботниках (студенты строят новое общежитие) ребята из его группы больше не бродят по объекту, а сразу ищут бригадира. Но до идеала еще далеко.

— Мое правило — не брать на горло, а постепенно давить на психику. Я филонам говорю: «От вас много не требуется. Но минимальное-то надо делать. Пришел — так хоть палец о палец стучи!»

Недавно у Димы возникла идея встретить Новый год всей группой на Останкинской телебашне в ресторане «Седьмое небо». Пусть ребята посмотрят на столицу сверху. Одна знакомая матери, то есть родственница той знакомой, помогла с билетами. Скинутся только на музыку и минимум закуски, а девчонки испекут пироги и пирожные.

— О главном я всем сразу сказал: будет водка — не будет праздника. Немного шампанского заказали и сухое. Танцевать будем,— мечтательно произнес Дима.

Некоторые хотели сэкономить даже на музыке, денег у большинства негусто. Подрабатывать деканат разрешает только со второго курса: сначала, мол, надо втянуться в учебу.

— Я оформился уборщиком в детском садике, но пришлось отказаться. Живу на стипендию. А в Москву ведь как приехал — сразу за кошелек: пирожное, мороженое... А какие у нас в столовой сардельки и сметана — таких нигде нет!

— Это верно. В мое время они среди студентов тоже славились,— заметил Георгий Владимирович.

Стипендия у Димы не семьдесят, как надеялся, а всего сорок шесть рублей. Выручают своя картошка и умение готовить. Общежитие не деревня, с печкой тут возиться не надо, все быстро, на газу.

— Приходите в гости щи есть. У меня вкусные, за уши не оторвешь! — предложил он.

— Ну, это мы еще проверим, у кого вкусней,— сказала Алевтина Петровна.— Готовься, приедем.

Организатором Дима зарекомендовал себя не только способным — это было видно еще в школе, но и «стихийно грамотным», как выразилась Алевтина Петровна. Став старостой, он, например, начал с того, что пошел в деканат и просмотрел личные де-

ла своих студентов. Не у всех судьбы оказались простыми, кто-то, сразу стало ясно, нуждался в срочной помощи. Дима (ему не привыкать!) тут же пошел по инстанциям, но дальнейших подробностей — кому помогли, как помогли,— я привести, к сожалению, не могу. Дима запретил.

— Такое делают тихо,— сказал он.

Вроде немного времени прошло с тех пор, как Дима окончил школу, но не только мы, он сам чувствует, что изменился, взрослеет с каждым днем. Когда пошел работать на ферму и даже чуть позже, когда один из первых в области взялся доить группу в сто коров (наряду с другими Димин опыт, между прочим, разбирают теперь на занятиях в академии), ему казалось, что всего можно добиться быстро: и порядка с кормами и правильной, по науке, организации работы. Было бы желание!

— А теперь вижу, что, кроме желания, еще столько всего надо...

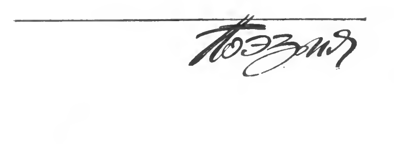
— Когда выучишься и станешь на ферме начальником, поймешь это еще лучше,—сказал Георгий Владимирович. За двадцать лет у него накопился богатый опыт.

— Из тебя должен большой человек получиться,— продолжал он с подъемом.— Мы все на тебя надеемся и хотим, чтобы, встав у руля, ты никогда не забывал о том мальчике, которым начинал свою жизнь.

— Ладно, папа, погоди,— улыбнулась Юля.— Дай ему сначала академию окончить, а потом уж агитируй дальше.

— Вот кто меня понимает! — воскликнул Дима.

Юля начала мыть посуду, и он тут же бросился к раковине помогать.


Поэзия



ВИЙВИ ЛУЙК

Настоящее время

Стали двигаться ящики туже,
в них бумаги скопилось немало.
Как-то на вокзал пришла перед закатом —
пачка писем пропала.
Солнце, тихо склоняясь к закату,
лед и грязь разукрасить сумело.
Вспоминаешь ли тех, кто когда-то
сделал доброе дело?

☆☆☆

В Риге я жила еще в семидесятом.
Светлая квартира, май светил в окно.
Как-то на вокзал пришла перед закатом —
навсегда уехать было суждено.
Дальше все известно — знаю жизни цену,
прожитое время дорого теперь.
Происходят просто в жизни перемены.
Таллин, ветер, сердце, зимний счет потерь.
Грохот на вокзале, спят на лавках люди.
Странно и неловко, что чужая боль
праздный интерес у посторонних будит.
Я не лгу: сама играла эту роль.

Перевел с эстонского
В. ФАДИН

МИХАИЛ ЛЬВОВ

Мальчики-фронтовики

И о вас нам забывать не надо,
Вспоминая давние деньки,
Храбрые мальчишки Сталинграда,
Орлики, мальцы-фронтовики.
...Помню, в Праге, с площади, открыто
Сын полка четырнадцати лет,
Вскинув руку, гневно в «мессершмитта»
Разряжал трофейный пистолет.

И — комочком храбрости светился!
Сердцем в цель попал наш мальчуган.
На снаряд наткнувшись, развалился
Самолет и брызнул, как фонтан.
...Он всегда и всюду рвался к бою,
Маленький отважный наш Гаврош.
Враг — его ни голою рукою,
Ни оружьем страшным не возьмешь!
...Вы в походах изучили карты.
Через много лет недетских бед
Вам вернут учебники и парты.
Вас направят в университет.
...Был бы я художник Возрожденья —
Ангелами вас бы рисовал
(Веря, что не встречу возраженья),
Но — в руке зажавшими металл!

☆☆☆

И в городе и на селе
В определенный — ранний! — час
«Проснемся!» — говорю себе.
И — пробуждаюсь. Быстро. Враз.
Отдав положенное снам,
Но, явь поболее любя,
Почти что за́ волосы сам
Себя вытягиваю я
Из пуха сна, как из гнезда.
А с неба — ранняя звезда
По-братски смотрит на меня.

☆☆☆

Ненастоящее не нужно
Ни в чем — ни в жизни, ни в стихах.
Ненастоящее оружье
Приводит к гибели в боях.

Ненастоящее — растрата
Минут бесценно дорогих.
Ненастоящее — расплата
За чувств неистинность твоих.

Когда придет отяжеленье
И все успеешь упустить —
Придет Большое Сожаленье
С желаньем локоть укусить.

ИГОРЬ ЛЯПИН

☆☆☆

Приди сюда, в молчании постой.
И в знойный день и в день студеный зимний
На кладбище на Волковом покой,
Торжественный покой, а не могильный.

И дрогнет сердце, кровь прильет к вискам,
Когда в святом и сдержанном волненьи
Пойдешь по «Литераторским мосткам».
Теперь-то здесь тенистые аллеи.

А было как? Привычно покрестясь,
На водку взяв без лишнего поклона,
Три мужика, меся лаптями грязь,
Тащили гроб раба Виссариона.

Видать, был барин не большой руки,
Однако, вишь, отпет он честь по чести.
И молча удивлялись мужики:
За что ж его — на этом волчьем месте?

А вскоре и руками развели:
К могиле той (гляди, во что одеты!)
Все люди благородные пошли,
Все чинные, а более студенты.

Серьезные, толкуют, а не пьют.
И, наклонясь к могиле сиротливо,
Цветы на холмик барышни кладут,
Хоть видно, что не родственницы... Диво!

И казус их в сомненне поверг,
Не ведали, что в день тот хмуроликий
Зарыт был ими светлый человек,
По делу, не по званию, великий.

Откуда знать им было, мужикам,
Что где-то в мире этом необъятном
Тургенев говорил своим друзьям:
— В России, и с Белинским чтобы рядом.

Стремительный, еще в работе весь,
Еще с цензурой бьющийся отважно,
Некрасов знал: он тоже ляжет здесь,
Здесь именно. Когда — уже неважно.

Как эти люди были высоки,
Как пламенно и безоглядно жили!
И волчье место — грязные мостки —
Они своим сияньем освятили.

Их много здесь, чья гневно билась мысль,
Чьи строки возвышали и разили.
Приди сюда, их праху поклонись
И прикоснись к достоинству России.

Постой, глаза в молчании прикрой,
Представь, как трудно
жизнь прожить достойно.
На кладбище на Волковом покой,
Такой покой, что сердцу беспокойно.

ВИКТОР МАКСИМОВ

Снимок

Это я — как репейник, вихраст!
Вот такого завидя, на рынке
баба грудью ложилась на крынки:
— Кышь отсюда, шпана! Бог подаст!

. . . .

В дальнем городе Таганроге,
у кирпичных руин при дороге
утвердились они на земле —
аппарат «фотокор» на треноге
и владелец на костыле.

Он накрылся матерней черной,
этот дядька небритый и вздорный,
Таганрог обозрел изнутри
и, когда из груды развалин
я возник, вездесущ и нахален,
вдруг вскричал он зловеще: — Замри!

Объектив, точно дуло стальное,
пепелища войны за спиною,
от осколков щербата стена...
Когда рявкнул он: — Хальт, сатана! —
замер я наконец под стеною.

Через миг странный дядька мне скажет:
— Ну-ка подь-ка поближе, родной! —
И вздохнет, и котомку развяжет,
и поделится хлебом со мной.

Старые большевики

Под патефон этот старый, хрипящий,
под те пластинки, что в детстве крутились,
я вспоминаю все чаще и чаще
тех, кто из дальних времен возвратились.

Снова дела и заботы мирские.
Где они были так долго?
Да где-то!
Вот они входят, седые такие,
и улыбаются, щурясь от света.

Входят и глаз от народа не прячут!
Входят и стынут в молчании гордом...
Вот достают партбилеты и плачут,
как лишь однажды — в двадцать четвертом.

А за спиной у них — вихри и войны!
А впереди — то, что ало и свято!..
Вот я в глаза им гляжу
и невольно
слышу
тех лет
громовые раскаты!..

АРШАЛУЙС МАРГАРЯН

☆☆☆

На стенах Брестской крепости, на зримой
границе стольких жизней и смертей
их имена горят неугасимо,
впечатанные в серый цвет камней,
чтобы, войдя под свод кровоточащий,
читая всех погибших имена
и чувствуя, как сердце бьется чаще,
мы поняли: бесценна тишина.

И не огонь — героев души вечно
горят, неопалимые во мгле,
и звездный путь, высокий, светлый, Млечный,
напоминает путь их на земле.

О если б на небесные скрижали
перенести кровавый тот дневник,
чтоб утренние звезды написали
об их бессмертье лучшую из книг!

Под моим окном

Что щебечет под моим окном
птичка-невеличка, что хлопочет?
Неужели крохотным крылом
мрак ночной она рассеять хочет?
Что она щебечет, что поет —
птичка-невеличка на рассвете?
Не гнездо ли возле дома вьет
из тончайших золотых соцветий?
На ветвях предутренней звезды
вьет гнездо неутомимо птаха,
необъятны звездные сады,
а она поет, не зная страха.
Крохотная птичка, а вокруг —
мир, принадлежащий ей всецело.
Маленького сердца слабый стук —
и Вселенная, которой нет предела.
Песня смолкла. И от тишины
я проснулась: под моим окошком
прямо с неба вдоль крутой стены
солнечная свесилась дорожка.
Это птица утренний восход
перышком своим нарисовала,
песней разбудила небосвод,
потому и солнце в небе встало.

Перевела с армянского
Ю. СУЛЬПОВАР

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

☆☆☆

Вот и время плодов пришло.
С летней знойностью животворной
Солнце их, как поэт, свело,
Содержанье сроднивши с формой.

Солнце мысль свою в хлебе, в вине
Выражает всего достоверней,—
Рви плоды, что созрели вполне,
В благодатной тиши предвечерней.

Я люблю, когда к спелым плодам,
Словно к солнцу, рука прикоснется,
А потом, разделив пополам,
Двое сядут вкушать свое солнце.

Про нас

Мы, почему, не зная сами,
Друг друга, как судьбу, нашли.
Стареют вещи. Но над нами,
Как будто годы не текли.

Лишь, ходу времени послушна,
Дочурка подросла у нас,
Глядит светло и простодушно
Любовь сияньем детских глаз.
Так грустно, так необъяснимо,
Что кажется мне иногда,
Что погружаются в трясину
Неторопливые года.

Лишь сердце бьется, не стареет,
К поре зовет нас молодой,
Где хлеб любви растет и зреет,
Где жизнь чревата хворью той,

Какую испытав, все лучше
Себя мы чувствуем. Беру
Груз этой боли неминучей,—
Хоть знаю, от чего умру.

Перевел с литовского
Л. ШЕРЕШЕВСКИЙ

СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ

Добро

Роща просяще шумит,
Вяло качая листвой.
Мальчик с ведерком бежит,
Поит деревья водой.
С радостью мальчик добро
Делает,
Вот почему
Не тяжелеет ведро.
Роща кивает ему.

☆☆☆

Охотники, что в горы забредут,
Голодный путник,
Сбившийся с пути,
Пусть в хижине твоей найдут приют
И смогут силы снова обрести.
Пусть птицы прилетят к тебе весной:
Их долгий, трудный перелет лежит
Через твой дом,
Пускай сайгак степной
В голодный час за кормом прибежит.
Участвовать с душой в чужой судьбе
И руслом стать родным для многих рек
Не просто,
Но услышишь о себе:
«На свете существует человек!»

Перевел с казахского
О. ДМИТРИЕВ

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Окопный нефрит

Он возник на последней войне. И поныне
Термин этот бытует еще в медицине,
Сорок лет миновало, а все не забыт.
Я не знаю, как это у них по-латыни,
Знаю только — окопный нефрит.
За штакетником редким
соседи живут молодые —
Ну буквально шагах в тридцати!
Девять лет миновало с тех пор, как впервые
С ними встретились мы.
И сперва подружились почти.
А потом...
Скоротали дожди затяжные и зимнюю вьюгу,
И любую погоду, завывающую из тьмы.
Почему же все более чужды друг другу
Год от году становимся мы?
Но зато мне на койке больничной нередко
Снится, что передачу жена принесла
И сказала: — Вчера заходила соседка,
Чтоб узнать, как твои фронтовые дела.
Дождь больничный
простукивает через крышу,
Скоро вьюга завоет в окно.

— А сосед? — я спрошу.
Но ответа уже не услышу,
Потому что проснусь.
И увижу, что в боксе темно.
И пойму,
Что ушло сновиденье о сказочном чуде,
Что уже удалилось
по неизлечимой простуде,
По линолеуму коридоров, палат.
В чем-то, люди,
И я виноват.

Короткие гудки

«Вы не мучайтесь...»
Е. Х.

Мы уже распрощались на лето,
Которое нам предстояло,
Но за миг до того,
Как обычный прервать разговор,
На рычаг положить
Телефонную трубку устало,
Он сказал то,
Чего позабыть не могу до сих пор.
Разговор был обычным,
О том, и о сем, и о лете,
И закончился полностью,
Мы прощались. Как вдруг
Он сказал то,
Чего и не думал сказать,— и на свете
Неожиданно все изменилось вокруг.
Он сказал торопливо
Слова милосердные эти
И гудками короткими
выдал невольный испуг.

ВЕНИАМИН МИРОНОВ

Сибиктэ

Посмотри: над белым снегом
сибиктэ [1] растет.
Жизнь идет к ее побегам
в этот долгий год.

[1] Вечнозеленая трава.

Вот мороз своим копытом
пробивает марь.
Бурым камнем, с ветки сбитым,
падает глухарь.
По реке поземка кружит
возле берегов.
Много-много дней у стужи
не сломать рогов [1].
Сибиктэ, не зная тленья,
прорастать и цвесть.
Тундра ждет ее цветенья
как благую весть.

Полярное сияние

Со снежных гор надвинулся
небесный фейерверк,
мамыктою [2] раскинулся,
подброшенною вверх.
И в чистом гуле слышится
гортанный говор птиц.
И тундре легче дышится
от бешеных зарниц.
Сугроб растаял. Маленьким
зайчишкой-беляком
он покатился за реку,
сиянием влеком.
Охотник у проталины
сидит себе, поет
и накрепко заваренный
чаек горячий пьет.

Перевел с якутского
И. ТАРАСЕВИЧ

ЕГОР МИТАСОВ

☆☆☆

Девчонка эта по весне
Углем рисует на стене
Не журавлей и не друзей
С далекой улицы своей...

[1] Образ народного эпоса — сильные холода.
[2] Петля, которой ловят оленей.

Вокруг — развалины, беда,
Но чертит по стене девчонка —
Она рисует города,
Мальчишек подзывает звонко.
И под счастливое «Кому?»
Нам дарит всем по одному.
Я с ней не встречусь никогда,
Но в памяти останется:
Девчонка дарит города,
И мне Москва достанется!

☆☆☆

Я — плугарь из тракторной бригады,
Борозды в глазах еще рябят,
Получил от матери награду —
Посмотреть столицу и парад!

Еду я в предпраздничном вагоне.
У груди с харчами узелок...
Как же я в толкучке проворонил
Тощий материнский кошелек?

Со стыдом из этой бочки винной
Я бросаюсь в ночь на полпути
И брожу по местности пустынной,
Не могу никак себя найти.

Ночь прошла. И я унял тревогу.
Пусть парад увидеть я не смог,
Только жаль, что мать дала в дорогу
Свой последний в жизни кошелек.

ЮРИЙ МИХАЙЛИК

☆☆☆

Мы встали рано. У окна
ворочался прибой,
его волна была темна
полночной темнотой.
Дул теплый ветер. На плите
веселый чай кипел.
И чей-то голос в темноте
захлебываясь пел:

— Однажды в сентябре на утренней
заре
мы вышли в путь, мы вышли в путь
однажды в сентябре.

Ты все глядела на меня
и слушала рассвет.
Казалось, что такого дня
мы ждали много лет.
Туман стелился над водой,
гасил прибрежный гул.
Но этот голос молодой
звенел на берегу:

— Однажды в сентябре
на утренней заре
мы вышли в путь, мы вышли в путь
однажды в сентябре.

Мы молча встали и ушли
короткою тропой
туда, где краешек земли
облизывал прибой.
А голос все еще звучал, ликуя и шаля,
пока от первого луча
не вспыхнула земля.

Однажды в сентябре на утренней заре
я так любил тебя тогда —
однажды в сентябре.

☆☆☆

Еще кричат ночные поезда,
еще зовут в иные города.
Беда не то, что молодость уходит.
А то, что не уходит,— вот беда.

И ты все тот же — за полночь писать.
И ты все тот же — выпить и сплясать.
Потом приедет очень юный доктор
И будет целый день тебя спасать.

Все кажется, что ты глядишь в рассвет.
А это свет глядит тебе вослед.
И девушки приходят за советом.
Не за сонетом, милый, вовсе нет.

Ночной вокзал. Мальчишеская дрожь.
Еще весь мир неведомо хорош.
Уже пора готовиться к ответам,
А ты еще вопросы задаешь.

ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ

Чилийская оппозиция

Оппозиция Чили — совесть страны,
Обещание будущих гроз,
Неизбежность победной весны,
Что сменяет крещенский мороз.

Оппозиция Чили — честность страны,
Неподкупнее честности нет!
Оппозиция — вещие сны,
Вера в то, что наступит рассвет.

Оппозиция — грусть седины,
Звон кандальных тюремных оков.
Оппозиция — горечь страны,
Гордо помнящей лучших сынов.

Час пробьет — и чилийский народ
Разорвет своеволье цепей,
Час ударит — и хунта падет
Под ликующий гром площадей.

ПАВЛО МОВЧАН

Память и сердце

Сквозь наледь шляха в это время
Следы осенние видны.
Деревья высвечены всеми
Оттенками голубизны.
Взмывая к облаку стрелою
Из прелых листьев и хвои,
Сосна горячею смолою
В ладони капает мои.
Мерцает в жесткой древесине
Горячей влаги липкий след.
Но в памяти моей отныне
Отметин прожитого нет.
В сознание вонзаясь криком,
Сквозняк безжалостный навзрыд

Свистит в пространстве многоликом —
Лишь гомон в черепе стоит.
Кого любил до смертной муки,
До боли в сердце, языком,
Как бы щавелевым листком,
Зализывая след разлуки.
Аж страшно. Кажется, дотоле
Не ты — другой — на свете жил,
Двойник любви твоей и боли —
И сердце зря испепелил.

☆☆☆

Липнет к пальцам струна, обреченно звеня.
Изменяющий голос чурается пенья.
Все, чего ни коснусь, расхищает меня:
Это плата за прикосновенье.

Остается в младенчестве лакомый мед.
Вспоминает язык вкус холодного слова.
И душа приговора заранее ждет,
Но к полету еще не готова.

Вездесущий сквозняк аж гудит пустотой.
Мельтешат на ветру лепестки и тычинки.
Гнет пространства рождает минуту, и той
Уготована участь песчинки.

Этим пальцам уже не хватает тепла,
Выдыхается голос, одышка заметней.
На струну осторожно садится пчела,
Отдавая ей трепет последний.

Перевел с украинского
С. ГАНДЛЕВСКИЙ

ЮННА МОРИЦ

☆☆☆

Сизые деревья. Сизая трава.
Сизые рассветы по утрам.
Сизые над нами проплывают острова
В небесах, где солнечный и лунный храм.
Сизые бессмертники звенят на лугу.
Сизые голуби на башне скулят.
Через две недели мы будем в снегу

Облаков шелковицы. Белый снегопряд.
Если я выпрягусь из дуги забот,
Брошу свою таратайку,
Я тогда выберусь в одну из суббот
По сугробам в лес на Можайку.
Снежные звездочки обожают соль,
Они добывают ее из наших слез,
Поэтому какая-то игольчатая боль
Наплывает на глаза в мороз.
Это, с точки зренья медицинских идей,—
Функция желёз в глазах...
Но ты когда-нибудь заглядывал в души людей,
Идущих по морозу в слезах?

☆☆☆

Мне нравятся бледные лица
Со звездами в жарких глазах.
Там часто стихия клубится,
Как ветер в тугих парусах.
Я знаю, какие там струны
Дрожат на удары судьбы,
Какие грома и перуны
Разносят их бледные лбы.
Я — чтица их мыслей заветных,
Участница грозных страстей.
Мне ярче румянцев портретных
Лучистая бледность людей.
За красок сквозистую бедность,
За волны нежнейшие губ,
За эту лучистую бледность
Мне сын и возлюбленный люб,
И старец, глотающий воздух,
И млечный младенец в чепце.
И я зажигала бы звезды
Всегда на воздушном лице.

☆☆☆

Терпи, мой родной, терпи!
Страдай, мой родной, страдай!
В чужой постели не спи,
Кусок чужой не съедай.
Не зарься на скарб чужой,
Не пачкай чужую честь —
Не будешь горбат душой,
А будешь такой, как есть.
Надежды чужой не гробь,
Досады чужой не множь.
Ты — человек, ты — дробь,
Правды и кривды дрожь!..

Пестуй детей чужих,
Падок не будь на месть —
Будешь не дрянь мужик,
А будешь такой, как есть.
Храмов чужих не хай,
Веры чужой не пни,
С нищим дели сухарь,
Родине долг верни.
В худшие дни не трусь,
В лучшие не наглей,—
Может быть, я вернусь
Матерью быть твоей.

АЛЕКСАНДР МОСКВИТИН

Сезонные рыбаки

Ветра шум и шорох воли
по обшивке корабельной.
Рейс тресковый, двухнедельный:
общий дом и труд артельный
однозначной жизни полн.
День и ночь сияет день.
Море в солнечном угаре.
Треск трески (косяк!) в радаре.
— Трал наверх! — народ в ударе,
судно мачтой набекрень.
Что за скользкая стезя
сбила их с иного круга:
длинный рубль коснулся слуха —
свел к судьбе
терпеть друг друга?
По-другому жить нельзя.
Тесен кубрик. Беден быт.
Боком вылезла промашка.
Но нет-нет, а вдруг тельняшка
через ворот, как поблажка,
так в глазах и зарябит.
Пот соленый, соль морей
прогорчат их до основы.
Чтоб во всем пришлись обновы:
предпочесть, как честь, готовы
самым долгим из рублей.

ВЛАДИМИР МОЩЕНКО

У Волги

Что́ туман, если ходят паромы
И на каждом пароме поют.
Жаль, вот песни почти незнакомы,
Как тропинки, что в поле ведут.

Не давалось мне пенье, хоть тресни,
Только губы сжигало оно,
Но чужие красивые песни
Я любил, как свои, все равно.

☆☆☆

Лети, дитя, за легкой стрекозой,
Не бойся почвы ни крутой, ни зыбкой.
Улыбка вдруг сменяется слезой,
Но и слеза сменяется улыбкой.

Пусть кто-нибудь потребует внизу,
Чтоб ты немедля прекратил охоту,—
А ты ведь и не трогал стрекозу
И лишь учился у нее полету.

☆☆☆

Вдруг деревянные лопаты
Разбудят, будто скрип телег.
Но мы ни в чем не виноваты.
Ведь это просто первый снег.

Еще и вьюги и метели
Бескрылы посреди полей.
Вот только братья улетели
Быстрее белых лебедей.

Вот только, видишь, зданья эти
На лес Измайловский идут,
И хлопья снега на рассвете —
Как тени прожитых минут.

НОРМУРАД НАРЗУЛЛАЕВ

Шахида

Неужто стоило труда
Ко мне собраться, Шахида?
Ты так добра и весела.
Жаль, что не очень-то смела.
Но солнца тайного огонь —
Коснись тебя — прожжет ладонь.
Сильнее приворотных зелий
Лишь очи у моей газели.
Но даже юная луна
Не так бела, не так юна.
Но даже свежие цветы
Такой не знали красоты.
И каждый раз, как в первый раз,
Пьянит, пьянит свиданья час.
И счастье, хоть твой путь неведом,
Ступает за тобою следом.
Ты вспоминаешь ли порой,
Какою тешилась игрой?
Слова какие неспроста
Лились легко из уст в уста?
А взять из них хотя бы слог
Для этой песни я не смог.

Перевел с узбекского
Н. ЗЛОТНИКОВ

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ

Партизанский суд

Прогибает ветер липы.
Мертвый снег пластает шлях.
Пусто. Гулко.
Крики, скрипы
На завьюженных полях.

— Мама, кто там?
— Спи спокойно.
Ветер... Снег...
— Взгляни в окно:
Вурдалак!.. Или покойник?!
— Кто ни есть — нам все одно!
Крик.
— Ты слышишь?
— Тише. Полночь...
Выстрел.
— Слышишь?
— Гром...
— Зимой?
Мама! Он зовет на помощь!
— Это ветер, хлопчик мой.
Каждой ставней стонет хата.
Отворилась дверь сама.
— Мама, страшно... Где наш тата?
— Может, в городе...
Зима.
Пусто. Гулко.
Возле окон
Снова выстрел. Крик.
И тишь.
Лес. Сторожка.
Край далекий.
Шлях забытый. Снег глубокий.
«И-ме-нем на-ро-да!..»
— Спишь?
...Он заснул, как будто сгинул.
Вьюга хохотала в рог.
Рано утром ветер кинул
Шапку батьки на порог...

Перевел с белорусского
Вад. КУЗНЕЦОВ

ШОТА НИШНИАНИДЗЕ

Мир

Гору, как патронташ,
Опоясывает траншея,
Полузаметная в гуще репья и пырея.
Солнце вокруг, и трава стоит непомятая,
В траншее валяется каска зеленоватая.
В каске — гнездо.
В гнезде на яйце — птица,
А в этом яичке — самая суть хранится.

Героическая эпитафия

1

Памяти погибших
в керченских катакомбах

Когда была ранена Родина-мать,
мы юные подставили плечи,
и был замурован наш подвиг живьем,
наш сон катакомбами Керчи.

Туда, в подземелья, где нас ожидал
лишь мрак преисподней, живыми,
по собственной воле и долгу живых
своими ногами сошли мы.

И суша и море горели огнем,
и тучи с дымами мешались.
А мы и в могиле боролись с врагом,
мы, братья, и в пекле сражались.

Мы вплавились в камни. Мы камни теперь.
Мы черные камни свободы.
А раны и в камне, как звезды, храним,
как звезды кремнистой породы.

Эй, мастер, удара резца твоего
достаточно нам,— только вспомни! —
чтоб выйти — нет, выскочить с криком «ура!»
из дьявольской каменоломни.

Узнайте и вы наверху, на земле,
живя для иного удела,
что даже в земле мы не просто живем,
но бьемся за общее дело!

2

Приписка автора

За Родину меч в бою преломивший
да будет благословен!
За Родину слезы и кровь проливший
да будет благословен!

Благословенны слово и дело
Мира, а не войны,
вечный огонь обелисков славы,
бьющий из глубины!

Может, не кончены ваши заботы,
а продолжаются там,
и земной шар спокойно вращается
благодаря вам.

Перевел с грузинского
О. ЧУХОНЦЕВ

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

☆☆☆

Незаповедная земля.
Незнаменитые поля.
Стога, березы по опушке,
Лесная вырубка и пал...
Здесь Александр Сергеич Пушкин
Не проходил, не проезжал.

В былое взгляды обращая,
Здесь современный Геродот
Ни ржавчины времен Мамая,
Ни древних кладов не найдет.

И темной зеленью увитый
Таинственный старинный дом
Не помнит роковых событий,
Страстей, не бушевавших в нем.

И что же... Дождевые лужи
Ничуть от этого не хуже,
Трель зяблика из ивняка
Ничуть не менее звонка.

Над взглядом столь же властны воды,
Успокоительны леса,
И так же велика природы
Проникновенная краса.

Стога под этим скромным небом,
Лесная вырубка и пал...
А Пушкин здесь, конечно, не был,
Но, если вдуматься,— бывал.

Первый «День поэзии»

Здравствуй, старый «День поэзии»,
Вся обложка — сплошь автографы,
Здравствуй, чтение полезное —
Марафонский бег без отдыха!

Ух, как много зарифмовано,
Сколько вложено призвания!
Это судно зафрахтовано
Явно для езды в незнаемое.

Строчки держатся, не падая:
Чья — вблизи, чья — в отдалении,
Чья — в каюте, чья — на палубе,
Чья — в машинном отделении.

Чья — взята сюда из вежливости,
Чья — синица залетевшая.
Пахнет юностью и свежестью
Эта книга потемневшая.

Четверть века — вот и будущее!
Пароходищем и чудищем
Шумно, дымно, огнедышаще
В порт приписки входит книжища.

Мы простим ей неуклюжести,
Извиним ее наивности —
Ради юности и свежести,
Чушь любую можно вынести.

Не одна ей буря выпала.
Поприветствуем издание,
Что благополучно прибыло
В знаемое из незнаемого!

ЛЕВ ОЗЕРОВ

☆☆☆

Ахматовой нравилось,
Когда я называл ее
Королем Лиром.
— Откуда вы это взяли? —
Спрашивала она
С горделивым любопытством.
Я молчал растерянно,
Поглядывая на ее шкатулку,
Тетрадку, Горация, шаль.

— И все же?..— продолжала она.
— ...Догадался.
— Догадка, к сожалению, верна...
И она умолкала
на весь вечер.

☆☆☆

Плохо справляюсь
С изменой друзей,
С постоянством врагов,
С обманчивой улыбчивостью,
Со смешливой злобой,
С учтивой неправотой.
Я плохо справляюсь
Со своею судьбой.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

☆☆☆

Глас трубы над городами,
под который, так слабы́,
и бежали мы рядами
и лежали, как снопы.
Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот:
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.
Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и всё, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.
Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?
С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.
И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

Настольные лампы

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурною сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде,
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы,
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растёкшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние и ошибки,
и победы — всего лишь мираж?

Дорожная песня

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...
А время торопит — возница беспечный,—
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...
Две вечных подруги — любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...
Две странницы вечных — любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег — то море, то солнце — то вьюга,
то ангелы — то воронье...
Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

☆☆☆

Всему времечко свое: лить дождю, земле вращаться,
знать, где первое прозренье, где последняя черта...
Началася вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться не успели ни черта.

Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском?
В черной туче ль грозовой?

Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

БОРИС ОЛЕЙНИК

Дождь

**Закручинились хлопцы.
Осунулись в думах да хлопотах.
Третий день, пятый день
Льет и льет из небесных прорех.
Над Санжарами дождь,
Над Полтавою дождь. Над Европою...
На воде закачался комбайн,
Будто Ноев ковчег.
Телефоны не молкнут,
И двери бессонные хлопают.
— Как погода, ребята? —
Звонят из обкома в район.
...Над Санжарами дождь.
Над Полтавою дождь. Над Европою...
Хоть вставай да граблями
Прочесывай весь небосклон.
А какой урожай
Пропадает под ливнями-грозами!
Вот хоть сядь и заплачь
Иль за дедову косу берись...
— Не журись, секретарь!
Если надо, мы сможем и косами.
Ведь косили ж в войну!
Ну, а тут... Соберем — не журись!
Трактора буксовали
В просторах, ветрами просвистанных,
Люди шли все и шли —
И тогда уступали дожди.
На плечах секретарских
Болонья при молнийных высверках
Плащ-палаткой военной
Летела у всех впереди.
Земляки дорогие мои,
Коммунисты районные!
В этой схватке с грозой
Голос ваш удивительно креп.
Ваши губы шершавые,
Жаждой крутой опаленные,
Даже в снах — слишком кратких —
Твердили настойчиво: — Хлеб!
И когда вы сошлись,
Натрудясь и намаявшись досыта,
На последнем покосе,
Забыв о себе вгорячах,—**

Вся Европа дивилась
И жмурилась молча от отсвета
Полновесного солнца,
Что спало на ваших плечах.

Перевел с украинского
Л. СМИРНОВ

РУДОЛЬФ ОЛЬШЕВСКИЙ

Рубаха отца

Мать ее не поменяла,
Когда кончилась война,
Ни на мыло, ни на сало,
Ни на горсточку пшена.
Раз в году ее стирала,
Расправляла рукава.
Вдоль веревки выгорала
Под рубахою трава.
И распахивался ворот,
Ветер раздувал подол,
И садилась птица-ворон
Рядом где-нибудь на кол.
Куры убегали в страхе
За посадку, в огород.
И металась тень рубахи
От колодца до ворот.
На ступеньке сядет чинно
Мать, чтоб знали на миру,
Что вернулся в дом мужчина.
Вот он ходит по двору.
По бревну ударит с маху,
Тын поправит, вытрет пот,
Скинет мокрую рубаху —
Солнце в облако зайдет.
Никогда не знала прежде,
Перед той бедой большой,
Что бывает тень у вещи
С человеческой душой.
Годы мимо шли, и каждый
Уносил добро и зло.
И состарилось однажды
Довоенное село.
Мама, мама не успела
Насидеться у крыльца.
Вместе с нею постарела

Под рубахой тень отца.
И уже не с той сноровкой
По весне в воскресный день
Семенила под веревкой
От сарая к дому тень.

Рисунки на воротах

Уже светла карпатская трава,
Осенний день печалью сердце ранит,
Опали листья, желтая айва
Ждет на деревьях заморозков ранних.

И начинает понимать душа,
Заботы сбросив, вырвавшись из плена,
И звезд паденье и полет стрижа —
Все то, что в жизни вечно и мгновенно.

Чернеет опустевший огород,
Дым пахнет перцем, молоком и хлебом,
И, обновляя живопись ворот,
Крестьяне разговаривают с небом.

Проносит ветер мимо облака,
Мир освещен сквозным, прозрачным светом,
И начинает понимать рука
Цвета и очертания предметов.

И взвешивает чуткая ладонь,
Опять создав у сводчатого входа
Луну и солнце, камень и огонь,—
То, что однажды создала природа.

И так просты рисунки, так ясны,
Как будто здесь начало мирозданья,
Как будто память осветила сны,
Их выхватив из темного сознанья.

Вот день, вот ночь, вот радость, вот тоска,
Вот дети с разведенными руками,
Вот краски не хватило для мазка —
И вышел вол с зелеными рогами.

Рисунки прикарпатского села,
Как зеркала, мы чистыми глазами
Глядим в них, отражают зеркала
Все то, что было или будет с нами.

Понятен мир, нет тайны на земле,
Когда осенним утром, перед снегом
Ворота обновляются в селе,
Крестьяне разговаривают с небом.

ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ

Спи, моя любимая

Ночь Москву окутала.
Кончен путь мой трудный.
Не уйдут из памяти дальние края...
Тихо светит окнами
старый дом на Трубной...
Спи, моя хорошая, светлая моя!
Поброжу по площади
возле милых окон,
в сердце от прохожего
ласку затая.
Месяц в тучах плавает,
словно желтый окунь...
Спи, моя усталая, тихая моя!
Сыплет осень листьями,
ночь тиха и звездна.
Щеки мне овеяла свежая струя...
Я опять на родине,
только слишком поздно...
Спи, моя неверная, давняя моя!
Те же липы шепчутся
и машины мчатся.
На скамейку старую
молча сяду я.
Знаю, нас геологов,
трудно дожидаться...
Спи, моя любимая, нежная моя!
Абажур за шторами...
Значит, все в порядке:
у тебя свой суженый и своя семья.
Дочка пухлощекая
спит в своей кроватке...
Спи, моя далекая, вечная моя!

Не отступайтесь от себя

Когда судьба, сплеча рубя,
вдруг в душу с силою ударит,
повалит мать, жену состарит,—
не отступайтесь от себя.
Живем, не думая о том,
как поступаем безрассудно,

как потерять себя нетрудно,
как трудно обрести потом.
Мгновенной вспышкой ослепя,
пусть слава, глупый клоун, скачет,
гримасничает, слезы прячет —
не отступайтесь от себя.
Теряем нить в своей судьбе
и умираем — до погоста...
Ах, потерять себя так просто!
Я это знаю по себе.
Легко с самим собой расстаться,
но как самим собой остаться?
Ни пред людьми, ни пред судьбою
не отступайтесь от себя!

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

Площадь Руде Армады

На площади Руде Армады [1],
Где чист безмятежный зенит,
Туристов джинсовое стадо
На лавках разнеженно спит.
На площади Руде Армады,
В Бехине — простом городке,
Где, пиву холодному рады,
Мужчины сидят в господке,
На площади Руде Армады,
Где детство беспечно шалит,
Где, всех оделяя прохладой,
Фонтан свои воды струит,
На площади Руде Армады
Доска небольшая висит:
И фотовитрина отрадно
Мне душу сейчас веселит.
На карточке — год сорок пятый.
Победный, неистовый гул.
И парень из Руде Армады
Вольготно гармонь распахнул.
Я в мае ликующем не был,
Но вижу:
Народ ликовал.

---

[1] Площадь Красной Армии.

Недаром талантливо Незвал
Об этом стихи написал.
Но взгляд мой невольно грустнеет:
Ведь память о радостных днях,
Как фотобумага, желтеет
В мещанских, беспечных умах.
Иные восторги, утраты,
Иной счет
Удач и обид...
На площади Руде Армады
Доска неприметно висит.
Но тот, кто изведал руины,
За рабство фашистское стыд,
Подолгу у фотовитрины
С внучатами вместе стоит.

ЮРИЙ ПАШКОВ

Судьба

Тропа по имени судьба —
Там нет следов машинных,
Там ни единого столба,
Приметных вех старинных.
Мы сами жизнь даем стезе,
Торим ее сквозь годы.
И кем бы ни были, но все
На ней мы — пешеходы.

☆☆☆

Порою вступаешь в просторы
Такой полноты бытия,
Где жизнь открывается взору,
Секреты свои не тая.

Все слышишь, и все на примете,
И чуток, как почка весной,
И веришь, что кончишь не смертью,
А жизнью, но только иной.

☆☆☆

Он победил. Зернился пот на теле.
Казалось, вышел из воды бегун —
И лавровые листья шелестели
От жаркого дыхания трибун.

А тот, что ниже встал на пьедестале,
Был сух и свеж, как будто не бежал.
И на его серебряной медали
Веселый отблеск золота дрожал.

☆☆☆

Для риска силы не нашлось,
Я удержался снова —
Другой отважно произнес
Суровой правды слово.
И правда, что я много дней
Лелеял всей душою
И уж привык считать моей —
Вдруг сделалась чужою.

☆☆☆

Характер счастья разве нам знаком?
Мы ждем его — смиренного пришельца.
Оно к нам постучится ноготком —
И в зеркало позволит поглядеться.

Характер счастья разве нам знаком?
А вдруг оно ветрам подобно мокрым —
Ворвется в дом веселым сквозняком,—
И вскочим мы, чтобы захлопнуть окна.

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

Земля

Ее топтали нелюди.
По ней катком прошли.
И в наростах,
и в наледи —
прекрасен лик земли.

Ее сжигали заживо
и снова жгли и жгли.
И в трещинах,
и в скважинах —
прекрасен лик земли.

В нее взрывными тромбами
заряды мин легли.
В лицо швыряли бомбами —
прекрасен лик земли.

И, как бы ни корежили,
до мантии трясли —
зазеленело крошево.
Прекрасен лик земли.

Ничто на ней не вымерзло,
ничто не извели.
Всех вывела.
Все вынесла.
Прекрасен лик земли.

Так много перемолото
меж «завтра»
и «вчера»,
что океаны молоды,
а мать-земля
стара.

Невеста

Все само случилось это:
как-то на исходе лета
я увидел у межи
две косички цвета ржи.
Две ноги и две руки,
под бровями — васильки.
В красных ягодках кармашек,
В кулачке — букет ромашек.
Я спросил:
— Ты кто такая?
Девочка сказала:
— Галя!
Ждавший чуда всю войну,
я промолвил:
— Ну и ну...
Гуси-лебеди летели,
звать с собою не хотели.
Пролетели, не трубя,
и оставили тебя...

С тревогою и робостью

Скот смело смотрит под ноги.
За право быть скотом
он платит высшим подвигом —
остывшим животом.

Лениво и без гонора
он движется легко
и опускает голову,
чтоб видеть далеко.
Его приволье бойкости
пасет в лугах трава.
Весомость — вес убойности,
А суть его — жратва.
Жратва под звездным пологом,
корма да силоса́.
Скот смело смотрит под ноги,
я — робко в небеса.
С тревогою и робостью
гляжу в ночную тьму
и думаю над пропастью
над всеми «почему».
Опутанный вопросами,
в преддверии конца,
во власти поздней осени
хочу спросить творца:
зачем под жизни вязами,
чтоб подчеркнуть родство,
одним исходом связаны
и тварь и божество?

МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ

☆☆☆

Точно зачарованный ребенок —
ненавистник ножниц и гребенок,
почитатель славных братьев Гримм,
маленький, испуганный, дрожащий,
лестницей чердачною кружащий —
точно сей румяный пилигрим,
в чьих руках пластмассовая пушка,
а в кармане — бабушкина плюшка,
а в другом — сапожная игла,—
точно так и ты витаешь, летчик,
в окруженье хрупких оболочек
из фанеры, жести и стекла.
Точно как и он, едва не плача,
высоко над городом маяча,
смотрит сверху — точно так и ты
изучаешь, расчленяя тучи,
муравьев затейливые кучи,
кукушачьи гнезда и цветы.
Скрюченною жалкою личинкой,
кровяною капелькой, песчинкой,

крошкою прилипнувшей земли —
ты паришь на длинной паутинке,
уперев перчатки и ботинки
в хитрые педали и рули.
И у нас такое ощущенье,
будто все твое коловращенье
по крутым колдобинам небес,
паутинка тоненькая эта —
существует с сотворенья света,
как река, дорога или лес;
точно этот запах керосинный —
в одночасье с белкой и осиной
был придуман неким мудрецом;
точно эта музыка звучала
спокон веку, исстари, с начала
деревенским крошечным скворцом.

НИКОЛАЙ ПОЗДНЯКОВ

Вдова

Идет война. Идут составы.
А у состава — не жена
И не подруга... Боже правый —
Моя Любовь Ивановна!
Ох, я не муж, не брат ей вроде.
То нам мечталось с ней порой,
Что расставаний нет в природе
И беды где-то за горой.
Что смыслили тогда мы в сроках,
Работники в пятнадцать лет,
Вели беседы на уроках:
В глазах вопрос — в глазах ответ.
А на вечерочках без толку
Баян напрасно песни пел.
Свою подружку-комсомолку
На танцы я позвать не смел...
Судьба вела меня по краю
Огня, он отпустил едва.
С тех пор ищу, но где, не знаю
Любовь моя, моя вдова.

Командировка

Мы вновь летим за Тропик Рака,
В разгул тропической воды,
Где много солнца, но, однако,
Немало зла и темноты.

Опять не спим. Душа в тревоге.
Невыносимо для ума,
Что дети стынут на дороге
И танки целятся в дома.

В глазах еще родное поле
И маки кружат над душой,
А мир чужой беды и боли
Уже опять нам не чужой.

ЮРИЙ ПОРОЙКОВ

☆☆☆

Вот и все, и нет сомнений,
Вновь гляжу вперед и ввысь,
Жизнь отдал бы за мгновенье,
Что теперь отдать за жизнь,
За твою, что мне вручаешь
Безоглядно — всю, как есть?
Бога нет — ты так считаешь?
Я согласен: нету здесь,
На земле и в небе нету,
Только вот ведь в чем вопрос:
Ты одна на всю планету —
Кто тебя сюда занес?
Кто тебя создал такую —
Ни сказать, ни описать! —
По тебе с тобой тоскую,
Как же врозь не тосковать?
Кто-то ж годы наши спутал,
Если встретиться смогли
На случайном перепутье
На одном клочке земли,
Чтоб, взглянув в глаза друг другу
Через судьбы и года,
Отменить могли разлуку
Мы с тобою навсегда.

ОЛЕГ ПОСКРЕБЫШЕВ

☆☆☆

Вяз встал высокий —
здравствуй, мой сокол;
Речка струится —
здравствуй, сестрица;

Луг мой вихрастый,
здравствуй, друг, здравствуй;
Полюшко-поле,
здравствуй, родное;
Бор густ и зелен, роща кустится —
здравствуйте, звери,
здравствуйте, птицы;
В мире так любо.
День такой ясный...
Здравствуйте, люди!
Родина, здравствуй!

☆☆☆

Так бережно себя несет,
Так ловко движется в обход
Ухабов и каменьев,
Что, глянув, убедится всяк:
Уж у такого-то никак
Не может быть паденья.

Так осторожно-умудрен,
Так избегает риска он,
Страшится так просчета,—
Что как угодно рассуди,
Но у такого впереди
Не может быть и взлета.

☆☆☆

Огонь обгладывает сучья,
Уха ершится в котелке.
А ночь росистой, влажной тучей
С востока движется к реке.
Она идет на луг и в рощу
И стала так уже близка,
Что пробуй, кажется, на ощупь
Ее смоленые бока.
Она шевелится — живая,
Ты даже чувствуешь спиной,
Как будто кто-то, чуть вздыхая,
Остановился за тобой.
И все былое вместе с нею
Идет к тебе издалека:
Оно все ближе, все виднее
При малом свете костерка.

МОРИС ПОЦХИШВИЛИ

Праздник «Тбилисоба»

Дружба верная и братство —
Наше главное богатство.
Все вы дома, не в гостях.
Всех вас ждали мы особо.
Тбилисоба, Тбилисоба,
Пой, ликуй на площадях!

Мир вам! — от горы Давида.
Радостью душа повита,
Праздник плещет до утра.
У подножья Нарикала [1]
Бьет по камню, как кресало,
И звенит, звенит Кура.

Бьют фонтаны, блещут скверы.
Справедливости и веры
Прочно высится стена.
Словно птаха на ладони,
В Анчисхати [2] на балконе
Появляется она...

Здесь когда-то утром рано
Раздавался крик фазана,
Ключ под деревом журчал.
Здесь не зря томились стрелы,
Тетива тугая пела,
Здесь был зорок Горгасал [3].

Теплый ключ [4] все так же бьется,
Не иссякнет, не прервется.
Вольный шум его не стих.
Песня кружит в синей выси,
И под ней поет Тбилиси,
Глядя на детей своих.

---

[1] Старинная крепость.
[2] Уголок старого Тбилиси.
[3] Один из основателей Тбилиси.
[4] Тбилиси — теплый.

☆☆☆

Судьба, не исполняй всего,
Что мной задумано когда-то.
Ведь воплощенье, торжество
Довольством может быть чревато.

Пусть не овладевает мной
Оно до самой смертной грани,
И путь не меркнет световой
Невоплотившихся желаний.

Перевел с грузинского
С. АЛИХАНОВ

ЛЮДМИЛА ПРОЗОРОВА

☆☆☆

Вот и настал разлуки час,
Расстанемся смелей!
Ведь не любовь была у нас —
Стремленье к ней.

Не нужно, право, лишних фраз,
Молчание верней!
И не любовь была у нас,
Не плачь о ней.

Не закрывай рукою глаз,
Не хмурь бровей!
Нет, не любовь была у нас —
Тоска по ней.

☆☆☆

Расставались — не жалела:
Ну чего там горевать...
Шла себе и песни пела,
Научилась запевать.

Об одном теперь печалюсь
На тропиночке крутой,
Что ни с кем не обвенчаюсь
Я на свадьбе золотой.

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

Колесо

Большое колесо под шум воды скрипело
и вычерпать арык веселый не могло.
Связав шестерку спиц, его живое тело
по совести впряглось в речное ремесло.
Арычная вода, дойдя до переката,
сверкала под уклон и, праздности стыдясь,
сдавалась колесу, которое когда-то,
шесть сотен лет назад ей предложило связь.
А я был лет шести, в волнах эвакуаций
перенесен судьбой на новые места,
чтобы глядеть, как здесь, в тени густых акаций,
большое колесо вращалось у моста.
Из банок жестяных на желоб деревянный
неслышные струи ныряли, не спеша,
и новый путь воды, повышенный и странный,
весь век могла следить забытая душа...
Из желоба вода, дойдя до поворота,
по глиняному дну являлась на призыв,
а там ее ждала высокая работа:
готовка и мытье, купанье и полив...
Большое колесо, как колесо природы,
под тяжестью воды плывет передо мной;
речное ремесло сворачивает годы
и дальний мой досуг кропит живой водой.
За этот уголок, что стал моим спасеньем,
за этот долгий взгляд, что вдаль унес арык,
за весь текучий мир, с его коловращеньем,
я рад бы жизнь отдать, хоть к смерти не привык...

ИОСИФ РЖАВСКИЙ

Москва

Ночную мглу прожектора косили,
Горело небо в росчерках свинца.
Не только у бойцов — у всей России
Край обороны лег через сердца.

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,
Зарю Победы ощутив едва.
И умирали, зная — будем живы,
Была б жива священная Москва.

☆☆☆

Я был солдатом. Ко всему привык.
Что говорить, ведь всякое бывало.
Лишь по одной затяжке — в час привала —
Я знал, кто настоящий фронтовик.

И чей черед сегодня не впервой
Свою шинель кургузить для коптилки,
Кто просто так уснет и без подстилки,
С кем завтра — в бой,
В последний, может, бой.

И разве я того забыть бы смог,
С кем в бой ходили и кого убили,
Того, кто в землю — в три аршина — лег
С товарищами в ряд, в одной могиле?..

Но вот опять взорвалась тишина,
И в бой вступили новые резервы
И огненная выросла стена...
Но кто-то рядом вдруг рванулся — первый!

Шел твердо, не согнувшись, в полный рост,
Свинцовые пересекая нити,
И замер... И навек хранит свой пост.
А память лик добра хранит в граните.

Его судьба — судьба фронтовика.
Не спрашивала пуля-дура, кто ты,
Откуда родом, из какой ты роты
И из какого выбыл ты полка...

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

☆☆☆

С понедельника —
начну!..
Сколько дней я зря потратил!
Хватит!
Есть еще характер.
Признаю свою вину.
Что
разбрасываться всуе?
Попусту
терять года?..
Жизнь свою организую
сразу!

Раз и навсегда!
По железному порядку.
Без хандры и глупых драм...
Буду делать физзарядку.
Буду бегать по утрам.
Дочь растить.
Беречь жену.
Суете не поддаваться.
На звонки
не отзываться
с понедельника начну...
С понедельника —
начну!
(Пусть не с этого —
с другого!..)
Деловито и толково
прошлое перетряхну.
Распрощаюсь
с этим прошлым,
за него с себя спрошу.
Все случайное —
отброшу,
начатое — завершу!
Стану злым,
неутомимым,
четким —
летом и зимой...
(Этот понедельник —
мимо,
Ладно!
Следующий — мой!..)
Буду
часом дорожить,
забывая про усталость...
...Ну, а сколько мне осталось
понедельников
прожить?

☆☆☆

Ковентри,
Герни́ка,
Орадур,—
это ветер памяти подул...
Кто забыл про эти города,
пусть не удивляется,
когда
небо полыхнет над головой,
вскрикнет и обуглится земля,
будут слезы — зря,
и стоны — зря.

Мертвым
позавидует живой...
«Да за что?!
Да я-то тут при чем?!.»
Потерявший память —
обречен.

ИНАРА РОЯ

Серенада

День охаять — что за дело?
Если солнца не хватило.
Юный он всегда и белый,
И жених для ночи милый.

Каждый день придет — впервые.
По весне — скворцов работа.
И порядки строевые
Журавлиного отлета.

Днем пчела скопила меду —
Свету рада, жизни рада.
Днем пчела скопила меду —
По ночам скопила яду.

Буря шумно налетела —
Кости белые отмыла.
День охаять — что за дело?
Если солнце в тучах было.

Разве пламени в нас нету?
С ложью справимся двурогой.
Нам на песни нет запрета.
Много света. Света — много!

Перевела с латышского
В. ПАНЧЕНКО

ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ

Командировка по заданию газеты

Кому — яблоки, кому — груши,
а мне бы послушать
ночью в деревне мелодию сада,
я продал бы старому сторожу душу

и с первого взгляда влюбился бы вдруг
в то деревце — слева —
с глазами на юг...

Останусь в деревне. Женюсь. И заочно
окончу сельхозакадемию...
«Срочно
пришлите
2 кг стихотворений об урожае
фруктов в селе Нагорном».

Вы любите сливы? Вы любите вишни?
А мне бы неслышно
к ним в полночь подкрасться:
а вдруг повезет в этот раз и удастся
сквозь листья, сквозь ветви,
сквозь ночь, наконец-то,
увидеть второе пришествие детства,
увидеть при звездах, при новой луне,
как дети деревьев летают во сне,
увидеть, как груша —
в обнимку с дождем...

«Ждем. Пока еще ждем от вас
стихотворений об урожае
фруктов в селе Нагорном».

Почем эти сливы? А вишни почем?
А я облучен
лунным светом,
при этом
я понял: безумье — быть штатным
поэтом,
я понял: когда за душой ни гроша,
душа, словно в августе сад, хороша,
светло в том саду даже в полночь,
как днем...

«Уже не ждем от вас стихотворений,
вы можете быть свободны».
Свободен? Ну что ж, небольшая досада.
Поведай-ка, сторож, историю сада!
Откуда та груша, что пахнет дождем?
«Откуда? Эх, хлопче, здесь
в сорок втором
пустырь был...
И в полночь,
в канун листопада,
пятнадцать девчонок, заложниц,
живьем...»
Семь яблонь, семь вишен,
а груша одна.
«Была бы женой мне, кабы не война...»

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

Дом испанских детей

К особняку вьетнамского посольства
ползут машины. Хочется понять
московских лиц ведьмаческое свойство —
влюблять людей и времена менять.

Повеет с веток и взойдет булыжник
через асфальт, и мы — в тридцать шестом.
Еще поют старьевщик и барышник.
Уже бедой отмечен этот дом.

Уже веселых листьев перебранка
не заглушает странных голосов.
Худы и смуглы беглецы от Франко —
они уже остались без отцов.

Когда, ревнитель Интербатальона,
в испанке с желтой кисточкой иду,
они кричат мне дико: — Эспаньола!..—
и кормят тульским пряником в меду.

И сердце пятилетнее разбито
из-за косынки с желтой полосой.
И песенка по имени Челита
меня щекочет жесткою косой...

Сегодня провожу тебя вдоль сквера.
Не сбросив гнет привычных передряг,
под скучным взором милиционера
пойдем с тобой, минуя особняк.

И запах, как невидимая птица,
слетит неслышно с липы угловой.
Люблю тебя!.. Скажи мне, что случится
с моей блажной садовой головой?

Далек тот день. Далек. И мы с ним квиты...
И разве даль счастливее, чем близь?..
«Для нашей Челиты
все двери открыты,
она так мила...»
Не сердись.

Ворона

Слушай, старая бабушка,
слушай, сварливая Роми,
я хочу рассказать
о живущей над нами вороне.

Вон, над нашим окном,
всем окрестным открыта квартирам,
вновь сидит эта птица
с загадочным внутренним миром.

Я не верю,
что правят вороной простые инстинкты,
и дружку-орнитологу я говорю:
— А иди ты!..

(Эта строчка, положим,
совсем из стихов Евтушенко...)
О ворона!
Не скряга, не сплетница, не иждивенка!

И заступница голубю!
Кошке кровавой острастка!
Как прекрасны воронье лицо
и воронья окраска!

Мне все кажется,
есть в ней старинное очарованье.
Я подспудно в ней чую
глубокое образованье.

Так вот, голову набок
склонив над худыми плечами,
смотрят те, кто любил,
и страдал, и постиг, и печален.

Но и юмора в этой вороне
немало осталось,
потому что последней смеется не юность,
а старость.

Мне, ей-ей, повезло,
оттого что мы с нею — соседи.
Я ворону люблю.
Я боюсь, что ей трудно на свете.

Словно хлипкая шлюпка,
качается утлая ветка.
Почему-то достоинство
в мире встречается редко...

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

☆☆☆

Зачем себя ты попусту тревожишь?
Зачем обиды мелкие итожишь?
Забудь меня сегодня, если можешь,
и вспомни завтра — завтра поутру,
когда проснется небо голубое...
Вновь обновясь и духом и судьбою,
я завтрашний предстану пред тобою,
а нынешний — бестрепетно умру.

Умру — и за неделею неделя
разумен буду в слове я и в деле,
как будто мной навек в крови и в теле
побеждено слепое естество.
И дальше мы пойдем одной дорогой,
пока опять над ней, прямой и строгой,
в ночи не обожжет тебя тревогой
звезда перерожденья моего.

☆☆☆

До срока затаившись меж ветвями,
в них ветер заворочался, как пес,
и листья вперемежку с воробьями
посыпались с осинок и берез.

Заторопились, будто зову внемля
теперь уже не кроны, а корней.
От веку листья падают на землю
и, став землей, возносятся над ней.

Да, в срок зазеленеет эта осыпь
и осыпью же обернется впредь,
чем нам с тобой и намекает осень
на то, как можно смерть преодолеть.

☆☆☆

Что я с предчувствием поделаю?
Опять в вечерней полумгле
как бы висит березка белая —
не в небе и не на земле.

Висит посланницею млечности,
на чью святую наготу
я, как на зов,
пришел из вечности —
и в вечность же опять уйду.

НИКОЛАЙ САВОСТИН

Вертушинка

На леса вдоль Вертушинки,
Свое дело делая,
Невесомые пушинки
Сыплет небо белое.
Вроде посвежела хвоя
Сосен зеленеющих,
И осины дремлют стоя
При листочках тлеющих.
В этом зыбком полусвете
Белая сумятица —
Лес уже едва заметен,
Словно глубже пятится.
Сколько свежести и грусти,
Бьющей в душу молодо,
В первом под ногами хрусте,
В аромате холода.
В том, как в белую лощинку
Из лесного терема
Выбегает Вертушинка
Сквозь снега уверенно...

Притча

Не презирай идущих, едущий
В удобном собственном седле.
Не презирай идущих, едущий,—
Ничто не вечно на земле.

И кто сейчас в седле находится,
Конем и выправкой гордясь,
Еще не раз пешком находится,
Еще не раз помесит грязь.

Да ну его, весь транспорт, к лешему,
Понятно, не в коне успех.
Ведь сколько есть таких, что пешими
Уходят в жизни дальше всех.

ГУЛРУХСОР САФИЕВА

Имя

Мой сын — Азиз [1], ведь так мне дорог он,
хоть в мире есть прекрасного немало.
А дочь родится — будет Мехрубон [2],
чтобы дорогой доброты шагала.

Коль ты Саади наречен, уже
то имя — вдохновенья половина.
Хорошее желание — уже
хорошего деянья половина.

Азиз, то имя, что с тобой,— навек,
в твоей дороге первый звук, начало.
И так хочу я, чтобы — Человек! —
оно на всех наречиях звучало.

Душанбинские дувалы

Меж небом и землей почти что нет преград.
Но вот добро от зла, неверие от веры
надежно отделил барьеров крепких ряд.
Стоят и меж людьми незримые барьеры.

Мой город, о тебе я с гордостью скажу:
так безоглядно ты, с задором запевалы,
как будто бы сорвал, отбросил паранджу,
отринул от себя, убрал свои дувалы!

И мне людских сердец доверие тотчас
открылось, и глаза застлали счастья слезы.
И красота домов не спрятана от глаз,
и грустно не глядят из-за решеток розы.

[1] Дорогой (тадж.).
[2] Добрая (тадж.).

Да здравствуют вовек открытые сердца!
Хочу, чтоб их везде все чаще узнавала.
Не прячет город мой прекрасного лица,
и меж сердцами нет ни одного дувала.

Перевела с таджикского
Р. КАЗАКОВА

МАРК СЕРГЕЕВ

☆☆☆

Облака залегли, как пехота:
цепь за цепью, за ротою рота,
и закатные нивы красны —
все в крови небывалой войны.

Скоро дождь артналетом обрушит
свой удар на осеннюю медь,
ослепительным залпом «Катюшн»
будет молния в небе греметь.

И тайга в обороне глубокой,
и штыки у небес на краю...
И покажется мне ненароком,
что вернулся я в юность свою.

☆☆☆

Я уснул среди белого дня.
Странный сон пред глазами витает:
человек, что не любит меня,
мою новую книгу читает.

Улыбнулся, скользнул по строке...
Задержался, качнул головою...
Поудобней устроил в руке
корешок цвета утренней хвои.

Вот сейчас его смех разберет,
он усмешкой страницы похерит
и скривит иронически рот...
Нет: читает, волнуется, в е р и т!

Вот сейчас бросит книгу в траву
или по ветру пустит листочки...
Нет ведь: новую начал главу
и читает от точки до точки.

ВАДИМ СИКОРСКИЙ

☆☆☆

Презираю пустую мечту я,
снег сойдет, что ветра намели.
Я идею люблю, налитую,
как росток, прущий из-под земли.
Даже лучшая мне половина
не нужна — откажусь от плода!
Пусть на полную мощность турбина
ток в тугие качнет провода.
Предложите полсолнца, полнеба,
половину земель и морей —
откажусь и уйду, как и не был;
целый мир нужен прорве моей.
И завидовать тем ли, кто малым
век довольствуется, не спеша,
чья настольным, как бюст, идеалом
руководствуется душа.

Туристы

Все аппаратами щелк-щелк туристы:
то памятник, то церковку, то дом...
Но мимо их прицельного вниманья
проходит женщина в платке простом,
и тот мужчина, в ватнике, с авоськой.
Их не зацепит фотообъектив:
лишь то, что на поверхности, что броско,
уносит пленка, на лету схватив.
А тот мужчина все стерпел и стерпит —
мир и войну. И добр еще притом!
А эта женщина прекрасней церкви,
хоть дух ее увенчан не крестом.

☆☆☆

Из городских хитросплетений
я вырвался. И вновь я тут.
И вновь на скалах наши тени,
как тени прошлого, встают.
Повыветрились камни эти,
но наши тени — вот они.
И против них бессильны — ветер
и молний черные огни.
Здесь память о любви до гроба

на небе, на камнях,— на всем...
Она осталась тут, как проба
на нашем веке золотом.
Пусть я один теперь, а где-то
ты не одна, ты не одна,
и мир теперь иного цвета,
и пусть о скалы бьет волна —
ни волны не страшны, ни ветры.
Здесь вечно счастье двух теней.
И силуэт любви бессмертной
и облик юности моей.

БОРИС СИРОТИН

Майское танго

В твоем городке у реки,
Где вишен томительный запах,
При галстуках фронтовики
И в белых капроновых шляпах.
Чистейше медали звенят,
Зеркально сверкают ботинки,
И листья под ветром шипят,
Как те фронтовые пластинки.
В костюм темно-синий одет,
В крахмальную втиснут рубашку
Смущенный и розовый дед,
С утра пропустивший рюмашку...
За Волгой великая тишь,
Там ивы исходят слезами.
А здесь ты на праздник глядишь
По-детски большими глазами.
С невидимых глазу высот,
А может, откуда из далей
Вдруг дымом лицо опахнет
И дедовским звоном медалей...
Ты косы сложи на груди
И, верная смутному долгу,
Смешной патефон заведи
И пальцем потрогай иголку.
Ах, танго, восторг голубой,
Щемящие, нежные звуки!
От музыки сами собой
Сожмутся взволнованно руки.
На нынешний дьявольский ритм
Все это ничуть не похоже.
Но лоб почему-то горит
И даже мурашки по коже...

Мотив невесомо-сквозной
(Что может быть сентиментальней?)
Никак не увяжешь с войной,
С ее канонадою дальней.
И все-таки все оно там,
Вот это прозрачное танго,
Где черная смерть по пятам
И тень от квадратного танка.
Где падает сумрачный свет
На землю и виден нечетко
Распластанно замерший дед
С гранатою у подбородка...

ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

Музыкальный день

А день сегодня музыкальный,
С утра шумит листва и кровь.
Дождь на поверхности зеркальной
Пруда с налета выбил дробь.
Звенят на дереве пичуги,
Звенит трамвай, звенит в ушах,
И ливень выплеснул в испуге
Воды серебряной ушат.
Плетется звуков паутинка
Весь день из горлышка птенца,
А за стеной поет пластинка
Одно и то же без конца.
И голос человека странно
Плывет, вплетаясь в лес и плес.
Под лепет лип, дождя сопрано —
До дна, до облака, до слез.

БОРИС СЛУЦКИЙ

☆☆☆

Какие они, кто моложе меня
на тридцать лет, кому двадцать лет,
кто еще не проверил лотерейный билет,
не прикурил от собственного огня!

Кто они, говорящие почти на одном
языке со мною, почти те же святыни
чтящие, но глядящие глазами пустыми
на переворачивающее меня вверх дном.
Спрашиваю: кто вы? Слышу в ответ
имена, фамилии, годы рожденья,
иногда просьбу дать совет,
иногда — мнение (для подтверждения).
Но чаще всего слышу стихи.
Слишком слышанные. Слишком похожие.
Пустяки. А пустяки
не ощущаю дрожью по коже я.
А я не хочу советы давать.
Мне нужно знать, кому сдавать
пост, куда я поставил
сам себя давным-давно,
знать, чье загорится окно,
когда опустится мой ставень.

Души артистов

В ушах у них гром, на устах у них медь.
Они ломают трагедь и комедь.

Когда ломаешь комедь каждый день,
в душе осаждается тень или лень.

Нет, не осаждается. Когда появляется —
что-то немедля в душе обновляется.

Она, между прочим, тем хороша,
что вынесет все, что выносит, душа.

Что вынесет все, хоть святых выноси,
и после спектакля орет: «Такси!»,

Чтоб рюмками после спектакля греметь.
В ушах у них звон. На устах у них медь,

и что-то они с раздраженьем отстаивают,
хоть под напряженьем весь вечер
простаивают.

Такое ведь надо стерпеть и суметь —
ломать каждый вечер комедь и трагедь

и, медь не разменивая на медяки,
греметь наподобие горной реки.

☆☆☆

Надоедало недоедать,
осточертевало зубрить.
Хотелось времени под зад поддать,
чтоб мчалось во всю прыть.
Между тем студенческий год,
как выяснилось, состоял
из малых тягот и важных льгот
и много добра таил.
Сейчас, через двадцать с чем-нибудь лет,
добром вспоминается недоед,
И недосып, и недобор
материальных благ,
а юность, как долина с гор,
прекрасна и так и сяк.

То ли решать, то ли тянуть

То ли решать, то ли тянуть.
Но можно столько протянуть,
что после не решишь, решая.
Проблема сложная, большая:
то ли решать, то ли тянуть.
Конечно, хорошо одним
ударом
сразу,
без оттяжки!
Решить недолго и нетяжко,
но что же после делать с ним,
решенным с маху или сразу?
Ведь после не перечеркнуть!
И вот жуешь такую фразу:
то ли решать, то ли тянуть.
То ли тянуть, то ли решать,
то ли проблемы разрешать,
то ли сперва часок соснуть?

ЛЕВ СМИРНОВ

Кони

Не взяла их ни Волга, ни Лета,
Не развеяли по ветру дни...
Вот сегодня, за час до рассвета,
Прискакали под окна они.

Видел кто-то на старом балконе,
Слышал кто-то в проеме окна:
Тяжко дышат усталые кони,
И пустые звенят стремена.

Людям вспомнился запах полыни
И шальные степные огни...
Где же всадники? Нет и в помине.
Только белые кони одни.

Перед самым парадом Москвою
Пролетели, когда ты спала,
И наполнили сердце тоскою,
И пропали, грызя удила.

У Кремля, меж военных трехтонок,
По соседству с полком боевым,
Люди слышали: ржал жеребенок,
И куранты молчали над ним.

Деревья в тумане

Деревья в тумане, чем дальше, тем реже,
Как в давнем романе рыбацкие мрежи,
Как Тмутаракани забытые вежи.

Слоистый туман, просторы без меж.
Болотный дурман — хоть ножиком режь.
Обман не обман,— но солнышко где ж?

Деревья в тумане кружились над лугом,
Как будто заране, простившись с испугом,
Для призрачной брани сходились
Друг с другом.

Но где-то застрял гудошник простой,
И медлил сигнал над рощей густой,
И ворон скакал по дали пустой...

Деревья в тумане,— а это ль не значит,
Что дьявол обманет, что леший обскачет,
Что тропка затянет, закрутит, запрячет.

Теряя свой вес и в безднах кружа,
Обрушится лес, виденья круша,—
Но новых чудес коснется душа!

Николай Николаевич

По улочке глухой,
Путаясь шумных улиц,
Поэт, учитель мой,
Идет, слегка сутулясь.

Он в «Радугу» несет
Свое стихотворенье
Про то, как снег с высот
Вершит свое паренье.

Хоть знаньем умудрен,
Он вечный первоклассник.
Он, весел и смущен,
Шагает, как на праздник.

Под пенье пустельги
На землю зной ложится.
Поэт несет стихи
Про то, как снег кружится.

Он древний человек,
Он таинство свершает.
Его стихам про снег
Зной летний не мешает.

Идет он напрямик
Под грохот пятитонок
Наивный, как старик,
И мудрый, как ребенок.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

☆☆☆

Я записную книжку потерял.
А в книжке был серьезный матерьял.
Она весьма непрочною была,
Но в ней любовь за строчками жила.
...Что листопад в страничках насорил,
Что невпопад я сам наговорил.
Что ночь нашла. Что вьюга намела.
И телефонов чьих-то номера.
Там расплывались строчки от дождя,
За перегиб странички уходя.
Была и еретическая блажь,
Какая? — трудно вспомнить, но была ж.
И лист сухой, зеленый там шумел
Мне одному. Беззвучно. Как умел.
Забыл стихи. Забыл наметки тем.
И телефоны канули совсем.
Один я помню. Но не позвоню.
Что я звоночком этим изменю?
Ведь жаль не книжки, а минувших жаль
Минуток, суток. В том-то и печаль.

Сухого тополиного листа,
А не любви, что так была проста.
Жаль, что грущу, как признанный поэт,
Не о свиданьях, а о смене лет.
Жаль, что назвал все это — матерьял.
Что не нашел стихи, а потерял.

Март — апрель

Приближаются чудные вести
О еще незнакомых путях.
Ты колеблешься, точно созвездья
В расцветающих южных ночах.
А кругом уходящего снега
Чуть запавшие в душу следы
Уступают места для побега,
Для расцвета и чистой воды.
Я стою пред тобой в озареньи...
И лицо твое в отблесках дня
Из куста нерасцветшей сирени
Так цветуще глядит на меня.

☆☆☆

Ей снится крылатый стреноженный конь
И нежная чья-то ладонь.
И от этого сна пробудиться она
Все не может, от этого сна.
Ей снится лежащий у ног богатырь.
И замок. И снег. И снегирь.
И от этого сна пробудиться она
Все не может, от этого сна.
Ей снится турнир и бряцание лат.
Перчатка. И брошенный взгляд.
Но от этого сна пробудиться она
Все не может, от этого сна.
Но — и рыцарь и мальчик — один человек
Улетел словно в будущий век,
Потому что она пробудиться от сна
Все не может, от этого сна.

☆☆☆

Как будто нет других поэтов,
Пишу, пишу, пишу. Зачем
Быть прожигателем рассветов
И сочинителем поэм?
Сломав перо, бумагу скомкав —
В ближайший лес за три версты
Бегом от предков и потомков,
От злобы дня и доброты!

Но лишь завижу лист зеленый
Иль прошлогодним прошуршу,
Опять пишу, как заведенный.
Куда? Зачем? Кому? — Пишу!

СЕМЕН СОРИН

Баллада

В ночь вдребезги разбитых мирных снов
Солдату было не до орденов.
Убить врага, всадить в броню снаряд
Считал он самой высшей из наград.
Наградой высшей он считал тогда
Спасенные родные города.
Ложились реки — лишь перешагнуть —
Муаровыми лентами на грудь.
Не горевал солдат — на то война,
Что вслед не поспевают ордена.
Он победил, отцом и дедом стал,
Неся под сердцем вражеский металл.
Но что ответить, вдруг захочет внук
Потрогать знаки воинских заслуг,
Когда незримый вражеский металл —
И тот солдата доблесть подтверждал?
...Не позабыла воина страна,
Догнали ветерана ордена:
Спасителю отеческой земли
Их не вручили — следом понесли.
Озарены солдатские следы
Далеким светом вспыхнувшей звезды.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

17 июня 1944 г.

Они хотели овладеть Москвой.
И вот сегодня поутру, сутулясь,
Прошли Москвой...
                    Вернее, наш конвой
Провел «арийцев» вдоль московских улиц.

Ни одного знакомого лица...
Ни одного сочувственного взгляда...
Идут, идут, идут — и нет конца
Участникам позорного парада.

☆☆☆

В окна вагонные
Ветер врывается резкий,
Чайки над катером вьются,
Желая удачи в пути...
Жизнь меня в плаванья гонит,
В полеты, в поездки
Время торопит —
Трясись на колесах, плыви и лети!
Только б от всех не отстать —
Я бросаюсь за всеми,
Только б не впасть в домоседство,
В его суету и тщету...
— Остановись! — я кричу,—
Дорогое и грозное время,
Остановись!
А не то я помру
На бегу, на плаву, на лету.

☆☆☆

Не надо, не надо тревожиться,
    Слышишь, не надо!..
Наступит прохлада.
    Закружится вихрь листопада.

И ты, моя радость,
    Не знай никаких опасений:
Мы встретимся снова с тобою
    Порою осенней...

А впрочем, а впрочем, едва ли
    Возможно все это:
Я в зиму вступаю,
    А ты, моя милая,— в лето.

И нет одного, но такого хорошего
    Времени года,
Когда бы мне встречу с тобой
    Подарила природа.

☆☆☆

Хоть даль еще светла,
Прозрачно-бирюзова,
Уже кефаль пришла
От берегов Азова.

И вот уже чуть свет,
Рыбешек уплетая,
Спешит за ними вслед,
Летит дельфинья стая.

И вывернется
на
Спокойной глади синей
То черная спина,
То черный хвост дельфиний...

Две песни

В одной — распахнутые шири,
Душа народа, красота.
В другой — надрывный крик в квартире,
Истерика и суета.

В одной — любви святое чувство,
И гнев, и ненависть к врагам.
В другой — темно, бездумно, пусто,
Одни удары по мозгам.

Врываясь беспардонно в уши,
Она — само исчадье зла,
Гремит, опустошая души
И нервно дергая тела.

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

Голос птицы

Пир удался, но ближе к утру
Стало ясно, что я не умру,
И умолкла воронья капелла;
И душа задремала без сил,
А потом ее звук воскресил —
То балканская горлинка пела.

Я очнулся; был чудно знаком
Голос птицы с его говорком,
С бормотаньем нелепых вопросов;
И печаль не была тяжела,
И заря желторота была,
И постели был краешек розов.

Там, в постели, поближе к окну,
Дочь спала и была на жену
Так похожа, что если б у двери
Не спала, раскрасневшись, жена,
Я б подумал, что это она,
А подумал: не дочери две ли?

Пировалось всю ночь воронью,
Воронье истязало мою
Небессмертную, рваную душу,
И душа походила на пса,
Что попал под удар колеса
И лежит потрохами наружу.

Но возникли к утру на земле
Голос птицы, тетрадь на столе
И строка на своем полуслове,
И на девочке розовый свет,
И болезни младенческой след —
Шрамик, оспинка около брови.

Этот мир был моим — и знаком
Не деталью, а весь целиком
И лепился любовью и болью,
И балканская птица была
Туркестанской — и оба крыла
Все пыталась поднять над собою.

Подражание Есенину

Гульзира, твое имя — цветок,
И, Востока традицию чтущий,
Я твой черный тугой завиток
Зарифмую с зирою цветущей.

Но узнать бы сначала пора,
Как цветет на Востоке зира.

Я исчислю цветок по плоду,
В семена ароматные вникну
И к такому ответу приду,
От которого горько поникну.

Гульзира, разве ведаешь ты,
Как печалят порою цветы?

Убежав от гудения пчел,
Я забыл про былую удачу,
И пустыню цветам предпочел,
И пустые глаза свои прячу,

Ибо горечью жжет, Гульзира,
То, что сладостью было вчера.

Гульзира, твои речи просты,
И от плеч твоих пахнет зирою.
Как горчат, как печалят порою
Эти запахи, эти цветы!

Дай лицо свое снова зарою
В эти запахи, эти цветы.

Оттого, что я с севера, что ли?..

Коля

В простодушном царстве Коли Старшинова
Проживают цапля, щука и корова.

За боркун, что Коля подарил под пасху,
Нацеди, буренка, молочка подпаску!

Колю звать к обеду, цапля носом стукай!
А вести беседу станет он со щукой.

Щука все-то знает, там и сям служила,
У нее на зависть становая жила.

И у Коли тоже ни усов, ни жира,
Потроха да кожа да струною — жила.

А лихие гости к совершеннолетью
Перебили кости пулеметной плетью?

Не его ли, Колю, все равно что плетью,
Садануло болью к тридцатитрехлетью?

Он живет неслабо, точно нету смерти,
Не страшны ни бабы, ни враги, ни черти.

Над рекой избенка — деревца живые.
На дворе буренка — боркунок на вые.

Во саду ли щука надрывает глотку.
На ходулях цапля лихо бьет чечетку —

Под щукины частушки пляшет.

ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

☆☆☆

Зима развернулась,
как белая книга,—
О светлая суть
невозвратного мига!
Холодное солнце.
Густая лазурь...
Забудь пораженье
и брови не хмурь.

Душевная смута —
пустая хвороба.
Есть свежая горсть
молодого сугроба,
Рябины
багряная тяжкая горсть.

Ты в собственном мире хозяин,
не гость.

И время,
к тебе приближая страницу,
На девственный снег
вытрясает синицу.
И ты,
у раскрытого стоя окна,
Смеясь,
вытрясаешь остатки пшена.

Друзья

По улице Герцена шли и галдели,
Еще не наметив единственной цели,
Еще ни о чем не печалясь всерьез,
На щедрое небо взирая без слез.
Душа молодая не знает покоя:
Давайте придумаем что-то такое...
Пускай не кончается радостный день,
В горячих ладонях не вянет сирень.
...Друзья не желают сниматься на фото,
У каждого есть поважнее забота.
Но там, на углу,
у Никитских ворот,
Есть дверь, за которою время замрет.
Друзья не желают сниматься на фото,
А мне не унять их крутого полета.

И мы никогда, никогда, никогда
Такими, как есть, не вернемся сюда.
— В грядущее следуй без лишних
пожитков.
Позировать — блажь. Суета. Пережиток.
Друзья посмеются, а я помолчу.
Я их молодыми запомнить хочу.

ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ

У железнодорожного депо

Задрожала земля, и родился отвесный,
но клубящийся звук.
И дохнуло железом, теплом.
Бестелесным
напряженьем дохнуло вокруг.
И возник этот миг ожиданья, испуга
там, где фары
и мгла.
И машина по рельсам,
прогнувшимся туго,
словно тяжкая мысль, протекла.
...Самолет ли плывет, вызывая сурово
все, что есть на земле,
что́ стихия!
Дрожа, вслед железному зову
рвется каждый стакан на столе!

☆☆☆

Ты думаешь только о лете,
не чувствуя стужи всерьез.
Но город на позднем рассвете
сковали туман и мороз.

Вот снежные дыбятся пряди.
Такая вокруг кутерьма,
а ты все гуляешь, не глядя,
как вьюги вздевает зима.

Она еще в самом начале,
и ты не желаешь взглянуть
на белые горы в квартале,
уже занесенном по грудь.

ИВАН ТАРБА

Все, что я делаю

Живу я так, чтоб с сердцем быть в ладу,
Иная жизнь была б подобьем ада.
Я с криводушным шага не пройду,
Чужих богатств и доли мне не надо.
Мой труд со мной, с ним так легко идти,
Жизнь никому я злобой не увечу.
Добро тебе! — мной встреченный в пути,
Добро тебе! — кого я завтра встречу.
Крутой работой жизнь свою крепил.
С ней день встречал и ночи слушал вздохи.
Я то люблю, что пот мой окропил.
Чужих щедрот не подбираю крохи.
Возьму себе — и сразу пропаду.
Другим дарить — блаженство и отрада.
Ведь если с сердцем ты живешь в ладу,
Пожалуй, это лучшая награда.
Я славлю день, который настает,
На нем лежит труда святая мета.
И ты, и я, и он — все вместе мы народ,
Пускай от нас прибудет в мире света!

Перевел с абхазского
Г. КАЛАШНИКОВ

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

Дворы детства

Тянули нас к себе дворы вечерние
запретным куревом, соседей новых именами.
Отставники гоняли нас, и мы, кочевники,
места меняли сборищ, привычек не меняли.

Когда же чьи-то сытые сынки
над рванью наших «бобочек» смеялись,
нам было все равно. О, как легки
тогда обиды были — все равно мы знались.

☆☆☆

Когда решил я посмотреть поближе
на прошлых, помнящих судьбу мою,
то оказалось: многих я уже не вижу,
а многих вижу, но не узнаю.

☆☆☆

Зачем, поэт,
ты все разбил на части?
Затем, чтоб свет
твой был еще несчастней?
Стихи твои не смогут
потом соединить
с колесами — дорогу,
с иголкой — нить.

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ

Ак-Буура

От порога до порога
Бурно мчишься, Ак-Буура,
Словно в дальнюю дорогу
Ты уходишь, Ак-Буура.
Укротить тебя лишь сильным
Ты позволишь, Ак-Буура.
Хлопковым полям обильным
Воду дашь ты, Ак-Буура.
И полей слепую жажду
Утолишь ты, Ак-Буура.
В колоске пшеницы каждом
Ты сверкаешь, Ак-Буура.
Луга пестрое цветенье —
Твои волны, Ак-Буура,
Соловьев полночных пенье —
Голос твой, о Ак-Буура.

Художнику

Я вновь с тобой душою слит,
Художник, верный друг старинный,
И сердце мне опять щемит
Мелодия твоей картины.

Как цвет и звук ты вместе свел?
Я удивления не скрою,
Как будто краски ты развел
Живой волшебною водою.
Поющих красок стройный лад,
И страсти вольные порывы...
В полон возьмут, заворожат
И чувств и цвета переливы.
Переживаю, как свою,
Я щедрую твою удачу,
Опять страдаю и люблю,
Смеюсь и плачу.

Перевел с киргизского
Г. КАЛАШНИКОВ

РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН

☆☆☆

Роднички журчат-судачат,
выскочив из-под земли,
а с ручьем сольются... и
безымянные они.
Ручейки к речушкам скачут
через камни, через пни,
а едва сольются... и
безымянные они.
Реки к морю через горы
русла вывели свои,
а вольются в море... и
безымянные они.
Человек — другое дело!
У людей наоборот:
повстречав любое дело,
кто Отчизне отдает
пламя сердца, силу тела,
жизнь свою за годом год —
обретает имя тот.

Август в яблоневом саду

Тишина какая!.. Кажется, что слышишь,
как паук внучонку колыбельку ткет.
В этот век машинный,
в этот век ревущий
тишина такая дважды не придет.

В небесах полночных на спине плыву я,
равный среди равных,
звездам брат земной.
...Яблоко упало в тишину густую,
словно плод прекрасный тишины самой.

Перевела с татарского
М. АВВАКУМОВА

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

Солдатские могилы

Течет по камню теплый дождь.
Розарий. Тишина.
Какие здесь порой найдешь
На плитах имена!
Лежат с тех памятных годин
В земле соседних стран
Шевченко, Чехов, Карамзин,
Табидзе, Туманян.
Однофамильцы? Видно, так!
Или верней всего —
Неуловимое в летах
Далекое родство?
Склонясь, читаю вновь и вновь,
И каждая плита
Мне говорит: какая кровь
Святая пролита!

Подробности

Какой-то слабенький цветок
Среди лесной травы...
Покрытый снегом завиток
Решетки у Невы...
Среди забот и передряг,
В потоке бытия —
Пылинка, в сущности, пустяк,
Соломинка моя!
А все ж такие пустяки
Отринуть не спеши:
Когда наступит час тоски,

Смятения души,
Когда вот-вот уже на дно,
В пучину засосет,—
Подчас не выручит бревно,
Соломинка спасет!

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

☆☆☆

Кого-то все-таки задел,
кому-то на пути случился,
в каких-то стеклах отразился,
в каких-то мыслях пролетел —
хотя и большего хотел...

☆☆☆

И потом столько раз повторялась,
вызывая сладчайшую боль,
эта встреча, что не состоялась,
а теперь в нее верить изволь.

Эта встреча тогда не случилась,
потому что была так важна,
что потом столько раз повторилась
и всю жизнь повторяться должна.

ИРИНА ХРОЛОВА

☆☆☆

Чем мы начали — тем и закончим.
Встречный ветер горюч, как слеза.
«Однозвучно гремит колокольчик.
И дорога клубится слегка».
Начиналась она издалека,
Из осенних распутиц и слез
Горьким привкусом песни соленой,
И осталась... И это — всерьез,
Навсегда — до столба верстового,
Навсегда — до родного крыльца,
Где, недолгим прощанием скован,
Кто-то плачет, не пряча лица.

ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ

☆☆☆

Построю дом с террасой и крылечком
На берегу, где дуют холода,
И, может быть, женюсь на этой речке,
Она и глубока и молода.

А ежели друзья со всех пределов
Однажды навестят, то я, любим,
Представлю им ее вдруг, между делом,
Как просто речку. Это ближе им.

Пусть ревности моей не побоятся
И, под хмельком отвесив ей поклон,
Они в любви к ней будут объясняться,
Забыв своих зеленоглазых жен.

Пусть им в ответ почудится молчанье.
Речушка, ночь и домика окно.
С ней будут говорить, не замечая,
Что мы вдвоем беседуем давно.

И в тихом всплеске слышу я:
«Любимый,
Будь веселей, весельем окружен.
Твои друзья — они неотразимы.
Смотри! Один ты мною отражен».

☆☆☆

Приближенье задумчивых дней
Ощущаю, их свет и дыханье,
Их умеренных волн колыханье,
Окрыленность их птиц и коней.

Ухожу от цветистых речей,
От смешков над годами седыми,
Отрекаюсь от пьяных друзей
И от собственной глупой гордыни.

А из жизни, куда ни взгляни,
Подмастерьем, в работу влюбленным,
Выжигаю железом каленым
Голубые воскресные дни.

АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ

Дом Н. С. Тихонова

Не в памятниках дело, не в почете,
А в том, какую долю кто вложил
В наш общий труд...

На мраморе прочтете:
«Здесь, в этом доме, он творил и жил».

Сюда к нему являлось вдохновенье
И в черный день и в самый голубой,
Чтобы наполнить вечностью творенья,
И, как солдат, потом отправить в бой.

Все это было. В памяти хранится.
Не даст соврать и этот старый дом:
Здесь дышит жизни каждая страница
Его незабываемым трудом.

ФЕЛИКС ЧУЕВ

Ленинградская заря

Вполголоса приказы раздаются,
и шепотом сползают якоря...
Отрядом пролетарских революций
шагает ленинградская заря.

Пылает алый строй красногвардейцев...
Как пропуска на острие штыка,
накалывает шпиль Адмиралтейства
высокие, как время, облака.

Байдуков

Под звон молодых юбилейных бокалов
мой тост нерасплесканный будет таков:
— Конечно, товарищи, Чкалов есть Чкалов,
но рядышком был и Егор Байдуков.

Его боевые друзья откровенно
всегда говорили: Байдук — это тот,
который не только герой довоенный —
он в самое пекло на фронте пойдет!

За это любили. За это ценили.
И нету, пожалуй, достойней цены:
его Золотую Звезду не затмили
герои и звезды последней войны.

Егор Байдуков остается пилотом
военных, воздушных, дерзающих сил,
пилотом, которого перед полетом
сам Туполев быстро, украдкой крестил...

ИГОРЬ ЧУРДАЛЕВ

☆☆☆

Ступаю на пирс, где корабль-исполин
нацелил огромного корпуса клин
на марево в ярком просторе.
Ни с чем этот мир голубой не сравним,
где вечным подростком скитается Грин,
где блики на черных боках субмарин
и жгучие запахи соли.

Все было.
И юность неслась на волне.
И первая боль оседала на дне.
И жажда тянула к прибою.
Все скрылось во времени, как в пелене.
И все-таки это пришло не во сне.
Ничто не пропало, оставшись во мне
прозрачной и горькой любовью.

Шуми, мое море.
Сверкай и штормы,
чтоб жило приволье твое меж людьми,
чтоб мелкое в нас отступало.
Своей необъятности дай нам взаймы,
чтоб не издержались по мелочи мы
и чтоб средь грошовой пустой кутерьмы
великое в нас не пропало.

Я сын моряка
и брат моряка,
но накрепко держат меня берега,
клещами сойдясь над заливом.

Допустим, что я никудышный матрос —
но в том моя радость, что спеть довелось
о море родимом, соленом от слез,
и все-таки море счастливом!

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

☆☆☆

Черемуха в овраге. Соловей.
Благоухает та, а этот свищет.
Душе довольно простоты своей,
которая сама с себя и взыщет.

Я, проходя, сперва подумал: Фет,
представил мельком барский пруд, беседку,
но вспомнил и свое: велосипед,
тетрадку в клетку, девочку-соседку.

Я ей писал записки, от чернил
синели пальцы. А она краснела.
Как я несчастлив! Как я счастлив был
своим несчастьем! Но не в этом дело.

А дело в том, что перышко с крыла
в те дни мне ангел бросил для отваги,
а по садам черемуха цвела,
и кто-то щелкал по ночам в овраге.

Что девочка умчалась, так о ней
и слуху нет. А перышко осталось.
Легчайшее, как думал дуралей,
да тяжелей, чем думал, оказалось.

Да дух остался, нет, не аромат,
а дух, который веет бесталанно
над тем пиитом, и на поздний взгляд —
единственный свидетель, вот что странно.

Музыка

«Амурские волны» играет оркестр духовой,
Отсохла замазка, и стекла дрожат от напора,
Как весело дуть от избытка в трубу иль гобой
и слух напрягать, подчиняясь рукам дирижера!

А свет полосатый под окнами синь и румян.
А в клубе милиции с фикусом каждая кадка.

Как весело бить колотушкой
в большой барабан
и в малый стучать
на предмет озорства и порядка!

Не все же свистеть
или пушку таскать в кобуре.
Пора и о духе подумать,
о чем-нибудь прочном,
о том, например,
как скрипит постовой во дворе
снежком деревенским,
о совестном гнете полночном.

Не тяготы давят,
а легкая тяжесть одна,
мелодия, что ли, которую на сердце носим.
С ней, может быть, тесен ремень,
и труба солона,
но небо другое, и воздух остер и морозен.

Ах, Горлов тупик,
с хрипотцою трубящий рожок!
Крута наша будущность,
как Пугачевская башня.
Крута, тугоуха.
А выдох так чист и высок.
Вот-вот оборвется.
И весело как-то и страшно.

☆☆☆

Три раза в году цветет тамариск
и только один — джуда,
от этих сухих сумасшедших брызг
кипит зеленей вода,
и солнцем каждый листок пригрет,
и зной да такой в тени,
что если ты хочешь сказать мне НЕТ,
то лучше повремени.

Пусть зной спадет, и падет роса,
и жук пролетит ночной,
и вспыхнут холодные небеса
над нами, тобой и мной,
и к тамариску прильнет джуда,
и грянет, да так с ветвей,
что если ты можешь сказать мне ДА,
то лучше сказать скорей.

За строкой исторической хроники

«648 г. до н. э. Затмение солнца. Расцвет поэзии Архилоха».

Э. БИКЕРМАН.
«Хронология древнего мира».

Опять эта зоркая злость
и этот простор подневольный,
упершийся в горло, как кость,
с поры предвоенной и школьной,
и прежде того — с вековой,
еще до рожденья рожденной,
запавшей двойной синевой
у глаз, как нуждою огромной.

Князь Игорь вступил в стремена,
но мгла ему путь преградила,
и черного дня глубина
предвестья дурные явила,
и срам он найдет и полон,
но песней, как долгая рана,
на вещий взойдет небосклон
безвестный Соперник Бояна...

А там, за раскатом валов,
чей натиск ликующ и горек,
обломки каких катастроф
и взлетов увидит историк? —
где знать! — но из пропасти лет
всплывет за строкою Эпоха:
— Затмение солнца. Расцвет
поэзии Архилоха.

Какая тяжелая цепь!
Галера скрипит в сорок весел,
скрежещет, как утлая крепь,
судьба и на гребень выносит,
чем круче волна — тем верней,
чем хлеще удар — тем чудесней,
и песня все кружит над ней,
как чайка над черною бездной.

Не наша с тобою вина,
тем паче не наша заслуга,
что нас обошли и война,
и плен, и большая разлука,
что этот простор не на нас
глядел, совмещая две точки,
что свет среди дня не погас
от бланка и вписанной строчки.

Но тот, кому Слово дано,
себя совмещает со всеми,
поскольку Оно зажжено
для всех, и в не лучшее время,
и если ты встал до зари,
в пустой не печалься печали,
но, радуясь, благодари:
какие мы звезды застали!

Глаза и слепому даны,
но я не о тех, что глядели.
Какие мы видели сны!
Какие мы лжи претерпели!
И, может быть, некий поэт
отметит среди помраченья:
— Затмение разума. Свет
страдальчества и искупленья.

ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

☆☆☆

Размышляя о пользе Отчизне,
мы поймем ли в негаданный час,
что Отчизне ни смерти, ни жизни
так, впрямую, не нужно от нас?

Об одном лишь мечтает в печали,
видя игры своих сыновей,
чтоб они, возмужав, осознали
цену чести и воли своей.

Сверчки

Жили со мною сверчки
в доме одном.
Были сверчки — трубачи,
были сверчки — скрипачи
в доме одном.
В ноты смотрели сверчки
и надевали очки.

Полночь наступит — шуршат,
к дому летят издали,
выплеснут целый ушат
звуков полдневной земли.

Что за чудесные сны
снились в том доме ночном,—
были, как сказки красны,
были, как притча, с умом!

Кажется, не со сверчком
ночь проводил в темноте —
с огненно-рыжим конем,
мчащимся к новой мечте.

Грянут лягушки окрест,
пчелы подхватят без слов...
И несравненен оркестр
неутоленных сверчков!

ВАДИМ ШЕФНЕР

Кате

Дождь с утра. Разбилась чашка.
Неприятности кругом.
Гибнет новая рубашка
Под электроутюгом.
Ты в окно глядишь на тучи,
Говоришь что всё не впрок,
Говоришь, что невезучий
Нынче выдался денек.
— Радуйся таким печалям,—
Возражаю я тебе.
— Мелочами, мелочами
Платим пошлину судьбе.

Благодарность старому знакомому

Исполнен помыслов благих,
Скажу на склоне лет,
Что равнодушие других
Нам не всегда во вред.

Когда мне очень не везло
И жизнь горька была,
Он мог вполне мне сделать зло,
Но он не сделал зла.

Он не помог мне в трудный час,
Хоть мог помочь вполне,
И все-таки меня он спас,
Оставшись в стороне.

Пусть он не выручил меня,
Не протянул руки,
Но все-таки и на меня
Не поднял он руки.

Теперь-то мне, на склоне лет,
Яснее, что к чему.
За каменный нейтралитет
Спасибо шлю ему.

Космическая легенда

Расстрига, бездомный бродяга
Шагал по просторам Земли.
Вдруг видит: хрустальная фляга
Мерцает в дорожной пыли.

Он поднял. Прочел на сосуде:
«Здесь влага волшебней вина;
Бессмертно-счастливейшим будет
Ее осушивший до дна».

В кусты он отбросил находку,
Промолвив себе самому:
— Добро б там вода или водка,
А счастье такое — к чему?

Коль смертны все люди на свете,
Бессмертья не надобно мне...
И дальше побрел по планете
С надеждою наедине.

В лохмотьях, в немыслимой рвани
Побрел он за счастьем своим.
Всплакнули инопланетяне,
Следившие тайно за ним.

Им стал по-семейному близок
Мудрец, не принявший даров,
И Землю внесли они в список
Неприкосновенных миров.

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

Подросток

От почты иду к Днепру.
Долго стою на ветру.
Пахнет вином овраг.
Хлопает мокрый флаг.
Иду от Днепра до почты.
Холодно. Пусто. Май.
Обратно иду от почты,
Неба горелый край...
Куда идти? Кого полюбить?
Эх, высокая дрожь!
Крикну: — Дай закурить...
Вздрогнув, ты обойдешь.
Иду от Днепра до почты.
От почты иду к Днепру.
Скучно стоять на ветру.
Иду от Днепра до почты.
Ночь. Я один. Темно.
Хочется камень в окно
Кинуть и убежать...
Или весь мир обнять!

☆☆☆

Летом здесь птица пела.
Руку сунул в дупло,—
осталось ее тепло...
Только что улетела!

Брат! Где с тобой стоим,
злые после раздора,—
воздух остынет скоро,
и растворится дым...

Разве сюда вернемся?
Делим. Таим. Трясемся.
Просим. Берем. Хватаем.
Тута! — все оставляем.

Туточки! — все кубышки.
Туточки! — все излишки.
Тает холодный дым,
брат, где с тобой стоим.

Черно-белое стадо

Солнце за лес упало.
Погасла в песке слюда.
— Ой! Погляди туда.
Черных коров не стало.

— Тише! И вправду, ой...
Белые все пасутся.
А черных нет ни одной.—
Два пастушка трясутся.

— Что ты дрожишь, Иван?
— От холод-дного молок-ка.
— Сено подсунь в бока.
— Глянь-ка, уже т-т-туман.

А туман как нагрянет,
белых коров не станет.
А как солнце взойдет,
вместе всех соберет!

☆☆☆

Какая сила тянет нас
к ночному зареву пожара?
Мы от горящего амбара,
как дети, не отводим глаз.
Горит амбар или скирда.
Озарены поля, могилы...
Из темноты глядим туда
и оторваться нету силы.

☆☆☆

— Почему ты, ворон, черный? —
я у ворона спросил.
— Чтобы воздух этот синий
благодарней ты любил!
— Почему ты, ворон, вечно
возле кладбища живешь?
— Чтоб не очень одиноким
был и ты, когда умрешь.

ОКТЕМ ЭМИНОВ

Черноокая из Карабека

Виноградник не спеша
Обвожу веселым взглядом —
Блещут гроздья «тербаша»,
Словно жемчуг,
Ряд за рядом.
У меня смущенный вид:
С кем такого не бывает —
Рядом девушка стоит,
Грозди сочные срывает.
«Белый с черным не мешай!» —
Говорю ей для начала.
«Ладно, парень, не мешай!»
Право, лучше б промолчала...
Надвигается гроза —
Очи черные сверкают!
Словом гонит,
А глаза
От себя не отпускают!
Стал в сторонке, сам не рад.
А она мне:
«Дело делай!
Погляди на виноград,
Собирай, который спелый!»
Я трудился, поспешал,
Девушку не отвлекая.
Белый с черным не мешал!
«Ты откуда же
Такая?..»
Не подняв прекрасных глаз,
Не сказала ни словечка.
Может быть, сильней сейчас
Бьется у нее сердечко?
Отовсюду собрались
Девушки,
В кружочек стали
И немедля, злись — не злись,
Весело защебетали:
— Где нашла его, Акджи?
Поделись скорей с подругой!
— Навсегда ли ты, скажи,
Сделалась четырехрукой?

— Где бы мне такого взять?
Я бы на часок уснула!
«Парень, приходи опять!» —
Черноокая шепнула.

Перевел с туркменского
О. ДМИТРИЕВ

ГЕВОРГ ЭМИН

Испанский танец

Испанец?
Он не танцует —
Он любит и обольщает.
Испанка?
Она не танцует —
Лукавит и обещает.
Испанец?
Он не танцует —
Он такт ногой отбивает,
Как будто во власти страсти
Соперника убивает.
Он говорит непрерывно —
Так, что трещат подмостки, —
С глазами ее, и брошью,
И с розой в ее прическе.
В ответ намекают брови,
Сулят любовь кастаньеты,
Проносятся беглые взгляды,
Прицельные, как стилеты.
Мелодия заклинает,
В пучине безумья тонет.
Гитара терзает струны
И в муках предсмертно стонет.
На платье легкая брошка,
Сверкающая багряно,
Ему не кажется брошкой,
А кровоточащей раной.
Недаром плачет гитара,
Увидев смерть напрямую,
И кровь с любовью недаром
Парует она, рифмуя.
Поди-ка, найди попробуй
Виновника страсти-раздора.

Палач превращается в жертву,
А бык сродни матадору.
Поди-ка, пойми попробуй,
Кого одолела сила
И чье дрожащее сердце
Жестокая сталь произила...

☆☆☆

Воровство — один из тяжких грехов.
Никогда ничего не кради.
Ни вола, ни осла, ни хлебов, ни стихов.
Никогда ничего не кради.
Ну, а если невмочь ничего не украсть,
То кради только сердце, как требует страсть,
И не сыщешь среди пострадавших
врагов.
А другого — вовек не кради.

Перевел с армянского
Л. ГРИГОРЬЯН


Сатира и юмор



АЛЕКСЕЙ ПЬЯНОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

ТЯНЕТ К ТОЛСТОМУ

> Как-то стыдно изящной
> словесности,
> отрешенности на челе.
>
> Все к Некрасову тянет,
> и Некрасову...
>
> И все к Пушкину тянет,
> все и Пушкину...
>
> Евгений ЕВТУШЕНКО

Пребывая в стабильной
известности,
Не стыдясь, не боясь ни черта,
Я стесняюсь изящной
словесности,
Как беременная — живота.

На эстрадах, экранах,
на дисках я,
Узнаваем и в профиль и в фас,
Но во всем этом — что-то
нудистское,
Что-то ложно-стриптизное в нас.

Я в стремлении к слову
нескучному
Израсходовал море чернил.
Все тянуло к Некрасову,
к Пушкину,
А потом Эйзенштейн поманил.

Пусть осудят мою
расточительность —
Я, как мальчик, надеждой
живу...
Нынче тянет к Толстому
мучительно.
И, что главное, кажется,
к Льву!

СПАСИБО, ТЕТЯ КЛАВА!

Это снова, это снова
Бабье лето, бабье лето...

Игорь КОХАНОВСКИЙ

**Вот уже какую осень
Эти старые куплеты
И цветут и плодоносят —
«Бабье лето», «Бабье лето».**

**Принесли они поэту
И признание и славу.
Ах, спасибо вам за это,
Тетя Клава, тетя Клава!**

**Только вот тревожно Мане,
Что мелодия запета,
Что однажды нас обманет
«Бабье лето», «Бабье лето».**

**Я и сам порой тоскую,
Хоть и признан и увенчан:
Я еще хочу такую,
И не больше и не меньше!**

БЕСПЛОДНЫЙ ОРГАН НТР

Михеев разбирал мотор,
как свежевал бы зверя в поле...
и тосковал по Катерине,
в руках испытывая зуд...
В цилиндре туго ходит клапан—
бесплодный орган НТР.

Сергей МНАЦАКАНЯН

**Михеев вышел на простор,
Терзаемый похмельным стрессом,
И срезал на лету мотор —
Дитя научного прогресса.
Одним зарядом — наповал.
Машина кончилась без боли.
Потом ее освежевал,
Как свежевал бы зверя в поле,
Потом попробовал на зуб
Кардан, остывшую пружину...
И тут же вспомнил Катерину,
В руках испытывая зуд.**

И хоть не смыслил ничего
Он в достижениях науки,
Увы, героя моего
Терзали нравственные муки:
Какой он подает пример
В труде, в быту коллегам младшим?..
Был страшен навсегда увядший
Бесплодный орган НТР...
В чем тут мораль? Каков ответ?
И дураку должно быть ясно:
На производстве пить опасно,
Будь ты шофер или поэт.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИХАХ И ПРОЗЕ В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ

(Олег Чухонцев)

Ночами в Павловском Посаде
Читаю старые тетради...
В окне — ущербная луна.
Неспешно прошлое листаю.
Передо мною снедь простая,
Бутыль домашнего вина.

И вспоминаю, словно сон, я,
Как уходил от Фогельсона,
Судьбу вверяя небесам...
Увы, те дни — уже преданье,
И ныне на предмет изданья
Звонит домой редактор сам.

Приелся опиум оваций,
Рассеялся туман новаций —
Есть понадежней капитал...
Но не бесспорно прогрессивны
В сравненьи с лаптем
мокасины
(Так Евтушенко бы сказал).

Пора проститься со стихами,
Как с бедной юности грехами —
Вола вертеть резона нет.
Ведь согласитесь —
бред собачий
Писать для мебели и дачи.
А, впрочем, может, и не бред.

Поэтов властно тянет проза
Подобно водочке с мороза,
Как на Руси заведено.
И я бы мог, на старших глядя,
Порвать заветные тетради,
Но есть сомнение одно.

Не оказаться бы в убытке —
Ведь нынче дороги напитки,
Хоть я финансами не слаб...
Чтоб срифмовать
две-три картинки,
Вполне хватает четвертинки,
У прозы же — иной масштаб.

А тут еще одернет критик:
Мол, вы, увы, не аналитик,
Грешит провалами сюжет,
Героя монолог финальный
Чрезмерно долгий,
инфернальный,
И новизны в проблемах нет...

Что ж, примем мудрое
решенье:
Не поддаваясь искушенью,
Покуда с прозой погодим.
Не навсегда, так хоть до лета
Еще останемся в поэтах,
А там, читатель, поглядим.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Как давно я мечтала о любви! А полюбила только в десятом. В конце второй четверти.

Мы познакомились на катке. Сначала он долго ходил кругами — искал предлог завязать разговор. Нашел наконец — подставил ножку. Я упала и очень испугалась. Это же уровень второго класса — подножка, дерганье за косу!.. Слава богу, оказалось, что он уже студент второго курса. Отличник. Поэтому такой застенчивый. Зовут Игорь. Тут же попросил о свидании. Я назначила ему через неделю у памятника Маяковскому. Хотя мой любимый поэт Лермонтов. Но Маяковский мне ближе, я живу на улице Горького.

Целую неделю я потирала ушибленное колено. Мама хотела отвести меня на рентген. А я думала: «Дорогая, милая моя мама! При чем тут коленка, рентген? Если бы ты знала, что творится в сердце у твоей дочери. Кардиограмму пора делать...»

Все долгие дни ожидания я не хотела никого видеть, даже себя. К зеркалу почти не подходила. В воскресенье подошла и увидела — в лице ни кровинки, на лице одни глаза. Как все-таки человек хорошеет от любви!.. И я крикнула радостно:

— Мама, можно я надену твое пальто?

— Конечно, можно,— отозвалась из комнаты мама.

— И сапоги я твои надену!

Мама и с этим безропотно согласилась. Она проявляла к моей личной жизни так же мало интереса, как старушка к светофору на переходе. Забывала об опасности моего возраста. Может, потому что сама еще молодая. Так считают ее подруги, тетя Зоя и тетя Лена. Они вообще очень добрые. Называют друг друга девочками. Я надела мамино пальто, натянула мамины сапоги и вместо своего капора напялила мамину шапку, уже без спроса. Зачем спрашивать, когда в ответ не услышишь вопроса, куда иду, зачем и к кому. Ей абсолютно безразлично.

Переодевшись во все мамино, я двинулась к двери. Мама меня провожать не кинулась, вместо себя она послала вдогонку просьбу. Срочную, как телеграмма:

— По дороге обязательно купи хлеба. Целую!

Даже не подписалась! Это вместо родительского благословения. Спасибо, мама...

По дороге я зашла в Елисеевский. Посмотреться в зеркало. В зеркале увидела высокую, стройную девушку, почти подростка, в потертом пальто с дешевеньким воротничком, на голове — вязаная, причем плохо, «девочкой Зоей» шапчонка. На ногах сапоги, видавшие виды! Вот так, дорогой мой второкурсник. Полюбите нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит. Конечно, если бы я надела свою дубленку, меховой капор из песца и сапоги на шпильках, может, сам Маяковский сошел бы с пьедестала. А вот такую Золушку полюбит он или нет?.. Я не о Маяковском, конечно, я об Игоре.

Мне вдруг стало его жалко. Может, зря я устраиваю ему такое жестокое испытание, может, он к нему еще не готов? Он еще так молод! Но, с другой стороны, «по одежке встречают, по уму провожают». Любимая поговорка моей мамочки. Она, моя мамочка, очень умная. Тем не менее домой ее никто не провожает. Я загадала: если Игорь проводит меня до дому, до самой двери, значит, любит.

Я вышла из Елисеевского. Меня остановил поток машин и мыслей. Мысли были мрачные. А вдруг Игорь испугается моего затрапезного вида, вдруг не увлечется мной?.. И все-таки я упорно двинулась вперед, к памятнику. Шла и думала: «Испугается,

тем лучше. Значит, все это у него не серьезно! А как мне тогда быть? И стоит ли вообще быть? Наверное, не стоит!» Теперь мне стало жалко себя. А еще больше маму. Если со мной что случится, она этого не вынесет. Значит, придется быть дальше. С холодным сердцем и пустой душой. Кошмар!..

Я подошла к памятнику Маяковскому. Он уже давно стоял. Я, конечно, не о Маяковском. Я опять об Игоре. Игорь стоял!!!

— Я уже волновался, что ты не придешь.

— А я пришла! — от страха я даже закрыла глаза.

— Какая ты сегодня красивая!..

— Повтори!

Он повторил.

— Еще.

Он повторил еще. И еще два раза.

Какое счастье! Значит, не заметил, во что я одета. Я открыла глаза и посмотрела на него. На нем было старое пальто какого-то дикого зеленого цвета. На голове рваная ушанка. На ногах туристские ботинки. Я снова закрыла глаза. Хорошо, если он все это взял у отца... А если нет?!

ВАРЛЕН СТРОНГИН

ГРАФ ВОЛЬДЕМАР

Володя числился техником и танцевал в ансамбле заводского Дома культуры. Танцевал здорово, и настолько, что его пригласили в балетную труппу местного театра музыкальной комедии. Зарабатывать он стал поменьше, зато официально был оформлен артистом. Володя танцевал матросов, монтажников, разбойников и особенно удачно графов. К его статной фигуре и тонким чертам лица очень подходили фрак, цилиндр, манишка, белые перчатки и тросточка.

— Ну прямо вылитый граф! — говорила ему после спектакля старая костюмерша Анастасия Павловна.— Только не хватает горбинки на носу! А в остальном чистая графская порода!

Володя освобождался от фрака, манишки, снимал шляпу, перчатки, откладывал в сторону тросточку и, натянув свой пиджачок, чувствовал себя преотлично и, самое главное, спокойно. Дома лежал диплом техника, и Володя знал, что, как бы ни сложилась его актерская карьера, он в жизни не пропадет.

Часов в десять вечера он направлялся домой. Автобусы ходили редко. Такси не останавливались. Володя шел домой пешком мимо стены бывшего городского кремля и высоченного действующего собора, привлекавшего основное внимание интуристов, минуя ресторан, откуда доносилась современная музыка. Там танцевали и, по всей видимости, там на-

ходилась Лилька — красивая девушка, очень нравившаяся ему, но не обращающая на него никакого внимания. Володе захотелось зайти в ресторан, но, чтобы попасть туда и получить место, нужно было дать рубль швейцару и три официанту. Володя не был жадным человеком, но ему претили купеческо-княжеские замашки, и он шел домой, вдыхая свежий весенний воздух, и на душе его разливалась благодать при мыслях о том, что в новом сезоне «Спартак» заиграет еще лучше.

Таким образом Володя проводил почти каждый вечер, но однажды случилось непредвиденное. Костюмерша Анастасия Павловна, страдающая прогрессирующим склерозом, ушла из театра, захватив ключи от гримерных, где лежали вещи артистов. Пришлось Володе идти домой во фраке, цилиндре и с тросточкой в руках.

Не прошагал он и ста метров, как рядом с ним затормозило такси и водитель вежливо приоткрыл дверцу:

— Бонжур, садитесь!

Володя оторопел от этих слов, но, догадавшись, что его приняли за иностранца, взял себя в руки и небрежно бросил водителю: «Езжайте, езжайте!» — чем заставил его вздрогнуть и так же вежливо прикрыть дверцу.

«А я и взаправду артист!» — улыбнулся про себя Володя, остановившись у входа в ресторан и лениво вертя в руках тросточку.

Швейцар вытянулся перед ним в струнку и вместо выкрика: «Местов нету!» — поклонился и широко распахнул дверь. Через несколько минут Володя уже сидел за столиком у самой эстрады.

— Чего изволите? — подобострастно прошептал ему официант, с уважением поглядывая на фалды фрака.— Могу сделать севрюжку горячего копчения!

— Сто грамм и путылька пива. Я правильно коворю по-русски?— выпучил глаза Володя.

— Правильно, мистер! — кивнул головой официант и помчался выполнять заказ.

Сосед по столику приветливо улыбнулся и восторженно посмотрел на Володю:

— Сразу видно, что вы деловой и экономный человек. Одним словом — хозяин! Надолго к нам пожаловали?

— Йес,— рассматривая сидящих в ресторане, вымолвил Володя и покраснел, увидев в другом конце зала Лильку.

— Не стесняйтесь, будьте как дома! — заулыбался сосед по столику.— Мы друзей встречаем от души! Хлебом и солью! Нам для друзей ничего не жаль! Давайте выпьем за дружбу!

— Мне еще водку не принесли,— попытался отказаться Володя.— А чужую не пью, ваша понимает?

От дальнейших разговоров с соседом Володю избавил загремевший вокально-инструментальный ансамбль. Начались танцы. Володя оглянулся в сторону Лильки и вдруг увидел, что она, загадочно и ласково улыбаясь, прыгающей походкой направляется именно к нему.

«Идет! Ко мне!» — От радости застучало сердце у Володи, и он торжественно поднялся навстречу девушке. Она сразу положила руки на его плечи и спросила:

— Вы разговариваете по-русски?

— Конечно, йес,— приветливо улыбнулся ей Володя.

— Я про вас все знаю.

— Да? — покраснел Володя.

— Вы из Швейцарии или Бенилюкса. Я угадала?

— Угадали...— грустно сказал Володя, и сердце у него защемило от разочарования.

На улицу они вышли вместе.

— А хотите, я угадаю, кто вы? — интригующе сказала Лилька.—Вы фирмач! На худой конец какой-нибудь специалист!

— На этот раз нет,— усмехнулся Володя.— Я граф!

— Ой, как здорово! — завопила Лилька.— Живой граф! При фраке и цилиндре! Как я прежде не догадалась?! Вот дура!

«Это точно»,— хотел сказать Володя, но сдержался.

— А как вас зовут? — спросила Лилька.

— Вольдемар.

— Граф Вольдемар! А по-русски вы граф Владимир, Володя, понимаете?

— Понимаю. Я и есть Володя. Самый настоящий. И мне пора домой,— приподнял цилиндр Володя.

— Не может быть, вы шутите! — засуетилась Лилька.— Вы Вольдемар. Я сразу почувствовала в вас что-то необычное. И вы, конечно, остановились в «Интуристе». Там самый шикарный ресторан. Мы можем еще успеть туда!

— А вы сами кто? Графиня?! Или баронесса? И неужели вам не стыдно!..

— Мне? Что вы говорите?! — вылупила глаза Лилька.— Вы... вы, наверно, прогрессивный деятель?

— Угадали,— усмехнулся Володя.— Весьма прогрессивный.

— Граф, с манишкой, а ведете себя, как плебей! — огрызнулась пришедшая в себя Лилька и, развернувшись на каблуках, запрыгала в сторону ресторана. А Володя побрел домой в самом что ни на есть плохом настроении: кумир, который он сам себе сотворил, рассыпался в прах. И только дома, сбросив с себя графские доспехи, облачившись в запасной пиджачок и вытянувшись на диване, он немного успокоился и даже не без гордости подумал: «Граф — ну и что? Подумаешь, персона! Сегодня князь, а завтра — в грязь! А у меня как-никак две профессии! К тому же «Спартачок» набирает форму! Так что ничего, проживем!»

ВИКТОР СЛАВКИН

ЭТОТ НИКОМЁДОВ

Я не люблю телефон. Никогда не угадаешь, что тебя ждет через секунду после того, как поднимешь трубку. Случаются, правда, и радостные звонки, но редко. Я по пальцам могу перечислить, кто может мне звонить, и ни от кого из них не ожидаю ничего хорошего. Я сижу за своим рабочим столом и опасливо кошусь на черный блестящий аппарат. Всегда жду подвоха.

Самое большое мое желание — чтобы на звонки отвечал кто-нибудь вместо меня. Но секретарша мне пока еще не положена по штату.

Вот и сейчас, когда зазвонил телефон, противно дернуло под глазом.

Уже по тону самого звонка я почувствовал что-то неладное. Обычно мой телефон звонит сразу длинным звоном. А на этот раз получилось каких-то два писка, а потом странный сухой звук. Что-то вроде др-р-р-р...

Я снял трубку. Молчание.

— Междугородняя? — спросил я.

— Нет. У меня поштоянная мошковская пропишка,— прошипела трубка. Словно на том конце провода говорил чревовещатель, приложив телефонную трубку к животу.

— При чем тут прописка?

— Я думал, это очень вашно...

— Может быть, для вас важно, но мне абсолютно все равно.

Я хотел положить трубку, но в ней снова зашипело:

— Шпасибо. Недаром о ваш говорят штолько хорошего.

— Кто вы в конце концов, и что вам от меня надо?

— Мне хотелось, чтобы вы взяли меня на работу.

— Но с какой стати?.. Я вас знать не знаю.

— Никомёдов я. Фамилия такая.

— Ну и что?

— Профешшия у меня редкая. Имитатор я. Швукоподрашатель. Понимаете? Подрашаю пению птиц, бибиканью автомобилей, шелешту газет, шуму моря, швуку контрабаша и человечешким голошам.

— Обратитесь в цирк.— И я положил трубку. Ерунда какая!

Звонок.

— Зря, старик, зря,— говорит мой старый друг (вместе в институте учились),— зря...

— Ты о чем?

— О Никомёдове. Очень даже он тебе необходим. Посадишь на телефон, и будет он твоим голосом отвечать на разные дурацкие звонки. Представь, сколько времени у тебя освободится! Сможешь в рабочее время научиться играть на саксофоне.

— Откуда ты его, этого Никомёдова, знаешь?

— Когда-то вместе работали в одной проектной организации.

— А где ты теперь?

— У Олега Лундстрема.

Положил трубку.

Звонок.

— Милый,—жена своим сладеньким голосочком (трубка сразу стала липкой, как конфета).— Не обидь хорошего человечка. Трудоустрой. Что тебе стоит?.. Ну? Ты не можешь мне отказать. Ведь ты любишь меня?.. Ну скажи, что любишь, дорогой. Я жду.

Господи, как трудно произнести слова, если не ты сам их придумал...

— О, мой мальчик меня не любит!.. Скажи, не любишь?

Господи, как трудно произнести слова, если их знаешь только ты...

Я кладу трубку. Пожалуй, надо взять этого Никомёдова. Звонок. Мать.

— Звоню тебе, звоню, и все занято...

— С женой молчал.

— Понимаю.— Мать меня понимает.— Слушай, сынок, так я об этом Никомёдове. Ты своей выгоды не знаешь. Ведь он может подражать голосу самого... Позвонит кому нужно, брякнет куда следует... Ты, сынок, всю семью в люди выведешь: Танечку в детский садик устроишь, Манечку в институт пропихнешь, мне пенсию выхлопочешь, бабушке — место на Новодевичьем. А, сынок?..

Я повесил трубку. Тогда позвонил сам.

— Срочное задание! Нам позарез нужен новый сотрудник. «С «Н» в начале, с «В» в конце. Да, самое главное, чтобы была буква «Е» в середине с двумя точками наверху. Вы поняли?

Я все понял. Только бы он позвонил еще раз, этот Никомёдов.

Пи-пи-др-р-р-р... Это он. Снимаю трубку.

— Алло! Я вас слушаю.

— Это елена один девять восемь тридцать девять? — услышал я торопливый девичий голосок.— Хабаровск вызывали?

— Нет.

— Это я ваш рашыгрываю,— зашипела трубка.— Похоше, правда? Штрашть как люблю шенским голосом по телефону шутить. Череш это дело один раш чуть шамуш за шобштвенного брата не вышел.

— Это вы, Никомёдов?

— Ага. Фамилия такая. Нашинается на «Н», коншается на «В», «Е» в шередине с двумя тошками наверху.

— Я беру вас. Все хорошо. Только когда вы говорите за мою мать, слово «сынок» надо произносить мягче и букву «о» тянуть, тянуть... Понимаете?

— Понимаю, сыно-о-о-к.

— Вот уже лучше.

— К работе приступайте с завтрашнего дня. А пока, не в службу, а в дружбу, позвоните моей жене и скажите, что я ее люблю.

— Слушаюсь, милый.

Я ТУТ ЖИВУ...

Улица в Венеции. Входят Родриго и Яго.
— Ни слова больше. Это низость, Яго. Ты деньги брал, а этот случай скрыл...
— Здрасьте,— поздоровался я с Дездемоной.

Дездемона не ответила.

— Здесь нельзя стоять. Спуститесь в зал,— сказала она.

— Да уж мерси,— ответил я.— Отсюда, наверное, интересней. Вон в зале все заснули.

Дездемона вздохнула.

— Это потому, что в школе «Отелло» проходили. Кто кого задушит, наизусть знают. Не детектив...

— А вы что-нибудь новенькое подпустите,— предложил я.

— Так ведь Шекспир...— И вдруг как топнет ногой: — А ну, марш в зал! Здесь нельзя посторонним.

— А вы на меня не кричите,— обиделся я.— Я, между прочим, совсем не посторонний. Я, если хотите знать, тут живу.

Дездемона прыснула. Наверное, на фоне венецианских сенаторов и солдат дожа, которые вместе с нами стояли в кулисе, я в своей пижаме выглядел уж очень нелепо.

— Интересно, где ж вы тут живете? На колосниках, что ли? — спросила Дездемона.

— Зачем на колосниках... У меня своя комнатка. Третья справа по коридору. Мужская гримерная, а следующая моя. Так получилось... Приехал я из своего города к двоюродному брату погостить, а у него дома ремонт. «Я,— говорит мне брат,— временно тебя на своей работе поселю. Комнатка, правда, неудобная, но привыкнешь и жить будешь припеваючи. Тем более, жилье твое в театре помещается. Я там сейчас работаю». Взял я свой чемодан и приехал в театр селиться. Вот теперь здесь живу. Соседи с вами. Заходите в гости. У меня, конечно, не дворец дожа, но чайком угощу. А?..

— С баранками...— «Отец, в таком кругу мой долг двоится...» Это уже началась Дездемонина роль.

А я, теряя шлепанцы, побежал в свою комнатку, переоделся и кинулся в булочную за баранками.

Легко сказать — кинулся. Пока я одевался, да то да се, второй акт начался. А чтобы выскочить на улицу, мне надо пересечь сцену. Стою, голову ломаю.

Тут, гляжу, сцена народом наполняется. Сенаторы, солдаты, горожане. Дож пришел. «Вот,— думаю,— за их спинами я на ту сторону и перебегу». Так подумал и так сделал.

Высунулся из-за кулисы и от солдата к солдату незаметно перебегаю. Один меня все-таки засек.

— Стой! — шепчет.— Кто идет?

— Я,— отвечаю,— в магазин и обратно.

— Тогда,— говорит венецианский солдат,— купи мне «Шипку». Смерть курить охота.

Взял я у него четырнадцать копеек и к другому солдату за спину перескочил. А тут у них как раз смена караула. Мои-то солдаты ушли, а другие запаздывают. Чувствую, зритель меня уже во весь рост видит. Не помню почему — от страха, наверное — я авоську себе на голову натянул. Глядь, а у соседа справа такая же авосечка на лице.

«Значит,— думаю,— меня никто и не заметит».

Ан, нет! Заметили. Уставились на меня, смотрят, чего-то ждут. Который рядом в авоське стоит, щиплет меня за ляжку:

— Ты, что ли, третий горожанин?

— Я,— говорю. «Может, так скорее отпустят...»— думаю.

— Тогда произноси,— шипит мне сосед.

— Чего?

— Ну, что новый комендант в крепость назначен.

Делать нечего. Все ждут. Я и говорю:

— В общем, товарищи венецианцы,—говорю я громко,— нового коменданта вам прислали!

Вдруг один со шпагой, который против меня стоял, побледнел весь и спрашивает:

— Как зовут?

Я говорю:

— Сидоров.

Со шпагой побледнел еще больше и уже совсем не своим голосом говорит:

— А коменданта?

— А-а-а-а! — хлопнул я себя по лбу.— Этот... Яго!

Бухнул имя, которое помнил со школы (кроме главного, Отелло, конечно). Чтобы отвязаться.

Назвал и под музыку затанцевал к выходу.

Никто меня не остановил, и я спокойно купил разных баранок и «Шипку» для солдата.

С полной авоськой возвращаюсь в кулису. Конечно, не в ту, в которой живу, а в противоположную.

Третий акт в разгаре. Подождал я, пока снова народ на сцене не подкопится, пригнулся пониже и рванул к себе домой.

По дороге солдату сигареты отдал.

— Эх, жаль, закурить нельзя,— вздохнул солдат.— Действие тут у нас затянулось.

— А чего? — спросил я.

— Все ты.— Солдат отвел меня за колонну.— Как сказал ты, что Яго назначили комендантом, нам что делать, стали так и дальше играть. Яго, значит, комендант крепости, которую Отелло от турков отстоял, а Кассио, Отеллов лейтенант, так без повышения и остался. Теперь что ж получается? Весь Шекспир у нас летит к чертовой бабушке. Яго совсем не к чему подсиживать Кассио. Он ходит и мавру про Дездемону ни гу-гу. Сети не плетет, короче. Вот что ты натворил...

— А ну вас всех к черту! — вдруг психанул я.— Мне бы ваши заботы! Вы здесь в игры играете, а я тут живу.

— Да ты особо не волнуйся,— успокоил меня солдат.— Отелло все-таки сам подозревает Дездемону. Говорит, встречу она с кем-то назначила... У тебя что в сетке?

— Баранки,— ответил я и побежал домой.

А в антракте ко мне заглянула Дездемона. Мы все успели: и чайку попить и понравиться друг другу, а я еще — и предложение ей сделать.

— Ой! — вскрикнула Дездемона в этом месте.— Мне пора на выход! — и выпорхнула из моей комнатки, у самого порога обронив платок.

«Это знак! — лихорадочно пронеслось в моем мозгу.— Это тайный знак, что она согласна. Теперь надо вернуть ей платок и услышать «да» от нее самой».

Я понесся в кулису. Моя Дездемона была уже на сцене. Дрожащая, она стояла перед Отелло, а тот сверкал на нее огненным взглядом.

Я решил во что бы то ни стало поговорить с ней сейчас же, пока мавр не запугал ее окончательно, Опыт у меня был, и я за колоннами прокрался к той, за которой она стояла.

— Милая Дездемона, я принес вам платок.

Она вспыхнула. Отелло стал кричать на нее, но я уже успел сунуть платок ей в руки. И вдруг она — о женское коварство! — протянула платок Отелло со словами: «Вот тот платок, который вы просили».

Я чуть из-за колонны не вывалился.

Но еще больше растерялся сам Отелло. Он стал вдруг извиняться, лепетать какие-то оправдания: мол, он зря подозревал ее, Дездемону, что если платок нашелся, то все в ажуре и нечего было весь сырбор городить, что он, Отелло, всех прощает и просится у дожа на пенсию.

Я ничего не понял и на мягких ногах поплелся к себе в берлогу. Там я плюхнулся на диван и пролежал до тех пор, пока ко мне не ворвался солдат.

— Вот это дал! Вот это дал!— заорал он с порога.

— Кто кому? — слабым голосом спросил я.

— Ты — всем! И Отелло, и актерам, и публике... Слышишь, овация какая? Вот это успех! Такого еще не было! В общем, так: только что Дездемона задушила Отелло и объявила, что выходит за тебя замуж. А ну, собирайся! Ты у нас теперь в главной роли.

И меня поволокли на сцену.

ОПЕРАЦИЯ



вошел к редактору.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Здравствуйте,— буркнул редактор.

— Я стихи принес,— робко сказал я.

— Оставьте рукопись секретарю.

— Этого я не могу сделать, мне завтра на работу.

— Оставьте рукопись и идите себе на работу.

— Дело в том, что рукопись — это я.

— Вы?!

— Да. Я включился в движение за экономию бумаги и с тех пор пишу стихи на себе. Татуирую их на теле.

— Ну и что вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы их посмотрели и, если можно, напечатали в своем журнале.

— Раздевайтесь,— сказал редактор и засучил рукава.

Я разделся.

Редактор несколько раз прочитал меня.

— Стихи неплохие,— сказал он.— Но в таком виде они не могут появиться в журнале.

— Конечно,— согласился я.—Нельзя же давать фотографию голого человека. Стихи придется набрать обыкновенным шрифтом.

— Вы меня не так поняли. Я говорю не о форме, а о содержании. Меня смущают вот эти две строки на животе. Их надо убрать.

— Но это лучшее из того, что мне удалось. Мне будет больно...

— А Гоголю не было больно сжигать вторую часть «Мертвых душ»?

— Но Гоголь жег бумагу, а я должен сейчас резать свое живое тело. И как раз в самом больном месте...

— Не беспокойтесь,— сказал редактор.— Вы попали в надежные руки.

И редактор взял скальпель. После легкой операции на месте моих строчек осталось только несколько шрамов.

— Ну вот, теперь уже лучше,— говорил редактор, перечитывая меня снова.— Больно было?

— Да,— признался я.

— Это с непривычки. Привыкнете, сами себя будете резать не хуже меня.

— Теперь все?

— У меня все. Пройдите к старшему редактору.

Старший редактор сидел за большим столом, покрытым белой простыней.

— Ложитесь,— сказал он.

Я лег на стол.

— Все, что на левой ноге, придется удалить,— поставил он свой диагноз.

— Но тогда станет лишней правая нога,— возразил я.

— Сказать по правде, молодой человек, правая нога меня тоже смущает. Впрочем, все можно спасти, если дописать такую концовку...

Старший редактор начал быстро колоть меня иглой. Я извивался у него под руками.

— То, что вы делаете, ужасно! — кричал я.— Я не хочу такого конца!

— Ничего, ничего... От этого еще никто не умирал.

— Скорее поставьте точку! — взмолился я.

Старший редактор задумался.

— Нет, пожалуй, здесь будет уместней многоточие,— сказал он, три раза вонзая в меня свою иглу.

— Как, лучше? — спросил он меня, когда я очнулся.

— Хуже...— выдохнул я.

— Подтянитесь, молодой человек. Вам сейчас надо пойти к главному редактору...

— Я не могу идти...

К главному редактору меня внесли на носилках. Он стоял посреди просторной, светлой комнаты в белоснежном халате и в резиновых перчатках. Рядом с ним стояла секретарша, тоже в белом. Меня положили. Главный редактор склонился надо мной. Раздались короткие команды:

— Скальпель! Камфара! Зажимы!

Больше я ничего не помню.

Когда я через две недели, пожелтевший и похудевший, выписывался из редакции, редактор крепко пожимал мне забинтованную руку, хлопал по забинтованному плечу и говорил:

— Слабым вы оказались поэтом. Не выдержали... Мой вам совет: в следующий раз пишите на бумаге. Бумага, она все стерпит.

АНДРЕЙ ЯХОНТОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ

Со всех концов света съезжались ко двору короля Артура рыцари, чтобы помериться силами и в честном поединке завоевать руку и сердце несравненной принцессы Анны. Множество славных гербов, говоривших о древности рода и боевой доблести их хозяев, наводнило в эти дни улицы города. Король пребывал в растерянности, ибо не знал, кому из претендентов желать успеха. С любым из них он был бы счастлив породниться.

Но никто не видел, что в лесу, неподалеку от столицы, остановилась странная, невиданная в VI веке чудо-машина. Из нее вышел человек небольшого роста, в костюмчике фабрики «Кудесница». Пригладил остатки шевелюры, улыбнулся солнышку, пению птиц, журчанию ручейка и бодро зашагал по тропинке в направлении городских каменных стен.

...Уединившись в своем походном шатре, принц Уэльский проверял перед поединком оружие и доспехи.

— Вас хочет видеть некто, пожелавший остаться неизвестным,— доложил слуга.

Принц удивленно вскинул брови, но велел впустить.

Вошел человек небольшого роста, в сером костюмчике и при галстуке. Но мы едва ли смогли бы узнать в нем уже известного нам владельца машины. Исчезла мягкая улыбка, лицо стало сосредоточенным, взгляд цепким.

— Кто вы? — спросил рыцарь.

— Это не имеет ровно никакого значения,— от-

ветил человек и, вдруг угодливо изогнувшись, заметил: — Вы один из главных претендентов на победу, едва ли не самый сильный участник турнира...

Принц снисходительно поморщился, он не любил льстецов, которые, как правило, оказывались попрошайками. Принц достал две золотые монеты.

— Я не за тем пришел. Вы самый красивый, самый привлекательный... Но я хочу, чтобы вы стали еще прекрасней.

Здесь принц навострил уши.

— Есть доспехи из хромированной стали,— сообщил незнакомец и тут же прибавил: — Однако цена высока.

— Назовите,— сказал принц.

— Отказ от участия в турнире.

— Вон отсюда! — закричал великолепный рыцарь, разгневанно сверкнув очами.

— Ну что ж,— сказал человек и направился к выходу.

— Постойте! — окликнул его принц. И, стараясь не встречаться с ним взглядом, сбивчиво начал объяснять: — С доспехами сейчас тяжело... А из хромированной...

— Да, я знаю. Могу предложить еще меч. Правда, не кладенец, но по прочности не уступает... Твердые сплавы...

— Беру! — воскликнул принц.

Затем неизвестный посетил палатку герцога Роберта.

— Послушайте, герцог,— без предисловия начал он.— Я видел вашего коня. Кобылка, мягко говоря, ни в дугу. И вы надеетесь на такой стать победителем? Могу предложить жеребца орловских кровей. Отличная родословная, в дерби не знает равных, этой весной взял международный кубок.— И видя, что герцог сомневается, поторопил: — Решайте быстрей, мне конюха надо застать, у них рабочий день кончается... Да, чуть не забыл, непременное условие. С турнира вы исчезаете. По рукам?

Направляясь к барону фон де Брие, неизвестный прихватил с собой бутылку вина.

— Ну, за знакомство! — сказал он, входя в палатку.

Когда бутылка опустела, странный человек погрозил барону пальцем.

— Слушай,— сказал он,— ведь ты дочки короля добиваешься не по любви. Ты где-то даже циник, а? Хочешь материальное благосостояние свое поправить? Замок свой обветшавший за королевский счет подремонтировать? — И резко сменил тон на деловой.— Значит, так, кооператив не обещаю, но пару грузовиков кирпича я тебе подброшу. Ну, всякие там олифы, купоросы, само собой. Могу черный кафель для туалета.

— А рабочая сила? — хитро сузил глазки барон.

— Это ты, брат, перехватил. Это пусть вассалы тебе помогают.

...Король сидел у камина, погруженный в глубокое раздумье. Турнир, обещавший стать ярмаркой женихов, проваливался на глазах. Рыцари без всяких объяснений и извинений отбывали восвояси. Приходилось опасаться неблагоприятного международного резонанса.

Вдруг дверь отворилась, вошел человек небольшого роста. Король изумленно привстал...

— Вам привет от графа Ланденбургского,— поспешил успокоить его вошедший и для верности подмигнул.

— Как вы тут оказались? — Король схватился за кинжал.

— О, это долгая история,— вздохнул человек, усаживаясь подле короля и не обращая внимания на угрожающий жест.— Еще в школе я прочел о принцессе Анне, вашей дочери, в одной книжке, увидел ее на картинке и влюбился. Прошли годы, у нас изобрели машину времени, я сел в нее, вернулся на четырнадцать веков назад, и вот я перед вами. Я понимал, что физические данные и отсутствие навыка не позволят мне стать победителем турнира. Поэтому я избрал другой путь...

И он рассказал королю о своих переговорах с графами, баронами, герцогами и прочими.

— Боже мой! — воздел руки к небу король.— И это рыцари! Какая низость!

— Не надо так переживать,— успокоил его незнакомец.— Надо радоваться, что Аня им не досталась.

— Но вы-то чем лучше? — Король не пытался скрыть презрения.

— Я? Боюсь показаться нескромным, но скажу: я хороший и честный. А научился всем этим приемам, когда запчасти для своей машины времени доставал. Но чтоб вас это не тревожило, даю слово: больше я так дурно поступать никогда не буду. И пользоваться недозволенными приемами прекращу.

Король посмотрел на незнакомца с сомнением.

— А как же вы жить собираетесь? Ведь все-таки принцессу в жены берете.

— Вы не думайте,— сказал человек,— у меня дача, квартира, даже гараж есть. На службе я на хорошем счету.

— Нравишься ты мне, парень,— решительно сказал король. Он обнял будущего зятя.— Вот только как мне тебя называть, родной? У нас, знаешь, титулы приняты.

Человек посмотрел на короля очень грустно.

— Называйте просто: Рыцарь Печального Образа Действия,— сказал он.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ПОТОМКОВ

В кабинет начальника быстрой походкой вошел Перфильев.

— Иван Петрович,— сказал он,— я вас предупредить должен. Новенький-то наш, Ряпушкин, только из института, а уже дневник ведет.

— Ну и что? — пожал плечами начальник.— Мое какое дело?

— То есть как? — опешил Перфильев.— Вы что, не понимаете? Я, как узнал, места себе не нахожу.

От волнения Перфильев действительно бегал взад и вперед по кабинету.

— Сядь, не мельтеши,— сказал начальник.— И объясни толком, что тебя в этом вопросе беспокоит.

Перфильев остановился.

— Да вы представьте: пройдет эдак лет сто, никого из нас не будет уже, и тут здрасьте-пожалуйста — внуки Ряпушкина решат дневник деда обнародовать. А там черным по белому — и про вас и про меня. Каким словом нас потомки помянут?

Иван Петрович заерзал в кресле.

— А что он там такого написал?

— Да вот хотя бы... Я утром сегодня случайно через плечо ему заглянул... Там так: «Иван Петрович — бурбон, мешает научно-техническому прогрессу на предприятии, не осваивает нового оборудования, а также новых методов труда...» Ну, и потом про меня...

— А что про тебя?

— Ну, разное... «Перфильев,— пишет,— подхалим, во всем поддакивает начальнику».

Карандаш, который Иван Петрович сжимал в руке, с треском сломался. Глаза Ивана Петровича недобро сверкнули.

— Нечего сказать, хороших молодых специалистов нам на работу присылают. Дальше давай.

Перфильев зажмурился, наморщил лоб, как бы пытаясь воспроизвести текст дословно.

— Запись от двадцать девятого августа. Заголовок «Организация труда». А дальше: «На что я потратил рабочий день? Очинка карандашей — полчаса. Переноска документов и чертежей по коридору — два часа. Чертил втулку (между прочим, обязанность чертежника). Подшил деловую переписку (обязанность секретаря). Бегал за пирожками для всего отдела. Все вместе — три с половиной часа. Мой оклад 90 рублей. За мои прямые обязанности мне должно быть начислено 00 руб. 00 коп. Точный убыток для предприятия подсчитать не могу — арифмометр в отделе один, и тот сломан. Уж лучше бы на картошку отправили!..»

Иван Петрович налил из сифона стакан шипучей воды и запил какую-то зеленую таблетку.

— Может, это и не дневник,— задумчиво сказал он.— Может, это уже анонимка?

— Да нет. Там на обложке его фамилия есть,— раздраженно дернул рукой Перфильев.— Да и в тет-

радке, я успел заметить, какие-то заметки о спектакле, который он накануне смотрел. Так что на анонимку не похоже. Но меня, меня в подхалимстве обвинять!

— Ладно, иди,— сказал начальник.

Вскоре в кабинет заглянул молодой Ряпушкин.

— Вызывали?

— Заходи, садись,— сказал Иван Петрович.— Закуришь?

— Не курю,— сказал Ряпушкин.

Иван Петрович поколебался и тоже не стал.

— Верно, вред это...— согласился он.

Затем наступило молчание. Молчал Ряпушкин, молчал Иван Петрович, Ряпушкин смотрел в пол, Иван Петрович — в окно.

— Знаешь,— наконец приступил к главному начальник.— Вот так иногда задумаешься о жизни...— Ряпушкин взглянул на него с интересом, это Ивана Петровича ободрило.— Я тут недавно книжку одну читал... Там много мыслей всяких... Ведь, знаешь, иной раз и хочешь сделать, чтоб все хорошо, а не получается...

— Вы это о чем, Иван Петрович? — уточнил Ряпушкин.

— Я о жизни. Вот, к примеру, привезли нам новое оборудование... А внедрять его пока нет возможности: когда еще люди к нему привыкнут... А тут план... Я к тому, что надо нам шире на вещи смотреть... э-э-э... философичнее.— Иван Петрович игриво подмигнул Ряпушкину.— Начальство легко критиковать. А нет, чтоб самому инициативу проявить. Молодой, сил много...

— Я вам свои предложения два раза подавал в письменном виде,— сказал Ряпушкин.

Иван Петрович скорбно наклонил голову:

— То-то и оно, все пишете, пишете... Нет чтоб зайти поговорить по душам. Может, какие проблемы, трудности? Поделитесь... Хочешь, мы тебя на картошку пошлем? — вдруг предложил начальник.

Ряпушкин гордо распрямил спину.

— Вы думаете, я не догадываюсь, почему вы меня вызвали, да? Перфильев вам про мой дневник донес.

Верно? Так вот, знайте, я и этот наш разговор туда занесу! Меня не умаслишь.

Он резко поднялся и стремительно вышел, забыв притворить за собой дверь.

Некоторое время после его ухода Иван Петрович пребывал в глубоком раздумье. Потом вызвал секретаршу:

— Вот что, Верочка. Срочно сходите в «Канцтовары» и купите мне общую тетрадь.

Через четверть часа Иван Петрович старательно выводил: «10 сентября. Сегодня имел разговор с сотрудником Ряпушкиным. Вздорный, пустой человек. Я ему сказал, что нужно смотреть на жизнь шире, философичнее. Он с этим не только не согласился, но еще и дверью хлопнул. Бурбон».

Иван Петрович перечитал написанное, улыбнулся и захлопнул тетрадь.

«Теперь пусть потомки разбираются».

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

ПОЭЗИЯ

САТИРА И ЮМОР

(«Зеленый портфель»)

Ю 55 «Юность». Избранное. XXX. Т. 2 / Сост. Т. В. Бобрыниной, Н. М. Злотникова, М. Л. Озеровой, В. И. Славкина, А. В. Фролова; Ил. О. С. Кокина.—М.: Правда, 1985.— 624 с., ил.

Сборник избранных произведений прозы, публицистики, поэзии и юмора, опубликованных на страницах «Юности» за годы существования журнала.

Ю $\frac{4702010200—1024}{080(02)—85}$ 1024—85

ББК 66.3(2)6
84 Р 7
32 С 5

«ЮНОСТЬ». ИЗБРАННОЕ.

В двух томах

Том 2

Редактор В. Т. БАШКИРОВА

Художественный редактор В. В. МАСЛЕННИКОВ

Технический редактор Т. Б. СЛИЗУН

ИБ 1024

Сдано в набор 04.02.85. Подписано к печати 20.05.85. А 11076.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжн.-журн. Гарнитура «Балтика».
Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 31,09.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 428.
Цена 2 р. 80 к. (в суперобложке).
Цена 2 р. 60 к. (без суперобложки).

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской **Революции** типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС **«Правда»**. 125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Уральский рабочий».
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.





